

Kryn



Famcyt

Kryn Famcyt

Кнут
Галсун

Кнута Тамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

А. СЕРГЕЕВ

Ю. ЯХНИНА



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

2000

Кнут Тамсун

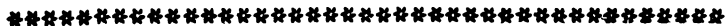
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
НА ЗАРОСШИХ ТРОПИНКАХ

Перевод с норвежского



МОСКВА



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
2000

УДК 82/89
ББК 84(4Нор)-4
Г18

KNUT HAMSUN
1859 — 1952

Составление

Ю. Яхниной

Комментарии

А. Сергеева

Оформление художника

А. Лепятского

ISBN 5-280-03091-0 (Т. 6)
ISBN 5-280-01700-0

© Составление. Яхнина Ю. Я., 2000 г.
© Комментарии. Сергеев А. В., 2000 г.
© Перевод. Суриц Е. А., 2000 г.
© Перевод. Киямова Нора, 2000 г.
© Перевод. Яхнина Ю. Я., 2000 г.

Рассказы



ЦАРИЦА САВСКАЯ

I

Когда путешествуешь, переезжаешь с места на место и, волею судеб, все вновь встречаешь людей, которых раньше видел когда-то, встречаешь их внезапно, на неожиданных местах, — от удивления совершенно забываешь снять шляпу и поклониться.

Со мной это бывает часто — да, очень часто. С этим ничего не поделаешь.

То, что было со мной в 1888 году, стоит в странной связи с одним событием нынешнего года, приключившимся со мной не более недели назад, во время моей поездки в Швецию. Это очень простая и понятная история, разыгравшаяся очень просто, может быть, ее не стоило бы рассказывать. Но все же я попробую рассказать ее, насколько могу хорошо.

Ты спросил, когда мы в последний раз виделись... да, ты сам помнишь, о чем ты меня спросил, так что мне не надо повторять. Но я тогда ответил, что мне всегда что-нибудь мешало, сколько бы я ни старался, всегда что-нибудь становилось на моей дороге, меня отвергали, меня выставляли за дверь. И я не лгу, я тебе докажу, что это правда. Так близко к цели, как в этот раз, я еще никогда не был, и все же меня так любезно выставили за дверь. С этим ничего не поделаешь.

В 1888 году я получил деньги на поездку куда-нибудь, — я рассказываю все совсем так, как это было. Я отправился в Швецию и в веселом расположении духа шел пешком вдоль железной дороги, меж тем как каждый день поезд за поездом мчались мимо меня. Я встречал также множество людей, и все эти люди кланялись мне, они говорили: «Бог в помощь», я тоже говорил: «Бог в помощь», потому что не

знал, что еще им сказать. Когда я пришел в Гётеборг, моя первая пара башмаков была уже разорвана самым жалким образом, но об этом я и не говорю.

Еще до того, как я пришел в Гётеборг, произошло то событие, о котором я хочу рассказать. Как ты думаешь: если какая-нибудь дама бросает на тебя взгляд из окна, а затем больше не обращает на тебя внимания, ты тогда остаешься спокоен и не делаешь никаких предложений; надо быть дураком, чтобы вообразить себе что-нибудь после такого жалкого взгляда. Ну а если эта дама не только смотрит на тебя с величайшим интересом, но предоставляет тебе свою комнату да еще постель свою на почтовой станции в Швеции, не находишь ли ты, что тогда ты имеешь некоторое основание верить в ее серьезные намерения и питать надежды? Я так и думал и надеялся до последней минуты; неделю тому назад мне это даже стоило мучительного путешествия в Кальмар...

Итак, я дошел до почтовой станции Бербю. Был поздний вечер, а я шел с раннего утра, так что решил отдохнуть здесь сегодня. Я вошел в дом и спросил себе обед и комнату.

Да, обед я могу получить, но комнат больше нет, все заняты, дом переполнен.

Я говорил с молодой девушкой, — как потом оказалось, дочерью хозяина. Я смотрю на нее и делаю вид, будто не понимаю ее. Не хочет ли она мне дать почувствовать, что я — норвежец, политический противник?

— Какая масса здесь экипажей, — говорю я равнодушно.

— Да, это торговцы, приехавшие на ярмарку, здесь ночуют, — отвечает она, — поэтому у нас не осталось ни одной свободной кровати.

Затем она выходит и заказывает для меня обед. Когда она вернулась, она снова начала говорить о том, как переполнен дом. Она сказала:

— Вы можете или дойти до следующей станции Юттерон, или поехать на поезде немного назад. А у нас, как я сказала, все переполнено.

Я простил это наивное дитя и не хотел быть с ней слишком резким, но я, конечно, не собирался двинуться с места до следующего утра. Я находился на почтовой станции, и кровать для меня должна была найтись!

— Погода неподобная, — сказал я.

— Да, — ответила она. — Поэтому дойти до Юттерона — одно удовольствие. И недалеко, всего какая-нибудь миля.

Но это было уже слишком, я сказал строго и медленно:
— Для меня само собой разумеется, что вы мне добудете комнату на сегодняшнюю ночь; я не желаю идти дальше, я устал.

— Но раз все комнаты заняты! — возразила она.

— Это не мое дело.

С этим я опустил всей своей тяжестью на стул.

Впрочем, мне было жаль девушку, у нее не было такого вида, будто она делала мне затруднения лишь из дурного чувства. Выражение ее лица было честно, а ее ненависть к норвежцам казалась весьма умеренной.

— Вы можете постелить мне где угодно, хотя бы на этом диване, — сказал я.

Но оказалось, что даже диван уже занят!

Мне начало становиться страшно. Если придется идти еще добрую шведскую милю, то мне несдобровать; д о б р а я шведская миля практически бесконечна, это я уже знал.

— Ах, Господи, разве вы не видите, что у меня от ходьбы башмаки разорвались? — вскричал я. — Вы ведь не выгоните на улицу человека в такой обуви?

— Да, но обувь ваша не станет лучше завтра, — заметила она улыбаясь.

В этом-то она была права, и я не знал, что мне делать. В это мгновение дверь отворяется, и в комнату влетает еще одна девушка.

Она смеется чему-то, что с ней случилось, или тому, о чем она думает, и она открывает рот, чтобы рассказать об этом. Заметив меня, она ничуть не смущается, напротив, смотрит на меня долгим взглядом и в конце концов кивает мне даже. Затем она спрашивает вполголоса:

— В чем дело, Лотта?

И Лотта отвечает ей что-то, чего я не слышу, но я понимаю, что они шепчутся обо мне. Я сижу, смотрю на них и прислушиваюсь, как будто решается моя судьба. Тут они исподтишка взглядывают на мои башмаки, и я слышу, как они посмеиваются между собой. Вновь пришедшая дама качает головой и собирается уйти.

Когда она подошла уже к двери, она вдруг обернулась, как будто ей что-то пришло в голову, и сказала:

— Но я могу сегодня лечь с тобой, Лотта, тогда ему можно отдать мою комнату.

— Нет, — отвечает Лотта, — вам этого никак нельзя, фрекен.

— Да почему же, конечно, можно!

Пауза. Лотта размышляет:

— Ну, если вы хотите, фрекен, то... — И, обращаясь ко мне, Лотта продолжает: — Вот фрекен хочет уступить вам свою комнату.

Я вскакиваю, расшаркиваюсь и раскланиваюсь. Мне кажется, я сделал это очень изящно. Я поблагодарил фрекен и словесно, сказал, что она оказала мне любезность, подобной которой мне не случалось встречать в жизни, и в конце концов заявил, что сердце у фрекен такое же доброе, как красивы ее глаза! Затем я снова раскланялся и сделал это так же удачно.

Да, все это вышло у меня очень хорошо. Она покраснела и выскочила за дверь с громким смехом, и Лотта побежала за ней.

Я остался один и стал раздумывать. Дело обстояло очень хорошо; она засмеялась, покраснела и опять засмеялась; лучшего начала не могло и быть. Господи, какая она была молодая, едва ли ей было восемнадцать лет, ямочки на щеках и углубление на подбородке. На шее у нее не было ничего, даже кружев у ворота, только ленточка продернута. И при этом — мрачный, темный взгляд на этом милом лице. Я никогда не видел ничего подобного. Хорошо, и она смотрела на меня с интересом.

Час спустя я увидел ее во дворе; она уселась в один из пустых экипажей, сидит и хлопает бичом. Как она была молода и весела, — сидит и хлопает бичом, как будто экипаж запряжен. Я подхожу, мне приходит в голову мысль запрячься вместо лошади и повезти экипаж, я приподнимаю шляпу и собираюсь сказать что-то...

Вдруг она встает, высокая и гордая, как царица, с минуту смотрит на меня и выходит из экипажа. Я никогда этого не забуду; хотя у нее не было никакого основания так разгневаться, она была поистине великолепна, когда встала и вышла из экипажа. Я надел шляпу и, сконфуженный и удрученный, удалился потихоньку. Черт бы побрал эту выдумку — повезти экипаж!

Но с другой стороны: что такое с ней сделалось? Разве она не уступила мне только что свою комнату? К чему же эти фокусы? Это притворство, сказал я сам себе, она только делает вид, знаю я эти уловки, она хочет поиграть мною, — хорошо, я готов, пусть поиграет!

Я сел на лестнице и закурил трубку. Вокруг меня болтали торговцы, приехавшие на ярмарку; иногда я слышал, как в доме откупоривали бутылки и звенели стаканами. Барышню я больше не видел.

Единственное чтение, которое было со мной, — это карта Швеции. Я сижу, курю и раздражаюсь, наконец вынимаю карту из кармана и принимаюсь ее изучать. Так проходит несколько минут, в дверях появляется Лотта, она предлагает отвести меня в мою комнату, если я пожелаю. Уже десять часов, я поднимаюсь и иду за ней. В коридоре мы встречаем барышню.

Тут происходит нечто, что я запомнил до мельчайших подробностей: стены в коридоре свежеевыкрашены, но я этого не знаю, я отступаю в сторону перед барышней, когда мы встречаем ее, и тут-то происходит несчастье. Барышня в ужасе кричит:

— Масляная краска!..

Но слишком поздно, я уже прислонился левым плечом к стенке.

Она смотрит на меня в полной растерянности, потом смотрит на Лотту и говорит:

— Что же нам теперь делать?

Она так и сказала: «Что же нам теперь делать?» И Лотта отвечает, что мы это чем-нибудь ототрем, и разражается смехом.

Мы снова выходим на лестницу, и Лотта достает что-то, чтобы оттереть краску.

— Сядьте, пожалуйста, — говорит она, — а то мне не достать.

И я сажусь.

Мы начинаем болтать...

Ты можешь верить мне или нет, — я говорю тебе, что, когда я в этот вечер расстался с барышней, у меня были наилучшие надежды. Мы поговорили, и поболтали, и посмеялись по разным поводам, и я уверен, что мы добрых четверть часа сидели там на лестнице и болтали. Ну и что? Нет, я вовсе этим не хвастаюсь, но все же я не думал, чтобы молодая дама подарила мужчине целых четверть часа почти наедине, если бы она ничего этим не хотела сказать. Когда мы наконец расстались, она, кроме всего этого, сказала мне два раза «покойной ночи»; в конце концов она приоткрыла дверь немного, медленно сказала «покойной ночи» в третий раз и уже затем захлопнула дверь. Потом я услышал, что она и Лотта принялись весело хохотать. Да, мы все были в отличнейшем расположении духа.

Я направляюсь в свою комнату — е е комнату. Она была пуста, самая обыкновенная комната на почтовой станции, с голыми стенами, выкрашенными в синюю краску, с узкой низенькой кроватью. На столе лежал перевод «Царя из рода

Давидова» Инграма. Я лег и стал читать эту книгу. Я еще продолжаю слышать шушуканье и смех в комнате девушек. Какое прелестное, веселое существо; этот темный взгляд молодого лица! Как заразительно она смеялась, несмотря на то что казалась такой гордой!

Я погрузился в размышления; воспоминание о ней пылало мощно и безмолвно в моем сердце.

Наутро я проснулся оттого, что что-то твердое колело меня в бок — оказалось, что я спал вместе с «Царем из рода Давидова». Вставать, одеваться, девять часов!

Я спускаюсь вниз в столовую, и мне подают завтрак; о барышне и помину нет. Я жду полчаса, она не приходит. Наконец я спрашиваю Лотту самым тонким манером, куда девалась молодая дама.

— Да барышня уехала, — отвечает Лотта.

— Уехала? Разве барышня не здешняя?

— Нет, это барышня из господской усадьбы. Она уехала рано утром на поезде, ей надо было в Стокгольм.

Я умолкаю. Она, конечно, не оставила мне ни письма, ни записки; я был так огорчен, что даже не спросил ее имени, все стало мне безразлично. Нет, на женскую верность никогда нельзя рассчитывать.

Я отправляюсь в Гётеборг с усталым взором и раненым сердцем. Кто бы мог подумать: она, которая казалась такой честной и гордой! Хорошо, я перенесу это как мужчина; никто в гостинице не должен знать, как я страдаю...

Это было как раз тогда, когда Юлиус Кронберг выставил в Гётеборге свою большую картину — «Царица Савская». Как и все другие, пошел я посмотреть на эту картину, и, когда увидел ее, я был ею потрясен. Самое странное было то, что царица мне показалась удивительно похожей на мою барышню из усадьбы, — не тогда, когда она смеялась и шутила, а в то мгновение, когда она стояла во весь рост в пустом экипаже и уничтожала меня взглядом за то, что я хотел впрячься в него вместо лошади. И Бог видит, я вновь почувствовал этот взгляд всем своим сердцем! Картина совершенно лишила меня покоя, она слишком напоминала мне о моем потерянном счастье. В одну прекрасную ночь она вдохновила меня на создание моего известного художественного очерка — «Царица Савская», напечатанного в газете «Дагбладет» 9 декабря 1888 года. В этом очерке я писал о царице следующее:

«Это зрелая эфиопка, девятнадцати лет, стройная, соблазнительно-прекрасная, царица и женщина в одном лице...

Левой рукой она поднимает с лица покрывало и устремляет глаза свои прямо на царя. Темной ее не назовешь, даже черные ее волосы совершенно скрыты светло-серебристой диадемой, что надета на ней; она имеет вид европейки, которая путешествовала по Востоку и слегка загорела под дыханием жаркого солнца. Только темный цвет глаз выдает ее родину, этот мрачный и вместе с тем огненный взгляд, заставляющий зрителя содрогнуться. Эти глаза нельзя забыть, их будешь долго помнить и вновь видеть их перед собой во сне...»

О глазах — это сказано прекрасно; такого не напишешь, не почувствовав нечто подобное в своем сердце, — спросите кого угодно. И с того дня сердце мое всегда называло ту чудесную девушку с почтовой станции Бербю Царицей Савской.

II

Но этим все не кончилось, четыре года спустя она появляется вновь передо мной, вот не более недели тому назад.

Я еду из Копенгагена в Мальмё, я должен там навестить одного человека, этот человек ждет меня, — я рассказываю все так, как оно было. Я оставил свои вещи в гостинице Крамера, и мне там приготовили комнату; затем я выхожу, чтобы встретиться с человеком, который ожидает меня, но прежде я хочу прогуляться по направлению к железной дороге, чтобы собраться с мыслями. Тут я встречаю человека, с которым пускаюсь в разговор, я стою и как раз говорю что-то этому человеку, когда я вдруг вижу лицо в поезде, который вот-вот должен отправиться, и лицо это обращается ко мне, два глаза разглядывают меня, — Боже мой, это Царица Савская!

Я тотчас же вскакиваю в поезд, и через несколько секунд мы отъезжаем.

Да, это судьба. То, что я стою тут и по прошествии четырех лет вновь вижу ее и вскакиваю в отправляющийся поезд, в то время как багаж мой остается в гостинице, это судьба; от нее не уйдешь. Кстати, я оставил и пальто, у меня действительно была только дорожная сумка через плечо; и в таком виде я сел в поезд.

Я осматриваюсь, я попал в купе первого класса, на сиденьях — несколько пассажиров. Хорошо, я сажусь рядом с ними и устраиваюсь с сигарой и книгой. Куда повлечет меня судьба? Я поеду туда, куда едет Царица Савская, все дело в

том, чтобы уследить за ней; где она сойдет, там сойду и я, моей единственной задачей будет встретиться с ней. Когда вошел кондуктор и спросил у меня билет, билета у меня не было.

Но куда же я еду?

Этого я точно не знал, но...

Да, тогда мне надо заплатить до Арлефа, с доплатой лишних сорока эре. В Арлефе я должен взять билет дальше.

Я поступил, как сказал кондуктор, и с радостью отдал доплату.

В Арлефе я взял билет до Лунда: быть может, Царица Савская едет в Лунд в гости, я не буду терять ее из виду.

Но в Лунде она не вышла.

Теперь мне снова пришлось заплатить кондуктору до Лаккалэнга и еще сорок эре сверх того — всего уже восемьдесят. В Лаккалэнге я взял билет сразу до Хессলেখольма, чтобы быть уверенным, после чего уселся, испытывая нервное чувство от этого сложного путешествия. Меня раздражала и болтовня других пассажиров: какое мне, во имя Божие, дело до того, что в Гамбурге разразилась эпидемия ящура? Мои спутники были, очевидно, сельскими жителями, простыми шведскими скототорговцами, в течение двух с половиной часов они не говорили ни о чем, кроме ящура в Гамбурге. Да, это было действительно необычайно интересно! И кроме того — разве меня не ждет в Мальмё этот человек? Ладно, пусть ждет!

Но Царица Савская не вышла и в Хессলেখольме.

Тут я прихожу в бешенство, я плачу кондуктору до Балингслефа, опять с доплатой сорока эре — итого одна крона и двадцать эре, и, сцепив зубы, беру в Балингслефе билет прямо до Стокгольма. Это стоило мне сто восемнадцать крон наличными, черт меня побери, если не так! Но было ясно, что Царица Савская едет теперь в Стокгольм, — так же как в прошлый раз, четыре года назад.

Мы едем час за часом, я слежу за ней на каждой станции, но она не выходит. Я вижу ее в окне купе, и она внимательно наблюдает за мной; ах, она не утратила своих чувств ко мне, это я видел ясно. Но она была немного смущена и опускала глаза, когда я проходил мимо окна. Я не поклонился ей, я каждый раз забывал это сделать; если бы она не сидела взаперти в этом ящике — дамском купе, я бы, конечно, давно подошел к ней, напомнил бы о нашем старом знакомстве, о том, что я, прямо скажем, спал однажды в ее постели. Я бы порадовал ее тем, что спал отлично, до девяти часов. Как она похорошела за эти четыре

года, теперь она была еще больше, чем прежде, Царицей и Женщиной.

И час проходил за часом, и ничего не случилось, кроме того, что около пяти мы переехали корову; мы слышали, как захрустели кости, и остановились на минутку, чтобы осмотреть рельсы, а потом снова поехали. Мои два спутника принялись теперь обсуждать пароходное сообщение на Эресунде, и это опять было чрезвычайно интересно. Как я страдал, как страдал! И как — разве тот человек в Мальмё...

К черту человека из Мальмё!

Дальше, все дальше, мы проезжаем Эльмхульт, Лиаторп, Висланду. В Висланде Царица Савская выходит, и я ни на минуту не спускаю с нее глаз; ах так, она возвращается. Хорошо, мы едем дальше.

Таким образом мы доезжаем до Альфвесты, здесь пересадка на Кальмар.

Тут Царица Савская опять выходит; я стою и смотрю, но на этот раз она переходит в поезд на Кальмар. К этому я не подготовлен, я крайне удивлен и не успеваю ничего предпринять до последнего момента. Сломя голову влетаю в кальмарский поезд, он трогается.

В купе один-единственный человек, он даже не поднимает глаз, он читает. Я бросаюсь на сиденье, я тоже читаю. Спустя несколько минут я слышу:

— Билет!

Это новый кондуктор.

— Билет, хорошо! — говорю я и протягиваю ему свой билет.

— Этот не годится, — говорит он, — это Кальмарская линия.

— Не годится, вы сказали?

— На этой линии — нет.

— Да, но мне-то какое дело, если мне продали билет, который не годится?

— А вам куда надо?

— В Стокгольм, конечно, — отвечаю я. — Куда же, вы думали, я еду?

— Да, но этот поезд — на Кальмар, слышите, этот поезд идет в Кальмар, — говорит он сердито.

Что же, этого я не знал, но, во всяком случае, с его стороны было жалким педантством цепляться за подобные пустяки. Он, наверно, поступал так, потому что я норвежец, из политической враждебности. Этого я ему не забуду.

— Да, но что же нам теперь делать? — спрашиваю я.

— Вы сделаете вот что... Да вам куда же, собственно, надо? По этой линии вы в Стокгольм не попадете.

— Хорошо, тогда я поеду в Кальмар — я, собственно, и имел в виду Кальмар, — отвечаю я. — Стокгольм, собственно, меня никогда не привлекал; не могу сказать, что я стал бы занимать деньги, чтобы туда вернуться. — Эта проклятая Царица едет, значит, в Кальмар, и там будет конец моим мучениям.

— Тогда вы заплатите мне до Гемлы, и сорок эре доплаты, — говорит кондуктор. — А в Гемле вам придется взять билет до Кальмара.

— Но я только что заплатил сто восемнадцать крон, — возразил я. Но я все же заплатил, и еще эти сорок эре, — это, выходит, одна крона и шестьдесят эре дополнительно. Но терпению моему пришел конец, в Гемле я стремглав вбегаю на станцию и кричу в окошко кассы:

— Как далеко я могу проехать по этой линии?

— Как далеко? До Кальмара, — отвечают мне.

— Не могу ли я проехать дальше, разве невозможно проехать еще хоть немного дальше?

— Совершенно невозможно. Дальше — Балтийское море.

— Хорошо, билет до Кальмара!

— Какого класса?

Он спрашивает, какого класса! Этот человек явно не знал меня, ничего не читал из того, что я написал. Я ответил ему так, как он того заслуживал.

— Первого класса! — ответил я.

Я заплатил и занял свое место в поезде.

Наступила ночь. Мой неприятный спутник вытянулся на своем диване и закрыл глаза, молча, не бросив на меня и взгляда. Как мне убить время? Я не мог спать, я вставал каждую минуту, осматривал двери, открывал и закрывал окно, зяб, тяжело вздыхал. Вдобавок мне приходилось каждый раз, когда поезд останавливался, быть настороже из-за этой несчастной Царицы. Я начинал понемногу клясть ее.

Наконец-то настало утро. Мой спутник встал и выглянул в окно; затем он сел, совершенно бодрый, и принялся опять читать, по-прежнему не глядя на меня; казалось, его книге не будет конца. Он меня раздражал, я пел, я свистел, чтобы досадить ему, но ему ничто не могло помешать; я от души предпочел бы вернуться к разговорам о ящуре вместо этого бессловесного важничания.

В конце концов это стало нестерпимо, я спросил его:

— Позвольте спросить, куда вы едете?

— А, — отвечал он, — тут недалеко.

Это было все.

— Вчера мы переехали корову, — сказал я.

— Что вы сказали?

— Вчера мы переехали корову.

— Ах так.

И он снова стал читать.

— Продайте мне эту книгу, — сказал я вне себя.

— Книгу? Нет, — ответил он.

— Не продадите?

— Нет.

Тем дело и кончилось. Он даже не взглянул в мою сторону. Я впал в совершенное уныние от этого упорства. Собственно, и в этом была виновата эта злосчастная Царица — в том, что я встретился с таким человеком, — она поистине доставила мне много неприятностей. Но все будет забыто, когда я встречу с ней; ах, как я опишу ей все мои невзгоды, расскажу ей о том художественном очерке, о человеке, который ждал меня в Мальмё и которым я пренебрег, о моем путешествии, сначала по Стокгольмской линии, потом по Кальмарской, — да, фрекен! О, я, конечно, произведу на нее впечатление снова. И ни малейшего намека на эти несколько эре, на сто восемнадцать крон.

А поезд идет.

От скуки я начинаю глазеть в окно. Без конца видишь все одно и то же: лес, поля, пашни, мелькающие, как в танце, дома, телеграфные столбы вдоль полотна, и на каждой станции — все те же пустые товарные вагоны, и каждый вагон помечен словом «golfuta»¹. Что такое «golfuta»? Это не может быть ни номером, ни человеческим именем. Бог знает, может быть, «golfuta» — это большая река в Сконе, или фабричная марка, или даже религиозная секта! Но тут я вспомнил: «golfuta» — это определенная мера веса; если не ошибаюсь, в ней сто тридцать два фунта. И это старых добрых фунтов, почти сто тридцать два фунта в такой «golfuta», такая она тяжелая...

А поезд идет.

Как только может этот бессловесный болван сидеть так, час за часом, и читать, читать! Я бы за это время три раза успел прочесть такую книжонку, а он важничает, его прямо распирает от невежества, и он нисколько не стесняется. Его глупость превосходила все границы, и я не мог этого больше выдержать, вытянул шею, посмотрел на него и сказал:

¹ G o l f u t a (прав.: golvuta) (шв.) — «площадь пола», вместимость вагона.

— Что вы сказали?

Он поднял глаза и ошеломленно уставился на меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Что вы сказали?

Он совершенно не мог меня понять.

— Что вам нужно? — спросил он сердито.

— Что мне нужно? А вам что нужно?

— Мне? Мне ничего не нужно.

— И мне ничего.

— Так. Зачем же вы со мной заговариваете?

— Я? Разве я заговаривал с вами?

— Так, — сказал он и в ярости отвернулся.

Мы оба замолчали.

И проходит час за часом; наконец мы свистим перед Кальмаром.

Пришло время, сейчас будет битва! Я провожу рукой по щекам, — конечно, я небрит, всегда со мной так. Что за скверные порядки, когда на всей линии нет станции, где можно было бы побриться, чтобы выглядеть по-человечески в ответственный момент. Я не требую постоянных парикмахеров на каждой станции, но согласитесь, что это не мелочь — требовать, чтобы хоть на пятьдесят станций был один парикмахер. Таково мое последнее слово.

Тут поезд остановился.

Я тотчас же выхожу, я стою и вижу, что выходит и Царица Савская, но ее сразу окружает так много людей, что мне невозможно к ней пробиться. Какой-то молодой человек даже целует ее — брат, значит, он здесь живет, у него здесь дело, это к нему она приехала в гости! Через мгновение подъезжает экипаж, она садится, за ней — еще двое-трое, и они уезжают.

Я остаюсь стоять. Она уехала перед самым моим носом. Даже не задумалась нисколько. Ну что же, пока делать нечего, а если вдуматься, то я был ей чуть ли не благодарен за то, что она дала мне время побриться и почиститься, прежде чем я предстану перед ней. Теперь надо не терять времени!

В то время как я стою так, ко мне подходит носильщик и предлагает понести мой багаж.

Нет, у меня нет багажа.

Как, с о в с е м нет багажа?

Да, с о в с е м нет багажа, понял он меня теперь?

Но я не мог отделаться от этого человека, он хотел знать, поеду ли я дальше.

Нет, я дальше не поеду.

Я буду здесь жить?

Может быть, некоторое время. Есть ли здесь поблизости гостиница?

А что я тут собираюсь делать? Может быть, я агент или ревизор?

Еще один, который ничего моего не читал! Нет, я не ревизор.

Кто же я такой?

— Прощайте! — закричал я ему прямо в лицо и пошел. Этакая навязчивость. Я и сам найду гостиницу, если на то пошло. Однако мне надо было измыслить себе какое-то положение, выдумать дело, которым я якобы занимаюсь; было ясно, что если такой голодранец носильщик столь любопытен, то хозяин гостиницы будет гораздо хуже. Что же я буду делать в Кальмаре — официально, перед Богом и людьми? Какое-нибудь подходящее дело у меня должно быть и для того, чтобы не компрометировать Царицу.

И я отчаянно придумываю, что мне делать в Кальмаре. Даже в то время, как я нахожусь под бритвой парикмахера, этот вопрос не дает мне покоя; ясно одно: мне нельзя показываться в гостинице, пока я это не выясню.

— Есть у вас телефон? — спрашиваю я.

Нет, у парикмахера нет телефона.

— Не можете ли вы послать мальчика в ближайшую гостиницу заказать мне комнату? У меня нет времени самому пойти туда, у меня еще есть дела.

— Да, конечно.

Мальчика посылают.

Я пошел бродить по улицам, осмотрел церковь, гавань; шел довольно быстро, из страха, что меня кто-нибудь остановит и спросит, какие дела у меня в Кальмаре. Наконец я зашел в парк, бросился на скамью и предался размышлениям. Я был один.

Кальмар — что мне надо было в Кальмаре? Название казалось мне знакомым, я где-то читал о нем. Бог знает, было ли это что-то политическое, чрезвычайный риксдаг, заключение мира? Я попробовал: Кальмарский мир, мир в Кальмаре, — может быть, именно об этом я читал? Или это был Кальмарский параграф? Но после минутного размышления я сказал себе, что о Кальмарском параграфе я ничего не читал. Вдруг я вскакиваю; кажется, я нашел: Кальмарская битва, битва при Кальмаре — так же, как битва при Кальвинне или битва при Вёрте. Да, теперь я знаю. И я немедленно отправился в гостиницу. Если была битва при Кальмаре, то я буду изучать исторические места, это и будет моим

делом; тут находился корабль Нильса Юля, там — залетевшие издалека вражеские ядра взрывали землю, словно огород под капусту, там — Густав-Адольф пал на палубе линейного корабля. И Кольбейн Сильный спросил: «Что это такое громыхнуло?» — «Это Норвегия вырвалась из твоих рук!» — произнес Эйнар.

Но когда я подошел к подъезду гостиницы, я позорно повернул назад и отказался от моей теории относительно битвы. Никогда никакой битвы не было при Кальмаре, битва произошла на копенгагенском рейде! И я снова отправляюсь назад, в город. Положение мое рисовалось в мрачных тонах.

Я бродил весь день на голодный желудок. Я был совершенно измучен. К тому же было слишком поздно, чтобы зайти в книжную лавку и купить какие-нибудь книги по данному вопросу, потому что все книжные лавки были закрыты. Наконец я дотащился до человека, зажигавшего фонари.

— Извините, — спрашиваю я вежливо, — что такое произошло в свое время здесь, в Кальмаре?

Человек отвечает только: «Произошло?» — и смотрит на меня.

— Да, — говорю я, — мне так живо помнится, что здесь, в Кальмаре, произошло что-то в свое время. Это представляет значительный исторический интерес, потому мне это и хотелось бы узнать.

Мы стоим друг против друга.

— Где вы живете? — спрашивает он.

— Я приехал сюда исключительно для того, чтобы изучить это, — продолжаю я. — Мне это стоило порядочно денег, да, мне пришлось даже приплатить крону и шестьдесят эре, кроме ста восемнадцати крон, о которых я уже не говорю. Вы можете спросить кондукторов, если хотите.

— Вы из Норвегии?

— Да, я из Норвегии.

— Вы агент?

Как я ни был утомлен, мне пришлось снова бежать, как можно скорее; ведь я как раз и хотел узнать у этого человека, что я такое. В этом тоже была виновата Царица, во всем была виновата она, и я послал ее, мягко выражаясь, к черту за ее козни. Затем я снова направился в парк. Да, теперь я больше не видел спасения!

Я стою прислонившись к дереву, проходящие люди начинают на меня смотреть, я не могу больше продолжать так

стоять, мне надо тащиться дальше. Спустия три часа я очутился за городом, я осматриваюсь, я один, перед моими глазами возвышается черная громада. Я останавливаюсь, чтобы посмотреть на эту громаду, она похожа на гору с церковью на вершине. В то время как я стою, подходит человек, я останавливаю его и спрашиваю, что это такое за гора, по географии я ее не знаю, хотя я знаю очень много гор.

— Это замок, — отвечает он.

Замок, Кальмарский замок! Хотел бы я знать, не там ли произошло все то, что вертелось у меня в голове!

— Замок, конечно, в самом жалком виде разрушения и запустения по сравнению с прошлым, когда там происходили великие события? — спросил я.

— О нет, управляющий хорошо смотрит за ним, — отвечает человек.

— Кто там сейчас живет, я хочу сказать, какой король заключен там, в южном флигеле? Вертится у меня на языке, но...

— Ну, там теперь много оружия, мечей, древностей и всяких старых вещей...

Тут меня сразу осеняет идея: я мог приехать сюда, чтобы осмотреть коллекцию древностей в замке. Если бы у этого человека не было за спиной мешка, я бы бросился ему на шею, и я ясно помню, что осведомился о его жене и детях, прежде чем мы расстались. Около полуночи я наконец добрался до гостиницы.

Я нашел хозяина и сказал, что это я заказывал комнату, Я буду изучать здесь древности, сказал я коротко и сердито, я даже покупал старые вещи, чтоб было вам известно, это и есть мое занятие.

Хозяин удовлетворился этим объяснением и повел меня в мою комнату.

Проходит неделя, полная разочарований и напрасных усилий, целая неделя; Царица Савская не показывается. Я искал ее изо дня в день, повсюду, ходил справляться к почтмейстеру, совещался по этому поводу с несколькими полицейскими, исходил парк вдоль и поперек в часы гуляний, каждый день подходил к витринам фотографов, чтобы посмотреть, не появится ли она там; но все было напрасно. Я нанял двоих людей, чтобы сторожить день и ночь на вокзале, так что она не могла ускользнуть, и ждал развязки.

Тем временем мне приходилось ежедневно бывать в замке, смотреть собрание древностей; я списывал большие

листы бумаги заметками, считал пятна ржавчины на саблях и сломанных шпорах, заносил в свои записи все те трудные даты и надписи, которые находил на крышках ларцов и на картинах; да, я даже не поленился отметить мешок перьев, который однажды нашел среди древностей и который, как оказалось, принадлежал управляющему. Я продолжал свои изыскания с мужеством отчаяния, скрежеща зубами от злости; раз я начал искать Царицу Савскую, я не остановлюсь на полдороге, хотя бы мне грозило при этом стать настоящим исследователем древностей.

Я телеграфировал в Копенгаген, чтобы мне переслали мою корреспонденцию, и вообще стал устраиваться на зиму. Бог знает когда все это кончится, вот уже шесть дней, как я живу в гостинице. Когда наступило воскресенье, я нанял четверых мальчишек, чтобы они утром и вечером ходили за меня в церковь искать Царицу; но и это оказалось безуспешно.

Во вторник утром пришла наконец моя почта; этот вторник чуть совсем не доконал меня. Первое письмо было от того человека, который ждал меня в Мальмё: если я до сих пор не приехал, то, очевидно, я вообще не приеду, прощайте! Я почувствовал глубокий укол в сердце. Второе письмо, которое я вскрыл, было от одного друга, сообщавшего, что «Моргенбладет» и одна немецкая газета уличили меня в плагиате и доказали это цитатами. Я почувствовал еще один глубокий укол в сердце. В третьем письме был счет, — его я не стал читать, я не мог больше, я бросился на диван и устался прямо перед собой.

И все же я еще не испил чашу страданий до дна.

Стучат в дверь.

— Войдите! — кричу я угасающим голосом.

И входит хозяин, за ним старая женщина; у женщины в руках корзина.

— Извините, — говорит хозяин, — вы ведь покупаете старые вещи?

Я смотрю на него.

— Старые вещи? Я покупаю старые вещи?

— Вы же сами сказали.

И мне пришлось заставить себя выказать интерес к старым вещам. Да, совершенно верно, я действительно покупаю старые вещи; извините, что я не сразу понял, я был занят другими мыслями. Да, конечно, я покупаю всевозможные старые вещи. Пусть покажет свои сокровища.

И женщина открывает корзину.

Я всплескиваю руками от восхищения и заявляю, что хочу оставить себе все, до последней мелочи. Какая великолепно

ная спринцовка для ушей; хотелось бы знать, какой король пользовался ею последним? Да, это я узнаю, когда пороюсь в своих бумагах, это не к спеху. Сколько она просит за роговую ложечку? Три обгорелые трубки с головой Ябека я ни за что не выпущу из рук, так же как эту вилку. Сколько она просит за все это вместе?

Женщина задумывается.

Десять крон, полагает она.

Я дал ей десять крон, не торгуясь и не колеблясь, лишь бы отделаться от нее поскорей. Как только я ее спровадил, я побежал в парк, чтобы глотнуть воздуха. Нет, это уже было выше моих сил!

Нянька и ребенок сидят рядом со мной на скамейке и распевают, я взглянул на них, чтобы заставить замолчать. Минуту спустя по усыпанной песком дорожке медленно подходит какая-то пара, под руку. Я настораживаюсь, встаю, вглядываюсь, — это Царица Савская.

Наконец-то, наконец это она, Царица Савская!

Ее сопровождает господин, ее брат, тот самый, который поцеловал ее при встрече; они идут под руку и тихо разговаривают. Я приготовился, сейчас все решится, будь что будет! Я хотел начать с того, чтобы напомнить ей, как спал в ее постели, тогда она, конечно, меня вспомнит, а потом уж все пойдет само собой, брат поймет, что должен пройти вперед...

Я шагнул им навстречу.

Они оба с удивлением посмотрели на меня, и в эту минуту я запутался в своем вступлении. Я бормочу: «Фрекен... четыре года тому назад...» — и останавливаюсь.

— Что ему надо? — говорит господин и смотрит на нее. Затем он обращается ко мне и говорит то же самое: «Что вам надо?» И говорит он это довольно высокомерно.

— Я хочу, — ответил я, — я только хочу просить позволения приветствовать фрекен; какое вам до этого дело? Фрекен и я — старые знакомые, я даже спал в...

Царица перебивает меня и вскрикивает:

— Идем, идем!

Вот как, значит, она не хочет со мной знаться, она отрекается от меня! Меня охватывает гнев, я иду за парочкой, которая быстро удаляется от меня. Вдруг господин оборачивается, он видит, что я иду за ними, и становится на моем пути. Впрочем, вид у него был не слишком храбрый, видно было, как он дрожит; Царица продолжала идти, потом побежала.

— Что вам угодно, милостивый государь? — снова спросил господин.

— От вас мне ничего не надо, — говорю я, — мне просто хотелось поздороваться с фрекен, с той дамой, с которой вы гуляли, я прежде встречался с ней, мне хотелось просто из вежливости...

— Во-первых, фрекен вовсе не желает встречаться с вами, мне кажется, — отвечает он, — а во-вторых, она вовсе не фрекен, а фру, она замужем, она моя жена. Вот так!

— Она... что... она ваша жена?

— Да, она м о я ж е н а, — проревел он, — теперь вы поняли?

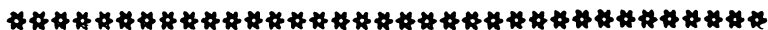
Его жена, его жена! Что же осталось рассказать? Я так и упал на скамью. Это был смертельный удар! Я закрыл глаза и дал молодчику уйти; какое мне было дело до него теперь, когда солнце моего счастья закатилось навеки! Я просидел на этой скамье несколько часов, предаваясь мрачнейшей печали.

Около полудня я отправился в гостиницу, заплатил по счету и незаметно прокрался на вокзал. После того как я прождал еще добрый час, пришел мой поезд, и я уехал — обедневший, удрученный, согбенный до земли страданием, которое грызло меня на всем протяжении обратной дороги.

Корзину с купленными мною старыми вещами я оставил в Кальмаре.

Вот видишь, что-нибудь всегда стоит на моем пути. Так близко к цели, как на этот раз, я никогда еще не был, — и все же потерпел неудачу. Я не жалею усилий, не отступаю ни перед каким путешествием, не боюсь любых расходов, и все же — все же ничего у меня не выходит. Это судьба.

С этим ничего не поделаешь.



ДАМА ИЗ «ТИВОЛИ»

Эта история произошла летом, когда в городском «Тиволи» выступал с концертом парижский хор. Я поднялся по Дворцовому холму, дойдя до вершины, повернул обратно и направился к «Тиволи».

Послушать парижский хор собралась огромная толпа желающих, я тоже пристроился где-то сбоку.

Неожиданно для себя я встретил там приятеля, с которым мы начали негромко разговаривать, тем временем изнутри послышалось пение, доносившееся до нас ветром. Внезапно меня охватила нервная дрожь, я почувствовал тревогу, я невольно ушел в себя и отвечал приятелю невпопад. На какое-то время спокойствие вернулось ко мне, но потом снова накатила эта необъяснимая дрожь.

Тут приятель спросил меня:

— Что это за дама смотрит на тебя?

Я тотчас обернулся. Прямо за моей спиной стояла женщина, ее удивительные, голубые с поволокой глаза уставились на меня не мигая.

— Понятия не имею, — ответил я.

Меня это разозлило. Глаза неотрывно следили за мной, я чувствовал, что затылок горит, и это было очень неприятно — словно два холодных металлических штыря безжалостно пронзали меня насквозь.

В том нервном состоянии, в котором я тогда находился, терпеть и дальше этот взгляд становилось невыносимо. Обернувшись еще раз и убедившись, что мы действительно не знакомы с этой дамой, я выбрался из толпы и отправился восвояси.

Несколько дней спустя я сидел с моим знакомым, молодым лейтенантом, на скамейке около университета, прямо напротив часов. Мы развлекались тем, что разглядывали молодых людей, фланировавших мимо нас.

И вдруг в толпе я заметил пару холодных с поволокой глаз, нацеленных прямо на нас, и тотчас узнал молодую даму из «Тиволи». Она не сводила с нас взгляда, когда проходила мимо, и лейтенант поинтересовался, не знаю ли я, кто это.

— Не имею понятия, — ответил я.

— Но с кем-то из нас она, очевидно, знакома, — сказал он и встал, — может быть, со мной.

А дама тем временем села на соседнюю скамейку. Непроизвольно мы сделали шаг в ее сторону, я дернул лейтенанта за рукав, уговаривая его идти дальше.

— Не говори ерунды! — сказал он. — Мы должны с ней поздороваться.

— Вот как, — только и сказал я и поплелся за ним.

Он поздоровался и представился.

— Разрешите присесть? — Не дождавшись ответа, он сел.

Он что-то говорил ей, она отвечала любезно, но рассеянно, вскоре мой приятель уже играл ее зонтиком, который как-то незаметно оказался у него в руках. Я же стоял рядом и, наблюдая за происходящим, чувствовал себя неловко, не зная, как себя вести. Мимо проходил мальчик с корзиной цветов. Лейтенант, который слыл специалистом по части хорошего тона, тут же окликнул его и купил несколько роз.

Не будет ли ему позволено прикрепить одну из них на грудь прелестной дамы? После слабых отговорок ему было позволено. Мой приятель хорош собой, и меня несколько не удивляло, что она принимала его ухаживания.

— Но ведь роза помята! — неожиданно воскликнула она, выдернула цветок из петлицы и стала в ужасе разглядывать его. Потом отшвырнула его от себя подальше и тихо добавила: — Похожа на мертвого ребенка.

Последние ее слова я передаю, может быть, не вполне точно, но этот ее жест я помню, как если бы это было вчера.

Лейтенант предложил прогуляться в Королевский парк. По дороге ни с того ни с сего дама стала рассказывать о каком-то ребенке, который теперь уже похоронен. Все это время мы с приятелем не проронили ни слова. Потом она заговорила про Гаустад и про то, как, должно быть, тяжело страдают люди, оказавшиеся там, если они не сумасшедшие.

— Да, — сказал лейтенант, — но, к счастью, такого в наши дни не случается.

— Увы, именно это случилось с матерью того младенца, — ответила женщина.

Лейтенант улыбнулся.

— Черт побери, — сказал он.

У нее был приятный голос, и говорила она как человек образованный, но я обратил внимание, что она сверх меры напряжена, близка к истерике, — глаза ее лихорадочно блеснули. В остальном, на мой взгляд, с ней все было в порядке. Однако следовать неожиданным поворотам ее мыслей, скачущих с одного предмета на другой, мне показалось утомительно, я терял нить разговора, она мне наскучила, и я попрощался. Я видел, что они пошли в глубь парка, но ни разу не обернулся, и что было потом, не знаю.

Прошла неделя. Однажды вечером, прогуливаясь по улице Карла-Юхана, я снова встретил даму из «Тиволи». Заметив друг друга, мы оба невольно замедлили шаг, и, не успев даже что-нибудь подумать, я уже шел рядом с ней.

Мы говорили о каких-то пустяках и не спеша брели по тротуару. Она мне назвала свою фамилию — это была известная в Христиании семья — и спросила мою. Я не успел ответить, как она положила мне руку на плечо и сказала:

— А впрочем, не утруждайте себя, я и так знаю.

— Да, — ответил я, — мой друг лейтенант всегда так услужлив. Интересно, как же он представил меня?

Но ее мысли уже куда-то унеслись, она показала в сторону «Тиволи» и воскликнула:

— Смотрите!

Человек на велосипеде взмывал в воздух и падал вниз, в море горящих огней. Аттракцион назывался «штопор».

— Подойдем поближе! — сказал я.

— Давайте найдем скамейку, — ответила она.

Я последовал за ней, мы пошли по Драмменсвейен и дальше в парк, где она выбрала самое укромное место. Мы сели.

Я попытался завязать разговор, но тщетно, она остановила меня вкрадчивым, умоляющим жестом: не буду ли я так любезен немного помолчать? «Охотно!» — подумал я и замолчал. Я молчал почти полчаса, затаив дыхание и ничем не привлекая к себе внимания. Она сидела неподвижно, в темноте светились белки ее глаз, и я видел, что она все время искоса поглядывает на меня. Под конец я почти испугался этого пронзительного, безумного взгляда и уже готов был встать и уйти, но поборол себя и только поднес руку к груди, чтобы достать часы.

— Уже десять, — сказал я.

Никакого ответа. Она неотрывно следила за мной. И вдруг спросила меня даже глазом не моргнув:

— Хватит ли вам мужества откопать труп ребенка?

Это невероятно поразило меня. Сомнений не оставалось: передо мной — душевнобольная, но одновременно просну-

лось любопытство и нежелание расставаться с ней. И потому я сказал, так же пристально глядя на нее:

— Труп ребенка? А почему бы и нет? Нет ничего проще, я вам помогу.

— Видите ли, дитя было похоронено заживо, — сказала она, — а мне очень хочется взглянуть на него еще раз.

— Ну разумеется, — ответил я. — Мы просто обязаны раскопать ваше дитя.

Я внимательно следил за ней. Она опять напряглась.

— Почему вы решили, что это мое дитя? — спросила она. — Я вам этого не говорила, я только сказала, что знакома с его матерью. Сейчас я вам все расскажу.

И это существо, которое в иных случаях было не способно вести связную беседу, принялось рассказывать длинную, загадочную историю, которая произвела на меня глубокое впечатление. Она говорила живо и непосредственно, очень проникновенно, в ее рассказе я не заметил недомолвок и несуразиц, и мне больше не приходило в голову, что она не в своем уме.

Молодая женщина — она ни разу не проговорила, что речь идет о ней самой, — некоторое время тому назад познакомилась с господином, к которому вскоре привязалась всем сердцем и с кем потом тайно обручилась. Они часто встречались — открыто в городе или тайком, в укромных местах; в условленный час они приходили друг к другу, то он приходил к ней, то она — к нему; иногда они встречались в темноте на той самой скамейке, на которой теперь сидели мы. Они совсем потеряли голову, и, естественно, в один прекрасный день дома узнали, что барышня в положении. Послали за домашним доктором — она назвала фамилию одного из наших известнейших практикующих врачей, — и по его рекомендации бедняжку отправили в провинцию, на попечение местной акушерки.

Время шло, родился ребенок. Их домашний доктор из Христиании тоже случайно оказался в этом городке, и не успела молодая мать прийти в себя, как ей сообщили, что ребенок умер. Он родился мертвым? Нет, он прожил несколько дней.

Но все дело в том, что ребенок не умер. Несколько дней его к матери не приносили и только в день похорон принесли в гробу. А он не был мертв, я вам точно говорю, он был жив, и щечки румяные, и пальчики на левой руке шевелились. Пока мать рыдала, ребенка забрали и похоронили. Всем заправлял доктор на пару с акушеркой.

Время шло. Как только бедняжка встала на ноги, ее увезли домой в столицу, еще не вполне окрепшую. Там она рассказала подругам о своем пребывании в провинции, и, поскольку мысль о родном дитяти не давала ей покоя, она не скрывала своих опасений, что ребенка похоронили заживо. Девушка страдала и мучилась, дома ею гнушались, и в довершение всех бед исчез ее возлюбленный, она нигде не могла его найти.

Однажды у ворот их дома остановилась повозка, ее позвали прокатиться. Она села, повозка понеслась, и возница привез ее... в Гаустад. Там ее встретил их домашний доктор. Зачем ее привезли в психиатрическую больницу? Неужели она и впрямь сошла с ума? Или просто кто-то испугался, что она слишком афиширует эту историю с ребенком?

Время шло, в Гаустаде для нее нашлось дело — играть для больных на фортепиано. Никаких отклонений у нее не обнаружили, кроме, может быть, чрезмерной апатии и вялости. Ее убеждали, что надо укреплять волю, быть тверже. Не правда ли, смешно, что они сами настраивали ее на то, чтобы она разоблачила их преступление против ее же ребенка! Но у нее не хватило характера. И вот она страдает и мучается, и ни один человек в мире не в силах ей помочь. «Может быть, вам удастся?» — спросила она меня.

Ее рассказ показался мне чересчур романтичным, но я чувствовал сердцем, что она сама в него верит. Столько доброты и тепла было в ее словах, что это меня убедило: она не могла лгать, по крайней мере в чем-то ее история должна соответствовать истине; может быть, у нее и в самом деле был когда-то ребенок. Может быть, она болела и ослабла настолько, что смерть ребенка прошла мимо ее сознания, и в какой-то лихорадочный момент в голову пришла мысль, что ребенка погубили. Поэтому я спросил:

— Дитя похоронено здесь?

— Нет, его похоронили там, где я лежала в клинике, — ответила она.

— Значит, это был ваш ребенок? — тотчас переспросил я.

На это она ничего не ответила, только быстро взглянула на меня, как-то настороженно и с опаской.

— Не волнуйтесь, я помогу вам, — сказал я тихо. — Когда приступим?

— Завтра, — живо отозвалась она, — завтра же, мой милый!

— Хорошо.

И мы договорились встретиться завтра вечером, часов в семь, перед отходом поезда.

Я пришел на вокзал и на перроне стал ждать назначенного срока, решительно настроенный исполнить данное мной обещание. Пробыло семь часов, она все не шла. Поезд тронулся, я остался на перроне и продолжал ждать; я ждал до восьми часов, она все не появлялась. И в тот самый момент, когда я совсем уже было решил отправиться домой, она пришла, да таким быстрым шагом, что, скорее, прибежала, и направилась прямо ко мне. Не обращая внимания на стоявших поблизости людей и даже не поздоровавшись, она сказала громко и внятно:

— Видите ли, вчера вечером я вас обманула, вы, разумеется, поняли, что я пошутила.

— Разумеется, — ответил я, смущаясь оттого, что моя собеседница говорит так громко, — разумеется, я понял.

— Правда? — воскликнула она. — Но ведь вы могли бы отнестись к этому вполне серьезно, и тогда — прости меня, Господи!

— Но что вы совершили такое, что Господь должен вас прощать?

— Ах, пойдите, — сказала она и потянула меня за рукав. — И больше ни слова об этом, прошу вас.

— Как хотите, — ответил я, — я к вашим услугам.

Мы пошли по улице Русенкранц мимо «Тиволи», пересекли Драмменсвейен и свернули в парк; я следовал за ней беспрекословно. Мы сели на нашу старую скамейку и говорили опять о разных пустяках; ее мысли, как всегда, совершали головокружительные скачки, но мы не скучали. Она даже посмеялась и спела какую-то песенку.

В десять часов она встала и попросила меня проводить ее. Я предложил ей свою руку, скорее в шутку, чем всерьез.

— Я не смею, — ответила она и посмотрела на меня без тени улыбки.

Мы подошли к «Тиволи» и прислушались — оттуда доносился шум. Человек-«штопор» опять взмывал в небо. Моя спутница вначале очень испугалась за него и так вцепилась в меня, словно это ей угрожала опасность свалиться с высоты. Затем ее вдруг охватило буйное веселье. Вдруг он сорвется — и улетит за забор! Или вдруг угодит на чей-нибудь столик, прямо в пивную кружку! Воображая эту сцену, она хохотала до слез.

Все в том же прекрасном настроении мы пошли домой, она опять что-то напевала. В темном переулке, у подъезда, к которому вело несколько черных железных ступеней, она вдруг остановилась и в ужасе отпрянула. Я встал рядом, не зная, что и подумать. Она показала на нижнюю ступеньку и хриплым голосом пояснила:

— Точь-в-точь как маленький гробик.

Тут я, признаться, рассердился. Я пожал плечами и произнес:

— Опять вы за свое!

Она посмотрела на меня. И медленно, очень медленно ее глаза наполнились влагой; из окна первого этажа пробивался свет, и я увидел, что губы ее дрожат. В отчаянье она заламывала руки. Но уже в следующее мгновение она шагнула мне навстречу и проговорила:

— Милый, дорогой мой, будьте ко мне снисходительны!

— Разумеется, — ответил я. И мы пошли дальше. У дверей своего дома она неожиданно взяла меня за руку и пожелала на прощание спокойной ночи.

Прошло несколько недель, и я ни разу не виделся с этой странной дамой. Я злился на себя за свою доверчивость и постепенно пришел к выводу, что она обманывала меня. Пусть так, решил я, но больше я на эту удочку не попадусь.

Однажды вечером я сидел в театре и смотрел «Союз молодежи». Во втором акте меня вдруг охватило беспокойство, что-то в воздухе было такое, что определенно действовало мне на нервы; такое же неприятное ощущение я испытывал в прошлый раз во время концерта парижского хора в «Тиволи». Я быстро обернулся — и точно: среди сидевших в зале я обнаружил уже знакомую мне даму с устремленным на меня лихорадочным взглядом.

Я готов был сквозь землю провалиться, я ввинчивался в кресло, изо всех сил следил за героем комедии — Даниелем Хейре, но меня не покидало неприятное ощущение оттого, что пара немигающих колючих глаз впиалась в мой затылок. Я встал и вышел из зала, не дождавшись конца спектакля.

Несколько месяцев меня не было в городе. И когда я вернулся обратно, никакой дамы из «Тиволи» словно никогда не существовало, я даже ни разу не вспомнил о ней. Она исчезла из моего сознания так же неожиданно, как появилась.

И вот недавно вечером — стоял сильный туман — я гулял по Торвгатен между Общественной столовой и аптекой «Слон». Я с интересом наблюдал, как окутанные туманом прохожие сталкиваются друг с другом. Уже около четверти часа я провел так, фланируя по кварталу туда и обратно, и подумал: последний раз дойду до аптеки и поверну домой. Пробило одиннадцать. Я подошел к аптеке. В светлом круге от ближайшего фонаря я увидел, что прямо на меня движется человек. Я немного посторонился — человек шагнул туда же; я метнулся обратно, резко влево, чтобы избежать столкновения, — и увидел, что на меня сквозь туман смотрят, не мигая, знакомые глаза.

— Дама из «Тиволи»! — прошептал я, камня.

С застывшим взглядом, с искаженным до неузнаваемости лицом она подошла ко мне вплотную; на одной руке у нее болталась муфта. Так прошло целое мгновение.

— Ребенок был мой! — словно убеждая меня в чем-то, сказала она, повернулась и исчезла в тумане.



НА УЛИЦЕ

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА

Я хожу взад и вперед по своей комнате и все думаю об этом случае с разносчиком газет. В сущности, мне до него нет никакого дела, я не так уж гадко поступил с ним, да и он не имел ничего против этого. А я теперь потратил два часа, чтобы отыскать его и загладить сделанное.

Это вышло так: я шел по улице Карла-Юхана. Было холодно и темно, но главное — темно, а было часов семь, вероятно. Я иду и смотрю вдоль улицы.

Вот на углу, у кондитерской Гюнтера, стоит мальчик, разносчик газет, и выкрикивает «Викинг». Он все повторяет одни и те же слова:

— Купите «Викинг»!

Я не сразу заметил это; только когда я отошел на несколько шагов, его слова дошли до моего сознания. Я оглянулся, посмотрел на него и подумал: ты вполне мог бы дать ему десять эре, от этого ты не станешь еще беднее. И я опустил руку в карман, чтобы достать монету. Я отмечаю, что моим первым побуждением было действительно дать мальчику десять эре. Но в то время как я опускаю руку в карман, меня одолевает благоразумие и я говорю сам себе: какая же это помощь — дать человеку десять эре; ведь даже десять крон не могут помочь сколько-нибудь заметно, это только ухудшит положение вещей, только развратит и так далее. Я пошел своей дорогой, предоставив мальчику стоять.

Я дошел до самого университета и той же дорогой вернулся назад. У окна книжного магазина Каммермейера я останавливаюсь и смотрю на выставленные книги, и в то время, как я стою так, повернувшись спиной к улице, я опять слышу голос газетчика. Он был как раз позади меня. Он спорит с двумя пьяными матросами в фуражках из-за номера «Викинга», который они случайно порвали. Матросы не

хотели платить за порванный номер, и мальчик заплакал или притворился, что плачет.

Я подхожу к ним и узнаю, в чем дело; затем я строго говорю матросам, что, конечно, их долг — заплатить мальчику. Но это не помогло, они посмеялись надо мной и сказали:

— Послушайте-ка его!

Это ужасно меня рассердило, и я стиснул зубы.

А я когда-то получил в подарок большую круглую булавку для галстука, похожую на что угодно; она так велика, что может сойти за полицейский жетон или за какой-нибудь тайный значок, и эту булавку я всегда ношу на левой стороне груди, под пальто. И вот теперь, когда эти пьяные матросы забавляются разорванным номером «Викинга» и отказываются за него платить, мне вдруг приходит в голову дерзкая мысль: я поворачиваюсь к шутникам, распахиваю пальто и показываю им мою странную булавку. Мы смотрим с минуту друг на друга; затем я говорю холодно и твердо:

— Заплатите или следуйте за мной!

Это помогло. За «Викинг» было заплачено, и мы, четверо, спорившие из-за газеты, пошли всякий своей дорогой. Мальчик вытер глаза и пошел по Карла-Юхана в одну сторону, я — в другую. Матросы, пошатываясь, побрели в сторону «Тиволи».

У почты я повернул и снова пошел по улице. Мои мысли все еще были заняты газетчиком. Я думал: ты помог мальчишке получить свои деньги, он тебе, конечно, благодарен за это и не станет тебя больше окликать, если ты его встретишь; у него есть чувство такта, может быть, он получил хорошее воспитание.

Около «Гранда» я увидел его опять. Он стоит под самым фонарем, так что я ясно вижу его, и я говорю себе, приближаясь к нему, что, как только он заметит меня, он замолчит как убитый, пока я не пройду мимо. Я прохожу как можно ближе к фонарю, чтобы дать ему возможность узнать меня.

Я ошибся в расчете. Он не сделал никакой разницы между мной и любым другим, он протянул мне газету и сказал, что я должен купить «Викинг».

Я прошел мимо него молча и обиженно. Я горько ошибся в нем; это был, конечно, всего лишь мальчишка из Вики, жалкий уличный мальчишка, который уже курит табак и «теряет» свою тетрадь с отметками, когда там стоят плохие баллы. Одним словом, я имел дело с настоящим маленьким мошенником. Я очень досадовал на него, когда пошел даль-

ше, и почувствовал в душе, что поступил с ним по заслугам, не дав ему тех десяти эре.

Теперь не хватало только, чтобы он окликнул меня в третий раз! Он был способен на это, ведь я имел дело с нахальным мальчишкой. И все же — только этого не хватало!

Около университета я опять повернул. Теперь я начал рассчитывать, где я, вероятнее всего, встречу мальчишку. Я хотел устроить так, чтобы встретиться с ним на ярко освещенной части улицы, чтобы дать ему еще раз возможность узнать меня. Может быть, он не рассмотрел меня по-настоящему около «Гранда», я не мог быть в этом уверен. Я так долго иду и размышляю по этому поводу, что я, должен, к стыду своему, сознаться, совсем разнервничался и стал волноваться глупейшими предположениями. А вдруг, думал я, мальчик просто ушел домой! В таком случае я напрасно ломал голову над всеми своими расчетами. Бог знает, не повернул ли он и не идет ли он впереди меня, вместо того чтобы идти мне навстречу.

И представить только: я, старый человек, зашагал быстрее, прямо-таки заспешил, единственно для того, чтобы дать случай несчастному газетчику предложить мне «Викинг» еще раз, если он осмелится на это.

Около магазина Блумквиста я нахожу его преспокойно стоящим на решетке перед окном, озябшего, с поднятыми плечами и руками, засунутыми в карманы панталон. Изредка он выкрикивает «Викинг», обращаясь к проходящим мимо.

Он уже не вынимает рук из карманов и не протягивает газет.

Я подхожу, я прохожу мимо него как можно ближе, между нами не больше двух локтей, и он видит меня совершенно ясно в свете фонаря диорамы. И немедленно он выпрямляется, смотрит мне прямо в лицо, поднимает вверх свою пачку газет и говорит, как будто между нами ничего не произошло:

— Купите «Викинг»!

Я остановился. Я так напряженно ждал развязки этого испытания, что сердце мое сильно забилося, когда он произнес эти слова.

И тут мне пришла в голову глупейшая мысль. Мальчишка совершенно хладнокровно насмеялся надо мной и три раза подряд предложил мне «Викинг»; я был поражен и обозлен и в самых суровых выражениях, какие только мог найти, стал упрекать его в том, что он не оставляет людей в покое. Он не отвечал, но продолжал по-прежнему присталь-

но смотреть на меня; это уже было похоже на ожесточение. Тут-то и пришла мне в голову эта мысль: я вынул из кармана монету в полкроны, подержал ее перед самым носом мальчишки и уронил между прутьев железной решетки, на которой он стоял. Едва сделав это, я вынул из кармана еще полкроны, показал ему и спустил туда же.

— Пожалуйста, — сказал я злорадно, — достань-ка их теперь оттуда, чертенок, и оставь меня в покое.

Решетка сильно обмерзла, и я чувствовал удовлетворение при виде того, как мой мучитель возился с прутьями, чтобы добраться до денег. Временами его пальцы пристывали к мерзлomu железу. Я видел также, что он поранил себе запястье, но он с тем же рвением трудился, чтобы достать эти две монеты. Он не хочет отступать, он засучивает рукав и протискивает руку между решеткой и стеной. Рука у него была слабая и худенькая.

Наконец ему удалось схватить одну из монет.

— Вот, одну достал, — говорит он радостно.

Вытаскивая руку, он сдирает о стену кожу с суставов. Он смотрит на меня, серьезно ли я хочу оставить ему эти деньги, все эти деньги, и так как я ничего не говорю, он оставляет их себе и принимается доставать вторую монету. Он снова протискивает руку в щель и тянется пальцами к этому великому сокровищу. Его усердие великолепно, он водит рукой туда и сюда вдоль щели, он даже высовывает в своей беспомощности язык, как будто это может помочь.

— Была бы у меня только щепка, я бы ее подвинул к себе, — говорит он. И одновременно с этим он поднимает голову и смотрит на меня.

Не ждал ли он от меня помощи? Не думал ли хитрый мальчишка, что я принесу ему щепку для этого?

— Я принесу тебе щепку, — говорю я. — Но не для того чтобы помочь тебе, так и знай. Я принесу тебе такую короткую щепку, что ты ею все равно ничего не сделаешь. Подожди немного, я сейчас.

— Нет, не стоит, — отвечает он вдруг.

Он роется у себя в кармане и вытаскивает заржавленный складной нож, которым и начинает орудовать. Он держит его двумя пальцами и дотягивается им до монеты. Медленно и осторожно подвигает он монету все ближе к стене, к щели.

Он сумеет достать монету таким образом, этот маленький плут раньше не успокоится. Я с большим неудовольствием видел, что ему действительно удалось пододвинуть монету достаточно близко, и я слышал, как он сказал:

— Ну, теперь недолго осталось.

Я оглянулся. Целая толпа стояла вокруг и наблюдала за мальчиком и за мной. Тогда я резко повернулся на каблучках и пошел своей дорогой.

Но через час я снова бродил по улице Карла-Юхана и разыскивал того же мальчишку. Его нигде не было видно. Я держал в руке датскую монету в две кроны и долго искал его, я хотел помириться с ним и дать ему немного денег на рукавицы. Ну да он, может быть, купил бы на эти деньги табаку, а то даже и пропил бы их; было бы просто грешно давать ему что-либо. С этими мыслями я вернулся домой.

Это было вчера вечером.

Но сегодня, как уже было сказано, я снова хожу и думаю о газетчике. Я вспоминаю его жалкую руку и несколько капель крови на суставах пальцев. И я вижу перед собой всю фигурку этого маленького мошенника, когда он лежал животом на железной решетке и, высунув язык, тянулся пальцами за двумя серебряными монетами.



КОЛЬЦО

Я видел однажды в обществе влюбленную молодую женщину. Ее глаза были синими и блестящими, как никогда ранее, и она никак не могла скрыть своих чувств. Кого любила она? Того молодого господина, там у окна, хозяйского сына, человека в мундире и с львиным голосом. И, Боже мой, с какой любовью смотрели ее глаза на молодого человека, и как беспокойно двигалась она на стуле!

Когда мы ночью возвращались домой, я сказал ей, потому что я так хорошо знал ее:

— Какая ясная, какая чудесная погода! Тебе было весело сегодня вечером? — И чтобы предупредить ее желание, я снял свое обручальное кольцо с пальца и сказал еще: — Посмотри, твое кольцо сделалось мне тесно, оно жмет мне. Что, если ты дашь его расширить?

Она протянула руку и прошептала:

— Дай мне его, его можно будет расширить.

И я отдал ей кольцо.

Месяц спустя я встретился с нею вновь. Я хотел было спросить ее о кольце, но не спросил. Время терпит, подумал я, не надо ее торопить, пусть пройдет еще месяц.

Тут она говорит, опустив глаза:

— Да, правда, — кольцо. Такая беда, я его запрятала куда-то, я его потеряла. — И она ждет моего ответа. — Ты не сердись на меня за это? — спрашивает она с беспокойством.

— Нет, — ответил я.

И, Боже мой, с каким легким сердцем ушла она, потому что я не сердился на нее за это!

Так прошел целый год. Я снова вернулся к старым местам и шел однажды вечером по знакомой, такой знакомой мне дороге.

И вот мне навстречу идет она, и глаза у нее еще более синие и еще более блестящие; только рот ее стал такой большой и губы побледнели.

Она воскликнула еще издали:

— Вот твое кольцо, твое обручальное кольцо! Я нашла его снова, мой любимый, и отдала его расширить. Теперь оно больше не будет тебе жать.

Я посмотрел на покинутую женщину, на ее большой рот и на бледные губы. И посмотрел на кольцо.

— Ах, — сказал я и поклонился ей низко-низко, — как не везет нам с этим кольцом. Теперь оно стало мне слишком просторно.



СОВЕРШЕННО ОБЫКНОВЕННАЯ МУХА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ

Наше знакомство началось с того, что она влетела однажды в раскрытое окно, пока я сидел и писал, и завела танец вокруг моей головы. Очевидно, ее привлекал запах спирта от моих волос. Я отмахнулся от нее и раз, и другой, но она не обращала на это внимания. Тогда-то я взялся за ножницы для бумаги.

У меня есть такие ножницы для бумаги, большие и чудесные, я пользуюсь ими, чтобы чистить трубку или как каминными щипцами; я даже вбиваю ими гвозди в стену; в моей опытной руке это страшное оружие. Я помахал ими несколько раз в воздухе, и муха улетела.

Но немного спустя она вернулась назад и начала тот же танец. Я встал и передвинул стол к двери. Муха прибыла следом. Сыграю я с тобой шутку, подумал я. И я тихохонько пошел и смыл спирт со своих волос. Это помогло. Муха довольно сконфуженно села на ламповый абажур и не двигалась.

Так все шло хорошо довольно долгое время, я продолжал работать и успел много сделать. Но постепенно это стало слишком однообразным — все время видеть эту муху, каждый раз, как поднимаешь глаза. Я рассмотрел ее, это была самая обыкновенная муха средней величины, хорошо сложенная, с серыми крыльями. «Шевельнись-ка чуточку», — сказал я. Она не шевелилась. «Прочь», — сказал я и замахнулся на нее. Тогда она взлетела, облетела кругом комнаты и опять вернулась на абажур.

Отсюда, собственно, и начинается наше знакомство. Я проникся уважением к ее стойкости: чего она хотела, того она хотела; она тронула меня также своим выражением, она склонила голову набок и печально смотрела на меня. Чувства наши сделались взаимными, она поняла, что я проникся к ней симпатией, и повела себя соответственно, она становилась все более развязной. Уже днем, когда я должен был

выйти, она полетела впереди меня к двери и пыталась мне в этом помешать.

На следующий день я встал в положенное время. Как раз когда я, кончив завтракать, собирался начать работу, я встретил муху в дверях. Я кивнул ей. Она прожужжала несколько раз вокруг комнаты и опустилась на мой стул. Я вовсе не приглашал ее садиться, и стул был мне нужен самому. «Прочь», — сказал я. Она поднялась в воздух на несколько вершков и снова опустилась на стул. Тогда я сказал: «Сейчас я сяду». Я сел. Муха взлетела и уселась на моей бумаге. «Прочь», — сказал я. Никакого ответа. Я подул на нее, она расселась и не желала удалиться. «Нет, без взаимного уважения друг к другу долго так продолжаться не может», — сказал я. Она выслушала меня, подумала, но решила все же остаться сидеть. Тогда я снова взмахнул ножницами; окно было открыто, это я не рассчитал, и муха вылетела.

Несколько часов ее не было. Все это время я ходил и предавался досаде, что сам же выпустил ее. Где-то она теперь? Кто знает, что могло с ней приключиться? Наконец я уселся на свое место и собрался начать работу, но я был полон мрачных предчувствий.

Тут муха вернулась. Что-то скверное прилипло к ее задней лапке. «Ты лазала в грязь, животное, — сказал я, — фу!» Но тем не менее я был рад, что она вернулась, и хорошенько закрыл окно. «Как ты можешь пускаться в такие прогулки!» — сказал я. У нее был такой вид, как будто она злорадствует и говорит мне: «бэ-э!», потому что совершила эту прогулку. Я еще никогда не видел, чтобы муха так злорадствовала, она заразила меня, я тоже сказал: «бэ-э!» — и от души рассмеялся. «Ха-ха, видел ли кто-нибудь такую проказницу муху! — сказал я. — Иди-ка сюда, я тебе немножко пощечку под подбородком, шельма ты этакая».

Вечером она испробовала свою старую уловку и хотела загородить мне дверь. Я набрался мужества и употребил свою власть. Очень хорошо, даже отлично, что она меня любит, но удерживать меня каждый вечер дома — это у нее не получится. И я силой протиснулся мимо нее. Я слышал, как она бесится там внутри, и крикнул ей: «Сама теперь видишь, как хорошо сидеть в одиночестве! Прощай! Сиди себе там».

В последующие дни эта маленькая дрянная муха самым различным образом испытывала мое терпение. Если ко мне кто-нибудь приходил, она ревновала и своей неприветливостью изгоняла посетителей. Когда я упрекал ее за такое поведение и хотел дать ей взбучку, она в головоломном вит-

ке устремлялась прямо с пола на потолок и усаживалась там, так что у меня голова начинала кружиться. «Ты упадешь!» — кричал я ей. Но мои предостережения ничего не давали. «Ну и пожалуйста, сиди себе там наверху», — говорил я и поворачивался к ней спиной. Т о г д а она спускалась вниз. О да, это действовало безошибочно, если я не обращал на нее внимания, она проносилась перед самым моим носом и хлопалась прямо на мою рукопись. Здесь она начинала разгуливать, как будто у меня в доме не было ножниц. «Обходишь с ней все-таки по-хорошему», — думал я. И самым дружеским тоном я говорил: «Не ходи ты здесь и не пачкайся в чернилах; ведь я же тебе только добра желаю». Она была глуха к моим словам. «Говорил я или нет, чтобы ты не ходила по этой бумаге! — повторял я. — Это грубая бумага, для черновиков, ноги можно занозить». Ах нет, этого она, видимо, не боялась. «Слыхано ли подобное упрямство, — кричал я раздраженно, — разве в этой бумаге мало щепок?» Куда там, никаких щепок она не замечала. «Ну и ступай ко всем чертям, — отвечал я, — я возьму другой лист». Но когда я брал другой лист, она уходила прочь.

Так проходили дни и недели. Мы привыкли друг к другу, работали вместе на разных листах, делили радости и печали. Причуды ее были бесчисленны, но я их терпел. Она самым отчетливым образом дала мне понять, что не выносит сквозняка, и я держал окна и двери закрытыми ради нее. Тем не менее часто бывало, что ей вдруг приходило в голову броситься вниз с потолка — и прямо в оконное стекло, чтобы разбить его. «Если у тебя есть дела снаружи, пожалуйста, этой дорогой», — говорил я. И я открывал перед ней дверь. Ну нет, она не собиралась выходить. «Хочешь ты выйти или нет? — спрашивал я. — Раз, два, три!» Никакого ответа. Тогда я в бешенстве захлопывал дверь.

Вскоре мне пришлось пожалеть о своей вспыльчивости.

Однажды муха исчезла. Она подстерегла утром, когда служанка вошла в комнату, и выскользнула наружу. Я понял, что это была ее месть, и долго размышлял, что мне теперь делать. Я вышел во двор и прокричал, что, мол, прошу покорно, пусть не возвращается, я без нее скучать не буду. Это не помогло, мне не удалось ее выманить, а мне ее недоставало. Я открыл все, что можно было открыть в моем доме, и выложил свою рукопись на окно, на милость ветра и непогоды; она должна была увидеть, что мне ничего для

нее не жаль. Я расспрашивал о мухе свою квартирную хозяйку, я снова вылил массу спирта себе на волосы, и манил ее, и называл своим лучшим другом и своей придворной мухой, чтобы возвеличить ее, — все напрасно.

Наконец, утром следующего дня, она вернулась. Она явилась не одна, она притащила с собой любовника с улицы. От радости, что я вновь вижу ее, я простил ей все и даже довольно долго терпел ее возлюбленного. Но что слишком, то слишком — всему есть предел. Сперва они уселись, чтобы посылать друг другу нежные взоры и тереться лапками, но вдруг любовник бросился на нее таким образом, что это заставило меня покраснеть. «Что это вы делаете у всех на глазах! — сказал я и стал их стыдить: — Хе, вырасти не успели, а туда же!» Это она сочла оскорблением, она вскинула голову и ясно дала мне понять, что я просто-напросто ревную. «Я ревную! — присвистнул я. — Ревную вот к этому! Ну, знаешь что!» Но она еще выше вскинула голову и повторяла свое. Тут я встал и произнес следующие слова: «С тобой я не хочу препираться, это противно моему рыцарскому чувству; но вышли против меня своего жалкого любовника, его я встречу достойно». И я схватил ножницы.

Тогда они начали издеваться надо мной. Они сидели на углу стола и смеялись так, что тряслись от хохота, они, казалось, говорили: «Ха-ха, а нет ли у тебя ножниц побольше, ножниц для бумаги чуть побольше!» — «Я покажу вам, что дело не в оружии, — ответил я. — Я выйду против этого молодчика с жалкой линсйкой в руке». И я взмахнул линейкой. Они хохотали все больше и больше и выказывали мне свое презрение самым явным образом. «Что это, вы опять начинаете!» — сказал я угрожающе. Но они не обратили на меня никакого внимания, мгновение не казалось им роковым, они приближались друг к другу с бесстыдными телодвижениями и уже готовы были снова обняться. «Вы этого не сделаете!» — закричал я им. Но они сделали. Тогда мое долготерпение кончилось, я поднял линейку, и она упала как молния. Что-то хрустнуло, что-то потекло, мой меткий удар положил их обоих на месте бездыханными.

Так окончилось это знакомство.

Это была всего лишь маленькая обыкновенная муха с серыми крыльями. И ничего в ней не было особенного. Но она доставила мне немало приятных минут, пока была жива.



РАБЫ ЛЮБВИ

I

Это написано мной собственноручно. Написано сегодня, чтобы облегчить душу. Я потеряла работу, потеряла радость жизни. Потеряла все. Я служила в кафе «Максимилиан».

Молодой человек в сером костюме каждый вечер приходил к нам вместе с двумя друзьями, и они садились за один из моих столиков. В кафе бывало так много посетителей, и у всех у них находилось доброе слово для меня — только не у него. Он был высок, худощав, с мягкими черными волосами и голубыми глазами, которые иногда останавливались на мне. Едва заметный легкий пушок пробивался над его верхней губой.

Видно, он с самого начала не был ко мне расположен.

Он приходил каждый вечер в течение недели. Я привыкла к нему, и, когда его не было, мне словно чего-то не хватало. И вот однажды он совсем не пришел. Я места себе не находила, обошла все кафе и вдруг увидела его за столиком позади одной из больших колонн, у другого входа. Он сидел за столиком вместе с актрисой из цирка. На ней было желтое платье и длинные перчатки выше локтя. Она очень молода, и у нее прекрасные карие глаза, а у меня глаза голубые.

Я постояла немного, стараясь уловить, о чем они говорят. Она в чем-то упрекала его, говорила, что он ей надоел, просила его уйти. Матерь Божия, молилась я, хоть бы он пришел ко мне!

На другой день он появился вечером, как обычно, со своими друзьями, и они сели за один из моих столиков. А всего у

меня их пять. Я не бросилась к нему тотчас же, как бывало прежде, я покраснела и сделала вид, что не заметила его. Тогда он подозвал меня.

Я сказала:

— Вас не было здесь вчера.

— Обратите внимание, — сказал он своим друзьям, — как стройна наша официантка, как она прелестна.

— Пива? — спросила я.

— Да, — ответил он.

Я не шла, я летела за тремя кружками.

II

Прошло несколько дней.

Как-то раз он протянул мне визитную карточку и сказал:

— Отнесите ее той...

Не дослушав, я взяла карточку и отнесла желтой даме.

По дороге я прочла его имя: Владимир Т***.

Когда я снова подошла к его столику, он вопросительно взглянул на меня.

— Я отдала ей, — сказала я.

— Ответа нет?

— Нет.

Он дал мне марку и, улыбнувшись, сказал:

— Когда нет ответа — это тоже ответ.

Весь вечер он сидел, не сводя глаз с этой дамы и ее спутников. Часов в одиннадцать он встал и подошел к ее столику. Она встретила его холодно, но двое ее спутников, наоборот, разговаривали с ним, задавали ему издевательские вопросы и хохотали. Он вернулся очень скоро, через несколько минут, и я обратила его внимание на то, что один из карманов его весеннего пальто промок от пива. Он тут же снял пальто, резко повернулся и гневно посмотрел на столик дамы из цирка. Я, как могла, привела пальто в порядок, и он улыбнулся мне:

— Спасибо, раба.

Я помогла ему надеть пальто, украдкой погладила его по спине.

Он сидел, глубоко задумавшись. Один из его друзей заказал еще пива, и я взяла кружку. Хотела взять и кружку Т***.

— Нет, — сказал он и положил свою руку на мою.

От его прикосновения моя рука бессильно повисла, он заметил это и сразу же отдернул руку.

Вечером я молилась за него, стоя на коленях у кровати. И, счастливая, целовала свою руку, к которой он прикоснулся.

III

Однажды он подарил мне цветы, целую охапку цветов. Он купил их у цветочницы сразу, как только вошел в кафе, они были свежие, пунцовые — огромный букет, почти вся ее корзина. Он завалил ими столик, за который сел. На этот раз он был один. Как только выпадала свободная минутка, я стояла, притаившись, за колонной, все смотрела на него и думала: его зовут Владимир Т***.

Так прошло довольно много времени. Он беспрестанно глядел на часы.

Я спросила:

— Вы кого-нибудь ждете?

Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и вдруг ответил:

— Нет, я никого не жду. Кого мне ждать?

— А я подумала, что, быть может, вы кого-нибудь ждете, — опять сказала я.

— Подойдите, — сказал он в ответ. — Это вам.

И он дал мне всю охапку цветов.

Я хотела поблагодарить, но голос изменил мне, и я лишь прошептала «спасибо». Задыхаясь от счастья, я стояла у буфета и не помнила, что мне надо заказать.

— Что вам? — спросила буфетчица.

— А вы не знаете? — ответила я вопросом.

— Откуда мне знать? Вы что, рехнулись?

— Вы не знаете, от кого я получила эти цветы? — спросила я.

Мимо прошел управляющий.

Я услышала, как он сказал:

— Вы забыли подать пиво господину с деревянной ногой.

— Мне подарил их Владимир, — сказала я и поспешила с пивом к столикам.

Т*** не ушел. Когда он наконец поднялся, я снова поблагодарила его. Он остановился и сказал:

— Собственно, я купил их не вам.

Ну что ж. Может быть, он и купил их для другой.

Но подарил-то мне. Цветы получила я, а не та, которой он их купил. И он разрешил мне поблагодарить его. Спокойной ночи, Владимир.

IV

На другое утро шел дождь.

Какое платье мне надеть сегодня — черное или зеленое? — думала я. Зеленое. Оно новое, поэтому я надену его. Я была так счастлива.

У остановки трамвая под дождем стояла женщина. У нее не было зонта. Я предложила ей свой, но она отказалась. Тогда я закрыла его. «Пусть она мокнет не одна», — подумала я.

Вечером Владимир пришел в кафе.

— Благодарю вас за вчерашние цветы, — гордо сказала я.

— Какие цветы? — спросил он. — Не говорите об этих цветах.

— Я только хотела поблагодарить вас, — сказала я.

Он пожал плечами и сказал:

— Я люблю не вас, раба.

Он любит не меня, ну что ж. Я это знала и не страдала от этого. Но я видела его каждый вечер, он садился за мой, а не за другой столик, и я, я подавала ему пиво. Добро пожаловать, Владимир!

На следующий вечер он пришел поздно. И спросил:

— У вас есть деньги, раба?

— Нет, к сожалению, — ответила я, — я бедная девушка.

Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал:

— Вы меня не поняли. Мне нужно немного денег до завтра.

— Дома у меня есть сто тридцать марок.

— Дома, не здесь?

Я ответила:

— Подождите четверть часа, кафе закроется, и я их вам принесу.

Он подождал четверть часа, и мы вышли вместе.

— Дайте мне только сто марок, — сказал он.

Он, не стесняясь, шел все время рядом со мной, не впереди меня, не сзади, не то что другие важные господа.

— У меня крохотная каморка, — сказала я, когда мы подошли к моему дому.

— Я не поднимусь к вам, — сказал он. — Я подожду здесь. Он ждал меня.

Когда я вернулась, он сосчитал деньги и сказал:

— Здесь больше сотни. Я даю вам десять марок на чай.

Да-да, слышите, я хочу вам дать на чай десять марок.

Он протянул мне десять марок, сказал «спокойной ночи» и ушел. Я видела, как он остановился на углу и подал шиллинг старой хромой нищенке.

V

На следующий вечер он сказал, что сожалеет, но не может вернуть мне долг. Я поблагодарила его за то, что он не отдаст мне денег. Он откровенно признался, что прокутил их.

— Ничего не поделаешь, раба! — сказал он. — Вы же знаете — желтая дама!

— Почему ты называешь нашу официантку рабой? — спросил один из его друзей. — Ты больше раб, чем она.

— Пива? — спросила я и прервала их разговор.

Вскоре вошла желтая дама. Т*** встал и поклонился. Поклонился так низко, что волосы упали ему на лицо. Она прошла мимо и села за пустой столик, но прислонила к нему спинками два стула, показывая тем самым, что весь столик занят. Т*** сразу же подошел к ней и сел на один из стульев. Через несколько минут он встал и громко сказал:

— Хорошо, я ухожу. И никогда больше не вернусь.

— Спасибо, — сказала она.

Я не чуяла под собой ног от радости, я побежала к буфету и стала что-то рассказывать. Наверное, — что он больше никогда не вернется к ней. Мимо прошел управляющий и сделал мне резкое замечание, но я не обратила на него никакого внимания.

Когда кафе закрылось, Т*** проводил меня до дому.

— Дайте мне пять марок из тех десяти, что я дал вам вчера, — сказал он.

Я хотела, чтобы он взял все десять, и он взял их, но дал мне из них пять на чай. И не пожелал слушать моих возражений.

— Я так счастлива сегодня, — сказала я. — Если бы я осмелилась пригласить вас к себе. Но у меня такая крохотная каморка.

— Я не поднимусь к вам, — сказал он. — Спокойной ночи.

Он ушел. Старой нищенке, которая опять стояла на углу, он забыл подать милостыню, хоть она и поклонилась ему. Я подбежала к ней, дала ей монету и сказала:

— Это от того господина в сером, который только что прошел мимо.

— От господина в сером? — спросила нищенка.

— Да, от того господина с черными волосами. От Владимира.

— Вы его жена?

Я ответила:

— Нет, я его раба.

VI

Несколько вечеров подряд он говорил, что сожалеет, но не может вернуть мне деньги. Я просила его не обижать меня. Он говорил это так громко, что все вокруг слышали, и многие смеялись над ним.

— Я негодяй, я мерзавец, — сказал он. — Я взял у вас деньги и не могу их вернуть. За пятьдесят марок я дал бы отрубить свою правую руку.

Мне становилось страшно от этих слов, и я ломала себе голову, как бы мне раздобыть ему денег, но мне негде было их взять.

Немного погодя он снова заговорил со мной:

— А если вы спросите, что случилось, то извольте: желтая дама уехала со своим цирком. И я ее забыл. Даже не вспоминаю о ней.

— И все-таки сегодня ты ей снова написал, — сказал один из его друзей.

— В последний раз, — ответил Владимир.

Я купила розу у цветочницы и хотела воткнуть ее в петлицу его пиджака. Но я почувствовала его дыхание на своей руке и долго никак не могла найти петлицу.

— Спасибо, — сказал он.

Я попросила в кассе те несколько марок, которые мне еще причитались, и отдала их ему. Но это была такая малость.

— Спасибо, — снова сказал он.

Я была счастлива весь вечер, пока Владимир не сказал:

— На эти марки я уеду. Я вернусь через неделю, и вы получите тогда свои деньги.

Заметив мое движение, он вдруг добавил:

— Я люблю вас! — И взял мою руку.

Я совсем растерялась оттого, что он уезжает и не говорит даже, куда, хотя я его и спросила. Кафе, люстры, многочисленные посетители — все поплыло передо мной, я не выдержала и схватила его за руки.

— Я вернусь к вам через неделю, — сказал он и резко поднялся.

Я слышала, как управляющий сказал:

— Вам придется искать другое место.

«Ну что ж, — подумала я. — Какая разница! Через неделю Владимир вернется ко мне!» Я хотела поблагодарить его за это, обернулась, но он уже ушел.

VII

Через неделю, вернувшись вечером домой, я нашла от него письмо. Он был в таком отчаянии, писал, что поехал за желтой дамой, что никогда не сможет вернуть мне деньги, что впал в нищету. Снова бранил себя, называл низким человеком, а внизу приписал: «Я раб желтой дамы».

Я плакала круглые сутки. Ничего не могла с собой поделать. Через неделю меня уволили, и я начала искать новое место. День-деньской я обивала пороги других кафе и гостиниц, звонила и частным лицам, предлагая свои услуги. Все напрасно.

Поздно вечером я покупала за полцены газеты и, придя домой, старательно читала все объявления. Я думала: может быть, я все же найду что-нибудь и спасу нас обоих, и Владимира и себя...

Вчера вечером я наткнулась в газете на его имя и прочитала то, что было о нем написано. Я сразу же вышла из дому, ходила по улицам, домой вернулась утром. Быть может, я где-то спала, а быть может, сидела на лестнице, не в силах сдвинуться с места. Не помню.

Сегодня я снова это прочитала. Но впервые я это прочитала вчера вечером. Я заломила руки и опустила на стул. А потом почему-то села на пол, прислонившись к стулу. Била по полу руками и думала. А может быть, и не думала. В голове было совсем пусто, и я ничего не помню. Потом я, должно быть, встала и вышла. На углу, это я помню, я дала монету старой нищенке и сказала:

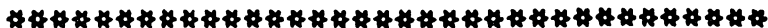
— Это от господина в сером, вы его знаете.

— Вы что, его невеста? — спросила она.

Я ответила:

— Нет, я его вдова...

До утра я бродила по улицам. А сейчас снова прочла это. Его звали Владимир Т*.



СЫН СОЛНЦА

Ночью выпал снег. Густым белым покровом оделась земля.

Он проснулся с радостной мыслью о письме, которое вчера получил, об этой неожиданной благостной весте; почувствовав себя молодым и счастливым, он стал тихо напевать. Затем, подойдя к окну, приподнял штору и увидел снег. Песня его мгновенно оборвалась, душу захлестнула тоска, и он пугливо передернул узкими покатыми плечами.

С приходом зимы для него всякий раз начиналась злая пора, мука, ни с чем не сравнимая и никому другому, кроме него самого, не понятная. Один лишь вид снега навевал мысли о смерти и разрушении. Наступали долгие вечера с их потемками, с их отупляющей, бессмысленной тишиной; он не мог работать в своей мастерской — его оцепеневшая душа была нема. Как-то раз летом ему привелось поселиться в маленьком городке в большой светлой комнате, где нижние стекла окон были замазаны белой краской. Белое стекло походило на лед, и, глядя на него, он испытывал непреодолимую муку. Он хотел пересилить себя, прожил в этой комнате несколько месяцев и изо дня в день твердил себе, что на взгляд очень многих людей лед тоже прекрасен и что зима и лето суть разные воплощения одной и той же вечной идеи Бога и Им сотворены, — все было тщетно, он по-прежнему не прикасался к работе, и эта каждодневная попытка снесла его.

Позднее ему довелось жить в Париже. Когда в городе кипел веселый праздник, он любил, прогуливаясь по бульварам, созерцать открывающуюся его взору картину. Чаще всего это случалось в разгаре светлого лета, теплыми вечерами, когда в город притекали из больших парков запахи листьев и цветов; улицы сверкали в электрическом свете, и взад и вперед по ним сновали смеющиеся, ликующие люди, кричали, пели, разбрасывали конфетти, и все вокруг дышало радостью. Сколько раз он выходил на улицу, мечтая сме-

шаться с толпой и веселиться вместе с ней, но не проходило и получаса, как он брал фиакр и возвращался домой. Отчего? Издалека приплывало воспоминание: в свете электрических ламп кружились и оседали у его ног конфетти, точно снежинки...

Из года в год повторялось одно и то же. Где же обитала его душа? Быть может, в стране солнца, в стране пальм. Быть может, на берегах Ганга, где никогда не увядает лотос...

Ночью выпал снег. Он подумал, как, должно быть, холодно птицам в лесу и какую смертную муку терпят в земле, умирая, корни фиалок. И чем только кормится теперь заяц?

Он больше не мог выходить из дому. Месяц за месяцем он почти не покидал своей комнаты и то шагал по ней из конца в конец, то недвижно сидел на каком-нибудь стуле и размышлял. Никто не понимал, как жестоко он страдает от этого заточения. Он был еще молод и мог бы окунуться в жизнь, да и сил у него было вдоволь, но любая случайная прихоть мороза, внезапная перемена погоды обрекала его на заточение и одинокие раздумья. В такие дни жене лучше было запирать в шкафу на ключ горстку фруктов, купленных ею для детей, — не то муж доставал их оттуда и, поставив перед собой тарелку с двумя-тремя яблочками да жалкой кистью винограда, долго любовался ими — потому что это ведь были плоды юга и лета — и в конце концов поедал их.

Перемена совершалась в нем удивительно быстро. Обычно он не любил отвечать на письма, теперь же он кидался к своему столу и писал одно за другим уйму писем, даже тем, кому вовсе не был обязан писать, спрашивал их о чем-нибудь или сообщал какой-нибудь малопримечательный факт. У него было смутное ощущение, будто его уже подстерегает смерть, и этим потоком писем, рассылаемых во все концы страны, он надеялся хоть ненадолго укрепить нить, связывающую его с жизнью.

И другие перемены происходили с ним: он совсем утратил душевное равновесие; оставшись один, он часто принимался рыдать, а по ночам часами лежал без сна с полузакрытыми глазами.

Этот хилый, нескладный человек летом всегда бывал в самом веселом расположении духа. Но в мрачную зимнюю пору им овладевала отчаянная тоска. Его порывы были резки и стремительны, как ненастье, налетающее среди ясного дня, — сколько раз, упав на колени перед младшим сыном

и обливаясь жаркими слезами, он молился за него Богу! Он страстно желал, чтобы мальчик, в отличие от него самого, никогда не вкусил известности. У всех известных людей замутнены родники души, и сами эти люди испорчены вниманием, славой, выделившей их из ряда других, любопытством толпы. Эта вечная жизнь напоказ искажает их взгляд, походку, все их поведение... А сын его — пусть лучше он сеет хлеб и собирает с поля урожай. Превыше всех тот, кто сам сеет хлеб и пожинает плоды своего труда. И еще одно: только бы Господь уберег его от жизни на чужбине. Сколько лишних мук принимает человек, вынужденный искать себе прибежище, кров в чужом краю! К тому же он не понимает чужой речи, и чужих взглядов, и улыбок. Небо на чужбине другое и другое расположение звезд, так что их и не узнаешь. Взглянешь на цветы — а у них непривычные краски, и птицы в чужом краю тоже подчас совсем другие. И другой флаг развевается на флагштоке.

Чутьем он угадывал, что судьба безжалостно вырвала его из родной среды: быть может, когда-то, много лет назад, он обитал в ином, далеком и жарком краю.

— 32 градуса по Цельсию

Он с ужасом замечает, что мороз усиливается и все живое в полях коченеет. В окно его виден лес и широкая дорога, по которой люди ездят в город и обратно. Ни один листок теперь не шелохнется, ельник оцетинился иглами, и все деревья покрыты инеем. Самая погода для любителей спорта. Несчастливая синица еле шевелит крыльями, и за ней по воздуху вьется тоненькая струйка пара. Природа замерла, всюду морозно и тихо. И даже ветерок не всколыхнет воздуха. Кругом словно одно белое застывшее сало.

Снизу с дороги доносится звон бубенцов — мимо проезжают сани, в которых сидят мужчина и женщина. Над лошадью и над седоками плывет, беспрерывно обновляясь, легкое белое облачко. Этот мужчина и эта женщина, наверное, никогда не видели, как растет виноград, а может, они даже ни разу в жизни его не пробовали.

По лицам их не заметно, чтобы погода вызывала у них какое-либо неудовольствие, они преспокойно едут в город по своим мелким делам и лишь изредка понукают лошадь, когда она, на их взгляд, слишком вяло пробивается сквозь это жуткое сало. Пришелец из солнечного края при виде этой картины умер бы от смеха. А мужчина и женщина невозмутимо, без тени удивления оглядывают страшное, таинствен-

ное царство стужи, которое обступило их со всех сторон, и нисколько не задумываются над этой тайной, потому что сами они тоже дети стужи и выросли среди снегов. Они сидят в санях словно два моржа. На бороде у мужчины — сосульки...

Несчастный, вконец измученный стужей художник видит сквозь окно, как во дворе играет его дочурка. Она с головы до ног закутана в теплые шерстяные вещи, только толстые чулки из козьей шерсти подшиты кожаными подметками. Девочка возит по снегу санки, и ее шаги отдаются в ушах отца мучительным скрипом. Плечи его вздрагивают, он, словно в изнеможении, закрывает глаза, и от странного недуга на лбу его выступает холодный пот. Девочка окликает его, запрокинув кверху румяное личико, и жалуется, что веревка на санках оборвалась. Поспешно сойдя вниз, он связывает концы веревки, на нем нет ни шляпы, ни зимней одежды. «Ты не замерзнешь?» — спрашивает дочка. Нет, он не замерзнет, руки у него теплые, только ледяной воздух больно обжигает горло. Но он никогда не мерзнет.

Он заметил, что высокая старая береза у подъезда как-то осела и ствол ее треснул. «Это все мороз», — содрогнувшись, подумал он.

За ночь вдруг переменялась погода. Сев на кровати, он стал ждать тепла, хотя знал, что зима еще возвратится и потом не скоро уйдет. Все же в его душе вспыхнула надежда.

Мороз с каждым днем убывал, и под конец закапало с крыш, а в небе словно загудели могучие океанские волны.

Надежда в его сердце крепла и росла, и шум, разлившийся в воздухе, волновал его, точно музыка, — быть может, это уже весна тронула свой золотой барабан!

Как-то раз ночью что-то вдруг застучало по окну; вскочив с постели, он прислушался — это был дождь! Неизъяснимая радость охватила его, торопливо одевшись, он помчался в свою мастерскую и зажег там все огни. Его тоска по лету вдруг обратилась в светлое вдохновение, все силы, дремавшие в нем, вырвались наружу, и в ту же самую ночь он с жаром принялся за работу. Нахлынули видения и звуки из теплых краев и завладели им, перед глазами с необычайной, чарующей отчетливостью возник пейзаж — сказочная долина, и в центре ее человек — юный, прекрасный бог, только что появившийся на свет и в первый раз оглядывающий мир.

Бог, повелитель земли, любит зрелищем утра жизни. Вокруг — пышная, щедрая природа, пальмы и тропические цветы, лианы с крупными, похожими на куски кровавого мяса и словно дышащими листьями; индигоноски, рожь, кукуруза, виноград. По дну долины бродят звери, человек чувствует их близость и слышит, как они едят; вверх, на скале, галдя, сгрудилась стайка огромных птиц, перья у них жесткие, точно сабля, а глаза — зеленые огоньки. Вдалеке последняя цепочка пальм убегает за горизонт...

Над этим пейзажем загорелся первый нежный луч утреннего солнца, озарив человека с головы до ног...

Он работал до утра. Поспал час и снова взялся за кисть. Ничто не остановило бы его, какая-то необычайная сила захлестнула его и увлекла. Пять дней лил дождь — и за эти дни художник закончил эскиз картины «Сын солнца».

Маленький смуглый человечек, без бороды, с лысым, унылым черепом, совершенно неприметный на вид. Он тихо сидит на стуле, слушая, как разглагольствуют другие. Временами он покашливает, смущенно прикрывая рот рукой. Когда кто-нибудь заговаривает с ним, он нервно вздрагивает и с минуту недвижно глядит на собеседника. Примостившись в каком-нибудь углу, он уже весь вечер не покидает его, он так неловок и невзрачен, что никто не считает нужным дарить его своим вниманием. Кажется, будто он очутился в этом обществе по чистому недоразумению.

Спустя несколько недель смуглый человечек послал на выставку свою картину. И с этого дня все узнали его.



СЕРДЦЕЕД

Молодые люди в лодке взяли курс на остров. Один из них — высокий и юный, — стоя посреди лодки, читал стихи; его было слышно на берегу. Все дамы слушали его, и только самая юная из них и кокетливая, белокурая, с чувственными ноздрями, не отрывала глаз от красивого гребца и тайком улыбалась ему.

Это юношу раздосадовало, он стал читать стихи громче и покраснел.

Внезапно он умолк, повернулся к красавице и сказал:

— Вы правы, мои стихи не очень хороши. Но я могу перейти на прозу, уверяю вас, она мне легче дается. Вы сможете сами убедиться в этом, когда мы причалим к берегу.

Все дамы захлопали в ладоши, обрадованные, что услышат что-нибудь о его путешествиях, о его многочисленных приключениях. Но та, которую не тронули его стихи, и на сей раз не выказала восторга. Юношу это начинало злить.

— Чего же вы хотите?

— Чего я хочу? Я вас не понимаю, — ответила она удивленно. — Меня зовут Андреа. Не обращайтесь внимания, просто я рада, что мне удалось вырваться на эту прогулку.

И вид у нее был такой, словно она говорит то, что думает, вот плутовка.

Все высадились на остров, откупорили вино, наполнили бокалы и выпили. А с дальнего берега ветер доносил смех Андреа и юного гребца — в низкорослых кустарниках они искали яйца морских птиц.

— Ну что же вы не рассказываете, — раздавались голоса.

— Зовите всех, пусть и Андреа тоже придет, — ответил он. И сам поднялся на камень и позвал Андреа, в голосе его чувствовались тепло и нежность.

И Андреа пришла. Она стояла и вопрошающе смотрела на него.

— Фрекен, я рассказываю для вас, — сказал он громко, так, что все услышали. — Вы стоите здесь, словно серебряный крест в солнечных лучах. Дело не только в вашей красоте, она безмерна, но и в вашей юности, чарующей юности. Вы пленили меня, я схожу с ума. Стоит только взглянуть на ваши руки — вы ангел во плоти, а не женщина. Итак, я буду рассказывать только для вас.

Андреа смущенно и раздраженно обвела всех взглядом и села.

И он начал рассказывать.

Он не умолкал полчаса. Голос его окреп; он был воодушевлен, повествуя об увлекательных приключениях, выпавших на его долю во время странствий.

— Я вам не наскучил? — спросил он.

— Нет, нет, — закричали все.

Андреа не ответила.

Он спросил:

— Почему вы молчите? Ведь я рассказываю для вас. И хотел бы добавить: тот, кого вы слушаете, отнюдь не счастливец. Хотя все складывалось благополучно и он выходил победителем из всех переделок и щекотливых ситуаций. Но однажды его настигла великая любовь, и он потерпел поражение.

— Bravo! — сказала Андреа, опустив глаза. — Продолжайте.

Но победителя смущало ее равнодушие, ее холод сбивал его с толку, и он отчаянно пытался завоевать ее. Другие дамы не вмешивались в их диалог, ибо все знали непостоянство его сердечных привязанностей. Если сегодня жребий пал на одну из них, назавтра уже другая овладевала его помыслами.

Андреа сказала:

— Расскажите об этом.

— К чему? Ваш холод леденит меня. Уже поздно, дамы и господа.

Они отправились обратно. В лодке он ни с того ни с сего залепил оплеуху гребцу и сам взялся за весло. Он ничего не видел, ничего не слышал, а только греб как одержимый.

Когда они высадились на берег, Андреа вдруг оказалась рядом с ним. Мертвенно-бледный, он промолвил с дрожью в голосе:

— Прекратите меня мучить, я этого не перенесу, вы должны сейчас решиться. Никогда я не был так влюблен, скажите же — жить мне или умереть.

— Жить! — ответила она восторженно. — Я полюбила тебя с первого взгляда. Почему ты думаешь, что сегодня я

мучила тебя? Я же сама мучилась еще больше и страдала, как никогда.

И она устремила на него большие изумленные глаза и назвала его своим властелином и своим божеством...

Несколько дней длилось его безоблачное счастье. Как это бывало и раньше, он наслаждался сладкими плодами победы. А затем его все-таки настигло всегдашнее проклятье — скука, пресыщенность победителя. Он сорвался с места, исчез, уехал в ближайший город и не написал ей ни строчки, не подал ни одной вести и — не вернулся.

* * *

Уже два дня, как он поселился в этом немногочисленном отеле. В городе царил благословенная скука, ничего не происходило, его душа пребывала в покое и уединении.

И вот после обеда он встретил на лестнице даму. Она спускалась, он поднимался — сняв шляпу, он поздоровался с ней, когда она проходила мимо. Незнакомка исчезла в саду. Хозяин сообщил, что молодая особа только что прибыла в отель вместе со своим отцом.

Длинное зеленое суконное платье, большая черная шляпа и хлыст — это произвело на него впечатление и заставило остановиться на лестнице. А она лишь едва удостоила его взглядом, косо на него посмотрела и, подобрав подол, прошла мимо.

Он последовал за ней в сад. Было семь часов, уже выпала роса.

— Сыро, — вдруг сказал он и подошел к ней.

Она удивленно посмотрела на назойливого господина.

Он показал на ее туфли.

Она повернулась и собралась уходить.

— Простите, — обратился он к ней снова. — Я пошел за вами вовсе не затем, чтобы досаждать вам разговором, но здесь везде сыро — и на тропинках, и в траве. Именно об этом я и хотел вам сказать, потому что вы, очевидно, этого не знаете.

— Спасибо, я вижу, что стало сыро, — ответила она.

— Это я поклонился вам на лестнице, — продолжал он. — Ваш мимолетный взгляд как-то смутил меня.

Наконец она спросила:

— Что вам угодно?

Сердце его судорожно забилося, голова пошла кругом, и он воскликнул:

— Уверяю вас, мне ничего не нужно. Я только хотел постоять рядом с вами, смотреть на вас — ведь вы сами знаете, что вы удивительно красивы! — и готов ради этого пожертвовать всем, что я имею...

— Помилуйте, что за речи! — воскликнула она холодно и гневно.

— Ради Бога, простите меня, — пробормотал он, совершенно смущенный. Она взглянула на него, затем отвернулась и начала разглядывать цветочную клумбу. Он решил как-то загладить свою дерзость:

— Послушайте, мне кажется, розы зашелестели, когда вы подошли к ним. Я люблю вслушиваться в их шелест. А что, если они говорят между собой на своем языке. Может быть, вы их поймете?

Она двинулась по тропинке.

— Я опять сказал что-нибудь не то? — спросил он удрученно.

— Да ведь это вовсе не розы, это маки, — ответила она.

— Маки, — повторил он. — И все же шелест — это, верно, голоса цветов?

Ее уже не было. Калитка сада захлопнулась за ней.

Вот так.

В невероятном смятении он рухнул на скамейку. Красота незнакомки сразила его. Когда колокольчик зазвонил к обеду, он встал и направился в ресторан, натянутый как струна. Что, если она появится здесь! Что, если он поклонится ей!

Она пришла. С хлыстом в руках. Ее сопровождал отец, пожилой красивый мужчина с офицерской выправкой.

Теперь главное не допустить оплошность, поклониться им и сесть напротив. «Я так и сделаю!» — подумал он. И так и сделал.

Она покрылась румянцем. Отец и дочь обсуждали предстоящее им назавтра путешествие, отец расспрашивал окружающих о маршруте, о дорогах, об отелях.

Несчастному сердцееду можно было посочувствовать, он и слыхом не слыхал про эти маршруты и дороги, но при этом вынужден был быстро соображать и давать бесценные советы. Когда обед закончился, он подошел и представился обоим.

Очень приятно, очень приятно, — оба были о нем наслышаны.

В коридоре он остановил ее и сказал:

— Одно лишь слово, фрекен. Не уезжайте завтра. Оставайтесь. Я хочу показать вам, какие здесь пейзажи — водопады, верфи. Завтра вечером я ваш благодарный раб.

Прекрасная незнакомка уже не спешила покинуть его, она благосклонно ему внимала.

Он продолжал:

— Моя жизнь в ваших руках.

Она улыбнулась.

— Во избежание недоразумений хочу предупредить вас: я еду к своему жениху, и еду завтра же.

— Нет! — крикнул он и топнул ногой. Схватил ее руку, сжал и поцеловал.

Она высвободилась, подняла хлыст и со всего размаху ударила его по лицу. Он вдруг совершенно успокоился и выпрямился. Крово-красная полоса пролегла по его левой щеке.

Какое-то мгновение она разглядывала его, потом выронила хлыст.

— Вы ударили меня, — сказал он, — но это ничего не меняет. Ударьте еще раз, я буду счастлив.

Но она поспешила прочь — высоко подняв голову и опустив глаза, — поднялась по лестнице и скрылась в своей комнате...

Она не уехала на следующий день. Она осматривала пейзажи — водопады, верфи. Мир вокруг преобразился в ее глазах, сердце преисполнилось дивным безумством. Нет, она вовсе не хочет продолжить свое тягостное путешествие на юг, к человеку, которого уже не любит, но отец настаивает. Она постарается вернуться как можно скорее. И она протянула победителю руку.

— Я еду с вами, — сказал он. — Я последую за вами завтра утром. До скорой встречи, моя единственная.

Несколько часов он пребывал в полном опьянении, не видел, не слышал никого, кроме своей любимой. А она забросала его телеграммами, написала письмо, потом еще одно, на душистой бумаге. Ее прекрасные слова приводили его в восторг, его переполняла радость, в его сердце словно расцвел букет живых цветов.

Время летело. Почему же он не последовал за ней? В своем упоении он просто забыл собраться в дорогу и покинуть гостиницу. Прошло еще два дня — он не мог двинуться с места, потому что был не в состоянии оторваться от ее шепчущих писем, поток которых не иссякал. Может, их было слишком много? Первые — самые нежные — как розы. И все же их было слишком много.

Однажды вечером он даже не распечатал письмо от нее. Невероятно — но он вскрыл его только утром. Руки у него уже не дрожали, он хладнокровно прочел его, оделся и спустился вниз.

В ресторане он встретил даму в дорожном платье. Она и ее спутники только что прибыли. Это была художница, целомудренная девица, путешествующая впервые, беззаботная, пылкая и откровенная в своих порывах. Ее мать не спускала с нее глаз.

Он поклонился. Она улыбнулась и кивнула в ответ. Ее улыбка подавала надежду. Именно в этот день он решил уехать, но не уехал. Может быть, это судьба? При первой возможности он предложил свои услуги юной художнице, он хотел бы показать ей местные достопримечательности, хотел бы стать ее гидом.

Он пришел на час раньше назначенного срока. Шел дождь, но он героически ждал. «Это ничего, — утешал он себя. — Я счастлив как бог, ведь я промок и устал ради нее».

Он простоял два часа, но так и не дождался молодой художницы. Наконец появилась ее мать. Дочь просила извинить ее, она не смогла прийти, потому что ей было нужно навестить друзей в этом городе. И мать даже не спросила, долго ли он ждал, не промок ли и не простыл ли.

Он пошел домой. Он не мог найти себе места в неудобной гостинице, он просто сгорал от нетерпения. О чем художница может так бесконечно долго говорить со своими друзьями?

Было уже поздно, за полночь; ему пришлось лечь, так и не увидев ее больше в этот день. Уснуть, однако, он не мог; он зажег две свечи и оставил их гореть. Тяжелые, мрачные мысли одолевали его, измученный взгляд был прикован к узору на обоях!

Он услышал, как отворилась входная дверь, немного подождал, потом вскочил с постели и оделся. Он знал, где находится комната художницы, и устремился туда. Она была уже там, он слышал ее шаги; затем в дверь высунулась ее обнаженная рука — она выставила туфли, дверь затворилась, и послышалось, как изнутри щелкнул ключ. «Спокойной ночи, добрых снов, моя дорогая». Он опустился на колени и поцеловал крошечные туфельки — словно шут или сумасшедший. Он поклялся себе, что утром решится — признается ей — победит или умрет.

Однако на рассвете девушка и ее спутники уехали. Ему удалось выяснить, что она уехала в ближайший город, к северу отсюда.

В то же утро он получил письмо от дочери офицера: приезжайте на юг! Здесь сейчас все цветет!

И он уехал. Прямоком на север.



НА ГАСТРОЛЯХ

В Драммене я должен был прочитать лекцию о современной литературе. Таким способом я решил заработать без особых усилий деньги, в которых весьма нуждался. И вот в один прекрасный день — из тех, что случаются на исходе лета, — я сел в поезд, направлявшийся в тот достославный город. Было это в 1886 году.

В Драммене я не знал решительно никого и меня тоже никто не знал. О моей лекции я не давал объявлений в газетах, но в начале лета, когда у меня еще были деньги, я заказал пятьсот визитных карточек и теперь собирался разослать их по всем гостиницам и крупнейшим магазинам, чтобы привлечь внимание публики к предстоящему событию. По правде сказать, визитные карточки получились не очень удачные, имя мое на них исказили, но все же при желании можно было догадаться, что речь идет обо мне. К тому же я был настолько безвестен, что опечатка в моем имени не имела ровно никакого значения.

Сидя в поезде, я подсчитал свой бюджет. Результаты ничуть меня не обескуражили. Я привык выпутываться из любого положения с малыми деньгами, а то и вовсе без таковых. Конечно, и на этот раз я не располагал нужными средствами, чтобы предстать перед жителями Драммена в ореоле, достойном благородной эстетической миссии, которая привела меня в сей незнакомый город, но при некоторой бережливости я все же надеялся справиться со своей задачей. Только никакого расточительства! Кормиться я мог бы в трактирах, прокрадываясь туда по вечерам, после наступления темноты, жилье я рассчитывал подыскать себе в «номерах для приезжих». А какие еще у меня расходы?

Сидя в поезде, я обдумывал свою лекцию. Я предполагал посвятить ее Александру Хьелланну.

Мои попутчики, веселые крестьянские парни, возвращавшиеся домой из Христиании, пустили по кругу бутылку; они предложили мне выпить с ними, но я сказал: «Спасибо, не надо». А потом они, как это свойственно добродушным подвыпившим людям, пытались подбить меня на разговор, но я уклонился. В конце концов все мое поведение и, в особенности, сосредоточенность, с которой я непрерывно делал записи и пометки, убедили их, видно, в том, что перед ними ученый человек, голова которого занята разными мыслями, и они оставили меня в покое.

Приехав в Драммен, я сошел с поезда и, подойдя к скамейке, опустил на нее свой саквояж. Я хотел немного собраться с мыслями, прежде чем идти в город. Кстати, саквояж этот был мне совсем не нужен, я взял его с собой только потому, что слышал, будто встать к кому-либо на квартиру или съехать с нее много легче, если ты с багажом. Между тем этот жалкий саквояж из ковровой ткани так поизносился от времени и долгой службы, что уж никак не подходил для разъездного лектора, тем более что мой собственный костюм — темно-синяя тройка — выглядел намного приличнее.

Служитель гостиницы в фуражке с буквами на околыше подошел ко мне и хотел взять мой саквояж.

Я отказал ему. Я объяснил, что еще не выбрал гостиницы, просто мне нужно разыскать в городе кое-кого из здешних редакторов: ведь это я должен прочитать здесь лекцию о литературе.

Да, но ведь без гостиницы мне все равно не обойтись, надо же мне где-то жить! А его гостиница куда лучше всех прочих. Тут и электрические звонки, и ванная комната, и читальня. До нее рукой подать — вот только эту улицу пройдишь — и сразу налево.

Он снова взялся за ручку моего саквояжа.

Я отстранил его.

Неужели я с а м понесу свой багаж в гостиницу?

Безусловно. Как ни странно, нам с ним по пути: достаточно подцепить саквояж мизинцем — и он последует за мной.

Тут парень оглядел меня и сразу понял, что я не слишком-то важная птица. Он снова устремился к поезду — высматривать других пассажиров, но, не найдя никого, вернулся и возобновил прежние переговоры. Под конец он даже заявил, что пришел на станцию ради меня одного.

Вот это уже было другое дело. Может, его послал какой-нибудь комитет, прослышавший о моем приезде, или даже

Рабочий союз. Очевидно, в Драммене духовная жизнь бьет ключом, здесь просто мечтают об интересных лекциях, весь город ждет не дожидается моего выступления. Как знать, может быть, Драммен в этом отношении даже опередил Христианию.

— Если так, конечно, берите мой багаж, — сказал я парню. — Кстати, есть в вашей гостинице вино? Я хочу сказать, вино к обеду?

— Вино? Да, самого лучшего сорта.

— Хорошо, ступайте. Я приду немного погодя. Я должен сначала побывать в редакциях.

Мне показалось, что парень этот весьма неглуп, и я решил спросить у него совета.

— К кому из ваших редакторов вы посоветовали бы мне обратиться? Мне неохота обходить всех.

— Арентсен самый важный, это весьма состоятельный человек. Все ходят к нему.

Редактора Арентсена, как и следовало ожидать, в редакции не оказалось, но я отправился к нему на квартиру. Я изложил ему суть вопроса — дело ведь шло о литературе.

— Да у нас, знаете ли, мало кто этим интересуется. Весной сюда приезжал из Швеции студент с лекцией о вечном мире, так он только убыток на этом понес.

— Я хочу рассказать о современной литературе, — сказал я.

— Да, конечно, я понял вас, — сказал редактор. — Только предупреждаю, что и вы тоже понесете на этом убыток.

Еще и у б ы т о к! Чудак этот господин Арентсен! Может, он воображает, что я приехал сюда по заданию какой-нибудь фирмы? Я спросил без обиняков:

— Вы не знаете, большой зал Рабочего союза свободен?

— Нет, — отвечал редактор. — Зал Рабочего союза на завтрашний вечер уже продан. Там будут показывать антиспиритические фокусы. Кстати, с участием обезьян и диких зверей. А из прочих помещений я припоминаю только Парковый павильон.

— Вы рекомендуете мне этот зал?

— Это большое, просторное помещение. Сколько оно стоит? Не знаю, думаю, что вы сможете получить его по дешевке. Поговорите с правлением.

Я решил взять Парковый павильон. Это именно то, что мне нужно. А залы Рабочих союзов часто бывают тесные и неудобные. А кто же члены правления?

— Адвокат Карлсен, скорняк такой-то и книготорговец такой-то.

Я отправился к адвокату Карлсену. Он жил за городом, я все шел и шел, и наконец дорога привела меня к нему. Я изложил ему мое дело и потребовал Парковый павильон. Сказал, что он, вероятно, как раз подойдет для такой необычной затеи, как лекция о литературе.

Адвокат призадумался, затем покачал головой.

Нет? Не подойдет? Зал слишком велик? Но не думает ли он сам, что будет жаль, если драмменцам придется возвращаться домой из-за нехватки мест?

Адвокат пояснил свою мысль. Он вообще советует мне отказаться от этого предприятия. Здесь весьма мало интересуются такими вещами; как-то раз сюда приезжал шведский студент, он тоже хотел читать лекции...

— Да, но он рассуждал о вечном мире, — возразил я, — тогда как я стану рассказывать о литературе, о художественной литературе...

— К тому же сейчас неблагоприятный момент, — заупрямился Карлсен. — Только что объявили, что в зале Рабочего союза состоится антиспиритический спектакль, и к тому же там будут показывать обезьян и диких зверей.

Я с улыбкой взглянул на моего собеседника. Кажется, он был искренне убежден в своей правоте, и я оставил его в покое, раз уж он оказался таким безнадежно отсталым.

— Сколько вы хотите за Парковый павильон? — коротко спросил я.

— Восемь крон, — ответил он. — Кстати, вопрос об аренде Паркового павильона решает правление. Через несколько дней вы получите окончательный ответ, но я полагаю, что уже сейчас могу обещать вам этот зал.

Я молниеносно прикинул: два дня ожидания обойдутся мне примерно в три кроны, аренда — восемь, итого одиннадцать, билетеру — крона, итого двенадцать... Выходит, что двадцать четыре посетителя, уплатившие по полкроны за билет, уже покроют все расходы, значит, остальные сто или двести посетителей принесут мне чистую прибыль.

Я согласился. Павильон был мой.

Я отыскал гостиницу и вошел. Горничная спросила:

— Где вы хотите получить номер: на первом или на втором этаже?

Я ответил ей спокойно, без тени заносчивости:

— Я хочу получить дешевый номер, самый дешевый из всех.

Горничная с удивлением оглядела меня. Кто перед ней — шутник, который забавы ради просит дешевый номер? Раз-

ве не я расспрашивал слугу про вино к обеду? Или, может быть, подобная скромность вызвана нежеланием затруднять владельцев гостиницы? Она распахнула какую-то дверь. Я отпрянул назад.

— Номер свободен, — сказала она. — Это ваш номер. Ваш багаж уже здесь. Входите, пожалуйста.

Деваться было некуда, я вошел. И очутился в самом роскошном салоне этой гостиницы.

— Где кровать?

— Вот диван. Нам неудобно держать здесь кровать. Но на ночь диван раскладывается.

Горничная удалилась.

Я помрачнел. И вот в этом-то салоне стоит мой нищенский саквояж! А уж до чего неприглядны на вид мои ботинки после долгой ходьбы по проселочной дороге! Короче — я выругался.

В тот же миг, просунув голову в дверь, горничная спросила:

— Чем могу служить?

Вот как, мне даже нельзя облегчить душу — сразу же сбегается толпа слуг!

— Ничем, — сурово ответил я. — Принесите мне два бутерброда.

Она уставилась на меня.

— Горячего ничего не желаете?

— Нет.

Тут ее вдруг осенило. На дворе весна. Наверно, у меня обострение.

Вернувшись с бутербродами, она принесла также меню, в котором были перечислены все наличные вина. Весь вечер это вышколенное существо не давало мне покоя: прикажете согреть вашу постель? Вон там ванная комната, если желаете...

Когда рассвело, я нервно вскочил и стал одеваться. Меня знобило, проклятый раскладной диван, разумеется, оказался слишком коротким для моего роста, и я почти не сомкнул глаз. Я нажал кнопку звонка. Никто не шел на зов. Наверно, было еще раннее утро, с улицы не доносилось ни единого звука, и, чуть стряхнув с себя сон, я заметил, что еще даже не вполне рассвело.

Я оглядел комнату. Это была самая роскошная комната, какую я когда-либо видел. Мрачные подозрения закопошились в моей душе, и я вторично нажал кнопку звонка. Стоя по щиколотку в мягком ковре, я ждал. Сейчас у меня отберут последние гроши, может быть, их даже не хватит, что-

бы расплатиться. Я начал торопливо пересчитывать, сколько у меня, собственно, денег, но, услышав шаги в коридоре, оставил это.

Но никто не шел. Шаги в коридоре лишь почудились мне.

Я заново начал считать. Как ужасна была неизвестность, в которой я пребывал! Куда только девалась вчерашняя горничная, которая весь вечер досаждала мне своей услужливостью? Может, эта лентяйка попросту еще лежит и спит, хотя на дворе уже почти совсем светло?

Наконец она явилась, полуодетая, только на плечи накинула платок.

— Вы звонили?

— Попрошу вас принести счет! — сказал я, стараясь принять самый невозмутимый вид.

— Счет? Это не так-то просто, хозяйка еще поживает, ведь сейчас всего три часа утра. — Горничная растерянно выплила на меня глаза. Мыслимо ли пялить так глаза на человека? Какое ей, спрашивается, дело до того, что я решил засветло уйти из гостиницы?

— Ничего не поделаешь, — сказал я. — Счет нужен мне сейчас. Сию минуту.

Горничная ушла.

Она не возвращалась целую вечность. Мою тревогу усиливал страх, что плата на номер, быть может, исчисляется посуточно или даже почасно, а я вот стою здесь и жду и ни за что ни про что просаживаю свои деньги в этом вынужденном ожидании. Я не был знаком с порядками в дорогих отелях, и такой способ оплаты представлялся мне наиболее вероятным. К тому же около умывальника висело объявление, где было написано, что в случае, если гость не предупреждает о выезде до шести часов вечера, с него взимается плата за следующие сутки. Все вокруг будило во мне чувство ужаса и смущало мой ум, отданный изящной словесности.

Наконец горничная постучала в дверь и вошла.

Никогда, нет, право, никогда я не прощу судьбе подлую шутку, которую она со мной сыграла! Две кроны семьдесят эре — вот и вся плата! Сущие гроши, чаевые, которые я и сам мог бы пожаловать горничной на шпильки! Я бросил на стол несколько крон — потом еще одну. Сдачу возьмите себе! На здоровье, милочка!

Надо же было показать, что и мы знаем правила обхождения. Не говоря уже о том, что эта девушка заслужила благодарность. Редкая девушка, душевный человек, заброшенный судьбой в эту драмменскую гостиницу и обреченный терпеть произвол приезжих. Нет теперь больше таких жен-

щин, порода эта начисто вывелась. Как трогательно она пеклась обо мне до последней минуты, когда ей вдруг открылось, что перед ней богач.

— Слуга отнесет ваш багаж, — сказала она.

— Нет! Нет! — ответил я, стремясь избавить ее от всяких хлопот. — Саквояж — это сущий пустяк. Да к тому же он такой потрепанный. Он, знаете ли, всегда сопровождал меня, когда я выезжал читать лекции, и теперь мне не надо никакого другого, такая уж, знаете, у меня причуда!

Но все возражения оказались бесполезны — слуга уже поджидал у входа. Увидев меня, он впился взглядом в мой саквояж. Просто невероятно, как человек может впитаться взглядом в саквояж, сгорая от желания схватить его!

Но разве оставшиеся деньги не были нужны мне самому? И мог ли я рассчитывать на какой-либо доход до прочтения лекции? Вот почему я хотел сам нести свой саквояж.

Но парень уже держал его в руках. Этот необыкновенно заботливый человек, казалось, совсем не ощущал его тяжести и, судя по всему, даже не помышлял ни о каком вознаграждении, он так вдохновенно нес этот саквояж, словно готов был отдать свою жизнь за его владельца.

— Стой! — остановившись, резко воскликнул я. — Куда вы, собственно говоря, несете мой саквояж?

Тут парень улыбнулся.

— Вам лучше знать, — ответил он.

— Верно, — сказал я. — Мне лучше знать. Не вашего ума это дело.

Я должен был теперь любой ценой отделаться от него, мы только что прошли мимо трактира, где сдавались «номера для приезжих» и куда я хотел зайти. Но присутствие слуги из конкурирующего отеля смущало меня, — я хотел незаметно прокрасться туда один.

Я вынул полкроны и дал тому парню.

Но он все так же стоял с протянутой рукой.

— Вчера я тоже нес ваш саквояж, — сказал он.

— Вот вам за вчерашний день, — ответил я.

— И сейчас я нес его! — продолжал он.

Вот черт, он грабил меня!

— А вот вам за сегодняшний труд, — сказал я и бросил ему еще полкроны. — Теперь смею надеяться, вы уберетесь отсюда!

Парень ушел. Но он несколько раз оглядывался и смотрел, что же я стану делать.

Я отыскал на улице скамейку и сел. Стояла легкая прохлада, но, когда солнце взошло, потеплело. Я уснул и, на-

верно, проспал довольно долго; когда я проснулся, на улице былолюдно и из многих труб уже поднимался дым. Тогда я зашел в трактир и договорился с хозяйкой насчет жилья. Мне положили платить полкроны за ночь.

Когда прошли назначенные два дня, я снова отправился за город к адвокату Карлсену. Он снова уговаривал меня отказаться от лекции, но я не изменил своего намерения, тем более что за эти дни я потратился еще на объявления в газете Арендсена о дне, месте и теме выступления.

Я хотел сразу же заплатить за аренду зала, отдав последние гроши, но Карлсен, этот удивительный человек, сказал:

— Плату вы можете внести после лекции.

Ложно истолковав его слова, я оскорбился:

— Вы, может, думаете, что у меня нет восьми крон?

— Да что вы, Бог с вами! — отвечал он. — Но, откровенно говоря, еще неизвестно, понадобится ли вам наш зал, в противном случае не за что и платить.

— Я уже объявил о лекции в газете, — сказал я.

Он кивнул.

— Я видел, — ответил он и, немного помолчав, спросил: — А будете вы читать лекцию, если соберется не более полусотни людей?

Честно говоря, я был несколько задет этим вопросом, но, немного поразмыслив, сказал, что полсотни слушателей — это, конечно, очень мало, однако я исполнил бы все, что обещал.

— Но перед десятью слушателями вы уже не стали бы выступать?

Я громко рассмеялся.

— Вы уж извините, — сказал я, — всему есть предел.

Мы оставили этот разговор, и я не стал платить за аренду. Зашла речь о литературе. На этот раз адвокат уже не показался мне таким безнадежно отсталым человеком, как в день моего первого визита, — было очевидно, что он многим интересуется, но, на мой взгляд, его эрудиция намного уступала моей собственной.

Когда я стал прощаться, он пожелал мне, чтобы завтра вечером на моей лекции был полный сбор.

Я зашагал назад в свой трактир, окрыленный самой светлой надеждой. Все теперь готово к бою. Еще утром я за полторы кроны нанял человека, который должен был обойти город и всем, кому можно, раздать мои визитные карточки. О предстоящем событии знали теперь в каждом доме.

Я ощутил прилив торжественного настроения. Все время я думал о важном деле, которое ожидало меня, и мне было неуютно в маленьком трактире, в обществе его убогих посетителей. Всем надо было знать, кто я такой и зачем я там поселился. Хозяйка — женщина за стойкой — объяснила, что я ученый человек, с утра до вечера все только пишу и занимаюсь наукой и потому совершенно незачем донимать меня расспросами. За это я был ей премного обязан. Сюда приходили голодные парни в блузах с засученными рукавами, рабочий люд и разный уличный сброд, заглядывавший в трактир, чтобы получить чашку горячего кофе или кусок хлеба с маслом и сыром. Сплошь и рядом они начинали скандалить и ругали хозяйку за слишком черствые булки и мелкие яйца. Прослышав, что я буду держать речь в Парковом павильоне, они стали спрашивать, почем там билеты; кое-кто даже сказал, что охотно послушал бы мою речь, но только полкроны — слишком большие деньги, и тут они начали торговаться со мной из-за цены. Я дал себе слово не обижаться на них, — ведь это совсем простые, неотесанные люди.

В соседней комнате тоже был постоялец. Он изъяснялся на каком-то чудовищном диалекте — смеси шведского с норвежским, и хозяйка называла его «господин директор». Всякий раз, когда этот человек стремительно вбегал в наш трактир, он привлекал к себе всеобщее внимание — отчасти потому, что, перед тем как сесть, неизменно смахивал носовым платком пыль со стула. Это был благовоспитанный человек с замашками богача: когда ему требовался бутерброд, он неуклонно спрашивал «свежего хлеба с маслом высшего сорта».

— Это вы будете читать лекцию? — спросил он меня.

— Да, он, — отвечала хозяйка.

— Плохо ведете дело, — продолжал, обращаясь ко мне, господин директор. — Вы же совсем не рекламируете вашу лекцию. Видели, как я рекламирую мой спектакль?

Тут я сразу понял, кто он такой: это тот самый антиспиритист, повелитель обезьян и диких зверей.

— Я рекламирую свой спектакль вот такими афишами! — продолжал он. — Я расклеиваю их всюду, где только могу, и везде на них огромные буквы. Видели вы мои буквы? И к тому же на афишах нарисованы звери.

— Моя лекция посвящена художественной литературе, — возразил я, — искусству, значит, духовным ценностям.

— Плевал я на это! — ответил он. И столь же развязно продолжал: — Поступайте-ка лучше ко мне на службу. Мне позарез нужен человек, умеющий рассказать зрителям про

моих зверей. И я хотел бы найти человека нездешнего, которого никто в городе не знает. Если я выпущу на сцену здешнего парня, зрители сразу скажут: «Так это наш Педерсен! Что он может знать о диких зверях?»

Я с молчаливым презрением отвернулся от этого человека. И даже не считал возможным отвечать подобному наглцу.

— Подумайте об этом! — сказал директор. — Взвесьте мое предложение. Я плачу по пять крон за вечер.

Тут я молча поднялся с места и вышел из трактира.

Я считал, что ничего другого мне не оставалось. Понятное дело, директор страшится конкуренции, боится, что я привлеку публику со всего городка; он хотел подкупить меня, выбить из игры. «Никогда, — сказал я себе. — Никто никогда не заставит меня изменить искусству. Духовные ценности — вот мое призвание».

Прошел день, и наступил вечер. Я старательно вычистил свой костюм, надел свежую сорочку и направился в Парковый павильон. Было семь часов вечера. Я с большим усердием подготовил свою лекцию, в голове у меня теснились прекрасные, возвышенные слова, которые я намеревался произнести, и в душе я уже предвкушал верный успех, ошеломляющую победу, о которой будет тут же сообщено по телеграфу.

Шел дождь. Погода была не из лучших, но разве может какой-то жалкий дождик удержать любителей литературы? На улицах я то и дело встречал прохожих — пара за парой под одним зонтом шагали мимо. Меня удивляло только одно: в отличие от меня, они направлялись вовсе не к Парковому павильону. Куда же они шли? Уж верно, эти обыватели спешили в зал Рабочего союза, на обезьяний спектакль.

Билетер был уже на посту.

— Пришел уже кто-нибудь? — спросил я.

— Нет, — отвечал он, — но ведь до начала еще больше получаса.

Я вошел в зал, в неоглядное помещение, где мои шаги прозвучали, словно оглушительный конский топот. Господи, хоть бы этот зал был набит битком, так что яблоку негде упасть, и публика с нетерпением ожидала бы оратора; но, увы, — павильон был пуст.

Я прождал тридцать долгих минут — никого. Я вышел из зала и спросил билетера, каково его суждение обо всем этом. Оно оказалось сдержанным, но я был утешен. Он ска-

зал, что сегодня вечером неподходящая погода для лекции, в такой сильный дождь люди неохотно выходят из дома; впрочем, добавил он, публика большей частью всегда приходит в последнюю минуту.

И мы снова стали ждать.

Наконец появился какой-то человек, стремительно шагавший под дождем, он заплатил полкроны за билет и вошел в зал.

— Теперь пойдут, — сказал билетер, кивая головой, — дурацкая привычка у этих людей прибегать в последний миг.

Мы стали ждать. Никто больше не шел. Под конец мой единственный слушатель, выйдя из зала, сказал:

— Собачья погода!

Это был адвокат Карлсен.

— Боюсь, сегодня никто не придет, — сказал он. — Ведь дождь льет как из ведра! — Заметив мой сокрушенный вид, он добавил: — Я предчувствовал это, потому что видел барометр. Слишком уж быстро он падал. Вот почему я советовал вам отменить лекцию.

Билетер по-прежнему верил в мою звезду.

— Подождем еще с полчаса, — сказал он. — Наверняка еще придут человек двадцать — тридцать.

— Сомневаюсь, — сказал адвокат, застегивая плащ. — Вот что, — обернулся он ко мне, — пока я не забыл. Вы, разумеется, ничего не должны за аренду.

Сняв шляпу, он поклонился и ушел.

Вдвоем с билетером мы подождали еще полчаса и подробно обсудили создавшееся положение. Затея моя провалилась, и я был этим глубоко уязвлен. В довершение всего адвокат ушел, не взяв полкроны, которые ему следовало получить назад. Я хотел было бежать за ним, чтобы вернуть ему деньги, но билетер удержал меня.

— Я оставлю их себе, — сказал он. — Тогда вы будете мне должны всего лишь еще одну такую монету.

Но я дал ему вдобавок еще целую крону. Он был мне верной опорой и заслужил награду. Он от всей души поблагодарил меня и, уходя, пожал мне руку.

Я зашагал домой, согнувшись под бременем поражения. Я был совсем подавлен обидой и стыдом и стал бесцельно бродить по улицам, ничего не замечая вокруг. Беда усугублялась тем, что теперь у меня даже не оставалось денег, чтобы возвратиться назад, в Христианию.

Дождь лил не переставая.

Я очутился вдруг у высокого здания, с улицы я увидел в вестибюле освещенное окошко кассы. Здесь был зал Рабо-

чего союза. И сейчас еще в дом заходил то один, то другой запоздавший зритель, покупал в окошечке билет и исчезал за массивными дверями, ведущими в зал. Я спросил у билетера, сколько всего набралось людей. Он сказал, что зал почти полон.

Проклятый директор взял надо мной верх.

Я пошел домой, в свой трактир. Не стал ничего ни есть, ни пить, а тихо улегся в постель.

Посреди ночи в мою дверь вдруг постучали, и в комнату вошел человек. В руке он держал свечу. Это был директор.

— Как прошла лекция? — спросил он.

При других обстоятельствах я выставил бы его за дверь, но тогда я был слишком измучен, чтобы проявить решительность, и потому коротко ответил, что я отменил лекцию.

Он улыбнулся.

— Неподходящая сегодня погода для лекции о художественной литературе, — объяснил я. — Да вы и сами видите.

Он снова улыбнулся.

— Знали бы вы, как чудовищно упал барометр, — сказал я.

— А у меня был полный сбор, — ответил он. Впрочем, теперь он уже больше не улыбался, а, напротив, извинился, что потревожил меня. У него ко мне дело.

Дело его было довольно странного толка: он зашел ко мне затем, чтобы снова предложить мне наняться к нему на роль конферансье.

Чрезвычайно оскорбившись этим, я самым решительным тоном попросил его дать мне наконец возможность уснуть.

Но вместо того, чтобы уйти, он со свечой в руке присел прямо на мою кровать.

— Потолкуем, — сказал он.

Он объяснил мне, что местный житель, которого он нанял, чтобы «рассказывать про зверей», был известен всему городу. Сам он — директор то есть — имел невероятный успех со своими антиспиритическими фокусами, но местный житель, конферансье, все ему испортил. Смотрите, кричал народ, это же наш Бьёрн Педерсен, где же это ты, Бьёрн, раздобыл барсука? Но Бьёрн Педерсен согласно программе отвечал, что это вовсе никакой не барсук, а гиена из тропических джунглей, которая на своем веку уже съела троих миссионеров. Тогда люди снова стали вопить, негодуя, что он морочит им голову.

— Ничего не понимаю, — сказал директор, — я старательно вымазал ему сажей лицо и нахлобучил на голову огромный парик, и все равно его узнали.

Все это меня нисколько не интересовало, и я повернулся лицом к стене.

— Поразмыслите над моим предложением! — прощаясь, сказал директор. — Возможно, я даже стану платить вам по шесть крон за вечер, если вы будете исправно читать конферанс.

Нет, никогда я не паду так низко, чтобы взяться за прошлое ремесло, которое он мне предлагает. Есть же у меня, в конце концов, своя гордость!

На другой день директор явился ко мне и попросил просмотреть текст конферанса о диких зверях. Не буду ли я столь любезен подредактировать его в нужных местах и выправить слог; он заплатит мне за труд две кроны.

И вот, вопреки всему, я взялся за эту работу. Как-никак, надо же было оказать человеку услугу, и работа, так сказать, литературного свойства. Да и к тому же я нуждался в этих двух кронах. Все же я потребовал, чтобы он держал мое сотрудничество в строжайшей тайне.

Я трудился весь день, заново — от начала до конца — переписал всю речь, вложив в описание зверей много чувства и эрудиции и щедро расцветив конферанс сравнениями. С каждым часом я все больше и больше увлекался работой. Это был суший подвиг — сочинить такую речь про нескольких жалких животных. Когда я вечером зачитал свое сочинение директору, он признался, что в жизни не слышал ничего подобного — такое сильное впечатление оно на него произвело. В порыве благодарности он дал мне целых три кроны.

Это растрогало и ободрило меня. Я вновь уверовал в свое литературное призвание.

— Если бы только у меня был толковый человек, способный прочесть эту речь! — сказал директор. — Нет здесь такого человека.

Я задумался. Собственно говоря, даже обидно, если какой-то там Бьёрн Педерсен заполучит в свои руки такую изысканную речь и загубит ее бездарным чтением. Мне было больно думать об этом.

— Может быть, на известных условиях я согласился бы вести конферанс, — сказал я.

Директор вплотную придвинулся ко мне.

— Какие еще условия? Я заплачу вам семь крон, — сказал он.

— Хорошо. Но главное, никто, кроме нас двоих, не должен знать, кто же ваш конферансье.

— Обещаю вам.

— Вы, конечно, понимаете, что человеку моего ранга будет весьма неловко, если узнают, что я читаю конференс про зверей.

Да, он понимает.

— И если бы этот конференс не был сочинен мной от первого до последнего слова, я бы ни за что на свете не согласился выступать.

Да, и это он понимает.

— В таком случае я окажу вам эту услугу, — сказал я.

Директор поблагодарил.

Когда время подошло к семи, мы отправились в зал Рабочего союза. Мне надо было поглядеть на зверей и немного войти в курс дела.

Я увидел двух обезьян, черепаху, медведя, двух волчат и одного барсука.

В моем тексте не было ни единого слова про волчат и барсука, зато там было немало подробностей о некоей гиене из тропических джунглей, о соболе и кунице, которые упоминаются еще в Библии, равно как и о некоем огромном сером американском медведе. Про черепаху я удачно сострил, что это богатая дама, питающаяся одним черепашьим супом.

— А где же соболь и куница? — спросил я.

— Вот! — отвечал директор. И указал на обоих волчат.

— А гиена где?

Тут он недолго думая показал на барсука.

— Вот гиена.

Я рассердился.

— Так дело не пойдет, это обман. Я должен верить в то, что говорю, вложить в это всю душу.

— Стоит ли нам ссориться из-за такого пустяка! — сказал директор. Достав из угла бутылку водки, он налил мне стопку.

Желая показать, что я ничего не имею против него лично, а только протестую против грязного ремесла, которым он занимается, я осушил стопку. И сам он тоже выпил после меня.

— Не губите меня! — сказал он. — Теперь у нас такая прекрасная речь, и звери у нас неплохие, право, совсем неплохие, вы только поглядите, какой большой медведь! Вы только прочтите свой конференс, и увидите — все будет отлично!

В зале уже стали появляться первые зрители, и директор с каждой минутой все больше нервничал. Его судьба была в моих руках, и справедливость требовала, чтобы я не зло-

употреблял своей властью. К тому же я сознавал, что в остающиеся минуты просто невозможно внести в мою речь необходимые поправки; и вообще — разве можно требовать от человека, чтобы он с таким же чувством описывал несчастного барсука, с каким рассказывал бы о повадках страшного зверя — гиены? Стало быть, от любых поправок мое сочинение проиграет больше, чем я могу допустить. Я так и сказал директору.

Он сразу же понял все. Снова налил мне стопку, и я выпил.

Представление началось при полном зале, антиспиритист показывал фокусы, каких сам черт бы не разгадал: он вытаскивал из ноздрей носовые платки; из кармана сидевшей в зале старушки доставал карту — червонного валета; не прикасаясь к столу, заставлял его скользить по полу; под конец господин директор обратился в привидение и провалился под сцену сквозь люк. Публика была в восторге и отчаянно топала ногами. Теперь настал черед зверей. Господин директор собственноручно выводил каждого зверя и демонстрировал публике, а я должен был давать пояснения.

Я сразу же понял, что мне ни за что в жизни не добиться такого успеха, какой выпал на долю директора, но надеялся, что истинные знатоки среди публики оценят мое выступление. И я не обманулся в своих ожиданиях.

Когда показывали черепаху, я завел речь о сухопутных животных. И начал еще с Ноя, взявшего с собой в ковчег по паре от каждой твари, не могущей обитать в воде. Но показ зверей шел вяло, публика приуныла. Куница и соболь тоже не имели должного успеха, хотя я не преминул сообщить, сколько этих бесценных звериных шкурок надела на себя царица Савская, когда отправилась с визитом к Соломону. Впрочем, с этой минуты дело пошло на лад: вдохновившись этим библейским сюжетом и двумя стопками водки, я стал говорить плавно и красноречиво; отложив свои бумаги в сторону, я начал импровизировать, а когда я кончил, в зале раздались крики «браво» и весь зал захлопал.

— Там за занавесом стоит водка! — шепнул мне директор.

Я зашел за занавес и увидел рюмку. Рядом с ней стояла бутылка. Я присел на стул.

Между тем директор вывел нового зверя и стал ждать меня. Я снова налил себе рюмку водки и снова сел на стул. Очевидно, директору надоело ждать, и он сам начал что-то объяснять на своем чудовищном шведско-норвежском диалекте. К ужасу своему, я вдруг услышал, что он уже показы-

вает гиену, — хуже того, он оговорился и назвал ее барсуком. Тут меня взяло зло. Выбежав на сцену, я отстранил директора и сам взял слово. Гиена была, что называется, коронным номером спектакля, и, чтобы вывезти его, я должен был превзойти себя по части красноречия. Но с той самой минуты, как я вышел на сцену и отстранил директора, я завоевал симпатии публики. Я начисто зачеркнул все, что он до меня говорил, заявив, что он в жизни своей не видел гиены, и затем начал рассказывать о коварстве этого хищного зверя. Водка сделала свое дело, я был необыкновенно воодушевлен. Я сам слышал, что говорю все ярче и горячее, а гиена стояла у ног директора и терпеливо моргала крошечными глазками. «Крепче держите ее! — крикнул я директору. — Она сейчас кинется на меня, она выпустит мне кишки! Приготовьте пистолет — вдруг она вырвется!»

Наверно, директор сам начал нервничать, он потянул к себе гиену — веревка оборвалась, и зверь проскользнул у него между ног. Из зала донесся вопль женщин и детей, и половина зрителей повскакала с мест. В этот миг напряжение публики достигло предела. Но тут гиена засеменила через всю сцену и снова юркнула в свою клетку. Директор с треском захлопнул за ней дверцу.

Все мы вздохнули с облегчением, и двумя-тремя словами я заключил конференс. На этот раз мы счастливо отделались, заявил я. Сегодня же вечером мы раздобудем для зверя тяжелую железную цепь. Я поклонился и покинул сцену.

Тут грянули аплодисменты, поднялся невероятный шум, и публика кричала: «Конферансье! Конферансье!» Вернувшись на сцену, я снова раскланялся и, по правде сказать, имел необыкновенный успех. Вся публика — от первого до последнего зрителя — проводила меня аплодисментами. Но кое-кто все же хохотал.

Директор был очень доволен, он искренне благодарил меня за помощь. Надо думать, я надолго обеспечил ему полный сбор.

Собравшись домой, я обнаружил, что у входа меня поджидает человек. Это был тот самый билетер из Паркового павильона. Он видел наш спектакль и пришел от него в восторг. Он громко расхваливал мой ораторский талант, говорил, что мне ни в коем случае нельзя отказываться от выступления в Парковом павильоне, самое время заново назначить лекцию, теперь, когда люди уже знают, что я за человек. Хорошо бы, например, повторить в павильоне конференс про гиену, особенно если я приведу с собой зверя.

Однако на другой день директор — этот бессовестный человек — не захотел отдавать мне деньги. Если я не дам ему письменное обязательство, что повторю конференс, он не станет платить — хоть в суд на него подавай! Каков жулик, каков мошенник! Наконец мы поладили на следующем: он заплатит мне пять крон. Вместе с тремя, которые он выдал мне раньше, это составит восемь, и на эти деньги я смогу вернуться в Христианию. Но за это он возьмет себе текст конференса, который я сочинил. Мы долго спорили на этот счет, уж очень мне не хотелось оставлять ему мою речь на предмет чистой профанации. С другой стороны, это, несомненно, была его собственность, ведь он заплатил за нее деньги. Вот почему я в конце концов уступил. Он очень высоко ценил мое сочинение.

— Никогда в жизни я не слышал подобной речи, — сказал он, — взять, к примеру, вчерашний вечер, — она потрясла меня больше любой проповеди.

— Вот видите! — отвечал я. — Это и есть власть литературы над душами!

Больше я ничего ему не сказал. В полдень я сел в поезд, который повез меня назад, в Христианию.



ОТЕЦ И СЫН

I

Прошлой осенью, во время моего путешествия в южные провинции, далеко на юг, я покинул в прекрасное раннее утро речной пароход, на котором ехал, чтобы остановиться в местечке Д***, странном селении, притаившемся и забытом, с дюжиной домов, церковью, почтой и флагштоком. Местечко это хорошо известно людям посвященным — искателям приключений и игрокам, знатному люду и бродягам; в продолжение нескольких летних месяцев в этом захолустье кипит жизнь. Когда я приехал, в селении была ярмарка, и все окрестные жители собрались сюда; на них было платье из шелка и кожи, пояса и перевязи с драгоценными украшениями — сообразно положению и состоянию каждого. Около церкви стояли ряды палаток, где покупали и продавали; одна из этих палаток была синяя — палатка Паво из Синвара.

Недалеко от церкви, между флагштоком и почтой, находилась гостиница. Верхний этаж был выкрашен в синий цвет — там-то и спускали игроки свои деньги.

В гостинице говорили, что Паво наверняка приедет сегодня вечером. Я спросил, кто такой Паво, и из моего вопроса сразу заключили, что я нездешний, — здесь все знали Паво. Это был тот самый человек, который три раза сорвал банк; его отцу принадлежало самое большое имение в окрестности, а все свое состояние Паво проиграл во время весеннего праздника. Каждый ребенок знал Паво; все местные девушки болтали о нем, когда сходились вечером у колодца, а набожные люди о нем молились, как только вспоминали его. Словом — игрок, блудный сын, остаток прежнего величия, бывший Крез — Паво из Синвара. Вместе и гордость местечка, и его позор.

Что касается палатки, так это его мать купила ее и наладила всю торговлю, чтобы вернуть его, если не поздно, на

путь истинный. И все бы пошло хорошо, если бы Паво принял за дело как следует, но беспутный малый в ту же неделю перекрасил палатку в синий цвет — цвет игорного дома; он вовсе не собирался менять своих привычек. Он продолжал играть; все, что зарабатывал за прилавком, он высыпал на игорный стол и обыкновенно уходил из зала беднее, чем вошел. Его палатка хорошо работала, он продавал много товаров; ни крестьяне, ни местные жители не обходили его, всем хотелось иметь дело с Паво из Синвара. Мать постоянно доставала ему новые товары, и палатка была полным-полна.

Сегодня вечером он придет. Все местечко знало, что он придет.

II

Я прослушал протяжный звон башенных часов, сливавшийся с шумом ярмарки. Вдруг в мою дверь стучит гостиничный слуга. Малый был очень взволнован.

— Вы подумайте, — сказал он, — сам хозяин Синвара тоже придет.

Я не спрашивал ничего подобного и сказал слуге, что приезд этого господина меня не касается. Кто он такой? Зачем придет? Слуга пожал плечами и объяснил, что хозяин Синвара — не кто иной, как самый знатный господин в округе, самый бо атый, друг князя Ярива и отец Паво. Он самый и придет. Придет, уж наверное, затем, чтобы посмотреть, что подельывает Паво и что это за проклятая рулетка, которая разоряет сына и приносит так много горя его матери.

— До всего этого мне нет никакого дела, — отвечал я. — А вот чай я давно заказывал. До свидания.

Слуга ушел...

В шесть часов в гостинице поднялась суматоха. Приехал этот господин. Он шел в темном костюме рядом с Паво, одетым в светлое. Вид имел строгий и решительный. Звонили в церковный колокол, — едва появившись в селении, этот господин обещал пожертвовать церкви деньги, большую сумму, которая может пригодиться ей в трудные времена. Кроме того, он пожаловал новый флаг для флагштока у почты. По этому случаю все местечко было в повышенном настроении; прислугу отпустили гулять, все высыпали на улицу, и бургомистр прохаживался в новом, с иголки, мундире.

Хозяин Синвара был почтенный человек, лет за шестьдесят, несколько полный, немного бледный и одутловатый

вследствие малоподвижного образа жизни, но усы его были нафабрены и глаза блестели молодо; кроме того, у него был веселый, вздернутый кверху нос. Все знали, что он друг князя Ярива, имеет два больших ордена, которые надевает очень редко, так как и без них его появление внушает глубокое уважение. Когда он с кем-нибудь заговаривал, ему отвечали, сняв шляпу, почтительно.

Выпив стакан вина с водой, он оглядел зевак, которые шли за ним до гостиницы, и всякому что-нибудь дал. Он даже вызвал из толпы девочку и собственноручно подарил ей золотой. Впрочем, девочка была не такая уж маленькая, пожалуй, ей было лет шестнадцать — семнадцать.

Вдруг он спросил:

— Где игорный дом? Я хочу туда пойти.

Паво ведет его туда, вне себя от радости. Все следуют за ними.

Появление его произвело сильное впечатление. Рулетка в полном ходу, игра ведется оживленная; темноволосый господин, которого прислуга величает принцем, любезно подвигается, чтобы дать место своему ровне, хозяину Синвара.

Как раз в это время крупье кричит:

— Тринадцать!

Он загребает почти все ставки.

На столе лежали целые кучи серебра, много крупных золотых монет и пачки кредиток — почти все это исчезает под столом в железном ящике банка. И все ставят новые ставки так молчаливо и спокойно, будто ничего не случилось. На самом деле, однако, это «тринадцать» принесло большой улов. Но все молчат, игра идет своим чередом, шарик бежит по кругу, замедляет бег, останавливается: опять тринадцать!

— Тринадцать! — кричит крупье и снова загребает почти все деньги.

Эти две удачи обогатили банк на много сотен золотых. Опять ставят, принц бросает, не считая, целую пригоршню бумажек. Все молчат, в комнате очень тихо, слуга в волнении задевает пустой стакан, звон его сливается с глухим жужжанием бегущего по кругу шарика.

— Ну, объясни мне игру, — говорит хозяин Синвара.

И Паво, который знает игру до тонкости, выкладывает все свои сведения. Внимание старика поглощено принцем. «Он разорится», — уверяет он и вертится на стуле, как будто дело идет о его собственных деньгах.

— Принц никогда не разорится, — отвечает Паво. — Он пускает в ход только то, что выигрывает за день. Он у м е т играть.

Так и случилось. Принц выиграл много; один из слуг все время стоял около него, подавал ему воду, поднимал упавший платок, всячески прислуживал, в надежде на щедрую подачку после окончания игры.

Высокий бледный черноволосый румын стоит рядом с ним. Этот ставит жизнь на карту, на последних двух тринадцати он проиграл громадную сумму, потому что постоянно упорно ставил на одно несчастливое число. Он стоит почти за спиной хозяина Синвара и протягивает руку через его плечо, чтобы сделать ставку. Рука дрожит.

— Пропал молодец, — говорит хозяин Синвара.

Сын, Паво, подтверждает кивком:

— Пропал.

— Останови его, — продолжал отец. — Скажи ему от меня. Да постой, я сам.

На это сын отвечает, что здесь не принято давать советы. «Так же, — прибавляет он лукаво, — так же, как не положено здесь сидеть неиграющим».

Отец удивленно смотрит на него. Он не понимает, что Паво уже охвачен нетерпением начать игру.

— Но ведь многие стоят и не играют, — возражает он.

— Нет, они тоже играют, только ждут своей очереди, — лжет Паво.

Тогда хозяин Синвара очень торжественно вытаскивает бумажник.

— Ну, играй, — говорит он, — играй, посмотрим. Только понемножку, без риска.

Но сейчас же хватает сына за руку и требует объяснений про странное число тринадцать.

— Почему тринадцать выходит каждый раз? Уж не плутует ли крупье? Скажи-ка ему.

Он уже собирается спрятать бумажник, как вдруг ему приходит мысль. Он вынимает несколько кредиток, протягивает их Паво и говорит:

— Поставь на тринадцать.

Паво не согласен:

— Тринадцать вышло два раза подряд.

Отец кивает и требует:

— Пусть. Ставь на тринадцать.

Паво меняет бумажку, бросает золотой на тринадцать и снисходительно улыбается на такую нелепость.

— Проиграно! — говорит отец. — Попробуй еще раз. Ставь вдвойне.

Паво больше не возражает. Это слишком забавно. Все пересаживаются. Паво раз за разом удваивает ставку, и всем хочется видеть необыкновенного игрока, хозяина Синвара.

Он уже очень захвачен игрой, живые глаза следят за бегущим шариком, он вертится на стуле. Руки сжимаются в кулаки; на одном пальце у него два драгоценных перстня.

Когда крупье называет цифру двадцать три вместо тринадцати, он восклицает:

— Еще раз поставь на тринадцать! Ставь сотню!

— Но...

— Ставь сотню.

Паво ставит. Колесо вертится, шарик пробегает раз двадцать — тридцать по всем цифрам, он выбирает между всеми возможностями — черное и красное, чет и нечет, — он исследует всю систему, обнюхивает каждую цифру и наконец останавливается.

— Тринадцать! — кричит крупье.

— Ну, Паво, кто был прав! — говорит хозяин Синвара. Он очень горд и говорит так, чтобы все слышали: — Ставь еще раз. Ставь сотню на тринадцать.

— Ты шутишь, отец. Должно быть, больше во весь вечер не будет тринадцати.

— Ставь сотню на тринадцать.

— Зачем бросать даром деньги?

Хозяин Синвара начинает терять терпение, делает движение, чтобы вырвать деньги у сына, но овладевает собой и говорит:

— Сын мой, а если у меня явилось намерение, по известной тебе причине, сорвать банк и разорить эту мерзкую рулетку? Поставь сотню на тринадцать.

Паво поставил. Он обменялся улыбкой с крупье, а румын громко захохотал. На соседнем столе бросают играть в баккара, и всеобщее внимание сосредоточено на рулетке.

— Тринадцать!

— Что я говорил! — восклицает хозяин Синвара. — Возьми деньги и пересчитай. Сколько должно быть?

Паво поражен.

— Здесь три с половиной тысячи, — говорит он подавленно. — А всего ты выиграл почти пять тысяч.

— Хорошо. Теперь играй ты. Посмотрим, как ты играешь. Поставь на красное.

Паво поставил на красное и проиграл.

Отец покачал головой и улыбнулся окружающим.

— Так-то ты играешь! Видишь, куда ты идешь? Мне говорили, что ты три раза сорвал банк. Зачем же ты все спустил? Поставь на чет.

— Сколько?

— Сколько хочешь. Ставь шестьсот.

— Это слишком.

— А я думаю, не поставит ли еще больше. Да, больше. Поставь тысячу двести на чет.

Чет проиграл.

Тогда хозяин Синвара погрозил сыну толстым пальцем и сказал нетерпеливо:

— Уйди, Паво. Из-за тебя мы проиграли тысячу двести. Удались. Я так хочу.

И Паво ушел. Я последовал за ним. Он хохотал, хохотал как безумный. Видел ли я когда-нибудь такую игру? Сидит и выигрывает тысячи только благодаря своей глупости. Помогите ему, Господи! Выдумал тоже, милый человек, играть в рулетку!

Паво заговаривал со всеми встречными и со смехом рассказывал, какая фантазия пришла его отцу.

Поздно вечером я слышал, что хозяин Синвара ушел из зала, проиграв девять тысяч.

III

Было десять часов вечера. Я сидел на балконе с одним русским и курил папиросу. Вдруг слуга кричит нам снизу, что хозяин Синвара только что послал за своим сыном. Я собирался было сделать слуге выговор за его навязчивость, но русский удержал меня. Им овладело любопытство.

— Постойте! — сказал он. — Посмотрим, что произойдет. Так поздно, а он посылает за Паво.

Мы некоторое время сидели и молча курили. Приходит Паво. Отец выходит ему навстречу.

— Послушай, — говорит он. — Я просадил девять тысяч на проклятой рулетке. Я было уже лег в постель, да заснуть не мог. Мне очень жаль этих денег, как раз столько я обещал пожертвовать на здешнюю церковь. Надо отыгратья. Я не успокоюсь, пока не буду снова держать в руках эти деньги. Пойдем опять в зал.

Паво остолбенел. Даже Паво, завзятый игрок, повергнут в изумление. Он не находит слов.

— Чего же ты стоишь! — восклицает отец. — Игра ведь идет далеко за полночь; у нас еще много часов впереди. Нечего терять время.

И пошло снова.

— Пойдемте! — сказал мне русский. — Пойдемте в зал. То-то будут дела.

Игра была в полном разгаре. Как всегда, с приближением полуночи начинали рисковать большими суммами, чем

в начале вечера. Принц, мрачный и спокойный, сидит на своем месте, ставит и выигрывает. Перед ним на столе лежит тысяч двадцать. Он играет сразу на три шанса, все обдумывает с величайшим спокойствием, ставит, порой не считая, пригоршни золота. Ничто не мешает ему, он не замечает даже бледного от ярости румына, который опять начал проигрывать после получасовой ровной и удачной игры. Он тоже складывает деньги в кучки, каждую свободную минуту пытается их пересчитать и разложить по тысячам, чтобы дать себе отчет о положении дел, но он слишком волнуется, руки дрожат, нужно все время следить за колесом, и он наконец бросает всякие расчеты. И как глупо он играет! Он ставит сразу на четыре номера, крестом, и, как упрямый ребенок, не хочет отказаться от тех же самых чисел. Он скорее встанет без гроша из-за стола, чем откажется от этого шанса. И он все время увеличивает ставки.

Принц взглянул на дверь при появлении отца и сына и подвинулся, давая им место около себя. Потом он продолжал играть, так же мрачно и совершенно хладнокровно. Он, казалось, пользовался среди игроков большим уважением.

— Паво, — говорит хозяин Синвара, — играй как всегда, как ты сам хочешь. Вот деньги. Тебе всегда везет на красном, не так ли? Ставь же на красное.

Паво осведомляется у своего соседа, старого однорукого военного, сколько раз было красное, и тот сообщает, что красное выходило семь раз подряд. Поэтому Паво ставит на черное.

— Двадцать пять, красное, нечет и пас, — объявляет крупье и загребает деньги.

— Ты начал плохо, Паво, но продолжай по-своему, — говорит разочарованно хозяин Синвара. — Сколько раз тебе повторять, что у меня денег не полные закрома. Ставь теперь на красное.

Но красное проиграло. Наконец, после восьми кругов, вышло черное и один из номеров в квадрате румына, что снова поставило его на ноги. В ярости от неудач, доведенный до крайности, он бросил в этот раз максимальную ставку на свои четыре цифры и в закоренелом упорстве был в этот момент безразличен к выигрышу или проигрышу. Когда шарик остановился на одном из его номеров, он машинально подозвал слугу, стоявшего за стулом принца, и молча сунул ему кредитный билет. И опять начал ставить дрожащими руками.

— Паво, — снова говорит отец, — ты опять проиграл. Тебе совсем не везет. Если я даю тебе проматывать мои день-

ги, то это для твоей же пользы. Я хочу исправить тебя за эту ночь. Паво, ты понимаешь, в чем дело?

Паво отлично понимает, в чем дело. Он видит, что папаша уже охвачен опьянением игры и играть для него уже радость, даже с тем чтобы проигрывать. Он переживает муки игры, как редко кто, и когда игра становится крупной, дыхание у него захватывает и он слышит удары своего сердца. Все это Паво понимает, да еще как!

Вдруг он начинает задумываться, становится невнимательным, рассеянным. Крупье замечает ему, что он — опытный игрок — играет против самого себя, и дивится на Паво втихомолку. Я сам замечаю, что Паво раз за разом тянется к только что поставленным деньгам, точно хочет спасти их, пока старик еще не остановился. Не становится ли уж он благоразумным? Или его пугает проигрыш?

Мой русский знакомый уводит меня на диван в глубине зала и начинает говорить о Паво. Заметил ли я внезапную перемену в его игре? О, Паво, в сущности, хитер как черт, он очень многое прекрасно понимает! И, указывая на отца и сына, русский говорит:

— Право, сын не так безумен, как отец. Паво уже заметил, что игорная страсть охватила отца, и хочет его удержать. Это очень смешно, но, право же, он пытается удержать старика. Великолепно, не правда ли? Конечно, Паво очень важно, чтобы отец не разорился.

Мы продолжаем сидеть на диване. У рулетки творится что-то непривычное, все стоят вокруг хозяина Синвара и его сына. Никто не играет в баккара; даже три крестьянина с гор в больших серых плащах с металлическими поясами и старые лавочники, которые играли на выпивку, сидя у дверей, — и те встали и вмешались в толпу вокруг рулетки. Подходим и мы.

— Внимание! — говорит мне русский. Он очень возбужден.

Хозяин Синвара решил опять взяться за число тринадцать. От нетерпения и волнения он всем теперь распоряжается сам. Он роется в деньгах толстыми дрожащими руками, ищет и мнет грязные кредитки, стараясь их сосчитать и разложить в пачки. Его кольца сверкают в этой куче грязных банкнот. Он молчит, и Паво сидит рядом с ним, тоже не говоря ни слова. Лицо его очень мрачно.

— Тринадцать! — объявляет крупье.

Хозяин Синвара вздрагивает, и даже у Паво совершенно ошалелый вид. Какое везение при такой-то нелепой игре!

Последняя удача наносит порядочный ущерб банку. Крупье спокойными движениями отсчитывает деньги. Этого человека уже ничто не может удивить, он знает все капризы судьбы, видал виды. Принц какое-то мгновение стоит в нерешительности, но почти сразу забирает свои деньги, делит золото и бумажки и все рассовывает по карманам. Он требует стакан вина, выпивает залпом, встает — он кончил игру. Уходя, он сует кредитки всем попадающимся по дороге слугам, направо и налево.

Хозяин Синвара толкает сына под локоть и глядит на него лихорадочными глазами.

— Видишь! Видишь! А ты хотел учить меня играть! Вот я вас всех за пояс заткну!

Он смеется громко и отрывисто, повернувшись к удивленным зрителям. Упоенный своим счастьем, он бросает еще раз деньги на тринадцать.

— Оставь, оставь там, где я положил! — кричит он. — Тринадцать — это не простое число.

Но крупье загребает его деньги лопаточкой. Он медлит, ему хотелось бы, видно, чтобы тринадцать вышло еще раз, раззадорив богатого игрока, который все равно рано или поздно обречен ему в жертву.

После четырех неудачных попыток с тем же числом хозяин Синвара теряет терпение. Он гневно обращается к сыну:

— Послушай, Паво, я не буду больше ставить на тринадцать. Довольно уж я проиграл на этом дурацком числе.

Он раздражается больше и больше; выгоняет слугу, у которого скрипят сапоги; бросает ожесточенные взгляды на румына, который забывает забрать свой выигрыш и тем задерживает игру. Хозяин Синвара начинает тяготиться и любопытными, которые его окружают. Неужели им решительно нечего делать? Он подзывает девушку из толпы и говорит:

— Это ведь тебе я дал золотой?

Девушка краснеет и глубоко приседает.

— Почему же ты не уходишь, дитя мое?

Розовые губы шевелятся, но она ничего не говорит и опускает глаза. Хозяин Синвара вглядывается в нее внимательно и дает еще золотой.

— Вот, возьми. Приходи ко мне после игры, после полуночи.

Девушка краснеет до корня волос и опять почтительно приседает. Потом она пробирается через толпу, улыбаясь всем, и уходит.

Хозяин Синвара возвращается к игре.

— Мухи бьются об окна, — говорит он. — Здесь постоянно что-нибудь мешает. Прогоните мух.

Его деньги быстро тают. Румыну везет. Хозяин Синвара смотрит на его удачу с величайшим неудовольствием.

— Смотри-ка, у меня осталось только несколько несчастных бумажек! — обращается он к Паво. — Но я не сдамся, лучше все проиграю. Теперь я ставлю тысячу на красное, может быть, это мой цвет.

Красное выиграло.

— Может быть, красное в самом деле счастливый цвет. Поставлю на него еще раз. Попробуем.

Красное проиграло.

Тогда хозяин Синвара совсем вышел из себя.

— Уйди! — кричит он сыну, сидящему рядом. — Ты мне приносишь несчастье. Неужели ты не видишь, что разоряешь меня? Я должен отыгаться, я хочу вернуть свои деньги. — Но в ту же минуту, вспомнив роль, которую хотел играть, прибавляет: — Видишь, что я делаю ради тебя. Я тебя проучу.

— Я уже проучен, — бормочет Паво.

— Молчи, ты еще не проучен как следует. Ты начнешь опять. Все это я делаю ради тебя, слышишь! Убейся.

Паво встал и ушел.

IV

Уже было недалеко до полуночи. Один за другим игроки покидали рулетку, только румын и однорукий военный не унимались. Седобородый военный играл очень осторожно, ставил мелкие кредитки, довольствовался малым и выигрывал. Ему не переставало везти, но удача не делала его более дерзким.

Хозяин Синвара поступал совершенно иначе, малейший выигрыш делал его безудержно смелым. У него было круглым счетом около тысячи, когда Паво ушел. В два приема он выиграл шестьсот, которые сейчас же поставил и проиграл. В сущности, он казался жалким и возбуждал сочувствие окружающих. Принц, вернувшийся в зал только зрителем, собственноручно принес стакан вина хозяину Синвара.

— Вам не везет сегодня, — сказал принц. — Надо бросить игру.

Принц подал этот совет во всеуслышание. Хозяин Синвара не отвечал, он только рассеянно взглянул, весь поглощенный игрой, и выпил молча вино.

Вдруг счастье, казалось, начало склоняться в его сторону, он выиграл три раза подряд.

— Вот как надо играть! — сказал он весело и любезно старому военному. Но тот ничего не слышал, он был поглощен своей игрой на обычную мелкую ставку. Румын замечает нервное возбуждение, охватившее хозяина Синвара, он обменивается взглядом с крупье и забирает свой последний выигрыш. Он тоже прекращает игру.

Хозяин Синвара спустил все. У него осталось несколько сотен, он ставит все на черное, до последней монеты, и проигрывает. Он растерянно оглядывается, он очень бледен.

— К черту черный цвет! — бесится он.

Он собирается с мыслями. Крупье не спускает с него глаз, он машинально выплачивает старому воину его ставку, не разбирая, выиграл ли тот или проиграл. Хозяин Синвара все еще сидит неподвижно, кажется, он что-то обдумывает. Почему он не ушел? Он снимает поочередно оба свои кольца и протягивает их через колесо крупье. Тот бросает на них взгляд, спокойно кладет их в свой железный ящик к другим украшениям и передает хозяину Синвара три тысячи золотом. Никто не произносит ни слова. Тот держит тяжелые свертки в руках и дрожит всем телом. Вдруг он приподнимается со стула и резким движением ставит свертки, один за другим, на черное. Золотые монеты глухо позвякивают в бумажной оболочке.

Шарик несется по кругу, он бежит легко и беззвучно, медлит то у того, то у этого числа, останавливается.

— Красное!

Хозяин Синвара вскакивает. Он хватается обеими руками за голову и с воплем убегает из игорного дома.

V

На следующее утро этот сплетник — гостиничный слуга — рассказал мне, что хозяин Синвара проиграл в рулетку пятьдесят четыре тысячи. Паво же, напротив, вернулся в свою палатку; он — слуга — встретил его у колодца. Паво расхаживал с непокрытой головой и что-то говорил, словно читал самому себе проповедь. Между прочим, ни один священник не мог бы проповедовать, как Паво, когда он в соответствующем настроении. «Беги от искушения! — восклицал он вновь и вновь. — Повернись спиной к искусителю! Протянешь ему палец — он завладеет твоим сердцем. Неужели ты пал так низко, что я, столь заблудший, должен

тебя остерегать?» Паво в самом деле говорил очень убедительно; слуга полагал, что он готовил речь, которую утром произнесет отцу.

Пронырливый слуга всюду совал свой нос и все знал.

— Вы сегодня уезжаете, — сказал он мне.

Я ни слова не говорил об этом в гостинице, даже не требовал счета...

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— Знать — я не знаю, — отвечал он. — Но вы велели на почте посылать письма за вами следом. И еще вы заказали экипаж к пароходу на пять часов.

Даже это он разнюхал! У меня было такое чувство, что этот разумник шпионит за мной, он был мне отвратителен. Охваченный гневом, я не смог вынести его наглого взгляда; его белесые глаза пронизывали меня, как ледяной сквозняк.

— Убирайся, собака! — сказал я.

Он стоял молча. Этот нахал не тронулся с места. Руки он держал за спиной. О чем он думает и что вертит в руках? Затекает что-то.

— То, что вы сказали, мне очень обидно, — говорит он наконец. Больше он ничего не произносит, но смотрит мне дерзко в лицо. Я захожу ему за спину, чтобы посмотреть, что он затеял. В руках у него ничего нет, он быстро перебирает согнутыми пальцами. Я опять становлюсь перед ним, плечи его вздрагивают, глаза полны слез. Мне жаль, что я его выругал, и я собираюсь все загладить, как вдруг он подается ко мне, в его руке блестит странный предмет, какой-то чудной ключ с двумя бородками. Он замахивается и ударяет меня по правому запястью. Моя рука падает, немеет от тупого удара. Я поражен его дерзостью, не могу вымолвить ни слова, стою не двигаясь. Он снова закладывает руки за спину. Через минуту я прохожу мимо него к двери.

— Вы думаете, что ударю вас еще? Не думайте так. Сохрани меня Бог! — говорит он. Я открываю дверь левой рукой и отвечаю:

— Ступайте и принесите мне счет.

Слуга низко кланяется и уходит. Я слышу, как, выйдя за дверь, он громко всхлипывает...

Я не уехал в тот день: рука очень болела и я чувствовал себя совсем больным. На запястье темнели два пятна, два глубоких кровоподтека, жилы распухли до самого локтя. Ну и грубиян этот слуга! Он, впрочем, казалось, сразу раскаялся в своей выходке, принес мне спирту для руки и перевязал рану; теперь никто уж не смог бы сравниться с ним в услужливости. Он позаботился, чтобы в соседней комнате

не шумели, когда я вечером лег отдохнуть, — это совершенно по своей инициативе. Он яростно прогнал кучку пьяных крестьян, с песнями остановившихся под моим окном около часа ночи. Я слышал, как он их упрекал за то, что они нарушают сон большого знатного господина, князя, повредившего себе руку.

На следующее утро я позвонил два раза — он не приходил. Я был в раздражительном настроении, чувствовал себя совсем больным и стал усиленно звонить в третий раз. Наконец я увидел, что он идет по улице — он куда-то выходил. Когда он вошел ко мне, я не мог сдержаться и сказал:

— Я звоню уже четверть часа. Я охотно заплачу вам вдвойне, если вам кажется, что ваши услуги этого стоят. Принесите мне чаю.

Я видел, как ему было больно от моих слов. Он ничего не ответил и побежал за чаем. Меня вдруг тронуло его терпение и приниженность; быть может, он никогда в жизни не слышал ласкового слова, а я его браню. Я хотел сейчас же загладить свою несправедливость и, когда он вернулся, сказал:

— Забудьте мои слова! Я никогда больше не скажу ничего такого. Я и сегодня еще болен.

Он был, видимо, очень рад моему ласковому слову и отвечал:

— Мне необходимо было уйти. Уверяю вас — это было очень важное дело.

Но, ободренный моей приветливостью, он сразу превратился в прежнего сплетника, набитого разными историями, готового рассказывать мне всякую всячину, выведенную им, о посетителях гостиницы.

— Позвольте вам сказать, что хозяин Синвара только что отправил к себе домой человека, который должен привезти ему деньги, много денег. Паво думает, что он разорится на рулетке. Колец он не мог еще выкупить.

— Хорошо, хорошо! — сказал я.

— А та девушка, которую вы вчера видели, провела у него всю ночь. Она с гор, о такой чести она, наверно, никогда и не мечтала. Даже отец никак не мог поверить.

Под вечер я опять сидел на балконе и смотрел на толпу около палаток. Рука моя была на перевязи. Русский лежал на скамейке недалеко от меня и читал книгу. Вдруг он взглянул на меня и спросил, слышал ли я, что хозяин Синвара послал домой за деньгами. А утром он виделся с Паво. Тот прочел ему целую проповедь, и отец отчасти признал его правоту. Но слушаться он не желал и твердо стоял на том, что надо по крайней мере вернуть проигранное. Неужели

кто-нибудь воображает, что он так и оставит этой разбойничьей шайке шестьдесят три тысячи ровным счетом? Ну, так они очень ошибаются. А впрочем, он не только для того будет играть, чтобы вернуть свой проигрыш. Добрые люди, которые так его жалели, когда он проиграл свои кольца, должны бы знать, что он первому встречному нищему может подарить по такому кольцу на каждый палец и не станет беднее от этого.

— И это правда, — прибавил русский, — он уже настолько заражен игрой, что проигрыш стоит у него не на первом месте. Его тянет теперь заманчивость, напряжение, мука, дикое волнение в крови.

— А Паво? Что сказал на это Паво?

— «Беги от соблазна! — сказал Паво. — Возьми себя в руки, бери пример с меня!» Паво говорил долго, голос его сделался печальным, время от времени он подымал даже руку к небу. Это было зрелище замечательное — лукавый грешник под личиной добродетели, которую сам давно потерял. У него хватило дерзости на то, чтобы увещевать отца самым серьезным образом. Отец же утверждал, что он играет только для блага сына, хочет спасти его от порока и для этой цели ничего не пожалеет. Тогда Паво преисполнился гнева: он всю жизнь берег свою честь, а отец проиграл даже кольца, в присутствии всех заложил фамильные драгоценности. Он, Паво, всегда сохранял достоинство, никогда никакого долга не было на его палатке, она стоит неприкосновенно, и он постоянно заботливо ведет свои дела. В конце концов он пригрозил отцу князем Яривом. «Молчи! — сказал отец. — Я обещал себе, что покажу тебе последствия твоего распутства, и я это сделаю. До свидания, Паво».

Паво должен был уйти. Но от отца он прямо пошел в игорный зал.

— А вы не думаете, что отец действительно намеревается вернуть сына на путь истинный таким необычайным образом? — спросил я русского. Он покачал головой.

— Может быть. Но это ему не удастся. Не говоря уже о том, что старик увлечен не меньше сына.

Теперь все разговоры сосредоточились на хозяине Синвара и на его игре. Это ему было нипочем, — так он говорил, держал голову еще выше, и лицо его было весело. Время от времени он снисходил до шуток с окружающими.

— Вы смóтрите на мои руки, — говорил он. — Ах да, я совсем обнищал, я проиграл даже кольца. Ха-ха-ха!

Все это время, пока у него не было денег, он не ходил в игорный зал, но приказал слуге докладывать весь ход игры,

кто выиграл и кто проиграл, какие ставки и кто азартнее всех играет. На следующий день русский рассказывал мне, что хозяин Синвара три часа молился Богу, прося себе счастья в игре: только бы отыграться, и тогда он совсем бросит игру. Он молился вслух и даже плакал; русский узнал это от гостиничного слуги, который подсмотрел в замочную скважину.

VI

Прошло три дня. Рука перестала болеть, и я решил ехать вечером. Я пошел в город по делам, побывал, между прочим, в полиции, чтобы отметить паспорт. Возвращался домой мимо палатки Паво. В конце концов, против воли, и я начал интересоваться этим человеком и его отцом. Все говорили о них, и я наконец, как все, не мог уже не думать о них и не справляться о них каждый день.

Я зашел к Паво в палатку. Я слышал, что накануне вечером он очень много выиграл в баккара. Он дочиста обыграл какого-то заезжего путешественника, подарив ему после игры несколько сотен; потом принялся за рулетку, счастье не покидало его, он и тут выиграл целое состояние.

— Подумайте, — сказал мне Паво, как только я вошел в палатку, — подумайте, хозяин Синвара, мой отец, только что был здесь и хотел занять у меня денег! Хочет выкупить кольца. Я и не подумаю сделать такую глупость. Отец мой очень добрый человек, и мне было очень больно отказать ему в этой услуге, но сделал я это для его же пользы. Сын должен беречь честь семьи. Отец должен понять, к чему ведут подобные безумства. Я нахожу, что поступил правильно. Как вы думаете?

В этот момент вид его был мне отвратителен. Он стал самодоволен и самонадеян после вчерашнего невероятного счастья, которое снова наполнило его карманы деньгами. Он опускал лицо, когда говорил, прятал его, отворачивался, как будто на лбу его было клеймо, а когда он поднимал глаза, в них была ложь. Но шея его была так красива и рот тонко очерчен и ярок.

— Как вы думаете? — повторил он.

— Не мне об этом судить, — ответил я.

— Это значит, — злобно пробормотал он, — что вы не понимаете слов благоразумного человека.

Он сердито пожал плечами и прошелся за прилавком. Потом остановился и спросил:

— Чем могу служить, раз уж вы изволили зайти ко мне?

Я назвал что-то первое попавшееся, совсем мне, в сущности, не нужное. Получив желаемое, я удалился.

Только я успел вернуться в гостиницу, как примчался слуга и рассказал, что посланец хозяина Синвара прибыл с деньгами. Теперь тот сидит, готовый начать игру, как только откроется игорный зал. Паво ничего об этом не знает, Паво и не должен знать; ему, слуге, специально заплачено за то, чтобы он не побежал сразу к Паво и не рассказал ему всего.

Пробило пять часов.

Как только открыли игорный зал, хозяин Синвара направился туда. Он был в возбужденном состоянии и делал престранные движения руками: не то уверял кого в чем-то, не то клялся.

Принц и однорукий военный уже были на месте, а румына не было; еще несколько посторонних начинали играть. Прежде всего хозяин Синвара выкупил свои кольца.

— Я буду сегодня ставить самые крупные суммы, какие только позволены, — сказал он крупье, не глядя на него. Лицо его с этой минуты стало холодно и полно достоинства.

— Да поможет вам в игре счастливая звезда! — отвечал крупье и поклонился.

Игра началась.

Хозяин Синвара действовал решительно. Три раза подряд он ставил на красное и выигрывал. Тогда он спрятал свои деньги в карман и начал играть только на выигрыш. Несколько раз он пробует сыграть на тринадцать, но проигрывает; перемена счастья раздражает его, он снова несколько раз ставит на красное и выигрывает. Теперь перед ним на столе лежит порядочная сумма денег; он играет без расчета, без размышлений, смело пытается счастье и, чтобы не терять времени, готовит новую ставку, пока шарик еще не остановился. Считать он бросил, играет в каком-то экстазе. Взгляд его падает на один из черных квадратов, он сейчас же ставит крупную ставку на этот квадрат.

Черное выигрывает. Теперь он выигрывает беспрестанно. Этот черный квадрат становится для него золотой россыпью, из которой он черпает выигрыши, и он пользуется этим основательно. Вдруг он задумывается, останавливается, тяжело дышит. Колесо вертится, но хозяин Синвара забыл поставить, он все еще тяжело дышит. Входит все та же девушка, она подходит к нему, улыбаясь и краснея. Он замечает ее и отмахивается.

— Смотри, ты вошла, и я забыл поставить, — говорит он. Через мгновение он снова подзывает ее. Шарик остано-

вился на красном. Хозяину Синвара повезло, что он на этот раз не поставил на черный квадрат. Он кладет девушке в руку одно из своих дорогих колец и шепчет ей что-то. Девушка густо краснеет и, обхватив руками голову, убегает из зала.

Хозяин Синвара продолжает игру, все так же упрямо, все так же неразумно. Он берет несколько горстей золота, несколько тяжелых свертков и ставит все на красное. Сейчас же им овладевает странная неуверенность, он испуганно протягивает руку, будто хочет взять всю ставку обратно, но овладевает собой и оставляет деньги.

Шарик останавливается.

— Красное!

— Красное! — повторяет хозяин Синвара. Он снова торжественно улыбается окружающим и громко говорит: «Опять красное! Так я и чувствовал».

С этой минуты благоразумие вовсе покидает его. Часы бьют десять, приходят еще люди, ночные игроки, которые начинают играть по-настоящему только в это время; среди них и румын. Я совсем забыл про свое путешествие, не трогался с места и следил за действиями хозяина Синвара в величайшем напряжении. Он же никого не замечал из вновь пришедших, окружавших его, он едва ли замечал, что за столом сидят еще другие игроки, кроме него. Удача помрачила его рассудок, он швыряет большие суммы на несколько чисел сразу. Каприз, внезапное вдохновение заставляет его схватить горсть золота и поставить наивысшую ставку на двадцать пять. Трое игроков следуют его примеру, все кругом шепчутся и ждуг.

— Тринадцать!

Проиграно. Румын скрежещет зубами от злости. Хозяину Синвара пришла уже новая фантазия, он привстает с места и ставит высшую ставку на ноль. Но никто уже не подражает ему, эта отчаянная игра всех отпугивает.

— Ноль!

В поднявшемся шуме я слышу невероятные ругательства румына. Чуть позже в дверях появился Паво в сопровождении слуги, который все же сообщил ему все. Паво прямо подошел к стулу отца и, не говоря ни слова, схватил его за плечо и сильно потряс.

Тот взглянул, узнал сына и сразу сдался. Он понял, что никакое сопротивление не поможет, да и сам он слишком измучен.

— Какой ты сердитый, Паво! — сказал он только. Машинально забирает он последний выигрыш, собирает все

деньги и начинает запихивать в карманы. Он рассовывает перемешанные бумажки и золото в невероятном беспорядке, берет последнюю пачку кредиток в руку, встает и идет за Паво.

Крупье яростными глазами смотрит вслед уходящим; в игре наступила заминка...

После рассказывали в гостинице, что хозяин Синвара не только отыграл все проигранное в предыдущие вечера, но был даже в небольшом выигрыше, говорили, что чистого выигрыша сотен семь. Никто не играл так непосредственно, как он, и теперь он, конечно, никогда близко не подойдет к рулетке.

VII

На следующий вечер все было готово к моему отъезду. Вещи на пароходе, счет оплачен, все в порядке. Я сую в руку слуге бумажку и прощаюсь с ним. Он усиленно моргает бесесыми глазами и начинает плакать. Бедняга целует мне руку.

— Можете себе представить, — говорит он тут же и вытирает глаза, — хозяин Синвара уезжает с тем же пароходом, что и вы. Он обещал Паво вернуться домой. — И этот всезнайка преследует меня своими рассказами до последней минуты. Паво снова произнес отцу речь. Когда угроза рассказать все князю Яриву не помогла, он вытащил никуда не годный пистолетик и заявил, что, к его прискорбию, вынужден застрелиться, чтобы спасти свою честь. Тогда отец сдался. К тому же он не хотел и терять дружбу князя Ярива. И еще ведь он дал обет Богу бросить игру, когда вернет свой проигрыш. Словом, хозяин Синвара едет домой.

— Прощайте! — сказал слуга. — Вы его встретите там, у парохода.

Пробило пять часов.

В тот самый момент, когда открывался игорный зал, я отправился на пристань. На пароход грузили партию циновок. Действительно, вскоре прибыл хозяин Синвара со своим слугой, оба одетые по-дорожному. На пристани было много народу, но Паво я не видал. Я спросил о нем какого-то старика:

— Почему он не провожает отца на пароход?

— Паво горд, — ответила только что подошедшая девушка. — Он знать не хочет отца, который проигрывает свои кольца. Это очень похоже на Паво.

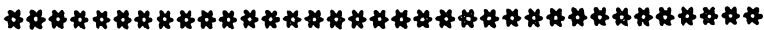
Была тут и девушка хозяина Синвара. Она стояла в стороне и смотрела издали, опустив голову. Но тот, на кого она смотрела, не удостоил ее и взглядом.

Я прошелся несколько раз по набережной, заплатил за экипаж и проверил, перенесены ли мои вещи на пароход. Старый слуга хозяина Синвара был тут, но его самого я не замечал. Я оглянулся на его девушку — она тоже исчезла.

Последний тюк спустили в трюм, последний пассажир взошел на борт. Вдруг все начинают осведомляться о хозяине Синвара, который тоже должен ехать. Где он? Старый слуга всполошился. Где же, в самом деле, его господин? Пароход ждал, нельзя же отправляться без такого важного господина. Мы все ищем — на пароходе, на набережной, во всех закоулках, мы расспрашиваем всех встречаемых, но никто ничего не знает. Уж не упал ли он в воду? Бросился незаметно в реку и утонул? Вдруг у меня появляется некое подозрение, невероятная мысль, я прошу капитана подождать пять минут, — может быть, я принесу весть о пропавшем.

Я соскакиваю на берег, спешу в гостиницу, взлетаю по лестнице на синий этаж. Затаив дыхание, отворяю дверь и заглядываю.

Первое, что я вижу, — девушка хозяина Синвара. У нее снова раскрасневшееся и счастливое лицо. А перед ней на стуле сидит сам хозяин Синвара. Он снова сидит у рулетки.



ГОЛОС ЖИЗНИ

Писатель Х*** рассказывает:

Недалеко от внутренней гавани в Копенгагене есть улица, которая называется Вестерволь, — новый пустынный бульвар. Домов там мало, фонарей тоже, и прохожих почти не бывает. Даже сейчас, летом, редко кто вздумает по ней прогуляться.

Так вот! Вчера вечером со мной на этой улице произошло нечто.

Я успел пройти несколько раз по бульвару, когда увидел, что навстречу мне идет дама. Кроме нас, не видать никого. Фонари зажжены, но все-таки довольно темно, и я не могу разглядеть ее лица. Должно быть, обычное дитя ночи, подумал я и прошел мимо нее.

В конце бульвара поворачиваю обратно, повернула и дама, мы встречаемся опять. Я подумал: она ждет кого-нибудь, посмотрим — кого. И еще раз прохожу мимо нее.

Когда мы поравнялись в третий раз, я приподнял шляпу и заговорил с ней.

Добрый вечер! Не ждет ли она здесь кого-нибудь?

Она вздрогнула. Нет... Да, ждет.

А нельзя ли мне составить ей компанию, пока придет тот, кого она ждет?

Да, можно, она не против. Она поблагодарила меня. Впрочем, она никого не ждет, она просто гуляет, здесь так тихо.

Мы медленно пошли рядом и начали говорить о посторонних вещах, я предложил ей руку.

— Ах нет, — отвечала она и покачала головой.

Идти так было не слишком весело, разглядеть ее я не мог из-за темноты. Я зажег спичку и посмотрел на часы, поднял спичку повыше и осветил ее.

— Половина десятого, — сказал я.

Она вздрогнула, точно ей стало холодно. Я воспользовался случаем, спросил:

— Вы озябли, может быть, хотите зайти куда-нибудь, что-нибудь выпить? В «Тиволи»? В «Националь»?

— Нет, мне сейчас никуда нельзя, как вы видите, — отвечала она.

И только тогда я заметил, что она была в длинной траурной вуали.

Я извинился, сославшись на темноту. И то, как она приняла мое извинение, сразу убедило меня, что это была не обыкновенная ночная женщина.

— Возьмите меня под руку, — сказал я опять. — Вам будет теплее.

Она взяла меня под руку.

Мы несколько раз прошлись взад и вперед. Она просила меня опять взглянуть на часы.

— Десять часов, — сказал я. — Где вы живете?

— На Старой Королевской улице.

Я остановил ее.

— Можно мне проводить вас до дому? — спросил я.

— Нет, это нельзя, — отвечала она. — Нет, нельзя... Вы живете на Бредгаде?

— Откуда вы знаете? — спросил я удивленно.

— Я знаю, кто вы, — отвечала она.

Молчание. Мы идем под руку, сворачиваем в освещенные улицы. Она шла быстро, длинная вуаль развевалась. Она сказала:

— Пойдемте побыстрее.

У подъезда на Старой Королевской улице она повернулась ко мне, как будто хотела поблагодарить за то, что я проводил ее. Я открыл ей дверь, она медленно вошла. Я слегка придержал дверь плечом и вошел за ней. Она схватила меня за руку. Мы не сказали ни слова.

Мы поднялись по лестнице и остановились на третьем этаже. Она сама открыла входную дверь, открыла еще одну дверь, взяла меня за руку и ввела внутрь. Мы вошли в комнату; слышно, как на стене тикают часы. Дама остановилась на мгновение у двери, вдруг обвила меня руками и горячо и трепетно поцеловала в губы. Прямо в губы.

— Сядьте, — сказала она. — Вот софа. Я зажгу свет.

И зажгла.

Я смущенно и с любопытством оглядывался. Это была большая, очень красиво обставленная гостиная; в открытые двери виднелись и другие комнаты. Я не мог понять,

что за существо та, с которой я так странно познакомился. Я сказал:

— Как здесь красиво! Вы живете здесь?

— Да, этой мой дом, — отвечала она.

— Ваш дом? Вы здесь живете с родителями?

Она засмеялась и ответила:

— Нет-нет. Я старая замужняя дама. Сейчас увидите.

Она сняла пальто и вуаль.

— Ну, смотрите! — сказала она и опять с неудержимой страстью обняла меня.

Ей было двадцать два — двадцать три года; на правой руке она носила обручальное кольцо и, пожалуй, в самом деле была замужней дамой. Красивая? Нет, слишком много веснушек, и почти нет бровей. Но все ее существо дышало волнующей жизнью, и рот ее был удивительно прекрасен.

Я хотел спросить, как ее зовут, где ее муж, если он у нее есть; хотел узнать, в чьем я доме; но она крепко прижалась ко мне, едва я открыл рот, и запретила проявлять любопытство.

— Меня зовут Эллен, — сказала она. — Хотите чего-нибудь? Ничего, я могу позвонить. Только вы должны уйти на время туда, в спальню.

Я вошел в спальню. Лампа из гостиной слабо освещала ее, я увидел две кровати. Эллен позвонила и велела принести вина; я слышал, как горничная поставила вино и вышла. Через минуту Эллен вошла в спальню, остановилась у двери. Я шагнул к ней, она слегка вскрикнула и в тот же миг пошла мне навстречу...

Это было вчера вечером...

Что случилось дальше? Потерпи, случилось еще многое!

Когда я проснулся утром, начинало светать. Дневной свет проникал по обе стороны шторы. Эллен тоже проснулась, она утомленно вздохнула и улыбнулась мне. Ее руки были белые и словно бархатные, грудь — такая высокая. Я ей шептал что-то, но она зажала мне рот губами с немой нежностью. Светало все больше и больше.

Через два часа я был уже на ногах. Эллен тоже встала, возилась со своей одеждой, надела ботинки. И тут я переживаю то, что до сих пор пронизывает меня ужасом, как страшный сон. Эллен идет за чем-то в соседнюю комнату, и в тот момент, когда она открывает дверь, я оборачиваюсь и взглядываю туда. Холодом веет от открытых окон, и среди комнаты, на длинном столе, лежит мертвец. Мертвец в гробу, в белом одеянии, с седой бородой. Худые колени торчат под покровом, точно яростно сжатые кулаки, а лицо

желтое и ужасное. Я вижу все это в ярком дневном свете. Я отворачиваюсь и не говорю ни слова.

Когда Эллен вернулась, я был уже одет и собирался идти. Я еле мог ответить на ее объятие. Она что-то еще надела, она хотела проводить меня вниз, до самого подъезда, я не возражал и все еще ничего не говорил. В подъезде она прижалась к стене, чтобы не быть замеченной, и прошептала:

— До свидания.

— До завтра? — спросил я осторожно.

— Нет, не завтра.

— Почему не завтра?

— Молчи, милый, я должна завтра идти на похороны, умер один родственник. Вот, теперь ты знаешь.

— Так послезавтра?

— Да, послезавтра, я буду ждать тебя здесь, в подъезде. Прощай.

Я ушел...

Кто она была? И этот покойник? Как он сжимал кулаки, в какой трагикомической гримасе застыли углы рта! Послезавтра она будет снова ждать меня — идти или нет?

Я направляюсь прямо в кафе «Бернина», спрашиваю адресную книгу, отыскиваю Старую Королевскую улицу, такой-то номер, — так, я вижу фамилию. Я жду, пока принесут утренние газеты, набрасываюсь на них, чтобы посмотреть извещения об умерших; так, я нахожу и ее извещение, оно стоит первым в ряду, жирным шрифтом: «Мой муж скончался сегодня после продолжительной болезни, в возрасте 53 лет». Объявление помечено позавчерашним днем.

Я долго сижу и думаю. Живут муж и жена, она на тридцать лет моложе его, он долго болеет, однажды он умирает.

Молодая вдова вздыхает с облегчением. Жизнь, безумная очаровательница жизнь зовет, и она покорно отвечает на этот голос: иду!

В тот же вечер она идет на Вестерволь...

Эллен, Эллен — послезавтра!



ПЛУТ ИЗ ПЛУТОВ

Милый читатель!.. Я встретил этого человека на кладбище. Я нисколько не старался завести с ним разговор — это он сразу вцепился в меня. А я лишь присел на скамейку, где уже сидел он, и спросил:

— Не помешаю?

С этого все и началось.

— Вы нисколько не помешаете, — отвечал он, подвинувшись, чтобы освободить для меня место. — Я просто вот так сидел и смотрел на это мертвое царство.

Жестом руки он указал на могилы.

Дело было на Христовом кладбище.

Чем больше разгоралось утро, тем оживленней становилось вокруг, один за другим приходили каменщики и рабочие, старик сторож уже сидел в своей будке и читал газеты. Повсюду можно было видеть женщин в черном, они сажали или поливали цветы, подстригали не в меру разросшуюся траву. А в кронах больших каштановых деревьев щебетали птицы.

Я никогда прежде не видел его. Это был высокий, широкоплечий молодой человек, небритый, в потрепанном костюме. Складки на лбу, зычный голос, привычка лукаво подмигивать собеседнику придавали ему, как говорится, «солидный и многоопытный» вид.

— Вы не из наших мест?

— Я не был дома десять лет, — отвечал он.

Откинувшись назад, он вытянул ноги и оглядел кладбище. Из кармана пиджака у него торчали немецкие и французские газеты.

— Как грустно на таком вот кладбище, — сказал он. — Столько мертвецов на одном пяточке. Сколько затрачено сил — и как ничтожен итог.

— О чем вы?

© Перевод. Тарханова С. А., 1970 г.

— Здесь военное кладбище.

«Ага, он за вечный мир!» — подумал я.

Он продолжал:

— Но всего постыдней этот культ смерти, этот способ оплакивания мертвецов... Бесплезная добродетель...

Торопливо махнув рукой, он поудобней устроился на скамейке.

— Известно ли вам, что в граните, высаящемся на этих могилах, замурован огромный капитал? Здесь разбрасывают по песку дорогие цветы, сооружают скамейки, на которых удобно сидеть и плакать; воздвигают, словно поклоняясь языческим идолам, священные камни из глыб, добытых в карьерах Грефсеносена, — целое состояние, превращенное в камень. Единственный в городе островок, которому не угрожает банкротство, — это кладбище... Не правда ли, тут есть над чем призадуматься, — продолжал он. — Однажды вложенный капитал останется здесь навеки, он неприкосновенен, потому что мертв. Однако он по-прежнему требует опеки, точнее, присмотра, требует слез, цветов, которые лежат и вянут на всех песчаных холмиках. Одни венки подчас обходятся в полсотни крон штука.

«Он социалист! — подумал я. — Наверно, какой-нибудь бродячий подмастерье, побывавший за границей и выучившийся там негодовать против капитала, — да только какой уж здесь капитал!»

— Вы тоже нездешний? — спросил он.

— Да.

Он снова откинулся на спинку скамьи и, задумавшись, все моргал и моргал.

Мимо прошли, благоговейно перешептываясь, старичок со старушкой, оба с палками, сгорбленные, — наверно, спешили к могилке своего ребенка. Налетел ветер, взметая вихри пыли и цветочного мусора, чуть слышно шелестели опавшие листья, кружась по дорожкам и вспыхивая на солнце.

— Видите, — вдруг произнес он, не меняя позы, только сверкнув глазами, — видите вон ту даму, которая приближается к нам? Посмотрите на нее повнимательней, когда она поравняется с нами.

Что ж, это было нетрудно. Она чуть не задела нас краем своего черного платья, а вуалью коснулась наших шляп. За ней шла маленькая девочка с цветами в руках, а за той — женщина с садовыми граблями и лейкой. Все трое скрылись за поворотом, ведущим к нижней части Христова кладбища.

— Ну как? — спросил он.

— Что?

— Вы ничего не заметили?

— Ничего особенного. Она посмотрела на нас.

— Прошу простить — она посмотрела только на меня. Вы улыбаетесь, вы готовы заверить меня, что не станете со мной спорить. А дело обстоит вот как: несколько дней назад она точно таким же образом прошла мимо меня. Я сидел на этой же скамейке и разговаривал с могильщиком, пытаюсь заронить в его ум хоть каплю сомнения в добропорядочности его ремесла...

— Зачем же?

— А затем, что он вскапывает землю без всякой пользы, напротив, с огромным вредом для всего живого, что кормится землей.

«Вот оно что — ты, значит, бедный заблудший вольнодумец! — подумал я. — Разве Господь когда-либо запрещал предавать земле мертвецов? Право, приятель, ты начинаешь мне надоедать!» Так подумал я про себя.

— Я сидел вот на этом самом месте и беседовал с могильщиком. «Грех это», — сказал я. Дама как раз проходила мимо; услышав мои слова, она обернулась, взглянула на меня. Как только я смел в этой священной обители заговорить про грех? Кстати, видели вы ту старуху с лейкой и граблями в натруженных руках? И заметили ли вы, как она ссутулилась? Эта женщина буквально доконала себя тяжким трудом, год за годом разрывая и калеча землю — источник жизни. И еще — видели вы? — эта важная дама направлялась к могиле, чтобы там предаться своей скорби, а старуха шла за ней на расстоянии трех шагов. Впрочем, я не о том. А видели вы, что было в руках у девочки?

— Цветы.

— Камелии. Розы. Видели? Цветы по кроне за штуку. Благородные цветы, отличающиеся особой чувствительностью: как только солнце начинает припекать, они погибают. Дня через четыре их выбросят за кладбищенскую ограду, тогда их заменят новыми.

Тут я решил возразить вольнодумцу — я сказал:

— Как-никак, а пирамиды были подороже.

Мои слова не произвели на него должного впечатления. Вероятно, он уже много раз слышал это возражение.

— В ту пору не знали такой нужды, — сказал он. — К тому же Египет был житницей всей Римской империи, а мир еще был далеко не так тесен. Мне кое-что известно о том, как тесен он теперь. Я не сам это испытал, это было с другим человеком. Но я убежден: одно дело — пирамиды в пустыне, другое дело — современная ухоженная могила. Оглянитесь вокруг! Сотни могил, памятников, стоявших бе-

зумных денег, гранитные плиты из Грэфсеносена по три кроны шестьдесят эре за локоть, дерн из Экеберга по две кроны пятьдесят эре за шесть квадратных футов. Я не говорю уже о надписях, об утонченном изяществе самих обелисков, будь то полированные или неотесанные, цельные или сложенные из кусков, красные, белые, зеленые. Но нет, вы только взгляните на эту кучу дерна! Могильщик сказал мне: торговля идет вольно, дерн теперь почти невозможно достать. А вы только подумайте, что такое дерн для земли — ведь это жизнь.

На это я возразил, что уж если говорить о жизни, то ведь недопустимо вовсе лишать ее идеального начала. Если люди приобретают немного дерна для своих дорогих усопших, значит, это имеет какое-то этическое значение. Кстати, я и сегодня думаю в точности то же самое.

— Видите ли, — резко ответил мой собеседник, — здесь изо дня в день расточаются деньги, на которые можно было прокормить не одну семью, растить детей, спасти от гибели многих калек. Я знаю: та молодая женщина сидит сейчас на могиле, зарывая в землю камелии, которые сто́ят ровно столько же, сколько два детских платяшка. Когда скорбь так богата, это уже разврат.

Да, несомненно, передо мной социалист, а может быть, даже еще и анархист, который любит глумиться над серьезными вещами. Слушать его с каждым мигом становилось все скучнее.

Он продолжал:

— А вон там сидит человек, сторож. Он читает по складам газету. Но известно ли вам, каковы его прочие обязанности? Он должен сторожить могилы. Культ мертвых зиждется на твердом порядке. Сегодня, придя вот сюда, я сказал ему: если только я увижу ребенка, который украдет с могилы цветы, чтобы на вырученные деньги купить себе учебник, если какая-нибудь худенькая, забитая девчушка стянет камелию, чтобы, продав ее, досыта поесть, я не выдам ее, я ей помогу. «Это грех», — заявил сторож. Грех, сказал старик. В один прекрасный день на улице к вам подходит голодный человек, он просит вас сказать ему, который теперь час. Вы достаете свои часы — только обратите внимание на его взгляд! Он молниеносно выхватывает у вас часы и убегает. Два выхода есть у вас. Вы можете сообщить об ограблении в полицию — и через несколько дней вам вернут часы, обнаруженные в каком-нибудь ломбарде; возможно, спустя сутки разыщут также и вора. Есть и другой выход. Вы можете смолчать... Сказать по правде, я немного устал. Я сегодня не спал всю ночь...

— Вот как, вы устали. Что ж, день уже начался. Мне пора браться за работу.

Я встал, собираясь уйти.

Он показал на море и причал:

— Я обошел там внизу все портовые улочки, хотел узнать, как спят по ночам нужда и порок. Но вы только послушайте, какие удивительные вещи случаются на свете.

Как-то раз вечером, десять лет тому назад, когда я сидел вот здесь, — кажется, даже на этой самой скамейке, — произошел случай, которого я никогда не забуду. Было уже довольно поздно, все посетители покинули кладбище, только каменотес вон там, чуть поодаль, лежал на животе на мраморной плите, высекая на ней надпись. Но и он в конце концов тоже закончил работу, надел куртку, рассовал по карманам инструменты и ушел. Поднялся ветер, зашумели каштаны, и огромный железный крест, стоявший вот здесь рядом, — теперь его как будто уже нет, — едва приметно закачался от ветра. Я тоже застегнул куртку и уже собрался уйти, когда вон из-за того поворота появился могильщик. Он был без пиджака, без шапки и, проходя мимо, торопливо спросил, не попадалась ли мне маленькая девочка в желтом платьице и со школьным ранцем.

— Нет, вроде не попадалась. А что случилось?

— Она украла цветы, — сказал могильщик и торопливо зашагал прочь.

Недвижно сидя на скамейке, я дождался его возвращения.

— Нашли девочку?

— Нет. Но я запер ворота.

Он задумал настоящую облаву, девочка, несомненно, еще бродит по кладбищу, и теперь надо лишь всерьез взяться за дело. Это уже третий случай кражи цветов за один день. И занимаются этим школьницы, пронырливые девчонки, отлично знающие, что это грех. Зачем? А они продают эти цветы, составляют из них букеты и продают. Милые детки, не правда ли!

Я пошел с могильщиком и некоторое время помогал ему искать девочку. Но она ловко спряталась. Тогда мы взяли с собой сторожа и стали искать ее втроем, но не нашли. Сгустились сумерки, и мы оставили поиски.

— А с какой могилы украли цветы?

— Вон с этой. Вдобавок еще с детской могилки! Нет, вы только подумайте!

Я подошел к могилке. Оказалось, что она мне знакома, я хорошо знал маленькую покойницу, ведь мы похоронили

ее только сегодня утром. Цветы с могилки и в самом деле исчезли, в том числе и те, что я сам принес. От них не осталось и следа.

— Надо поискать еще, — сказал я остальным, — какая подлость!

Могильщик, собственно говоря, вовсе не обязан был этим заниматься. Он помогал нам просто из любви к искусству. И втроем мы возобновили поиски. И вдруг — вон там, у поворота, — я увидел крохотного человечка, девочку, которая, съежившись, сидела на земле позади огромного полированного обелиска на могиле бригадного врача Вита и пристально глядела на меня. Она так съежилась, что ее шейка совсем ушла в плечи.

Все же я узнал ее. Это была сестра маленькой покойницы.

— Что же ты так поздно сидишь здесь, дружок? — спросил я.

Она не ответила мне и по-прежнему сидела, не шевелясь. Я помог ей встать, взял ее ранец и предложил проводить ее домой.

— Твоя сестричка Ганна вовсе не хочет, чтобы ты из-за нее так поздно засиживалась здесь, — сказал я.

Тогда она пошла со мной. Я заговорил с ней:

— А ты знаешь, что какая-то злая девочка украла цветы с могилы нашей Ганны? Какая-то маленькая девочка в желтом платьице, ты ее не заметила? Ничего, мы все равно ее найдем.

Она все так же молча шла рядом со мной.

— Поймали! — вдруг закричал могильщик. — Вы поймали воровку!

— Что такое?

— Как — что? Вы же держите ее за руку!

Я не мог скрыть улыбки.

— Вы ошибаетесь. Какая же это воровка! Это же младшая сестричка той самой девочки, которую мы сегодня здесь похоронили. Ее зовут Элина, я ее хорошо знаю.

Но могильщик стоял на своем. И сторож тоже узнал девочку, в особенности по красному рубцу на подбородке. Она украла цветы с могилы своей сестры — бедняжке даже нечего было сказать в свое оправдание.

Учтите: я давно знал обеих сестер, мы много лет жили в одном и том же нищем заднем дворе, и они часто играли под моим окном. Бывало, они яростно ссорились и дрались, но все же они были славные девочки и всегда вступались друг за друга. Навряд ли кто-нибудь мог их этому научить,

мать их была скверная женщина, которая и домой-то почти не заглядывала, а отца своего — кстати, у них были разные отцы — они никогда и в глаза не видели. Девочки эти жили в ветхой лачуге, не намного больше вон той могильной плиты, моя комната была расположена прямо против нее, и часто, стоя у окна, я засматривал в их каморку. Самой толковой из них была Ганна; на несколько лет старше сестры, она привыкла заботиться обо всем, как взрослая. Это она всегда доставала жестяную коробку с хлебом, когда сестрам хотелось есть, а летом, когда на заднем дворе стояла жара, Ганна надумала прикрепить к окошку старую газету, чтобы хоть как-то укрыться от горячих солнечных лучей. Сколько раз я видел, как она перед уходом в школу проверяла, выучила ли сестра свои уроки: Ганна была серьезным, преждевременно повзрослевшим ребенком, и, верно, потому она прожила совсем недолго.

— Давайте заглянем в ранец, — сказал могильщик.

И в самом деле, в нем лежали цветы. Я даже узнал мои собственные камелии.

Что я мог сказать? А маленькая грешница стояла рядом и сердито глядела на нас. Я стал тормошить и расспрашивать ее, но она молчала. Тогда могильщик, пробормотав что-то про полицию, увел девочку с собой.

Когда мы подошли к воротам, она, кажется, вдруг осознала, что ей предстоит, и спросила:

— А куда вы меня ведете?

Могильщик ответил:

— В участок.

— Я ничего не крала, — сказала она.

Но разве она не украла цветы? Ведь они лежали у нее в ранце, мы сами видели. И все же она снова пугливо повторила, что ничего не украла.

В воротах Элина зацепилась рукавом платица за замок, и рукав чуть не оторвался. Под ним белело худенькое плечико.

Все пошли в участок, и я пошел со всеми. Дали показания, но, насколько мне известно, Элине тогда ничего не сделали. А сам я больше ее не видел, потому что уехал и не возвращался сюда целых десять лет.

Но за это время я заметно поумнел. Мы тогда вели себя как последние болваны. Конечно, Элина не украла те цветы, но что, если бы она и в самом деле это сделала? Я хочу сказать: почему бы ей этого не сделать? Где это видано, чтобы так расправлялись с детьми, — хоть ни один судья не осудит нас за это: мы просто схватили ее и поволокли на очную ставку с законом. И еще вот что я вам скажу: я снова виделся с Элиной и могу отвести вас к ней.

Он помолчал.

— Если вы способны понять то, что я сейчас расскажу, слушайте! «Знаешь что, — говорила больная девочка, — скоро я умру, и тогда принесут цветы, может быть, даже кучу цветов: учительница обязательно пришлет букет, а добрая тетушка Бендике, может, даже — целый венок».

Эта больная девочка мудра, словно какая-нибудь старушка, она так быстро выросла, что все жизненные силы ее иссякли, а болезнь еще больше развила ее ум. Когда она говорит, другая, меньшая, сестра смолкает, силится все понять. Сестры живут в своей лачуге одни, матери их никогда не бывает дома, но тетушка Бендике частенько присылает им еду, и, значит, им уже не грозит голодная смерть. Сестры теперь никогда не ссорятся, уже давно, очень давно они перестали драться, а о своих былых стычках во время игр и думать забыли.

Как ни хороши цветы, все же и они увядают, — твердила больная. А увядшие цветы не красят могилы. Мертвой их не увидеть, и тепла от них тоже никакого. А вот не помнит ли Элина ботинки, которые они как-то видели в пассаже? До чего же теплые были ботинки!

Элина отлично помнила их. И чтобы показать сестре, какая она памятливая, она подробно описала ей те ботинки.

Теперь уже и до зимы недалеко. Уже крепко тянет с пола и из-под окна, и тряпка, сохнущая вон на том гвозде, затвердела от холода. Самое время Элине купить себе эти ботинки.

Сестры глядят друг на друга. Не такая уж дурочка Элина, чтобы принять эти слова всерьез.

Нет, правда, для этого надо только взять сестрины цветы и продать их. Это можно сделать. По воскресеньям на улицах всегда много людей, и они с радостью купят цветы. Как часто люди спешат за город с цветками в петлицах, а нередко мужчины разъезжают в пролетках тоже с цветками в петлице. Да они непременно купят у Элины цветы.

Элина спросила, нельзя ли ей купить себе шляпку.

Конечно, можно, если останутся деньги. Но первым делом пусть купит себе ботинки.

Так они и уговорились. Никому до этого не было никакого дела, сестры сами все это придумали. Только бы Элине успеть забрать цветы вечером того же дня, не то они завянут.

Сколько ей было лет, той больной девочке? Наверно, двенадцать — тринадцать. А вообще-то годы ничего не решают. У меня была когда-то сестренка — она еще вот такой крошкой учила греческий!

Но Элина не так уж легко выпуталась из той истории. Наказания ей никакого не дали, в полиции она отделалась легким испугом, а могло ведь быть и хуже. Но тут за нее взялась учительница. А взяться за какого-нибудь ребенка — значит выделить его среди прочих, неусыпно следить за ним, наблюдать за ним исподтишка. Бывало, она подзовет к себе Элину на переменке:

— Элина, детка, погоди немного, мне надо с тобой поговорить!

И вот Элину наставляют ласково и твердо, снова и снова припоминая ей тот случай, требуя, чтобы она молила Бога о прощении.

И тут что-то надломилось в ней.

Элина стала вялой и равнодушной, в школу приходила неумытая, забыв дома учебники. Окруженная недоверием, преследуемая испытующими взглядами, она вся съеживалась при встречах с учительницей, боялась смотреть людям в глаза. Она усвоила привычку оглядываться украдкой, что придавало ее лицу вороватое выражение. И вот наконец для нее настал день конфирмации, и тут пастор заготовил для нее проповедь о том, что значит согрешить против одной из Божьих заповедей, и все соседи приняли судачить о ней, что, дескать, из нее получится. И она бежала от своих соседей, из крохотной своей лачуги. Над городом сияло солнце, люди слонялись по улицам с цветками в петлицах, и сама она тоже спешила за город в пролетке...

Сегодня ночью я снова встретил ее. Она живет вон там, внизу; стоя в воротах, она шепотом окликнула меня. Ей не удалось избежать встречи со мной, я услышал ее голос и узнал красный рубец на лице. Но до чего же она располнела!

— Поди сюда, я здесь, — сказала она.

— Да, и я тоже здесь, — отвечал я. — Как ты выросла, Элина!

Выросла? Что это еще за разговор? Некогда ей со мной лясы точить. Если мне неохота идти к ней, то незачем и околачиваться тут, только других отпугивать.

Я назвал себя, заговорил про наш задний двор, про маленькую Ганну, про все, что вдруг пришло мне на ум.

— Пойдем к тебе и там поговорим! — сказал я ей.

Когда мы вошли, она спросила:

— Вино поставишь?

Вот она какая теперь стала.

— Подумай только, если бы с нами была Ганна! Мы снова сели бы втроем и стали бы болтать обо всем на свете.

Элина оглушительно захохотала:

— Что за вздор вы несете? Вы что, в детство впали?

— Неужели ты забыла Ганну? — спросил я.

Она раздраженно сплюнула.

С чего это я затвердил про Ганну? Не воображаю ли я, что она все еще ребенок? Ганны давным-давно уже нет, и ни к чему весь этот вздор! Так как, принести вино?

— Что ж, изволь.

Она поднялась и вышла из комнаты.

Из соседних комнат доносились голоса, хлопанье пробок, брань и крики. Где-то распахивались и захлопывались двери, кто-то выбегал в коридор и окликал служанку, отдавая ей то или иное приказание.

Возвратилась Элина. Закурив сигарету, она попыталась было сесть ко мне на колени.

— Отчего мне нельзя посидеть у тебя на коленях? — спросила она.

— Не для того я сюда пришел, — отвечал я.

— Тогда плати за вино и ступай.

Я сказал:

— Присядь хоть ненадолго, и мы немножко поговорим. Конечно, я оплачу тебе потерянное время! — И я дал ей деньги, я не считал их, но денег было довольно много.

Тут она сразу смягчилась и послушно присела на стул. Но никакого разговора у нас не вышло. Всякий раз, когда я о чем-нибудь ее спрашивал, она принималась что-то напевать или закуривала очередную сигарету, прежде чем мне ответить. О прошлом она ничего и слышать не хотела. Старый, грязный задний двор, что уж там вспоминать! А нельзя ли ей угостить вином служанку, ту, что сидит в коридоре?

— Конечно, можно.

— Знаете, — сказала она, — ведь та служанка — моя мать. Она тут прибирает за нами, девушками. Это я помогла ей сюда устроиться. Она здесь очень прилично зарабатывает.

Она вынесла в коридор стакан вина и тут же вернулась назад.

— За ваше здоровье, старый друг! — сказала она.

И мы выпили.

Тут она снова захотела сесть ко мне на колени.

— Не надоело тебе здесь? — спросил я.

— Надоело? Нет, ни капли. А почему мне нельзя сесть к вам на колени?

— И давно ты здесь?

— Не помню точно. Не все ли равно? Выпьем еще?

Мы выпили. Она снова хрипло пропела обрывок какой-то песенки, сущую чепуху, наверно, из какого-нибудь эстрадного представления.

— Где ты слыхала эту песню?

— В «Тиволи».

— И часто ты туда ходишь?

— Да, когда есть деньги. А вот сейчас я на мели. Хозяйка сегодня требовала у меня денег. Она такую большую плату с нас берет, так много, что нам самим ничего не остается. Может, дашь мне еще денег?

По счастью, у меня еще оставалось немного денег, и я отдал их ей.

Она взяла их, не сказав мне даже «спасибо», внешне совсем бесстрастно, может, только в душе немного порадовалась. Тут же она потребовала, чтобы я заказал еще одну бутылку вина. Наверно, решила, что меня стоит потрясти покрепче.

Принесли вино.

Но тут ей вдруг захотелось показать меня остальным. Она сказала, что пригласит двух-трех девушек и угостит их вином. Девушки пришли. Они были в коротких накрахмаленных юбках, шуршавших при каждом их движении, с голыми руками и коротко подстриженными волосами.

Элина представила меня, — как оказалось, она отлично помнила мое имя. И тут же стала хвастать, что я дал ей кучу денег, что я ее добрый старый друг и что, сколько бы денег она у меня ни потребовала, я нипочем ей не откажу. И так оно было всегда. Потому что я очень богат.

Девушки выпили и тоже развеселились, они наперебой сыпали двусмысленностями и горланили обрывки песен. Элина ревновала, когда я заговаривал с другими, сердито и угрюмо огрызалась. Но я нарочно обращался к другим, желая, чтобы сама Элина тоже разговорилась и позволила мне заглянуть в ее душу. Однако мои старания не имели успеха: упрямо откинув назад голову, она занялась какими-то хлопотами. Под конец она схватила свое пальто и собралась выйти на улицу.

— Куда ты? — спросил я.

Она не ответила, продолжая с надменным видом что-то напевать, и надела шляпу. Неожиданно, распахнув дверь в коридор, она крикнула:

— Гина! — Так звали ее мать.

Та подошла, тяжело ступая, шаркая разношенными туфлями, постучала в дверь, затем, распахнув ее, встала на пороге.

— Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты каждый день вытирала на комоды пыль! — властно сказала Элина. — Вот какую грязьцу развела! Меня такая уборка не устраивает, ясно тебе? И вон те фотографии тоже надо вытирать каждый день суконной тряпкой!

Мать ответила:

— Ладно! — и собралась было уйти. Все лицо ее было в морщинах, щеки запали. Она покорно слушала дочь, не сводя с нее глаз, боясь что-либо упустить из ее слов.

— Запомни это раз и навсегда. Ясно? — сказала Элина.

Мать ответила:

— Да, черт побери, — и вышла. Она тихо прикрыла за собой дверь, только бы не слышать крика. Но сама она была на вид весьма свирепая женщина.

Элина между тем уже оделась. Обернувшись ко мне, она сказала:

— А теперь заплатите за вино и уходите!

— Спасибо за угощение! — сказали девушки и осушили стаканы.

Я был несколько ошарашен.

— Заплатить за вино? — переспросил я. — Одну минутку, пожалуйста. Мне казалось, что я уже отдал вам деньги за вино, но, может, у меня еще кое-что осталось. — Я снова полез в карман.

Девушки стали смеяться.

— Нечего сказать, богатый у тебя дружок! Ты же хвастала, будто он дал тебе кучу денег, а теперь, выходит, ему нечем платить за вино! Ха-ха-ха!

Тут Элина обозлилась на них из-за меня.

— Вон отсюда! — закричала она. — Нечего вам больше здесь делать! У него денег куры не клюют! Сейчас я вам покажу, сколько он мне дал! — И она с торжеством швырнула на стол кредитки и серебро. — Вот, глядите, он за все уже заплатил — и за вино, и за меня тоже! Уж вы-то, почитай, за всю жизнь столько денег не видали! Я могу отдать хозяйке плату за целых два месяца, поняли? Я только для того это сказала, чтобы немножко его поддразнить, подшутить над ним! А теперь убирайтесь! — И она выставила девиц в коридор. Заперев за ними дверь на замок, Элина рассмеялась резким нервным смехом. — Я и в самом деле не хочу, чтобы они здесь торчали, — оправдываясь, сказала она. — И вообще-то они надоедливые бабы, и потому я не вожу с ними компании. Правда ведь, они надоедливые?

— Нет, я что-то этого не заметил, — сказал я, желая ее пристыдить. — Они отвечали мне, когда я к ним обращался, и рассказывали о себе все, что мне хотелось у них узнать. Очень милые девушки.

— Если так, убирайся и ты тоже! — крикнула мне Элина. — Можешь пойти к ним, если охота. Я тебя не держу.

На всякий случай она спрятала деньги, которые швырнула на стол.

— Мне очень хотелось бы спросить тебя кое о чем, — сказал я, — только изволь спокойно присесть на стул и выслушать меня.

— Спросить меня кое о чем! — насмешливо передразнила она. — Мне с тобой детей не крестить! Верно, опять что-нибудь про Ганну? От твоих дурацких разговоров про Ганну меня рвет! Этим сыт не будешь!

— Не хочешь ли ты расстаться с этой жизнью? — спросил я.

Притворившись, будто не слышит вопроса, она снова начала сновать по комнате, что-то прибирая и при этом насвистывая для бодрости.

— Расстаться с этой жизнью? — сказала она, вдруг вплотную подойдя ко мне. — А чего ради? Куда мне деваться? Кто, по-твоему, возьмет меня замуж? Кому я, такая, нужна? А в услужение я не пойду.

— Может, надо попытаться уехать отсюда и начать честную жизнь в другом месте.

— Ерунда! Ерунда все это! Хватит! Ты чего, проповедником заделался? Чего ради уезжать отсюда? Живется мне здесь неплохо, работа у меня не тяжелая. Послушай, выпьем еще, а? Но только вдвоем выпьем. Тех, других звать не станем... Гина! — крикнула она, распахнув дверь.

Она потребовала, чтобы мать принесла еще вина, и стала пить, и лицо ее приобретало все более отталкивающее выражение. Теперь от нее уже невозможно было добиться сколько-нибудь внятного ответа; размышляя о чем-то своем, она без конца напевала эстрадные куплеты. Потом она снова осушила стакан и рассмеялась неприятным смехом. Много раз она садилась ко мне на колени, высовывала кончик языка и, поддразнивая меня, говорила:

— На, гляди!..

Под конец она прямо спросила:

— На ночь останешься?

— Нет, — ответил я.

— Тогда я пойду на улицу, — сказала она.

Рассказчик смолк.

— Ну и что же дальше? — спросил я.

— Как бы вы сами поступили, окажись вы перед таким выбором? Остались бы вы на ночь или ушли? Вот ведь в чем вопрос. Хотите знать, что сделал я? — Он посмотрел на меня. — Я остался, — сказал он.

— О с т а л и с ь? — спросил я, от удивления раскрыв рот. — Остались на всю ночь? У той женщины?

— Я низкий человек, — сказал он.

— Но, черт побери, как это вас угораздило! Вино, что ли, к голове ударило!

— Не без того! Под конец и это было. Но главное, я такой же отвратительный и ничтожный человечиска, как и все прочие. Этим все сказано. Передо мной была женщина, чью историю я знал, трогательную, волнующую историю, и я испытал особое наслаждение от собственного бесстыдства. Можете вы это понять? Вот я и остался. И в какие бездны бесстыдства мы с ней погрузились!

Подлый циник, сам себя осудив, покачал головой.

— Сейчас я опять пойду к ней, — продолжал он. — Может быть, ее еще можно спасти. Хотите сказать, что я не тот человек? А может, я все же не такой подлец, каким я вам представляюсь. Вы думаете о том, как я вел себя той ночью? Но учтите, если бы я не остался с ней, на мое место пришел бы другой, и на такой замене она, безусловно, прогадала бы. Уж если ей выбирать знакомых, то почему бы не остановить свой выбор на мне, я ведь чуткий, внимательный человек, и я всякий раз уступаю соблазну лишь после долгой внутренней борьбы. Но странным образом именно это мое свойство больше всего раззадорило ее. Она сама призналась мне в этом. «Ты так восхитительно противишься!» — сказала она. Ну что поделаешь с такой бабой? Подумать только, что ей так покалечили душу, и все из-за тех злосчастных цветов! С этого все началось. Если бы не запрещали подбирать с могил цветы, она была бы теперь порядочной женщиной. Но куда уж там — мы схватили ее, и я был в этом пособником, да, пособником!

Он снова покачал головой и сник, подавленный случившимся.

Наконец он очнулся, словно после короткого сна.

— Боюсь, я задержал вас? Да я и сам сильно устал. Вы не скажете, который час?

Я полез в карман за часами. У меня не оказалось их с собой, наверно, я оставил их дома.

— Спасибо, в сущности, это все равно, — сказал он, вытянул ноги, одернул на себе брюки и затем встал. — Смотрите, вот идет наша важная дама; со скорбью покончено, у девочки нет больше в руках цветов. Цветы — розы и камелии — дня через четыре завянут. Но если какая-нибудь крошка возьмет эти цветы, чтобы на вырученные деньги купить себе ботинки, я не сочту это за грех...

С минуту мой собеседник разглядывал меня, а затем, вплотную подойдя ко мне, разразился беззвучным смехом.

— Вот какие истории надо рассказывать людям, — сказал он, — на них всегда найдешь охотника. Премного вам благодарен, многоуважаемый собеседник!

Сняв шляпу, он поклонился мне и зашагал прочь.

Я остался один на скамейке, совершенно растерянный. Я вдруг испытал крайнее замешательство и даже утратил ясность сознания. Скотина, он пробыл с той женщиной всю ночь! С той женщиной? Да все это вранье, он просто дурачил меня, а его трагический рассказ, наверно, выдуман от начала и до конца. Кто же он все-таки такой, этот плут из плутов? Если случится мне когда-нибудь его повстречать, уж я с ним расправлюсь! Может быть, он где-то прочитал этот рассказ, а потом выучил наизусть, рассказик совсем неплох, у парня явный талант. Ха-ха-ха, будь я проклят, здорово он обвел меня вокруг пальца!

Я зашагал домой в тяжком смятении. Дома я вспомнил, что должен отыскать часы. На столе их не было. Я резко хлопнул себя по лбу: часы украли! Конечно, их украл тот парень, когда сидел рядом со мной на скамье. Ха-ха, вот прожженный мошенник!

Два выхода было теперь у меня. Я мог пожаловаться в полицию, и спустя несколько дней мне вернули бы мои часы, обнаруженные в каком-нибудь ломбарде. Возможно, через день-другой разыскали бы и вора. Но был и другой выход — я мог смолчать.

Я смолчал.



АЛЕКСАНДР И ЛЕОНАРДА

Была в наших краях протока Глимма. И жил в наших же краях цыган по имени Александр. С Александром мне довелось как-то беседовать в крепости Акерсхюс, куда его заточили за разбой. Недавно я прочел в газете, что опасный преступник умер, не вынес душевной тюремной камеры. А мне он поведал о том, как однажды погубил девушку... Сегодня я размышлял об этой истории и в смятении начал рассказывать ее с середины. А лучше начать с самого начала.

В Нурланне много рыбаков, зажиточных и победнее. Зажиточный рыбак — могущественный человек в здешних краях, у него кошельковый невод для ловли сельди, своя пристань и дом — полная чаша. Он ходит в просторной одежде из добротной ткани, отчего кажется еще более внушительным, — признак того, что в еде он себе не отказывает. Он с легким сердцем платит налоги — священнику и всем остальным, а на Рождество покупает целую бочку спиртного. Его усадьба всегда на виду, дом обшит досками и выкрашен в красный цвет, а оконные рамы и дверь — в белый. Его сыновей и дочерей сразу узнаешь в церкви по нарядной одежде.

Однажды на пристани такого вот рыбака, Енса Олаи, появился большой цыганский табор. Было это ранней весной. Цыгане приплыли на своей лодке, их вожак — старый Александр, по прозвищу Перекати-поле, — был настоящий богатырь, ростом в три аршина. С лодки сошел также молодой парень лет двадцати и напрямик направился к дому Енса Олаи попрошайничать. Это был молодой Александр. Случилось это все в моем детстве. Мы, дети, узнали Александра, он играл с нами несколько лет назад, когда был моложе, и мы менялись с ним блестящими пуговицами и разными железками.

Енс Олаи, человек гордый и степенный, никому ничем обязан не был, потому велел цыганам убираться восвояси; но Александр, он был дерзкий и бесстрашный, уступить ему не захотел.

— Ты можешь получить работу, — сказал Енс Олаи.

— Какую работу?

— Будешь чистить котлы и кастрюли. Кроме того, помогать по хозяйству моей жене и дочери, когда мы, мужчины, уйдем в море.

Александр пошел к лодке спросить совета у своих соплеменников. Вернувшись, он сообщил почтенному Енсу Олаи, что согласен поступить к нему на службу. Видно, что в этой усадьбе есть чем разжиться.

Прошло немного времени. Енс Олаи и его сыновья ушли в море, в усадьбе остались только его жена и дочь Леонарда. Ей было всего двадцать лет.

Молодой Александр вел себя вполне благопристойно. Он взялся приглядывать за коровами и лошадьми, лечил их от разных напастей. Вскоре жена рыбака начала выказывать ему особое свое расположение, хотя ей было уже под сорок. Но цыган отшучивался, у него, дескать, в отцовской лодке осталась возлюбленная и ни о ком другом он не помышляет. Раздосадованная жена рыбака начала шпионить за дочерью, боялась, как бы у той чего не вышло с цыганом. Едва успел сойти снег и земля немного оттаяла, стала она посылать Александра копать торф на болоте, подальше от дома. С болота, где он смиренно отбывал свою повинность, доносились его непонятные песни. Он был рослый и могучий, этот язычник.

Леонарда говорила с ним редко, он вообще мало что значил для нее, дочери самого Енса Олаи. Но весна — время опасное, и когда стало по-настоящему тепло, глаза у Александра засияли, как звезды, и, проходя мимо Леонарды, он все норовил задеть ее. Из ее сундука каким-то непостижимым образом стали пропадать вещи, хотя замок на нем был исправный. А потом обнаружилось, что у него отстает дно, и Леонарда обвинила во всем Александра.

— Да не крал я у тебя ничего, — сказал он. — Но обещаю, все будет снова на месте, только не закрывай вечером дверь в спальню...

Она взглянула на него и сказала:

— А не лучше ли завтра тебе убраться подобру-поздорову из нашего дома?

Но уж что-что, а просить цыган умеет, его алые губы, смуглая кожа и глаза хоть кого обольстят. Да и в любовных утехх он непревзойден.

Как-то Леонарда сидела во дворе и вязала, а Александр, проходя мимо, сказал:

— Позволь мне все-таки остаться на торфяном болоте. Я буду стараться, и ни одной дерзости ты от меня не услышишь.

Она взглянула на него и почувствовала, как эти слова прямо пронзили ее. Он снял картуз, и она увидела, что у него густая копна волос и красивый алый рот. И Леонарда сказала:

— Ну да ладно.

И склонилась над вязанием, щеки ее пылали.

Цыган соображал, что делал, когда униженно просил молодую девушку разрешить ему остаться на торфяном болоте. Просто хотел подольститься к ней, ведь он прекрасно знал, что вовсе не она, а мать всем здесь распоряжается.

Дни шли.

Сын местного столяра Конрад был в отъезде, обучался ремеслу отца. Выучился в городе и стал искусным мастером. Жил он на другом берегу Глиммы, и всякий, кому нужен был сундук особо тонкой работы, обращался к нему. Однажды Леонарда решила отправиться к Конраду, и Александр перевез ее на другую сторону.

Она засиделась у юного Конрада, они говорили о новом сундуке, который она приехала заказать, да и о многом другом, ведь они знали друг друга с детства. Потеряв терпение, Александр подошел к дому столяра и заглянул в окно. Но тут же отпрянул и, разъяренный, ворвался в дом.

Все трое уставились друг на друга. Цыган был похож на скакуна с развевающейся гривой и раздувающимися ноздрями.

— Ну ладно, иду, иду, — сказала Леонарда, чтобы успокоить его.

Мужчины смирли друг друга взглядом, оба молоды были. Александр пошарил за поясом, но ножа при нем не оказалось, и взгляд его погас. Цыган беспомощен без оружия, но, если при нем нож, он смел и безрассуден, может и убить.

Это была первая их встреча.

Через неделю столяр Конрад доставил сундук в дом знатного рыбака. Сундук был сложен на совесть, и замок на нем был новый, хитроумный. Как только Леонарда начала перекладывать в него добро, она обнаружила в старом сундуке пропавшие вещи в целости и сохранности.

— Опять ты, — упрекнула она цыгана.

— Нет, не я, — сказал цыган, и снова солгал, просто так, по привычке.

Столяр зачастил к Леонарде, она угощала его кофе. А цыган умудрялся улучшить момент и плюнуть в кофейник.

Когда столяр возвращался домой, он шел за ним по пятам как тень.

Мужчины мерили друг друга взглядом, а Александр нащупывал нож.

— Ты зря суетишься, цыган. Сегодня она дала мне слово.

Александр вспыхнул и выхватил нож. Но столяр успел вскочить в лодку и оттолкнуться от берега. А когда оказался в полной безопасности, в нескольких саженьях от берега, крикнул, что донесет на бродягу властям.

Дни шли.

Старый Александр, по прозвищу Перекати-поле, снова причалил к пристани на своей лодке, чтобы забрать сына, но молодой Александр не захотел возвращаться и стал просить, чтобы ему разрешили закончить службу, как было договорено. Отцу он наплел, что еще много чего наворует в усадьбе, и цыганская лодка отплыла без него.

Однажды молодой Александр сказал Леонарде:

— Уже ласточки прилетели. Не пойти ли нам с тобой на пристань, прикажи мне привести в порядок бочки и снасти, ведь скоро путина.

Леонарда не понимала еще, что с цыганом шутки плохи, она насмешливо скривилась и сказала:

— Ну что ж, пойдем.

Но на этот раз ее насмешка не была суровой, а скрытый смысл его слов не возмутил ее. Она видела, что любовь цыгана становится все горячее.

Не успели они подойти к пристани, как Александр обнял ее и стал целовать в губы.

— Ты спятил, — произнесла она и высвободилась из его объятий, едва не задохнувшись, щеки ее пылали.

— Ну так что, уходить мне завтра со двора?

На сей раз Леонарда ответила ему кротко:

— Смотря как будешь себя вести.

— Впредь это больше не повторится.

Слова своего он не сдержал. Он все время задевал ее и приставал со своими нежностями.

И сердце Леонарды начало уступать смуглому язычнику.

Она уже не задирала нос, не кичилась. Хотя и не сразу ему удавалось подступиться к ней, но потом взгляд ее становится томным и нежным в его присутствии. Все это случилось в ту пору, когда распускается листва и над Нурланом стоят удивительные светлые ночи. Наконец однажды, на торфяном болоте, она подошла к нему совсем близко —

он стоял на самой его середине, — а ведь могла поставить узелок с едой, как и раньше, у края болота. Но ей захотелось подойти к нему поближе.

Мать с ума сходила от ревности, из кожи вон лезла, чтобы дочь как можно скорее вышла замуж за столяра. Леонарда не возражала. Но она была в каком-то радостном опьянении и мало думала о предстоящей свадьбе. Этот бродяга Александр копал торф посреди болота, а она подходила к нему совсем близко, так манила ее молодость его и красота. Бывали дни, когда она и не вспоминала о столяре Конраде, и нельзя сказать, что это были тоскливые для нее дни.

Поздней весной рыбак с сыновьями воротились домой, началась весенняя страда, и помощь цыгана была нелишней. Но к Иванову дню он должен был уйти насовсем. Теперь ему трудно стало встречаться с Леонардой наедине, по наущению столяра за ним следили братья. Да к тому же любовь прихотлива, она гаснет, если не встречает препятствий, и молодой цыган стал надоедать Леонарде. Она начала готовиться к свадьбе с Конрадом.

Александр сказал:

— Знай, если столяр появится здесь хоть раз, я убью его.

Но Леонарде цыган уже порядком поднадоел, и она произнесла с насмешкой:

— Да что ты говоришь! А если два, что ты сделаешь?

На Иванов день в доме столяра устраивались танцы, и Леонарда тоже собиралась туда. И в тот же самый вечер Александр должен был навсегда оставить дом рыбака.

— На прощанье перевези меня на тот берег, — попросила Леонарда Александра.

— Зачем тебе туда?

— Это тебя не касается.

Александр собирался уже покинуть усадьбу. Он сложил пожитки в узелок и сказал:

— Я готов.

Они спустились к протоке и сели в лодку. Глимма разлилась и так бурлила, что плыть стало опасно.

Налегая на весла, Александр спросил:

— Ты выйдешь за него?

— Да, — ответила она.

— Это не я крад твои вещи, — сказал он. — Это твоя мать.

Она долго смотрела на него, а потом вспыхнула:

— Вздор!

— Она хотела поссорить нас, но я знал, куда она прятала их, и выкрал их для тебя.

— Врешь ты все, — сказала Леонарда, она и впрямь не поверила ему.

Цыган продолжал грести, но совершенно обезумел.

— Я не причинил тебе никакого зла, — проговорил он наконец. — Если бы ты захотела, я бы образумился, бросил бродяжничать.

— А мне-то что, — сказала она, желая поддразнить его. — Куда это ты гребешь? Нас несет на скалу.

Лодка продолжала плыть по воле волн.

Она вскрикнула.

Он с силой взмахнул веслом, как бы повинуюсь ей, и оно сломалось.

Теперь они были полностью во власти стихии.

— Ты нарочно сломал весло, — сказала она, впервые по-настоящему рассердившись.

Он ответил:

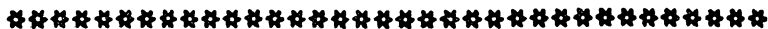
— Ясное дело, нарочно. Живой ты не сойдешь на берег.

Вслед за этим раздался пронзительный крик, лодку прибило к скале и ударило об нее. Цыган успел вскарабкаться на скалу. Он видел, как Леонарду несколько раз перевернуло, а потом волны подхватили ее и потащили головой вперед. И водоворот увлек ее на дно.

Их заметили с берега, и цыгана сняли со скалы.

Молодого Александра винить было не в чем. Что поделаешь, просто сломалось весло, несчастный случай, только и всего.

Эту историю я услышал из уст самого Александра, который был заточен в крепость Акерсхюс за разбой.



ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Я работал в Чикаго кондуктором. Вначале на линии Халстед; это была конка, она ходила от центра города прямо до скотного рынка. Выходя в ночную смену на этой линии, мы никогда не чувствовали себя в безопасности, уж очень подозрителен был люд, что ездил здесь по ночам. Стрелять нам запрещалось, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть, не то трамвайной компании пришлось бы выплачивать компенсацию; у меня даже не было пистолета, так что полагался я только на удачу. Конечно, совсем безоружным я не был: в любой момент мог выхватить рукоятку тормоза, а уж эта штука меня бы не подвела. Хорошо это или плохо, но воспользоваться ею мне пришлось только однажды.

Все рождественские ночи 1886 года я провел в трамвае без особых происшествий. Только однажды в вагон ввалилась толпа ирландцев со скотного рынка, — даже платформа просела. Пьяные, они пили еще, горланили какие-то песни и явно не собирались платить, хотя вагон уже тронулся. Целый год по утрам и вечерам мы отдавали компании свои кровные пять центов, вопили они, а нынче Рождество, и по этому случаю платить не намерены. Может, они были отчасти правы, но разрешить им бесплатный проезд я все же не мог, так как опасался соглядатаев, нанимаемых компанией следить, как кондуктор выполняет свои обязанности. В вагон вошел констебль, постоял минутку, пробормотал себе что-то под нос по поводу Рождества, понюхал воздух и вышел, слишком тесно ему показалось. Кому, как не мне, было знать, что одного слова констебля было бы достаточно, чтобы все пассажиры вынули свои пятицентовые, но я промолчал. «Почему ты нас не заложил?» — спросил один. «Решил, что это ни к чему, — ответил я. — Ведь я имею дело с джентльменами». Кто-то попытался поднять меня на смех, но другие меня поддержали и даже заплатили за остальных.

К следующему Рождеству меня перевели на линию Коттедж. Перемену я ощутил сразу же. Теперь я обслуживал состав из двух, иногда трех вагонов; их приводил в движение кабель, проложенный под землей. Публика в этом районе жила благовоспитанная, их пятицентовики я собирал в перчатках. Здесь было спокойно, а к обитателям вилл я скоро привык.

Но под Рождество 1887 года опять случилось небольшое происшествие.

В сочельник — я работал тогда в утреннюю смену — мы ехали к центру. Вошел господин и сразу обратился ко мне с каким-то вопросом; пока я обходил вагон, он дожидался меня на задней площадке, где я обычно нахожусь, а потом снова заговорил. На вид ему было лет тридцать, бледный, с усами, очень элегантно одет, но без пальто, хотя погода стояла холодная.

— Я выскочил из дома в чем был, — сказал он. — Хотел непременно опередить жену.

— Рождественский подарок, — высказал я предположение.

— Вот именно, — ответил он и улыбнулся.

Но улыбка вышла странной, будто гримаса или ухмылка искривила его рот.

— Сколько вы зарабатываете? — спросил он.

В стране янки этот вопрос никого не удивляет, и я назвал точную цифру.

— Хотите заработать десять долларов? — спросил он.

Я хотел.

Он достал портмоне и протянул мне купюру. Сказал, что доверяет мне.

— Что я должен сделать? — спросил я.

Он попросил показать ему мой график движения и сказал:

— Сегодня вы работаете восемь часов?

— Да.

— Во время одной вашей поездки мне понадобится ваша помощь. На перекрестке с Монро-стрит мы будем проезжать над люком, ведущим к подземному кабелю. Я подниму крышку и спущусь вниз.

— Вам жить надоело?

— Не совсем. Но я хочу произвести такое впечатление.

— Ах, вот как.

— Вы остановите трамвай и будете вытаскивать меня из колодца, несмотря на мое отчаянное сопротивление.

— Непременно.

— Благодарю. Кстати, я совсем не сумасшедший, как вам может показаться. Я устраиваю этот спектакль для

моей жены, она должна увидеть своими глазами, что я хочу умереть.

— Так, стало быть, ваша жена тоже поедет на этом трамвае?

— Да, она будет сидеть на «грипе».

Я поехал. The grip — так называется в Америке кабинка вагоновожатого, где он стоя управляет трамваем, место это со всех сторон открыто ветрам, и находится там зимой — удовольствие не из приятных.

— Она будет сидеть на «грипе», — повторил мужчина. — Так она обещала в письме своему любовнику; для него это будет сигналом, что она сегодня придет. Так она написала в письме.

— Хорошо. Но я должен предупредить вас, что с крышкой люка придется поторопиться. Иначе на нас наедет другой состав. У нас интервал три минуты.

— Это мне известно, — ответил господин. — Когда я подойду, крышка будет уже приоткрыта. Она и сейчас уже приоткрыта.

— И еще один вопрос: как вы узнаете, на каком трамвае поедет ваша жена?

— Мне сообщат об этом по телефону. Мои агенты следят за каждым ее шагом. Она будет в коричневой шубке, вы легко узнаете ее, она очень красивая. Если ей станет плохо, помогите ей добраться до аптеки на углу Монро-стрит.

Я спросил:

— С моим вагоновожатым вы тоже договорились?

— Да, — ответил он. — И заплатил ему столько же. Но мне бы не хотелось, чтобы вы обсуждали эту историю и зубоскалили. Лучше не говорите ему ни слова.

— Не сомневайтесь.

— Когда трамвай подъедет к Монро-стрит, вы перейдете в кабину вагоновожатого и будете внимательно следить. Заметив меня, вы дадите сигнал остановиться. Вагоновожатый поможет вам вытащить меня из люка, хотя я буду сопротивляться и кричать, что хочу умереть.

Я немного подумал и сказал:

— Сдается мне, что вы могли бы сберечь ваши денежки и никого из нас не посвящать в то, что вы задумали. Спустились бы себе в люк, и все тут.

— Ах, Боже праведный! — воскликнул господин. — Но ведь вагоновожатый мог бы меня не заметить! Что было бы, если бы он меня не заметил! И никто бы не заметил!

— Вы правы.

Мы поговорили еще о том о сем; он доехал до конечной станции, а потом поехал с нами обратно.

На углу Монро-стрит он сказал:

— Вон в ту аптеку вы доставите мою жену, если ей станет плохо.

И соскочил с подножки...

Я стал богаче на десять долларов; слава Богу, случаются в жизни счастливые дни! Всю зиму я проходил, привязывая к спине и груди толстый слой газет, чтобы хоть как-то защищать себя от ветра; при каждом моем движении раздавался хруст, что очень меня смущало, а приятели не упускали случая подшутить надо мной. Теперь же я смогу купить чудесный кожаный жилет, совершенно непродуваемый. И если приятели станут толкать меня в спину, они не услышат так забавляющий их хруст, я больше не доставлю им такого удовольствия...

Мы сделали две, сделали три ездки в город; ничего не произошло. Когда в четвертый раз я собирался выйти на станции Коттедж, вошла молодая особа и села на «грипе». На ней была коричневая шубка. Когда я подошел к ней, чтобы получить плату за проезд, она доверчиво посмотрела на меня. Совсем юное существо, очень красивая, с невинными синими глазами. Бедняжка, какой ужас ей придется пережить сегодня, думал я, но, значит, где-то она оступилась, и теперь последует наказание. Бережно отвести ее в аптеку доставит мне будущее удовольствие.

Мы катились к центру города. Я заметил со своей площадки, что вагоновожатый шепчется с юной дамой. Но что интересного он мог ей рассказать? Ему вообще запрещено говорить с пассажирами во время работы. Но, к моему удивлению, молодая женщина пересела к нему поближе, а он внимательно слушал, что она ему говорит.

Так и катились мы дальше к центру, останавливались, брали пассажиров, опять останавливались, пассажиры выходили; все шло своим чередом. Монро-стрит была уже близко. Вот, думаю, сумасшедший, а местечко выбрал себе с умом. Перекресток тихий, спуститься в колодезь никто не помешает. А дальше я вспоминаю, что мне не раз приходилось видеть, как обслуживающий персонал нашей компании спускается в такие люки и приводит в порядок все, что может там, в подземелье, выйти из строя. Но если кто задержится в люке и поезд на него случайно налетит, то это — как пить дать — укоротит несчастного: от кабины вагоновожатого к кабелю тянется якорь, так что башку уж точно оторвет.

Когда до Монро-стрит оставался один квартал, я пошел в кабину. Вагоновожатый и молодая дама молчали. Я только напоследок заметил, как вагоновожатый кивнул, словно соглашаясь с чем-то, после чего уставился в одну точку,

смотрел только вперед и мчался на бешеной скорости. У нас тогда еще Длинный Пат был вагоновожатым, ирландец.

«Slack here a bit!» — сказал я ему, как мы обычно это говорим. Это означает: сбавь скорость. Там, куда мы неслись, я как раз увидел черную точку, словно из-под земли торчала человеческая голова.

Потом я посмотрел на молодую женщину, ее взгляд был прикован к той же точке, она судорожно вцепилась в сиденье. «Сама мысль о возможном происшествии уже взволновала ее! — думала. — Что же будет с бедняжкой, когда она увидит, что это ее собственный муж хочет покончить с собой!»

Но Длинный Пат не сбросил скорость. Я крикнул ему, что в колодце человек, — это не произвело на него никакого впечатления. Теперь голова была уже отчетливо видна, безумец стоял в колодце лицом к нам. Тогда я выхватил свисток и дал резкий сигнал к остановке; Пат не снижал скорости, через несколько секунд беды уже было не избежать. Я забил в колокол, потом выскочил на переднюю площадку и схватился за рукоятку тормоза. Но было поздно; прежде чем остановиться, трамвай с визгом пронесся над люком.

Я спрыгнул на землю, меня била дрожь, но я помнил отчетливо, что должен кого-то спасти, кто будет сопротивляться. И тут же опять вернулся в вагон и вообще много суетился. Вагоновожатый, казалось, был тоже не в себе и задавал бессмысленные вопросы — был ли в колодце человек и как это могло произойти, что он не остановил трамвай. Молодая женщина кричала: «Ужасно! Ужасно!» В лице ее не было ни кровинки, и она все так же судорожно цеплялась за сиденье. Но сознание она не потеряла и вскоре спустилась с трамвая и ушла.

Собралась толпа, голову несчастного нашли под задним вагоном, туловище осталось в колодце, якорь зацепился за подбородок и отсек голову. Мы убрали тело с путей, подошедший полицейский отнес его в сторонку. Констебль записал все имена, а что касается меня, то пассажиры засвидетельствовали, что я звонил и свистел и под конец я-то как раз и затормозил. Доложить о происшествии в контору должны были эксперты нашей компании.

Длинный Пат попросил у меня нож. Я понял это по-своему и сказал, что на сегодня нам хватит происшествий. Тогда Длинный Пат улыбнулся и показал мне свой пистолет; нож ему нужен совсем не для такой ерунды. Получив то, что просил, он простился со мной, объяснив, что работать здесь больше не сможет; ему тяжело говорить об этом, но довести состав до конечной станции придется мне, там мне дадут другого вагоновожатого. И еще он объяснил мне, что

я должен делать дальше. С ножом мне придется расстаться, сказал он, — он пойдет искать глухую подворотню и срежет там свои форменные пуговицы.

С тем и ушел.

Мне ничего не оставалось, как добираться до станции самому; за мной скопилось несколько составов, ожидавших, чтобы я поскорее освободил путь. И поскольку кое-какой опыт вождения у меня все же был, то добрался я до станции без приключений.

Однажды вечером между Рождеством и Новым годом я бесцельно бродил по городу. Подойдя к железнодорожному вокзалу, решил заглянуть внутрь — там царило оживление, и это странным образом привлекло меня. Я вышел на перрон и увидел поезд, который вот-вот должен был тронуться. Вдруг кто-то окликнул меня по имени, на ступеньках вагона стоял улыбающийся человек и звал меня. Это был Длинный Пат. Я не сразу узнал его: он был элегантно одет и к тому же расстался со своей роскошной бородой.

У меня вырвался возглас удивления.

— Тсс, ты что шумишь? И кстати, чем закончилась та история? — спросил Пат.

— Нас допрашивали, — ответил я. — Тебя разыскивают.

Пат сказал:

— Я уезжаю на Запад. Что мне здесь делать? Семь-восемь долларов в неделю, из них четыре уходит на жизнь. Хочу купить землю и стать фермером. Как ты понимаешь, деньги у меня есть. Захочешь присоединиться, найдется и для тебя фруктовая плантация где-нибудь в районе Фресок.

— Я не могу поехать, — ответил я.

— Пока не забыл, вот твой нож. Спасибо, выручил. Но знаешь, служба в трамвайной компании ничего тебе не даст. Я проработал три года, но так и не вырвался бы, если бы не тот случай.

Раздался свисток.

— Ну прощай, — сказал Пат. — Да, кстати, сколько заплатил тот несчастный?

— Десять долларов.

— И мне столько же. В общем-то, заплатил он неплохо. Но жена — лучше.

— Жена?

— Ну да, его молодая жена. Она заключила со мной небольшую сделку. Тысчонка-другая не имели для нее значения, уж очень ей хотелось разделаться с мужем. Вот на эти деньги я и собираюсь изменить свою жизнь к лучшему.



ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Случаются такие тяжелые дни.

Еще с вечера чувствуешь их приближение. Происходят необъяснимые события, неведомые силы встают на пути.

Вечером вы возвращаетесь домой. Темно. Позади остался большой путь, вы много думали, мечтали и, конечно, страдали. И вот оно, начинается. Открывая дверь, вы перепробуете все ключи, пока не отыщете нужный. Потом убедитесь, что именно в этот раз хозяйка забыла подлить в лампу керосина и придется довольствоваться двумя жалкими свечками. На сон грядущий по привычке вы возьмете почитать книгу и обнаружите, что страницы не разрезаны, — придется вылезать из-под одеяла и искать нож, но, как только вы ляжете окончательно, станет совершенно ясно, что сон пропал. И тогда придет время раздумий. На несколько часов.

Наконец вы задуете свечи и сон начнет окутывать вас, но тут домой вернется сосед, живущий за перегородкой. И опять вы проснетесь. И будете мучиться в темноте и ворочаться в слепой злобе, — а сна — ни в одном глазу. Нахлынут неприятные воспоминания. Несмотря на слабеющую память, вы отчетливо вспомните ваш скверный поступок, и как несправедливо обидели кого-то, и как, не найдя, что ответить, сморозили глупость. От стыда запылают щеки, заноет в груди.

И сон пропал.

Вы схватите спички, чтобы снова зажечь свечу, и все будете чиркать, чиркать не тем концом. Чертыхаться, и пытаться успокоиться, и бесконечно мучиться одним вопросом: за что злые духи терзают именно вас? Уснуть удастся лишь глубокой ночью, и тогда вам приснится сон.

Ах, я видел во сне, как бегу по широкой равнине и множество разъяренных быков гонятся за мной. Я бегу, бегу, и

© Перевод. Алексеева Е. Л., 1991 г.

мне кажется, что бегу я что есть мочи. Но расстояние между нами все сокращается, вот самый острый из всех бычий рог пронзает меня насквозь. Как в масло вошел. И я бы непременно испустил дух на этом месте, если бы не проснулся.

Наутро голова словно чугунная. От дурных снов и нескончаемых мыслей ощущение ужасное. Но сила воли и упрямое желание действовать заставляют вас подняться. Около часа дня вам позарез надо хотя бы мельком увидиться на улице с одним человеком. Боясь опоздать в хорошо знакомое вам заведение, откуда вы намерены наблюдать за улицей, вы выскакиваете из постели и поднимаете шторы. За окном светит солнце, гуляют взрослые и дети; ради такого случая не грех достать новый сюртук. Но стоит его надеть, тут же обнаруживается масса недостатков: там не хватает кармана, здесь — пуговицы; словом, это вам не старый любимый и такой удобный сюртук. И в довершение всего — часы, которые вы хотели сунуть в предназначенный для них кармашек, падают на пол, поскольку новый карман почему-то оказался на целый дюйм ниже старого и на привычном месте прорезь отсутствует. Чую беду, вы поднимаете часы, прислушиваетесь, осторожно встряхиваете их, часы тикают из последних сил и затихают навсегда.

О, это злой рок!

Где-то надо завтракать, а это значит, что поездки на трамвае не избежать. Шляпу придется снять, если ваш рост близок к человеческому. Лучшая шляпа, купленная у Холма, очень скоро будет напоминать жертву кораблекрушения, если образ жизни и род деятельности вынуждают ее хозяйку пользоваться трамваем.

И еще с одним весьма неприятным обстоятельством приходится сталкиваться в нашей стране. У нас на подножке трамвая имеют обыкновение ездить дамы. Особенно по воскресеньям. Мужчины, а среди них есть курящие, вынуждены, отбросив сигарету, проходить в вагон, потому что подножки уже заняты некурящими дамами. Теперь это наша национальная «героическая» черта, результат повального увлечения спортом. Служанки, молодые дамы, конторские служащие, дочери богатых папаш едва ли могут рассчитывать на успех, если они не в состоянии удержаться на подножке движущегося трамвая. Пассажиры входят и выходят, толкают дам, прижимаются к ним, едва не срывают с них юбки, но наши отважные соотечественницы не сдают своих

позиций. Даже если вагон почти пуст или в нем полно свободных мест — нет, спасибо, место дамы на подножке. Где еще увидишь такую нелепость, да еще возведенную в норму? Даже в Америке нет ничего подобного, хотя там все женщины «героини».

В то утро подножку тоже занимали дамы. Два скромных курильщика забились в угол.

Кафе «Гранд». Закрыто. Почему закрыт «Гранд»? А если попробовать с другого входа? Увы. «Гранд» действительно закрыт.

Можно пойти в «Логен». Закрыто. Хе-хе, странно, однако. Следующая попытка — «Тиволи». Тоже закрыто. Ха-ха-ха, смешно до чертиков. Так смешно, что хоть на ступеньки падай. Может быть, это борцы за трезвость ввели чрезвычайное положение? Вспомните, как однажды были закрыты все магазины винной монополии. С именем Господа и пастора Лунде на устах вы отправляетесь к Хелене Хансен, той, что торгует деликатесами. У Хелены Хансен тоже закрыто. Вы обращаетесь к симпатичному прохожему: «Как вы полагаете, почему сегодня нигде на свете нельзя позавтракать?» И слышите в ответ:

— Сегодня праздник!

Браво! Браво! Одиноким мужчина, лишенный домашнего очага и домашней пищи, обречен вкушать завтрак только после полудня — в будни для него делается исключение. Браво!

Несчастный садится на скамейку прямо напротив университетских часов и ждет — ждать ему придется долго — своего праздничного завтрака.

И пока он ждет, странное чувство охватывает его, будто рядом сидит кто-то и тоже чего-то ждет. Их теперь двое, он сам и кто-то еще, — тот самый, злой рок.

И снова «Гранд». Кафе открылось, можно войти, сейчас принесут поесть и кофе. Но о том, чтобы почитать газету, не может быть и речи. Все газеты разобраны посетителями, которые пришли сюда раньше. Значит, уже с половины первого придется высматривать человека, который не появится здесь раньше часа. От нервозности, от очевидной нелепицы происходящего делается больно. Бедняга вглядывается в лица прохожих, протирает очки и снова таращит глаза.

Нет конца чудовищным злоключениям: вот кажется, мелькнул тот, кого он упорно ждет, но тут дорогу загородило такси или трамвай, и надо начинать поиски сызнова. Каждый раз одно и то же. В такой день человек никогда

не найдет то, чего ищет. Он будет ежесекундно вскакивать со стула, вставать на цыпочки и даже выбегать на улицу, только бы не упустить того, кого ему необходимо встретить.

И все-таки упустит. Увы, как ни пялил он глаза, как ни стоял на цыпочках битых полтора часа, все напрасно. В два часа он сдастся.

Все это время хорошие друзья окружают его вниманием. О эти милые, хорошие друзья! Вот подходит один, спрашивает разрешения присесть. На это всегда отвечают «пожалуйста». Скрепя сердце. Вам расскажут про летнюю жару, про Грецию, про новое постановление коммунального управления. И обязательно зададут ритуальный вопрос, который начиная с марта все задают друг другу:

— Куда ты поедешь летом?

А я не знаю, куда я поеду летом. Представления не имею. Я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Потом подойдет другой мой хороший друг. Этот сядет, не спросив разрешения.

— Вассос... — начнет он.

— Ну что Вассос, — перебью я. — Великий человек, просто дьявол. Подумаешь, хочет расстрелять каждого двадцать пятого. Единственно, что меня интересует, в состоянии ли он подавить восстание на Кубе.

— Божеправедный, ты все путаешь, — скажет мой добрый друг. — Это Веллер подавляет восстание. А Смоленский...

— Не говори мне о Смоленском! — кричу я. — Слышать о нем не желаю, тот еще тип.

— Что тебе известно о нем?

— Все откроется на процессе о вторжении в Трансвааль.

И тогда мой относительно хороший друг, посмотрев на меня, спросит:

— Где ты был сегодня ночью?

Я оставлю моих друзей беседовать дальше друг с другом, а сам вернусь к своим наблюдениям. Я нервничаю вдвойне, и это дважды нелепо, потому что теперь-то я знаю наверняка, что человек, которого я так ждал, не придет. Лариса, Домокос, Андиниза и Фессалия — звенят у меня в ушах, перебираемые этими типами, моими друзьями. Мне больно. Я думаю: вот я же никогда не подсаживаюсь в кафе за столики к моим знакомым, если меня не приглашают, почему же сам я не могу рассчитывать на покой, оставляя в покое других? Я зову официанта и расплачиваюсь.

И тогда мой друг — тот, что из этих двоих мне ближе, мой действительно добрый, сердечный друг, — спрашивает меня:

— Куда ты поедешь летом?

Может быть, луна во всем виновата? Ведь этот таинственный кусок латуни, висящий на небосклоне, обладает непостижимой силой, достаточной для того, чтобы влиять на все происходящее на нашей земле. Эзотерическое излучение, туман бесшумно сдавливает душу.

Путь домой лежит через Туллинлёккен. Какой роскошный пустырь прямо посреди города! Ни ручейка, ни кустика — только велосипедисты, дети и кучи песка.

Но сколько народу могло бы собраться здесь послушать великого оратора! За этой литературой — будущее. Настанет время — и ежегодные сборники поэзии для домохозяек выйдут из моды, писатели вроде Хамфри Уорд опустошат наши кошельки, и наше долготерпение иссякнет; может быть, тогда народ вновь обретет вкус к речам на площади, восторжествует человек и его живое слово. В чем состоит задача литературы? Воздействовать, взывать к чувствам, вселять надежду, оплодотворять, служить гармонии. И что может лучше выполнить эту задачу, чем вовремя сказанное сильное слово сильного человека? Народная поэзия, уличная поэзия, возрожденная греческая культура.

Но мастер живет в уединении, в тиши только ему открывается истина, он занят сочинительством своих уникальных саг. Многие в этой жизни зрело его око, и ничто человеческое ему не чуждо. Он пытается выразить невыразимое. Только приподнимет занавес — и открывается картина, молвит слово — и вязкую трясиину человеческих душ словно озаряет молния.

Поэзия для немногих, для избранных, их всего десятка два.

Можно ли качаться в кресле-качалке, положив ноги на другое, точно такое же кресло? Попробуйте, это совсем не сложно. Но в тяжелый день подобное исключено, кресло, в которое вы упираетесь ногами, уходит из-под ваших ног, по гладкому полу. Вы растянетесь, как пружина, до предела, и все же носок ваш соскользнет, придется вставать и на полусогнутых, онемевших ногах ковылять за отъехавшим креслом. Но теперь с ним не совладать. Оно уперлось в стену. Как бревно или камень. Мое кресло до сих пор так стоит, и ни с места — будто вспоминает, как славно оно потрудилось в молодости.

А вы плывете дальше.

Есть люди, привыкшие измерять комнату шагами — семь шагов туда, семь обратно. Так вот. В тяжелый день обратно выходит восемь. Как же так? Разворачиваешься на пятке и снова идешь. На двадцатый раз закружится голова. На

двадцать первый станет противен запах собственной сигары; садишься, уставясь в одну точку. За неимением лучшего принимаешься разглядывать вывески на противоположной стороне улицы.

«Пряжа и кожаные изделия». Чудесно. «Ох... — в самом деле «ох!» — ...отничьи», «Охотничьи шерст...». Ах, вот оно что: «Охотничьи шерстяные рубашки». А сейчас жара. Чуть дальше над какой-то витриной навес в ярко-красную полоску, под ним скрывается очень интересная вывеска, но я вижу лишь несколько букв — «...ацитор». Мне не будет покоя, пока я не выясню, как зовут этого человека. Спускаюсь вниз, подхожу к вывеске и читаю: «Антрацитор». Ну конечно, это печи такие.

В эту жару не хватает только пышущей жаром печи.

Вернувшись домой, вы снимаете лорнет и ложитесь на диван в предвкушении сна. После такой ночи вам необходим отдых.

Но и тут вас что-то отвлекает.

Перед глазами всегда оказывается нечто такое, что можно сосчитать, и в подобной ситуации каждый неизбежно займется именно этим. Итак, на обоях одной стены — сто восемьдесят фигурок. Это легко сосчитать. Лепная розетка на потолке состоит из пятнадцати больших гребешков и тридцати поменьше, это тоже сосчитать нетрудно. Затем ваше внимание привлекут шторы.

Шторы двойные, с необыкновенно затейливым рисунком. В каждом квадрате сотни полторы дырочек, а сколько их, таких квадратов! От счета в глазах двоится, потом троятся, потом рябит от этих дырочек, вы вскакиваете с дивана, и бежите к шторе, и тыкаете в нее пальцем, чтобы не ошибиться. Примерно через час, совершенно без сил, вы валитесь на диван.

Если на этот раз вам повезло и вы заснули и проспали, скажем, минут пять, то с поразительной вероятностью можно предсказать следующее: жилец из комнаты, расположенной прямо над вами, все это время тихо сидел и играл каким-нибудь предметом, — допустим, связкой ключей. Неожиданно ему приходит в голову, что человек, живущий под ним, уже устал считать дырочки и, наверное, лег спать; сосед поднимает тяжелую связку ключей на некоторую высоту от пола и — просто роняет их. Живущий этажом ниже — тут же вскакивает.

Стоит забыться минут на десять, в дверь непременно кто-нибудь позвонит — твой добрый друг. И вот уже хозяйка торопится открыть дверь: «Да, конечно, он дома, проходите!» И лучший из друзей переступает твой порог.

Лишь к вечеру сознание окончательно пробуждается и приходит аппетит. На часах пять, обеденное время кончилось. Можно бы обойтись холодными закусками. Но холодные закуски не подают раньше шести. Остается смириться.

Время до шести тянется страшно медленно, но вот наконец настает момент, когда можно отправиться в кафе.

— Официант!

Официант кивает и — удаляется в другом направлении.

С этим тоже приходится смириться. Проходит еще минут пять, — времени достаточно, чтобы встать и подойти к газетной стойке. Можешь выбрать между «Берлингске тиденде» и журналом «Панч». Они одинаково скучные. Я беру и читаю то и другое.

— Официант!

Официант подходит.

— Холодные закуски, пожалуйста.

Сей момент.

Опять «Берлингске тиденде», стараюсь не пропустить ни одно из замечательных ее объявлений. В «Панч» можно долго разглядывать карикатуры, одну глупее другой.

— Официант!

Появляется другой официант.

Минуточку.

Вы вздыхаете и откидываетесь на спинку кресла. Идиотские карикатуры! Чувствуется влияние Босха. Если у человека небольшой живот, ему рисуют живот огромный, если редкие волосы — его рисуют лысым, длинный сюртук выглядит как сюртук со шлейфом. У королевы Виктории было два подбородка — ей рисовали четыре. Жалкое искусство, лишенное интеллекта, бездушное, грубое, как и его поклонники, скучное и плоское, оно строится на преувеличении и от преувеличения разрушается. Неужто и впрямь так смешно и забавно смотреть на уродцев?

После обеда их можно лицезреть на улице. Один беспальный, другой косолапый, у третьего отваливается нос. Вот где карикатуры! Эти убогие примешиваются к людям среди бела дня; в лучах солнца они отталкивающе безобразны. Вечно путаются под ногами, уговаривают купить цветы, крутят шарманку и протягивают шляпу; с утра до вечера стучат по мостовой их подкованные костыли.

Что поделаешь? В Спарте физически неполноценных людей интернировали...

Но не эти нелепые людишки доставляют вам наибольшие страдания в тяжелые дни. Есть вещи глубже и серьезнее. Кто-то идет за вами по следу, эта внешняя сила почему-то преследует именно вас. Дух зла словно разлит в воздухе,

струится по мостовой. Скрыться бы куда-нибудь, но вы идете дальше, поеживаясь и втянув голову в плечи в смутном предчувствии недоброго. На этом ваши злключения не кончаются.

Неожиданно из подворотни выскакивает человек и начинает маячить прямо перед вашим носом. Вы идете с ним в одном темпе — и обогнать нет сил, и отстать невозможно. Видеть же постоянно эту спину и этот затылок противно, раздражение переходит в такую психическую пытку, что, разозлившись, вы обгоняете этого человека. Думаете, вы от него отделались? Ничуть не бывало. Теперь он идет за вами по пятам, буравит взглядом вашу спину и громко дышит. Вам приходится резко свернуть за угол и на улице Кристиана-Августа углубиться в изучение номера ближайшего дома, пока этот тип, ваш мучитель, не пройдет мимо.

Но после ужина вам опять не сидится дома. Вы снова выходите на улицу и думаете, мечтаете и страдаете до самой ночи.

Может быть, это все же влияние луны? Может быть, древние персы и иудеи с их благоговением перед сомнамбулами были не так уж не правы? Впрочем, наши крестьяне тоже относились к луне почтительно, советовались с ней, когда начинали полевые работы, отправлялись в долгое и опасное путешествие — и даже осенью, забывая скотину. Почему? Унаследованный инстинкт? По рассказам моряков, ближе к экватору люди особенно подвержены влиянию луны. Одного молодого парня нашли лежащим на палубе, с перекошенным судорогой ртом и с застывшим взглядом, устремленным к полной луне. Другой лежал с запрокинутой головой, наполовину парализованный — именно этой стороной он был обращен к небу. Лишь спустя месяцы эти люди возвращаются к нормальной жизни.

Дикие народы совершают жертвоприношения в честь луны, чтобы умилостивить ее. Американские индейцы из племени тлинкитов во время лунных затмений предаются трауру. Полагая, что луна, их добрый друг, заблудилась, они выбегают из хижин, поют песни и голосят, чтобы привлечь внимание луны и помочь ей выбраться на правильный путь.

А луна в это время плывет по небосклону в окружении других планет, большая, круглая и непостижимая. Люди на земле испытывают страшные муки и, не находя им объяснения, выдумывают всякую чепуху.

Время от времени каждый из нас переживает свои тяжелые дни.



В КЛИНИКЕ

Я лежу один, разглядывая крючки, вбитые в стену, слушаю колокольный звон за оградой, нервы мои напряжены до предела, словом, я лег в клинику. Я беспомощен, и это продлится еще много дней, слава Богу.

Какое блаженство — лишиться воли, но постоянно ощущать где-то рядом присутствие доктора и сестер и еще каких-то добрых людей, все за меня решающих. Так сладостно и уютно не раз вернуться в эту клинику.

В последний понедельник что-то во мне сломалось. Перед этим я много и напряженно работал, до дрожи внутри, а несколько ночей накануне я просто не спал. Вместе с друзьями я рухнул в кабаки, залитые светом, музыкой и вином, а еще через несколько дней естество мое сказало «стоп».

— Что вас беспокоит? — спросил доктор.

— Меня беспокоит то, — сказал я, — что в этой гостинице мне не подают топленое молоко. Я хочу на волю, мне здесь не по себе.

— У вас дрожат руки.

— И внутри тоже все дрожит. И мне бы очень хотелось, чтобы эта комната была вдвое меньше, желательно без дверей, и чтобы ни один звук не проникал сюда.

— У вас нервы не в порядке, — сказал доктор.

И я помог ему уложить меня в клинику.

Первое время здесь, в больнице, я иногда даже чувствовал себя сильным и спокойным, как король. Очевидно, нервы мои разбил паралич, они не беспокоили меня. Ха-ха, как весело я посмеивался тогда и над самим собой и всеми этими подушками и вероналом, над добрыми, милыми сестрами с их заботливым уходом. В номере «Афтенпостен»

за 18 февраля мое внимание привлекла колонка «Воскресные мысли», она начиналась так:

«В мире духа царит непреложный закон; измена свету не проходит безнаказанно. Если свет горит внутри и не освещает ничего вокруг, то постепенно человек перестает различать этот свет».

«Что означает это, хотя бы приблизительно?» — задумался я, не понимая ни слова.

— Надо немного подождать, пока вы успокоитесь, — сказала сестра, — и тогда вы сможете заниматься такими вещами.

— Но вы же приходите и прячете мою одежду, — сказал я. — А если мне понадобится выйти, что прикажете делать? Если мне понадобится выйти по делу?

— Тогда вы просто позвоните, — сказала сестра. — Я забираю вашу одежду, чтобы здесь был порядок.

От ее доброжелательного спокойствия все во мне постепенно стихает, и я понимаю, что она права. Некоторое время я рассуждаю о том, что неплохо бы иметь штаны под рукой на случай пожара или чего-нибудь в этом роде, но потом замолкаю.

— А что вы делаете с моими ботинками, сестра Фердинанда?

Сестра улыбается.

— Ничего я с ними не делаю. Просто вы их перепутали, левый поставили справа.

Это пронимает меня до глубины души. Левый ботинок вполне заслуживает того, чтобы занять свое истинное положение, это мой любимый ботинок, и я искренне благодарен сестре Фердинанде.

Так проходит час за часом.

Уже на следующий день я продвинулся настолько, что понял непреложный закон, царящий в мире духа: если свет горит внутри и ничто вокруг не освещается, то постепенно человек утрачивает способность различать этот свет.

Подумать только, настало утро, когда я сочинил стихотворение. Это случилось после тягостной ночи с порошком снотворного и сиделкой, непрерывно горела лампа, и во сне я вскрикивал. Но даже этой ночи пришел конец, а когда наступило утро, я позвал сестру Фердинанду и велел ей позвать других сестер, чтобы они тоже послушали. Я чувствовал необыкновенный прилив сил, меня так и распирало из-

нутри, когда я начал читать, я сиял, уподобившись вычищенному жеребцу, который встал на дыбы и заржал:

В углу чулана мама яд
Поставила для крыс,
Забыв, что Якоб все подряд
Хватал и тут же грыз.

Был горек вопль малыша:
«Какой же я глупец!
Не сахар это, — оплошал...
Ой, мамочка! Конец...»

Пока я читал, на глаза мои навернулись слезы, и я видел по лицам присутствующих, что произвел на них сильное впечатление.

Сестры обменялись взглядами.

— Да, очень мило, — сказала одна из них, — но теперь вам надо отдохнуть.

Отдыхать? После такого? Нет уж, я, к вашему сведению, способен сочинять и вообще делать многое другое и не нуждаюсь в отдыхе.

— Вначале отдохните, — присоединила свой голос сестра Фердинанда и стала вежливо укладывать меня в постель.

Конечно, я знал, что из нас двоих именно мне надо быть более покладистым и не ввязываться в спор. Но я не мог пережить, что уступать всякий раз выпадало именно мне, и потому сказал:

— Не смейте записывать по памяти мои стихи и не вздумайте послать их в журнал и присвоить гонорар, потому что это мои стихи.

Сестры звонко рассмеялись, решив, верно, что я пошутил, ведь это стихотворение все с детства помнили наизусть, оно было в букваре.

Ах вот как, в букваре! Я лег и задумался, а когда понял, что они правы, мне стало стыдно и скверно на душе. Чтобы как-то исправить положение, я дал им понять, что этой ночью сочинил еще одно стихотворение. Про человека, который отправился в Африку, чтобы разводить там страусов. Но когда я захотел снова подняться с постели и прочитать его, много добрых рук удержало меня. Оставалось только отдыхать.

Я научился лежать, не привлекая к себе внимания, не издавая ни звука. Интересно, как поживают две мои неоконченные книги, там, дома, у меня на столе? Ради них я

лишился сна и аппетита на два месяца, а теперь их почти забыл. Что-то есть во всем этом бабское — писать книги к Рождеству...

Солнце заглядывает в окно. Я лежу, и на душе радостно оттого, что один лучик дотянулся по полу до самого дальнего уголка, и мне страшно, вдруг сестра тоже заметит его, решит, что это слишком большое напряжение для меня, и опустит штору. «Посмотри-ка на этот солнечный луч, — рассуждаю я сам с собой, — он трепещет, словно душа от угрызений совести. Прекрасный образ! — продолжаю я. — К тому же имеет прямое отношение к моей уважаемой слабости». Но тут вспоминаю, что это строчка из какой-то книги, которую я читал здесь же, в клинике, и вовсе не я ее автор.

Глубже и глубже погружаюсь я в подушки, все в голове немеет и стихает. Цветы, что принесли мне сегодня утром, я прошу сестру поставить в воду, не спрашивая, кто их при-слал.

От рубашки оторвалась пуговица, я вижу, где она лежит на полу, и хочу наклониться, чтобы поднять ее.

— Что вы делаете? — спрашивает сестра. — Лежите спокойно.

— Это моя пуговица, — отвечаю я, — я только хотел поднять ее. Она не холодная, она просто побита морозом, я от этого не простужусь.

Сестра быстро наклоняется и поднимает пуговицу с пола. И я, наблюдая за ней, понимаю, что только так можно обращаться с этой белой пуговицей. На глазах моих выступают слезы материнской любви, когда я вижу, как мою детку несут ко мне...

Я поддерживаю самого себя, если скажу, что зиму надо проводить в берлоге и надо ложиться в клинику, чтобы заново родиться. И тогда, примерно к пятнадцатому марта, ото-спавшись, можно опять вернуться к жизни — как вычищенный скребком конь перед праздником.

Твечи

VED RIKETS PORT

1895

DRONNING TAMARA

1903



У ВРАТ ЦАРСТВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ивар Карено, кандидат философии.

Фру Элина Карено.

Ингеборг, служанка Карено.

Эндре Бондесен, журналист.

Карстен Йервен, доктор философии.

Фрекен Наталия Ховин, невеста Йервена.

Профессор Юллинг.

Фогт с двумя свидетелями.

Чучельник.



АКТ ПЕРВЫЙ

Сад в пригороде. Направо в глубине сцены — старый крашенный желтым дом с верандой, на которую ведет несколько ступеней. Налево — невидный зрителю выход на улицу. Лужайки, кусты, деревья. Заросшие дорожки. Под лиственным деревом слева на переднем плане длинный стол и скамья.

С улицы время от времени доносится шум проезжающего экипажа. Фру Карено, двадцати трех лет, пышногрудая, светловолосая, в белом вышитом фартушке, и молоденькая служанка Ингеборг разбирают у стола белье. Они спешат. На земле стоят две корзины — одна побольше, другая поменьше.

Фру Карено. Ну вот, Ингеборг, остались только носовые платки и разная мелочь, я одна справлюсь. А ты уж иди по тому делу. Да шаль накинь.

Ингеборг. Да-да. *(Хочет идти.)*

Фру Карено. Корзину-то возьми.

Ингеборг. А-а, и правда. *(Берет большую корзину, полную белья, и мимо веранды идет к черному ходу.)*

Фру Карено продолжает работать, спешит, что-то напевает. Ингеборг тотчас возвращается, покрытая шалью.

Больше ничего не надо, хозяйка?

Фру Карено. Нет. Ах, я же номера не знаю, но ты сама увидишь в витрине, он делает чучела птиц. Отсюда всего пять минут. Скажи ему, чтоб поскорей приходил. Я с ним уже переговорила, он знает.

Ингеборг. Да-да. *(Уходит.)*

Фру Карено *(кричит)*. Самое позднее — завтра, ему скажи.

Ингеборг *(ее уже не видно)*. Скажу!

Слышно, как со стуком отворяется и затворяется садовая калитка.

Фру Карено (*кончает работу, складывает белье в корзину поменьше, снимает фартучек, кладет сверху*). Ну вот.

Снова слышен стук калитки. Ивар Карено, двадцати девяти лет, темноволосый, без бороды, в весеннем пальто, чуть коротковатых ему брюках и черной жесткой шляпе, входит с улицы, неся под мышкой несколько книг. Направляется к ступенькам, но замечает жену и подходит к ней.

Карено (*улыбается*). А, моя крестьяночка, ты тут?

Фру Карено не отвечает.

Ну вот, опять я был у издателя. Сегодня он не сказал мне «нет».

Фру Карено. Он сказал тебе «да»?

Карено. Не вполне. Нет, этого он, собственно, не сказал. Он сказал, чтобы я принес ему готовую часть рукописи, и уж он разберется. Он надеется, что ему удастся разобраться, так он сказал.

Фру Карено молча обводит жестом сад.

Да-да, я вижу. Благодарствуй. Эта стирка ужасно меня отвлекала, когда я сидел и работал. (*Кладет книги на стол и садится.*) Со мной еще кое-что случилось. Я встретил...

Фру Карено. А-а, ты встретил Ингеборг? Господи, но не стал же ты ее спрашивать, куда она идет?

Карено. Я не встречал Ингеборг. Разве Ингеборг ушла?

Фру Карено (*смотрит на него*). Как ты встрепенулся.

Карено. Встрепенулся?

Фру Карено. Да, мне показалось. (*Другим тоном.*) Ну да, Ингеборг ушла по делу. По моему поручению.

Карено. Так-так. Тайны?

Фру Карено. Послушай, Ивар, лучше и не выпытывай. Все равно ничего не узнаешь.

Карено. Ни-ни.

Фру Карено. Вот именно, потому что тебе знать нельзя. До самого послезавтра. Это подарок тебе ко дню рождения.

Карено. Ни-ни, я же сказал... Ну вот, сначала я встретил Бондесена, Эндре Бондесена, ну, ты знаешь.

Фру Карено. Нет, совершенно не знаю.

Карено. Не знаешь? Эндре Бондесена не знаешь? Правда? Да что это с тобою сегодня?

Фру Карено не отвечает.

Карено наклоняется к ней, заглядывает ей в глаза.

Фру Карено. До чего же мы с тобой разные, Ивар! Я стою и жду, не спросишь ли ты еще раз про мою тайну, и тогда бы я тебе немножечко рассказала. Чуть-чуть. Как бы весело было! Но нет. *(Качает головой.)*

Карено *(берет со стола книги)*. Нет, ты просто не в настроении.

Фру Карено. Ничего подобного. При чем тут настроение? *(Огибает стол, подходит к мужу, кладет ему руку на плечо.)* У меня вообще не бывает никаких настроений, знаешь, Ивар, просто уж я такая. *(Смахивает пылинку с его плеча.)* А тебе ведь скоро понадобится новое пальто. Это ты с самой свадьбы носишь. Подумать только — три года. Странно, да?

Карено. Итак, сначала я встретил Бондесена.

Фру Карено *(грустно)*. Я его не знаю.

Карено. Ну как не знаешь? Он журналист. Перебежчик вдобавок, да это одно и то же. Всё на свете знает, кто что сказал, кто что сделал. И вот оказывается, снова они против меня ополчились.

Фру Карено. Снова ополчились против тебя?

Карено. Из-за моей немецкой статьи.

Фру Карено. Эндерсен тебе сказал?

Карено. Бондесен. Нет, он прямо мне не сказал, но он дал понять. Я спросил, как он считает, могу ли я рассчитывать на что-нибудь, кроме разноса и хулы, и он сказал — едва ли. Другого ждать не приходится, он сказал.

Фру Карено. Не приходится ждать другого, так он сказал?

Карено. Да, потому что я задел одного из самых влиятельных наших ученых мужей, так он сказал.

Фру Карено. И кого это ты задел?

Карено. Профессора Юллинга.

Фру Карено. Господи Боже! Ты и его задел!

Карено. Не надо, не говори так, Элина. Я на все нападаю на земле и на небе, отчего же мне не задеть заодно и профессора Юллинга? Я нападаю на все, что стоит у меня на пути.

Фру Карено. Да-да, я ведь просто так сказала.

Карено. Я сам знаю, ты моя надежная опора. Не знаю, как тебя и благодарить, сейчас для меня это особенно важно.

Фру Карено тянет руку через стол, снимает с мужа шляпу, гладит его по волосам.

А потом я пошел в библиотеку. Заполняю бланки, получаю книги. Вдруг библиотекарь говорит: тут справлялись насчет вашего адреса. Кто? — спрашиваю я. И он отвечает — профессор Юллинг. *(Смотрит на жену.)*

Фру Карено. Ой!

Карено. А? Каково! Оживление в народе.

Фру Карено. Я боюсь за тебя, Ивар.

Карено *(улыбается)*. Ну, за меня ты не бойся! Одно только может меня свалить. Деньги — вот что. *(Встает и нервно ходит взад-вперед по дорожке.)* Если я тотчас не получу аванса, к нам в любое время могут нагрянуть и описать имущество. Крышу над головами могут снести.

Фру Карено. Но им не видать вещей, которые нам подарили мои родители.

Карено. Надо надеяться, до этого не дойдет.

Фру Карено. Нет, даже если дойдет. Вот я про что говорю.

Карено. Ну, если уж придут, они возьмут все.

Фру Карено. Это мы еще посмотрим. Ты думаешь, они и подсвечники возьмут?

Карено. Они же серебряные, Элина. Их-то они возьмут — уж непременно.

Фру Карено. Это мы еще посмотрим.

Карено. Миленькая, ну как же ты им воспрепятствуешь?

Фру Карено *(другим тоном)*. Да, ты прав, как можно им воспрепятствовать?.. Так о чем я... а-а... Как ты думаешь, Ивар, зачем профессору Юллингу зандобился твой адрес?

Карено. Не знаю, да и не очень хочу знать. Наверное, он желает черкнуть мне снисходительное письмецо. Так у них водится. *(Останавливается.)* Однако представь, Элина: профессор Юллинг сидит в библиотеке, он читает мою статью, он делает пометы и потом узнает мой адрес, — не всякого-каждого он так жалуется.

Фру Карено. Да, ведь правда? Вот и я то же подумала.

Карено. Именно, именно. Казалось бы, профессору Юллингу можно бы и не замечать меня вовсе. Какую-то одинокую птаху.

Фру Карено. Да, одинокую птаху. Одинокого орла.

Карено. Ну, какой я орел. Хотя...

Фру Карено. Хотя ты и не голубь. Видит Бог.

Карено молчит.

Но ты и не ворона.

Карено молчит.

И на коршуна ты не похож. Правда?

Карено. Не могу понять, зачем перебирать всех этих птиц. Послушай, Йервен тебе кланялся. Он к нам заглянет как-нибудь вечером, он сказал.

Фру Карено. Да-да.

Карено. И захватит с собою Бондесена. Я и невесте его передал приглашение, надо же нам наконец на нее взглянуть.

Фру Карено. А когда ты получишь это письмо, как ты думаешь, Ивар?

Карено. Какое письмо?

Фру Карено. Письмо от профессора.

Карено. Но, миленькая... Ведь еще неизвестно, пошлет ли он мне письмо, правда?

Фру Карено. Так, может, он сам придет?

Карено. Ах, нет же, Элина!

Фру Карено. Он, наверное, живет далеко отсюда.

Карено. Почему же, он живет на нашей улице. Но что из того? *(Пожимает плечами.)* Пусть его живет, где ему угодно. Нет, мне надо работать. *(Задумчиво бредет по саду, возвращается.)* А если я не получу аванса, сколько мы еще можем продержаться? Есть у нас какая-нибудь еда?

Фру Карено *(она взяла корзину и тоже собирается идти)*. Продержимся немного. *(Снова ставит корзину на землю.)*

Карено. Да, ведь правда? *(С надеждой.)* Видишь ли, Элина, он, собственно, мне ничего определенного не обещал. Принесите рукопись, он сказал. Но сказал таким благожелательным тоном. Вовсе не отклоняющим тоном. Вот завтра я и пойду с рукописью. Но эта опись!

Фру Карено что-то бормочет про себя.

К а р е н о. Что ты сказала?

Ф р у К а р е н о. Нет, я ничего. Я боюсь говорить.

К а р е н о. Да, если ты снова хочешь напомнить мне о своих родителях, лучше не надо.

Ф р у К а р е н о. А кажется, к кому бы еще обращаться за помощью.

К а р е н о. Я ведь уже тысячу раз тебе говорил! Они помогут, но потребуют с меня кой-чего взамен, а я не хочу. Они богатые и богобоязненные крестьяне, они меня не понимают.

Жена молчит. Карено берет ее за руку, смотрит на нее. Оба медленно идут к дому, возвращаются.

Ф р у К а р е н о. Никогда не слыхивала, чтобы нельзя было принять помощь, если в ней нуждаешься.

К а р е н о (*выпускает ее руку, останавливается, говорит с нажимом*). Меня не согнешь, Элина, никто меня не согнет. В моих жилах течет кровь упрямого народца, должен тебе сказать, я не из тутошних, мой праотец был финн, меня зовут Ивар Карено.

Короткая пауза.

Ф р у К а р е н о. А как же опись?

К а р е н о. Да, опись! (*Вздрагивает: слышен стук садовой калитки.*) Ох, что там еще?

Быстро входит И н г е б о р г.

К а р е н о (*с облегчением*). А-а, Ингеборг!

Ф р у К а р е н о (*с недоумением*). Да, Ингеборг, ну и что? Не вижу, чему тут радоваться.

И н г е б о р г (*удивленно*). Я ходила по хозяйкиному делу.

К а р е н о. Правда, Ингеборг? (*Уходит на веранду.*)

Ф р у К а р е н о. Ну, он придет?

И н г е б о р г. Да, сказал, придет завтра.

Ф р у К а р е н о. Хорошо.

Ингеборг хочет уйти.

Отчего бы и корзину не прихватить? Ничего не видишь. И на кого только ты смотришь, Бог тебя знает.

Ингеборг с недоумением смотрит на нее, берет корзину, направляется к черному ходу.

(*Ей вслед.*) Смотри же, хозяин не должен знать, где ты была, слышишь?

К а р е н о (*возвращается с книгами, бумагой, чернилами*).
А где Ингеборг?

Ф р у К а р е н о. Что, соскучился?

К а р е н о. Просто я хотел ее попросить, чтоб наладила к вечеру мою лампу. Она почти пустая.

Ф р у К а р е н о. А мне нельзя доверить такого дела?

К а р е н о. Милая моя, хорошая, чудесно, если это сделаешь ты, и мои бумаги в порядке останутся.

Ф р у К а р е н о. Все-таки странно, что ты вечно спрашиваешь про Ингеборг. Про меня небось никогда не спрашиваешь, если я ухожу.

К а р е н о. Что? Не спрашиваю? (*Улыбается.*) Вот выдумщица!

Ф р у К а р е н о. Ну, мне так показалось.

К а р е н о. Но ты же не уходишь никуда. Ты либо в комнате, либо на кухне, и я могу тебя найти. Про тебя я всегда знаю, где ты.

Ф р у К а р е н о. Напрасно ты так уверен.

К а р е н о. Ну что ты такое говоришь? Я напрасно так уверен в том, где ты?

Ф р у К а р е н о (*одумавшись, силится улыбнуться*). Да.

К а р е н о (*смеется*). Вот как, ты собираешься начать новую жизнь? Ускользать? Скрываться неведомо где?

Фру Карено молчит.

(*Раскладывая на столе бумаги.*) Вот о чем ты думаешь, Элина. Ну а я думаю о своей работе. (*Увлеченно.*) Ах, какую главу я сегодня напишу! (*Зажигает трубку, берется за перо.*)

Слышится стук калитки.

Уф. Посмотри-ка, кто это там, Элина.

Ф р у К а р е н о. Незнакомый господин.

Профессор Юллинг, шестидесяти лет, седокудрый, в большой серой фетровой шляпе, с толстой тростью и лорнетом на шнурке, медленно входит в сад. Останавливается, смотрит на веранду, но замечает Карено с женой и направляется к столу.

К а р е н о (*встает*). Профессор...

Ф р у К а р е н о. Кто это, Ивар?

Карено не отвечает.

Ну кто, кто, скажи! Ох, несносный ты человек.

Профессор (кланяется). Добрый день, милейший Карено. Прошу извинить, что так вот, без приглашений (кланяется фру Карено, та отходит к веранде и там стоит, слушающая их разговор), к вам вторгаюсь. (Протягивает Карено руку.) Я живу тут неподалеку и решил мимоходом заглянуть.

Карено (сняв шляпу). Не угодно ли зайти в комнаты, профессор?

Профессор. Нет, благодарствую, к чему? Разрешите мне тут посидеть, у меня всего несколько минут. (Садится на скамью, держит трость под мышкой и озирается.) Значит, у вас сад, Карено? Здесь вы и работаете?

Карено. Да-да, иногда.

Профессор. И, верно, вы теперь много работаете, вы уж не такой румяный, как бывало. Я хорошо вас помню по тем временам, когда вы слушали мои лекции.

Карено. Я и сейчас слушаю ваши лекции, профессор. Когда только могу.

Профессор. Ах вот как? Ну-с, а я с живейшим интересом слежу за вашей работой. (Улыбается.) Вы как-никак мой давний ученик. У меня двое учеников, за которыми мне интересно следить, это вы и Йервен. Вы ведь знаете Йервена? Его докторская диссертация — дельная работа.

Карено. Я еще не читал.

Профессор. Она сейчас в печати. О, ее сразу одобрила профессура. Сдержанность, благоразумие — вы просто не узнаете Йервена. Совершеннейший переворот.

Карено. Переворот?

Профессор. Да, полагаю, тут уместно это слово. У Йервена большое будущее. Через несколько дней он — доктор и стипендиат. Кому, как не ему? Кстати, Карено, вам бы тоже не мешало подумать о стипендии. Почему бы и вам не сесть? (Подвигается на скамейке.) Места хватит для обоих.

Карено кланяется, садится на край скамейки, кладет на стол свою шляпу.

Я читал вашу последнюю статью. И, должен признаться, я высоко оцениваю ваши дарования. Я даже показывал вашу работу нынче утром профессору Валю и сказал: вот вам, пожалуйста, наш будущий коллега.

Карено что-то порывается сказать.

Да-да, этого нельзя отрицать, следует оценить ваши способности. Разумеется, я не могу согласиться с вашими напад-

ками на Стюарта Милля и *(улыбается)* на меня. Вы, пожалуй, нас неправильно поняли. Что ж, бывает.

К а р е н о. Я писал урывками. Я не выдаю свою работу за последнее слово истины.

П р о ф е с с о р. О, разумеется. Гм. Однако вы ведь не обидитесь, если, на правах старшего, я вам дам несколько добрых советов. *(Смотрит на часы.)* Очень вкратце. Досадно будет, если ваше дарование не будет замечено, и я посчитаю себя в ответе за вашу жизненную неудачу.

К а р е н о. Вы очень любезны, профессор, что вспомнили меня.

П р о ф е с с о р. Видите ли, Карено, у меня есть — не могу сказать положение, какое там, но некоторый вес. Разумеется, я не пользуюсь чрезмерным пиететом в стане моих противников. Я либерал, сторонник нового в науке, последователь свободных английских мыслителей, и многим это уже кажется радикализмом. Но кое-какое имя я, однако же, себе составил. Со мною здороваются на улице, моим суждением не всегда пренебрегают. И за границей я не вовсе неизвестен. Но не всегда так было, в свое время и я был молод, очень молод. В вашем возрасте я был такой же, как вы теперь, мне непременно хотелось что-то ниспровергать. *(Смеется.)* И непременно классиков! Ах, давненько это было... Вот и вы теперь, Карено, переживаете подобный кризис. Вы уж простите мне мою откровенность. Мы, люди мыслящие, можем ведь открыто высказать друг другу свои соображения с глазу на глаз, не правда ли? Однако, Карено, милый, наденьте шляпу.

Карено надевает шляпу.

Я и не заметил, что вы сидите с непокрытой головой. Н-да, критика. Положим, вы разнесли меня, но это ничуть не мешает мне оценить ваши способности; надеюсь, вы ничего подобного не заподозрили. Но когда вы заодно и Спенсера с Миллем, этих обновителей нашего мышления, тоже представляете двумя посредственностями, тут уж мое доверие к вам, увы, подвергается некоторому испытанию.

К а р е н о *(запинаясь)*. Нет, извините, я вовсе не выставлю этих двух англичан посредственностями. Тут, верно, какое-то недоразумение. Я, собственно, пытался провести грань между знанием и постижением, между терпеливым школярством, накоплением сведений, и способностью созерцать, мыслить.

Профессор. Я, в сущности, ужасный либерал, и я люблю молодежь, оттого что сам был когда-то молод. Но молодым не следовало бы переступать известную границу. Нет, не следовало бы. Известную границу разумного. Ну к чему это ведет? Атакуемое стоит незыблемо, атакующий вредит лишь самому себе.

Карено. Но вы забываете, профессор, что, рассуждая таким образом...

Профессор. Да, милый Карено, я ведь рассуждаю так, вообще. Настанет день, и вы меня поймете. В философии важно не остроумие, и грубости она решительно отмечает. Оставьте эти ваши опыты, Карено. Послушайтесь моего совета, подождите, покуда понятия ваши не отстоятся. С возрастом приходит мудрость.

Карено. Я просто думал, что, если кой-чего в юности не высказать, оно останется невысказанным навсегда.

Профессор. Вы полагаете?

Карено. Ну да, приходит старость, пятидесятилетие, старческий взгляд, иной подход к вещам...

Профессор. Что же, пусть лучше кое-что и останется невысказанным. Пусть, Бог с ним совсем. Мир от этого не рухнет. *(Ищет что-то в кармане.)* Я кое-что отметил из ваших... из ваших... мне хотелось бы узнать, писали вы это с полной серьезностью или... *(Вынимает несколько листков.)* Ага, вот оно *(ищет свой лорнет)*, вы клеймите англичан за их гуманизм, за их «так называемый гуманизм», как вам угодно выражаться, осуждаете современное сочувствие к рабочим, находите его нелепым... *(Читает.)* «В связи с этим...» *(Ищет лорнет.)* У меня же был... куда я мог его запропастить...

Карено. Лорнет? Да вот же он. Пожалуйста. *(Отыскивает лорнет на профессорской груди.)*

Профессор. Ах, благодарствую. *(Читает.)* «В связи с этим следует упомянуть еще одно явление: новомодное сочувствие к рабочим, сменившее процветавший в ряде стран в середине нашего века культ крестьянства. Ни одно правительство, ни один парламент, ни один журнал не обходятся без...» Так... *(Пропускает несколько фраз.)* «И наш либеральнейший профессор Юллинг немало сил и таланта положил на защиту рабочих... *(Пропускает несколько фраз.)* Рабочие не только утратили свое значение как движущая сила, ослабела их роль как важной касты в человечестве. И что же делают правительства, парламенты, газеты?» *(Перескакивает.)* А... вот оно. *(Повышает голос.)* «Тогда

они были рабы... — речь по-прежнему о рабочих, это их называете вы рабами, — тогда они были рабы и делали свое дело: они работали. Теперь за них работают машины с помощью пара, электричества, воды и ветра, и рабочие год от года все более делаются лишними на свете. Раб стал рабочим, рабочий же стал паразитом, и отныне он не нужен никому. И этих-то людей, утративших свое значение, государства тщатся превратить в политическую силу. Господа гуманисты, довольно нянчиться с рабочими, вы бы лучше нас защитили от них, лучше бы препятствовали их произрастанию, помогли бы их искоренять...» Ну, и далее вы подробно развиваете эту мысль в том же духе. (*Смотрит на него поверх лорнета.*) Вы в самом деле так думаете? Вы, значит, никогда не читали того, что все мы вместе писали по этому поводу?

Карено хочет ответить.

Я ведь мог бы послать вам с десятков только моих лично маленьких и больших статей об этом предмете.

К а р е н о. Я их читал.

П р о ф е с с о р. Читали?

К а р е н о. Да.

П р о ф е с с о р. Просто не верится. Нет, не верится. Да, можно дойти и до такого, разумеется, что же тут может воспрепятствовать. Но вы-то, Карено, вы слишком добрый человек для этого. Все оттого, что вы не привыкли к тому, чтобы вас слушали, вас только высмеивали, над вами издавались, стоило вам что-нибудь опубликовать, вас лишали возможности отклика. Вы обращались к глухим стенам. Но отклика можно добиться. Это во многом в наших руках. Почему бы и вам не иметь своих слушателей? Смею утверждать, что, если вы впредь возьмете себе за правило выжидать несколько лет, когда вам вздумается что-нибудь ниспровергнуть, вы и вовсе отучитесь ниспровергать — и ваши тихие исследования будут встречать столь чаемый вами отклик.

К а р е н о. Не хотите же вы сказать, профессор...

П р о ф е с с о р. Я объясню, что я хочу сказать. Простите, я вынужден вас прервать, у меня так мало времени. (*Смотрит на свои часы.*) Да, у меня есть еще несколько минут. Молодой человек, никто не рождается зрелым, зрелость в нас развивается; она приходит в известном возрас-

те... Итак, прошу вас обо всем этом поразмыслить. Мы непременно еще увидимся. Если вам угодно будет навестить меня, милости прошу. *(Собирает и рассовывает по карманам бумаги.)*

Карено встает. Профессор протягивает ему через стол руку.

Очень, очень буду рад вас видеть. Я возлагаю на вас большие надежды, Карено, и если вы будете делать то, что вам должно, вы, разумеется, можете рассчитывать на нас, ваших коллег, и мы окажем вам то содействие, какого вы заслуживаете. *(Встает.)*

Фру Карено скрывается на веранде; профессор указывает на разложенные рукописи.

Вы заняты большой работой?

К а р е н о. Ах да, она ужасно вдруг разрослась. Я бьюсь над заключением.

П р о ф е с с о р. А есть у вас издатель? Или вы опять напечатаетесь в Германии?

К а р е н о. Нет. Я рассчитываю на вашего издателя, профессор.

П р о ф е с с о р *(удивленно)*. Вот как? Вы с ним говорили?

К а р е н о. Да. Он хочет посмотреть рукопись.

П р о ф е с с о р. Так-так. *(Размышляет.)* Что ж. Покажите ему рукопись. Если я могу составить вам протекцию, я к вашим услугам. И если речь пойдет о небольшом авансе, мой издатель в таких случаях всегда на высоте. Впрочем, простите, что я об этом поминаю.

К а р е н о. Да, аванс бы мне сейчас весьма не помешал.

Фру Карено снова выходит в сад.

П р о ф е с с о р. Другое дело, что вам надо будет, может статься, слегка пересмотреть ваш труд. Я же не знаю, что вы там написали. После нашей беседы, вы сами понимаете, что... Но небольшая переработка никогда не помешает. Впрочем, вы сами увидите, я все предоставляю вам. Я совершенно на вас полагаюсь. А я уж сделаю все, что в моих силах. *(Оборачивается и что-то ищет.)*

К а р е н о. Вы что-то потеряли, профессор?

П р о ф е с с о р. У меня была трость.

К а р е н о. Она у вас под мышкой, профессор.

П р о ф е с с о р. А, да-да, в самом деле. *(Встает, озирается.)*

Фру Карено скрывается на веранде.

У вас тут на редкость тихий уголок. *(Останавливается возле ступеней веранды.)* Ну-ну, прощайте же, милый Карено. *(Протягивает ему руку.)* Вы уж простите старика, которому вздумалось к вам нагряться.

К а р е н о *(снимает шляпу)*. Вы оказали мне большую честь. Благодарю вас за вашу доброту, профессор.

П р о ф е с с о р. Итак, возьмите вашу рукопись и пересмотрите. Срежьте дикие побеги. Уж не обессудьте. Я желаю вам добра, я принимаю в вас участие.

Оба выходят. Слышно, как опять прощается профессор. Стучит садовая калитка. Медленно возвращается К а р е н о.

Ф р у К а р е н о *(сбегает со ступеней веранды)*. Это был профессор Юллинг?

К а р е н о. Да. Что ты на это скажешь? Вот уж не гадал! А чего он мне наговорил!

Ф р у К а р е н о. Я почти все слышала. Да, Ивар, я просто не могла иначе, я стояла в дверях веранды.

К а р е н о *(улыбается)*. Стояла в дверях?

Ф р у К а р е н о. И слышала, как он про тебя и про себя сказал — «мы, люди мыслящие».

К а р е н о. Да, он так сказал.

Ф р у К а р е н о. А один раз назвал тебя — коллега.

К а р е н о. Да, и вообще он был сама любезность.

Ф р у К а р е н о *(подпрыгивает несколько раз)*. Ох, как я тобой горжусь! *(Берет его за руку.)* Человек мыслящий! Ну вот, а я тоже кое-что задумала.

К а р е н о. Кое-что задумала?

Ф р у К а р е н о. И знаешь — что? *(Пристально смотрит на него.)* Я разочту Ингеборг.

К а р е н о. Как ты сказала?

Ф р у К а р е н о. Разочту Ингеборг. Ты, кажется, недоволен? Ты просто в лице переменялся.

К а р е н о. И когда это ты решила?

Ф р у К а р е н о. Вот решила, и все. Она мне мешает. *(Обнимает его.)* Мы будем во всем доме совсем одни. Больше мне никого не нужно. Только ты да я.

К а р е н о. Это нелепейшая из твоих затей.

Ф р у К а р е н о. Ну, если тебе так неприятно, что она уйдет...

К а р е н о. Неприятно? Почему? Но кто будет работать по дому? Об этом ты подумала?

Ф р у К а р е н о. Сама и буду работать. И жалованье ее сэкономим. *(Прижимается к нему.)*

К а р е н о. Так-так, Элина. *(Высвобождается и смотрит на нее.)* Ты это серьезно? Как это мило с твоей стороны!

Ф р у К а р е н о. Значит, ты в самом деле не против того, чтобы мы расстались с Ингеборг?

К а р е н о. Ну конечно... Милая моя, ты такая тихая, такая незаметная моя помощница.

Ф р у К а р е н о. А ведь ты и вправду рад! Я же вижу! Ты редко мне говоришь такие вещи. *(Вдруг бросается к нему на шею.)* Я сейчас, кажется, могла бы...

К а р е н о. Да что это с тобою, Элина?

Ф р у К а р е н о *(отодвигается от него)*. Фу, как не стыдно, Ивар, ты кое-что подумал.

К а р е н о. Кое-что подумал? Нет, я ничего, но...

Ф р у К а р е н о. Но если и подумал, что за беда! *(Прыгает.)*

К а р е н о *(улыбается)*. Я рад, что тебе весело! Интересно, в каких это ты башмачках так прыгаешь?

Ф р у К а р е н о. Что ж, погляди.

К а р е н о *(заглядывает)*. Туфельки?

Ф р у К а р е н о. Как не стыдно подглядывать?

К а р е н о *(приподнимает ей подол)*. Так и есть, туфельки.

Ф р у К а р е н о *(озирается)*. А вдруг кто-нибудь тебя увидит?

К а р е н о *(не понимая)*. Увидит? Ну и что?.. Знаешь, Элина, я все думаю, что он сказал насчет издателя. Он переговорит с издателем, он сказал.

Ф р у К а р е н о *(снимает одну туфлю и бьет его по щеке)*. Я тебе покажу, в каких башмачках я прыгаю, вот!

К а р е н о. Нет, Элина, оставь, пожалуйста.

Ф р у К а р е н о. Нет уж, ни за что не оставлю, Ивар.

К а р е н о. Так... так. Он сказал, что переговорит с издателем.

Ф р у К а р е н о *(смирясь)*. Кто переговорит с издателем?

К а р е н о. Значит, ты самого важного не слышала. Да, он окажет мне протекцию, он сказал, в получении аванса.

Ф р у К а р е н о. Подумать только, а я и не слышала. Он окажет тебе протекцию, так он сказал?

К а р е н о. Да. А значит, аванс все равно что у меня в кармане. Но тут примешивается кое-что, неоспоримо... он еще кое-что сказал под конец. Он сказал, что, возможно, мне придется несколько пересмотреть мою книгу.

Ф р у К а р е н о. Ну, так это...

К а р е н о. Нет, тут-то вся загвоздка, Элина. Пересмотреть мою книгу — это значит написать ее заново, вот что это значит. *(Одумавшись.)* Но ты не думай, Элина, я постараюсь. Ты можешь на меня положиться.

Ф р у К а р е н о. О, я полагаюсь на тебя.

К а р е н о *(кладет руку ей на плечо)*. Элина, какая ты сегодня хорошая. Я тебя люблю.

Ф р у К а р е н о. Любишь, правда? Ну а больше мне ничего и не надо.

К а р е н о. Но теперь ты уйди. Мне нужно работать.

Ф р у К а р е н о. Ах нет, ну еще минуточку! Порадуюсь немножко. Все так славно устраивается.

К а р е н о *(вдруг обнимает ее)*. Уйди, слышишь. Я сегодня должен написать еще главу. *(Снова обнимает ее.)* Когда ты тут стоишь, я только о тебе и думаю. Иди же. Не то...

Ф р у К а р е н о *(улыбается)*. Не то?

К а р е н о. Не скажу.

Ф р у К а р е н о. Не то?

К а р е н о. Не то никакой главы не будет, пойми.

Ф р у К а р е н о. Но скоро стемнеет, Ивар.

К а р е н о. Нет, до темноты еще целых два часа.

Ф р у К а р е н о. Да и свежо становится.

Карено не отвечает, начинает разбирать бумаги.

Ивар? Не налить ли мне твою лампу?

К а р е н о. Да, спасибо.

Ф р у К а р е н о. И ни за что не трогать твоих бумаг, да?

К а р е н о. Ну да. Но отчего ты не уходишь, Элина? Сумасшедшая! В жизни таких не видел! *(Ведет ее к ступеням.)* Отпусти же. *(Высвобождается, идет к столу.)*

Ф р у К а р е н о *(с веранды)*. А вот возьму и буду трогать твои бумаги, а, Ивар?

Карено листает рукопись, не отвечает.

Возьму и все их разбросаю. Уж очень хочется! *(Смеется.)* Вот зайди ко мне, и сам увидишь! *(Уходит в дом, закрывает за собою дверь.)*

Карено закуривает трубку, садится, берется за перо, думает. Встает, идет по дорожке, снова садится к столу, что-то перечитывает, что-то пишет. Жена кричит с веранды.

Коллега! *(Смеется.)* Послушай, коллега, а что я тут наде- лала!

Карено машет рукой. Она входит в дом.

К а р е н о *(вскакивает)*. Нет. *(Опять делает несколько шагов по дорожке.)* Нет, я сказал.

Ф р у К а р е н о *(с веранды, тихо, нежно)*. Ивар? Я только хочу сказать, что ничего у тебя на столе не трогала.

К а р е н о *(не глядя на нее)*. Что? *(Быстро возвращается к столу и вычеркивает то, что написал.)*

Ф р у К а р е н о. Но мне так хотелось побыть с тобой.

К а р е н о *(поднимает глаза, кричит)*. Элина! Из этого пересмотра ничего у меня не выйдет, конечно.

Ф р у К а р е н о *(сбегает с веранды)*. Что у тебя не вый- дет?

К а р е н о. Из пересмотра ничего не выйдет. Да и не мог профессор в самом деле на это рассчитывать.

Ф р у К а р е н о. Но ты же сам сказал, Ивар, что ты постарайся!

К а р е н о. Ну как ты думаешь, неужели я не хотел? Я думал, это возможно. И я заранее радовался, что мы спасе- ны. И вот я написал три строчки. На, погляди. *(Показыва- ет ей страницу.)* Этими тремя строчками я свел на нет двад- цать глав своей книги. *(Отбрасывает страницу.)* Нет! Я в этой комедии не участвую!

Ф р у К а р е н о *(садясь на скамейку, уныло)*. Ивар, а как же аванс?

К а р е н о. Нет-нет, еще ничего не потеряно. Завтра с утра пораньше я отнесу рукопись.

Ф р у К а р е н о. Без описи не обойдется. Вот уви- дишь.

К а р е н о. А я говорю тебе — нет. Я очень надеюсь, что обойдется.

Ф р у К а р е н о *(удрученно)*. И не только же в этом дело. Все вместе, все вместе. Мы до того бедные. Посмотри хотя бы, как ты одет.

К а р е н о. Одет? Но тут уж ты несправедлива, Элина. У меня ведь есть еще один костюм. Прекрасный костюм.

Ф р у К а р е н о. Ну, как хочешь... Значит, ты будешь писать все так же?

К а р е н о. Все так же?..

Ф р у К а р е н о. То есть против профессора Юллинга?

К а р е н о. Против профессора Юллинга и прочих. Ничего, когда-нибудь ко мне еще прислушаются.

Ф р у К а р е н о. Когда-нибудь. Вот именно.

К а р е н о. Да, да, да, Элина, тут уж ничего не поделаешь. И что толку рассуждать.

Ф р у К а р е н о. А мне померещился было просвет. Я так обрадовалась... Ну вот, значит, все остается по-старому. *(Закрывает лицо руками.)*

К а р е н о. Элина, сделай так, как я уже раньше тебя просил. Побудь у родителей, пока не минует кризис.

Ф р у К а р е н о *(встает)*. Опять ты меня просишь? До чего же ты стараешься от меня избавиться. Наверное, у тебя есть какая-то тайная причина?

К а р е н о. Тайная причина?

Ф р у К а р е н о. Ну, я не знаю. Но ты же слышал: я сказала, что к родителям не поеду.

К а р е н о. Что ж. Ничего не поделаешь... Вот так-то. Весь вечер испорчен. Я так на него рассчитывал. Но главу я все равно допишу. *(Садится и собирается писать.)*

Ф р у К а р е н о *(подходит к нему)*. Я все поняла, Карено. Ты меня больше не любишь. Вот что с тобой случилось. Ты только что говорил, что любишь меня, но это неправда. Я это замечаю во всем, даже в мелочах, и не только сегодня. Ты ничего, совсем ничего не хочешь для меня сделать, тебе все равно, как я живу, ты все пишешь и пишешь, а нам все хуже и хуже. И наконец ты решил спровадить меня домой.

К а р е н о *(встает)*. Ты с ума сошла, по-моему. Я тебя больше не люблю?

Ф р у К а р е н о. Да, не любишь. Ты бы не был такой. Только смотри знай меру, Ивар. Ты, может быть, напрасно так уверен во мне. Просто я хотела тебе сказать. *(Уходит.)*

К а р е н о. Ты во второй раз сегодня заводишь об этом речь, Элина. Подумай, — что ты говоришь? Напрасно я в тебе уверен...

Ф р у К а р е н о *(на лестнице)*. А это ты еще увидишь. *(Уходит в дом, закрывает за собою дверь.)*

Карено смотрит ей вслед, потом садится к столу, берет за перо.

АКТ ВТОРОЙ

Кабинет Карено. В глубине дверь на улицу, над дверью крюк в стене. Налево стеклянная дверь на веранду и дверь в спальню, между дверями этажерка, на которой среди прочего стоят парные подсвечники. Направо большой письменный стол Карено, заваленный книгами и бумагами, а сзади по той же стороне дверь на кухню. Диван, столики, стулья и зеркало в золоченой раме, все это убогое. Наискось от двери ковровая дорожка.

И в а р К а р е н о работает за столом при свете лампы. Ж е н а тихонько входит из кухни, ставит на круглый столик зажженную лампу, кладет свою работу и снова тихо уходит.
В заднюю дверь стучат. Потом громче.

К а р е н о. Войдите!

Входит доктор Йервен, бледный, темноволосый господин двадцати семи лет, с бородой, в сопровождении фрекен Ховин, двадцатилетней брюнетки, и Эндре Бондесена, тридцатипятилетнего темного блондина в усах, с лорнетом, модно и хорошо одетого. В дверях слышен голос Йервена: «Ну конечно же он дома! Пожалуйте! Дамы вперед!»

(*Встает, удивленный.*) Не может быть! Йервен? (*Кладет перо.*)

Й е р в е н. Он самый. Так-то. Вечер добрый. (*Знакомит.*) Моя невеста. Ну а его ты знаешь. Жены нет дома?

К а р е н о. Нет, она на кухне. Я сейчас... (*Отворяет дверь и зовет.*) Элина!

Та отвечает.

Тут гости пришли, и какие гости! Что? Да, иди скорей. (*Закрывает дверь.*) Право же, как это мило! Спасибо, фрекен, что благоволили заглянуть. От вас ведь далеко сюда, не правда ли?

Ф р е к е н. Да. Я в городе живу.

Й е р в е н. Не вздумай меня уверять, будто мы тебе не помешали.

К а р е н о. Нет-нет, все хорошо. Я так устал. Нет, право же, все дивно хорошо... Вчера тут был профессор Юллинг, ты уже знаешь?

Й е р в е н. Еще бы не знать! Ну, и как продвигается твоя книга?

К а р е н о. Утром я отнес три четверти издателю. Поглядим, возьмет ли он ее, он обещал на днях дать ответ. Ну а ты у нас уже доктор. Поздравляю.

Й е р в е н (*с вымученной веселостью*). Да, я доктор. Я так счастлив. Ха-ха!

Фру Карено (*входит*). Кого я вижу!

Йервен (*подходит к ней*). Добрый вечер. Простите, что мы нагрязнули. Мы ненадолго. И тоски не нагоним, мы все веселые.

Фру Карено. Что вы, что вы. Милости просим.

Йервен (*представляет*). Ну вот, фру Карено, это моя невеста. Зовут ее Наталия Ховин. Но ввиду того, что мы хорошие друзья, я называю ее просто Натали. Она это одобряет.

Фрекен (*легонько бьет его ладонью по руке*). Вот лгун!

Йервен (*представляет*). Ну а это — кое-что совсем иное. По имени Эндре Бондесен. Мужчина, вы сами видите, во цвете лет. Но — этого уж вы не можете видеть — вдобавок мужчина не чуждый серьезных интересов. В данный момент он размышляет о том, к лицу ли ему будут полосатые брюки.

Фру Карено. Не желаете ли слегка разоблачиться, фрекен?

Фрекен снимает шляпку и мантильку. Фру Карено садится с нею рядом.

Карено. Снимите же пальто, господа.

Оба снимают пальто. Бондесен присаживается к дамам.

Йервен. О, Бондесен уже пристроился! Он непременно в вас влюбится, фру Карено, в этом можете не сомневаться. Но не доверяйтесь ему. Его страсть длится всегда не более суток.

Фру Карено (*смеется*). Ну, я уж постараюсь ее продлить.

Бондесен. Благодарю вас.

Фру Карено (*глянув на мужа*). Уж и не знаю, за что вы меня благодарите.

Бондесен. Но вы так хорошо ему ответили, так метко.

Фру Карено. А-а. А я-то думала, за то, что я постараюсь продлить вашу страсть.

Бондесен. Это, разумеется, не стоило бы вам больших усилий, фру Карено.

Фру Карено. Ну нет, мне кажется, вы как раз не из тех, кого легко при себе удержать.

Карено (*Йервену*). Профессор вчера очень тепло о тебе отзывался.

Йервен (*отрывисто*). Вот как.

Карено. И расхваливал твою диссертацию. Но он кое-что сказал такое... я не совсем понял, но что-то насчет перемены... что в тебе произошла решительная перемена.

Й е р в е н (*вздрыгнув*). Перемена? Знать не знаю ни о какой перемене.

К а р е н о. Разумеется. Он, возможно, имел в виду тон твоей диссертации. Что он сделался спокойней.

Ф р е к е н. Конечно, ведь больше никакой в тебе чермены нет? Правда, Карстен?

Й е р в е н. Да, насколько мне известно.

Ф р е к е н. Уж я надеюсь.

Й е р в е н (*раздраженно*). И довольно обо мне. Этот профессор Юллинг, кстати... нет, не хочу говорить. Он либерал и гуманист. (*Поворачивается к Карено.*) Хе-хе, гуманист. Так хорошо думает о людях, видит в них «добро», как он изволит выражаться. Когда ему противоречат, он выслушивает и со многим готов согласиться. Да, он в высшей степени гуманен. Но он не интересный человек.

К а р е н о. Уж какое там.

Й е р в е н. Нет, не интересный человек. Либерал в серой шляпе и без серьезных недостатков.

К а р е н о. Он не очень-то нахваливал мою немецкую статью. Попросту ее разнес.

Й е р в е н. А про тысяча восемьсот четырнадцатый год не поминал?

К а р е н о. Нет. А что?

Й е р в е н. Обычно поминает. Значительнейшее явление после тысяча восемьсот четырнадцатого года, так он говорит. И уже двадцать лет по любому поводу это повторяет. А жену его ты видел? То есть последнюю жену? Правда, тонкая?

Б о н д е с е н. Скорее, толстая.

Й е р в е н (*поворачивается к нему*). Да, вот именно. Если тебе скажут, что два плюс три — пять, ты непременно возразишь, что два плюс два — четыре.

Б о н д е с е н. Ответьте-ка ему снова, фру Карено. Тогда он замолчит.

Ф р у К а р е н о. О, если бы я умела так уж хорошо ответить. А у вас в галстук дивно красивая булавка.

Б о н д е с е н (*собирается отстегнуть булавку*). Не желаете ли?

Ф р у К а р е н о (*кладет ладонь на его руку*). Нет-нет-нет! Вы с ума сошли! (*Отдергивает руку.*)

Б о н д е с е н. Вы случаем не обожглись?

Ф р у К а р е н о. Чуть-чуть.

Б о н д е с е н. А как бы хорошо!

Ф р у К а р е н о (*взглянув на мужа*). Что бы это значило?

К а р е н о (*Йервену*). И молодая она — эта фру Юллинг?

Й е р в е н. За тридцать, и жутко одевается притом. Я ей сказал, что ее платье безобразно. И знаешь, что она ответила? «Я одеваюсь не затем...» Ох, черт, как это она сказала?

Ф р у К а р е н о. Фи, Йервен, не чертыхайтесь!

Й е р в е н (*передразнивая*). «Я одеваюсь не затем, чтоб нравиться мужчинам, а затем, чтоб досаждать женщинам...» Ну как, представил ты ее себе?

Ф р у К а р е н о (*громко*). Боже мой! Не угодно ли кофе? (*Не дождавшись ни от кого ответа.*) Больше у нас выпить нечего.

Б о н д е с е н. Господи! Но кофе — это же чудесно. Если только это не очень хлопотно.

Ф р у К а р е н о. Ивар, открой дверь и попроси Ингеборг сварить нам кофе.

К а р е н о. Хорошо. (*Уходит на кухню.*)

Й е р в е н (*разглядывая серебряные подсвечники*). Прелестные вещицы. Ты видела, Натали?

Ф р е к е н. Я уж давно сижу и на них люблюсь. Это подарок, фру Карено?

Ф р у К а р е н о (*беспокойно поглядывая на дверь кухни*). Свадебный подарок... Нет, лучше мне самой... (*Идет к двери, приостанавливается, потом вдруг открывает ее, заглядывает. Уходит.*)

Б о н д е с е н. Что это ты такой злой сегодня, Йервен?

Й е р в е н. Изволь называть меня — доктор Йервен. Господин доктор Йервен.

Ф р у К а р е н о (*входит, обращаясь через плечо к идущему следом Карено*). Просто непонятно. Пропал на целых полчаса.

К а р е н о. Надо же было зажечь. У Ингеборг не оказалось спичек.

Ф р у К а р е н о (*садится*). Да. Эти вещицы нам подарили папа с мамой. Мне они так нравятся.

Й е р в е н. Тебя, Карено, жизнь сейчас щадит?

К а р е н о (*останавливается*). Ах нет. Но мы надеемся, что это переходный период. (*Жене.*) Ведь правда, Ингеборг?

Ф р у К а р е н о (*привстает*). Ингеборг? Ну, знаешь ли...

К а р е н о. Ах, что за вздор! Я хотел сказать — Элина. (*Ходит взад-вперед по комнате.*)

Ф р у К а р е н о. А Бог тебя знает, что ты хотел сказать. (*Резко придвигается к Бондесену.*)

Б о н д е с е н. Надеюсь, мне можно не отодвигаться?

Ф р у К а р е н о. Зачем же? Вы вовсе не сидите слишком близко.

Бондесен. Но надеюсь, вы слышите, как стучит мое сердце.

Не отрывая глаз от Карено, она слушает, что говорит ей Бондесен; улыбается. Они разговаривают и смеются.

Йервен (*Карено*). Видишь ли, что до меня, я... мне, видишь ли, совсем не весело. Вероятно, уж лучше бы кто-нибудь захотел взглянуть, как я сам себе плюю в физиономию. И я тогда бы плюнул.

Фрекен (*встает и подходит к нему*). Ты отчего сегодня такой, Карстен?

Йервен. Какой? Я как всегда. Иди-ка лучше сядь, Натали.

Она улыбается и возвращается на свое место. Йервен продолжает свой разговор с Карено.

Собственно, зачем вообще беспокоиться, и думать, и писать для людей? К чему?

Карено. Ну как же?

Йервен. А так. Вообще — хорошо бы не быть человеком, а быть предметом, вещью. И когда тебя остановят на улице и спросят дорогу, хорошо бы ответить: не знаю, спросите у другого фонаря.

Фрекен. Карстен, ты просто ужасно переутомился.

Йервен (*продолжает*). Я, во всяком случае, намерен совершенно отказаться от размышлений. И тебе горячо рекомендую то же самое, Карено. Сидеть в этой проклятой земле Иафета, да еще думать для людей! Зачем людям мои мысли, растолкуй ты мне? Неужто без меня они не могут окучивать картошку, сочинять пьесы? Люди безнадежны. Взгляни вокруг себя. Два миллиона людей по имени Оле.

Бондесен. Ну, он сегодня просто блещет.

Фрекен. Я, кажется, могу его понять.

Фру Карено (*качает головой*). А я не понимаю, увы.

Бондесен. И я не понимаю, слава Богу.

Фру Карено. Давайте говорить про более понятные вещи.

Бондесен. О том, например, что я готов сделать вам признание, фру Карено.

Фру Карено. Господи, пожалуйста, не надо. (*Повышает голос.*) Не надо делать мне признание.

Бондесен. Но вы не поняли меня. Вполне невинное признание.

Фру Карено. Правда?

Бондесен. Я просто хотел признаться, что я и вас тоже не совсем понимаю. То вы хохочете и веселитесь, и вы тогда такая юная...

Фру Карено. Да?

Бондесен. А то вдруг вас словно посещает какая-то мысль, и вы тогда так странно озираетесь. Уж и не знаю, на что вы смотрите...

Фру Карено (*напряженно*). И что же я тогда?

Бондесен. И тогда вы готовы, кажется, расплакаться.

Фру Карено сидит молча, потом, взволнованная, встает и отходит от него.

Фрекен (*Йервену*). Карстен, ты устал?

Йервен отрицательно качает головой.

Но ты такой бледный, Карстен.

Йервен качает головой.

Карено (*кладет руку на плечо жены*). Ну, ты о чем-то задумалась, Элина?

Фру Карено (*резко*). Нет. (*Возвращается к Бондесену, говорит напряженно.*) Нет уж, знаете, лучше вы мне такого не говорите. Я стояла там в уголке и до слез смеялась над вашими речами.

Бондесен. Жаль, что не здесь.

Фру Карено. Отчего же?

Бондесен. Я увидел бы тогда ваши белые зубки.

Фру Карено (*улыбаясь*). По-вашему, у меня такие уж белые зубки?

Йервен. Скажи, Карено. Он вчера не пытался тебя обратить? Профессор Юллинг?

Карено (*улыбаясь*). Он дал мне несколько добрых советов. Полезных советов, как он выразился.

Йервен. О, я знаю добрые советы профессора Юллинга. Если этот человек приходит с добрыми советами, значит, он решил сбить кого-то с толку. Все очень просто.

Карено. Вот, кстати, и ты послушай, Элина. Йервен думает то же, что и я.

Бондесен (*Йервену*). Ты несправедлив к профессору Юллингу. Он человек с большим, мировым именем.

Йервен. Да-да, разумеется. То есть большого имени у него как раз и нет. (*Смотрит на Бондесену.*) И вообще — какого черта?!

Фру Карено (*качая головой*). Опять он чертыхается!

Й е р в е н. Профессора на самом деле самые допотопные люди. Остерегись, Карено, ты разозлил...

Ф р у К а р е н о. Но вы не знаете наших обстоятельств, Йервен.

К а р е н о *(взволнованно, улыбаясь)*. Скажу вам честно, дела наши куда как плохи. Мы нищие, мы вот-вот можем остаться без крова. Не сегодня-завтра к нам явятся описывать имущество, если я не найду выхода. Но я еще надеюсь на лучшее. И ни на какие сделки я не пойду. Я прямо должен объявить тебе, Элина, что, если профессор Юллинг снова явится сюда, я его не приму.

Б о н д е с е н *(добродушно)*. С вас станется. Зачем вам, собственно, профессор Юллинг? *(Улыбается.)* Так уж устроен ваш брат философ. Взбредет вам что-то в голову — вы и жмете напролом. А мы люди простые, мы обязаны приспособливаться. Если дела у нас плохи, нам, честно говоря, приходится рассчитывать на помощь. На помощь высших сил, так сказать. Ничего не попишешь.

Й е р в е н *(наклоняется, прислушиваясь)*. И это ты, Эндре Бондесен, толкуешь тут о помощи высших сил?

К а р е н о *(вслушиваясь)*. Мне кажется... Мне кажется, стукнула калитка?

Ф р е к е н. Да, мне тоже показалось.

К а р е н о *(нервно)*. Но кому бы это быть? Поздно уже.

И н г е б о р г *(входит с кухни)*. Там мужчина какой-то хозяйку спрашивает.

Ф р у К а р е н о. Меня? Мужчина? Ах да, понимаю. Но почему он раньше не пришел? *(Выходит с Ингеборг.)*

Ф р е к е н. Скажи, скажи еще что-нибудь, Йервен. Ты так хорошо говорил! О, ты так неколебим!

Ф р у К а р е н о *(входит)*. Мне придется ввести его сюда. Только тебе, Ивар, нельзя его видеть. Ты выйди.

К а р е н о. Мне — выйти, ты сказала?

Ф р у К а р е н о. В спальню. На минутку. Ну же! *(Собирается его вытолкать.)*

К а р е н о. Что еще за прихоть!

Ф р у К а р е н о *(нетерпеливо)*. Господи, ну иди же. Это совсем ненадолго.

К а р е н о. В спальню! Но там пусто и темно! *(Неохотно уходит.)*

Ф р у К а р е н о *(запирает за ним дверь. Торопливо объясняет)*. Ведь Ивару вот-вот исполнится двадцать девять лет.

О с т а л ь н ы е. А-а!!

Ф р у К а р е н о. И это будет подарок. Я придумала одну вещь, только не знаю, понравится ли ему.

Й е р в е н. Это кисет, разумеется?

Ф р у К а р е н о. Нет. *(Насмешиливо.)* Ивару — кисет! Нет уж, ему нужно что-то поинтересней. И человек, который пришел, за этим должен присмотреть. Я подумала, может быть, ему птицу... Видите вон там крючок... *(Показывает на дверь в глубине.)* Конечно, что за подарок — птица, но, может быть... *(Смуцненно озирается.)*

Б о н д е с е н. Но по-моему, это просто великолепная мысль.

Ф р е к е н. По-моему тоже, это очень мило придумано.

Ф р у К а р е н о *(упавшим голосом)*. По-моему, вы это просто так говорите, но... *(Открывает дверь на кухню, тем же тоном.)* Пожалуйте!

Входит, раскланиваясь, ч у ч е л ь н и к.

Спасибо, что пришли.

Ч у ч е л ь н и к *(кланяется)*. Вы уж меня извините, господа.

Ф р у К а р е н о *(показывает)*. Я хотела ее вон там, наверху. Видите — крючок, он остался с тех пор, как тут жил поэт Иргенс.

Ч у ч е л ь н и к. Там, наверху. Да-да.

Ф р у К а р е н о. Как по-вашему, там раньше тоже была птица?

Ч у ч е л ь н и к *(осматривает крючок)*. Да, вижу. Чучело крупной птицы.

Ф р у К а р е н о. И ничего не будет удивительного, если и мы там поместим птицу. Правда, Йервен?

Й е р в е н *(у письменного стола, рассеянно вертя ножницы)*. Я полагаю, там прежде помещалась птица. Во времена поэта Иргенса. *(Кладет ножницы и медленно подходит к остальным.)*

Ф р у К а р е н о. Уф. Я вовсе не о том спрашивала. Лучше уж я спрошу вас, господин Эндерсен.

Б о н д е с е н. Бондесен.

Ч у ч е л ь н и к. Надо решить — какая это будет птица. Орел, скажем?

Ф р е к е н. О да! Пусть будет орел.

Ф р у К а р е н о. Нет, я сокола хотела.

Ч у ч е л ь н и к. Вот и я стою и думаю: надо бы сюда сокола.

Й е р в е н *(чучельнику)*. Вы набиваете чучела птиц?

Ч у ч е л ь н и к *(кланяется)*. Такое мое ремесло.

Й е р в е н. Нелегкая, я полагаю, профессия.

Ч у ч е л ь н и к. Искусство. Это произведения искусства. Если, конечно, тонко сделать работу.

Й е р в е н. То есть птица должна выглядеть естественно?

Ч у ч е л ь н и к. Да, как настоящая. Как живая. Надо набить ей грудку, и чтоб она эдак гордо смотрела, надо вставить глаза, и чтоб у нее свой характер был. И так ее поставить, что словно она вот-вот полетит.

Й е р в е н. И чем же, скажите, вы набиваете такую птицу?

Ч у ч е л ь н и к. Пенькой, паклей. Кто с чем работает. Но без пакли не обойтись.

Й е р в е н. Я скоро к вам приду и тоже закажу такую птицу.

Ф р е к е н. Правда?

Ч у ч е л ь н и к *(кланяется)*. Буду рад. Такое чучело — хорошая компания. Стоит совсем как человек и думает.

Й е р в е н. Глубокомысленно и немо размышляет.

Ч у ч е л ь н и к. Я могу так устроить, что они иной раз и скажут что-нибудь. Когда нажмешь.

Й е р в е н. Да?

Ч у ч е л ь н и к. Ну, совсем по-человечески их разговаривать не научишь. Так только, звуки какие-то. Я уж наловчился, звуки эти разные делаю. Столько удовольствия от них.

Ф р у К а р е н о *(она все время порывалась что-то сказать)*. Значит, пусть это у нас будет сокол. Только пораньше завтра приносите.

Ч у ч е л ь н и к *(кланяется)*. Уж постараюсь. *(Идет к двери. Йервену.)* Если тоже надумаете птичку заказать, так...

Й е р в е н *(мрачно)*. Да, я зайду.

Ф р у К а р е н о. Только не забудьте — чтобы с распростертыми крыльями.

Ч у ч е л ь н и к. Готовый он у меня. И других много готовых. Крылья расправлены, как летит. *(Кланяется несколько раз.)* Счастливо оставаться. Вы уж меня извините, господа.

Ф р у К а р е н о. До свиданья. *(Ведет его к кухонной двери.)* Да, я вам, давайте, сейчас же и заплачу. *(Выходит вместе с ним.)*

Й е р в е н. Ты не подал руки своему коллеге, Бондесен.

Б о н д е с е н. Какому еще коллеге?

Й е р в е н *(кивает в сторону кухни)*. Ну, этому.

Б о н д е с е н *(к фрекен Ховин)*. Он, стало быть, шутить изволит.

Карено в спальне колотит кулаками в дверь.

Фрекен. Ой! Мы же совсем забыли впустить господину Карено! *(Подходит к двери, открывает ее.)*

Карено *(входит, озирается)*. Хотел бы я знать, что тут происходит?

Бондесен. Ха-ха, если бы вы только знали. *(Садится.)*

Входит фру Карено.

Карено *(жене)*. Я как раз спрашиваю, что вы тут делали, но не получаю ответа.

Фру Карено. И правильно, тебе не надо знать. *(Идет мимо него и садится.)*

Фрекен *(вдруг подходит к нему и берет его за руку)*. Бедненький господин Карено! Какие мы все гадкие!

Карено *(улыбаясь)*. Только не вы, фрекен!

Фру Карено *(бросив на нее взгляд)*. Господи, и эта туда же!

Бондесен *(наклонившись, вслушиваясь)*. Вы что-то сказали?

Ингеборг *(входя)*. Кофе нести, хозяйка?

Фру Карено. Да, спасибо, неси.

Ингеборг уходит.

Не присядете ли к нам, фрекен? Если сможете вырваться.

Фрекен подходит к ней и садится. Ингеборг вносит кофе. Все подходят к круглому столику и берут чашки.

Да-да, ты ступай, Ингеборг.

Ингеборг уходит. Фру Карено обращается к мужу.

Стоит и глазеет. Зачем это ей, не пойму.

Карено и Йервен уносят свои чашки к письменному столу.

Карено. Уж простите, сигар предложить не могу. Не угодно ли огонька, Йервен? *(Зажигает спичку, подносит Йервену, сам закуривает трубку, прячет коробок в карман. Ходит.)*

Фру Карено. Ты не видишь разве, что другим тоже надо огонька, Ивар?

Карено не слышит. Она обращается к Бондесену.

Ничего не видит, не слышит.

Бондесен. Не беда. Я обойдусь. *(Прикуривает от лампы.)*

Фру Карено. Ой! Не обожгитесь!

Бондесен (*прикуривая*). Что-то раньше вы не так беспокоились обо мне. С величайшим хладнокровием разжигали для меня костер.

Фру Карено (*смеется*). А вы с большим хладнокровием смотрели, как он горит.

Бондесен. Вот тут вы ошибаетесь, фру Карено.

Фру Карено. Вовсе нет. Сядьте, господин Эндерсен.

Бондесен. Даже имени моего запомнить не можете. (*Садится.*)

Фру Карено. Ой, простите меня. Теперь уж я запомню.

Бондесен. Как вы искренне это сказали! И так улыбнулись. И у вас такой красный рот.

Фру Карено (*внимательно всматривается в него. Нервничает.*) Да, но давайте говорить о другом. (*Йервену.*) Мне кажется, вы скучаете, Йервен. А ведь когда вы пришли, вы сказали, что вам весело?

Йервен (*вдруг*). И правда! Отчего бы мне не веселиться? Разумеется! (*Бросает ножницы на стол, чокается чашкой с Карено.*) Твое здоровье, Карено!

Карено. Твое здоровье. (*Пьет; показывает Йервену несколько журналов в ярких обложках.*) Читал?

Йервен. Не спрашивай, читал ли я их. Я ничего не читал. Я впредь ничего не буду читать.

Фрекен. Что ты, Карстен! Как странно ты говоришь!

Карено (*складывает журналы*). А тут попадается много дельного. Новейшие изыскания. Они быгодились тебе, для твоей диссертации.

Йервен (*делает несколько поспешных шагов, останавливается*). Опять ты о моей диссертации, Карено. Не постигаю, зачем тебе это. Словно ты меня в чем-то подозреваешь.

Карено. Подозреваю? (*Озадаченно оглядывает остальных.*) Слыхали?

Йервен (*все более раздражаясь*). Диссертация моя готова, да будет тебе известно. И отпечатана. И я сегодня получил за нее гонорар, вот он тут у меня. (*С силой ударяет рукой по нагрудному карману.*) Чего тебе еще?

Фрекен (*подбегает к нему*). Карстен! Карстен! (*Карено.*) Нет, он, верно, заболел. (*Йервену.*) Карстен, милый, что с тобою, скажи! (*Обнимает его.*)

Карено. Я не понимаю, право, что он такое говорит.

Йервен (*высвобождается*). Ты уж меня извини сегодня. Я прощаюсь с тобой, видишь ли, я в некотором роде сегодня прощаюсь с тобой. (*Возвращается к столу.*) Еще раз твоё здоровье, Карено. И да здравствует благоразумная практичность.

К а р е н о. С удовольствием. Если тебе так угодно. (*Чокается с ним.*)

Й е р в е н. Да, мне так угодно. И да здравствует презрение к самому себе. И пенька, и пакля. (*Голос ему изменяет, он роняет чашку на пол.*)

Ф р е к е н. Да что с тобою, Карстен?

Все смотрят на него.

Й е р в е н (*подбирает чашку; спокойно*). Этого, конечно, не следовало делать. (*Поворачивается к Карено.*) Но это не повторится.

Ф р е к е н. Ты заработался. Все потому, я уверена.

Ф р у К а р е н о. Хотите еще кофе?

Й е р в е н. Нет. Благодарю.

Ф р у К а р е н о. Но вам ведь уже лучше?

Й е р в е н (*смеется*). Да, мне лучше. Вы все решили, что мне стало дурно. А я просто-напросто выронил чашку.

Ф р у К а р е н о. Ну да, и не будем больше про это говорить... Никто не хочет выйти на веранду? И можно послушать городской гул.

Ф р е к е н. Да-да. Идемте на веранду.

Б о н д е с е н (*встает*). А мне можно с вами?

Фру Карено, фрекен Ховин и Бондесен уходят на веранду и прикрывают за собою дверь.

Й е р в е н. Послушай, Карено, я хочу... Ты ведь не обидишься?.. Тебе сейчас нужны деньги, я могу их тебе дать *взаимы*.

К а р е н о. Что еще такое?

Й е р в е н. Я могу их тебе дать *взаимы*. (*Лезет в карман.*) Ты в нужде, а я нет. (*Вынимает из конверта пачку купюр.*) Это мой сегодняшний гонорар. (*Считает деньги.*)

К а р е н о (*останавливает его*). Ты с ума сошел. Тебе же самому деньги нужны.

Й е р в е н. Нет, именно, что не нужны. (*Считает, отстраняет от себя деньги.*) Будь добр, сам сосчитай.

К а р е н о (*волнуясь*). Ты это серьезно, Йервен?

Й е р в е н. Ну что ты стоишь и раздумываешь? Может быть, ты полагаешь, что это нечестные деньги? Что я продался за них?

К а р е н о. Что такое ты говоришь!

Й е р в е н. Ну, я ведь не знаю, что тебе может взбрести на ум.

К а р е н о. Просто я не понимаю... Но если тебе... Если ты обойдешься...

Й е р в е н (*снова отстраняя банкноты*). Бери их, тебе говорят.

К а р е н о. Впрочем, на уплату всех моих долгов и половины достанет.

Й е р в е н. Но это же неправда.

К а р е н о. Господь с тобою! Надеюсь, я в жизни не залезу в такие большие долги!

Й е р в е н. Что ж, половина так половина. (*Отсчитывает половину денег и прячет в карман.*) И больше об этом ни слова, прошу тебя.

К а р е н о. Я тебе их верну, когда...

Ф р е к е н (*входит с веранды, дрожит*). Ух, какая холодина. (*Оставляет дверь открытой.*)

Й е р в е н (*тихонько*). Спрячь деньги.

К а р е н о. Да. Спасибо. Спасибо, Йервен. (*Берет деньги и держит их в руке.*)

Входят фру Карено и Бондесен.

Ф р у К а р е н о. Вы скрылись, фрекен?

К а р е н о. Ты знаешь, что сделал Йервен?

Й е р в е н. Тсс!

К а р е н о (*показывает купюры*). Видишь, какой я стал богатый! Это мне Йервен одолжил.

Ф р у К а р е н о. Но это невозможно!

К а р е н о. Вот и я так говорю. А он и слышать не хочет. Я же знаю, что ему самому деньги нужны.

Й е р в е н. Господи, ну хоть ты ему скажи, Натали! (*Берет деньги из рук Карено и сует их ему в нагрудный карман.*) Вот так!

Ф р у К а р е н о. Какая неожиданная помощь!

Ф р е к е н (*вдруг подбегает к Йервену и обнимает его*). Правильно! Правильно, Карстен! Как хорошо!

Й е р в е н (*высвобождается*). Не стоит так волноваться. Не пойму, зачем мы стоим и смотрим друг на друга. Даже и ты, Бондесен, как ни странно, погружен в раздумье.

Б о н д е с е н. Хе-хе, слышали? Ну, деспот! (*Берет со стола журналы.*) Вы про эти журналы говорили, господин Карено?

К а р е н о. Вы можете, если угодно, взять их почитать.

Б о н д е с е н. Премного благодарен. Вы прочитали мои мысли. Я желал бы ознакомиться. (*Кладет журналы в карман пальто; обращается к фру Карено.*) Я завтра же принесу.

Ф р у К а р е н о. Что?

Бондесен. Журналы. Я взял почитать до завтра. Когда бывает дома ваш супруг?

Фру Карено. Ах, как когда.

Бондесен. Ну, все равно, я принесу.

Оба садятся на прежние свои места.

А вы на веранде не озябли?

Фру Карено. Озябла? Нет. Я никогда не зябну.

Бондесен. Вам всегда тепло?

Фру Карено. Да, можно сказать, всегда. Если вы спрашиваете в прямом смысле.

Карено (*выходя из задумчивости*). Да. Во всяком случае, прими мою благодарность, Йервен. (*Долго жмет Йервену руку.*)

Фрекен. Я бы тоже с радостью оказала вам какую-нибудь услугу, если бы только могла. Вы так искренне благодарите.

Фру Карено. Ну и кокетка! Посмотрите, как она льнет к моему мужу.

Бондесен. О ком вы? О фрекен Ховин?

Фру Карено. Господи, а я-то с ней, кажется, и словом не перемолвилась.

Бондесен. Да, только не подзывайте ее. Пожалуйста, не теперь. Чтобы я мог разговаривать с вами одной.

Фру Карено. Ничего, мы будем перемигиваться. (*Зовет.*) Фрекен Ховин! Вы нас совсем бросили.

Фрекен направляется к ним.

Бондесен. Просто я вам надоел.

Фру Карено. Я же вам подмигнула!

Йервен. Кстати, Карено, я принес тебе экземпляр моей диссертации. (*Находит свое пальто и достает из кармана книгу в темном переплете; руки слегка дрожат.*) Почитай завтра или еще когда-нибудь. (*Кладет книгу на стол.*) Я кладу сюда.

Карено подходит к столу, хочет взять книгу.

Нет, пока оставь. (*Кладет на книгу пресс-папье.*)

Карено. Да-да, очень тебе признателен.

Йервен. Только ты читай со снисхождением.

Бондесен. Они там перешли на торжественный тон. Говорят о снисхождении.

Фрекен. Прошу меня извинить. (*Обходит фру Карено.*) Нет-нет, сидите, сидите. (*Встает рядом с Карено, переводит взгляд с него на Йервена.*)

Фру Карено *(не спуская с нее глаз)*. Опять она там.

Бондесен. Да, опять она там.

Фру Карено. Ну а мы останемся тут. *(Быстро придвигается поближе к Бондесену.)*

Бондесен. Опять вы будто вот-вот расплачетесь.

Фру Карено *(с притворной веселостью)*. Ничуть не бывало. Но только, прошу вас, пожалуйста, говорите что-нибудь, говорите.

Карено *(негромко, жене)*. Послушай, Элина, ведь Ингеборг еще не легла. Ей, верно, пора бы лечь спать.

Фру Карено *(мгновенье смотрит на него)*. Да, в самом деле! *(Поворачивается к Бондесену, рассеянно.)* О, кстати, не могли бы вы мне принести билет на... *(Резко встает.)* Погодите, я сама пойду — скажу Ингеборг. Если это так нужно. *(Быстро проходит мимо Карено, что-то тихо говорит в кухонную дверь; возвращается.)*

Фрекен и Йервен разговаривают между собой, ищут свои пальто.

Карено. Как? Вы ведь еще не уходите? Куда спешить? Я просто подумал, что Ингеборг...

Фрекен. Да нет же, в самом деле, нам пора.

Фру Карено. Как, все уходят? *(Бондесену, который тоже поднялся.)* И вы? *(Взглянув на Карено.)* Ой, я совсем забыла. Умеее вы гадать? *(Показывает Бондесену свою ладонь.)*

Бондесен *(берет ее руку, разглядывает, пожимает)*. Нет, боюсь, ничего у меня не выйдет.

Фру Карено *(громко)*. Не беда. Я только так это сказала, чтобы вы меня взяли за руку. У вас такие теплые руки.

Йервен. Твое пальто, Бондесен. *(Протягивает ему пальто.)*

Фру Карено. Подумайте, он просто вас у меня вырывает. Дайте-ка я вам помогу. Нет-нет, это же приятно. *(Подает Бондесену пальто.)* Ну вот.

Прощаются.

Йервен *(отводит Карено в сторонку; умоляющим голосом)*. Только уж не забудь, Карено, читай книгу со снисхождением. Очень тебя прошу.

Карено *(иутя)*. Ну, если снисхождение будет возможно... *(Серьезно.)* Что ты, однако, меня морочишь?

Гости уходят через дверь в глубине сцены. Она открыта. Слышно, как там снова прощаются. Фру Карено входит, ставит чашки на поднос. Хлопает калитка. Входит Карено.

К а р е н о (*обнимает жену*). Ну вот, опять мы с тобою одни.

Она молчит; он вынимает из кармана деньги.

Подумать только, Элина, ведь мы спасены. Смотри. (*Сует деньги в карман.*) Взял и выложил эти деньги... Одну лампу можно погасить. Правда? (*Задувает лампу.*) Кстати, я ее сразу налью. Возможно, мне придется снова сидеть всю ночь и работать.

Ф р у К а р е н о (*грустно*). Нет, лучше бы не надо.

К а р е н о (*весело*). Ах, Элина, право же, мне сегодня вовсе не хочется спать. (*Потирает руки.*) Ну, что ты скажешь, а? (*Снова вынимает купюры, разглядывает.*) Завтра утром первым делом пойду к фогту и все уплачу. (*Прячет деньги, снова обнимает жену.*) Ты стала вдруг такая тихая, Элина.

Ф р у К а р е н о. Ты зато необычайно оживлен, как я погляжу.

К а р е н о. Но у меня есть причина.

Ф р у К а р е н о. Нет, ты необычайно, ты слишком оживлен. В глубине души ты, конечно, на меня сердиться, я думаю, но не показываешь вида.

К а р е н о. Я — сердиться? Но на что?

Ф р у К а р е н о. И если ты считаешь, что я слишком много болтала сегодня с Бондесеном, так и скажи.

К а р е н о (*недоуменно смотрит на нее, качает головой*). Что-то я сегодня никого не пойму. Отчего я должен считать, что ты слишком много болтала с Бондесеном? Или он был неприятен?

Ф р у К а р е н о. Ну, что ты! Напротив. Ты заметил, как он был одет?

К а р е н о. Кто? Бондесен? Да я на него вообще не смотрел. Он был так прелестно одет?

Ф р у К а р е н о. Так-так, ты на него вообще не смотрел!

К а р е н о (*берет со стола книгу Йервена и разглядывает переплет*). А славную книжицу написал, надо думать, наш Йервен! Заранее радуюсь, что буду ее читать. (*Кладет книгу на стол, выходит в открытую дверь на кухню.*)

Фру Карено устало опускается на стул. К а р е н о входит с лампой.

Шла бы ты спать, Элина. Поздно уже.

Ф р у К а р е н о. Мне кажется, тебе не понравился Бондесен. Ты даже возненавидел его, потому что он все время болтал со мной.

К а р е н о (*поднимает лампу*). Ничуть. Хорош бы я был! (*Смеется.*) Возненавидел!

Ф р у К а р е н о. Ты дал Йервену спички, а Бондесену не дал. Чем ты это объяснишь?

К а р е н о. Неужели не дал? Не дал ему спичек? Но он, надеюсь, не обиделся? Зато я дал ему почитать журналы. (*Уносит лампу на кухню, оставляет дверь отворенной.*)

Ф р у К а р е н о (*встает, ломает руки; сдавленным голосом*). Нет, ничего, ничего тут не поделаешь! (*Плачет.*)

К а р е н о (*из кухни*). Что ты сказала?

Она не отвечает.

Мне послышалось, ты что-то сказала?

Ф р у К а р е н о (*пересиливает себя*). Я просто сказала — спокойной ночи. (*Медленно идет в спальню.*)

К а р е н о (*входит*). Вот и хорошо, ты ложись, Элина. Я, наверное, еще часок поработаю. Но сперва загляну в книжку Йервена.

Она медленно идет в спальню. Он садится к столу, припускает огня в лампе, берет книгу Йервена и читает. На лице его все больше и больше отражается изумление.

(*Заглядывает в середину книги, читает.*) Да что же это такое! (*Все больше и больше волнуется, наобум листает книгу, читает.*) Да он же переметнулся! Совершенно переметнулся! (*Вскакивает, бежит по комнате, снова заглядывает в книгу.*) Предатель!

АКТ ТРЕТИЙ

Кабинет Карено на другое утро. Одна лампа догорела и погашена. другая догорает. Светло. К а р е н о еще за работой, бледный, измученный.

К а р е н о (*встает, открывает кухонную дверь и зовет*). Ингеборг! (*Услышав ответ.*) А-а, зайди на минуточку.

И н г е б о р г входит.

Можешь ты сразу, вот сейчас сходить по моему поручению?
И н г е б о р г. Да.

К а р е н о. К Йервену, Карстену Йервену, ну, он часто тут бывает. Это совсем рядом.

И н г е б о р г. Да.

К а р е н о. И передай ему вот это письмо. (*Берет со стола письмо.*)

Ингеборг тянет к нему руку.

Ах, погоди, я деньги вложу. Смотри. (*Вкладывает в конверт пачку банкнот и запечатывает.*) Он вчера тут деньги забыл.

И н г е б о р г. Ага. (*Тянет руку.*)

К а р е н о. Но ты отдашь ему письмо в собственные руки. Да?

И н г е б о р г. Да-да. (*Берет письмо и уходит.*)

Стучит садовая калитка. Карено задувает лампу, идет к двери на веранду, отдергивает гардины. Сияет солнце. Он снова садится за работу, листает бумаги, пишет. Снова стучит калитка. Потом стучат в кухонную дверь, громче.

К а р е н о. Ты вернулась, Ингеборг?

Ч у ч е л ь н и к (*входит с большим свертком в газетной бумаге, кланяется*). Прошу прощенья. На кухне никого нет.

К а р е н о. Вы хлеб принесли? Положите там.

Ч у ч е л ь н и к. Нет, не хлеб, а супруга ваша...

К а р е н о. Она еще не встала. (*Роется в кармане.*) Вам, верно, деньги надо отдать?

Ч у ч е л ь н и к (*кланяется*). Нет, я только должен был, вот, принести. (*Разворачивает бумагу, извлекает чучело птицы.*)

К а р е н о (*брезгливо*). Уф, что это еще такое?

Ч у ч е л ь н и к. Чучело птицы. Супруга ваша заказывала. Сокол.

К а р е н о. Нет, это, верно, ошибка. Сокол, вы говорите?

Ч у ч е л ь н и к. Нет, не ошибка.

К а р е н о (*встает из-за стола*). Жена это заказала?

Ч у ч е л ь н и к. Стало быть, так.

К а р е н о (*хватается за карманы*). Но я, право, не знаю, смогу ли я... Сколько это стоит? Может быть, вы сейчас заберете... (*Опять щупает карманы.*) Ибо я сейчас не располагаю средствами. А я потом к вам зайду.

Ч у ч е л ь н и к (*кланяется*). За птицу уплачено.

К а р е н о. Уплачено? А, тогда — будьте любезны, положите ее. (*Снова садится за стол.*)

Ч у ч е л ь н и к. Этот из тех, которые думают.

К а р е н о. Угу.

Ч у ч е л ь н и к. Только что говорить не умеет.

К а р е н о. Положите это куда-нибудь. Ну хоть на пол.
(Пишет.)

Ч у ч е л ь н и к. А повесить не желаете?

К а р е н о. Нет, благодарствую.

Ч у ч е л ь н и к. Крылья-то — как в полете расправлены.
Лучшая моя птица. Гостям показывал, гордился. Или не уго-
дил?

К а р е н о (встает). Извините меня. Не угодно ли вам
положить птицу. Пожалуйста.

Ч у ч е л ь н и к (поспешно кладет птицу, кланяется). До
свиданья...

К а р е н о. До свиданья. (Садится.)

Ч у ч е л ь н и к. Вы уж извините. (Уходит.)

Стучит калитка.

Ф р у К а р е н о (входит, оправляя одежду). С добрым
утром, Ивар. Все работаешь.

К а р е н о. Я сейчас. (Быстро набрасывает несколько
строк и откладывает перо.)

Ф р у К а р е н о (протягивая ему руку). Ну, поздравляю!

К а р е н о. А-а. И правда. Спасибо тебе.

Ф р у К а р е н о (заметив сокола). О? Он уже был?

К а р е н о. Кто? Да, был кто-то. Что-то оставил. Я ни-
чего не понял. (Показывает.) Там где-то положил. Ска-
зал — птица.

Ф р у К а р е н о (расстроенная). Ну как все опять не-
хорошо получилось!

К а р е н о. Ты ее заказывала, он сказал.

Ф р у К а р е н о. Да, заказала, для тебя. В подарок. А
теперь никакого сюрприза не выйдет. И тебе вовсе не нра-
вится. Я же вижу. (В отчаянии.) О Господи! (Садится.)

К а р е н о (с гримасой смотрит на сокола). Эта птица —
мне?

Ф р у К а р е н о. Да. Это сокол. Тебе в подарок.

К а р е н о. Странная мысль. Пустая, набитая шкурка.

Ф р у К а р е н о. Ну конечно. Опять глупость. В про-
шлом году картину тебе подарила — и тоже не угадала.

К а р е н о. Но это же был образ Христа, Элина!

Ф р у К а р е н о. И к чему такой тон? Кстати, это была
литография Христа, очень дорогая вещь, и мне посоветова-
ли ее купить папа с мамой.

К а р е н о. Ну да, и она прелестно висит у меня над по-
стелью.

Фру Карено. А когда он был? И почему птицу не повесил?

Карено. Не мог же я его посылать к тебе, пока ты не встала.

Фру Карено *(внимательно смотрит на него)*. Так, может, тебе вовсе не хочется, чтобы птица висела здесь? *(Показывает.)* На этом крючке?

Карено. Здесь? Ты собиралась...

Фру Карено. Что ж. Засунем ее тоже в спальню. Уф! *(С усилием поднимается, берет сокола, бросает его в дверь спальни, открывает кухонную дверь.)* Ингеборг! Ты ведь обещала взять птицу, когда ее принесут!

Карено. Ингеборг нет дома. Она ушла по моему поручению.

Фру Карено *(в дверях кухни)*. Вот как?

Карено. Она пошла к Йервену. *(Встает.)* Я должен сказать тебе, Элина, я ему отослал те деньги, что он мне дал вчера вечером.

Фру Карено *(подходит к нему поближе, пристально смотрит ему в лицо)*. Ведь это неправда, да?

Карено. Это правда. Знаешь, что сделал Йервен? Вся книга его — измена. *(Берет со стола книгу Йервена; взволнованно.)* Подумать только, Элина, Йервен тоже согнул спину. *(Швыряет книгу на стол.)* Йервен тоже.

Фру Карено. Что, что он сделал?

Карено. Изменил. Отринул все свои былые убеждения. *(Берет книгу, листает.)* Продался. Каждой строчкой продан. Вот отчего он вчера был такой. *(Ходит по комнате.)* Ничего не осталось от Йервена!

Фру Карено *(помолчав)*. И ты с утра пораньше отослал ему деньги? Нет, я тебя решительно не понимаю. *(Бросается на стул.)*

Карено. Я теперь не могу их принять.

Фру Карено. Если бы мы могли себе это позволить, тогда бы дело другое.

Карено. Но какие деньги посмел предложить мне Йервен? Гонорар за его книгу, гонорар за нападки на меня, плата за кровь. Нет, накажи меня Бог, какая неслыханная наглость!

Фру Карено. Но как это странно! Едва забрезжит для нас свет, тотчас он и загаснет. Нет, не миновать нам описи, я же говорила.

Карено. Но, может быть, я сегодня услышу от издателя доброе слово. У меня такое предчувствие. *(Хватается за лоб.)* Мне, пожалуй, надо вздремнуть, у меня голова кружит-

ся. Знаешь, Элина, я скоро проснусь, я через несколько минут проснусь и снова сяду за работу. О, ты еще увидишь, Элина! *(Возбужденно.)* Нынче ночью, когда я писал, мысли проносились в мозгу у меня, словно молнии. Ты не поверишь, Элина, но я отвечал на все вопросы, я познал все тайны бытия. Я писал и писал. Я чувствую в себе такие могучие силы!

Фру Карено *(у этажерки, берет в руки один подсвечник, потом другой; про себя)*. Но даже их вот спасти не можешь.

Карено. Нынче ночью я словно остался один на земле. Между человеком и тем, что вне его, словно стоит стена. Но стена эта вдруг утончилась, и я хочу попытаться пробить эту стену, и высунуть голову, и увидеть... *(повторяет)* и увидеть...

Фру Карено *(отходит от этажерки, с тоской)*. О Господи! До чего же я устала. Три года. Три года одно и то же. И ничего никогда не изменится.

Карено. Но три года не долгое испытание для такого человека, как я. Для человека, который призван разбудить людей от спячки. Десять лет — и то немного. Так понял я нынче ночью.

Слышен стук калитки.

Фру Карено *(вслушивается; решается)*. Да-да, поживем — увидим. У тебя такой воспаленный взгляд, Ивар, ты пойдешь вздремни. Тебя разбудить?

Карено. Нет, я сам. Я прикорну на минутку. *(Уходит в спальню.)*

Фру Карено *(прислушивается у двери в глубине сцены, открывает ее, выглядывает. Отворяет дверь на кухню)*. Это ты, Ингеборг?

Ингеборг *(входит красная, запыхавшаяся)*. Я.

Фру Карено. Ты ходила по делу, я слышала?

Ингеборг. Да. Только вернулась.

Фру Карено. Милая Ингеборг, вот тебе еще поручение. *(Берет с этажерки подсвечники.)* Ингеборг, ты их немножко почисти. А потом... *(отводя от нее глаза)* потом ты отнеси их в город и получи под них деньги.

Ингеборг. Отнести их к...

Фру Карено *(нервно перебивает ее)*. Ну, ты поняла. Получи под них деньги. Мне эти подсвечники пока не понадобятся.

Ингеборг. А-а.

Фру Карено. Только квитанцию не потеряй. Квитанция даже важнее денег. Спасибо тебе, Ингеборг.

Ингеборг берет подсвечники и уходит. Стучит калитка.

Фру Карено берет свою работу, присаживается к круглому столику и шьет. У нее озабоченное лицо и вялые движения. Она встает, смотрит в дверь веранды, снова садится и шьет. Стучит калитка, фру Карено напряженно вслушивается, встает, идет к двери в глубине сцены. Она очень волнуется. Стучат.

Фру Карено (*отворяя двери*). Ах! Милости прошу.

Бондесен (*входя*). С добрым утром, фру Карено.

Фру Карено. С добрым утром. (*Подает ему руку.*)

Бондесен. А господин Карено ушел уже?

Фру Карено. Нет. Он спит, он всю ночь работал. Не угодно ли присесть? (*Сама садится.*)

Бондесен (*вынимает из кармана журналы*). Вот эти журналы. (*Садится.*) И вы сидите тут одна?

Фру Карено. Одна, одна.

Бондесен. Зачем же так? Почему не выйти прогуляться? Солнце светит.

Фру Карено. Я стояла у дверей веранды и глядела на солнце.

Бондесен. Сегодня мне предстоит большая загородная прогулка.

Фру Карено. Послушайте, господин Бондесен, я вчера, кажется, невозможно себя вела. Я надеюсь, что вы не истолковали ложно моего поведения.

Бондесен. Нет, отнюдь.

Фру Карено. Мне бы очень этого не хотелось.

Бондесен. Я ничего решительно не истолковал ложно. Я все время понимал, что вы были невозможны — как вы изволили выразиться — не из-за меня, а из-за другого.

Фру Карено. Но из-за кого? Неужто вы заметили? Как! Это было заметно? Полно! Ничего вы не понимали.

Бондесен. Я был только ширмой.

Фру Карено. Ну, вы, положим, преувеличиваете. Фи! Как вы преувеличиваете! Но не будем больше об этом говорить... Да... Слыхали вы про Йервена?

Бондесен. Что он переметнулся? Да, утром слыхал. И тотчас настрочил о нем статейку.

Фру Карено. Против него?

Бондесен (*улыбается*). Нет. Не против. Теперь его следует поддержать.

Фру Карено. Ведь правда? Ведь ничего он такого ужасного не сделал, да?

Бондесен (*смеется*). Ах нет. В сущности, ничего такого. С моей точки зрения.

Фру Карено. Ведь правда, правда?

Бондесен. Ибо все мы там будем. Рано или поздно.

Фру Карено. Как это?

Бондесен. Да так. Все дети становятся взрослыми. Если не умирают.

Фру Карено. Подумайте, ведь если взглянуть с этой точки зрения — все совершенно естественно.

Бондесен (*пожав плечами*). Я и сам пережил кризис. Был радикален, свободен, отважен — и все было чудно. А потом, в один прекрасный момент, я взял и одумался.

Фру Карено. И что же дальше?

Бондесен. Перво-наперво я слегка усомнился в теории о происхождении человека от обезьяны. И во многом, что из нее вытекает.

Фру Карено. Ну а дальше?

Бондесен. Да много было всякого. Но я через это перешагнул. Как раз вовремя.

Фру Карено. Перешагнули на сторону противника?

Бондесен. Положа руку на сердце — да. Стал работать в другой газете, защищать другие цели.

Фру Карено. И, вы думаете, Ивар тоже со временем ступит на этот путь?

Бондесен. Хочется думать. Не понимаю, почему господину Карено, единственному из нас из всех, угодно упираться.

Фру Карено. А что это за прогулка такая сегодня вам предстоит?

Бондесен. Увеселительная. Выпьем немного шампанского, потанцуем.

Фру Карено. И танцевать будете? Подумать только, неужели я такая старуха? Я ведь уж забыла, как это — танцевать!

Бондесен (*умоляющим голосом*). Поедемте! Вам будет весело.

Фру Карено. Нет, куда уж мне ехать! Что вы!

Бондесен. Мы будем вас носить на руках.

Фру Карено (*другим тоном*). Господин Бондесен, вы угадали. Я вчера так вела себя ради другого.

Бондесен. Вы могли бы и не исповедоваться, фру Карено. Я сам все видел.

Фру Карено. О Господи, мне было так скверно. И хотелось это доказать.

Бондесен. И добились вы цели?

Фру Карено. Нет. Ничего я не добилаь.

Бондесен. Жаль, однако. Вы так усердствовали.

Фру Карено. Не насмешничайте! Очень вас прошу! Если бы вы только могли поставить себя на мое место! Если бы вы знали! Утром он отослал Йервену деньги, и вот!.. Он не думает обо мне, он и о себе не думает, он думает только о своей работе, вечно об одном. И так уже три года, целых три года. Но три года — это не срок, вот что он говорит, десять лет — и то не срок, вот что он говорит. И раз он может так себя вести, значит, он меня не любит больше, вот что я подумала. Даже по ночам я не всегда его вижу, он сидит у себя за столом и работает до утра. Все так ужасно. У меня стали путаться мысли, я хотела сжечь его рукописи. И вот сегодня утром принесли сокола! Понимаете — сокола? И думаете, он захотел его тут повесить? Нет. И так все время.

Бондесен. Дело в том, фру Карено, что вы слишком молоды, чтобы быть эдакой замужней дамой, и...

Фру Карено. Да, я еще молодая. Вот и все.

Бондесен. Но ему бы следовало это понять.

Фру Карено. Ничего он не понимает. Ничего. Он так уверен, что я безраздельно ему принадлежу. *(Помолчал.)* А между прочим, напрасно.

Бондесен. Что вы хотите сказать?

Фру Карено *(глядя на него)*. Спасибо, что вы пришли, господин Бондесен. Я вчера немножечко вас испугалась. Помните, когда вы сказали про журналы?

Бондесен. Да?

Фру Карено. Что завтра вернете их, вы сказали. И спросили, когда муж бывает дома.

Бондесен. Да-да?

Фру Карено. А сами будто хотели узнать, когда его не бывает дома. И тут я немножечко вас испугалась.

Бондесен. Вы меня и сейчас боитесь? *(Берет ее за руку.)*

Фру Карено *(слегка отпрянув)*. И часто вы совершаете такие загородные прогулки?

Бондесен. Сегодня особенный повод. День рождения.

Фру Карено *(вздрагивает)*. День рождения?

Бондесен. Да. А что?

Фру Карено. Нет, ничего. Просто я подумала, что у нас сегодня тоже день рождения. *(Грустно улыбается.)* Но мы его не празднуем.

Бондесен. А? Значит, день рождения господина Карено уже сегодня?

Фру Карено. Да.

Бондесен. Поздравляю... Ну, шампанское и музыка — это ведь так, глупости. Прекрасно можно проводить дни рождения и без них.

Фру Карено. Но ведь праздник все-таки. Вдумайтесь, слово-то какое: «Праздник!» Я так и вижу: веселые господа, цветы в петлицах, шляпы на затылках, улыбки, смех. «Застегните мне перчатку, зашнуруйте мне башмачок!» — «С радостью, фрекен! Вам весело?» И вот уже кто-то взобрался на камень и держит речь, и все громко хохочут, когда он зарпортовался. И потом — музыка. И все танцуют. *(Волнуется, встает, улыбается.)* Смешно, сижу тут, а сама — там.

Бондесен *(с нажимом)*. Но почему бы вам не поехать!

Фру Карено. Нет, нет, ни за что. *(Бросает взгляд на веранду, поворачивается, подходит к Бондесену, мгновенно стоит и разглядывает его со спины.)*

Бондесен *(оборачивается)*. Что это вы разглядываете, фру Карено?

Фру Карено *(садится)*. Отчего вы говорите, будто вы ширма? Я вас ждала. *(Встает, меняет тон.)* Это его журналы? Спасибо, что принесли. Я их ему положу. *(Кладет журналы на стол Карено.)*

Бондесен *(он тоже встал)*. Вы уже гоните меня?

Она не отвечает.

Так вы ждали меня, вы сказали?

Фру Карено. Да. Мне надо было с кем-то поговорить.

Бондесен. Из-за вас я отказываюсь от загородной прогулки. Я не еду.

Фру Карено. Отчего же?

Бондесен. Нет, она меня больше не манит. Скучно. Раз вы не едете.

Фру Карено. Нет, не надо, не говорите так, хорошо? Вы должны помнить, что...

Бондесен *(очень волнуется)*. Я ничего не помню. Мне ничего не нужно. Увижу ли я вас сегодня вечером? Выходите, пойдите в город...

Фру Карено *(невольно)*. Только не в городе.

Бондесен. Где хотите. Здесь? В саду? *(Обнимает ее и целует.)*

Фру Карено. Нет! Нет! Пустите! *(Сама страстно обнимает его, но тотчас отдергивает руки, отстраняется; задыхаясь.)* Что вы делаете? Да вы совсем... Вы забылись...

Бондесен (*умоляюще*). Выслушайте меня...

Фру Карено. Тсс! (*Прислушивается, тяжело дышит.*) Он встал. Ступайте. Ах нет, останьтесь. Нет, не уходите...

Бондесен (*берет ее за талию*). В восемь, на углу?

Фру Карено (*выталивает*). Да.

В этот момент отворяется дверь спальни и на пороге появляется Карено. Отступает на шаг. Бондесен выпускает фру Карено.

Карено. Ах! (*Медленно входит.*)

Бондесен. Я, собственно... я принес журналы, которые вы так любезно дали мне почитать. Премного благодарен. (*Отходит к столу, берет журналы, руки у него дрожат.*) Чрезвычайно любопытные материи. (*Протягивает журналы Карено.*)

Карено. Благодарю. (*Кладет журналы на стол, медленно идет к двери веранды, смотрит; задумчиво.*) Прекрасная погода, я вижу.

Бондесен. Восхитительная погода. Ни ветерка. Солнце. Тепло.

Карено (*оборачивается*). Ты накормишь меня завтраком, Элина?

Фру Карено. Да-да, сию минутку. (*Идет к кухонной двери.*)

Бондесен (*берет свою шляпу*). Вот. Премного благодарен за журналы, господин Карено. (*Кланяется.*) До свиданья.

Карено. До свиданья.

Фру Карено (*проводжает Бондесена к двери в глубине*). Я открою. До свиданья, до свиданья. (*Выпускает Бондесена, опять идет к кухонной двери. Отводя глаза от Карено.*) Ты почему не поспал? Ты ведь не выспался?

Карено. Послушай, Элина. Я, войдя, застал тебя в удивительной позе. Нет?

Фру Карено. Что за поза? О чем ты?

Карено. Возможно, мне померещилось. Меня будто ударили.

Фру Карено. О чем ты, не понимаю.

Карено. Но, Господи Иисусе, ведь он обнимал тебя, этот человек?

Фру Карено. Нет. Не то чтобы обнимал.

Карено. Ну, уж не знаю, как такое называется. Но ты не должна была позволять этому... этому господину подобной наглости.

Ф р у К а р е н о. Я не знаю, о ком ты говоришь. Но господин Бондесен вовсе не был нагл. Он не был нагл со мной.

К а р е н о (*пристально смотрит на нее*). Вот как? Ну что же... А что ему, собственно, здесь понадобилось?

Ф р у К а р е н о. Он журналы принес, которые взял у тебя вчера.

К а р е н о. Ну а что еще? Ведь вытащить из кармана журналы минутное дело.

Она отворяет кухонную дверь, заглядывает в кухню.

Ты не слышишь меня? Что ему еще было нужно? О чем вы говорили?

Ф р у К а р е н о. Ух, нет, я вовсе не обязана тебе отчитываться!

К а р е н о. Отчего же. Это не лишнее, я полагаю.

Ф р у К а р е н о (*смеется*). Ах, меня все меньше занимает, что ты полагаешь.

К а р е н о. Что ты такое говоришь?

Ф р у К а р е н о. А ничего. Ради Бога, оставим торжественные объяснения. Бутерброды готовы. Нести их тебе?

К а р е н о (*резко*). Нет, спасибо, я же сказал.

Карено взволнованно ходит взад-вперед по комнате, останавливается, уставясь в пол, качает головой и снова ходит. Бросается на стул.

Хлопает калитка. Стук в дверь. Карено встает.

Й е р в е н (*минуту мешкает в дверях. Говорит с притворной беспечностью*). Ну, здравствуй.

К а р е н о. Здравствуй.

Й е р в е н. Вот, решил заглянуть. (*Протягивает руку.*)

Карено пожимает ее, отведя взгляд.

У тебя сегодня что-то усталый вид.

Карено не отвечает; Йервен робко шутит.

Ты говоришь, что я устал? (*Грустно улыбается, садится.*)

К а р е н о. Я сегодня не слишком рад тебя видеть, Йервен.

Й е р в е н. О, я понимаю. Ты утром прислал мне письмо.

К а р е н о. Да, спасибо за предложение, но деньги твои я принять не могу.

Й е р в е н (*помолчав, согнувшись*). Это моя книга встала между нами, как я понимаю.

К а р е н о. Да, твоя книга.

Й е р в е н. Напиши я ее иначе, мне бы не сделаться доктором.

К а р е н о. А тебе так необходимо было стать доктором?

Й е р в е н. Но я бы не получил стипендии.

К а р е н о. Не верю. Кто сказал?

Й е р в е н. Профессор Юллинг.

К а р е н о (*помолчал*). А-а, тогда дело другое. Раз уж он так сказал.

Й е р в е н. С того дня, как профессор Юллинг пришел ко мне со своим добрым советом, я понял, что от меня требуется. Кто платит, тот и заказывает музыку.

К а р е н о. И стипендия была тебе необходима? Позарез? Ты бы без нее не прожил?

Й е р в е н. Прожил бы. Но я не мог бы жениться.

К а р е н о. Как ты, однако, все продумал, Йервен! Да знаешь ли ты, что это тебя выставляет в несколько странном свете?

Й е р в е н (*пылко, сжисмая руки*). Но сам я такой же, как был! Меня принудили принять учение, которое противоречит моим взглядам. Но в глубине души я остался тот же. Тут уж меня не собьешь, нет, никогда не собьешь.

К а р е н о. Ха-ха. Видали? Нет-нет, не уступай ни на йоту в глубине души, никогда не уступай. Ха-ха. (*Перебирает бумаги у себя на столе.*)

Й е р в е н (*встает; настойчиво*). Я пришел просить тебя, Карено. Прими деньги. Пожалуйста. Убедительно прошу.

К а р е н о (*медленно*). Но, милый мой, где у тебя совесть!

Й е р в е н. Наталия была у меня сегодня, мы говорили о тебе. Я при ней распечатал письмо, и она увидела деньги.

К а р е н о. И что?

Й е р в е н. Она захотела прочесть письмо. Мне пришлось его показать.

К а р е н о. И что же?

Й е р в е н (*взволнованно*). Собственно, ничего. Она отдала мне кольцо.

К а р е н о. Кольцо?

Й е р в е н. Она расторгла помолвку. (*Вынимает из кармана кольцо и разглядывает.*)

К а р е н о. А, видишь, Йервен! Ты во всех отношениях вознагражден!

Й е р в е н. Но ты еще можешь меня спасти. Я спросил: ты отдаешь мне кольцо, это навсегда? Да, ответила она. Но это можно исправить, сказал я, еще не поздно, я пойду к Карено, я все ему объясню. Да, пойдя к Карено, сказала она.

К а р е н о. Тебе нечего у меня делать. (*Сует под мышку пачку бумаг.*)

Й е р в е н. Ты идешь работать в сад?

К а р е н о. Да. Когда ты уйдешь. А почему ты спрашиваешь?

Йервен не отвечает.

Хочется побыть одному.

Й е р в е н (*умоляюще*). Карено, пока ты не ушел...

К а р е н о (*топнув ногой*). Йервен!

Йервен идет к двери.

И еще одно: пойди отдай свои деньги попам. (*Возвращается к столу.*)

Йервен уходит, стучит калитка. Входит ф р у К а р е н о.

Йервен приходил.

Она не отвечает.

Я говорю, приходил Йервен.

Ф р у К а р е н о. Да, я слышала, что ты сказал.

К а р е н о. Но я не слышал твоего ответа. Тебе это, может быть, не интересно?

Ф р у К а р е н о. Представь, не очень.

К а р е н о. Ты стала такая странная после этого утреннего визита.

Ф р у К а р е н о. Но, милый Ивар, что мне до того, были тут Йервен? (*Садится за вышиванье.*)

К а р е н о. У Йервена плохи дела. Невеста с ним порвала. Поняла, что он продался.

Ф р у К а р е н о (*пожав плечами*). Порвала?

К а р е н о. Я ее понимаю. Гордый поступок. Тебе, верно, так не кажется?

Ф р у К а р е н о. Я плохо в этом разбираюсь.

К а р е н о (*раздраженно*). Да, ты, пожалуй, права. Это все далеко от тебя. Уж ты бы такого не сделала.

Ф р у К а р е н о. Да, я, наверное, терпеливей. Я потерпела бы. Несколько лет.

К а р е н о. Твоя гордость может многое вынести.

Ф р у К а р е н о. А вот сейчас, пожалуй, прав ты. Я слишком многое позволяю — тебе, например.

К а р е н о. Прошу прощенья, ты и другим многое позволяешь. Бондесену, например.

Фру Карено (*пожимает плечами*). Что? Снова начнем?

Карено (*ходит по комнате*). Он прелестно одет, ты сказала? Прелестно одет.

Она молчит.

В чем это выражается? У него вышитые носовые платки?

Фру Карено. Наверно, он может себе и такое позволить.

Карено. О да. И ему это к лицу.

Фру Карено. Разумеется. Почему бы нет.

Карено. Ну, и до чего же вы договорились?

Фру Карено. Не знай я всей правды, я, ей-богу, решила бы, что ты ревнуешь.

Карено (*останавливается*). Ревную? Знаешь ли, Элина!

Фру Карено. Ну а тогда сейчас же перестань.

Карено. Ревную? Ха-ха! (*Ходит.*) Но после того, что я видел своими глазами, я могу ожидать и большего. Я же видел (*показывает*), я вышел из этой двери. И ты ему позволяла. Остается спросить — что дальше? Свиданье?

Фру Карено (*минуту подумав, вдруг выталивает*). Да. Свиданье. (*Бросает работу на пол, встает.*) Свиданье.

Карено (*стоит и смотрит на нее. С удивлением и упреком*). Элина!

Фру Карено. Да! Да! Свиданье. Что еще хотел бы ты знать?

Карено (*холодно*). Нет, ничего. Только мне лучше быть подальше, чтобы снова вдруг не войти невпопад. (*Ходит.*)

Она поднимает с пола работу.

Это, наконец, даже весело. Тебе не кажется?

Фру Карено. Еще бы. Радостный день рожденья, семейное торжество.

Карено. Такого за все три года еще не бывало. Очевидно, я не знал тебя толком. (*Останавливается возле этажерки.*)

Фру Карено (*снова берет работу, встает*). Нет, это, наконец, несносно.

Карено. Сиди, сиди, Элина, это мне надо идти. Я пойду работать.

Она садится.

И комната снова будет к твоим услугам... И делай тогда что хочешь. Но, я вижу, подсвечников нет на месте. Куда они подевались?

Фру Карено *(неуверенно)*. Подсвечники?

Карено. Я спрашиваю, куда они подевались?

Фру Карено. Я велела Ингеборг их почистить.

Карено. Да, странные дела творятся в этом доме. И не могу же я от всего устраниваться. Значит, ты велела Ингеборг почистить подсвечники?

Фру Карено. Да.

Карено *(собирает со стола бумаги)*. Если принесут почту, кликни меня из сада. *(Выходит в дверь веранды.)*

Фру Карено сидит в унынии, потом резко встает и ходит взад-вперед.

Во всех движениях и в лице у нее заметно страданье.

Стучит калитка. Из двери кухни входит Ингеборг. У нее в руках сверток.

Фру Карено. Ну?

Ингеборг *(разворачивает сверток)*. Нет, не берут. Я в двух местах побывала. *(Ставит подсвечники на этажерку.)*

Фру Карено. Как? Они не настоящие?

Ингеборг. Нет, сказали: это серебро накладное.

Фру Карено. Вздор какой. Нам эти подсвечники подарили родители.

Ингеборг. Но так в двух местах сказали. Я и подумала: зачем еще-то ходить.

Фру Карено. Вздор какой. Неужели папа с мамой, честные люди, станут нам дарить фальшивые вещи.

Ингеборг. Вот и я то же думаю.

Фру Карено. Хорошо, спасибо, больше ничего не нужно. Ты уж про это ничего не рассказывай, поняла? Не говори, куда ходила.

Ингеборг. Ладно. *(Выходит.)*

Фру Карено *(разглядывает подсвечники, стучит по ним, прислушивается)*. Пустые. *(Ставит их на место, открывает дверь веранды, кричит.)* Ивар! Поди сюда на минутку.

Карено *(входит немного погодя)*. Письмо?

Фру Карено. Я хотела тебе показать подсвечники.

Карено. А-а. Письма нет?

Фру Карено. Я хотела тебе показать подсвечники, я говорю. Вот они стоят. Тебе лучше знать, какие странные вещи творятся по моей вине в этом доме.

К а р е н о (*с раскаянием*). Нет, Элина, милая, не надо так говорить.

Ф р у К а р е н о. Но что́, ты думал, я сделала с подсвечниками?

К а р е н о. Ничего, я просто вспыллил.

Ф р у К а р е н о. Нет, я хочу знать.

К а р е н о. Я об этом особенно не задумывался. Я только подумал, — если дойдет до того, что явится фогт, все у нас должно быть на месте. Просто мне пришло в голову. Ты уж прости меня, Элина.

Ф р у К а р е н о. Я должна подробно отчитываться в каждой мелочи. Я уверена, например, что, сто́ит мне сегодня вечером выйти на улицу, поднимется Бог знает что.

К а р е н о. А ты выйдешь сегодня на улицу?

Ф р у К а р е н о. Чего доброго, ты еще пойдешь за мною и станешь подглядывать.

К а р е н о. Что ты такое говоришь! Вот видишь, теперь ты сама не права. Иди на улицу, иди куда хочешь, я спокойно останусь дома. Неужели же я такой идиот? (*Обнимает ее.*)

Ф р у К а р е н о (*высвобождаясь*). Ах нет, не надо.

К а р е н о. Не будем больше ссориться, Элина. Я как раз сидел в саду и об этом думал. Не надо так.

Ф р у К а р е н о. Не надо. Я тоже думаю.

К а р е н о. Значит, он не был дерзок с тобой сегодня? Этот Бондесен? Ты только скажи.

Ф р у К а р е н о. Нет, не был, ничуть.

К а р е н о. А то я боялся. Мне показалось, он слишком близко к тебе подошел.

Она берет работу, садится.

Мы сегодня друг друга помучили. (*Смеется.*) Нехорошо с нашей стороны. Но сейчас мы опять помирились. Правда? Стали даже ближе другу другу, чем раньше.

Ф р у К а р е н о. Не знаешь, который час?

К а р е н о. Я пойду на кухню и посмотрю. (*Хочет идти.*)

Ф р у К а р е н о. Нет, спасибо, не надо.

К а р е н о. Сегодня я должен получить ответ от издателя. Я с минуты на минуту жду письма. И, я надеюсь, ответ будет положительный. И сегодня все наши заботы останутся позади, Элина. Ну, что ты на это скажешь?

Ф р у К а р е н о. Кто живет там, на углу, ты не знаешь?

К а р е н о. На углу? Нет.

Ф р у К а р е н о. Там всегда такие яркие окна.

К а р е н о (*улыбается*). Странные мысли приходят к тебе в голову! Но спрашивай меня еще, Элина. Я не знаю, который час, не знаю, кто живет на углу, но ты все равно меня спрашивай. Чтобы я знал, что мы помирились.

Она осматривает и начинает чинить черную вуаль. Он — заискивающе.

Я смотрю, ты прихорашиваешься. Что это означает, а?

Она не отвечает.

Ты не очень со мною ласкова, как я погляжу. Но я молчу, молчу. Ведь ты меня еще любишь, правда? (*Подходит, разглядывает ее.*) У тебя такие светлые волосы на затылке. (*Осторожно притрагивается к ее волосам.*)

Она вздрагивает и отстраняется, он улыбается.

Миленькая, я же только хотел... Ты стала такая нервная. И задумчивая. О чем ты думаешь? (*Присаживается рядом с нею.*) О чем, моя крестьяночка? (*Обнимает ее.*)

Ф р у К а р е н о. Ах нет, не терзай меня. (*Отстраняется.*)

К а р е н о. Ты все не можешь забыть нашу ссору, Элина? Я уже все забыл. Какое мне дело до того, что говорил тебе этот Бондесен! Расфуфыренный хлыщ.

Ф р у К а р е н о. Не понимаю, что за удовольствие без конца поносить Бондесена.

К а р е н о (*озадаченно*). Не понимаешь? Ах да, он прекрасен в своем роде.

Ф р у К а р е н о. Да. И вообще.

К а р е н о. Не о нем ли ты так сосредоточенно думаешь?

Она не отвечает.

Ты меня больше не любишь, Элина?

Она не отвечает. Он — все больше волнуясь.

Прошу тебя, только ответь.

Ф р у К а р е н о (*кладет вуаль и встает*). Господи, от этого можно сойти с ума. Ты меня истерзал своими расспросами. (*Уходит в кухонную дверь.*)

К а р е н о (*глядя ей вслед, в страхе*). Она меня больше не любит!

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Кабинет Карено на другой день. Вечерет. Солнечное освещение. Фру Карено трудится над красным платьем. Карено входит в дверь веранды.

Карено. А письмо так и не пришло?

Фру Карено. Нет, я никакого письма не видела. *(Уклончиво.)* Ты уверен, что сегодня получишь письмо?

Карено. Да, оно сегодня должно прийти... Я не хочу терзать тебя, Элина, но вчера ты так долго не возвращалась, и на меня напала такая тоска. Я просто хотел тебе сказать.

Фру Карено *(встает)*. Пойду принесу твою лампу, пока не забыла. *(Уходит в кухню.)*

Карено ходит по комнате. Входит Ингеборг с лампой.

Карено. А-а, это ты лампу принесла?

Ингеборг. Да, мне хозяйка велела.

Карено. Да-да. Спасибо. А хозяйка на кухне?

Ингеборг. Да.

Карено. Послушай, Ингеборг, как ты думаешь, сколько могут стоять вышитые носовые платки?

Ингеборг. Не знаю.

Карено. Два или три платка, например? Ты не почиштишь мне хорошенько мой черный костюм, ну, ты знаешь? Я хочу его надеть.

Ингеборг. Да. Вам сейчас?

Карено. Да, спасибо. Сейчас...

Ингеборг уходит в спальню, возвращается с черным костюмом и щеткой, уходит на веранду. Фру Карено входит с тряпкой и принимается вытирать пыль. Она спешит.

Карено. Ты ждешь гостей?

Фру Карено. Жду гостей? Нет.

Карено. Я стою и смотрю на тебя, Элина. Я, кажется, никогда не видал тебя такой молодой. Ты сегодня совсем как девочка.

Фру Карено. Какая всегда, такая и сегодня.

Карено. Нет, ты совсем по-иному сияешь, у тебя изменились глаза. Ты сегодня опять уходишь?

Фру Карено. Да.

Карено. Ты убегаешь из комнаты, когда видишь меня. Останься. Я и сам могу уйти.

Фру Карено. Но у меня дела на кухне. *(Уходит.)*

Ингеборг входит с одеждой и уносит ее в спальню.

Карено. Спасибо, Ингеборг. *(Идет в спальню и запирается на ключ.)*

Фру Карено *(заглядывает, указывает на дверь спальни)*. Там мой муж?

Ингеборг. Там. *(Уходит.)*

Фру Карено облегченно вздыхает, садится и берется за работу. Вдверь в глубине сцены осторожно стучат. Входит Бондесен.

Фру Карено *(встает)*. Господи? Вы?

Бондесен. Добрый день, фру Карено. Спасибо за вчерашний вечер.

Фру Карено. Как вы пришли? Я не слыхала калитки.

Бондесен. Я изучил эту калитку. Она может отворяться беззвучно.

Фру Карено. Но, ради Бога, сейчас же уходите.

Бондесен. Сейчас же? Но почему?

Она указывает на дверь спальни.

Ах! *(Невольно отступает назад.)*

Фру Карено *(со сдерживаемой страстью)*. Нет, не уходите, не уходите. Или нет, идите, но возвращайтесь. Возвращайтесь попозже, я, может быть, буду одна. Погуляйте немного по улице. Но сегодня я не смогу выйти.

Бондесен. Нет, вы должны. Вы вчера обещали. Я с тех пор только об этом и думаю.

Фру Карено. Я тоже только об этом и думаю. *(Хватается за лоб.)* Все вы виноваты. *(Поднимает на него взгляд и улыбается.)*

Бондесен. Разве вчера вас слишком долго не было дома?

Фру Карено. Нет, я не про это, я ему ничего не сказала. Я не вдаюсь в подробности. Я потом попрошу у него прощения. Но сейчас я про него и не думаю...

Бондесен обнимает ее, она легонько высвобождается.

Нет-нет. Не надо. Я и так кругом виновата. Вы не будете меня обижать?

Бондесен. Да-да, я обещаю.

Фру Карено. Ведь иначе я вас не хочу больше видеть. Я сегодня все равно выйду, мы будем ходить долго-

долго, мы уйдем далеко за город. Способны вы на такой подвиг — проводить меня до самого дома? Это три мили.

Бондесен. О, с радостью. Мы поедем.

Фру Каренно. Что ж, спасибо, поедем. Мне надо поехать домой и там побыть. Ивар совсем не против, он много раз говорил. Пора его послушаться. *(Озирается.)* Тут смерть! Ах! *(Прижимает руки к груди, откидывается назад.)*

Бондесен *(увлеченно)*. Большая, красивая девочка!

Фру Каренно. Может быть, я поступила некрасиво?

Бондесен. Нет, дивно!

Фру Каренно. Я чувствую — я живая.

Бондесен. Можно, я скажу одну вещь?

Фру Каренно. Нет. Сейчас — ступайте. Но я еще с вами поговорю, если вы немножко погоды вернетесь. Я тогда сразу же с вами уйду. Я ему все скажу, я скажу, что еду домой. Я, по-вашему, жуткая?

Бондесен. Вы?

Фру Каренно. Ну, после того, что я делаю?

Бондесен. Я вам поклоняюсь.

Фру Каренно. Нет-нет, не надо. Просто я проснулась. Проснулась — понимаете вы это? Я вчера вышла к вам, вы меня взяли за руку — и я воскресла.

Бондесен. Тсс! *(Напряженно вслушиваясь, показывает на дверь спальни.)*

Фру Каренно *(улыбается, запрокинув голову)*. Бойтесь? Нет! Вам нечего бояться. По-моему, сейчас вовсе не опасный момент. Но все равно — ступайте. И обо мне не думайте. Да? А знаете, Бондесен, ведь у вас зеленые глаза. Если б только я была уверена, что вы будете со мной милы.

Бондесен. Я же обещал.

Фру Каренно *(смотрит на него и улыбается)*. А губы у вас так дрожат, когда вы улыбаетесь... Но ступайте, ступайте же. *(Ведет его к двери.)*

Бондесен. Значит, через полчаса? Да? *(Хочет ее обнять.)*

Фру Каренно *(уклоняясь)*. Да, через полчаса. *(Выпроваживает его за дверь. В сильном волнении делает несколько шагов, хватается за голову, улыбается, тяжело дышит, садится, берется за шитье.)*

Каренно входит в черном костюме, обновленный, другой. Она смотрит на него.

Каренно *(извиняясь)*. Да, я только хотел... Сегодня такая чудесная погода. А я в последнее время, и правда, как-то

раскис, как ты сказала. (*Смущенно улыбается.*) А сейчас я снова как мальчишка. Все думаешь о чем-то? (*Улыбается.*) Если бы голова твоя была прозрачной и я мог увидеть, о чем ты думаешь, я обнаружил бы, конечно, много удивительно-го. (*Осторожно подходит к ней.*) Что это за наряд ты шьешь, Элина?

Она не отвечает.

Что-то красивое. Не для меня, как я понимаю.

Фру Карено (*устало*). Просто одно мое старое платье.

Карено. Я вот тут заметил, у меня не хватает двух пуговиц на жилете. Не на этом, на другом. Уж не знаю, как так получилось.

Фру Карено. Я пришью.

Карено. Да, большое тебе спасибо, ты очень добра... А тебе к лицу шить, Элина. Ты такая домашняя за шитьем. И какие руки!

Она нервно отодвигается.

Господь с тобою, я же тебя не трону. Даже не прикоснусь к тебе.

Стучит калитка.

Фру Карено (*вскакивает*). Письмо, наверное. (*Идет к двери в глубине, открывает.*) Нет, это Йервен. Добрый день, Йервен.

Йервен (*входит, видно, что он сдерживает волнение*). Добрый день. (*Протягивает руку Карено и фру Карено.*)

Фру Карено. Как дела?

Йервен. А-а, спасибо... Я хотел сказать с тобою несколько слов, Карено... Нет-нет, сударыня, не уходите. У меня нет никаких тайн.

Фру Карено (*дружелюбно*). А я все равно собралась уходить. Хозяйство, знаете ли. (*Идет на кухню.*)

Йервен. Я, собственно, все по тому же делу, Карено.

Карено (*напряженно смотрит на него*). Я не желаю больше с тобою разговаривать.

Йервен. Карено, я пришел сюда во имя Натали, чтобы подняться. Да, чтобы опять подняться. Чего ты требуешь?

Карено (*смотрит на него*). Ты сам не знаешь, что говоришь.

Йервен. Чего ты требуешь?

Карено (*холодно*). Ничего.

Й е р в е н (*в сильном возбуждении*). Господи Боже! Карено! Будь же сегодня милосерден. (*Бросается на стул.*)

Карено отходит в глубину сцены. Йервен встает.

Ты же не уйдешь? Нет? Потому что у меня к тебе еще одна просьба. Как продвигается твоя работа?

Карено смотрит на него с недоумением.

Она ведь в этом году выйдет? Толстая книга будет? Ну да, какое мне дело... Так что я хотел сказать... Ты подумал, верно, после нашего последнего разговора, будто я писал не то, что думал? Что я просто хотел угодить профессору Юллингу? Но до этого не дошло. Я был в отчаянии, я сам не помнил, что говорю.

К а р е н о. Ты сказал, что тебя вынудили признать учение, противное твоим взглядам.

Й е р в е н. Нет, но нельзя же понимать это в буквальном смысле. Да, правда, у меня были сомнения. Но потом, поглубже вдумавшись в предмет, я постепенно понял, что нашел правду.

К а р е н о. Ха-ха. Ты лучше записал бы это, Йервен. А то еще снова забудешь. Ха-ха.

Й е р в е н (*с решимостью отчаяния*). Едва ли кому-то из нас захочется это забыть. Ни тебе, ни мне это не нужно. Менять убеждения ничуть не позорно, и я не намереваюсь утаивать свой переход. Ты еще, верно, об этом услышишь.

К а р е н о. Но я уже слышал. Я слышал достаточно.

Й е р в е н. Услышишь еще. (*Идет к двери.*) Я протянул тебе руку, ты ее оттолкнул. Я пока здесь, я не ушел. Я жду твоего решения.

К а р е н о. Мне кажется, это угроза?

Й е р в е н. Ты примешь деньги?

К а р е н о. А теперь уходи. Ты мне надоел. И смотри — не возвращайся. Вон! (*Указывает на дверь.*)

Й е р в е н (*делает несколько шагов; стоит свесив голову; дрожащим голосом*). Хорошо, я уйду. И не вернусь. Но ты еще про меня услышишь. Куда ты ни пойдешь, Карено, я буду следовать за тобой по пятам. Попомни мое слово, я ведь не шучу. Пиши свои статьи, издавай свою большую книгу, я тебя выслежу и уничтожу, тихо, беззвучно. Думаешь, не удастся? Попомни мое слово: за мной стоят сильные люди, передо мной теперь открыты все двери. Посмотри на меня, Карено. Я все это тебе говорю, чтобы ты помнил.

Сегодня ты загубил мою жизнь, теперь очередь за мной. Суетись, хлопочи — я обещаю сдержу. Вот все, что я хотел тебе сказать. Прощай. *(Уходит.)*

Входит фру Карено и останавливается в дверях кухни.

Карено *(переводя взгляд с жены на дверь, за которой исчез Йервен)*. Можешь ты понять этого человека?

Фру Карено. Я слышала. Вы так громко говорили.

Карено. И что это с Йервеном? Я его просто не узнаю! Куда девалось все его достоинство. Господи. Стоять тут и мне угрожать! И это Карстен Йервен!.. Ах, о чем говорить... Сказал «прощай». Мол, больше не придет.

Фру Карено. Он просил у тебя помощи?

Карено. Да. Я не стану ему помогать... Ты мыла перчатки, да? От тебя бензином пахнет.

Фру Карено. Он сказал, что ты загубил его жизнь.

Карено. Да. Какая гадость. Я не хочу больше о нем думать... Ты запачкалась, Элина. погоди минутку. *(Смахивает что-то с ее плеча.)*

Фру Карено *(не препятствуя ему)*. И ты мог ему помочь — и не захотел?

Карено. Да. И не захотел... Тут волосок.

Фру Карено. Не важно. *(Идет к столу.)*

Карено *(идет за нею)*. Я просто волосок хочу снять.

Фру Карено. Да оставь ты этот волосок. *(Сама снимает его.)* Тебе сегодня не работается, Ивар? *(Садится и шьет.)*

Карено. Да, что-то застопорилось. Ничего, ночью навестаю... Но раз ты говоришь, я попробую, выйду в сад и попробую. *(Идет к веранде.)* Почему мне нельзя было снять этот волосок, Элина?

Фру Карено *(невольно улыбаясь)*. Ты все про это думаешь?

Карено *(тоже улыбаясь)*. Да. Я хотел посмотреть — может, это мой?

Фру Карено. Скорее всего.

Карено. Но он был светлей моих.

Фру Карено. Ну, тогда это мой.

Карено. Нет, он темнее твоих.

Она настораживается и нервно чистит свое плечо.

Он такой русый. *(Внимательно на нее смотрит.)* Вот как у Ингеборг.

Ф р у К а р е н о (*поспешно*). Ну, значит, это волос Ингеборг.

К а р е н о. Да, наверное.

Ф р у К а р е н о. Ох, мы с тобой как дети. Рассуждаем без конца о волоске Ингеборг.

К а р е н о (*искренне*). Милая Элина, я тебя люблю, мне хочется поговорить с тобой, о чем-нибудь поговорить. Но ты так переменилась за последние дни, и это меня наводит на разные мысли. Я не думал, что это волосок Ингеборг. Конечно, раз ты так говоришь, значит, это ее волосок. Но я-то думал другое.

Стучит калитка.

Ф р у К а р е н о. Зачем столько думать? Попробуй-ка лучше поработать в саду.

К а р е н о. Почему ты так говоришь?

Ф р у К а р е н о. Почему я так говорю?

К а р е н о. Ты кого-то ждешь?

Ф р у К а р е н о. Ты сам ведь слышишь калитку, когда кто-то приходит.

К а р е н о. Да, и мне показалось, она как раз стукнула.

Ф р у К а р е н о. Значит, подожди и посмотри, кто пришел.

К а р е н о (*с раскаянием*). Ах нет, Элина, я не буду ждать. Я не потому тут стою. Нет-нет, я сейчас пойду в сад и попытаюсь работать. (*Открывает дверь на веранду.*)

И н г е б о р г (*со свертком и письмом, отдает их Каренно*). Вот, пожалуйста. (*Уходит.*)

К а р е н о. Это мне. А-а, от издателя. (*Вскрывает письмо и читает под взглядом жены.*) Так. Нет-нет. (*Подносит руку ко лбу.*) Ответ от издателя. И рукопись. Он мне ее отсылает. (*Закусывает губу, трясет головой.*)

Ф р у К а р е н о. Что же он тебе пишет?

К а р е н о. Он отвечает мне «нет». Отказывает. И вот она — моя книга. Рукопись прилагается — так тут написано. Он не может ее издать — так тут написано. Профессор Юллинг прочел ее и сказал, что она нуждается в основательной переработке. (*Передает ей письмо и начинает ходить взад-вперед по комнате.*)

Ф р у К а р е н о (*прочитав письмо*). Ну вот, видишь!

К а р е н о (*берет письмо*). Рукопись прилагается — тут написано. Будто я намарал пьеску или тетрадку стихов. (*Бросает письмо на стол и ходит по комнате.*) Ладно, в Германии попытаю счастья.

Ф р у К а р е н о. А переработать никак нельзя?
К а р е н о. Нет. Я уж сам отвечаю за свою работу.

Жена встает и внимательно осматривает свое красное платье.

Готово?

Ф р у К а р е н о. Да, теперь только погладить.

К а р е н о (*порывисто*). Боже милостивый! Как я одинок! Но я справлюсь, Элина. Бывали люди и в более трудном положении. Переработать! Что стану я перерабатывать? Скажу «белое» вместо «черного»? (*Раскрывает рукопись, достаёт тетрадь за тетрадью.*) Смотри, вот тут о благе большинства, а я его отвергаю. Это учение для англичан, так я говорю, евангелие, придуманное на базарах, проповедуемое в лондонских доках, возведенное в закон посредственностями. Вот тут у меня о сопротивлении, тут о ненависти, тут о мести — этические понятия, пришедшие в упадок. Обо всем об этом я написал. Нет, ты послушай, пожалуйста, Элина, ты должна меня выслушать, и ты сама поймешь. Вот тут о вечном мире. Все просто в восторге от этого вечного мира. А я считаю, что это учение только для болванов, которые сами его выдумали. Да. Я смеюсь над их вечным миром. Где, где, скажи, у них гордость? Пусть будет война, зачем сохранять эти неисчислимы жизни. Источник жизни неиссякаем, бездонен. Нет, надо в каждом сохранить гордого человека. Слушай. Здесь самое главное. Здесь о либерализме. Я не щажу их либерализма, я разделяваю его под орех. И меня не хотят понять. Англичане и профессор Юллинг — либералы, а вот я — не либерал, это единственное, что они понимают. Я не верю в либерализм, я не верю в выборы, я не верю в представителей народа. И все это я тут написал. (*Читает.*) «Либерализм снова — вытаскивший на свет обветшалый обман, будто толпа коротышек выберет себе высокого вождя»... Нет, ты сама поймешь, Элина, так у меня и дальше, все время в том же духе. Если я стану это перерабатывать, выйдет ведь прямо противоположная мысль. О, послушай! Вот заключение. Тут я воздвигаю новое здание на руинах, гордый замок, Элина. Я верю в прирожденного господина, естественного тирана, повелителя, которого не выбирают, но сам он, своею волей, делается предводителем земных орд. Я верю, я жду лишь одного-второго пришествия великого террориста, человека с большой буквы, Цезаря... Ты только посмотри, как я много в это вложил труда. (*Пылко.*) Это написано кровью сердца, Элина, все это написано кровью сердца.

Ф р у К а р е н о. Но я ничего в этом не понимаю.

К а р е н о. Философия — это тихий труд исследователя, вот что они говорят. Нет, мои миленькие, философия не тихий труд, — и это вам говорю я. Нет, философия — это молния, ударяющая с высоты и озаряющая меня. Не складывать, не вычитать, нет, но видеть, прозревать Божьей милостью. Вот что такое философия.

Ф р у К а р е н о. Я вот думала, может, мне лучше поехать к своим и побыть у них немного. Ты ведь и сам мне советовал.

К а р е н о (*останавливается*). Ты... ты хочешь?

Ф р у К а р е н о. Да. По-моему, так будет лучше. И ты сам мне советовал.

К а р е н о. Нет-нет, только не это. Только не сейчас!

Ф р у К а р е н о. Но я хочу сейчас.

К а р е н о. Когда это ты надумала? О, час от часу не легче!

Ф р у К а р е н о. Но все идет так, как ты добивался.

К а р е н о. Но как же я буду? Один в доме. Просто не постигаю.

Ф р у К а р е н о. Ингеборг прекрасно будет готовить.

К а р е н о. Но Ингеборг ведь тоже уйдет?

Ф р у К а р е н о. Нет, я уже сказала ей, чтоб она осталась.

К а р е н о. Ты ей сказала?

Ф р у К а р е н о. Да, пускай остается. Она приглядит за хозяйством.

К а р е н о. Что-то я ничего не пойму.

Ф р у К а р е н о. Все очень понятно. Денег у нас нет, расчесть ее мы не можем, значит, мы вынуждены ее оставить.

К а р е н о. А-а. Да-да, пусть она остается. Покуда я не смогу с нею расплатиться... О, час от часу не легче. Никогда еще я так не хотел, чтобы ты никуда не ехала.

Ф р у К а р е н о. А я? Как я долго боролась с тобой, когда ты предлагал мне уехать.

К а р е н о. Так вот отчего ты в последнее время все прихорашивалась! Чинила платья, чистила перчатки.

Ф р у К а р е н о. Да, именно. Оттого.

К а р е н о (*беспокойно ходит по комнате*). Нам покамест не очень улыбалось счастье, но я бы все преодолел, я остался бы тверд. Но это! (*Подходит к ней.*) Нет, не уезжай, Элина! Не сейчас!

Ф р у К а р е н о. Господи, Ивар, как часто я вот так же точно умоляла тебя!

К а р е н о. Я не буду докучать тебе, Элина, я буду сидеть в саду, я даже не подойду к тебе, Элина. Только останься.

И н г е б о р г (входит). Утюг нагрелся, хозяйка. (Уходит.)

Ф р у К а р е н о. Иду! (Идет к кухонной двери.)

К а р е н о. Ты твердо решила, Элина?

Ф р у К а р е н о. Да. (Уходит.)

Карено ходит взад-вперед по комнате. Он в страшном волнении, что-то бормочет, шевелит губами. Вдруг останавливается, идет в спальню, возвращается с чулком сокола, влезает на стул и вешает сокола над задней дверью. Ф р у К а р е н о входит с утюгом.

К а р е н о (сходит со стула). Я подумал... Как по-твоему, Элина?.. Пусть он будет тут. Красиво. Вот уж не думал, что это получится так красиво. Но вот, оказалось... Ты только посмотри.

Она гладит красное платье.

Он такой веселый, правда? (Принужденно смеется.) Посмотри, Элина. Кто бы мог подумать, что ты так высоко воспаришь, а, братишка? Смотри, Элина.

Ф р у К а р е н о. Меня он больше не занимает.

К а р е н о (отступает, разглядывает сокола). Смотрю я на него, и он все больше и больше мне нравится. Нет, правда! Прекрасная работа.

Ф р у К а р е н о. Не скажешь, скоро ли будет полчаса с тех пор, как ты уходил переодеваться?

К а р е н о. С каких пор? И почему ты спрашиваешь?

Ф р у К а р е н о. Потому что мне хотелось бы знать.

К а р е н о. Нет, полчаса еще не прошло. У тебя что-то на огне?

Ф р у К а р е н о. На огне?

К а р е н о. Я подумал, ты боишься что-то переварить.

Ф р у К а р е н о. А-а, да, у меня что-то на огне.

К а р е н о. Знаешь, если бы только это было возможно, Элина, я немного переработал бы мою книгу. Переделал бы кое-что кое-где. Нет-нет, ты не думай...

Ф р у К а р е н о. Да-да. Но ведь это невозможно...

К а р е н о. Я вот стою и думаю.

Ф р у К а р е н о. Ты уж столько раз стоял и думал.

К а р е н о. Ты заметила? Я ведь не спрашиваю, когда ты едешь. Я не хочу знать. Ты мне не говори. Ты избавь меня от этого, Элина.

Фру Карен о. Милый Ивар, я тебя не узнаю.

Карен о. Со всем остальным я бы сладил. Не так уж это и трудно.

Она делает нетерпеливый жест.

Да, я уйду... Ты полюбила другого, Элина?

Она молчит.

Нет-нет! Ты ведь не полюбила никого другого, да? Я же люблю тебя, вот сейчас я тебя поцелую. *(Делает к ней шаг.)*

Фру Карен о *(поднимает утюг)*. Только попробуй!

Смотрят друг на друга.

Карен о. Ну, ударь, ударь! Чего же ты ждешь?

Фру Карен о. Я жду тебя.

Карен о. Прости меня, Элина. *(Отступает.)*

Она опускает утюг.

Прости меня, Элина. *(Выходит на веранду.)*

Фру Карен о *(падает, обессиленная, на стул; мгновение спустя встает и кричит)*. Ингеборг!

Ингеборг откликается с кухни, входит.

Будь добра, возьми утюг... Послушай, Ингеборг, я ненадолго уеду домой. А ты уж постарайся получше хозяйничать, пока меня не будет.

Ингеборг. Домой собрались, хозяйка?

Фру Карен о. Да. На несколько дней... Когда пыль будешь вытирать, не забудь про картину в спальне. На которой Христос.

Ингеборг. Ага. Вы когда едете, хозяйка?

Фру Карен о. Сегодня. Сейчас. Только пойду оденусь. *(Берет красное платье и уходит в спальню.)* Да, что еще? Не знаю. Покупки все делай в ближней лавочке. Расходы записывай.

Она в спальне, Ингеборг в дверях кухни.

Карен о *(входит, нервный, несчастный; беспокойно озирается; отворяет дверь на кухню)*. Тут хозяйка? *(Получив ответ.)* В спальне? *(Осторожно стучит в дверь спальни;*

слышит запрет.) Нет, я же и не собирался входить. Я просто решил — я пойду к издателю. *(Ищет шляпу.)*

Дверь приоткрывается. Голос фру Карено: «Я ничего не слышу!»

Я сказал — я пойду к издателю. Кое-что в моей книге можно переделать. Я все обдумал. *(Резко.)* Я переработаю книгу, я говорю.

Голос фру Карено: «Да, переработай». Дверь затворяется.

(Опять стучится.) Так ты довольна мною? Что ты там делаешь? *(Прислушивается.)* Ну, я уйду. *(Хватает свою рукопись и бросается к двери в глубине сцены.)*

Вскоре слышится громкий стук калитки. Тихо входит Бондесен, озирается, стучит в дверь. Фру Карено показывается из спальни в красном еще не застегнутом платье и, вскрикнув, скрывается.

Голос фру Карено: «Минуточку!»

Бондесен. Вы были как виденье...

Голос фру Карено: «Я сейчас. Я сейчас».

...Только в красном платье. *(Садится.)*

Она выходит, останавливается в дверях, радостно смотрит на него. Он вскакивает.

Ах! *(Идет к ней. Восторженно.)* Боже ты мой!

Фру Карено *(улыбаясь)*. Я в красном платье. Вам нравится? *(Протягивает ему руку.)* Садитесь же, садитесь. Мы правда едем, да? Как я вам благодарна!

Бондесен. Карета ждет.

Фру Карено. Можете смело ступать на всю ногу. Ничего. И говорить во весь голос.

Оба садятся.

Бондесен. Куда отправился ваш муж? Я его видел, я чуть на него не налетел.

Фру Карено. Сколько я пережила за эти полчаса! О, какая мука! Я все расскажу вам в карете. Ох, но теперь уж я свободна!

Бондесен *(заметив сокола)*. О! Птичка попала на свое место!

Фру Карено. Да. Про это я тоже расскажу вам в карете. Теперь все попадает на свои места, да слишком по-

здно. Я уезжаю, я сказала ему, теперь он знает... Я все боялась, как бы вы не пришли раньше времени. Или что вы вдруг вовсе не придете.

Бондесен (*с восхищением*). Совсем девочка!.. Но одевайтесь же!

Фру Карено. Вам не терпится?

Бондесен. Вы ждете ответа? (*Берет ее за руку.*)

Фру Карено. Как я рада, что вам не терпится!

Бондесен. Почему?

Фру Карено. Потому что я, значит, в этом не одинока. Я не могу с собою совладать. Он говорит, я по-новому сияю, у меня изменился взгляд. А вы как считаете?

Бондесен. Да, вы вся сияете.

Фру Карено. Правда?.. О, вот и хорошо! Бог весть, доведется ль мне еще когда сиять. Я простая девушка, а вы...

Бондесен. А я?..

Фру Карено (*улыбаясь*). «Весна бушует на земле», — знаете? Я люблю вас каждой своею клеточкой. Взгляните на меня.

Бондесен хочет ее обнять.

Нет-нет, не надо. Сядьте... Недавно здесь был Йервен, он был такой несчастный, он громко просил о помощи. Но Ивар не захотел ему помочь.

Бондесен. Йервен снова был?

Фру Карено. Да. Но главное не это. Ивар был неумолим. Вот и я сейчас неумолима... У кареты откидной верх?

Бондесен. Да.

Фру Карено. Лучше б его не было.

Бондесен. Собирайтесь, моя радость.

Фру Карено. Вы сказали — моя радость. (*Запрокидывает ему голову, смотрит ему в лицо.*) Ну вот, я стою совсем рядом. (*Вдруг.*) Ах! (*Обнимает его, пылко целует, отбегает.*)

Он вскакивает.

Нет-нет, сидите. Мне еще надо кое-что уладить. (*Уходит в спальню, возвращается с жилетом Карено, пряча его под мышкой; останавливается в дверях.*) Вы бы вышли на веранду, а? Чуть-чуть оглядеться. И вовсе не обязательно ходить на цыпочках.

Бондесен. Вам нужно побыть одной?

Фру Карено. Да.

Бондесен. Я, конечно, уйду, но... *(Уходит.)*

Она начинает поспешно пришивать пуговицу к жилету. Бондесен возвращается.

Фру Карено *(прячет жилет)*. Нет, я еще не готова.

Бондесен. Но можно, я все-таки войду? Я без вас уже не могу.

Фру Карено. Просто мне надо пришить две пуговицы на этот жилет, вот и все. Мне не хотелось причинять вам боль. Это жилет Ивара.

Бондесен. В эту минуту — вспомнить о такой вещи!

Фру Карено. Я ему обещала. Я не хочу, чтоб он из-за меня страдал. Мне теперь так хорошо! Но думаю я только о вас.

Бондесен. Ой ли?

Фру Карено. Не верите?

Бондесен *(сдерживая волнение)*. Вы меня с ума сведете!

Фру Карено. А вы — меня! Сядьте. Вы мне мешаете шить. Я когда-то читала что-то, так, пустяк, но там была одна фраза, я ее запомнила. «Вы окатываете меня, как прибор».

Он обнимает ее.

Нет! *(Улыбается, показывает ему на стул.)*

Он садится.

Ну вот и все, почти все... Есть у кучера кнут?

Бондесен. У нашего кучера? Да, конечно.

Фру Карено. Нет, не надо. Нельзя ему стегать лошадей. Я отберу у него кнут. Никто не должен из-за меня страдать, когда мне так хорошо.

Бондесен. Ладно. Сами держите кнут.

Фру Карено. Ну вот! Теперь — все! Я только скажу Ингеборг. *(Уносит жилет в спальню, достает свою мантилью, открывает дверь на кухню.)* Ингеборг! Я еду. Смотри за хозяйством.

Ингеборг *(в дверях)*. Ладно. Счастливо вам.

Фру Карено. Спасибо. *(Кивает.)* Мужу моему кланяйся.

Ингеборг. Вам с чем помочь, хозяйка?

Фру Карено. Нет, благодарствуй, господин Бондесен мне поможет. *(Улыбается, кланяется, прикрывает дверь.)*

Стучит калитка.

Бондесен (*вскакивает*). Он! (*Поспешно помогает фру Карено одеться.*)

Фру Карено. Нет, это другой кто-нибудь. Нет, не мог он вдруг взять и вернуться.

Бондесен. Нет, это он. Пойдем туда. (*Показывает на веранду.*)

Фру Карено. Но тогда я могу с ним проститься.

Бондесен. Вы шутите?

Фру Карено. Как вы испугались. (*Улыбается, сияя, запрокидывает голову.*) Погодите минутку, опасность пока ничтожна. Нет, я очень медленно пойду по саду.

Бондесен. Тогда я пойду вперед. (*Хочет идти.*)

Фру Карено. Нет-нет, я иду. Но я очень громко стукну калиткой, чтобы он услышал.

Бондесен (*в напряжении*). Вот! Шаги! Вы идете?

Фру Карено (*ликуя*). Да! Да!

Оба уходят на веранду.

Карено (*медленно входит в дверь в глубине сцены, неуверенно подходит к спальне, стучится*). Элина! Я вернулся. (*Прислушивается.*) Я опять передумал. (*Прислушивается; громче.*) Элина! Я не могу. Говори что хочешь. (*Вслушивается, колотит в дверь кулаками; в бешенстве.*) Я не буду перерабатывать, ты слышишь, я не могу. (*Опять стучит.*) Отчего ты не отвечаешь? Ты где? (*Открывает дверь, заглядывает в спальню.*)

Входит удивленная Ингеборг.

Хозяйка на кухне?

Ингеборг. Нет, уехала.

Карено. Уехала?

Ингеборг. Да, домой уехала.

Карено. Уехала? Уже?

Ингеборг. Только сейчас вот, я слыхала, садом они пошли.

Карено. Кто это — они?

Ингеборг. Хозяйка и господин, хозяйка его Бондесеном зовет.

Карено. Бондесен?

Ингеборг. Только-только ушли. Хозяйка просила вам кланяться. Может, я за ними сбегаю?

Карено. С ней Бондесен? (*Падает на стул.*)

Громко стучит калитка.

И н г е б о р г. Калитку закрыли.

Карено бросается к веранде, распахивает дверь, выбегает.

Может, лучше я?

К а р е н о (*возвращается; борясь с собой*). Нет-нет. Пусть... Они ушли... Больше ничего не надо, Ингеборг. (*Снова бросается на стул.*)

Ингеборг идет на кухню. Он овладевает собой.

Ингеборг, это я виноват. Мы с ней договорились, что она уедет. Просто я забыл, понимаешь.

И н г е б о р г. Ну да.

К а р е н о. Я заработался, я не высыпался, я совсем забыл. Все правильно. Бондесен любезно вызвался проводить ее. Он мне обещал... Да, спасибо тебе, Ингеборг, больше ничего не нужно.

И н г е б о р г. Ну да.

К а р е н о. А если кто придет — меня дома нет. Видишь ли, я буду работать. Ты уж запри дверь.

И н г е б о р г. Ладно. (*Уходит.*)

Карено ходит взад-вперед по комнате. Прикладывает руку ко лбу, сжимает его, подходит к письменному столу, механически листает рукопись, снова бродит по комнате. Слышен стук калитки. Почти сразу входит И н г е б о р г.

И н г е б о р г. Там господа какие-то.

К а р е н о. Меня нет дома. Я должен работать. (*Садится за письменный стол.*)

И н г е б о р г. Говорят, чтоб я сказала, мол, это фогт.

К а р е н о (*вскакивает*). Фогт! (*Овладевает собою.*) Проси.

Ингеборг уходит. Он стоит согнувшись. При стуке распрямляется.

Войдите!

Входит ф о г т с двумя сопровождающими. Один несет под мышкой протокол. Карено кланяется.



ЦАРИЦА ТАМАРА

МАНДРАГОРА

Растет он средь терний у каменных круч,
где серны теряется след.
Посеян звездою, блеснувшей меж туч,
и дьявольским вздохом согрет.
Никчемен плодами, но корнем могуч
сей цвет, что сродни наговору.
А имя ему — мандрагора.

Легко завладеть им, труднее — избыть.
Испивши его испаренья,
кто замертво рухнет, кто станет чудить,
а то и придет в исступленье.
Он ненависть жгучую может вселить,
довести до сумы и позора,
чтоб помнили, то — мандрагора.

Но изредка корень, насыльник злых чар,
вдруг милость изъявит благу:
достанет любовь из-под спуда и в дар
бросает не глядя, вслепую.
И вот уже смертный, будь млад он иль стар,
хмелеет от жаркого взора,
затем что сильна мандрагора.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Т а м а р а, царица Грузии.
Князь Георгий, ее муж.
Георгий и Русудан, их дети.
Приор.
Аббат.
Фатимат.
Тувинский хан.
Зайдата.
Юаната.
Софиат.
Меседу.
Адъютант князя Георгия.
Два татарских офицера.
Два грузинских узника.
Гетман.

Офицеры и солдаты царицы, тувинские офицеры и солдаты, монахи, писцы, музыканты, танцовщицы, прислужницы, слуги.



АКТ ПЕРВЫЙ

В крепости Тамары под Ани. Жаркий летний день.

Зал с колоннами и овальными боковыми стенами. Тут и там диваны, кавказские и восточные ковры; яркая икона, перед которой горит неугасимая лампада. В глубине, в обрамлении четырех колонн, — вход, сейчас он завешен ковровым занавесом; наружу из зала ведет низкая лестница. Там и сям между колоннами на полу расставлены пышные кусты и цветы. По правую сторону — два дверных проема, также завешенных коврами вместо дверей: за ними — переходы, связывающие зал с внутренними покоями. По левую сторону в самой глубине сцены — окованная железом дверь; слева же, впереди, несколько ступенек ведут к небольшому возвышению, где стоят трон и стол царицы. Из-за дальнего занавеса справа выходят *п р и с л у ж н и ц ы* под чадрой, открывающей лишь глаза, они вносят цветы, им помогают вооруженные *с л у г и* в коричневых кафтанах и больших черных бараньих шапках.

Из-за этого же занавеса выходит *с о л д а т*, озирается.

П е р в ы й с л у г а. Как ты сюда попал?

С о л д а т. Я вошел отсюда, потому что не знал, как мне пройти.

П е р в ы й с л у г а. А куда тебе нужно?

С о л д а т. К князю Георгию. Я прибыл из лагеря.

П е р в ы й с л у г а. Я пойду доложу ему. (*Уходит за ближний занавес.*)

В т о р о й с л у г а. Судя по твоему виду, ты проиграл битву.

С о л д а т. А судя по твоему виду, ты ничего в этом не смыслишь.

В т о р о й с л у г а. Как ты отвечаешь? Ты знаешь, что разговариваешь со слугою царицы?

С о л д а т. Ты тоже разговариваешь со слугою царицы.

З а й д а т а. Да, тут он прав, он тоже слуга царицы.

В т о р о й с л у г а. Да, но я волен идти куда захочу, ты же должен стоять у дверей.

З а й д а т а. Тсс, — князь Георгий!

Ближний занавес откидывается перед князем Георгием. Он безбород, на нем белая кожаная шапка наподобие ермолки, светло-зеленый шелковый кафтан, на груди — золотая цепь. К роскошному поясу привешены кинжал и сабля; шаровары заправлены в высокие желтые сафьянные сапоги. Князя сопровождает адъютант, который подзывает солдата.

Князь Георгий. Ты прибыл из лагеря?

Солдат. Да.

Князь Георгий. Все спокойно?

Солдат. Да.

Князь Георгий. Что тебе нужно?

Солдат. Перед нами враг. Мы просим, чтоб ты оседлал своего коня и приехал.

Князь Георгий. Тебя послал Тарас?

Солдат. Да.

Князь Георгий (*размышляет*). Скажи Тарасу, что войско должно отдохнуть. Я буду через несколько дней и ночей.

Солдат. Но, князь Георгий, Тарас велел передать...

Князь Георгий. Через несколько дней и ночей.

Солдат уходит.

Мой ответ тебе непонятен?

Адъютант. Да.

Князь Георгий. Я хочу усыпить внимание моих людей. Я нагряну в лагерь этой же ночью.

Адъютант. А-а!

Князь Георгий. Я суровый правитель.

Адъютант. Великий правитель.

Князь Георгий. Я слуга царицы... Пусть позовут аббата.

Адъютант уходит.

Эй, Зайдата!

Зайдата. Я твоя служанка.

Князь Георгий. Ты только и занята что цветами.

Зайдата. Вот-вот прибудет царица. На дороге уже показалась ее свита.

Князь Георгий. Царица — она жена мне. А ты могла бы стать моею возлюбленной.

З а й д а т а. Ты только так говоришь. Говоришь уже много лет. Когда придёт царица, она сама захочет стать твоею возлюбленной.

К н я з ь Г е о р г и й. Думаешь, захочет?

З а й д а т а. Конечно. Разве она не жена тебе?

К н я з ь Г е о р г и й. Разумеется, она захочет стать моею возлюбленной. А нет, так я заставлю ее, Зайдата, это в моей власти.

З а й д а т а. Царица меня недолюбливает. Так же, как и Юанату с Софиат, которых ты тоже называл своими возлюбленными.

К н я з ь Г е о р г и й. Все мы — слуги царицы, помни это.

Ю а н а т а. Ты, верно, радуешься прибытию царицы?

К н я з ь Г е о р г и й. Молчи, Юаната. Ты сама царица. Никто не сравнится с тобой.

З а й д а т а. И со мной.

К н я з ь Г е о р г и й. И с тобой.

С о ф и а т. И со мной.

К н я з ь Г е о р г и й. И с тобой тоже, Софиат. Ты как огонь. Говорю тебе!

З а й д а т а. Ты нам всем говорил это много лет, только ты так не думаешь. На самом деле ты думаешь, — никто не сравнится с царицей.

К н я з ь Г е о р г и й. И тебе, Зайдата, тоже следовало бы так думать. (*Усаживается.*)

Из-за ближнего занавеса выходит а б б а т.

К н я з ь Г е о р г и й. Девушки, вы закончили?

З а й д а т а. Мы уходим.

Прислужницы и слуги удаляются.

А б б а т. Ты звал своего слугу?

К н я з ь Г е о р г и й (*помолчав*). Сядь.

А б б а т (*присаживается*). У тебя сегодня угрюмый вид, князь Георгий. Сейчас придёт царица, обычно тебя это радует.

К н я з ь Г е о р г и й. Сегодня я должен на что-то решиться, выбрать одно из двух.

А б б а т. Пусть же это будет правильный выбор!

К н я з ь Г е о р г и й. Я первый слуга царицы, я предводитель войска, и я одерживаю великие победы. Разве не так?

А б б а т. Так.

Князь Георгий. Но я не царь.

Аббат. Да, что правда, то правда, ты не царь.

Князь Георгий. Я не царь. Я всего лишь отец ее детей, ее сына и ее дочери. Стоя перед царицей, я должен держать шапку в руках. Высоко ли супруга ставит своего мужа, если тот вынужден стоять перед нею с шапкой в руках? *(Жестко.)* Она его ни во что не ставит.

Аббат *(с любопытством)*. Царица тебя ни во что не ставит?

Князь Георгий. Мой удел — быть в этом доме мужем. Я все время обращаюсь к сыну, который по своему положению выше меня. Я обращаюсь к своей маленькой дочери, которая, может статься, когда-нибудь будет повелевать мною.

Аббат. Это чересчур.

Князь Георгий. Ты меня понимаешь, аббат. Я завоевал Трапезунд, Эрзерум и Ани, и при всем при том я — слуга своих детей.

Аббат. Говорю тебе, это чересчур.

Князь Георгий. И вовсе нет, ты не понимаешь, аббат; я готов быть слугою своих детей. Но я не желаю быть в подчинении у царицы.

Аббат. В подчинении? Она что, и в самом деле сказала?..

Князь Георгий. Три ночи назад я захватил в плен тувинского хана, однако я не решился зарубить его, дабы не навлечь на себя гнев царицы. Он ждет, чтобы она решила его участь. Я заключил его здесь. *(Показывает на оконную железом дверь.)*

Аббат. Царица дарует ему жизнь.

Князь Георгий. Ты все понял. Ибо царь — не я. *(Запальчиво.)* А почему бы мне и не быть им? Моя супруга — из Багратидов, сам я — из Багратидов, мы одного рода. Но она — единственное дитя Георгия Третьего и стала царицей; будь царем мой отец, я бы ему наследовал.

Аббат. Это так.

Князь Георгий. Никто из вас не знает, что это такое — вечно быть мужем царицы. Я отдаю приказ — меня спрашивают: так повелела царица? А погляди на эти цветы: они для царицы. Трубачи возвещают ее прибытие, солдаты приветственно потрясают копьями. Ну а я — всего-навсего князь Георгий.

Аббат. Ты терпишь великое притеснение в собственном доме.

Князь Георгий. А разве меня можно в чем-нибудь упрекнуть? Не я ли велел девушкам покрыться чадрой, дабы они не вводили меня в соблазн?

Аббат. И тут ты прав. Ибо Зайдата, она как огонь.

Князь Георгий. И Зайдата тоже. Но скорей Софиат.

Аббат. И она. Она тоже как огонь. Все они как огонь.

Князь Георгий. Откуда ты знаешь?

Аббат. Знать я не знаю, я слышу только, как они забавляются и визжат в купальне.

Князь Георгий. Я, слава Богу, никогда ни с одною из них в купальне не был.

Аббат. Не был? Ну конечно же. Ведь у тебя есть царица.

Князь Георгий. У меня есть царица?

Аббат. Ну да. *(С любопытством.)* А что, это не так?

Князь Георгий. Молчи. В моей власти обладать ею, и царица любит меня одного, отчего бы мне и не обладать ею?

Аббат. Это верно.

Князь Георгий. Можно ли не считаться со мною? Нет. Но порой, аббат, меня одолевают далеко не добрые и смиренные мысли. Отпускается ли этот грех?

Аббат. Да.

Князь Георгий. Что с того, если царица подчас холодно на меня взглянет? Ей было бы достаточно подарить меня жарким взором, чтоб уязвить.

Аббат. Царица не дарит жаркими взорами и никого другого.

Князь Георгий. Но ведь князь Георгий — я, и никто другой, и никому не дозволено забывать об этом... Здесь был солдат с вестями из лагеря. Он говорил со мной, не преклонив колена.

Аббат. Не преклонив колена?

Князь Георгий. Он преклонил бы колена перед царицей. Перед калифом на Востоке. Но не передо мной. Я было подумал, не отрубить ли ему голову.

Зайдата *(выглядывая из-за дальнего занавеса)*. Царица приближается. *(Исчезает.)*

Князь Георгий. Ты слышишь? Здесь сидит ее муж, а докладывают: «Царица приближается!» Пусть ее приходит, я не занял ее трона, я сижу ниже. У нее большая свита, я замешаюсь в ее свите, буду одним из ее офицеров. Ее сопровождает музыка, меня — нет. Ее исповедует приор, меня — аббат.

А б б а т. Да, но это я должен был быть приором. Почему же им оказался не я?

К н я з ь Г е о р г и й. Не ты? (*Другим тоном.*) Да, почему же им оказался не ты?

А б б а т. Тут царица обошлась со мной несправедливо, и я затаил на нее обиду.

К н я з ь Г е о р г и й. Обиду? Ты, такой кроткий?

А б б а т (*поднимаясь*). Кроткий? Ты шутишь.

К н я з ь Г е о р г и й. Ну конечно, шучу. Ты можешь затаить великую обиду. А раз так, ты поможешь мне?

А б б а т. Помогу.

К н я з ь Г е о р г и й. Ты мне нужен, мне больше не к кому обратиться за помощью. Мне предстоит или победить, или пасть.

А б б а т (*садится*). А чего желаешь ты сам?

К н я з ь Г е о р г и й. Победить. (*Пауза.*) Тарас послал за мною гонца из лагеря. Я ответил, что буду через несколько дней и ночей.

А б б а т. Такой ответ может быть неверно перетолкован.

К н я з ь Г е о р г и й. Тем, кто перетолкует его неверно, я скажу, что хочу усыпить внимание моих людей, захватить этой ночью лагерь врасплох и проучить спящих. Но тебе, аббат, я скажу, что такой ответ я дал не случайно.

А б б а т. Теперь я это вижу. В глазах твоих дикий блеск.

К н я з ь Г е о р г и й. Мы воюем с ханом Карса. Он в наших руках — если я нападу на него этой ночью, он погиб.

А б б а т. А-а.

К н я з ь Г е о р г и й. А не нападу и упущу драгоценное время — он отойдет в укрытие и будет спасен. Если я пощажу его, чем он тогда мне оплатит?

А б б а т. Он будет тебе навек благодарен.

К н я з ь Г е о р г и й. Стало быть, нынче ночью я пощажу его. Ну а если завтрашней ночью я переметнусь к нему и поведу его войско на спящий лагерь царицы и сотру его с лица земли, что тогда сделает хан?

Аббат всплескивает руками.

(*Громко.*) Тогда, аббат, он навеки станет моим союзником.

А б б а т. Я понял твой великий план.

К н я з ь Г е о р г и й. А ты будешь моим посланцем и передашь хану мое предложение.

А б б а т. Я?

К н я з ь Г е о р г и й. Ты же затаил обиду.

А б б а т. Я не могу.

Князь Георгий. Кроме тебя, у меня больше никого нет, я тебе доверяю. Ты доставишь карскому хану письмо.

Аббат. Я сделаю это, раз тебе некому больше довериться. Но одумайся, князь Георгий! Я трепещу за тебя, ибо ты играешь с огнем и ищешь собственной гибели.

Князь Георгий. Что ж, пускай лучше гибель, чем безысходность. Я одумывался все эти долгие мрачные годы — хватит. Или в твоей мудрой голове для меня найдется иной совет?

Аббат. Такой план опасен. Но раз ты желаешь быть царем, ты должен дерзнуть на многое.

Князь Георгий. Царем? Я не хочу быть царем.

Аббат. Не хочешь быть царем?

Князь Георгий. Нет.

Аббат. Ты не хочешь отвоевать у царицы страну и занять ее трон?

Князь Георгий. Ты ошибаешься. Я хочу завоевать царицу.

Аббат. Я не понимаю. Царица же принадлежит тебе?

Князь Георгий. Я солгал. Царица не принадлежит мне.

Аббат (*с любопытством*). Ты сказал, она тебя любит?

Князь Георгий. Она не любит меня.

Аббат. Это для меня великая новость.

Князь Георгий. Долгие, долгие годы вел я с царицей скрытую борьбу. В одиночку, — а на ее стороне был старый приор. Случалось ли ей подарить меня взглядом? Никогда. «Не делай этого!» — говорил ей приор. Что же мне, упасть перед ней на колени и что-то вымалывать? (*Кричит.*) Нет, аббат!.. А время идет. Я делаю вид, будто Зайдата, Юаната и Софиат — мои возлюбленные, а царица делает вид, что она — не верит этому.

Аббат. Но она верит?

Князь Георгий. Да, верит. Только ни за что не выдаст себя, ни единым взглядом. Пристало ли мне что-либо у нее вымалывать? Говорю тебе, нет. Так мы друг другу и противоборствуем.

Аббат. Это для меня величайшая новость.

Князь Георгий. Я все это рассказываю тебе для того, чтобы ты поддержал меня.

Аббат. Ну а твой великий план?

Князь Георгий. Никакой это не великий план. Я так его не называл.

А б б а т. Но ты же хочешь положить все ее войско?

К н я з ь Г е о р г и й. Малое войско, — у царицы есть еще одно. Я хочу преподать царице урок, чтобы впредь она со мною считалась. Когда я предстану перед ней во главе ханского войска, я не стяну шапку, я скажу: «Тамара, вот твой супруг. Посмотри на меня хорошенько».

А б б а т. А как же страна, царство?

К н я з ь Г е о р г и й. Оставлю лежать нетронутыми у ее ног. Но я м о г бы захватить их, аббат, в этом-то вся и сладость.

Входят с л у г и, они раздвигают занавес в глубине зала, впуская яркий свет: открывается вид на зеленые, залитые солнцем горы. Вдалеке слышится музыка, она приближается, это деревянные флейты, струнные инструменты и барабан.

А б б а т (поднимаясь). Что ж, никто не отваживался на большее, чтобы завоевать свою...

К н я з ь Г е о р г и й. Завоевать все. Я хочу завоевать все.

Маршируя, в крепость заходит великое множество солдат, вооруженных короткими копьями, они выстраиваются вдоль наружной лестницы и у входа. На них серые грубого холста штаны и рубахи с кожаными рукавами; на поясе привешены кинжал и сабля. Все до единого простоволосые. О ф и ц е р ы же их одеты в серые кафтаны со шнуровкой на груди.

Из-за дальнего занавеса выходят прислужницы и слуги; стоят смотрят, привставая на цыпочки и вытягивая шеи. Появляется адъютант князя Георгия, отпирает окованную железом дверь и зовет: «Сюда!» Показываются два грузинских солдата, они скованы вместе ручными кандалами, вместо воинской формы на них синие долгие рубахи.

Музыка умолкает.

По лестнице всходит о ф и ц е р в красном кафтане, с опущенной саблей, пересекает зал и занимает место возле трона царицы. Мгновенье спустя появляется второй о ф и ц е р в красном, также с опущенной саблей, и занимает место рядом с первым.

Трубят труба.

У входа показываются носилки с царицей; солдаты опускают копьё. Носилки ставят на землю, ц а р и ц а сходит и, приветственно кивая на обе стороны, под клики толпы направляется в зал. Когда ликование утихает, царица обращается к иконе и крестится. В свите царицы мы видим Ф а т и м а т, дочь эрзерумского князя; лицо ее скрыто под золотым покрывалом, спадающим до колен; она отворачивается от иконы, не перекрестившись. Следом за царицей идут ее дети Г е о р г и й и Р у с у д а н, за ними — п р и о р, затем — м о н а х и, о ф и ц е р ы, писцы, прислужницы, слуги, — все осеняют себя крестным знаменем.

Ц а р и ц а. Приветствую всех вас. И первым приветствую тебя, князь Георгий.

К н я з ь Г е о р г и й. Ты сказала это напоследок.

Ц а р и ц а (*улыбнувшись*). О, ты устал, я вижу, твои победы изнурили тебя.

К н я з ь Г е о р г и й. Дети мои, подойдите же сюда! (*Обнимает и целует их.*)

Ц а р и ц а. Посмотри, как они выросли. Они почти догнали меня.

К н я з ь Г е о р г и й. И меня. Все перерастают меня на голову.

Ц а р и ц а. Станный ты оказываешь нам прием. Быть может, я действовала вопреки твоим добрым советам и проиграла битву?

К н я з ь Г е о р г и й. Нет. И потому я опять вернулся домой с новой победой.

Ц а р и ц а. Фанфары в честь моего мужа, великого воина!

Труба и барабан, рукоплесканья. Царица отдает поклон.

А теперь в честь нашей победоносной веры!

Снова звучат фанфары.

Фатимат, я не верю своим глазам, ты рукоплещешь вместе со всеми?

Ф а т и м а т. Да, царица, я рукоплещу вместе со всеми. Только м о е й вере.

Ц а р и ц а. Ах вот как. По-прежнему упорствуешь. Хорошо, будем помягче, гораздо мягче. (*Улыбаясь.*) Ты будешь побеждена, дорогая моя Фатимат.

Ф а т и м а т. Аллах не попустит это.

К н я з ь Г е о р г и й. Тамара, у меня важные вести и мало времени.

Ц а р и ц а. У тебя всегда мало времени. (*Поднимается на первую ступеньку к своему трону.*)

К н я з ь Г е о р г и й. День короток, а ночью я должен быть в лагере.

Ц а р и ц а. Так ведь в лагере Тарас.

К н я з ь Г е о р г и й. Хорошо, я подумаю, поступить ли мне согласно твоему желанию и провести эту ночь вдали от лагеря.

Ц а р и ц а. Нет-нет. Я всего лишь хотела... Ты только не подумай, что я... *(Глядя перед собой.)* Спасибо, офицеры, спасибо, солдаты, вы свободны.

Офицеры и солдаты, маршируя, уходят, за ними уходят монахи.

А вы, дети, можете идти играть в сад.

Георгий и Русудан уходят.

Царица поднимается по ступенькам и усаживается на трон. Писцы в монашеском одеянии располагаются на полу у ее ног и достают свои письменные принадлежности.

Твои вести — о новой победе. Когда состоялась битва?

К н я з ь Г е о р г и й. Три ночи тому назад. Войско показало чудеса храбрости и заняло крепость. Пришлось брать приступом двойные гранитные стены.

Ц а р и ц а. Много ли захвачено пленных?

К н я з ь Г е о р г и й. Немного.

Ц а р и ц а. Прежде ты брал много пленных и по возможности даровал им жизнь. Так, я слыхала, поступает калиф.

К н я з ь Г е о р г и й. Сколько-то пленных мы взяли.

Ц а р и ц а. И обошлись с ними по-доброму?

К н я з ь Г е о р г и й. Да. Как ты и повелела.

Ц а р и ц а. Кто эти двое?

К н я з ь Г е о р г и й. Грузины, как видишь, наши же люди. Они приговорены к смерти.

Ц а р и ц а. Что они сделали?

К н я з ь Г е о р г и й. Бежали. Оставили поле битвы.

Ц а р и ц а. Стало быть, они не воины. Не надо проливать кровь понапрасну. Если они пастухи, то они не воины, это так же непреложно, как и то, что камень есть камень. Что вы умеете, грузины? Воевать вы не умеете.

Узники падают ниц.

П е р в ы й у з н и к. Не умеем, царица. Мы всего-на-всего братья, а нашего третьего брата мы встретили во вражеском войске, он магометанин, он угрожал нам. Он старше нас.

Ц а р и ц а. Ты слышишь, Георгий, они встретили своего брата... И тогда вы пустились бежать?

П е р в ы й у з н и к. Да. Когда мы признали его, то вырвали копья и пустились бежать.

Ц а р и ц а. А вы христиане?

В т о р о й у з н и к. Да, мы христиане. И мы сделаем все, что ты ни повелишь нам, царица.

К н я з ь Г е о р г и й. Я оставил им жизнь до твоего прихода, чтобы ты сама сказала, какую им назначить казнь.

Ц а р и ц а. А если я скажу, что они должны остаться в живых?

К н я з ь Г е о р г и й. Тамара, твое мягкосердечие войску во вред. Я это тебе уже говорил.

Ц а р и ц а (*смотрит на него*). В былые дни ты не был таким жестоким.

К н я з ь Г е о р г и й (*упрямо*). Всегда был. Все время. Я все тот же.

Ц а р и ц а. Уведите узников, пока я не подыщу для них дела. Но запомните, грузины, негоже бежать с поля битвы. Чтобы вы этого не забывали, вы проведете в оковах еще одну ночь.

Узников уводят за окованную железом дверь.

Какую ж ты занял крепость?

К н я з ь Г е о р г и й. Крепость тувинского хана.

Ц а р и ц а (*писцам*). Запишите... Это величайшая победа. А сам хан?

К н я з ь Г е о р г и й. Здесь, у меня в плену.

Ц а р и ц а. Здесь? Хан?

К н я з ь Г е о р г и й. Вон там. В дальней темнице.

Ц а р и ц а. Георгий, да ты превзошел самого себя. Каких же он лет?

К н я з ь Г е о р г и й. Вчера здесь были два офицера от тувинцев, предлагали за него выкуп. Я поставил им ряд условий. Видимо, они придут снова.

Ц а р и ц а. Это величайшая победа. Как по-твоему, что тувинцы должны отдать за своего хана?

К н я з ь Г е о р г и й. Живого?

Ц а р и ц а. Да, живого. А почему ты спрашиваешь? Конечно, живого.

К н я з ь Г е о р г и й. Он стоит изрядного куска их земель.

Ц а р и ц а. Тувинцы — магометане; но если их хан им дорог, они выполнят маленькую мою просьбу, чтобы вернуть его.

К н я з ь Г е о р г и й. погоди! Наверняка ты получишь всю их страну за его тело.

Ц а р и ц а. Чье тело?

К н я з ь Г е о р г и й. Хана. Тогда они смогут похоронить его по своему языческому обычаю.

Ц а р и ц а. Князь Георгий!

К н я з ь Г е о р г и й. Это обширная страна. И плодородная. Крепость, что мы взяли, великолепна.

Ц а р и ц а. Я возвела шесть крепостей, и земель у меня достаточно. Мои владения простираются почти от самой Армении и до Казбека.

К н я з ь Г е о р г и й. Но тогда твои владения приумножатся. И ты заполучишь много людей, искусных в музыке, которые будут увеселять тебя. Мы слышали по ночам, как тувинны играли. У них еще было двое евреев, которые играли на арфе.

Ц а р и ц а. А теперь ты, досточтимый отец: какой мне назначить за хана выкуп?

П р и о р. Дитя мое, порадуя себя самое и меня, старика, и потребууй того, что в урочный час подскажет тебе твоя совесть.

Ц а р и ц а. Я знаю, что я потребую; только бы они на это пошли. Согласятся тувинны креститься — хан их свободен. Каких он лет?

К н я з ь Г е о р г и й. А не захотят, в твоей власти заставить их. На то есть немало способов. Скажем, поотрезать языки — верный, добрый способ. Или же две сотни палок.

Ц а р и ц а. Они могут спасти своего хана с наименьшими... Я в третий раз спрашиваю: каких он лет?

К н я з ь Г е о р г и й. А ты не хочешь заодно узнать, каков он собой?

Ц а р и ц а (*удивленно*). Нет. Я спрашиваю не об этом. А что?

К н я з ь Г е о р г и й. Что касается самого хана, то и для него найдется отличнейший способ.

Ц а р и ц а. Какой способ?

К н я з ь Г е о р г и й. Захватить его гарем и выставить перед ним.

Ц а р и ц а. И что же?

К н я з ь Г е о р г и й. А потом впустить туда солдат.

Ц а р и ц а (*вскакивая*). Князь Георгий!

К н я з ь Г е о р г и й. Вот тогда он уступит. Но это не лучший способ. По-моему, куда лучше другой. У тебя есть два турка, царица, это твои палачи. У них есть шелковый шнурок.

Ц а р и ц а (*опускаясь на сиденье*). О досточтимый отец, дай ты мне совет.

П р и о р. Быть может, хан и сам выполнит твою просьбу, если ты позовешь его.

Князь Георгий. Как будто тебе нужно его об этом просить. Я ли не предводитель войска? Если я предводитель войска, кому как не мне знать, что тувинцы должны сдаться на твою милость, почему ж ты хочешь обращаться к ним с просьбами? Не веди мы сейчас войну еще и с карским ханом, тувинцы были бы уже в наших руках. Они бежали в горы — пускай, в полнолуние, когда ночь светла, мы отыщем их и разобьем наголову. И тогда ты сможешь поступить с ними так же, как и со всеми народами, что мы покорили.

Царица. Но раз хан пленником в моей крепости, этим надо воспользоваться. Выполняют тувинцы мою просьбу — хан получит свободу. И войне будет положен конец.

Прior. Позови хана, царица, может быть, он выполнит твою просьбу.

Царица. Обожди... Девушки, что вы тут стоите? Зайдата, что я вижу, ты снова покрылась чадрой? Снимите чадру, девушки, и ты, Софиат, и ты, Юаната. Девушкам-христианкам не пристало носить чадру.

Девушки снимают чадру.

Зайдата. На Фатимат тоже чадра.

Фатимат. Я не христианка.

Прior. Да, она не христианка. И все же она в доме царицы.

Царица. Пока еще ты не христианка, Фатимат, пока еще нет... Всякий раз, стоит мне на время отлучиться, и вы снова склоняетесь к магометанству и набрасываете чадру.

Юаната. Так нам было приказано.

Царица. Кем?

Юаната. Князем Георгием.

Князь Георгий. Я приказал девушкам покрыться, дабы они не вводили меня в соблазн. Ибо они как огонь.

Царица. Как огонь? Откуда ты знаешь?

Князь Георгий. Откуда? А ты не догадываешься?

Царица (*прикусив на мгновенье губу*). Нет. Такого я подумать о тебе не могу.

Князь Георгий. Они прямо как огонь.

Прior. Многих в твоём доме сжигает греховный огонь, царица Тамара; но сама ты, благодарение Господу, холодна.

Князь Георгий. И аббат, и я слышали, как они визжали в купальне.

Ц а р и ц а. Твоему аббату не следовало стоять и подслушивать возле купальни... Девушки, почему вы все еще здесь?

З а й д а т а. Мы хотели тебя поприветствовать. Мы убрали зал цветами.

Ц а р и ц а. Спасибо вам всем, а теперь можете идти.

Все прислужницы и слуги удаляются. Фатимат присоединяется к ним.

Не уходи, Фатимат. Побудь со мною.

Ф а т и м а т *(обернувшись)*. Да благословит тебя Аллах.

Ц а р и ц а. Пусть позовут хана.

Ф а т и м а т. Царица, тебе следует хоть немного да подготовиться. Хан Тувина — великий хан.

Ц а р и ц а. Приготовиться? *(Улыбнувшись.)* Мне надеть корону?

Ф а т и м а т. Ты могла бы застегнуть ворот.

Ц а р и ц а *(застегивается)*. Солнце так припекало, вот я и расстегнулась.

Ф а т и м а т. А еще на тебе сегодня разные чулки.

Ц а р и ц а. Разные чулки? *(Глядит.)* Девушки недосмотрели. Ну, это не так уж и важно. Пусть позовут хана.

Адъютант князя Георгия проходит за окованную железом дверь и немного погодя возвращается вместе с ханом.

Будь же мне опорой, досточтимый отец, может быть, нам и удастся.

К н я з ь Г е о р г и й. Вы задали себе работу. Хан жил при дворе калифа, он умеет говорить умно. Он умеет говорить и красно.

Появляется т у в и н с к и й х а н. Он без оружия, в черном бархатном доломане без украшений, лишь с левого плеча свисает пучок рыжих конских волос. Низко спадают широкие рукава. Белый тюрбан оторочен понизу узкой черной каймой; белизну тюрбана оттеняет крупный смарагд. Смарагдами же усеян и серебряный пояс. На хане высокие сапоги из белого сафьяна. В знак приветствия он подносит пальцы к груди, губам и лбу, однако ни на миг не подымает опущенных глаз.

Ц а р и ц а *(поднимается и стоит; удивленно)*. Это хан?

К н я з ь Г е о р г и й. Да, это хан. Что с того?

Ц а р и ц а. И он безоружен?

К н я з ь Г е о р г и й. Его обезоружили. Он пленник.

Ц а р и ц а. Принесите ему его оружие.

Адъютант князя Георгия приносит из-за ближнего занавеса кинжал и саблю хана и цепляет их ему на пояс.

Какой же молодой у тувинов хан.

Князь Георгий. Ты возвращаешь ему оружие — не для того ли, чтоб отменить мое распоряжение?

Царь и царица. Нет-нет, князь Георгий, ты бы и сам это сделал, не будь меня здесь. Тут мы единоклюбны.

Князь Георгий. Пусть будет так.

Царь и царица. Угодно ли тебе, хан, отвечать мне?

Хан. Великая царица, дозвожь мне сперва поблагодарить тебя за то, что ты вернула мне мое оружие.

Царь и царица. Великое тебя постигло несчастье, раз ты оказался пленником в моей крепости.

Хан. Великое несчастье, в коем мне посчастливилось. Я узрел твою красоту и услышал твой голос.

Князь Георгий. Слышишь, какие он повел медовые речи?

Царь и царица. Хан, ты же меня не видел. Ты все время глядел в пол у моих ног.

Хан. Наши обычаи иные, чем твои, царица.

Царь и царица. Надень я чадру, тогда бы ты, верно, осмелился поднять глаза.

Хан. Это правда. Тогда бы я поднял глаза. Но я видел твои руки, и они красивы.

Князь Георгий. Ты зарделась, царица, неужто и здесь припекает солнце?

Царь и царица. Нет... Да, здесь и вправду жарко... Одолжи мне чадру, Фатимат, дабы хану не было нужды смотреть в пол.

Фатимат уходит за дальний занавес.

Князь Георгий (*ей вслед*). Красную чадру. Чтобы не просвечивал румянец царицы.

Царь и царица. Князь Георгий, верно ли, что Тарас ожидает тебя в лагере?

Князь Георгий. Я уйду.

Князь Георгий и аббат уходят за ближний занавес. Адъютант вручает приору ключ от камеры и следует за ними. Фатимат возвращается с белой чадрой и помогает царице покрыться.

Царь и царица. Твой народ не может без тебя, хан. Два твоих офицера были здесь и предлагали за тебя выкуп.

Хан (*с этой минуты открыто на нее смотрит*). Плохо же они выполнили свое поручение, раз я все еще здесь.

Царь и царица. Это было до моего прихода.

Хан. А-а. Тогда им нечего было рассчитывать на успех.

Царь и царица. Стало быть, ты полагаешь, что со мною ты сможешь вести успешные переговоры.

Х а н. Высокая повелительница, твое имя известно в Ту-
вине, мы слышаны о твоей мудрости и твоём милосер-
дии.

Ц а р и ц а. Я хочу лишь просить тебя выполнить одну
мою просьбу, и ты свободен.

Х а н. То, о чем ты согласишься просить меня, я ис-
полню.

Ц а р и ц а. Увидим. Поступился бы ты ради свободы ча-
стью своих земель?

Х а н. Да, многими.

Ц а р и ц а. Но земель у меня достаточно. Поступился
бы ты и твой народ своей верой?

Хан молчит.

Согласился бы ты креститься во имя Христово?

Хан закрывает лицо рукою.

Знай, это и есть моя к тебе просьба.

Х а н. Высокая повелительница, мы не могущественны в
нашей стране, и нас не одолевает гордыня, мы не шутим со
святынями.

Ц а р и ц а. По-твоему, меня одолевает гордыня и я
шучу? Воистину, я желаю тебе добра.

Х а н. Если бы я и мой народ могли перейти в твою веру,
мы бы не противились тебе что есть сил. Ты идешь войною
на нашу страну и хочешь крестить нас, мы не будем крес-
титься, а будем биться до последнего.

Фатимат хлопает в ладоши.

Твой пророк был еврей, наш — араб, ты веруешь в своего,
мы — в своего. Ты хотела бы поменяться?

Ц а р и ц а. Нет.

Х а н. Вот и мы не хотим.

Фатимат хлопает в ладоши.

Ц а р и ц а. Фатимат!

Ф а т и м а т. Прости, царица!

Х а н. Спокойно текла в Тувине наша жизнь, днем нам све-
тило солнце, ночью сияли звезды. Но ты напала на нашу стра-
ну, вошла в наши жилища и обагрила свои копья кровью.

Ц а р и ц а (в замешательстве). Ответь ему ты, досто-
чтимый отец, я... я должна признать, что он прав... отчасти.

П р и о р. А разве все вы, тувинцы, кроткие голуби и не обагрываете свои копыя кровью? Многих эрзерумцев, крещенных царицею, вы загнали в горы и перебили.

Х а н. Когда мне об этом стало известно, я предложил уплатить полную виру, чтоб снова быть другом великой царицы.

Ц а р и ц а. Я и потребовала виру.

Х а н. Ты потребовала нашу веру.

П р и о р. Стало быть, хан, ты сам развязал эту войну. Царица предлагала, чтоб вы крестились, а после вели мирную жизнь, всяк под сенью своей виноградной лозы и своей смоковницы, ты же предпочел противостоять ей.

Х а н. Когда нашей вере угрожают, пророк повелевает нам сражаться. А твой пророк разве не повелевает?

П р и о р. Царица, поставь ему свои условия всерьез. Кротостью ты тут ничего не добьешься.

Ц а р и ц а. Хан, ты знаешь мои условия. Каков твой ответ?

Х а н. Будь у меня воинов больше, чем у тебя, царица, и одержи я над тобой победу, перешла бы ты в нашу веру?

Ц а р и ц а (*задумывается*). Нет, нет, тут и раздумывать нечего! Не перешла бы. Никогда.

П р и о р. Верно, дитя мое.

Х а н. Как же ты можешь предлагать мне переменить веру?

П р и о р. Он слеп и не видит, в чем его спасение.

Входят князь Георгий, его адъютант и аббат, все трое с копиями. У адъютанта через руку переброшены плащи.

Ц а р и ц а. Да, он слеп. Но мне еще не доводилось видеть слепца с таким взором.

К н я з ь Г е о р г и й. Ай-ай, Тамара, ужели в твоих глазах под чадрую вспыхнул огонь?

П р и о р. Ты ошибаешься, князь Георгий. Царица холодна.

Ц а р и ц а. Моли Бога, досточтимый отец, чтобы так было всегда.

К н я з ь Г е о р г и й. Где Георгий и Русудан, они вышли?

Ц а р и ц а. Да, они вышли. Попрощайся с ними, прежде чем ты уйдешь.

К н я з ь Г е о р г и й. А стобой?

Ц а р и ц а. Со мной? (*Молчит.*)

К н я з ь Г е о р г и й. Не хочешь?

Ц а р и ц а (*встает и сбегает по ступенькам*). Да нет же, Георгий, хочу. (*Откинув чадру, обнимает и целует его.*) Храни тебя Бог. (*Вновь покрывается.*)

Князь Георгий. И тебя, Тамара. *(Крестится на икону и уходит в сопровождении своих людей.)*

Царь и царица. Вот видишь, хан, князь Георгий отправился навстречу новой победе над врагами христианства. Он великий воин.

Хан. У него больше солдат, чем у нас.

Царь и царица. Этой ночью он разобьет карского хана. Кто устоит против его натиска!

Хан. Все в руках Аллаха. Даст Аллах ему победу — он победит. Никто не избегнет воли Аллаха.

Царь и царица. Всякий раз ты отвечаешь мне, словно ты и не пленник мой, почему это? Все, что я ни говорю тебе, остается втуне.

Приор. Так яви же ему, царица, свое могущество, и он покорится.

Царь и царица. Досточтимый отец, писцы могут уйти.

Приор берет у писцов пергаменты, просматривает их. Писцы стоят и ждут, прожоя глазами каждое его движение.

Хан. Все, что ты ни говоришь? Нет, высокая царица, твои слова не остались втуне. А голос твой приводит меня в трепет, — такой у тебя голос.

Царица. Но я непреклонна, не забывай этого.

Хан. Стало быть, ты уже решила мою судьбу — раз ты непреклонна. Скажи мне, какое ты приняла решение, чтобы я долее не докучал тебе. Это смерть?

Царица. Чья смерть? Твоя? Нет.

Хан. Ты получишь больше за мое тело, потому я так и сказал.

Царица. Великий Боже... Хан, ты слишком преувеличиваешь мою жестокость.

Хан. Раз ты даруешь мне жизнь, я не пожалею земель и виноградников, чтобы воздать тебе за твое милосердие. А еще у меня в Тувине есть большой пышный сад — его я отдам тебе за твою красоту.

Царица. У меня достаточно земель, и в моих владениях немало садов.

Хан. Это все, что у меня есть.

Царица. Подумай, может быть, у тебя найдется что-то еще. Я обожду... Здесь так много людей, почему писцы не уходят?

Приор взмахом руки отсылает писцов, они покидают зал через главный вход. Пергаменты приор кладет царице на стол.

Досточтимый отец, ты устал, можешь идти отдыхать.

Приор. Я должен запереть пленника.

Ц а р и ц а. Я запрю. (*Берет у него ключ и отпирает окочанную железом дверь.*)

Хан подносит пальцы к груди, губам и лбу и уходит. Приор протягивает руку за ключом.

Ц а р и ц а. Ключ останется у царицы. (*Откидывает чадру.*) Фатимат, как здесь вдруг стало пусто. Безлюдно.

Ф а т и м а т. Хан покинул нас.

Ц а р и ц а. И он тоже... Досточтимый отец, ты можешь идти отдыхать. (*Присаживается на диван.*)

Приор прощается и уходит через главный вход.

Ф а т и м а т. Не позвать ли сюда музыкантов и танцовщиц?

Ц а р и ц а. Нет-нет, ведь в крепости пленник... Я сижу и думаю, как ему должно быть там одиноко, он мог бы остаться здесь. Не знаю, может, ему и правда побыть здесь?

Ф а т и м а т. Мне его позвать?

Ц а р и ц а. Если хочешь, Фатимат. Как хочешь. Да, позови его, тут ему будет прохладнее. Смотри, я закрываю лицо чадрой, как и ты.

Фатимат берет ключ.

Обожди-ка, обожди. Позови Меседу.

Ф а т и м а т (*подходит к дальнему занавесу и окликает*). Меседу!

Ц а р и ц а. Она подала мне сегодня разные чулки, это большая оплошность. Все, кто был в крепости, видели, что я в разных чулках, хан стоял и смотрел на мои ноги.

Появляется М е с е д у, получает указание от Фатимат и убегает.

И другие туфли, Фатимат, самые мои нарядные туфли. А со смарагдами у меня нет?

Ф а т и м а т. Наряднее нету. Эти самые нарядные.

Ц а р и ц а. Значит, со смарагдами нету. А здесь — жемчуга. Не мешало бы мне иметь пару покрасивее, верно, Фатимат?

М е с е д у приносит персидские шелковые чулки.

Желтый не надо. Дай белый, под пару тому, что на мне.

Меседу становится на колени и помогает ей надеть чулок.

Меседу, впредь ты должна следить, какие чулки ты мне подаешь, чтобы они не разнились; так сказала царица. А еще

я хочу, чтобы у меня стояло много нарядных туфель, как в молодости.

М е с е д у (*поднимаясь с колен*). Что-нибудь еще, царица?

Ц а р и ц а. Да, зеркало.

М е с е д у. Зеркало? В твоих покоях есть большое зеркало.

Ц а р и ц а. А маленького нету?

М е с е д у. Нет.

Ц а р и ц а. А вот в молодости у меня было. Я носила в кармане маленькое зеркальце и часто в него смотрелась.

Ф а т и м а т. Царица, на тебе же чадра, твоего лица никто не увидит.

Ц а р и ц а. Хорошо. Можешь идти, Меседу. Мне не нужно зеркала.

Меседу уходит.

А теперь позови его. (*Опускает чадру.*)

Ф а т и м а т. Одно только слово, царица: умали для него свою красоту.

Ц а р и ц а. Фатимат, что ты такое говоришь?

Ф а т и м а т. Он молод, может стать, ты заставишь его позабыть свою страну и позабыть то, что еще важнее.

Ц а р и ц а. Позови же его.

Фатимат исчезает за окованной железом дверью.

Спустя мгновенье царица встает, подходит к иконе, что-то шепчет, крестится, приседает перед иконой и возвращается на прежнее место. Она располагает складки своего платья так, чтобы чулки оставались на виду.

Появляются хан и Фатимат.

Ц а р и ц а. Тебе там одиноко, хан. Если ты желаешь побыть здесь, то мы не против.

Х а н. Я благодарю тебя за твое доброе сердце, царица; но мне там не одиноко. Я сижу и думаю о своем народе, оставшемся без правителя.

Ц а р и ц а. Это тебе Фатимат сейчас сказала.

Хан молчит.

Ф а т и м а т. Да, царица, я это сказала.

Ц а р и ц а. В моем обществе ты не изменишь своему народу, наоборот, ты ему послужишь лучше всего. Я помогу тебе.

Х а н. Все тувинны скажут тебе за это спасибо. Я их последний хан, другого у них нет.

Ц а р и ц а. Разве здесь не прохладнее?

Х а н. Да. А если ты поставишь у входа стражу, то будешь спокойнее на мой счет.

Ц а р и ц а. Стражу? Я об этом не подумала. Нет, не нужно. Снова понайдут люди, их здесь и так хватает... Или это мне кажется, Фатимат, но, по-моему, людей здесь хватает.

Ф а т и м а т. Здесь на одного больше.

Ц а р и ц а. Ты бы не сходила в сад за Георгием и Русудан? Найдешь их, попроси их прийти сюда.

Фатимат уходит.

Я не собираюсь смягчать твой плен настолько, чтобы ты позабыл о своем народе.

Х а н. Я его не забываю; твоя подруга Фатимат ошибается. Я не причитаю ни над моим народом, ни над собою, но я раздумываю над нашей судьбой.

Ц а р и ц а. А над моими условиями?

Х а н. Нет.

Ц а р и ц а. Нет? А стоило бы. Над чем же ты раздумываешь?

Х а н. Три дня и три ночи я обдумывал свой побег. Но я был безоружен.

Ц а р и ц а. Теперь тебе вернули оружие.

Х а н. Да, но теперь я увидел тебя и не помышляю более о побеге.

Ц а р и ц а. Мне непонятны твои слова... Как случилось, что твоя крепость была захвачена?

Х а н. Из-за предательства. Один из моих рабов принес князю Георгию большой ключ от крепости.

Ц а р и ц а. Об этом мой муж не рассказывал. Но ведь князь Георгий не взял у раба этот ключ?

Х а н. Так-таки не взял?

Ц а р и ц а. Нет. Должно быть, кто-то другой взял, но не он. Я слыхала, это был кто-то другой... А сейчас, хан, не поговорим ли мы о других вещах. Ты когда-то жил в крепости у калифа, ты бы мог рассказать мне немного, как там жилось.

Х а н. Это было давно. Но я ничего не забыл. Я мог бы рассказать тебе о мудрости калифа и о его могуществе.

Ц а р и ц а. Расскажи лучше о себе. Что ты там делал?

Х а н. Я был гостем калифа и его учеником. Я обучался многим наукам у его мудрецов. Осенней порой мы выезжали на охоту и убивали крупных зверей, а когда возвращались домой, навстречу нам выходили певцы и танцовщицы.

Ц а р и ц а. Знаешь, хан, так получилось, что... Пожалуй, я встану. А то ты такой высокий, когда стоишь. (*Поднимается и откидывает чадру.*)

Х а н. Ты открыла лицо!..

Ц а р и ц а. Я уважила твой обычай, уважь и ты мой. На одно лишь мгновенье. Ты должен меня видеть.

Х а н. Какая же красивая у грузин царица!

Ц а р и ц а. Спасибо за эти слова, они меня радуют. Я царица, и все же твои слова меня радуют. Я показываю тебе мое лицо, ибо это то немногое, чем я обладаю. (*Опускает чадру.*)

Х а н. Ты словно бы метнула в меня звездами.

Ф а т и м а т приводит за руки Георгия и Русудан.

Ц а р и ц а. Благослови тебя Бог. Я благодарю тебя за твои слова, настолько я бедна. Смотри, как радуются мои дети, вот так же и я радуюсь. (*Обнимает детей.*) Поиграйте с этим человеком, пусть он спрячется за колоннами, а вы его найдите.

Хан прячется, дети его находят, он перепрыгивается, и опять его находят. Дальше дети играют одни и немного погода исчезают за дальним занавесом.

Фатимат, ты можешь быть свободна.

Фатимат уходит за дальний занавес. Солнце клонится к закату.

Х а н. А ты не боялась, что я сбегу?

Ц а р и ц а. Не знаю, я об этом не думала.

Х а н. Да нет же, ты прекрасно сознаешь свою власть, царица Тамара, и знаешь, что я не сбегу.

Ц а р и ц а. Пусть так. Я не задумывалась над тем, что ты говоришь, но слова твои для меня удивительны.

Х а н (*проводит рукой по глазам*). Царица, ты словно бы завела меня в заросли, где растет мандрагора. Это опасный цветок, я уже чувствую на себе его чары.

Ц а р и ц а. И я тоже чувствую. Мы вдвоем в этих зарослях.

Х а н (*приблизившись к ней*). Ты хочешь обратить меня, вот чего ты хочешь.

Ц а р и ц а. Я хочу спасти тебя. Посмотри же судьбе в лицо и не противься мне.

Х а н. Ты хочешь обратить меня и крестить, только поэтому ты и утруждаешь себя.

Ц а р и ц а. Поэтому? Только поэтому? *(Другим тоном.)*
Ну да. Ради чего же еще? Я вижу в этом твое спасение и спасение твоего народа.

Ф а т м а т *(войдя)*. Высокий хан, солнце село. Ты пропустил час молитвы. *(Снова уходит.)*

Быстро смеркается.

Х а н. Она права. Ты заставила меня позабыть обо всем. Поэтому, себе в наказание, я не буду ложиться этой ночью, а проведу ее сидя. Да смилуется надо мною Аллах! *(Подносит пальцы к груди, губам и лбу и направляется к своей двери.)*

Ц а р и ц а *(протягивает ему руку)*. Возьми мою руку, хан.

Х а н. Наши обычаи иные, чем твои.

Ц а р и ц а. Так подумай сегодня ночью над моими условиями. *(Запирает за ним и оставляет у себя ключ; бросается на диван.)*

Из глубины зала появляется с о л д а т, закутанный в плащ.

Ц а р и ц а. Что тебе нужно?

С о л д а т *(падает на колени)*. Где князь Георгий?

Ц а р и ц а. Он отправился в лагерь.

С о л д а т. Я искал его и не нашел. И дорогой он мне тоже не встретился.

Ц а р и ц а. Он появится. Они выехали втроем.

С о л д а т. Я встретил пастуха, который сказал, что нашел в горах мертвого всадника. Это мог быть князь Георгий.

Ц а р и ц а *(вскакивая)*. Мертвого всадника? Как он выглядел? Нет, это был не он. Отчего он умер?

С о л д а т. Ему пронзили спину.

Ц а р и ц а. Спину?

С о л д а т. И рассекли затылок.

Ц а р и ц а. Тогда это был не он, князь Георгий не допустит, чтоб его ранили сзади. Тебя послал Тарас?

С о л д а т. Да.

Ц а р и ц а. Скажи Тарасу, что князь Георгий непременно объявится. Иди. *(Направляется к дальнему занавесу.)*

Солдат поднимается с колен и сбрасывает плащ — это князь Георгий.

Георгий!

К н я з ь Г е о р г и й. Он самый. Я не умер сегодня ночью.

Ц а р и ц а *(пошатнувшись, опускается на диван)*. Какая скверная шутка, Георгий.

Князь Георгий (*сникнув на миг*). Ты права. Я этого не хотел, я хотел... Но спасибо тебе на добром слове.

Царица. Добром слове?

Князь Георгий. Я не мог пасть от раны, нанесенной сзади. Ты сказала это только что.

Царица. Что-то же мне надо было сказать.

Князь Георгий. Значит, ты так не думаешь?

Царица. Сегодня ночью ты собирался в лагерь, не так ли?

Князь Георгий (*холодно*). Я послал моего сопровождающего, а сам повернул назад. Эту ночь я проведу не в лагере, как и обещал тебе.

Царица. Я об этом тебя не просила. Хорошо, что Тарас сейчас в лагере.

Князь Георгий. Ты решила сама стеречь узника? Не взять ли мне на сохранение этот ключ?

Царица. Я доверяю его только царице.

Князь Георгий (*усмехнувшись*). Но не мужу царицы?

Царица. Нет, мужу царицы — нет.

Князь Георгий. Не очень-то высокое положение занимает в твоём доме муж царицы.

Царица (*поднимаясь*). А когда-то, о, когда-то он его занимал. Самое высокое место занимал он возле меня. Ты помнишь, в Тифлисе? Ты был единственным, на кого пал мой выбор, и я этим гордилась.

Князь Георгий. Мне было суждено стать отцом Георгия. С тех пор мне не суждено было ничто другое.

Царица. Напротив, тебе суждено было стать моим великим повелителем и возлюбленным, вот что было тебе суждено. Из всех князей для меня существовал ты один. Когда ты возвращался домой, я встречала тебя с музыкой и цветами, а когда ты оставлял меня, в Тифлисе становилось тихо и сумрачно. Как будто весь небосвод со звездами опускался за море.

Князь Георгий. Но теперь это в прошлом.

Царица. Да, теперь это в прошлом.

Князь Георгий. Ну что ж, я ничего у тебя не вымаливаю.

Царица. Вначале сердцем ты был как ребенок, мы бывали вместе в городах и на больших базарах. А потом ты начал новую жизнь.

Князь Георгий. Ну да, со всеми твоими девушками?

Ц а р и ц а. Замолчи. Я не верю этому. Как знаешь, меня это не волнует; что ты себе вообразил? Скажи лучше, почему ты переменялся сердцем? Раньше ты брал много пленных и оставлял мало вражеских трупов. А теперь не то.

К н я з ь Г е о р г и й (*смотрит на нее*). Тамара, не разделить ли нам эту вину пополам?

Ц а р и ц а. Пополам? Нет. Разве я велела тебе быть кроважидным?

К н я з ь Г е о р г и й. Велела? Ты довела меня, толкала меня на это, вот оно, твое веленье... Ты улыбаешься, я вижу, ты стоишь у лампы и улыбаешься. Что ж, царица, я и подално не стану плакать.

Ц а р и ц а. Ты устал от своих побед и потому разговариваешь в таком тоне. Иди ложись спать. Доброй ночи, Георгий.

К н я з ь Г е о р г и й. Доброй ночи, Тамара. Я у тебя ничего не вымаливаю.

Ц а р и ц а. Хорошо, что Тарас этой ночью в лагере. (*Уходит за дальний занавес.*)

К н я з ь Г е о р г и й (*оставшись один*). А всего лучше то, что меня этой ночью в лагере нет. (*Уходит за ближний занавес.*)

АКТ ВТОРОЙ

Под утро. В зале темно, вход в глубине завешен, лишь лампадка теплится перед иконой. Быстро светает.

Из-за дальнего занавеса появляется Ф а т и м а т с железной лампой в руках, она отпирает окованную железом дверь и исчезает за ней. Чуть погодя она выходит в сопровождении х а н а, запирает дверь и прячет у себя ключ.

Ф а т и м а т. Ты думаешь, те двое нас видели?

Х а н. Не знаю... Чего ты от меня хочешь?

Ф а т и м а т. Я хочу спасти тебя.

Х а н. Спасти?

Ф а т и м а т. Чтобы ты мог вернуться к своему народу. Похоже, ты начал его забывать.

Х а н. Я не забыл свой народ, я о нем думал. Послушай, я всю ночь просидел в раздумьях.

Ф а т и м а т. Множество мыслей не давали царице уснуть, я не могла прийти раньше. Сейчас царица заснула, и я взяла ключ. Идем. (*Направляется в правый дальний конец зала.*)

Х а н. Я должен бежать?

Ф а т и м а т (*возвращаясь*). Да. Чтобы ты не остался здесь надолго и не позабыл истинную веру. Вчера за беседой с царицей ты пропустил час молитвы.

Х а н. Это правда.

Ф а т и м а т. Я знаю ход, он идет под крепостью и выводит к подножию гор. Идем. (*Открывает потайную дверь в глубине зала справа.*)

Х а н (*не двигаясь с места*). Я не побегу.

Ф а т и м а т (*возвращаясь*). Что ты говоришь?

Х а н. Ты подруга царицы?

Ф а т и м а т. Да, и служанка пророка. А ты кто? Неужели учение Христа успело заразить тебя?

Х а н. Не знаю. Нет, учение Христа не заразило меня. Но я не побегу.

Ф а т и м а т (*ломая руки*). О Аллах, он не хочет бежать, не хочет! (*Приблизившись к нему.*) Хан, ты вынуждаешь меня сказать тебе правду. Я исполняю волю царицы.

Х а н. В самом деле? Таково ее повеление?

Ф а т и м а т. Да. Теперь ты согласен?

Х а н. Ты сказала, что царица заснула и ты взяла у нее ключ.

Ф а т и м а т. Я сказала так, щадя царицу. Не пристало царице помогать своим собственным пленникам совершать побег, потому я так и сказала. Она дала мне ключ и повелела: «Выпусти его!»

Х а н (*идет за ней к потайной двери*). Это меняет дело. (*Останавливается.*) Но тогда я должен поблагодарить царицу.

Ф а т и м а т. Хан, уже светает, скоро будет совсем светло. В крепости сейчас встают слуги, они вот-вот придут и раздвинут занавес. И тогда уже будет поздно.

Хан раздумывает.

Я слышу в переходах шаги, это слуги. Что ж ты медлишь? Хочешь, чтобы царица устыдилась своей доброты?

Х а н. Нет. (*Проходит в потайную дверь и спускается на несколько ступенек, оставаясь виден по пояс.*) Царица так и сказала: «Выпусти его»?

Ф а т и м а т (*сует ему в руки лампу*). Да. И дала мне ключ.

Х а н. Пусть будет так. О, царица знает, какую имеет власть, она знает, что связала меня.

Ф а т и м а т. Связала тебя? Ты знаешь, что она христианка?

Х а н. Она была ко мне очень милостива.

Ф а т и м а т. Царица? Побойся Аллаха! К лицу ли тувинскому хану такие речи? Я буду молить Аллаха, чтобы Он отвратил от тебя Свой гнев.

Х а н. Ты права, женщина. Я смиряюсь перед Аллахом и не сойду с начертанного Им пути.

Ф а т и м а т. Верно, ты не должен сходить с пути, начертанного Аллахом. Отыщи свой народ, хан, и вновь поведи его на врагов пророка. Ты знаешь эти горы?

Х а н. Я знаю, где укрывается мой народ.

Ф а т и м а т. Где же?

Х а н. На востоке, у Алагёза.

Ф а т и м а т. Если я могу тебе чем-то помочь, я это сделаю. У Алагёза тебя будет поджидать вестник.

Х а н. Да, пусть ждет несколько дней и ночей. А если нам удастся отвоевать мою крепость, пусть вестник приходит туда. Я чувствую, мне придется сражаться с большими силами.

Ф а т и м а т. Верно.

Х а н. Поклонись же от меня царице. Я вспоминаю ее голос, звенящий как струны.

Ф а т и м а т (*прислушивается; торопливо*). Иди. Ход выводит к крутому склону, усыпанному камнями, там тебя никто не найдет. К тому же над Ани сегодня густой туман.

Х а н. Поблагодари ее за меня.

Фатимат запирает за ним и покидает зал, скрывшись за дальним занавесом.

К н я з ь Г е о р г и й (*выходя из-за ближнего занавеса*). Аббат, ты уже вернулся? (*Прислушивается.*) Кто тут разговаривал? (*Прислушивается; подходит к окованной железом двери и стучит.*) Грузины, вы здесь?

Изнутри отвечают. Входят несколько слуг и откидывают занавес в глубине зала. Снаружи все застилает белый туман.

Аббат вернулся?

П е р в ы й с л у г а. Аббат в своей келье.

К н я з ь Г е о р г и й. Позови его.

Первый слуга уходит.

Это не вы тут сейчас разговаривали?

В т о р о й с л у г а. Мы не разговаривали, господин.

Князь Георгий. Кто-то разговаривал. Тут была царица?

Второй слуга. Царица? Мы ее еще не видели. Царица почивает.

Князь Георгий. Вы не слышали, царица ни с кем тут не разговаривала?

Второй слуга. Нет, господин. Царица еще не встала.

Князь Георгий. Тогда не шумите в переходах, чтобы не разбудить царицу. *(Садится.)*

Из-за дальнего занавеса выходит аббат.

Вы уже все там закончили?

Второй слуга. Мы все закончили.

Слуги удаляются.

Князь Георгий. Ну?

Аббат. Я вернулся только что, скакал всю ночь. Никто меня не видел, меня укрыли горы, укрыл туман.

Князь Георгий. Ты встретился с карским ханом?

Аббат. Я стоял перед карским ханом, и он внимал мне.

Князь Георгий. Но внял ли он моим словам?

Аббат. Он внял им.

Князь Георгий *(вскакивая)*. Внял?

Аббат. Он кланяется тебе и благодарит за письмо. Он пришлет тебе позже богатые дары.

Князь Георгий. Аббат, ты оказал мне важную услугу.

Аббат. Возможно, я бы и не оказал тебе эту услугу, если бы царица вчера не унизила и не оскорбила меня. Она сказала, что я подслушивал возле купальни.

Князь Георгий. Царица вчера оскорбила не тебя одного. Разве меня она не оскорбила?

Аббат. Она сказала это во всеуслышание, в присутствии приора.

Князь Георгий. Однако все мы слуги царицы, пусть даже она нас и оскорбляет, помни это.

Аббат. Все мы слуги царицы? Сегодня ночью я сослужил службу тебе.

Князь Георгий. Ты должен говорить о царице почтительно. Она никого не оскорбляет умышленно, кроме меня.

Аббат. Выходит, князь Георгий, в обиженных остаюсь я один? Царица позвала тебя?

Князь Георгий. Царица не звала меня. И я все равно бы послушался и не пошел; мой план остается в силе. Что ты обещал карскому хану?

Аббат. Все, что ты говорил и что написано в твоём письме: спокойно отдыхай до полуночи, сказал я, и тогда явится князь Георгий и поведет твоё войско на лагерь царицы и разобьет его в пух и прах. Хан отвечал: «Быть по сему».

Князь Георгий. О чем еще было говорено?

Аббат. Когда хан прочел, что царица холодно на тебя смотрит, он спросил: «Разве муж царицы настолько беден, что у него нет гарема?» Я ответил: «Князь Георгий никакой не язычник».

Зайдата *(выйдя из-за дальнего занавеса)*. Царица идет. *(Исчезает.)*

Князь Георгий. Царица? Так рано? Ее одолевает тревога, и ей не спится. Видно, тувинский хан дал ей вчера пищу для размышлений. О, я позабочусь о том, чтобы ей было о чем поразмышлять завтра; смиренно, смиренно она будет стоять здесь. Но знай, аббат, я не причиню ей никакого зла.

Аббат. Ты должен преподать ей урок.

Князь Георгий. Но соблюдая меру. Не торопясь. Прекрасны глаза ее, когда она в страхе. Ну а потом я брошу к ее ногам царство и возвеличу ее.

Аббат. Но только чуть погодя? Не сразу же?

Князь Георгий. Да пожалуй, сразу же. Тотчас. Ибо глаза ее еще прекрасней, когда она радуется... Аббат, что еще говорил карский хан и достойно ли он тебя принял? *(Встает.)* Пойдем, ты мне все расскажешь.

Аббат. Когда я говорил с ним, передо мной в два ряда стояли копыеносцы.

Князь Георгий и аббат покидают зал через главный вход. Входит царица, без чадры, в роскошном одеянии, со множеством браслетов и запястий; она достает ключ от окованной железом двери. Ее сопровождают Фатимат и рой прислужниц.

Царица. Пусть позовут приора... Ты видишь, Фатимат, над землей уже занялся день, отчего же мне было не встать?

Фатимат. Царица, ты поздно заснула, и сон твой был беспокоен из-за множества мыслей.

Царица. И однако ж, я выспалась... Странно, что на Ани опустился такой густой туман именно сегодня. Я была

бы рада, если б сегодня светило солнце; и все равно я рада... Все могут идти... Нет, не уходи, Фатимат, побудь здесь немного.

Прислужницы удаляются.

Сегодня царица совершит нечто, что тебя порадует. Я обдумала это ночью.

Ф а т и м а т. Да благословит тебя Аллах!

Ц а р и ц а. Да, и Аллах тоже. Я жду приора, чтобы он сказал свое слово. Ты не слышала, я не смеялась ночью во сне? Сон мой был светел, от меня отлетели печали.

Ф а т и м а т. Ты и лицом свежа, хоть сон твой был и недолог.

Ц а р и ц а. Свежа лицом? Отныне я буду носить в кармане зеркалаще, чтобы в него смотреться. Так ты говоришь, я свежа лицом?

Ф а т и м а т. Ты сияешь. Словно тебя обрадовали, очастливили.

Ц а р и ц а. Фатимат, я и о тебе позабочусь и возвышу тебя, и ты перестанешь грустить. Ты не слышала, я не разговаривала во сне?

Ф а т и м а т. Нет.

Ц а р и ц а. От меня отлетели все печали, как много лет тому назад в Тифлисе.

Ф а т и м а т. Ты уснула, закрывши лицо рукою.

Ц а р и ц а. Мне хотелось побыть одной.

П р и о р (*появляясь из глубины зала*). Ты призываешь меня в ранний час, царица, что-то случилось?

Фатимат уходит.

Ц а р и ц а. Нет, ничего не случилось. Царица сегодня счастлива. Иди же сюда.

Они присаживаются.

Досточтимый отец, мы воюем с тувинами. Но у них нет более предводителя, мы держим их повелителя в плену в этой крепости.

П р и о р. Это верно. Господь крепко помог тебе.

Ц а р и ц а. Негоже нам сражаться с обезглавленным войском. Я думала об этом ночью.

П р и о р. Негоже? Что ты хочешь этим сказать?

Ц а р и ц а. Я хочу дать свободу тувинскому хану.

П р и о р. Но за подобающий выкуп?

Ц а р и ц а. Нет, безо всякого выкупа. Я отпущу его, чтобы он мог вернуться к своему народу.

П р и о р. Ты этого не сделаешь.

Ц а р и ц а. Сделаю, досточтимый отец.

П р и о р. Но почему? Быть может, дитя мое, тобой движут тайные мысли, в которых ты не желаешь признаться?

Ц а р и ц а. Разве? Главное, что я даю хану свободу.

П р и о р. Главное — что побуждает тебя.

Ц а р и ц а. Досточтимый отец, ты стар, а я молода, мои глаза видят иначе, чем твои. Я вижу, что, если я дам хану свободу, это подействует на тувинов сильнее, чем железо и кровь.

П р и о р. Они возблагодарят Аллаха за чудесное спасение хана, вот и все.

Ц а р и ц а. А может быть, и не все. Они почувствуют приязнь к христианской царице, которая выказывает милосердие, и им будет уже не столь тяжело перейти под ее руку. Вот что видят мои глаза. А когда-нибудь об этом узнает и калиф.

П р и о р. Служители креста никогда так не воевали.

Ц а р и ц а. На этот раз я буду воевать именно так. Я позвала тебя, чтобы сообщить тебе о моем решении. Вот мое решение.

П р и о р (*встает*). Зачем ты позвала меня, дитя, — чтобы я выслушивал твои ночные мысли?

Ц а р и ц а. Князь Георгий вернулся, я и ему сообщу о моем решении.

П р и о р. Князь Георгий также отсоветует тебе это делать.

Ц а р и ц а. Не говори об этом с такой уверенностью. Князь Георгий странный правитель, раньше он был иным. Быть может, к нему вернется бывшая доброта и мой поступок придется ему по сердцу. Дай хану в дорогу красивого коня, скажет он.

П р и о р (*обдумывает ее слова*). Пусть будет так. (*Идет к выходу; оборачивается.*) Ты воюешь также и с карским ханом, намерена ли ты пощадить и его?

Ц а р и ц а (*подумав*). Нет.

П р и о р. Ну а этого молодого язычника, которого ты увидела вчера, его ты намерена пощадить. Ты что-то от меня скрываешь?

Ц а р и ц а. Я ничего не скрываю. Я возвращаю хану свободу.

П р и о р. Похоже, ты растаяла под его взорами.

Ц а р и ц а. Не знаю. Может, и под его взорами. Мое сердце устремилось к нему, он был так одинок. А другого хана у тувинов нет.

П р и о р. Твое сердце устремилось к нему. Тебе не следовало так говорить.

Ц а р и ц а. Да, да, мое сердце устремилось к нему. И сдается мне, оно все еще с ним.

П р и о р. Женщина, перестань. Этой ночью тебя посетили нечистые мысли.

Ц а р и ц а. Нечистые мысли? Нет, нет, светлые мысли, и куда чище, чем твои мысли сейчас. Ты забываешься, приор.

П р и о р. Я не забываюсь, ты — царица. Царица Грузии, ступившая на ложный путь.

Ц а р и ц а (*вскакивает; берет себя в руки*). Ты не судья мне.

П р и о р. Я смиренный служитель Христа в твоём доме.

Ц а р и ц а. Отныне ничто не связывает тебя с моим домом.

П р и о р. Во имя Иисуса. Ты вольна сделать со мною все.

Ц а р и ц а. А приором вместо тебя я поставлю аббата князя Георгия.

П р и о р. Да будет так. Вот я и снова монах среди моих монахов. Да благословит Господь каждое твое деяние, и это тоже. Аминь. (*Уходит через главный вход.*)

Ц а р и ц а (*глядит ему вслед, бросается на диван, но тут же встает*). Расскажу это Георгию. (*Направляется к ближайшему занавесу, передумав, поворачивает назад.*) Да нет, расскажу обо всем. (*Подходит к ближайшему занавесу и окликает.*) Георгий!

П е р в ы й с л у г а (*войдя*). Князь Георгий вышел.

Ц а р и ц а. Позови его.

Первый слуга уходит.

(*Озираясь.*) Никого, пусто. Я впущу его сюда. Так я и сделаю. А князю Георгию расскажу после. (*Оправляет свое одеяние, приподымает подол и смотрит на свои ноги; отпирает окованную железом дверь и зовет.*) Грузины, подойдите сюда!

Слышно, как звякнула цепь; на пороге появляются два узника, мгновенень спустя они падают ниц.

Позовите оттуда хана. Человека в черном, вы его видели.

П е р в ы й у з н и к. Хана? Его там нет.

Ц а р и ц а. Он в дальней темнице.

Второй узник. Он ушел, царица. Мы сами видели.

Царица. О чем ты? Позови хана.

Второй узник. Он ушел прочь, царица, там его нет. За ним еще приходила женщина.

Царица. Женщина? Когда это было?

Второй узник. Недавно. Перед самым рассветом.

Первый узник. У нее была лампа. Мы видели, как они выходили вдвоем.

Царица. Вы спали, грузины. Посмотрите получше, есть ли там кто.

Узники уходят.

Ушел? Никогда. (*Улыбнувшись.*) Это они видели, как царица заперла за ним дверь... Неужели он бежал? (*Кричит.*) Вы его видите?

Узники не отвечают ей.

Не видите?

Узники (*возвращаются и опускаются на колени; по очереди*). Нет.

Второй узник. Нет, царица, его увела женщина.

Царица. Женщина. Это была я?

Второй узник. Нет, женщина под длинной чадрой.

Царица (*вскрикивает*). Фатимат!

Первый узник. Она несла лампу. Это было совсем недавно.

Царица (*подходит к дальнему занавесу, зовет*). Фатимат! (*В волнении расхаживает по залу; узникам.*) Она несла лампу? Вошла к нему и они вместе вышли?

Узники (*по очереди*). Так оно и было.

Входит Фатимат.

Царица. Это была она?

Узники (*по очереди*). Да, это она.

Царица. Вы можете идти.

Узники уходят. Царица запирает за ними дверь, поворачивается к Фатимат и долго на нее смотрит.

Убери чадру, Фатимат.

Фатимат откидывает чадру.

Этой ночью ты отпустила на свободу тувинского хана.

Ф а т и м а т (*потупив голову*). Да, царица.

Ц а р и ц а. Тебе стыдно, ты опустила глаза. Тебе бы следовало сгореть со стыда.

Ф а т и м а т. Нет, царица.

Ц а р и ц а. Нет? А ты знаешь, что с этой минуты я вольна покарать тебя либо помиловать, ты это знаешь?

Ф а т и м а т. Знаю. Ты вольна сделать со мною все.

Ц а р и ц а (*бросается на диван*). Почему ты это сделала, Фатимат? Так-то ты отплатила мне за мою дружбу!

Фатимат молчит.

Ты решила бороться против моего Бога и одержать над Ним верх, доказать, что твой пророк могущественнее моего.

Ф а т и м а т. Это правда. Подле тебя хан начал забывать истинную веру, он поддался твоим чарам.

Ц а р и ц а. Что сказал хан? Куда ты его увела?

Ф а т и м а т. Я вывела его вон через ту дверь.

Ц а р и ц а (*всплескивая руками*). Потайной ход? Ты о нем знаешь? Да, ты немало выведала в моем доме!

Ф а т и м а т. И потому стала орудием спасения хана.

Ц а р и ц а. Молчи. Ты повела себя недостойно. Я уверена, что хан ушел против своей воли. Что он сказал?

Ф а т и м а т. Я не сделала ничего недостойного. Сам пророк напал на караван в священный месяц и не пощадил никого.

Ц а р и ц а. Твой пророк посрамил себя.

Ф а т и м а т (*вспыхнув*). Аллах да поразит тебя за эти слова!.. Что сказал хан? Ты думаешь, хан бежал против своей воли? Хан правоверный, он благословил меня за эту великую победу над твоим Богом.

Ц а р и ц а. Неправда... Ты не помнишь себя от волнения, Фатимат, мне жаль тебя.

Ф а т и м а т (*тронутая, бросается на колени*). Прости, царица!

Ц а р и ц а. С этого и надо было начинать. Садись.

Фатимат садится.

Нет, только не рядом со мною. Вон там.

Фатимат пересаживается.

Ты знаешь, что ты расстроила мой замысел заключить с тувинами мир?

Ф а т и м а т. Нет.

Ц а р и ц а. Если бы я сама дала сегодня хану свободу, то он и его народ перешли бы под мою руку и в мою веру.

Ф а т и м а т. Тем лучше, что я его выпустила, подстрекнув и дальше воевать с тобою.

Ц а р и ц а. Это правда?

Ф а т и м а т. Да.

Ц а р и ц а. А вот теперь берегись!

Ф а т и м а т. Почему? Ты захватила мою страну, угнала меня оттуда, а теперь потребуешь моей жизни? Возьми ее. Я тебя не боюсь. У нас в Эрзеруме говорили так: последний день на земле — первый день вечности.

Ц а р и ц а. Ты все еще взволнована своим вероломным поступком, я не должна этого забывать.

Ф а т и м а т. Я поступила не вероломно.

Ц а р и ц а. Очень вероломно. А хан — несчастный, с которым я обошлась слишком милостиво. Вчера он бежать не хотел, он сказал: «Я не сбегу». А ночью сбежал. Его молодая душа была исполнена лжи. Все вы, магометане, такие.

Ф а т и м а т (*вскакивая*). В священной войне мы не остановимся ни перед чем и ничего не убоимся. Мы, магометане, такие.

Князь Георгий и аббат появляются из глубины зала. Фатимат опускает чадру.

К н я з ь Г е о р г и й. Ты звала меня?

Ц а р и ц а. Этой ночью Фатимат освободила тувинского хана.

К н я з ь Г е о р г и й (*подавшись вперед*). Освободила хана? Фатимат?

А б б а т (*подходя ближе, с любопытством*). Послушаем, послушаем!

Ц а р и ц а. Покамест я спала. Она взяла ключ, что лежал возле моей постели, и выпустила его.

К н я з ь Г е о р г и й. Я же предлагал взять этот ключ на сохранение.

А б б а т. Вот это новость так новость.

К н я з ь Г е о р г и й. Возможно, мы его еще нагоним. Куда он пошел?

Ф а т и м а т. Вон туда. (*Показывает.*)

Ц а р и ц а. Потайной ход, Георгий. Она о нем знает.

А б б а т. Прости меня, я не могу молчать. Фатимат заходила к нему?

Ц а р и ц а. Да, с лампой.

А б б а т. И как долго она там пробыла?

Ц а р и ц а. Почему ты спрашиваешь?

А б б а т. Это вовсе не маловажно, сколько она там оставалась.

К н я з ь Г е о р г и й. Его нужно догнать. Если бы не туман, мы бы тотчас нашли его... Почему Фатимат все еще при тебе?

Ц а р и ц а. Фатимат? Не знаю. Я об этом не думала.

К н я з ь Г е о р г и й. Царица, у тебя в крепости есть два турка. И у них есть шелковый шнурок.

Князь Георгий в сопровождении аббата поспешно покидает зал.

Фатимат откидывает чадру.

Из-за дальнего занавеса выходят Георгий и Русудан. Они по очереди желают матери доброго утра, обнимают ее и целуют, после чего идут к Фатимат и также обнимают ее.

Ц а р и ц а. Ее не надо. Фатимат не надо. Только меня вы можете целовать.

Д е т и (по очереди). И Фатимат тоже. (Целуют ее.)

Ф а т и м а т. Да благословит вас Аллах.

Ц а р и ц а. Дети, почему вы ее целуете? Вы любите Фатимат?

Д е т и (по очереди). Да.

Ц а р и ц а (раздумывает, встает). Ради моих детей, Фатимат, я тебя прощаю. (Уходит за дальний занавес.)

Ф а т и м а т. Благодарю, царица. (Спешит за нею.)

Г е о р г и й. Будем сегодня играть здесь. Ну-ка ищи меня. (Прячется.)

Р у с у д а н (которая стояла отвернувшись, начинает его искать). Вот ты где.

Оба снова выходят на видное место.

Из глубины зала появляется т у в и н с к и й х а н; оглянувшись назад и по сторонам, он торопливо прикладывает пальцы к груди, губам и лбу.

Х а н. Не бойтесь, дети. Где ваша мать? Идите скажите ей... Нет, не надо, давайте лучше играть. Быть может, она сама придет. Услышит нас и придет. Мы же с вами вчера играли, не бойтесь, дети. (Прислушивается, растерянно смотрит в глубину зала.) Скажите вашей матери, что хан

вернулся. А теперь я спрячусь, но только вы меня не ищите. Милые дети, не надо меня искать. Скажите царице... (*Кидается прочь.*)

Появляется большая группа солдат, вооруженных копьями, и останавливается у входа, в зал проходят лишь двое, они озираются по сторонам.

Первый солдат. Сюда не заходил человек?

Дети молчат с заговорщическим видом.

Человек в черном?

Дети молчат.

Второй солдат. Мы не смеем искать здесь.

Первый солдат. Да, мы не смеем искать здесь.

Оба солдата направляются к выходу.

Георгий (*показывает, и Русудан следует его примеру*). Вы совсем не умеете искать. Вон он где.

Подходят еще несколько солдат, всматриваются, после чего все бросаются за колонны, откуда доносится звон мечей и копий, затем один-единственный вскрик.

Георгий и Русудан (*кричат по очереди*). Мама! (*Убегают за дальний занавес.*)

Первый солдат. Он уже не дышит.

Второй солдат. Где ж ему дышать, когда его про-
ткнули десятью копьями.

Первый солдат. Он храбро защищался. Кто-
нибудь ранен?

Голос. Да, и не один. Погляди!

Солдаты направляются в глубину зала. У многих копьё в крови. Торопливо входят царица и Фатимат; солдаты приветственно потрясают копьями.

Царица. Что я слышу — вы убиваете здесь людей?

Первый солдат (*выходит вперед и падает на колени*). Так приказал князь Георгий.

Царица (*всматривается; кричит*). Это хан?

Фатимат (*тоже всматривается и кричит*). Хан!

Царица. Откуда он здесь? Господи Иисусе!

Первый солдат. Мы не знаем, откуда он здесь. Мы видели, как он зашел, и пошли следом.

Царьца. Что ему здесь было нужно?.. Фатимат, это хан.

Фатимат (*окаменев*). Я вижу.

Царьца. Может быть, он еще дышит. Приподнимите его.

Первый солдат. Он уже не дышит. Его проткнули десятью копьями.

Царьца. Что вы наделали, солдаты, что вы наделали!

Первый солдат. Так приказал князь Георгий.

Царьца. Уходите, уходите. Найдите князя Георгия и скажите ему, что хан мертв.

Солдаты уходят.

Я этого не хотела, я обещала ему вчера жизнь. Как ты думаешь, почему он вернулся?

Фатимат откидывает чадру; молчит.

Моей вины в этом нет... Ты не отвечаешь, Фатимат.

Фатимат. Да, не отвечаю.

Царьца. У него открыты глаза, я закрою их.

Фатимат (*торопливо*). Позволь мне. (*Закрывает хану глаза.*)

Царьца. Я уберу цветами его темницу и положу его там покамест, как по-твоему? Какое несчастье, Фатимат!

Фатимат. Когда хан бежал, ты была больше удручена, чем теперь, когда он мертв, как же это?

Царьца. Молчи. Его смерть удручает меня.

Фатимат. Но не испытываешь ли ты отчасти и радость? Прости меня.

Царьца. Радость?

Фатимат. Оттого что хан, быть может, вернулся из-за тебя, ибо ты его связала.

Царьца. Да, почему же он вернулся? Быть может, и из-за меня. Ведь не из-за тебя же?

Фатимат. В тысячу крат скорее — из-за меня. Хан был правоверный, твои чары оставили его равнодушным.

Царьца (*с жаром*). Откуда тебе знать, Фатимат! Он не из-за тебя вернулся, ведь ты его не любила.

Фатимат. Что это ты говоришь?

Царьца. Нет, ты его не любила. И я не любила, но ты не почувствовала, насколько он одинок и насколько отзывчив, а я почувствовала. Он тронул меня.

Ф а т и м а т (*неволью*). Ты не настолько грешна, чтобы так говорить.

Ц а р и ц а. А что я такого сказала? Он подарил мне толику радости, впервые за много лет, и я снова ощутила себя молодой. Послушай-ка, что я сделала ради него этой ночью: я молилась за него Аллаху, чтобы он одержал победу над моим Богом. Я бранила твоего пророка за то, что он плохо берег его и попустил его плену. Я оделась сегодня красиво и пышно, чтобы вновь увидеться с ним, и я бы не покрылась чадрой.

Ф а т и м а т. Покрылась бы.

Ц а р и ц а. Нет. Я и вчера сняла чадру, он увидел меня без чадры и сказал: «Какая же красивая у грузин царица!» Мы стояли вон там, когда он говорил это. А еще он сказал, что я метнула в него звездами. Да благословит его Бог за добрые эти слова. Никому другому не метала я звезды, а в него метнула. Но а что говорил он тебе? Ему было за тебя стыдно, потому что ты предала царицу и склонила его к побегу. Потому, верно, он и вернулся назад, я ведь не предаю. Он увидел, что моя вера лучше твоей.

Ф а т и м а т (*вспыхнув*). Она не лучше. Хан был правоверный. Ты не покорила его своими речами и своим вежеством.

Ц а р и ц а. Что ты об этом знаешь? Он так сказал?

Ф а т и м а т. Да.

Ц а р и ц а. Тогда ты не поняла его. Ты ведь его не любила, как ты могла понять его слова.

Ф а т и м а т. Я любила его.

Ц а р и ц а. Ты?

Ф а т и м а т. Раз уж ты хочешь знать. И он был готов целовать мои туфли там, в темнице.

Ц а р и ц а. Нет, нет, неправда.

Ф а т и м а т. И он хотел, чтобы я тоже бежала с ним. Он сказал: «Бежим вместе!»

Ц а р и ц а. Он этого не говорил.

Ф а т и м а т. Хан был правоверный, он послал за мной, чтобы я пришла и вызволила его из христианской темницы. И тогда я пошла к нему, потому что любила его. Тебе больно, царица, оттого что он послал не за тобой, а за мной.

Ц а р и ц а (*ломая руки*). И вовсе он за тобою не посылал, слышишь? Я не стану украшать цветами его темницу, я оставлю его здесь, пусть так на полу и лежит, несчастный!

Ф а т и м а т. А могли он послать за тобой, мужней царицей в христианской стране? Ну а за мной он вернулся, чтобы мы бежали вдвоем.

Ц а р и ц а. Несчастный! Он говорил вчера, что у меня над ним власть и что мы забрели в заросли мандрагоры. Вероломный! Все вы, магометане, вероломные, и пророк ваш тоже вероломный.

Ф а т и м а т. Говори что хочешь, только порицать пророка не в твоей власти.

Ц а р и ц а. Твой пророк, который напал на караван в священный месяц! Живи он в наше время, я бы приказала его повесить.

Ф а т и м а т. Аллах да поразит твой язык за эти слова, и да отсохнет он!

Ц а р и ц а. Я прикажу бросить тело хана в подвал, пусть там и остается.

Ф а т и м а т. Тувины придут и заберут его.

Ц а р и ц а. Заберут? Ты думаешь, я отдам?

Ф а т и м а т (*с невольной мольбою*). Да, царица, отдашь. Они предложат богатый выкуп.

Ц а р и ц а. Я его не продам. Я прикажу вырыть могилу и опустить туда тело. Вниз головой. И чтоб над ним читали длинные христианские молитвы.

Ф а т и м а т (*сжимая кулаки*). Тогда берегись, царица Тамара, хан был убит в твоём доме, а в Тувине знают, что такое кровная месть.

Из глубины зала в сопровождении солдат появляются князь Георгий и аббат. Фатимат опускает чадру.

Ц а р и ц а. Кровная месть? Князь Георгий, эта женщина осмеливается угрожать мне, как мне с ней поступить?

К н я з ь Г е о р г и й. У тебя в крепости есть два турка, я тебе уже говорил.

Ц а р и ц а (*указывает на дальний занавес*). Уходи.

Фатимат уходит. Аббат шныряет по залу, пока не находит тело.

Хан мертв.

К н я з ь Г е о р г и й. Солдаты уже доложили мне.

А б б а т. Он лежит с разинутым ртом. У него открыт рот.

Ц а р и ц а. Не иначе, он собрался изречь новую ложь... Солдаты, отнесите тело в подвал и положите в гроб. У гроба выставить стражу.

К н я з ь Г е о р г и й. Зачем это?

Ц а р и ц а. Затем, что я не желаю выдавать тело тувинам. Так сказала царица.

Солдаты уносят тело.

Как видно, царица была слишком милостива.

К н я з ь Г е о р г и й. Я это всегда говорил.

Ц а р и ц а. Мне угрожают в собственном доме, попробовал бы кто-нибудь так говорить с калифом. Приор и тот вздумал перечить мне.

А б б а т. Приор? Неужто приор?..

Ц а р и ц а. Молчи. Он больше не приор, он снова монах.

А б б а т (*всплескивая руками*). Простой монах!

Ц а р и ц а. Князь Георгий, как тебе воюется с карским ханом?

К н я з ь Г е о р г и й. Я собираюсь в лагерь этой ночью.

Ц а р и ц а. Ты не слишком торопишься.

К н я з ь Г е о р г и й. Главное не опоздать.

Ц а р и ц а. И чтоб поменьше пленных и побольше убитых... Что ты на меня так смотришь? Ты слышал, что я сказала?

К н я з ь Г е о р г и й. Слышал.

Ц а р и ц а. Из-за своего милосердия я сделалась глупа и слепа... Тут в темнице два узника.

К н я з ь Г е о р г и й. Да, два грузина.

Ц а р и ц а. Повесить их.

К н я з ь Г е о р г и й. Повесить? Ты же подарила им жизнь.

Ц а р и ц а. Повесь их. Дай им одну ночь и еще один день, чтобы они приготовились.

Слышится барабанный бой.

Я слышу барабан. Кто идет?

Аббат устремляется к главному входу и выглядывает наружу.

К н я з ь Г е о р г и й. Если ты не выдашь тувинам тело хана, они отомстят. Фатимат права.

Ц а р и ц а. Фатимат кругом не права. Я достаточно сильна, чтобы разбить тувинов наголову.

А б б а т (*возвращаясь*). Царица, это люди из твоего лагеря. (*Снова спешит ко входу.*)

Ц а р и ц а. Под барабанный бой. Значит, Тарас дал битву и одержал победу.

К н я з ь Г е о р г и й. Тарас не дал битву. Я не отдавал ему такого приказа.

Ц а р и ц а. Значит, он обошелся без твоего приказа. А ты, что неизменно стоял во главе, опоздал. (*Подойдя к дальнему занавесу.*) Меседу, позови писцов.

К н я з ь Г е о р г и й (*подавленно*). Да, он побывал в битве, а я опоздал. (*Падает на сиденье.*)

А б б а т (*возвращаясь*). Это гетман с десятью солдатами.

Барабан умолкает. Царица всходит на свой трон. Появляется гетман с солдатами, они останавливаются у входа.

Ц а р и ц а (*кивает им*). Добро пожаловать, воины. Добрые ли вести?

Г е т м а н (*приблизившись*). Да, вести добрые.

Входят два писца — один из них — приор в монашеском одеянии — и располагаются со своими письменными принадлежностями у ног царицы.

Ц а р и ц а. Монах, дай мне взглянуть на твое лицо.

Приор поднимает голову.

Это ты? Почему же?.. Ладно, как знаешь.

А б б а т (*всплескивая руками*). Приор!

Ц а р и ц а. Докладывай, гетман.

Г е т м а н. Этой ночью, одержав новую победу, твои воины решили почтить тебя. Они провозгласили тебя мефе, царем.

Ц а р и ц а (*встает*). Царем? Ты слышишь, Георгий, — царем!

К н я з ь Г е о р г и й (*встает*). Слышу. Это дело рук Тараса.

Г е т м а н. Так постановило все войско.

К н я з ь Г е о р г и й. Но придумал Тарас. Он, видно, испугался, как бы царем не стал кто-то другой, и решил упредить его.

Ц а р и ц а. Ты шутишь, князь Георгий, тебя не радуют оказанные мне почести?

К н я з ь Г е о р г и й. Радуют. Вот только я не знаю, кто я теперь?

Ц а р и ц а. Ты?

К н я з ь Г е о р г и й. Прежде я был мужем царицы, а теперь, похоже, стал женою царя.

Г е т м а н. Други, да здравствует царь!

Крики «ура» и барабанный бой.

Ц а р и ц а. Это должен слышать мой сын. Приведите Георгия. Ему царствовать после меня.

Аббат поспешно уходит за дальний занавес.

Гетман, передай всему войску мою благодарность. Пока я жива, я не перестану гордиться великими почестями, которые вы мне оказали. (*Садится.*)

Г е т м а н. Далее, я имею доложить, что нынешней ночью мы одержали победу над карским ханом.

К н я з ь Г е о р г и й. Над карским ханом! (*Опускается на сиденье.*)

Ц а р и ц а. Да, князь Георгий, ты не был при этом. Я понимаю твое смятение.

Г е т м а н. Сам хан пал в битве.

Ц а р и ц а. Гетман, поистине, ты принес мне благие вести. Его войско разбито?

Г е т м а н. Оно разбито. Карс взят.

Ц а р и ц а. Князь Георгий, ты слышишь?

К н я з ь Г е о р г и й. Я слышу. Все для меня потеряно.

Г е т м а н. Теперь мы стоим лагерем в Карсе.

Ц а р и ц а. В самом Карсе. В столице нашего врага. Спрячься же, князь Георгий, спрячься получше!

К н я з ь Г е о р г и й. Довольно! Довольно!

А б б а т (*войдя*). Царица, Георгия нигде нет.

Ц а р и ц а. Ты должен теперь называть меня царем, меня провозгласили царем... Что, и в саду его нет?

А б б а т. Он ушел.

М е с е д у (*войдя*). Георгий ушел с Фатимат.

Ц а р и ц а. С Фатимат?

П е р в ы й с л у г а (*войдя*). Я видел, как они вышли. Они очень спешили и быстро скрылись в тумане.

Ц а р и ц а. С Фатимат? С ними была Русудан?

П е р в ы й с л у г а. Нет, они были вдвоем.

З а й д а т а (*приводит Русудан*). Русудан здесь.

Р у с у д а н. Я здесь.

Ц а р и ц а (*встает*). А Георгий ушел. Она взяла и увела его. Куда они направились?

П е р в ы й с л у г а. В горы. Они ушли в горы, царица, взявшись за руки.

А б б а т (*слуге*). Отныне ты должен называть царицу царем, она — царь.

Ц а р и ц а. Нет, нет, это одно и то же. Это Георгию быть царем. Но Георгий сейчас ушел в горы с Фатимат. Как ты думаешь, Меседу, может быть, они просто пошли погулять?

В зал сходится все больше слуг и прислужниц.

Р у с у д а н. Георгий ушел?

Ц а р и ц а. Тише, маленькая Русудан. Георгий отправился на прогулку, короткую прогулку.

А б б а т. Только бы Фатимат не повела его к...

Ц а р и ц а. К кому?

А б б а т. К тувинам. Она же сказала, у них существует кровная месть.

Ц а р и ц а (*кричит*). Нет, нет, аббат, замолчи! Уйди.

А б б а т. Прости меня, царь!

Князь Георгий, прислушавшись, вскакивает на ноги.

Ц а р и ц а. Гетман, ты можешь его найти? (*Сбегают по ступенькам и бросается к гетману.*) Иди найди его, гетман.

Г е т м а н. Если б мы хоть что-нибудь видели. Но в тумане за три шага ничего не видно.

К н я з ь Г е о р г и й. Аббат, мой план опрокинут, карское войско этой ночью было разбито. Я покидаю крепость.

Ц а р и ц а. О каком плане ты говоришь? Ты можешь найти Георгия?

К н я з ь Г е о р г и й. Я попытаюсь... Люди, мы уходим, я снова вас поведу.

Г е т м а н. Если царь нам приказывает?..

Ц а р и ц а. Да, да, я приказываю. Да благословит тебя Бог, Георгий, если тебе удастся его отыскать. Но, скорее всего, ты его не отыщешь, пожалуй, ты не станешь усердствовать. Почему ты не отвечаешь, ты сделаешь все возможное? Я в это не верю.

Г е т м а н. Царь, у меня есть еще одно важное донесение. Поважнее всех прочих.

Ц а р и ц а. Потом. Завтра. Сейчас важно только одно.

К н я з ь Г е о р г и й (*крестится на икону*). Прощай, Тамара.

Ц а р и ц а. Ты забыл свою шапку.

К н я з ь Г е о р г и й. Я не забыл. В этот трудный путь мне должно идти с непокрытой головой.

Ц а р и ц а. Не чуди, надень шапку.

Князь Георгий, гетман и солдаты уходят.

Ц а р и ц а. Он ушел простоволосый, сама я сижу сложа руки. Я тоже пойду на поиски. Георгий, где ты?.. Иди к себе, Русудан, иди, не стой здесь. Девушки, уведите ее.

Русудан уводят за дальний занавес.

Приор, что же мне делать?

П р и о р. Я не приор, царица... царь.

Ц а р и ц а. Конечно, ты приор, встань же. А я не царь, царем быть Георгию. Что я такого сделала, что меня поразило такое несчастье? Я порадовалась сегодня поутру маленькой радостью, маленькой трепетной радостью, только недолго она продлилась... Приор, я попробовала быть гордой и жестокой, но из этого ничего не вышло, я больше не хочу быть жестокой. Эти два грузина не будут повешены, выпусти их, аббат, пусть идут на свободу. Ключ вон там. *(Показывает.)*

Аббат берет ключ и выпускает узников. Они падают перед царицей на колени.

Что пользы в жестокосердии! И Фатимат тоже не будет повешена. Фатимат просто-напросто отправилась с Георгием на прогулку в горы, скоро они вернутся назад... Приор, иди же и надень подобающее облачение — и будь моим добрым советчиком, как и прежде... Вы еще тут, грузины? Вы не должны бежать с поля битвы, вы ведь это сделали? Проводи их, аббат, и сними с них кандалы. И пусть они ищут в горах моего сына; и все, кто в крепости, тоже пусть ищут. *(С рыданиями бросается на диван.)*

В т о р о й у з н и к. Спасибо тебе, царица, за то, что ты сохранила нам жизнь.

Царица взмахом руки отсылает их прочь. Аббат уводит узников через главный вход.

П р и о р. Князь Георгий отправился на поиски твоего сына. Он непременно найдет его.

Ц а р и ц а. Ведь правда? Если кто-то и может его найти, то один князь Георгий: когда он за что-то берется, он царь и бог. Досточтимый отец, ты всегда был так мудр; ты говоришь, он найдет его?

П р и о р. Я буду молить об этом Господа.

Ц а р и ц а. Да, молись, молись. Я сама пойду на поиски. *(Встает и уходит через главный вход.)*

П р и о р. Пойдемте же вслед за царицей и вернем ее.

Все уходят.

АКТ ТРЕТИЙ

День спустя. Все по-прежнему одето туманом.

В зале стоят переговариваются п р и с л у ж н и ц ы. В глубине сцены, у самого подножия лестницы, стоит в дозоре п е р в ы й с л у г а.

З а й д а т а. Что ж, давайте приступим.

Ю а н а т а. Да, давайте приступим. Только мне жаль.

М е с е д у. А мне больше жаль царицу.

А б б а т (*появляясь из-за ближнего занавеса*). Девушки, что это вы собираетесь делать?

З а й д а т а. Мы должны вынести все цветы. Здесь больше не будет цветов. Так сказала царица.

А б б а т. А где царица?

М е с е д у. Она в своих покоях. Она горюет.

А б б а т. Если я знаю князя Георгия, то он отыщет и вызовет своего сына. А приора вы не видели?

З а й д а т а. Нет.

А б б а т. Но а вчера, девушки, вы его видели? Он простерся у ног царицы и записывал ее слова. Больно было смотреть, он же старик.

П е р в ы й с л у г а (*оборачивается и кричит*). Кто-то идет!

А б б а т. Что он там кричит?

П е р в ы й с л у г а. Эй вы там, сюда кто-то идет!

Аббат направляется ко входу.

З а й д а т а. Сюда кто-то идет, сюда кто-то идет. Иди и доложи, Меседу, может, это Георгий. (*Направляется ко входу*.)

А б б а т (*кричит*). Это Георгий!

М е с е д у (*ликуя*). Георгий! (*Убегает за дальний занавес*.)

З а й д а т а (*возвращаясь*). Ну что, оставим цветы как есть?

Ю а н а т а. Да, пускай их стоят.

Аббат возвращается вместе с первым слугой.

А б б а т. То-то будет в крепости праздник.

Ц а р и ц а (*входит в зал и направляется к главному входу, она идет как во сне, бормоча*). Георгий, Георгий, Георгий, Георгий.

Следом идет Русудан, за нею еще несколько человек — слуги, любопытствующие.

А б б а т. Говорю же, в крепости будет праздник. Зайдата, тебе бы не помешал по-настоящему большой праздник. Да и тебе, Софиат.

З а й д а т а. А почему?

А б б а т. Дети, вы заслуживаете того, чтобы порадоваться.

З а й д а т а. Вот ты бы взял и порадовал нас, аббат.

Девушки фыркают.

А б б а т. Я? Ай, Зайдата. Смотрю я на тебя, ты вся как огонь.

З а й д а т а. Пожалуй, аббат, ты нас ничем не порадуешь, ты слишком стар.

А б б а т. Отнюдь. Отнюдь. Молчи, Зайдата, если б ты только знала!

Снова фырканье.

А тебе, Софиат, в особенности не следует визжать в купальне. Вот ты и покраснела, дитя, а все оттого, что ты слишком громко визжишь. Это же стыд и срам; в купальне ты должна вести себя тихо.

С о ф и а т. Я визжу не больше других.

А б б а т. Да, Зайдата тоже визжит. А ты, Юаната, громко плещешься, я сам слышал. Дети, в воде вам подобает плескаться пристойно.

Снова фырканье. Тем временем царица встретила **Г е о р г и я** у подножия лестницы и заключила в долгие объятия. Георгия сопровождает **г е т м а н** со своими десятью солдатами. Царица возвращается в зал, ведя за одну руку Георгия, за другую — **Русудан**.

Ц а р и ц а. Аббат, Георгий вернулся. Девушки, глядите.

М е с е д у (*берет Георгия за руку*). С возвращением, Георгий.

А б б а т. Я только что говорил, что князь Георгий непременно его отыщет.

Ц а р и ц а. Да, а где же князь Георгий?

Г е т м а н (*выходя вперед*). У тувинов, царь. Он остался там.

Ц а р и ц а. Князь Георгий остался там? Почему же?

Г е т м а н. Вчера, проискавши с час, мы были окружены тувинами. Они рассыпались вокруг нас по склону горы, они взяли нас в плен.

Ц а р и ц а. Здесь, возле моей крепости?

Г е т м а н. Да, совсем близко от твоей крепости. Их укрывает туман, они могут подобраться к твоей крепости еще ближе, и ты не найдешь их, сколько бы ни искала... Они схватили нас и повели к шатру, где находился твой сын. Его разбудили, чтобы он встал и шел с нами.

Ц а р и ц а (*улыбнувшись*). Так ты спал, Георгий. Фатимат была добра к тебе?

Г е о р г и й. Да.

Ц а р и ц а. Она оберегала твой сон?

Г е о р г и й. Да.

Ц а р и ц а. Все ли были добры к тебе?

Г е о р г и й. Нет, не все.

Ц а р и ц а. Не все.

Г е о р г и й. Но Фатимат сказала, чтобы никто к нам не подходил.

Ц а р и ц а. Фатимат сказала, чтобы никто не смел к тебе приближаться?

Г е о р г и й. Да. А в руке у нее был кинжал.

Ц а р и ц а. У нее в руке был кинжал? Это она, наверное, чтоб не напали медведи?

Г е о р г и й. Да, наверное.

Ц а р и ц а. Теперь, дети, можете идти к себе. Присматривай же за ними, Меседу, и вы, девушки, присматривайте.

З а й д а т а. Цветы можно оставить?

Ц а р и ц а. Цветы. (*Улыбается.*) Да, Зайдата, теперь их могло бы быть и побольше.

Меседу уводит Георгия и Русудан. За ними уходят все слуги и прислужницы.

Ц а р и ц а (*садится*). Мое дитя избежало великой опасности; как я понимаю, Фатимат защищала его с кинжалом в руках. (*Гетману.*) Когда возвращается князь Георгий?

Г е т м а н. Он... я не знаю. Нам бы не удалось вызволить твоего сына, если б...

Ц а р и ц а (*охваченная дурными предчувствиями, медленно поднимается*). Что?

Г е т м а н. Князь Георгий заступил место своего сына.

Ц а р и ц а (*подавшись вперед*). Это неправда?

Г е т м а н. Он сам предложил это.

Ц а р и ц а. Что они с ним сделают?... Ты молчишь, гетман... Пусть позовут приора.

Падает на сиденье, аббат уже у дальнего занавеса.

Так вот почему он ушел с непокрытой головой. А я не поверила, что он сделает все возможное, я так и сказала. (*Покачивает головой.*)

Г е т м а н. Мы посчитали, будет лучше, если он займет место сына.

Ц а р и ц а. Да нет, не лучше. А может, и лучше. Почему несчастья обступают меня? Я отошлю тело хана тувинам, пышно обряжу его и отправлю им богатые дары, чтобы смягчить их... Нет, это не лучше, а, пожалуй что, хуже. Почему их обменяли?

Г е т м а н. Об этом просил князь Георгий.

Ц а р и ц а. Он пришел простоволосый и просил об этом?

Г е т м а н. Да... И тувинцы обменяли их более чем охотно. Твой сын — ребенок, от которого им мало проку; князь же Георгий — лучший из твоих воинов, и теперь они могут его убить.

Входят аббат с приором.

Ц а р и ц а. Вот оно что, теперь они хотят убить лучшего из моих воинов... Тувинцы вернули мне моего сына, приор, зато оставили у себя его отца.

П р и о р. Это на них похоже.

Ц а р и ц а. Он падет жертвой их кровной мести, что же мне делать? Я сама отправлюсь к тувинам и заступлю его место.

П р и о р. Они не пойдут на это.

Ц а р и ц а. Что ты такое говоришь?

П р и о р. Князь Георгий значит для тувинцев больше, чем ты. Прости, но я говорю как на духу.

Ц а р и ц а. Больше, чем я, — как это может быть? Ведь я же царица... Да-да, он значит больше. И всегда значил больше, но я была слепа и не видела этого. Неизмеримо больше. Теперь я ничто, я словно бы осиротела и ослабла. Он был таким сильным, могучим. *(Покачивает головой.)*

Г е т м а н. Царь, со вчерашнего дня у меня для тебя еще одно донесение. Может быть, оно тебя немного утешит.

Ц а р и ц а. Какое же?

Г е т м а н. А вот какое: если бы мы не напали на карского хана вчерашней ночью и не разбили его, нынешней ночью он бы напал на нас.

Ц а р и ц а. Вполне возможно.

Г е т м а н. У него был пособник в твоём собственном войске.

Ц а р и ц а. В моем войске? *(Качает головой.)* Нет. Откуда тебе об этом известно?

Г е т м а н. Из письма. Этот пособник намеревался повести на нас ханское воинство нынешней ночью, когда мы отойдем ко сну.

Ц а р и ц а. Гетман, а ты говоришь правду?

Г е т м а н. Я говорю правду.

Ц а р и ц а. Кто же этот пособник?

Г е т м а н. Князь Георгий.

Ц а р и ц а (*вскакивая*). Остерегись! Предупреждаю тебя, остерегись!

Г е т м а н. Так мне велено передать от Тараса.

Ц а р и ц а. От Тараса? Тарас послал тебя с этим донесением?

Г е т м а н. Да.

Царица растерянно смотрит на окружающих.

А б б а т (*испуганно*). Мне об этом ничего не известно.

П р и о р. Похоже, Тарас заблуждается.

Г е т м а н. Тарас не заблуждается. И я сказал царю сущую правду.

Ц а р и ц а. Так это то самое донесение, которое должно было меня утешить?.. И все же оно утешает меня, я чувствую, что освободилась от гнетущей мысли. Да, оно утешает меня. Пусть он себе там и остается, у меня есть мой сын. (*Принимается расхаживать взад и вперед.*) Пусть там и остается, я буду тувинах за это только благодарна. (*Останавливается.*) Почему князь Георгий вознамерился это сделать?

Г е т м а н. Чтобы нанести тебе поражение, царь.

Ц а р и ц а. А-а. (*Снова расхаживает взад и вперед; останавливается.*) Гетман, ты передашь Тарасу мой поклон.

Г е т м а н. Да.

Ц а р и ц а. Передай ему от царя, что князь Георгий... Скажи Тарасу, что царь исполнен за него гордости и благодарит его.

Г е т м а н. Да. (*Идет к выходу.*)

А б б а т. Как же это, царица, прости меня, не отсылай его. Ты только поразмысли, почему князь Георгий... Я не могу молчать.

Ц а р и ц а (*властно*). Нет, аббат, можешь.

П р и о р. Он говорил о письме. Избегай скоропалительных решений, дитя мое.

Ц а р и ц а. Да, письмо. Судьба наносит мне один удар за другим, и я начинаю принимать скоропалительные решения. (*Вслед гетману.*) О каком письме ты говорил?

Г е т м а н. О письме, которое мы нашли в кармане у карского хана.

Ц а р и ц а. Что в нем? Скажи Тарасу, пусть пришлет мне письмо.

Г е т м а н. Оно у меня с собой. (*Расстегнувшись, достает письмо из-за пазухи.*)

Ц а р и ц а. Оно у тебя с собой? Почему же ты мне его не вручил? Дай сюда письмо. (*Берет письмо и читает.*) Оно от князя Георгия. (*Садится.*)

А б б а т. Да. А доставил его я.

Ц а р и ц а. Ты?

А б б а т. Князь Георгий терпел великое притеснение. Ты ни слухала, что он говорил, ни замечала его терзаний.

Ц а р и ц а (*читает, удивленно улыбается*). Но это же... Георгий, родной! (*Вскакивая.*) Он пишет... Это правда, то, что он пишет, я ему противилась. (*Стискивает руки над головой.*) Спасибо тебе, Георгий, где бы ты сейчас ни был... Так это ты доставил его письмо?

А б б а т. Да.

Ц а р и ц а. И тебе спасибо... Князь Георгий, скорее всего, поступил худо, досточтимый отец, и все равно я ему благодарна, он сделал это ради меня, потому что любит меня. Он об этом пишет. Тебе этого не понять, досточтимый отец, а вот я понимаю.

П р и о р. А я нет.

Ц а р и ц а. Он хотел преподать мне урок, он ни за что на свете не хотел ничего у меня вымалывать, как его за это винить?

П р и о р. Он хотел обрушиться на твое войско.

Ц а р и ц а. Великий план, великолепный, никто еще не замышлял такого ради меня. Он хотел прийти сюда с войском и стать предо мной. (*Кричит.*) Георгий, Георгий! (*Читает.*) «Она противилась мне долгие годы и холодно на меня смотрит...» Этого больше никогда не будет. Никогда.

П р и о р. Стало быть, царица, ты полагаешь, князь Георгий посмел бы привести свой план в исполнение?

Ц а р и ц а. А как думаешь ты, аббат?

А б б а т. Я думаю, да.

Ц а р и ц а. Князь Георгий не стал бы похваляться, ты его не знаешь, досточтимый отец, слово его твердо как скала. Мы стояли на нашей кровле в Тифлисе — нас было только трое: он, солнце да я. Мы ездили верхами на большие базары — люди осыпали нас цветами и кричали от радости, потому что он был надежен как скала.

П р и о р. Они приветствовали тебя.

Ц а р и ц а. И его тоже. Ты помнишь, какой гул поднялся среди грузин? Он стоял рядом, он был выше меня, а когда расправил плечи и стянул шапку, сделался еще выше. Я скажу ему, напому ему об этом, когда он вернется. (*Со страхом.*) Ведь он вернется?

Молчание.

Вы молчите, опустили головы. Не молчи же, аббат, раньше ты говорил охотно и нередко говорил дело.

А б б а т. Если я знаю князя Георгия, то он вернется.

Ц а р и ц а. Ведь правда же, стоит ему только чего-нибудь захотеть... Солдаты, в подвале лежит умерший, принесите его сюда. Я обряжу его с пышностью и отправлю тувинам в знак моей дружбы. Я отправлю также много даров.

Гетман с солдатами уходят.

Будет ли он здесь этим вечером?.. Вы молчите. Конечно же, он будет здесь этим вечером. Приор, чем ты так озабочен?

П р и о р. Я скажу одно: ты не порадеешь нашей вере, если отошлешь тело хана.

Ц а р и ц а. Я освобожу Георгия.

П р и о р. Но не обратишь ни одного язычника.

Г е т м а н (*снова войдя вместе с солдатами*). Сюда направляются два офицера со свитой. Это я и хотел доложить.

Аббат устремляется ко входу.

Ц а р и ц а. Два офицера? От Тараса?

Г е т м а н. Нет, это не наши. Это два татарских офицера. Я плохо разглядел их в тумане.

Ц а р и ц а. Выстрой своих людей, чтобы я могла оказать им достойную встречу.

Гетман повинуется.

А б б а т (*возвращаясь*). Тувинь. Те самые два офицера, что были здесь и предлагали выкупить хана.

Ц а р и ц а (*обрадованно*). Посмотри, аббат, нет ли с ними князя Георгия.

А б б а т. Князя Георгия с ними нет.

Ц а р и ц а. Нет. (*Прижимает руку к груди.*) Какие, по вашему, они принесут мне вести? (*Не дождавшись ответа, поднимается по ступенькам и усаживается на трон.*)

Входят два татарских офицера с солдатами, у одного из офицеров на острие копья — белый плат. Оба они в белых тюрбанах и черкесах серого шелка, на поясе у них висят сабля и кинжал. На левом плече красуется пучок рыжих конских волос; пониже правого плеча в ряд нашиты пять газырей цвета хенны. Грудь украшена широкой золотой перевязью, на ногах — красные высокие сапоги. Остановившись у входа, они подносят пальцы к груди, губам и лбу и замирают в ожидании.

Царица подзывает их взмахом руки, офицеры приближаются с опущенными долу глазами. Солдаты остаются на месте.

Привет вам, офицеры. Кто вас послал?

Первый офицер. Привет тебе, высокая царица. Все тувинцы послали нас.

Царица. Чтобы предложить выкуп за вашего умершего хана?

Первый офицер. Это так. Мы были здесь два дня и две ночи тому назад, тогда наш хан был еще в живых.

Царица. Его убили не по моей воле.

Первый офицер. Твой муж, князь Георгий, велел убить его.

Царица. Нет, хан сам был виноват, он бежал. Кто сказал, что князь Георгий?.. Когда это случилось, моего мужа здесь не было.

Второй офицер. Не будем об этом спорить. Аллах допустил, чтобы хан умер, никто не избегнет предназначений Аллаха.

Царица. Князь Георгий у вас в плену?

Первый офицер. Он в наших руках.

Царица. Что вы требуете за князя Георгия?

Первый офицер. Живого?

Царица. Да-да, живого. Значит, он еще жив? Слава Богу!

Приор. Царица, ты не так повела разговор. Это ты должна требовать выкуп.

Царица. Что я должна потребовать, досточтимый отец?

Приор. Ты это знаешь, дитя. Прежде всего — переход в истинную веру.

Царица. Если вы, тувинцы, станете христианами, то получите тело вашего хана. Вы согласны креститься?.. Нет, ты же видишь, они не согласны, они закрывают лицо рукою.

Приор (*сурово*). Царица, ты должна вынудить их согласие, не отступая ни перед чем.

Царица. Но у них в руках князь Георгий, они могут сделать с ним все что угодно.

Приор. Это не имеет касательства к вере. Ты избрана Богом ввести христианство в этих странах.

Царица. Я попробую еще раз. Я попробую, а ты, досточтимый отец, слушай. (*Обращаясь к офицерам.*) Тувинцы, как смеете вы перечить мне? Разве вы не знаете, что я могу одолеть вас и силой заставить принять мою веру?

Первый офицер. Может быть, кого-то ты и заставишь, худших из нас. Но остальные, весь Тувин не покорится.

Царица. Я могу всех вас заставить, вы еще не знаете моего могущества. Вы думаете, что вольны делать все, что

ни пожелаете, — несчастные, вы же погибнете. Вы стоите возле моей крепости, как и вчера?

Первый офицер. Еще ближе, чем вчера. Нас укрывает туман, мы совсем рядом.

Царица. А если туман рассеется?

Первый офицер. Тогда мы уйдем.

Царица. Как только туман рассеется, я возьму и обрушу на вас всех моих воинов и освобожу князя Георгия.

Первый офицер. Царица, ты не станешь этого делать, ты для этого слишком мудра.

Царица. Не стану?

Первый офицер. В тот же самый миг князя Георгия пронзят десять копий. Твой гетман видел, его окружают копыеносцы.

Гетман. Я видел их.

Второй офицер. Не будем об этом спорить. Допустит Аллах, чтобы князь Георгий умер, и он умрет. Никто не избежит предначертаний Аллаха.

Царица. Десять копий... Досточтимый отец, я попыталась во второй раз, и безуспешно. Ты хочешь замучить меня до смерти, досточтимый отец, вконец истерзать меня. Я не смею долее испытывать их терпение.

Приор (*с одушевлением протягивает к ней сложенные руки*). Стой на своем, царица, не уступай. Пусть лучше офицеры уходят, не замирившись.

Царица. Но ты забываешь о князе Георгии.

Аббат. Я не могу молчать.

Царица. Что ты хочешь сказать?

Аббат. Приор сошел с ума.

Первый офицер. Мы надеялись, что ты отдашь нам сегодня тело нашего хана.

Царица. Бог мой, я и сама надеялась... Если бы я это сделала, как скоро был бы здесь князь Георгий?

Первый офицер. Очень скоро — князь Георгий неподалеку. Мы взяли его с собой, зная твою справедливость и что ты предложила бы за него выкуп.

Приор. Царица не станет его выкупать, прежде чем вы, тувинцы, не покоритесь ей. Вы слышали?

Второй офицер. Да, мы слышали.

Первый офицер (*царице*). Значит, ты и Фатимат не позволишь вернуться?

Царица. Фатимат? Нет. Она причинила мне много зла.

Первый офицер. Она сделала тебе и много добра.

Ц а р и ц а. Что ты об этом знаешь? Это ее стараниями князь Георгий оказался в плену.

П е р в ы й о ф и ц е р. Это стараниями Фатимат к тебе вернулся твой сын, иначе он был бы сейчас мертв. И это благодаря ей князь Георгий все еще жив.

В т о р о й о ф и ц е р. Это так.

Ц а р и ц а. Все это благодаря Фатимат? *(Раздумывает.)* Живя в моем доме, она сослужила службу моим врагам. Нет, обратно я ее не приму. Разве это не она похитила моего сына?

П е р в ы й о ф и ц е р. Фатимат спасла твоего сына, царица. Как ты думаешь, почему мы окружили в тумане твою крепость? Чтоб захватить твоего сына и отомстить тебе. И мы бы непременно нашли его. Фатимат привела его к нам, но она защищала его жизнь с кинжалом в руках.

Ц а р и ц а. Вот видите, я была права. *(Офицерам.)* Пусть Фатимат возвращается. Я отблагодарю ее.

П р и о р. Тут ты поступаешь неправильно, дитя мое, Фатимат — язычница.

Ц а р и ц а. Как я уже сказала, Фатимат может вернуться. Попросите ее об этом и передайте от меня поклон.

П е р в ы й о ф и ц е р. Но а князю Георгию вернуться нельзя?

П р и о р. Нет. Вы разве не слышали?

В т о р о й о ф и ц е р. Мы слышали. И мы не будем более гневить царицу.

П е р в ы й о ф и ц е р. Что ж, князь Георгий не будет молить тебя о пощаде.

Ц а р и ц а. Я знаю. Да это и ни к чему.

П е р в ы й о ф и ц е р. Может статься, ты сама запросишь у него пощады.

Ц а р и ц а. Что? Похоже, это угроза.

П е р в ы й о ф и ц е р. Больше нам приказано ничего не говорить.

Ц а р и ц а. Это прозвучало как угроза, досточтимый отец, ответь ему сам.

П р и о р. Пусть князь Георгий угрожает, если ему так хочется, князь Георгий не самое сейчас важное. Важнее всего, чтобы вы, тувины, вернулись назад к своему народу, раз вы решили противиться великой царице.

П е р в ы й о ф и ц е р. Так ведь и она противилась нам... Мы еще раз предлагаем тебе, царица, заключить перемирие: в обмен за князя Георгия мы требуем выдать нам тело хана и два года мира.

П р и о р. Требуем. Они требуют.

Ц а р и ц а. Они могли бы потребовать гораздо большего, все, что ни пожелают, — Бог мой, все, что ни пожелают. Но чем же они угрожают мне?

П р и о р. Этого я не знаю. Тебе не пристало выслушивать угрозы, позволь, я отвечу им.

Ц а р и ц а. Ответь им.

П р и о р. Ступайте, тувины, мы отпускаем вас с миром. А вашего хана царица похоронит, как принято у христиан.

В т о р о й о ф и ц е р (*в страхе*). Царица не сделает этого.

П р и о р. Я сам прочитаю над ним молитвы.

П е р в ы й о ф и ц е р (*горячо*). Тогда царица Тамара совершит величайшее преступление против тувинов, и мы не успокоимся до тех пор, пока ей за это не отплатим.

Прощаясь, оба офицера подносят пальцы к груди, губам и лбу.

В т о р о й о ф и ц е р. Царица, мы благодарим тебя за то, что ты допустила нас пред свое лицо. Но ты могла простереть на нас свою милость — ты этого не сделала, ты могла бы молвить нам слово милосердия — ты его не молвила.

Офицеры удаляются в сопровождении своей свиты.

Ц а р и ц а (*опустив глаза, в тревоге*). Они ушли.

П р и о р. Да, наконец-то. Но перед этим они чуть было не навязали тебе свою волю, да еще угрожали тебе.

Ц а р и ц а. Они ушли.

П р и о р. Да, тебе не хватило стойкости, вначале ты колебалась, и ты позволила Фатимат вернуться. Но ты не уступила в главном.

Ц а р и ц а. Я стою и думаю, что как раз в главном я уступила. Князь Георгий в опасности, а я его не спасла.

П р и о р. В великий день, что скоро грянет, с тебя не спросят, могла ли ты спасти своего мужа, но послужила ли ты нашей вере.

А б б а т. Гм. Тут я не совсем согласен.

Ц а р и ц а. И я тоже. Ты не знаешь меры, досточтимый отец, ты доволен, когда я отвечаю жестокостью на жестокость и обрекаю своего мужа на гибель. Почему ты не дашь мне насладиться сегодня счастьем? Разве я ликую от счастья каждый Божий день? Я не нарадуюсь на своего мужа, такое он написал мне письмо, на сердце у меня так легко и сладостно, от радости у меня заалелась грудь. Молчи, при-

ор, когда он вернется, я расцелую его и докажу ему свою любовь на тысячу ладов. На все мыслимые лады и до конца моей жизни. Ты мне не нравишься, приор, я устала холодно смотреть на князя Георгия, которого я люблю, ты больше не вынудишь меня это делать.

П р и о р. Ты думаешь, он бы осмелился прийти сюда с войском? Ах, женщина, он видится тебе верхом на коне, грешный и торжествующий, и сердце у тебя бьется.

Ц а р и ц а. Я не знаю, на что бы он осмелился, никто из нас не знает. Может быть, он бы пошел на попятный, хоть это был и великий план.

П р и о р. Так или иначе, а пощады он у тебя не просит.

Ц а р и ц а. Ты не понимаешь, приор, он терзается из-за своего письма, и моей пощады ему недостаточно. Тебе было бы достаточно, и аббату, и мне самой, — но не ему. С непокрытою головою он идет к моим врагам и просит о смерти... О, но вот это вот письмо, оно сегодня составило мою радость, как он этого не понимает, несчастный! Ничего он не понимает, только то лишь, что хотел совершить великое злодеяние... Гетман, принесите из подвала останки хана.

Гетман и солдаты уходят.

(Отходя к дальнему занавесу, зовет.) Меседу.

П р и о р (в ужасе). Царица, что ты задумала?

Ц а р и ц а. Спасти его. Разве тебе не понятно? Спасти его.

Входит М е с е д у.

Меседу, мы должны тотчас украсить носилки хана. А ну-ка все несите красные розы и сплошь покройте ими носилки. Срежьте все красные розы, что есть в саду. Ты поняла, Меседу? А после позовешь сюда всех музыкантов и танцовщиц — князь Георгий возвращается!

Меседу уходит.

П р и о р (потрясенный). Что ж, коли так, может, я больше преуспею среди твоих новоиспеченных подданных в Карсе?

Ц а р и ц а. Ты упорствуешь? Почему ты упорствуешь?

П р и о р. Здесь я не преуспел. Я подвизался у тебя долгие годы, но вера твоя не воссияла. Если в том моя вина, да смилуется надо мною Господь.

Ц а р и ц а. Ты устал, досточтимый отец, отдохни.

П р и о р. Всякий раз ты задумываешься: так поступает калиф, так он не поступает. Ты зовешь танцовщиц, когда хочешь веселья, — так поступает калиф. Ну а царь Московский, как поступает он? Об этом ты не задумываешься.

Ц а р и ц а. Царь Московский? Когда он хочет веселиться, он пьет.

П р и о р. Зато он исповедует истинную веру.

Ц а р и ц а. Поэтому я принимаю его посланцев с теми же почестями, что и посланцев калифа, пусть даже он этого и не достоин.

Гетман и солдаты вносят погребальные носилки. Гроб без крышки, зато целиком покрыт златотканым покрывалом. Покрывало без письмен.

Поставьте носилки вон туда. (*Показывает.*)

П р и о р. Далее, ты призываешь обратно язычницу Фатимат.

Ц а р и ц а. Потому что она пришла мне на помощь и спасла моего сына и моего мужа. Кроме того, я призываю ее назад, чтобы обратить в нашу веру, ты это прекрасно знаешь.

П р и о р. И ты думаешь, тебе удастся? Я знаю то, что я знаю: Фатимат кремень.

Ц а р и ц а. Что ж, я и сама кремень. (*Нетерпеливо.*) Ты нуждаешься в отдыхе, досточтимый отец. Ты пойдешь в Карс?

П р и о р. Значит, ты разрешаешь? Да вознаградит тебя за это Господь. Я и там буду неустанно трудиться и буду стоек.

Ц а р и ц а. Только возвращайся назад, приор. Когда пожелаешь, и поскорее. Иди с Богом.

П р и о р. И напоследок, царица: там, в Тувине, — люди. За каждого, кто умрет прежде, чем ты их окрестишь, ты будешь держать ответ. А такая возможность у тебя была. (*Уходит.*)

Появляется рой прислужниц, следом за ними Георгий и Русудан, все они несут красные розы, коими и принимаются убирать носилки.

Ц а р и ц а (*тихо*). До чего он суров, этот приор.

А б б а т (*постучав себя по лбу*). Я же сказал, он сошел с ума.

Ц а р и ц а. Нет, аббат, будем говорить о старике по-доброму. Он лучше нас, он молится за нас день и ночь, не смыкая глаз. Он превратился в тень. (*Подойдя к носилкам.*) Так, девушки, вы должны убрать носилки как можно лучше, покрыть их розами. Но только поторопитесь. Гетман, ты можешь отнести носилки в горы и вновь разыскать тувинов?

Г е т м а н. Да, царь. Тувины сами найдут меня.

Ц а р и ц а. Покричи их, если они тебя не найдут, и попроси их прийти... Пойдемте, дети, нам тоже нужно принарядиться, ваш отец возвращается.

А б б а т (*вслед царице*). Ты бы дала приору коня, царица, он превратился в тень, ему не дойти до Карса.

Ц а р и ц а. Да, коня. Аббат, позаботься, чтобы приору дали коня и слугу. Иди передай это. (*Уходит за дальний занавес с Георгием и Русудан.*)

Аббат выходит через главный вход.

Ю а н а т а. Вы только посмотрите на гетмана, он на нас и не взглянет.

М е с е д у. Тсс, Юаната, он великий гетман, он посланец царицы.

Ю а н а т а. Великий гетман, а ты умеешь улыбаться?

Г е т м а н. Улыбаться? Сейчас не время.

Ю а н а т а. Иди сюда, пособи нам.

Г е т м а н. Я не могу.

Ю а н а т а. Почему же?

Г е т м а н. Потому что царь мне этого не приказывал.

Ю а н а т а (*смеется*). Царь — да она забыла! Уж прости, что она про тебя забыла.

М е с е д у. Тсс, Юаната, за этим делом нам следует сохранять серьезность.

А б б а т (*войдя*). Тише, дети.

Девушки фыркают.

З а й д а т а. Ты смешишь меня, уходи прочь, мы заняты серьезным делом.

А б б а т. Я вовсе не хочу смешить тебя. Напротив, украшая носилки, ты должна сохранять серьезность.

З а й д а т а. Да ты же к нам принохиваешься, аббат. Стоишь и разглядываешь нас в свое удовольствие.

А б б а т. Ай, Зайдата, да и ты, Софиат, ай, какие вы шальные.

З а й д а т а. Ты бы постыдился, аббат. Старик ведь.

А б б а т. Я не старик, Зайдата, ты вовсе так не думаешь. Мы с тобой еще молоды.

З а й д а т а. А вот Меседу и Софиат — старухи.

А б б а т. Никакие вы не старухи. Вот стою я, гляжу на вас — вы все...

З а й д а т а. Как огонь?

А б б а т. Да, как огонь.

С о ф и а т. И мы визжим в купальне?

Фырканье.

А б б а т. Софиат, тебе не следует произносить такие слова. Ты от них краснеешь.

С о ф и а т (*усердно украшая носилки*). Ничего я не покраснела.

А б б а т. Ты такая юная, ты должна была застыдиться, оттого что покраснела у всех на виду. Вот же Зайдата не покраснела, — правда, она ничего такого и не сказала.

З а й д а т а. Я-то знаю, аббат, я и есть твоя возлюбленная.

А б б а т. Возлюбленная? Ну, я бы так не сказал. Очень может быть, что это другая. А ты уж себе и вообразила?

З а й д а т а. Конечно.

А б б а т. Ну и напрасно. И не стыдно тебе!

З а й д а т а. Обломи-ка мне этот стебель. (*Протягивает ему розу.*)

А б б а т (*пробует*). Его надо обрезать.

З а й д а т а. А у тебя что, нет кинжала?

А б б а т. Нет, кинжала у меня нет. Это сделает гетман. (*Хочет передать розу гетману.*)

З а й д а т а (*останавливает его и отбирает розу*). Гетман? Нет, царица ему этого не приказывала.

Фырканье.

Аббат, ты тоже должен носить кинжал.

А б б а т. Я ношу кинжал, когда я на войне.

З а й д а т а. Но ты, похоже, его не пускаешь в ход?

А б б а т. Не пускаю в ход? Вы что, не слышали, как я однажды выстоял против двадцати?

З а й д а т а. Нет. Расскажи.

А б б а т. Шестерых я уложил. Остальные пустились в бегство.

Смех.

З а й д а т а. Но аббат-христианин не должен был убивать тех шестерых.

С о ф и а т. Да, не должен был.

А б б а т. Ты, Зайдата, ничего в этом не понимаешь. А ты, Софиат, и подавно, ибо ты слишком юна. Разве у калифа нет дервишей и священников, которые убивают в битве?

З а й д а т а. Да. Но ведь христианин должен быть чуточку лучше, чем магометанин.

А б б а т. Тут ты права, Зайдата. А вот Софиат не права, она заклохоталась словно курочка — и так-таки ничего и не поняла. Все вы что малые курочки, одна Меседу держится серьезно и помалкивает. Это правильно, девушки, вы должны помалкивать и делать свое дело, как и велела царица. Вы скоро закончите?

М е с е д у. Да, скоро мы закончим.

А б б а т. Кстати сказать, Софиат проворнее всех. А кроме того, она самая милая, и у нее все такие же маленькие ручки. Впрочем, все вы проворные... А вот и музыканты.

Через главный вход заходят м у з ы к а н т ы и располагаются на полу возле окованной железом двери. Все они в одинаковых одеяниях из желтого шелка с черными шнурами, их инструменты — зурна, деревянная флейта с тремя тонами, барабан, а также струнные, скрипки и арфа. Музыканты сидят не шелохнувшись, в полном молчании.

Наверное, скоро придут и танцовщицы.

Ю а н а т а. А ты и обрадовался?

А б б а т. Ты тоже должна радоваться и не держать зла на сердце. Когда князь Георгий вернется, все в этой крепости позабудут свои печали.

Ю а н а т а. А танцовщиц на войну вы с собою брали?

А б б а т. Ты единственная, Юаната, кто рассуждает прямо как несмышленный теленок. Зачем же нам на войне танцовщицы? Там мы пускаем в дело мечи и копья.

Ю а н а т а. Когда ты уложил тех шестерых, ты, наверное, порядком испугался.

А б б а т. Я не из пугливых, и ты это знаешь.

Ю а н а т а. Откуда же мне знать?

А б б а т. Я ли вчера ночью не стоял перед карским ханом? А передо мной в два ряда выстроились копьеносцы.

Ю а н а т а. А что ты делал у карского хана?

А б б а т. Этого я не скажу. Я был посланцем князя Георгия, я доставил письмо о великом плане, который он со-

бирался привести в исполнение нынешней ночью, а больше я ничего не скажу.

Ю а н а т а. И что это был за великий план?

А б б а т. Он хотел преподать царице урок... Ты не должна спрашивать о таких важных вещах.

З а й д а т а. Аббат, посмотри-ка на танцовщиц, вон они идут.

Через главный вход заходят т а н ц о в щ и ц ы в развевающихся шелковых одеждах разного цвета и с золотыми повязками на лбу. В руках у них бубны. Они занимают место возле музыкантов и стоят не шелохнувшись, в полном молчании.

М е с е д у. Разложите-ка оставшиеся розы, а я пойду доложу царице, что мы закончили. *(Уходит за дальний занавес.)*

Ю а н а т а. Аббат, ты, наверное, считаешь, что танцовщицы красивее нас, ты глаз с них не сводишь.

А б б а т. Да, танцовщицы очень красивы.

Ю а н а т а. Это потому лишь, что они красивее одеты. Разве не поэтому, Зайдата?

З а й д а т а. Конечно, поэтому.

А б б а т. Ты не должна так говорить, Зайдата. Ты краше всего, когда на тебе нет никаких одежд, тебе же это известно.

З а й д а т а. Что он такое говорит! Откуда ты знаешь?

А б б а т. Знать я не знаю. Но ты должна благодарить Бога за то, что ты так красива безо всяких одежд.

М е с е д у *(войдя)*. Царица.

Входит ц а р и ц а, переодетая в тонкое отливающее платье из индийского шелка, рукава которого изукрашены камнями, а по бокам от пояса и до самого подола в ряд нашиты брильянты; волосы ее покрывает розовая фата с большим драгоценным камнем во лбу.

Танцовщицы низко кланяются.

Ц а р и ц а. Спасибо, девушки, вы убрали их великолепно. Гетман, а теперь бери носилки и ступай с Богом, позже я отправлю тувинам богатые дары. Когда найдешь князя Георгия, скажи, что его супруга ждет его. *(Отходит к иконе и крестится.)*

Тем временем гетман и солдаты уносят носилки.

М е с е д у. Вот, осталось несколько роз.

Ц а р и ц а. Это для князя Георгия. А сейчас, девушки, идите нарядите детей.

Все прислужницы уходят. Снаружи доносится шум.

(*Танцовщицам и музыкантам.*) Вы должны сегодня играть и танцевать на радостях, что князь Георгий... Что там происходит?

Крики, грохот, звуки трубы; г е т м а н стремительно возвращается назад с о л д а т а м и и носилками. Аббат устремляется ко входу.

Ц а р и ц а. Гетман, в чем дело?

Г е т м а н. Я не знаю, царь... Князь Георгий... он скачет...

Ц а р и ц а. Князь Георгий здесь... Играйте! (*Берет розы.*)

Приглушенно звучат струнные инструменты. Начинается танец. Он без прыжков, широких шагов, — неприметно перебирая ногами, танцовщицы плавно движутся одна вокруг другой, мимо другой. Снаружи раздаются громкие крики.

Что это? Пусть стража его пропустит.

Г е т м а н. Я видел, как князь Георгий затоптал конем двух стражников.

Ц а р и ц а. Зачем он это сделал?

А б б а т (*возвращаясь*). Он идет на нас войной. Он ведет полчище тувинов, они пускают в ход копья.

Ц а р и ц а. Он идет... с войском?

Гетман бросается к выходу. Музыка и танец становятся оживленнее, один раз вступает флейта, тихо позвякивают бубны. Туман рассеивается, вскоре горы в глубине озаряются солнцем, в зале делается светло.

А б б а т. Там идет схватка.

Ц а р и ц а. Что это означает?

Царица подымает руку, музыканты тотчас прекращают игру, а танцовщицы останавливаются и возвращаются на свое место. Шум все нарастает, топот, крики, барабанная дробь, потом доносится звон мечей.

А б б а т. По-моему, князь Георгий приводит сейчас свой великий план в исполнение. (*Бросается к выходу.*)

Ц а р и ц а. Но почему сейчас? В этом не было никакой нужды.

Г е т м а н (*возвращаясь*). Царь, князь Георгий идет на нас войной. Нам прийти на подмогу твоим людям?

Ц а р и ц а. Да, поторопись. Зачем же он это делает? (*Кричит вдогонку.*) Гетман! Вы не должны... Вы должны просто стоять поблизости от него с копьями, но вы не должны... Гетман, оставайтесь здесь.

А б б а т (*возвращаясь*). Царица, он убивает твоих людей. Тувины бьются как бешеные, они уже у самой крепости. С ними Фатимат.

Ц а р и ц а. Гетман, иди взгляни.

Гетман спешит к выходу.

Он пошел на это ради меня. Больше его ничто не заботит. Ты видишь, аббат, он таки осмелился!

Г е т м а н (*торопливо кричит на ходу*). Он берет над нами верх!

Ц а р и ц а. Разумеется, он берет верх. Я это знаю.

Аббат снова оказывается у входа и выглядывает наружу; он то и дело издает легкие вскрики и пятится назад, по мере того как сражающиеся приближаются к крепости.

А б б а т. Те два грузина, они бросились на него. (*Машет руками.*) Прочь, грузины! Вот упал один... Царица, они его окружают.

Ц а р и ц а. Кого окружают?

А б б а т. Князя Георгия. Гетман, ступай ему на выручку.

Ц а р и ц а (*вскрикнув, берет себя в руки*). Нет, пусть они его не окружают. Аббат, крикни им.

А б б а т (*стоит сейчас посреди зала*). Он снова их раскидал. Царица, иди взгляни, как он отбивается.

Ц а р и ц а (*подойдя к нему*). Где князь Георгий? А, вон он. (*Стискивает руки и кричит.*) Георгий!.. Он без шапки, отнеси ему шапку, аббат, чтоб он не походил на простого солдата.

А б б а т. Он же меня зарубит.

Г е т м а н. Разреши мне.

Ц а р и ц а. Нет, я сама ему отдам чуть погоды. А ты, гетман, крикни нашим людям, чтобы его не ранили.

А б б а т. Они уже у лестницы.

Г е т м а н. Шум стихает, он одолел наших людей.

А б б а т. Да, мы окружены.

Г е т м а н. Царь, у меня есть десять человек, что, нам оставаться на месте?

Ц а р и ц а. Встань у входа, чтобы вошли не все.

Гетман подходит к своим людям.

Аббат, ты верил в это? Он как скала.

А б б а т. Он привел свой план в исполнение. Что-то теперь будет? Он поворачивает коня, он едет сюда... въезжает. *(Отпрядывает.)*

Князь Георгий внезапно взлетает вверх по лестнице и осаживает коня у крайних колонн; рядом с ним и позади толпою бегут тувинцы, в их числе два татарских офицера, Фатимат тоже с ними; все останавливаются. Музыканты и танцовщицы с воплями сбиваются в кучу, солдаты гетмана отходят в сторону.

Князь Георгий *(пристально смотрит на царицу; выждал)*. Посмотри на меня, Тамара. Вот он, твой муж.

Ц а р и ц а. Я вижу.

Князь Георгий. Посмотри хорошенько.

Ц а р и ц а. Я вижу, Георгий. Я принесла тебе твою шапку, надень же ее. А это тебе цветы. *(Подходит к нему.)*

Князь Георгий. Ты нехорошо делаешь, что вновь унижаешь меня.

Ц а р и ц а. Мне — унижать тебя? Добро тебе пожаловать. И тебе добро пожаловать, Фатимат.

Фатимат падает ниц и целует ее руку.

Князь Георгий. Знай, что я пришел сюда с войском и твоя крепость окружена. Шапку же свою я возьму и надену. *(Берет у нее шапку и покрывает голову.)*

Ц а р и ц а. Прими и цветы, Георгий.

Князь Георгий. Хватит насмехаться. Тувины требуют сейчас тело своего хана; погляди на них, в руках у них оружие.

Ц а р и ц а. Оружие им ни к чему. Я как раз собиралась отослать тело хана тувинам. Вон стоят носилки, они украшены.

Князь Георгий *(помолчав, сраженный)*. Если так... Тувины, вон стоят носилки, они украшены, царица собиралась их вам отослать. *(Слезает с седла и стоит склонив голову; чуть погодя он снимает шапку.)*

Коня уводят.

Второй офицер *(в знак приветствия подносит пальцы к груди, губам и лбу)*. Мы хотим поблагодарить тебя, высокая царица, за эти цветы на носилках.

Ц а р и ц а. Тувины, я была не права, когда отклонила ваше столь справедливое пожелание.

В т о р о й о ф и ц е р. И за эти милостивые слова мы также благодарим тебя, великая царица.

Ц а р и ц а. Это мне следует благодарить вас, ибо вы позволили князю Георгию вернуться назад. *(Легонько притягивает к себе князя Георгия.)*

К н я з ь Г е о р г и й. Меня не введет в заблуждение твоя кротость, я знаю, что меня ждет. Что ж, давай говори.

Ц а р и ц а. Что я должна говорить?

К н я з ь Г е о р г и й. Аббат, я все-таки потерпел поражение, мой великий план не удался. Все верно, я играл с огнем и искал свою гибель — и нашел ее.

А б б а т. Гм. Тут я не совсем согласен.

Ц а р и ц а. О какой гибели ты говоришь? *(Обвивает его шею руками.)* Я люблю тебя, Георгий, за все, что ты сделал.

К н я з ь Г е о р г и й. Любишь? Я не ослышался?

Ц а р и ц а. Да, люблю.

К н я з ь Г е о р г и й. Это невозможно. За все, что я сделал? Я послал письмо карскому хану, где предлагал положить на месте твоих солдат; когда это не удалось, я напал на тебя в твоей крепости.

Ц а р и ц а. Но ты же пошел на это ради меня.

К н я з ь Г е о р г и й. Да. То есть нет. Вовсе нет. Кто это сказал? Ты не должна была знать об этом. Ты проболтался, аббат?

Ц а р и ц а. Так написано в твоём письме.

К н я з ь Г е о р г и й. В письме — письмо найдено?

Ц а р и ц а. Да-да, оно у меня. *(Показывает письмо.)* Это было хорошее письмо, я словно бы перенеслась в Тифлис.

К н я з ь Г е о р г и й. В Тифлис?

Ц а р и ц а. Той поры, когда мы были совсем юными и ты любил меня.

К н я з ь Г е о р г и й *(не трогаясь с места)*. Тамара!

Ц а р и ц а. Приди же, Георгий, я люблю тебя.

Они обнимаются.

Прими цветы, они твои. И я больше не брошу на тебя ни одного холодного взгляда.

К н я з ь Г е о р г и й *(принимает цветы)*. Тувины должны это знать. *(Направляется к выходу, но тут же возвращается за царицей и ведет ее за собой.)* Тувины! Сердце царицы принадлежит мне, как в дни нашей юности, в Тифлисе, так она сейчас говорит, отдавая мне свое сердце; цветы эти я получил от нее. *(Обрывает свою речь и обращается к цари-*

це.) Тамара, да благословит тебя Бог! Ты от меня отдалилась, я хотел вернуть тебя и совершил безрассудный поступок.

Ц а р и ц а. Ты совершил свой самый лучший поступок.

К н я з ь Г е о р г и й. Тувинь! Царица украсила носилки, возьмите их с собой куда пожелаете и ступайте с миром.

Ц а р и ц а. Позже я пошлю вам дары, тувинь, ибо вы обошлись со мною великодушно.

П е р в ы й о ф и ц е р. Царица, небольшое перемирие было бы наилучшим даром.

В т о р о й о ф и ц е р. Это правда. Мы просим не два, а всего один год мирной жизни.

Ц а р и ц а. Если вы того желаете, то получите и два года. Аббат, пусть позовут писцов.

Аббат уходит за дальний занавес.

К н я з ь Г е о р г и й. Все верно, Тамара, два года их выручат.

Ц а р и ц а. А еще я пошлю вам еду и одежду, чтобы эти два года вы не терпели нужду.

В т о р о й о ф и ц е р. Мы кланяемся тебе до земли, великая царица, и благодарим за твое милосердие.

Два татарских офицера теперь тихо переговариваются между собой и со своими солдатами.

Входит аббат с писцами, которые располагаются возле царского места. Царица поднимается на свой трон; все присутствующие гурьбою подходят ближе, лишь тувинь остаются стоять, где стояли.

Ц а р и ц а (*диктует*). Запишите, что с этого дня со всеми, кто населяет Тувин и с кем я воевала, на два года заключается перемирие. (*Пауза.*) Запишите далее, что из владений царицы тувинь будут получать еду и одежду, дабы эти два года они не терпели нужду.

Входят нарядные Георгий и Русудан.

К н я з ь Г е о р г и й (*идет им навстречу и обнимает их*). Георгий! Мои дети! Русудан — маленькая Русудан! (*Подводит их к дивану, на который они втроем усаживают; поровну раздает своим детям цветы.*)

Ц а р и ц а (*диктует*). Сие царица скрепляет своей печатью. (*Делает знак рукой.*) Офицеры, подойдите поближе.

Оба офицера подходят.

Фатимат отходит к Георгию и Русудан, те бросаются к ней с цветами.

Второй офицер (*первому*). Ты будешь говорить?

Первый офицер. Нет, говори ты.

Второй офицер. Пусть будет так... Нам думается, царица, ты настолько могущественна, — мы перед тобою ничто. Наш последний хан умер, а никого другого, вокруг кого мы могли бы сплотиться, у нас нет. Ты бы позволила нам жить в мире и хранить нашу веру, перейди мы под твою руку?

Царица поднимается, встает и князь Георгий; все прислушиваются.

Фатимат (*выходя вперед*). Что ты говоришь? За кого ты говоришь?

Второй офицер. Мы только что посоветовались об этом, я говорю за всех нас.

Фатимат. Вы же сегодня одержали победу. Ты устал, старина.

Второй офицер. Разве нам поможет, что мы сегодня одержали победу? У царицы в Тувине большое войско и большое войско в Карсе, через два года она разобьет нас и все мы погибнем. Сегодня мы победили потому, что нас повел князь Георгий. Если он нападет, нам не сдержать его натиск, он разит как молния.

Царица подзывает князя Георгия, они совещаются.

Фатимат (*первому офицеру*). Ты тоже устал?

Первый офицер. Я не устал, никто из нас не устал. Но рука у царицы мягкая, и это нам по душе.

Второй офицер. Мы что овцы в горах, мы забыли, как выглядят наши поля, и наши виноградники уже не наши. По ночам мы в Тувине сидели слушали музыку, а здесь мы ее не слышим.

Князь Георгий отходит от царицы и посылает аббата за дальний занавес; немного погодя аббат возвращается с двумя большими ключами, один побольше, другой поменьше.

Цар и ца. Тувины, если вы и вправду желаете перейти под мою руку, то вы окажете благодеяние самим себе, а мне доставите великую радость. Я не устану выказывать вам свою милость.

Оба офицера (*по очереди*). Мы этого желаем.

Голоса тувинских солдат: «Мы этого желаем».

Ц а р и ц а (*писцам*). Запишите это.

В т о р о й о ф и ц е р. Но все мы молим тебя не принуждать нас креститься.

Ц а р и ц а. Обещаю вам. Никакого принуждения.

Ф а т и м а т. И не вводить вашу веру.

Ц а р и ц а. Насильно — нет, я и так уже злоупотребила силой. Но не думаете ли вы, офицеры, что мало-помалу... может быть, когда мы получше узнаем друг друга?..

Ф а т и м а т. Никогда.

В т о р о й о ф и ц е р. Ты кроткая царица и не пожелаешь нам зла.

Ц а р и ц а. Я обещаю наставлять вас в моей вере и моем учении, и вы сможете выбрать.

В т о р о й о ф и ц е р. Да будет так.

Ц а р и ц а. Запишите это.

В т о р о й о ф и ц е р. Мы не можем вручить тебе в знак нашей покорности ключи от нашего города, ими уже завладел князь Георгий.

Ц а р и ц а. Так вы получите их назад. Возвращайтесь в свою страну и в свой город; и пусть вам живется как прежде. (*Принимает у князя Георгия ключи и вручает их второму офицеру.*)

Оба офицера и солдаты из их свиты, стоящие у входа, на мгновение падают на колени.

Гетман, ты и твои люди можете проводить моих новых подданных домой. А через три дня и три ночи я сама прибуду в Тувин.

Ф а т и м а т. Значит, все кончено?

В т о р о й о ф и ц е р. А что бы ты хотела, чтобы мы сделали? Царица вернула нам ключи от Тувина, она наша мать.

Ф а т и м а т. Ай-ай, вы же одержали победу.

В т о р о й о ф и ц е р. Потому что нас повел князь Георгий.

Ф а т и м а т. А теперь он одержал верх над вами. Не таков ли был его великий план с самого начала? Разве он не сидел и не говорил с вами этой ночью и не склонял вас сложить оружие?

В т о р о й о ф и ц е р. Князь Георгий — великий военачальник, он увидел, что нам приходится туго и нам не выстоять против царицы.

Ц а р и ц а (*спускаясь со своего возвышения*). Георгий, так это ты уговорил тувинов?

Ф а т и м а т. Вы могли отрубить ему голову, когда он был в ваших руках.

Ц а р и ц а. Фатимат, что ты говоришь? Ты же спасла его?

В т о р о й о ф и ц е р. Она спасла его.

Ц а р и ц а. И сына моего тоже спасла.

Ф а т и м а т. Я выполняла волю Аллаха.

Ц а р и ц а. Фатимат, я буду благодарна тебе до конца моих дней. Ты совершила великое и доброе дело.

Ф а т и м а т. Ну-у, должен же магометанин быть чуточку лучше, чем христианин.

Ц а р и ц а. Я постараюсь быть такой же доброй, как ты, Фатимат... Вы свободны, писцы.

Писцы уходят.

Тувинь, ступайте же с Богом. Я шлю привет всем, кто населяет Тувин. Когда я прибуду в ваш город, мы напишем и скрепим наш договор.

Оба офицера направляются к выходу.

Гетман, пусть шествие с носилками хана возглавит твой барабанщик.

Участники шествия выстраиваются.

Барабанный бой. Оба офицера подносят пальцы к груди, губам и лбу.

В сопровождении гетмана и его солдат тувинь покидают зал. Оставшиеся посылают им прощальные приветствия, пока не затихает бой барабана.

Ты одержал еще одну славную победу, Георгий, спасибо и за нее... А теперь играйте, музыканты, пусть девушки танцуют. Сегодня в крепости праздник. *(Усаживается вместе с князем Георгием и своими детьми.)*

Игра на струнных инструментах. Танец.

Ф а т и м а т. Тувинь ушли, мне идти за ними? Что мне делать?

Ц а р и ц а. Фатимат, ты спрашиваешь, что тебе делать? Ты хочешь уйти? Оставайся у меня навсегда. Проси меня о чем хочешь, и ты это получишь; ни в чем тебе не будет отказа. Жди меня в моих покоях.

Ф а т и м а т *(в сильном волнении).* Спасибо тебе, ты так добра ко мне. *(Убегает за дальний занавес.)*

Г е о р г и й. Мы пойдем к Фатимат. *(Берет за руку Русудан и уходит.)*

Пауза. Звучит лишь музыка, да продолжается танец.

Ц а р и ц а. Ты улыбаешься, аббат.

А б б а т. Я стою смотрю на твоих танцовщиц. Они сегодня в ударе.

Ц а р и ц а *(улыбнувшись)*. Так радуйся же. Будем сегодня радоваться.

А б б а т. Но в особенности хороша вон та.

Ц а р и ц а. А не довольно ли?

К н я з ь Г е о р г и й. Да.

Ц а р и ц а *(подымает руку)*. Спасибо, девушки, спасибо, музыканты. Довольно.

Музыка и танцы прекращаются; танцовщицы низко кланяются; все удаляются через главный вход.

Постояв, аббат срывается вслед за ними.

(Встает.) Пойдем?

К н я з ь Г е о р г и й *(тоже встает)*. Да. *(Не двигается с места.)*

Ц а р и ц а. Ну что же ты стоишь и глядишь на меня и ждешь. Георгий, я люблю тебя, я пойду туда, куда пойдешь ты. *(Обвивает его рукой и уводит за ближний занавес.)*

На заросших
тропинках

Перевод
Норы Киямовой

PÅ GJENGRODDE STIER

1949



Год 1945-й.

26 мая начальник полиции Арендала явился в Нёрхолм и объявил, что берет мою жену и меня под домашний арест — на тридцать дней. Я предупрежден не был. По его требованию жена отдала ему мое огнестрельное оружие. Потом уже я письменно уведомил его, что у меня есть еще два больших пистолета, привезенных с последней олимпиады в Париже, он может забрать их когда угодно. Я написал также, что домашний арест, видимо, не следует понимать буквально, ведь у меня большая усадьба и хозяйство, которое требует присмотра.

Спустя какое-то время приехал помощник ленсмана из Эйде и забрал пистолеты.

14 июня меня увезли из дому в Гримстадскую больницу; жену мою за несколько дней до того отправили в женскую тюрьму в Арендале. Так что присматривать за усадьбой я уже не мог. Это было тем более досадно, что все хозяйство пришлось временно перепоручить совсем еще молодому парнишке. Но ничего не поделаешь.

В больнице молоденькая медсестра спросила меня, может быть, я сразу прилягу, — дело в том, что «Афтенпостен» сообщила, будто здоровье мое «пошатнулось и я нуждаюсь в уходе». Благослови вас Бог, дитя, я не болен, сказал я, в вашу больницу не поступало человека здоровее, я всего-навсего глух! Наверное, она приняла это за бахвальство. Она не поддержала разговор. Да, не захотела со мной разговаривать. И пока я находился в больнице, так же вели себя, хранили молчание, все медсестры. Единственным исключением была старшая сестра, сестра Мария.

Я брожу по территории больницы. На холме — старое здание, внизу — новое, собственно больница. Я живу на холме, в одиночестве, второй этаж занимают три молоденькие медсестры, больше в доме — никого.

Я хожу и смотрю. Вокруг много дубов, но много было и вырублено в свое время — пни выбросили дикие побеги, которым уже не стать деревьями. К западу во множестве разбросаны мелкие хутора.

Полицейский, доставивший меня сюда, предупредил, что я не должен выходить «за порог этой комнаты». Видимо, это тоже не следует понимать буквально, но мне хочется быть послушным и примерным арестантом, и я не рискую отойти даже на расстояние брошенного камня. Удивительно — никогда, ни в одной стране мне не приходилось иметь дело с полицией, а ведь я постранствовал-таки по свету, да, мне довелось ступить на четыре материка из пяти, и вот в мои преклонные годы я арестован. Что ж, если этому суждено было случиться, то именно сейчас, пока я еще не умер.

Дни тянутся один за другим. Три молоденькие медсестры — собственно, они еще учатся на сестер — по очереди поднимаются на холм, приносят мне поесть. И, развернувшись на каблуках, исчезают. «Большое спасибо!» — кричу я вслед. Немножко одиноко, но я привык к одиночеству, со мной и дома не разговаривают, потому что я оглох и стал в тягость. Поев, я выставляю поднос с пустыми чашками в коридор, чтобы их забрали.

Заняться нечем, кроме как снова выйти пройтись или же сесть за пасьянс. Никакого чтения с собой я не взял, а газеты мои не пришли. Спустя несколько дней я спрашиваю одну из девушек:

— Я видел, приходил почтальон. Что, газет для меня не было?

К моей радости, она отвечает, отвечает громко и внятно, но она говорит:

— Вам не положено читать газеты!

— Вон что. А кто это сказал?

— Начальник полиции Арендала.

— Понятно. Большое спасибо.

Все улаживает старшая сестра, позволив мне порыться в шкафу со старыми книгами и газетными подшивками. Это приношения добрых людей, тут школьные учебники, детские и юношеские журналы, вырезанные из газет и переплетенные романы с продолжением, «Для бедных и богатых», «Сантал», «Евангелист», и среди всего этого — перл: книга Топсё.

Я решил читать небольшими порциями, чтобы продлить удовольствие, в особенности я предвкушаю, как приступлю

к многотомным романам из «Моргенбладет». Я вижу, они из библиотеки Смита Петерсена. Этот Смит Петерсен когда-то жил в Гримстаде и был местным тузом.

Но, вопреки намерению ограничивать себя, я с жадностью набросился на книгу Топсё и проглотил ее за один присест. Топсё, о котором не пожелал писать Брандес. Теперь они уж оба в могиле.

Явился полицейский, у него ко мне ряд вопросов, ответы мои он записывает. Для меня все это никакого интереса не представляет. Властям, похоже, важно знать, чем я владею — «Моргенбладет» писала, что у меня «огромное состояние». Я указал все, чем владею.

После этого несколько дней было тихо, не считая того, что один полицейский приходил с «решением о наложении ареста на имущество», а другой — с «постановлением о привлечении к судебной ответственности».

— Чего бы мне хотелось, так это иметь такой же замечательный велосипед, как у вас, — говорю я.

— Вы не хотите ознакомиться с постановлением? — спрашивает он.

— Вот уж чего не хочу.

23 июня меня отвезли к судебному следователю.

Он встретил меня посмеиваясь:

— Выходит, у вас есть еще деньги, кроме тех, которые вы указали?

Я несколько опешил. И сказал, глядя на него:

— Я деньги в чулке не держу.

Да-да, но... Я указал, что мое состояние — это около двадцати пяти тысяч наличными, двести акций «Гюлдендала» и усадьба Нёрхолм. Все это так. Ну а как насчет авторских прав?

Если следователь может мне что-нибудь сообщить об этом, я буду весьма обязан. Судя по всему, сейчас моя писательская судьба складывается не очень удачно.

Боже, как я его разочаровал! И как разочаровал всех, кто надеялся покопаться в моем «огромном состоянии». Однако суть не в этом. Мое состояние достаточно велико, слишком даже велико. И я не намерен забирать его с собой на тот свет.

Допрос был пристойным, правда, он ничего и не решал. На многие из вопросов следователя я отвечал уклончиво,

дабы не очень раздражать этого благожелательного господина. Следовательно Стабель одержим ненавистью к Германии и верует — а вера его с горчичное зерно — в благородное и неотъемлемое право союзников уничтожить и стереть с лица земли немецкую нацию. К тому, что уже опубликовано из материалов допроса, я добавлю еще несколько подробностей.

Он спросил меня, что я думаю о национал-социалистическом обществе, с членами которого я встречался здесь, в Гримстаде.

Я ответил, что в этом обществе были люди много лучше меня. Но умолчал о том, что там было не менее четырех врачей, не говоря уже о других категориях.

В целом получалось, что я чересчур хорош, чтобы участвовать в нацистском заговоре.

Там были и судьи, сказал я.

Да, к сожалению. А как я отношусь к злодеяниям немцев в Норвегии, о которых стало теперь известно?

Поскольку начальник полиции запретил мне читать газеты, я ничего об этом не знал.

Не знали об убийствах, терроре, пытках?

Нет. До меня доходили смутные слухи перед моим арестом.

Но ведь этот тип Тербовен, получавший приказы непосредственно от Гитлера, истязал и истреблял норвежцев на протяжении пяти лет. Слава Богу, мы выстояли — не чета вам. Как по-вашему, немцы — культурный народ?

Я не ответил.

Он повторил вопрос.

Я посмотрел на него и ничего не сказал.

— Будь я начальником полиции, я бы разрешил вам читать все газеты. Ваше дело откладывается до двадцать второго сентября.

Значит, три месяца.

Я читаю, брожу, раскладываю пасьянс.

Чтобы хоть немного размять ноги на отведенном мне клочке земного пространства, я взбираюсь на самую верхушку холма. Подъем очень крут, — чтобы не съехать вниз, я то и дело упираю в землю острие палки. И это еще не все: у меня к тому же бессовестно кружится голова, до тошноты, и я усилием заставляю себя сглатывать. Положительно я припоздал с покорением вершин. Я повторяю эту прогулку изо дня в день и приобретаю некоторую сно-

ровку, и все равно после того, как я поднимаюсь, меня трясет дрожь.

Вершина холма — плоская. Я присаживаюсь, отсюда мне видны маяки, вход в Гримстадскую гавань и — несколькими милями дальше — Скагеррак. Сперва я должен посидеть успокоиться, где уж там встать, выпрямившись во весь рост, но мозги у меня ворочаются, работают. Я смотрю на часы: милые мои, все восхождение заняло каких-то несколько минут, а я тут восседаю, предовольный, будто совершил невесть что. Нет, настоящая прогулка получится, если я попробую спуститься по противоположному склону, а потом потихоньку проберусь обратно в больницу.

Все сходит гладко, я благополучно спускаюсь. Но здесь тропинка, если я пойду по ней, то рискую кого-нибудь встретить. Я гляжу на часы — никакая это еще не прогулка! Мне ничего не остается, как повернуть назад и еще раз перевалить холм.

Это тоже оказалось делом пустячным, хотя я и умудрился упасть, на руку. Крутой же спуск к больнице я преодолел так: сел на кучу густолистных веток и съехал.

Что ж, продумано все это и выполнено неплохо, ничего не скажу. Я и в дальнейшем не стал вносить в эти прогулки никаких изменений. Единственно, чего я опасался, — как бы в мое отсутствие ко мне в больницу не пожаловал полицейский.

Но когда по прошествии не дней уже, а недель я призадумался, а оправдывают ли себя эти прогулки, то остался недоволен. Мышцы и части тела не получали должной нагрузки, я затрачивал слишком много усилий, возвращался взмыленный и разбитый, а тело мое гибче не становилось. Мои ноги по-прежнему плохо меня слушались. Вдобавок не выдержали испытания ботинки, у них потрескался и верх, и подошва. Других же ботинок у меня не было.

Старшую сестру почти и не видно. У нее очень мало помощников, и ей приходится самой готовить. Зато, когда я ее однажды встретил, она сказала без околочностей, что мне нужно побольше гулять. Показала мне длинную дорогу к сгоревшей вилле Смита Петерсена и сказала, чтоб по этой дороге я и гулял.

— Раз вы позволяете, старшая сестра. Большое спасибо.

Это меня очень выручило, я мог идти то быстро, то медленно, как вздумается. А в одном из дворов была маленькая собачка, которая всякий раз караулила мое появление и, выбежав, радостно меня приветствовала.

Тем не менее прогулки через холм я не забросил. Ведь это я открыл их, там у меня были знакомые деревья и камни, и я знал, что меня встречает приветливый шелест, пусть я и глух и мне его уже не слышать.

Я сижу у развилки с почтовой открыткой в руке, в этой открытке я написал домой в Нёрхолм, не подыщут ли они мне какие-нибудь ботинки, и сейчас я поджидаю прохожего, который направлялся бы в город и захватил мою открытку с собой.

Первым на глаза мне попался молодой паренек, — наверное, лет шестнадцати, у него угрюмое, неприятное лицо, но я все равно поднимаюсь, протягиваю открытку и говорю:

— Не будете ли вы так добры бросить эту открытку в почтовый ящик?

Паренек передернулся, у него даже лицо все перекопилось, я не успел еще договорить, как слышу, он что-то буркнул. И зашагал дальше.

— Вы, должно быть, не в город? — окликаю я его виновато.

Он не отвечает, идет своей дорогой.

Раз мне так не повезло с самого начала, я больше уже не решаюсь ни к кому обращаться и поворачиваю назад, в больницу.

Несомненно, этот паренек узнал меня. Он прекрасно знает, что я — арестант, вот и захотел показать, как он презирает мне подобных.

Наконец-то у нас в Норвегии появился свой политический заключенный. До недавних пор политический узник был для нас чем-то вроде загадочного персонажа из русских книг, мы его в глаза не видали, нам было незнакомо самое это понятие. Тране, Кристиан Лофтхюс, Ханс Нильсен Хауге — не в счет. Зато теперь появился тот, кто — в счет, он заполонил всю страну Норвегию, тиражом в сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч экземпляров, говорят. А может, и намного больше.

Пусть будет что будет.

Люди связывают политического узника с уголовщиной: наверняка он не расстанется с пушкой, берегитесь, у него нож, пусть остерегаются дети и молодежь. Я наблюдал все это последние недели и месяцы — трогательное зрелище! Разве от молодого человека убыло бы, если б он повел себя вежливо и взял у меня открытку? Меня это не задело, ничуть.

Но сомнительно, удастся ли мне вообще отправить эту открытку. Молоденькие сестры, собираясь в город, не захотят брать на себя такого рода поручение, я знаю. А почтальон — не примет.

Я читаю, брожу, раскладываю пасьянс.

Кстати, о ноже. Не пойму, каким образом ко мне попал чей-то охотничий нож. Нож отличный, с гравированной мельхиоровой рукояткой, в кожаном чехле. Я спрашивал человека, который подметает двор, — говорит, не его. Надо будет спросить у старшей сестры.

Ко мне заходит господин в сером летнем костюме, кивает — и молчит. Он, верно, полагает, что я его знаю, но это не так. Потом он, кажется, пробормотал, что он доктор, и назвал свое имя. Я не слышу и вынужден переспросить: Эриксен? Но я знаю только одного доктора Эриксена, и насколько мне известно, он арестован. Незнакомец что-то ищет в бумажнике, по-видимому визитную карточку, но, не найдя, оставляет поиски. Так мы друг против друга и стоим.

— Вам что-то от меня нужно? — спрашиваю.

Он качает головой, и я понимаю, он хотел лишь поприветствовать меня.

Я благодарю. Это очень любезно с его стороны. Ведь в данное время я по большей части общаюсь с полицией, я же заключенный, понимаете. Изменник родины...

— Как вам тут живется? — спрашивает он.

— Превосходно.

Вскоре он уходит. Он был очень благожелателен, только слишком уж тихо говорил.

Между прочим, люди не так уж и редко выказывают благожелательность. К моему холму есть кратчайший путь, тропинка, и многие предпочитают ходить этой тропинкой, нежели огибать здание больницы. Случается, я здесь посиживаю, это как нельзя более подходящее место для того, чтобы побыть в состоянии бездумного покоя, и понаблюдать за муравьем, и набраться мудрости. Мимо идут люди, и некоторые — здороваются. Они знают, почему я здесь, но здороваются.

Как-то раз останавливается пожилая дама, смотрит на меня. Я встаю и снимаю шляпу. Она что-то говорит, я отвечаю, что не слышу, а она все говорит. Потом показывает на небо — я киваю. Она снова и снова показывает на небо, словно и я могу ожидать оттуда помощь, — я киваю. Она оста-

навливает другую даму, которая идет мимо; придя к согласию, обе дамы протягивают мне на прощанье руку. Простая благожелательность.

А я-то... как я не догадался дать им мою открытку!

Покачав головою, я, себе в наказание, взбираюсь на холм по самой что ни на есть крутизне. Похоже, мне всерьез необходимо что-то предпринять, — мои ботинки покрылись новыми трещинами. Им как-никак восемь лет, я купил их в том году, когда ездил в Сербию.

Перевалив холм, я шел себе и шел, пока не завидел колокольню. Разумеется, это была уже запретная территория, но если бы мне удалось прокрасться на столько же, да еще четверть столько, я мог бы сверить свои часы с башенными. А вообще-то говоря, я хотел поискать ящик для писем.

По правую руку тянулась пустынная улица. Я свернул на нее, но я был до того напуган, что ступал едва не на цыпочках. В самом конце улицы я увидел скобяной магазин Грестада, снаружи, на стене, висел почтовый ящик.

Достанет ли у меня нахальства? Это же в двух шагах. Я украдкой озираюсь, вокруг — ни души. После чего опрометью перебегаю улицу, сую почтовую открытку в ящик и опрометью же бегу обратно. И тогда только перехожу на шаг.

Едва я начал подниматься на холм, как получил тычок в спину. Полицейский. Я чуть было не подпрыгнул, таким я за последние недели сделался бестолковым и дерганым.

— А вы знаете, что часы на колокольне на двадцать минут отстают? — говорю я. — У вас часы при себе?

Он достает свои часы, и мы сверяем время.

— Все равно вам это не поможет, — говорит он. — Вам запрещено расхаживать по улицам. Что это вы себе позволяете?

Я объясняю, всего-навсего открытка, каких-то несколько слов. Вот глядите, поглядите только на мои ботинки.

— Мы говорим о разных вещах.

— И в самом деле, — соглашаюсь я. — Так что я прошу у вас извинения. Кстати, не вы ли доставили меня тогда в больницу?

— Нет, — коротко отвечает он. — Какая разница, кто.

— Да, конечно. Но мне просто необходимо было отправить эту маленькую открыточку, с которой я и подошел к почтовому ящику.

— Послушайте, — говорит он. — Вы обязаны находиться в больнице, и чтобы я вас тут, в городе, больше не видел. Вы поняли?

— Да, — отвечаю я. — Я как раз стою и думаю, до чего все нескладно получилось. Что бы мне немного обождать и дать открытку вам, вы бы ее опустили, и все было бы законно.

Он посмотрел на меня и говорит:

— На этот раз я не стану докладывать о вас начальству. Но чтоб вы сию же минуту убрались отсюда. Марш!

Отменно хорошие романы с продолжением печатала в былые дни «Моргенбладет». Не знаю, как сейчас, но во времена Смита Петерсена это была толково подобранная литература, и лучшего чтения на сегодня я бы не пожелал. Единственно, прочитываешь их залпом, хотя в каждом — по несколько сотен страниц. В усадьбе у меня стоит на отшибе целый дом с книгами, я мог бы изредка посылать за ними грузовую машину, но деньги мои под арестом, так же как и я, представьте себе. Некая дама с Явы любезно переслала мне через Голландию ящик сигар, они с мужем читали некоторые из моих книг, пишет она, дружеский поклон и спасибо. Подумать только, она захотела сделать приятное человеку, живущему в таком далеке, благослови ее Бог! Люди не оставляют старика своим вниманием. Но в один прекрасный день сигары выйдут, и что тогда? Тогда я бросаю курить, всё! Я уже трижды бросал, каждый раз — ровно на год, день в день. Итак, я возьму себя в руки — и брошу. Хорошо. Но ведь я непременно примусь за старое, к чему же тогда бросать? Что ж, возьму себя в руки — и примусь за старое.

Что до этих моих способностей, тут я вовсе не собираюсь скромничать.

Жизнь течет почти без перемен. Поднимается в гору старик, везет на ручной тележке гроб, следом идет его старуха и подталкивает тележку. За время моего здесь пребывания эти двое приходят сюда с гробом уже второй раз; кто-то умер в больнице нынешней ночью, и тело переносят в сарай на холме, где оно останется до погребения. Тихо и мирно, ничего особенного. Старик отвязывает веревку, берется за изголовье и тащит. Жена подталкивает. Гроб послушно скользит по полу.

— Не вы ли оставили здесь охотничий нож? — спрашиваю я.

— Охотничий нож? — похоже, повторяет он и ощупывает себя. А потом качает головой.

За этим следует поток слов, старик выпрашивает, что за нож да как он выглядел. Я поворачиваюсь и иду своей дорогой, словно бы спохватившись, что меня ждут дела.

Так оно и есть. Я действительно не провожу время в праздности. Как и все теперь, я вынужден что ни день штопать носки и латать протершийся на локтях пиджак. К этому прибавляется такое множество мелких дел, что не хочется и упоминать: надо застелить постель, выкурить утреннюю сигару, перебить мух. Надо укрепить ножку стула, которая постоянно выпадает, и вбить в стену гвоздь для шляпы — я уже нашел подходящий камень, вместо молотка. Наконец, хорошо бы еще ответить на письмо, которое пришло с месяц назад, но я не люблю писать письма и оставляю его без ответа.

На все не хватает сил.

Об окружающем мире я могу рассказать и того меньше. Это голый холм без единой клумбы. Почти всегда дует резкий, пронизывающий ветер. Но неподалеку лес, где над головою порхают птицы, а по земле ползают всякие твари. О, мир прекрасен и здесь, и мы должны испытывать глубокую благодарность за то, что все еще живем в нем. Здесь богаты красками даже камень и вереск, у здешних папоротников редкостные узоры, а язык мой до сих пор помнит вкус найденного мною сладкокорня.

Над холмом пролетает самолет, внося некоторое оживление. Ниже по склону пасутся две коровы. Но мне жаль их, я вижу, как они нетерпеливо мычат, потому что не поены и их не перегоняют на другое место.

В положенные часы мне приносят еду. Одна из трех молоденьких медсестер плюхает на стол поднос, поворачивается на каблуках и уходит. «Большое спасибо!» — кричу я вслед. Нет, три медсестры не меняют своей тактики. Наверное, им трудновато подняться на холм, не расплескав кофе и суп. Не знаю. Но поднос залит. Так мне и надо, я это заслужил. Вначале, когда я попал сюда, я пытался объяснить им, что я никого не убил, ничего не украл, не поджег дом, но это не произвело на них впечатления, только нагнало скуку. Теперь я с объяснениями покончил: не из-за чего поднимать шум. Пусть проливается суп, пусть проливается кофе, это пережить можно. Но вот я выуживаю из лужи на подносе письмо, вскрытое и вновь запечатанное, — в таком виде его переслала полиция. Может быть, это вырезка из шведской газеты. Или какая-нибудь милая датская актриса шлет мне привет. Выудив письмо из лужи, я сушу его на солнце. Это пережить можно. Жаль только, что три медсестры, все три молодые и красивые, так дурно воспитаны.

О сгоревшей вилле Смита Петерсена здесь ходят легенды. Это — достопримечательность, сюда бы следовало водить экскурсии.

Я подхожу к деревянному мостику без перил, скорее даже, это мостки; потом останавливаюсь у могучих ясеней, вековых и почтенных, их пять или шесть, не больше, остальные, видимо, засохли. По заброшенной каменистой дороге тащусь в гору и добираюсь наконец до развалин.

Вилла была деревянная, остатки стен указывают на то, что это был небольшой, обыкновенный сельский дом, обросший со временем необходимыми службами и пристройками. Трудно поверить, чтобы он являл собой что-то особенное, но я могу вообразить, с каким размахом он был отделан внутри, какой здесь царил комфорт, могу вообразить всю эту роскошь и пышность и земное величие, а что? Здесь вполне могли протекать празднества и торжества и волшебные ночи, которые все еще живут в легенде. Вилла принадлежала династии Смитов Петерсенов, одни писались через дефис, другие — раздельно. Некий Смит Петерсен был консулом в Гримстаде, до сих пор еще толкуют о пристани Смита Петерсена; ни о том, ни о другом мне ничего не известно, однажды, правда, я получил письмо от какого-то Смита Петерсена, написанное на огорчение неразборчивым почерком. Не он ли и был французский консул? Наверняка он раскатывал в экипаже парой, а на ливрее у кучера сверкали пуговицы, по тем временам это что-то да значило; сейчас бы он обзавелся двумя лимузинами и был бы вынужден замостить дорогу к своим владениям.

Однако ж я задумываюсь не над этим, а, напротив, вот над чем: сколь мало на земле долговечного. Династии и те не оправдывают надежд. Даже величие — и оно в один прекрасный день может пасть. В этих мыслях, в этих раздумьях нет и тени пессимизма, — всего лишь признание того, как переменчива, как динамична жизнь. Все движется в преизбытке жизненных сил, вверх, вниз, во все стороны, рушится одно — вырастает другое, утверждает себя на миг в этом мире и умирает. «Речи Высокого» отражают наивную веру в статическую долговечность посмертной памяти. Зато на Мадагаскаре у мальгашей бытует такая поговорка: Тесаке не по нраву все, что долговечно!

О, эти квохчущие курицы с Мадагаскара, то, чего они хотят, то они и получают.

Не настолько мы, люди, разумны, чтобы расстаться с иллюзией долговечности. Перед лицом Господа и судьбы мы упорно домогаемся посмертной славы и бессмертия,

холом и лелеем собственную глупость, увядаем до основания, потеряв всякую выправку и достоинство.

Перед глазами встает рисунок Энгстрёма полувековой давности: на садовой скамейке сидят подремывают муж с женой, глубокие старики. На дворе осень. У мужа изрядная щетина. Он сидит, обеими руками опершись на палку.

И вот какой у них завязывается разговор:

— Мне вспомнилась девушка, которую звали Эмилия.

— Дорогой, так это же была я.

— Вот как, значит, это была ты...

Бьёрнсон сознавал свою недолговечность: время берет свое! Что после этого остается сказать нам! Что касается меня, то я сижу и делаю заметки, и набрасываю кое-что о сгоревшей деревянной вилле, и обдумываю эту историю на свой лад. У ближнего двора носится взад-вперед маленькая собачонка, я вижу, она тявкает на меня, но мне это не мешает. Я спокоен, на душе у меня легко, совесть моя чиста. Я получаю письма, в которых говорится, что меня будут читать во все времена, правда, мною бахвалятся и наши патриоты. Бог с ней, с этой их благожелательностью. Но сколь же мало на земле долговечного! — время берет свое, время уносит всех и вся. От меня убудет толика известности, портрет, бюст, — до конной статуи, я полагаю, дело не дошло.

Но есть кое-что и похуже, даже не хочется и говорить. Я всегда думал, что лажу с детьми. Они частенько приходили со своими книжечками, чтобы я надписал их, приседали и благодарили, и нам было хорошо вместе. Теперь я — пугало, которым страшат детей.

Но и с этим, бог с ним. Через сто лет, а может, и того меньше, детские имена, так же как и мое, позабудутся.

Не пойму, что же это был за человек, который купил книгу Топсё и взял ее с собой в больницу. Я раздумывал над этим не один день. И вот я прихожу, хочу снова открыть ее, а она исчезла.

Исчезла.

Кто же ее забрал? Спрашивать бесполезно, мне все равно не ответят, в лучшем случае ответят: «Не знаю!» Я собирался внимательно просмотреть книгу, страница за страницей, поискать, вдруг я нападую на какой-то след; я жалею, что не сделал этого сразу, а теперь уж поздно. Это был прекрасно сохранившийся экземпляр, хотя и купленный, может быть, пятьдесят, а то и сто лет назад, — я запомнил все даты, а справиться негде.

Когда я был еще относительно молод, мне привелось встретиться в Париже с семейством Топсё, вернее, с его супругой и тремя детьми, — самого Топсё уже не было в живых. Милое, приятное семейство с разносторонними интересами, одна дочь играла на скрипке, другая, насколько я понял, изучала живопись, я же был далек и от того, и от другого.

Но этот пациент, который появился однажды в Гримстадской больнице с книгой Топсё в руках, — кем он все-таки был? От нечего делать я разыгрываю перед самим собой маленькую комедию, прикидываясь, будто мне необыкновенно важно раскрыть эту тайну, в действительности же это меня ничуть не интересует. Я так прямо себе и сказал: «Глупостями занимаешься, это еще почище кроссвордов и пасьянсов, и знай, я вижу тебя насквозь!»

После чего я принимаюсь за стирку — все какая-то польза. Горячей воды здесь нет, но этим меня не смутишь, главное, у меня есть мыло, а стирать я наловчился еще в дни моей юности в прерии, где горячей воды не было и в помине.

Неожиданно раздается стук в дверь. Я не совсем одет, но говорю: «Войдите!» Это — дама, молодая девушка.

— Батюшки! — вырвалось у меня. Мало того, что я стою по пояс голый, я даже не успел вставить зубной протез.

Она шевелит губами. Бледная, смущенная.

— Фрекен, я ничего не слышу.

Она пишет на листке бумаги: «Простите за то, что я взяла у Вас эту книгу».

— Какую книгу? Топсё? Это не моя книга.

«Я взяла ее вчера у Вас со стола».

— Вон что. А я обнаружил ее в шкафу в коридоре. Это датская книга.

«Да. Замечательная! — написала она. — Я и не знала, что был еще один Топсё».

Тем временем я кое-что на себя набросил.

Дама пишет: «Но я и в самом деле прошу у Вас прощения! Я и вчера к Вам долго стучалась, правда. А потом взяла и вошла».

Я еще не оправился от замешательства и говорю:

— Я думал, вы датчанка.

Она покачала головой и написала свое имя.

Она рассказала, что живет в маленьком дачном поселке у моря. Вдвоем с матерью. Они приезжают сюда каждый год. Это всего лишь домик на острове. К сожалению, им уже пора уезжать.

— Почему вы носите с собой письменные принадлежности? Вы делаете пометки, когда читаете?

Она покраснела. И написала: «Я знала, что Вы глухой».

— Фрекен, может быть, вы присядете?

Она пишет и пишет, у нее красивые руки, безупречной формы ногти, на левой руке несколько колец. Лицо совсем не накрашено. Она молодая и естественная, я хотел сказать, неиспорченная.

Мало-помалу я разговорился:

— Это прямо смех, в каком виде вы меня застали. Что вы могли подумать! Понимаете ли, мне приходится стирать то да сё, я мог бы все отправлять домой, но это так долго. Я только сегодня получил из дому ботинки, а сколько я их добивался!

«Бедный Вы, бедный!»

— Нет-нет, это даже смешно. Всего-навсего переходный период.

«Как это на Вас похоже. Мы иногда так смеемся дома, когда читаем Ваши веселые описания! Но иногда...»

— А сколько вас дома?

«У меня есть сестра, но она замужем и живет отдельно. Так что нас всего трое — папа, мама и я».

— Ваш отец, он сейчас не с вами на острове?

«Нет. В этом году — нет. Он арестован».

Пауза.

— Как это мило, что вы меня навестили.

«Нет. Мы прекрасно знаем, что Вы против посещений. Но мы уезжаем, вот меня и отрядили к Вам. Как представителя семьи». — Тут она рассмеялась.

— Да нет же, это очень мило с вашей стороны. Я действительно против того, чтобы ко мне приходили, но это относится к посещениям вообще. Видите ли, я глух, и ни у кого не хватает терпения со мной разговаривать, я уже и позабыл, что это такое.

«Не может быть, чтобы Вы совсем ничего не слышали. Можно, я попробую?»

Она стала говорить мне в левое ухо, медленно и негромко. Произнесла несколько незначащих фраз и вопросительно на меня взглянула.

— Да, — говорю я, кивнув.

— Вы и в самом деле слышали?

— Да, каждое слово, по-моему. Как вы догадались, что левое ухо лучше?

— Потому что вы наклоняетесь влево, когда слушаете. Я заметила.

Мы разговаривали, уже не прибегая к помощи карандаша и бумаги. Я похвалил ее за наблюдательность, а она со-

общила мне, что поступила на сестринские курсы. Я поблагодарил ее за приход, нет, я благословил ее.

— Расскажу об этом дома! — заявила она.

Ищет что-то в сумочке и, найдя, протягивает мне:

— Это от мамы, штопальные нитки. Я увидела вчера носок, который вы взялись чинить, он лежал на кровати, с воткнутой иглой...

— Разве?

— Да. Только вы, ради Бога, не сердитесь, — сказала она. — Пожалуйста! Я вовсе не имею привычки разглядывать да разнюхивать...

— Милое дитя, о чем вы!

— Я никогда так не делаю. Но я увидела, что вы штопаете шерстяной носок суровыми нитками.

— Ну-у... это я по неопытности.

— Но у вас же нет... мама подумала, что у вас, наверное, нету шерстяных ниток.

— Есть, просто я забыл. У меня их полно.

— Да откуда же? Их сейчас не купишь.

Вот ведь чертенок! Мне не отвертеться, мне ничего не остается, как сказать:

— Поблагодарите от моего имени вашу матушку. Только это слишком большая любезность с ее стороны. Шерстяные нитки — по нынешним временам это что-то неслыханное.

Да, мы разговариваем, и беседа идет на лад. Но это благодаря ее самоотверженности, ведь она придвинулась и говорит мне в самое ухо. Она говорит, как рада, что застала меня сегодня, ведь завтра они уезжают. Я благодарю ее за приход, мне очень грустно, что она уезжает.

— Правда? — спрашивает она. — Я и об этом расскажу дома!

Но вот она ушла. Я сижу и думаю. Благословенная для меня встреча. После ее ухода слышна тишина. А на столе лежит книга Топсё, так и не разгаданная, но меня уже не волнует, узнаю ли я, кто был ее владельцем в предыдущем столетии. Что может сравниться с дыханием живой жизни.

2 сентября. В комнату ко мне заходит полицейский и прямо с порога объявляет:

— Вы переезжаете.

— Да? И куда же?

— В Ланнвик.

Появляется старшая сестра и тоже называет Ланнвик. Я спрашиваю, куда именно в Ланнвике. Ответа я не получаю,

старшая сестра объясняет только, что к ним должны поступить больные полиомиелитом и моя комната понадобится.

Я благодарю ее за все, что она для меня сделала, в том числе и за разрешение брать книги, которые я прочел от корки до корки. Потом я укладываю чемодан и сажусь в машину рядом с шофером.

Я не спрашиваю больше о месте назначения, мне безразлично, куда мы едем, мы сворачиваем на короткую дорожку, я вижу с поворота большое белое строение и читаю: *Дом для престарелых*.

Так вот почему старшая сестра и полицейский соблюдали такую таинственность — боялись напугать меня домом для престарелых. Но ведь мне это как нельзя более подходит, и мне смешна их предупредительность. Я веду себя как ни в чем не бывало и не торопясь вылезая из машины. Конечно же, это у меня напускное. На самом же деле я слегка растерялся при виде такого скопления стариков.

Я здороваюсь с заведующей, мне отводят комнату на втором этаже, я машу на прощанье полицейской машине. Сегодня воскресенье и солнечно, оттого-то у лестницы таклюдно. Я подсаживаюсь, со мной никто не заговаривает, не стоит труда, их новый товарищ совсем глухой.

Здесь, в доме для престарелых, я следую отныне обыкновенному ходу вещей. Я не прилагаю для этого никаких усилий, просто все идет своим чередом. Приключения? Великие потрясения? Куда там! Разве что — если это можно назвать новым жизненным опытом — я читаю о дополнительных цветах в Гетевом учении о цветах и ровным счетом ничего не понимаю.

Но я благодарен полиции за то, что попал сюда, для меня это обетованное место. Я совершаю длинные прогулки, и никто мне не говорит, чтобы я не выходил «за черту города», я ем, сплю, читаю. И немножко пишу, но об этом я предпочел бы не упоминать, чтобы никого не расстраивать.

Дом для престарелых — большое здание, достойное большой округи. Здесь размещается коммунальное управление, всевозможные конторы, общественная библиотека, ежедневно работает почта, есть телефон, радио, сюда приходят по делам люди — словом, это средоточие местной жизни. Самая главная контора, пожалуй, бухгалтерская, зато в отделе социального обеспечения сидят ведут записи две молодые девушки, две красавицы, которых неведомо как занесло в этот дряхлый мир, населенный восьмидесяти-девяностолетними старцами.

Поскольку мне не разрешалось читать газеты, я это делал тайком. В больнице с этим было сложно, но когда я

получал из дому чистое белье, там лежал отдельный сверток с разными газетами; так я понемногу узнавал о происходящем и впервые узнал о позорных деяниях немцев в нашей стране. Конечно, информация, переданная с бельевыми узлами, была далеко не полная, но и неосведомленным меня тоже назвать было нельзя.

Здесь, в доме для престарелых, дело обстоит куда проще, на кухне мне всякий раз дают читать «Гримстад бладет», и это большое подспорье. Здесь вообще все проще, заведующая — дама чуткая и добросердечная, она руководит домом на протяжении двадцати трех лет; и хотя она вдвое моложе некоторых из нас, она регулярно обходит нас, своих подопечных, и оделяет шоколадом, конфетами и печеньем — когда выдают по карточкам. Единственное, чего она не может мне обеспечить, это расположение библиотекаря. Тут она бессильна. Выпускник преподавательских курсов, учитель, он отказывается выдавать мне книги из общественной библиотеки.

Хотя очень может быть, некоторые из них написал я. Не знаю.

Если уж я гуляю, то на совесть, чтобы потом мне не в чем было себя упрекнуть. Это я ради ночи стараюсь, нагуливаю сон. Сон лучше еды, тут и сравнивать нечего. О, сон — это совсем не то что сидеть и набивать живот пищей, поверьте. Но сон — это и невероятное недоразумение: я обнаруживаю в кармане какие-то деньги, которые никогда не терял, но которые безуспешно разыскивал. Сон — это я вырываюсь наконец из рук дюжего моряка, хватаю его и хочу убить, а он пытается зарезать меня садовыми ножницами. Да, тем сон и чудесен, что в нем и вымысел, и жизнь, и невидальщина.

Но поэтому-то и о еде не след забывать, а как же.

Я гуляю не по часам, а когда мне вздумается. Беру палку и иду. Не то чтобы я не мог обойтись без палки, — просто я привык, что она со мною, вроде собаки, не более того. Многие называют мою палку тростью, прогулочной тростью. «Не подать ли вам вашу прогулочную трость?» — спрашивали меня, бывало, в гостиницах. Но по-моему, это звучит слишком напыщенно, сам я всегда называл ее палкой. У нее изогнутая рукоять и резиновый наконечник, жаль только, в самом низу она треснула и скреплена неприглядною стальной проволокой. Зато на ней имеются деления на сантиметры и миллиметры, так что в случае чего я обойдусь и сам.

Я здороваюсь с детьми, которые попадают мне навстречу; кое-кто из мальчишек прослышал, видно, о моей глухоте, — забавы ради они подходят ко мне чуть ли не вплотную и что-то выкрикивают. Я здороваюсь и со взрослыми, если вижу, что они к этому расположены, а если у них неприступный вид и они отворачиваются, спокойно прохожу мимо. Но здороваюсь я охотно, что да, то да, даже более чем охотно. Так я приучен с детства, тогда считалось, что этого требует вежливость, с тех пор это во мне и сидит.

Однажды солнечным утром в Праге я отправился на поиски табачного магазина. Войдя, я увидел монаха, стоящая за прилавком дама как раз протягивала ему монету. Он поблагодарил и собрался уходить. Мне, норвежцу, подобная сцена была в диковинку, и я моментально присовокупил к этой монете еще одну. Пораженный, монах что-то произнес, воздел руки, я позабыл, зачем пришел, и, ничего не купив, устремился к двери, на улицу, прочь! Я бродил по городу и радовался людям и миру и здоровался со всеми, кого ни встречу, и люди в ответ улыбались и тоже здоровались, и никто меня не остановил, все было чудесно. Что думал народ, что думала улица, — не знаю, должно быть, что я раненько-таки вышел из дому, раз уже возвращаюсь из пивной. Но что мне за дело! Я таков, какой есть, а Прага — великолепный город!

Давным, давным-давно — я так стар, и все это происходило столько уже лет тому назад — я прочел историю про Сократа. Они с другом шли по улице, и Сократ поздоровался с неким встречным. «Он не ответил!» — подсадовал друг. Сократ улыбнулся: «Я ничего не потерял оттого, что оказался вежливее».

На меня столько сейчас нахлынуло, я столько бы мог сказать в свое оправдание, но — смолчу. А мог бы напомнить, что древние норвежцы в знак приветствия протягивали правую руку, показывая тем самым, что они пришли без оружия. Или тот случай в Осло, когда я очутился в лифте вместе с японским министром, и мы были взаимно вежливы, и ни один не соглашался выйти первым. И я ничуть не жалею, что поднялся и уступил свое место даме, которая вошла в трамвай в Версале. Разумеется, тотчас же встали и остальные господа, но я их опередил. Это была интересная старая дама, под вдовьей вуалью, с ниткой жемчуга вокруг шеи, быть может настоящая герцогиня крови, она могла бы меня усыновить. Как бы то ни было, я преподал этим господам, этим французам, урок вежливости, который они будут помнить, — я поднялся первым.

То было в дни моей молодости, которая ни для кого уже не представляет интереса и потому не заслуживает упомина-

ния. Но даже в Нурланне, в Салтенском уезде, помню, зайдя в дом, мы смиренно снимали картуз и, сунув его под левую мышку, говорили: «Мир вам!» и «Бог помочь!» — тем, кто работал какую-либо работу, а уходя: «Оставайтесь с миром!»
Так у нас было заведено.

Сегодня, 22 сентября, снова вызван к судебному следователю.

Ранним утром, несколько рановато для меня, да и для всего дома. Могли бы и предупредить, но вот ведь не предупредили же, на что тогда телефон? Полицейский, тот сел в машину и поехал, и вся недолга, а заключенного — в чем стоял, в том и повели. Я бы предпочел собраться и одеться, прежде чем предстать перед следователем. В царской России и то давали время опомниться. Не то что здесь.

Я пробормотал что-то в свое извинение, и старый следователь великодушно извинил меня. А вызвал он меня всего лишь затем, чтобы сообщить: сегодня истекает установленный срок, и теперь мы продлеваем его до 23 ноября. Это было разъяснено, записано и подкреплено рядом вопросов, которые следователь задал мне письменно, дабы избежать необходимости говорить в мои глухие уши. Я ответил на все до единого вопросы и подтвердил сделанное мною ранее заявление о том, что полностью несу ответственность за свои действия.

На этом мы закончили, и меня отвезли назад, и я смог наконец одеться.

Еще два месяца... Ладно, двумя больше, двумя меньше, это ничего не меняет. Вообще-то говоря, в доме для престарелых я нахожусь не по праву, я тут лицо постороннее, правда, старики держатся приветливо и не дают мне этого почувствовать. Они попали сюда по собственному желанию, намереваясь провести здесь остаток своих дней, меня же, наоборот, сюда препроводила и насильно водворила полиция. И другие, как я погляжу, не без изъянов, у кого не в порядке спина, кто мучается с ногами, но я перешеголял всех, я, можно сказать, напрочь утратил одно из пяти чувств, почему со мной и нельзя перешамкиваться. Уже само по себе это немалый порок, а у меня еще много чего в запасе: например, я тшусь выговорить какое-то слово и — никак, и вот, желая сказать одно, я должен сперва сказать что-то другое. Эта окаянная болезнь не только у меня, — между про-

чим, она древняя и благородная и называется афазия, — великий Свифт в Англии страдал еще более тяжелой формой афазии, нежели я.

На что нам роптать, всяк несет свою ношу. К тому же мы здесь не связаны никакими запретами, мы можем свободно приходиться и уходить, передвигаться, наблюдать друг за другом. Дом полнехонек, пятнадцать — двадцать человек обоего пола, несколько лежачих. Время от времени кто-нибудь да умирает, это неизбежно, однако на нас, оставшихся, это не производит особого впечатления. Мы провожаем глазами белый гроб, но после того, как его увозят, снова погружаемся в свои заботы.

Кстати, не новое ли это поветрие — то, что гроб теперь белый? Я не знаю, что правильнее, но в мои детские годы гроб был черным, а в белых хоронили только маленьких детей. Или же все зависит от того, что где принято: в здешних краях в день похорон флаг наполовину спущен, так он до вечера и висит, а в Нурланне был другой обычай — лишь только гроб опускали в землю, приспущенный флаг поднимался на самый верх.

Пожалуй, и тот обычай хорош, и этот, оба одинаково хороши.

Иду я как-то, записываю разные мелочи, для самого себя, и тут меня нагоняет какой-то человек. Странно, ведь я свернул на глухую лесную тропу, лежащую в стороне от проезжей дороги, и полагал, что я в уединении.

Человек же слабо улыбнулся и зашагал со мной в ногу. Меня это не устраивало, и я придержал шаг. Не помогло. Я ничего не слышу, сказал я. Он кивнул и неожиданно на удивление отчетливо произнес:

— А я знаю, кто вы такой!

Я приостановился и, улыбнувшись на его робкую попытку пошутить, сказал:

— Я бы предпочел идти без провожатых.

Человек не отставал, он заговорил о чем-то несущественном, и отдельные слова я улавливал.

На грабителя он был не похож, но он был навязчив, меня так и подмывало повернуться и пойти своей дорогой; я сделал вид, что читаю свои записи и не обращаю на него внимания. Вдруг слышу, он употребил выражение, которое в ходу у салтенцев: «Уж ты не взыщи!»

От этих простых слов меня пронзило воспоминание, сердце их услышало.

— Вы из Нурланна? — спросил я.

— Ну да, — ответил он. — Только вы меня не знаете.

Он обращался ко мне то на «вы», то на «ты» и старался говорить как можно отчетливее, короткими предложениями, поближе к уху. Может быть, это объяснялось особенностью его интонации, но по большей части я все разбирал.

Я еще не сказал, как он выглядел, такой он был неприметный, слишком даже неприметный: среднего роста, добродушное лицо, худощавый, немолодой. Может быть, по бедности, а может, из смирения он шел босой, а связанные шнурками ботинки нес на плече.

— Я рад, что увидел вас, — сказал он.

Ну что за человек! Я чуть не заскрежетал зубами.

— И что вы согласились меня выслушать, — продолжал он.

— Я же глухой. Что я должен выслушать?

— Мы ведь оба из Хамарёя.

Вон что. Я сделал вид, будто это ничего не значит, хотя это обстоятельство сделало меня куда сговорчивее.

Он протянул мне календарь многолетней давности, в потертом кожаном переплете, со множеством исписанных страниц, и попросил прочесть.

Я ждал этого. Истории, жизнеописания.

— А не холодно сейчас ходить босиком? — спросил я, чтобы отвлечь его. — Скоро октябрь.

— Я записал все как есть, по правде, — продолжал он свое.

До чего же мне это было знакомо! Еще десять лет назад я получал по почте бандероли с правдивыми семейными историями, рассказами про любовь и стихами.

— Я не смогу это прочесть, — сказал я. — Просто не осилю.

— Раз мы оба из Хамарёя...

— Сами вы откуда именно?

— Из Клёттрана в Сагфьорде.

— Как вас зовут?

— Меня? Мартин. А по фамилии — Эневолдсен.

— Ладно, я попробую, — сказал я устало и полистал тетрадь. — Но все я прочесть не смогу, только выборочно.

Там говорилось о школьном учителе и о человеке, которого звали Бертеус, два-три раза мелькнуло имя Алвильда, а еще — о примирении с Богом, о поездке в Клингенберг, о пасторе, ловах, разведке горных пород...

Нет, так я читать не мог, а он стоял и смотрел на меня. Я вернул ему тетрадь, но ясно было, что так просто я от этого человека не отделаюсь, да мне уж теперь вовсе этого и не хотелось. Он словно бы выпрашивал у меня милостыню, он был у меня в руках.

Мы уселись в вереске и стали беседовать, я зажег трубку, он не курил, он рассказывал. Я заметил, что он боится утомить меня, он показал на тетрадь и сказал:

— Лучше бы ты сам прочел.

Но мне хотелось послушать.

— Удивительно, что я так хорошо тебя слышу, — сказал я, ответно переходя на «ты». — Лучше, чем кого-либо другого.

— Я привык, что, когда стою и говорю, слова надо проносить четко.

— Стою и говорю — это как же?

— В собраниях.

Вон оно что, в собраниях. Но я имел в виду не слова, а звуки, звучание. То, как слова звучат. Голос у него был не сильный, но как будто приноровленный для слуха, и доходил. Он мог бы заучивать стихи с таким голосом и зажигать людей.

— Ты читаешь псалмы? — спросил я.

— О нет. Хотя да, псалмы Давида.

— Так ты и поешь?

— Нет. Но я играю на органе.

— И еще была девушка, которую звали Алвильда? — спросил я неожиданно и взглянул на него.

Он смешался. И ответил:

— Да, ее зовут Алвильда. А откуда ты знаешь?

— Прочел в твоей тетради.

— Это ничего. Это пожалуйста! Ничего дурного тут нету.

— Расскажи-ка мне лучше, как ты в это вовлекся?

— Милостью Божией.

— Хорошо. И что же, ты пришел прямиком из Клёттра-на в Сагфьорде и начал говорить в собраниях?

— Нет-нет, что ты, — возразил он беспомощно. — Это меня пастор направил. Это было на одних похоронах, я вдруг почувствовал, что у меня призвание.

— И ты заговорил. Что же ты сказал?

— Я ничего не сказал. Я молился Богу. Это было на Бертеусовых похоронах. Здесь обо всем написано.

Что делать, я попался, я должен был это прочесть. Я ничего не потерял, напротив, безыскусные слова и описания складывались в увлекательную повесть.

Я читал:

«Все началось с того, что жил-был человек по имени Бертеус, он приехал из Квефьорда и обосновался в наших краях. Он был женат, и у них был ребенок. Я с ним тесно сошелся,

хотя он был старше и в артели за главного. Замечательный человек во всех отношениях, а для меня — как брат между братьями. Он привез лес от Шёнинга в Хиллингене, и я помогал ему ставить дом, за это я у них столовался, а больше мне ничего и не нужно было. По осени он уехал обратно в Квефьорд и снарядился на Лофотены — у него был свой восьмивесельный парусник. Жена его осталась с нами, в своем новом доме. Не хочу на нее наговаривать, но ребенок оставался дома один, когда она вместе с другими ходила по ягоды. Посреди зимы приплывают они на веслах домой, привозят Бертеуса — у него была нервная горячка, и он пролежал двое суток. Лежал пластом и бредил, и никто не хотел быть возле, раз у него нервная горячка и он заразный, а жена, та и вовсе боялась к нему подойти, не то передастся маленькому и тот заразится, так она сказала. Поэтому я с ним и сидел и давал ему подсахаренную воду, смачивая губы пером, а он все бредил. Так продолжалось два дня, и он умер.

Я был прямо убит, когда это случилось, ведь все мы надеялись, что он оправится, но, видать, не судьба. Я думал, я не переживу, я не мог примириться с этой скорой смертью, он же был совсем здоровый и крепкий, когда мы рубили дом, и вот его призвали! Я лежал ночами и раздумывал и не находил покоя. Жена хотела похоронить его на кладбище в Квефьорде, но это было невыполнимо, потому как парусник его со всей артелью вернулся на ловы, на Лофотены, а больше перевезти его было не на чем. Нашлись добрые люди, которые отправились на лодке в Клингенберг за гробом и койкакой снедью для поминок, но я с ними не поехал. Что, если и меня призовет смерть, как Бертеуса, и куда же я тогда попаду? Приходил ко мне школьный учитель, уговаривал, чтобы я не убивался так, только мне это не помогло. Тогда я вскарабкался по снегу на скалу, что зовется Орлик, потому как очень уж похожа на орла; там я опустился на колени и воззвал к Господу и Иисусу в моей нужде. Мне полегчало, я молил вразумить и просветить мою душу, и поистине Господь внял моим молитвам как никогда. Я долго там пробыл, солнце опустилось, я увидел внизу, у домов, незнакомых людей; те, что поехали в Клингенберг за гробом, тоже воротились. И тут на меня сошло озарение, и в душу излился несказанный свет, как величайшая благодать. Я был не в себе, всю дорогу домой я разговаривал вслух, без умолку. Пришел пастор, и тело положили в гроб, они хотели уже опустить крышку и зашикали на меня, чтоб я замолчал, но пастор махнул им, он ведь конфирмовал меня и хорошо знал. «Оставьте Мартина в покое!» — сказал он. Я сложил руки и

воздел их и молил о том, чтобы Господь помиловал и простил Бертеусову душу и всех нас. Я забылся, не помню, сколько я говорил, помню только, пастор взял меня за руку и поблагодарил. А когда я сел, то уснул прямо на стуле, от изнеможения. Слава Господу в вышних! То, что я записал здесь, — о Его ко мне благоволении и неизменной милости с того самого дня на Орлике и поныне.

Шло время, и ничего больше не происходило. Вдова собиралась обратно в Квефьорд и ждала только, чтобы вернулся парусник с артелью и забрал ее. Был уже апрель. Что ей делать с домом? Она попыталась его продать, но не вышло. Тогда она попросила меня, чтобы я перепоручил это ленсману, и я обещал. Когда я вернулся от ленсмана, она сказала, пока суд да дело, я мог бы в этом доме пожить. Я спросил, что она имеет в виду. Я и сама не знаю, сказала она, но ты ведь рубил этот дом вместе с Бертеусом, потому я так и сказала! Я все еще не понимал, чего она хочет. Да нет, у тебя на уме другая, сказала она, только она морочит тебе голову, она пойдет за школьного учителя, так и знай! Да, я знаю, сказал я, и давай больше об этом не будем, а лучше-ка помолчим. А на другой день за ней с ребенком пришел парусник, и она уехала к себе в Квефьорд, где у нее осталась родня. Все улеглось. Настало лето, и дом ее купил школьный учитель и переехал туда и открыл школу. В разгар лета он женился и накупил в Клингенберге горшков и кастрюль и прочей необходимой утвари; они были счастливой парой, миловались друг с дружкой и были довольны. Сам учитель неделя за неделей ходил с молотком по окрестным горам и скалывал породы, но он не нашел никаких ценных металлов, которые можно было бы послать на проверку, и все его хозяйство пошло прахом, даже дом и тот пришлось продать, а все потому, что в горах он ничего не нашел.

Осенью учителю предложили более выгодное место в Хельгеланне, и он уехал, нам его очень недоставало, ведь у него была золотая голова и он был сведущ во всех науках. Он вышел из семинарии в Тромсё человеком знающим и прозорливым, он мог изобретать машины прямо из головы. Жаль его. Он научил меня играть на органе и других много чему научил, его звали Ханс Несс, высокий, красивый мужчина, но ему, видно, ни в чем не хватало постоянства, и он забыл своего Бога. В Хельгеланне он купил усадьбу, но и там не преуспел, прожил года два, а потом ему пришлось съехать, и все их имущество было описано. В конце концов он решил, что уедет в Америку и что ему, собственно, давно уже надо было туда уехать. У нас тут тоже посчи-

тали, что он прав, потому как для человека, который столько всего умеет, сколько он, и у которого одинаково золотые голова и руки, Америка — единственно подходящая страна и есть. Он одолжил на билет и вооружился мужеством, я как раз был в Хельгеланне, когда он простился с семьей и тронулся в путь. Единственное, что я мог сделать, это от всего сердца молить Господа, чтобы все у него сложилось хорошо в новой жизни и в новом мире; наконец, я молил милосердного Господа призреть и защитить жену и двоих детишек, которых он оставлял, но которые должны были поехать следом за ним, как только он разживется деньгами. И вот он уехал. На все воля Господня! Больше она его никогда не видела.

Нет, больше она его не видела. Она получила от него два или три письма о том, что он благополучно добрался и думает податься на Запад; с тех пор он не подавал о себе вестей. Она прочла в газетах о небывалом пожаре в Чикаго, во время которого погибло так много людей, — что, если он был среди погибших, опасалась она. Однако она не прекращала расспрашивать и разыскивать его и думала о нем все эти годы, при том что сама жила в горчайшей бедности. Это было тяжелое для нее время: ни вдова, ни мужняя жена, и на что-то же ей с детьми надо было жить. Меня она прямо-таки видеть не могла; когда я появился в тех краях, она сказала, лучше бы мне было не одалживать ему на билет, чем повергнуть их всех в такое несчастье. Я на это ничего ответить не мог и ушел со скорбью в сердце. Зная, в каком она расположении духа, я не решался лишний раз показываться ей на глаза, просто посылал поздравления на Рождество и прочие праздники. Ей это было не по нраву, и когда я пришел опять, она была полна горечи и наговорила мне много обидного. Не пойму, чего это ты все рыщешь в этих местах, сказала она, ты же живешь в Хамарёе. Я иду с юга и направляюсь сейчас далеко на север, сказал я, а сюда заглянул по пути. Нет, ты ходишь да вынюхиваешь, сказала она, и что только там, дома, могут подумать люди! Уж не возомнил ли ты, что ради тебя я позабуду человека, которого ты спровадил? Ха-ха, милый Мартин, уж не собираешься ли ты занять его место? Нет, не собираюсь, ответил я. Тогда возьми, что принес, и убери с моих глаз, сказала она, нам ничего не нужно, можешь не беспокоиться! Но ведь это же такая малость, это детям, сказал я. Я не понимаю, почему ты не оставишь нас в покое, твердила она. Хорошо, я оставлю вас в покое, сказал я.

Я пожалел, что так сказал, потому что она еще пуще расстроилась и ударилась в слезы. Больно было смотреть. Я сказал, что уже и думать забыл о ее словах, но она назвала себя скотиной и последнею тварью и была безутешна. Когда я уходил, она вышла со мной на крыльцо, вся в слезах. Я и тебя, наверно, тоже никогда больше уже не увижу? — сказала она. Оставь эти печальные речи, ответил я, в следующий раз ты получишь какое-нибудь известие. Для Господа нет ничего невозможного!»

Дальше я читать не стал и вернул ему календарь. Он был разочарован. Мне и это было хорошо знакомо, люди не понимают, как это можно бросить, не дочитав до конца, ведь конец ничем не хуже.

— Учителю явно не повезло, — сказал я, желая умиротворить его. — Выходит, это он был женат на Алвильде?

Мартин замялся. И сказал:

— Здесь об этом ничего нет.

— Верно.

— Потому что об этом нигде не упоминается.

— Скажи мне лучше, ты так всю жизнь с самой молодости и провел, выступая в собраниях?

— Ну как выступая, я этому не обучен. Я молпось Господу.

— Но ведь столько лет, это же целая жизнь.

— Да, если хочешь. К сожалению, время ушло и годы ушли, а я так ничего для людей и не сделал.

— А как ты оказался здесь, так далеко на юге?

— Пришел.

— Пешком?

— Да. Я странствую. Я и в Швеции был, и в Финляндии.

— Прости, что я об этом спрашиваю, — сказал я, — но ты за это что-то получаешь? Я имею в виду, тебе кто-нибудь платит?

— Нет. Но Господь милостив ко мне, и я не бедствую. Я часто нанимаюсь поденно и кое-что зарабатываю, нередко даже с лихвой. Так что нуждаться я не нуждаюсь.

— Ты заходишь и просишь поесть?

— Нет, — ответил он и покачал головой. — Но если уж так получилось, что люди сидят за столом, то и меня накормят.

— Хорошо. Ну а если не получилось?

— Тогда иду дальше, пока не приду в другое место. Или обхожусь. Мне не так уж много и нужно.

Я посмотрел на исхудалого странника и сказал:

— Прости, а не лучше ли тебе было бы вступить в какое-нибудь общество или религиозную общину, где бы ты имел что-то постоянное?

— Может быть, — ответил он. — Но понимаешь, я не могу похвастаться ученостью и знаниями, лучше уж я буду ходить одним-один и держаться Господа, так оно всего надежнее. О, мне легко идти к людям, я молюсь, и я покоен. Когда я захожу куда, я благодарю Господа за то, что попал под крышу этого дома, и молю ниспослать всем нам небесное благословение и прощение. Всегда кто-нибудь приходит послушать, а если там еще есть и маленькая фисгармония, то получается уже целая хвалебная песнь. Обыкновенно так.

— А почему тебе было так важно, чтобы я прочел твой календарь?

— Ну-у, на то была своя причина. В юности, в Хамарёе, мне приходилось о тебе слышать, так что имя твое было мне знакомо.

— Но как ты узнал, что я здесь?

— Кто-то сказал. Вот я и подумал, что надо бы обязательно с тобой встретиться.

— Понятно.

— Мне говорили, что ты оглох, но меня это не испугало. У меня и отец был глухой, и мать была глухая, кричи не кричи — бесполезно. И в собраниях тоже немало тугоухих людей, которые не слышат ни слова Божия, ни молитвы к Нему.

— Да. Ну а почему все-таки ты хотел со мной встретиться?

— Что ж, я скажу тебе, если ты не сочтешь это за обиду.

— Нет-нет.

— Тогда я скажу одно: пришло время, когда ты должен устроить дом твой. Пора. Ты человек старый.

Мы оба замолчали. Больше он не сказал ничего. Никакой проповеди, — он знал меру и не стал разжижать сказанного. Не исключено, что это прощальное слово он продумал заранее, а может быть, он привык обращаться с ним к старикам, которых встречал на своем пути.

— Спасибо тебе за то, что ты взял на себя труд поговорить со мною сегодня, — сказал я и сунул ему в карман мелкую ассигнацию.

Оба мы при этом смутились, и я спросил, чтобы замять неловкость:

— Ты сейчас куда направляешься?

— В город.

— Тогда надень ботинки.

— Так это успеется, — сказал он. — Я поберегу их, пока не выйду к людям.

Наступил октябрь. Конечно же, сигары мои кончились, но ничего, у меня есть табак в жестянках, отечественный, и я курю трубку. Смотрю, один из наших стариков раздобыл где-то и приносит домой длинный табачный стебель, размером с куст; он бережно обирает все до единого сухие листочки, набивает ими трубку, разжигает ее. Что ж, это выход, и преотличный, у остальных у нас даже настроение поднимается на него глядячи. Начиная с лета, когда мне прислали из дому ботинки покрепче, я ни в чем не испытывал нужды, я получил из Дании благословенный том истории культуры, а здесь мне позволили взять Библию и толстую книгу о Новой Гвинее.

Однажды вечером приходит доктор и говорит, что должен меня обследовать.

— А зачем? — спрашиваю.

— Полиция думает, не отправить ли вас домой в Нёрхолм.

— Мне раздеться?

— Нет, не нужно, — отвечает он, — расстегните только рубашку.

Он послушал грудь и спину.

— Кажется, чуть повышенное давление, — сказал он. — Вам хочется домой?

— Мне хочется того же, что и полиции. Своих желаний у меня уже нет.

Готово. Все заняло десять минут.

Я не придавал этому обследованию никакого значения. Полиция, посчитал я, чересчур заботлива, я совершенно здоров, а давление — что это такое? Первый раз слышу. Со мной все в порядке, я просто-напросто стар и глух.

Через два дня пришел адвокат, принес кучу бумаг и сказал, что должен произвести регистрацию моего имущества. Я указал то же, что и судебному следователю: двадцать пять тысяч наличными, усадьба Нёрхолм и двести акций «Гюлдендала».

— И еще авторские права, — добавил он и проставил цифру: сто тысяч.

Сплошные догадки! Я сказал:

— Возможно, они и стоят сто тысяч крон, а возможно, не стоят и пяти крон, этого никто не знает, я конченный человек. Спросите в «Гюлдендале», там все-таки специалисты.

Он зачеркнул сто тысяч и написал вместо этого: пятьдесят тысяч.

— Ценные украшения? — поспышалось мне.

Колец я не ношу. Я полез в жилетный карман и хотел было отдать ему мои часы, но он покачал головой.

Готово.

Прошла неделя. Я ни о чем не подозревал, из Нёрхолма меня приехали навестить дочь с невесткой, мы шутили, смеялись, я рассказывал о всяких мелких происшествиях. Мои родственницы сообщили, что меня собираются отправить в Осло, в «прекрасный пансионат», они узнали об этом через знакомых в полиции. Что ж, я не против! Я пробуду там две недели, обмолвились в полиции. Мои родственницы вручили мне каждая по свертку с деньгами, чтобы я сохранил до своего возвращения, — они всегда так делали, когда у них заводилась лишняя копейка.

На следующий вечер явился полицейский и повез меня в Арендал. Это было в воскресенье. Я вошел в переполненный вагон, все еще не зная о цели своего путешествия... пока полицейский в весьма деликатной форме, как бы ненароком, не передал мне номер «Афтенпостен», где было написано, что меня должны поместить в психиатрическую клинику. Опять эта таинственность. Поезд прибыл в Осло наутро, и я всю ночь провел сидя, в общей сложности двенадцать часов. А ведь я далеко не юноша. Паромом мы бы добрались за семь часов, и я смог бы прилечь.

В понедельник 15 октября между десятью и одиннадцатью часами утра меня пропустили, отперев три двери, в психиатрическую клинику. После чего три двери снова были заперты.

Меня встретил целый рой одетых в белое сестер милосердия, я должен был сдать все, что у меня в карманах, — мои ключи, часы, записную книжку, перочинный нож, карандаш, очки — все. В отворот пиджака были воткнуты две булавки — их отобрали; с чемодана был сдернут чехол, — видно, из опасения, что я мог туда что-то запрятать. Потом они открыли чемодан и принялись перерывать его содержимое.

Встал вопрос о заключении врача. У меня есть письменное заключение врача? Нет. Меня же доставила полиция, я арестант, изменник родины, понимаете? Старшая сестра участливо спросила, и как же это со мной могло приключиться такое несчастье? Ничего страшного, сказал я. Нет, нет, это так ужасно для меня, так прискорбно. Я сказал, что все объясню потом.

Меня повели в ванную. Я сказал, что устал и проголодался, но они сказали, что я должен вымыться. Одеваясь, я хватился булавки для галстука. Ее вынули, пока я лежал в ванне, а мне — ни звука. Я ползал по полу, искал — нет булавки! Спросил служителя — не знает. Я рассердился и закричал, а они: «Чш-ш-ш!» Я объяснил, — это маленькая ценная булавка, с восточной жемчужиной, в отличие от вывесок, что нацепляют некоторые. Тогда только одна из сестер сказала, что булавку взяли на сохранение.

И наконец, мне дали несколько мизерных ломтиков хлеба. Я еще не дождался, как меня позвали. Я не понял, что они говорят, и попросил написать на бумаге, они написали: «враг». Что-что? — спросил я. Они написали это же самое слово, уже в другом углу, и подчеркнули. Вы имеете в виду — врач? Доктор? Да-да-да, закивали они. Я сказал: — Никакой врач мне не нужен. Я не болен.

Врач сидел на втором этаже, я туда взобрался. От возбуждения я был чрезмерно говорлив, болтал вздор, жаловался, что вымотан, — надо было плыть паромом. Стенографистка записывала, доктор был терпелив и хотел помочь мне:

— Раз вас не повезли на пароме, это потому, наверное, что поездом гораздо быстрее.

— О да, всего лишь на пять часов *дольше*, — сказал я.

Я спросил, как его зовут. Он ответил:

— Рююд.

— Я очень устал и должен лечь, — сказал я.

Краткое вступление.

Итак, я помещен в психиатрическую клинику в Осло, заведение для «нервно- и душевнобольных». 1945 год, начиная с 15 октября. Мои дни уходят на то, что я письменно отвечаю на письменные же вопросы профессора Лангфельдта¹. Эти ответы — работа, выполненная мною на скорую руку, в неблагоприятнейших условиях, в строго отведенное регламентом время, при скудном освещении, в состоянии нарастающей депрессии. Словом, это отнюдь не золотые россыпи. Но это *моя* работа.

Поскольку за недостатком времени я не смог переписать свои ответы и поскольку профессор отказался предоставить мне оригиналы, я оставляю здесь пробел — мне нечем его заполнить.

Год 1946-й, 11 февраля.

Меня выпустили из заведения.

Это не значит, что я свободен, но я могу перевести дух. По правде говоря, это единственное, на что я сейчас способен. Я очень болен. Я вернулся из лечебного заведения, и я очень болен. А поступил туда здоровым.

¹ Профессор, доктор медицинских наук Габриель Лангфельдт, психиатрическая клиника. (Примеч. автора.)

Возможно, я еще коснусь пребывания в психиатрической клинике, но только позднее; приветливые санитарки, милейшая старшая сестра, Рождество 45-го, пациенты, прогулки на свежем воздухе — все это подождет. Я должен выздороветь.

Первым делом надо попытаться снова получить убежище в Ланнвикском доме для престарелых. Это не так просто, там сменилось начальство, мою комнату занимает другой старик, дом переполнен. Онсрюд, начальник арендалской полиции, сделал для меня все, что мог, обитатели дома также изъявили свою добрую волю — и меня приняли.

Здесь я должен был пойти на поправку. Но я далеко не юноша, мне было трудно вернуться к нормальной жизни, которая прервалась четыре месяца назад, проходил месяц за месяцем, а мое выздоровление затягивалось. Я отказывался от посещений, сюда присылали письма, я на них не отвечал, был не в состоянии. Я совершал прогулки по раскисшему снегу, но меня после них трясло. И все время клонило ко сну, я засыпал даже посреди бела дня, на стуле, все говорили, что это от слабости.

Я собрался с духом и отослал охотничий нож. Ох уж этот нож! Я его не присваивал, он пристал ко мне в Гримстадской больнице, а потом четыре месяца пролежал в подвале клиники вместе с остальными моими вещами. Я отослал его по почте в больницу: пожалуйста, вот охотничий нож, заберите его у меня, я больше не могу его видеть, он не мой.

И вообще я попытался по силе возможности привести в порядок свои дела. Отметил крестиками в календаре важные даты, подписался без разрешения на несколько газет, починил одежду. Зима еще стоит, но сияет солнце, все длиннее и длиннее дни, установилось своего рода экваториальное время: в семь часов смеркается, настает вечер, и в семь же часов светает, настает утро. Это идеальное равновесие будет сохраняться до тех пор, пока не переместится экватор.

Я потерял всякую тягу к чтению. У меня была история культуры, и Библия, и труд о Новой Гвинее, но я быстро уставал от серьезных книг и охотнее читал разного рода макулатуру и газеты. Время от времени я обнаруживал на кухне и штудировал ту или иную религиозную газету, статьи были хорошо написаны и зачастую хорошо продуманы; была газета «Евангелист», ее присылали сюда бесплатно, и сочинения адвентистов, поставляемые эмиссарами. Последние печатались на атласистой бумаге, изящным шрифтом, листать — одно удовольствие, а какое отдохновение для моих ослабевших глаз. Я подумал о своем друге из Клёттрана в Нурланне, он мог бы вступить в эту влия-

тельную адвентистскую общину, что, несомненно, избавило бы его от необходимости ходить босиком. Но он должен ходить один, сказал он.

Однажды вечером на машине приехала старшая сестра из Гримстадской больницы. Приехала, чтобы вернуть мне... охотничий нож!

Я еще недостаточно окреп, чтобы глубоко задумываться, я стоял и молчал.

— Нет, — сказала она, — этот охотничий нож не имеет к нам отношения, и мы не хотели бы держать его в больнице. Нож превосходный, только он не наш.

— И не мой, — сказал я.

— Спросите своих домашних, — посоветовала она, — наверное, он из Нёрхолма.

Я не стал спрашивать, это было выше моих сил.

Проходят дни, проходят месяцы, мне не намного лучше. Кое-кто здесь, в доме, умирает, благо стариков у нас предостаточно, одни, стало быть, переселяются в мир иной, их место занимают другие, на нас, оставшихся, это не действует, это в порядке вещей. Снег сошел, настала весна, мало-помалу у меня появляется желание работать, но нету сил. На письма я не отвечаю по-прежнему.

Табак уже продают свободно, только радости от этого — ну никакой. Чего же мне не хватает, отчего я такой неподатливый? Весна и лето и все вместе взятое, но, Боже ты мой, что за дурацкое состояние! Я очинил ножом два новых карандаша, чтобы быть во всеоружии, буде найдется возвышенное объяснение, но — не находится. Что же мне делать? Меня всего распотрошили, вот в чем беда, я опостылел самому себе, у меня нет ни желаний, ни интересов, ни радостей. Четыре или пять уцелевших чувств пребывают в спячке, а шестое — вылущено.

За это мне надо сказать спасибо генеральному прокурору.

«Ланнвикский дом для престарелых, Гримстад
23 июля 1946 года

Господину генеральному прокурору,
Осло

Я сомневался, стоит ли мне писать это письмо. Ведь оно ничего не даст. Да и в мои столь преклонные годы можно было найти другое, более подобающее занятие. Я вижу свое

оправдание в том, что пишу не для настоящего — я пишу для того человека, которому, быть может, доведется прочесть это, когда нас уже не будет. А еще я пишу для наших внуков.

После нескольких переездов в течение прошлого лета меня поместили 15 октября в психиатрическую клинику в Осло. На каком основании — остается загадкой, и не только для меня. Официальное наименование этого заведения — «для нервно- и душевнобольных», я же ни к тем, ни к другим не относился. Я был старым и глухим, но вполне здоровым и бодрым, когда меня отторгли от нормальной жизни и работы и заточили туда. Возможно, господину генеральному прокурору когда-нибудь зададут вопрос, почему он действовал столь необдуманно и допустил в отношении меня такое самоуправство. Вы могли вызвать меня к себе и побеседовать со мной — Вы этого не сделали. Вы даже не удосужились заглянуть в медицинское заключение, где бы говорилось о необходимости поместить меня в клинику. Местный врач обследовал меня десять минут — «очень бегло», как он выразился. Вероятно, он отметил «чуть повышенное давление», вероятно, упомянул о кровоизлиянии в мозг. Но разве давление — повод для проверки психического состояния? Разве кровоизлияние в мозг, которое ни малейшим образом не отразилось на моей психике, — повод для помещения в клинику? Людей с кровоизлиянием в мозг немало, артериосклероз — не такое уж редкое и из ряда вон выходящее заболевание. Я знаю человека, который перенес кровоизлияние в мозг и тем не менее защитил целых две докторских диссертации. Он уверяет, что кровоизлияние на нем никак не сказалось.

Я допускаю, что мое имя незнакомо господину генеральному прокурору. Однако Вы могли обратиться за сведениями туда, где их можно получить. Кто-нибудь Вам да рассказал бы, что я не так уж безызвестен в мире психологии, что за свою очень долгую писательскую жизнь я создал не одну сотню персонажей, которые и внешне и внутренне походят на людей из плоти и крови — каждым состоянием и движением души, в мечтах и поступках. Вы не искали обо мне этих сведений. Вы передали меня, так сказать, не глядя, в некую клинику, некоему профессору, который также ничего обо мне не знал. Он явился во всеоружии знаний, почерпнутых из учебников и ученых трудов, которые он вызубрил наизусть и по которым сдавал экзамены, но тут крылось кое-что еще. Если генеральный прокурор был неосведомлен, то уж профессору, с его познаниями, следовало тотчас же от-

пустить меня. Он должен был понимать, что вопрос абсолютно вне его компетенции.

Да и вообще — для чего все это было? Для того, чтобы объявить меня сумасшедшим, а значит, не способным отвечать за свои поступки? Не эту ли любезность хотел оказать мне господин генеральный прокурор? В таком случае Вы не приняли в расчет меня. Уже с самого начала, на допросе 23 июня, я признал себя ответственным за свои действия и с тех пор не переставал отстаивать эту точку зрения. В глубине души я был убежден, что, если бы мог говорить свободно, суд склонился бы к моему оправданию или, во всяком случае, был бы близок к этому, — все зависело бы от того, насколько далеко я отважился бы зайти в своих объяснениях и насколько они были бы приемлемы для суда. Я знал, что я невиновен, глух и невиновен, я бы успешно выдержал экзамен, устроенный мне государственным прокурором, если бы всего-навсего рассказал большую часть того, что было на самом деле.

Но все свелось на нет тем обстоятельством, что я оказался в неволе и месяц за месяцем терпел принуждение, насилие, запреты, пытку, инквизицию. Я отдаю себе отчет в том, что клиника может заручиться прекрасными отзывами, где будет сказано нечто противоположное. Пусть. Не все мы в равной степени впечатлительны; хорошо это или плохо, но мы реагируем на все по-разному. Некоторые живут, отдыхают и работают рывками, все же их расчеты ни к чему не приводят. Осенит их на мгновенье Божья благодать, и они способны своротить горы, остальное же время — как в воду опущенные. Что касается меня, я предпочел бы десять раз отбыть заключение, закованный в кандалы, в обычной тюрьме, чем подвергнуться пытке совместного проживания с этими более или менее душевнобольными в психиатрической клинике.

Однако пребывание мое там затянулось.

Узника не должно щадить. Профессор спрашивал, а я отвечал; я писал и писал, потому что я глух, я старался ответить на все вопросы. Писал при плохом свете, падавшем из тусклого плафона высоко под потолком, — это были самые темные месяцы в году; по мере того как шло время, я замечал, что зрение мое слабеет, но я писал — для того чтобы знание и наука не споткнулись на мне. Профессор потребовал, чтобы я дал разъяснения по поводу моих «двух браков», как он выразился. Я отказался — как нельзя более решительно — и посчитал, что этого достаточно. Но этого было недостаточно. Профессор задал мне этот возмутитель-

ный вопрос — письменно и устно — еще дважды, причем оба раза ссылаясь на «властей». Он не услышал от меня ни слова. Я не себя хотел оградить — я хотел приостановить бесчинство.

Однако профессор нашелся. Он испросил разрешения «властей» на то, чтобы мою жену переправили из Арендала в его клинику в Осло для освидетельствования. О результатах этого сеанса читайте на странице 132-й и далее внушительного опуса, посланного в окружной суд.

Узника не должно шадить и впредь. Ни за что!

Когда на каком-то отрезке времени я решил было, что уже виден конец, профессор заставил меня пройти нечто, что он назвал судебной экспертизой. Это оказалось не чем иным, как повторением пройденного. Те же в точности вопросы, которые он задавал мне и на которые я отвечал месяц за месяцем. Ни разу не изменилась их тональность, ни разу не был использован новый прием — никакой разницы, которая бы показала, что мы работаем вглубь. Единственно, это оттягивало время, оттягивало на недели и месяцы.

Когда я вновь позволил себе углядеть конец, профессору переслали три моих письма, за которые я должен был теперь держать ответ. Письма были пятидесятилетней (!) давности и не содержали ничего, что могло бы дурно характеризовать меня, напротив, там рассказывалось, как скверно обошлись со мною в полиции в ту пору, когда ее возглавлял пресловутый Моссин. И опять мне пришлось заняться писаниной, потому что я глух. Все это не представляло уже никакого интереса ни для живых, ни для мертвых — давнишний случай послужил поводом еще немного меня помучить. Я и на этот раз все преодолел, но последние недели продержался исключительно за счет внутренних ресурсов. Когда меня отыскал мой друг и забрал оттуда, я был как желе.

Ну и что же из всего из этого вышло? Задействован мощный аппарат правосудия. Следователь назначает двух заранее подобранных психиатров. Меня возят туда и обратно через всю страну под охраной полиции. Рекламируется посещение иностранцев — им покажут зверя, который содержится взаперти. Потрачены четыре месяца, чтобы наклеить ученый ярлык на каждое мое мыслимое душевное состояние... И вот наконец приговор: *я не являюсь и никогда не был душевнобольным, но мое психическое здоровье основательно пошатнулось.*

К сожалению, это так. И оно резко пошатнулось именно в результате моего пребывания в психиатрической клинике.

К этому причастны два специалиста, но один держался — или его держали, — так сказать, в отдалении. Я виделся с директором клиники дважды, каждый раз минут по пятнадцать, он производил впечатление человека приветливого и не самонадеянного, разговор у нас получился. Правда, он допустил промах, ткнув мне в нос отчет о моем визите к Гитлеру, в ходе которого я якобы высказывался против евреев. Я и по сей день еще не ознакомился с этим отчетом, не говоря уже о том, чтобы признать его достоверность. Как я мог позволить себе выпады против евреев? У меня среди них было немало добрых друзей, и друзья эти были мне очень преданы. Не будет ли господин директор так любезен изучить собрание моих сочинений: интересно, найдет ли он там хотя бы один выпад против евреев.

Когда я писал — критически — о втором специалисте, профессоре, я, разумеется, не преследовал цель поставить под сомнение его способности как таковые. Для этого у меня совершенно нет оснований. Безусловно, он знает свое дело, то есть он знает *свое* дело. Я утверждаю лишь, что его дело не имело ко мне отношения. Ни сам этот человек, ни его методы мне не imponировали.

Господин генеральный прокурор! Обнародовав приговор, вынесенный мне этими специалистами, Вы одновременно публично заявили, что прекращаете расследование и не будете передавать мое дело в суд.

Прошу прощения, но Вы опять действовали за моей спиной. Вы не подумали о том, что я могу быть не удовлетворен данным решением, Вы запомнили, что и в ходе следствия, и позднее я неизменно признавал себя ответственным за свои действия и что я ожидал суда. Ваше неожиданное вмешательство привело к тому, что я очутился между небом и землей, а решение по моему делу так и не было вынесено. Снова — половинчатость. Вы полагали, что тем самым окажете мне услугу, но это не так, и я думаю, кое-кто со мной согласится. До недавнего времени я был не так уж безызвестен в Норвегии, да и во всем мире, и меня не устраивает перспектива провести остаток своих дней в качестве амнистированного Вами лица, не отвечающего за свои поступки.

Вы, господин генеральный прокурор, выбили из моих рук оружие.

Вы, верно, полагаете, что поправили дело — задним числом, — послав мне повестку в окружной суд. Но дела уже не поправишь, Вы сбили меня с моих четких и твердых позиций. Чем теперь обернется «прекращение расследования» и

Ваш «отказ от передачи моего дела в суд»? Вы позволяете Вашим юристам и судейским давать интервью относительно моего дела, стоит лишь возникнуть новым обстоятельствам; Вы используете меня как подопытного кролика в Вашей весьма своеобразной судебной практике. Если бы Вы сообразывались с моей позицией в ходе следствия, Вы бы мало-помалу избавились от необходимости действовать по указке журналистов и прессы. И наконец, как быть с муками моего четырехмесячного пребывания в клинике? Должен ли я принять их от Вас даром? Или же эта кара — *аванс* на будущее, добавление к тому, что воспоследует?

Будь у меня свобода действий, я бы настаивал на передаче моего дела в окружной суд на предмет оправдания. Это не такая уж туманная идея, как Вам может показаться. Я бы употребил остатки моего «основательно пошатнувшегося психического здоровья» в первую очередь на то, чтобы дать оценку известным материалам, а после призвал бы суд рассмотреть мое дело по справедливости, и только по справедливости.

Однако я отказался от этого плана, я потерял надежду. Даже в случае положительного исхода я предвижу закручивание гаек общественного мнения. Я снова стану подопытным кроликом.

С почтением».

Проходит лето. Сам я не замечаю особой разницы от смены времен года, они уже не чередуются, как бывало, месяц за месяцем, время стало вневременьем — и я не воспринимаю лето.

Но здесь у нас кое-какие перемены. Я пишу не книгу, даже не дневник, Боже меня избави, я многое опускаю, делая большие отступы, и не веду счет происходящим событиям. Однако же что-то из окружающего мира в меня да просачивается. Наша прежняя заведующая уехала, ее место заняла другая. Одна из двух красавиц, что работали внизу в конторе, покинула нас, зато вторая осталась с нами. Наш старый дом для престарелых сильно обветшал, и мы намереваемся строить новый.

Это не пустяки. По себе и другим старикам я вижу, у нас появилась серьезная тема для шамканья: у нас, двадцати — тридцати человек, обитающих под одной крышей, будет ванная комната, прачечная, больница, пекарня, птичник, дровяной сарай и прочие надворные постройки. Прежде мы и знать не знали о подобных роскошествах, и воображение

наше разыгрывается, как во времена юности. Кое-кто пытается отстоять старый дом, нам не так уж и плохо жилось здесь, и потом — разве мы тут не для того, чтобы умереть? Ну разумеется. Только напоследок нам действительно стоит взять от жизни все, что возможно. Разве мы не должны идти в ногу со временем, не должны приспособиться к более современным условиям? Дайте только переселиться, и под занавес мы прекрасно успеем освоиться с новшествами и умрем с сигаретой в зубах.

Конечно, мы умрем. Но не сей же миг, как сказал Августин.

Я покупаю шнурки. Они слишком длинные, я трижды обматываю их вокруг ноги, но это меня не смущает. На обратном пути я вижу человека, который отстраивает на горе дом. Глаза бы не глядели, как он кроет крышу — кладет новую поверх старой, которую оставил как есть, и выходит у него криво. Или это мне так кажется отсюда, с дороги? Человек этот был на строительных работах в Америке, стало быть, он знает, что делает. Пойти и выяснить, кто же из нас ошибается, я не в силах. А в прошлом году пошел бы. До того, как попал в руки докторов.

Я долго раздумывал над тем, чтобы к осени починить галоши. Они служат мне с Первой мировой войны, но подошвы у них еще крепкие, вот только правая галоша порвалась и то и дело соскакивает с ноги. Она досаждала мне годами, а теперь с ней и вовсе нет сладу — я начал о нее спотыкаться и приношу ее домой в руках. Эта галоша — мой крест. Я сшил было рваные края прочной шерстяной ниткой, но все без толку, она рвется дальше, по швам. Ничего не попишешь. А галоши были отличные, я носил их во многих странах, даже когда правая порвалась, они сопровождали меня и в Вену, и в нашуумевшей поездке к Гитлеру. И если я их не выбросил, это не только потому, что мои ботинки пропускают воду. Тут одно связано с другим. Вот я и подвязал мою галошу шнурком.

Раз, два, три, четыре... вот так я сижу и делаю заметки и пописываю, не для чего-то, а для себя. По старой привычке. Из меня потихоньку сочатся слова. Я — кран, откуда капает: раз, два, три, четыре...

Кажется, есть звезда под названием Мира. Надо бы это проверить, но проверить негде. Не важно. Мира — из тех звезд, что появятся, посветят немного — и сгинут. Вот и весь

ее жизненный путь. И тут я думаю о тебе, человек. Из всего живого, что есть в природе, ты, по сути, рождаешься никаким. Ни злой, ни добрый, ты появляешься на свет без обдуманной цели. Приходишь из тумана и вновь пропадаешь в тумане, до того ты несовершенен. А стоит тебе, человек, оседлать редкого коня, и конь этот перестает быть редким. Так, изо дня в день, тихой поступью...

Спрыгнешь ли ты с коня и ударишь ли оземь шляпой ради прекрасных глаз, прекрасных глаз, увиденных тобою? На это у тебя не останется духу.

Сегодня вырвалось на простор новое, обещающее племя. Оно только-только народилось и невинно, я читаю о нем, но имена все незнакомые. Не важно. Все они — блуждающие огни: явятся, посветят — и сгинут. Придут и уйдут, как и я.

Некогда в Хамарёе у меня был дядя по матери, закоренелый, неисправимейший холостяк, скаредный, злой, на редкость неразговорчивый, что называется, человек с головой, вдобавок зажиточный. Светочем его никак не назовешь, зато у него был дом на пасторовой усадьбе и он заведовал местной почтой, — это сейчас почтовая контора на каждом шагу, а тогда была одна на весь приход. Дядя мой был в своем роде личностью примечательной, он купил себе большой дом со стабуром прямо на пасторовой усадьбе. Как это ему удалось, я не знаю, но а пастора, у которого он выторговал дом, звали Бент Фредрик Хансен, его потом перевели в Эрланн. После него к нам в Хамарёй был назначен Фредрик Моцфельдт Раум Фладмарк, его перевели потом в Нурдредуал. Последним на моей памяти был Кристиан Энгебрет Николайсен, с которым я не знаю, что случилось, потому что я уехал и потерял его из виду. И все это время мой дядя жил на пасторовой усадьбе в своем большом доме с прилегающим к нему стабуром.

Кроме почты, он заведовал еще и общественной библиотекой, которую, между прочим, вызволил из мерзости запустения. Он малость подторговывал, хоть и не имел патента, получал с юга книжки на распродажу и сам, на свой вкус, выписывал книги для библиотеки. Тут он никого не спрашивал. Его домоправительницу звали Сиссель, может, она была и неплохая женщина, только несколько лет она морила меня голодом.

Мой дядя в то время был еще не старый, но у него начали отниматься руки, почему он и не мог писать. Мне было

восемь лет, когда он взял меня к себе и выдрессировал на писца. Держал он меня при этом в ежовых рукавицах. Сам же он целыми днями лежал одетый на лавке, все больше и больше теряя подвижность.

Ну да все это к делу не относится.

Так вот, однажды, мне было тогда лет девять, приходит на почту черноволосый рослый человек, настоящий богатырь. Понятно, я на него уставился. Он вручил мне письмо и четыре скиллинга на марку.

Мой дядя заговорил с ним, его звали Ханс Паульсен Торпельванн, собственно, он жил в соседнем приходе Тусфьорд, но ходил на нашу почту, потому что сюда было ближе.

— Что, выбрался нынче из дому? — спрашивает мой дядя.

— Да. Принес вот письмишко сыну в Христианию.

— Я читал про него, — сказал дядя.

— Вон как, — сказал отец. — Я тоже читал про него, но я мало что в этом смыслю.

— Похоже на то.

— А уж мать его как надеялась, что он выучится на пастора и приедет. Но, видно, тому не бывать.

На что дядя отозвался со своей лавки:

— Он больше чем пастор!

Не знаю, откуда мой дядя это взял, вероятно, из газет и книг, в которых он рылся. Но многообещающий сын в Христиании — знаете, кто это был? Пауль Боттен-Хансен. Ни больше ни меньше. Один из лучших представителей своего поколения.

У моего отца тоже был некогда многообещающий сын.

А сколько надо положить трудов, чтобы такое выпестовать. Но не будем — я обращаюсь к тем из нас, кто обманул ожидания, — не будем делать из этого трагедию. Оно того не стоит.

В глубине заброшенного сада, который примыкает к соседнему дому, стоит елочка, но что мне до нее? Поэтому я почти и не гляжу в ту сторону. Конечно же, ей суждено захиреть и погибнуть. Она такая красивая и маленькая, с метр, не больше, и стройная, как свечка. Но рядом кряжистый тополь, он застит ей свет, и оглаживает ее день и ночь по макушке своими ветками, и на минуту не оставляет ее в покое. Не стой она у меня на пути... но другого пути нет, и не будь такой беззащитной... но это меня не трогает. И поскольку мне до нее нет дела, я подбираюсь к ней темными осенними вечерами и обрываю тополиные листья и ветки, чтобы ночь

она провела спокойно. Нередко утром я обнаруживаю новые листья и ветки, а дотянуться до них не могу. Я присмотрел ящик себе под ноги, только во всех окнах свет и собака подает голос. Почему бы не пойти среди бела дня и раз и навсегда не разделаться с листвой и ветками? В прошлом году я бы так и поступил. Но я был не здесь, а на принудительном обследовании.

До чего все нелепо.

Я подстерег соседа, поздоровался с ним и говорю: вам нужно спилить у тополя ветки и спасти вон ту маленькую елочку! Он не отвечает — наверное, прочел в газете, что меня проверяли на предмет психической полноценности. Мне жаль эту елочку, говорю я. Он бросает взгляд на распахнутое окно, криво улыбается и уходит.

От нечего делать, чтобы скоротать время, темными осенними вечерами я по-прежнему обрываю понемножку листья и ветки, но до верха не дотягиваюсь, и ветер колыхает новую листву и новые ветки. Это безнадежно.

Однажды утром я вижу человека с топором и пилой, который обрубают на тополе все ветки, сверху донизу. Только какое мне до этого дело? Судя по всему, он получил указание, он обрубают ветки и на других больших лиственных деревьях. Пускай.

Быть может, кто-то сидел у окна, и слышал мой разговор с соседом несколько дней назад, и видел его кривую усмешку. Я думаю, жена.

Как бы то ни было, лишь весной по верхушке будет видно, жива ли еще елочка. Долго ждать.

Кто-то меня зовет, я слышу...

Да нет, это всего лишь моя фантазия. Я интересничаю — перед самим собой. Какое упущение с моей стороны, что я не показал психиатрам, не покрутил эту маленькую кнопочку раньше, тогда бы ей дали какое-нибудь красивое название. Я сижу здесь, совершенно здоровый, и сам себе морочу голову, с умыслом. Это по меньшей мере шизофрения.

То, что меня кто-то позвал, — попросту глупая шутка, а по отношению к самому себе — еще и грубая выходка, ни от кого другого я бы такого не потерпел. Никто меня не звал, это я прикидываюсь.

Зачем я это делаю? Мысли улетают так далеко. Я делаю это в качестве упражнения, я делаю это для того, чтобы хоть как-то прийти в норму после депрессии в психиатрической клинике. Сейчас, по прошествии месяцев, она немного отступила, но насовсем отпустить меня не хочет. Я был уже

слишком стар, когда надо мной затеяли этот эксперимент; чтобы прийти в себя, потребуется время. Мне остается уповать на свою крестьянскую рассудительность и здоровье, которое меня обычно не подводило.

Но не из воздуха же это взялось — что меня кто-то позвал? След ведет кое к каким вопросам профессора Лангфельдта: «С вами никогда не происходило ничего необычного, так сказать, сверхъестественного?» Я начал было простодушно восстанавливать глубокое и прекрасное переживание времен детства, но не получилось, да и вообще это был напрасный труд — он ничего не понял. «Но вы что-то слышали?» — спросил он. Я не ответил. Не пожелал.

Очевидно, воспоминание об этом сеансе и дало толчок моему воображению. Более глубокомысленного объяснения я не нахожу.

Зато я узнал наконец, что охотничий нож попал ко мне отнюдь не сверхъестественным образом. А это уже кое-что. Разгадка меня и обрадовала, и удивила. Что же мы за убогие люди такие, не видим дальше своего носа, бедны на выдумки, небогаты предчувствиями. Я мог бы и сам догадаться, но вот не догадался же.

Когда Стивенсон сидел и писал на своем острове в Южных морях, он слышал в себе глас Бога. Он не задавался вопросами, не искал в книгах, гений его извергался, ему были откровения. Больной, он излечивал себя писательством в приступах божественного безумия. Он читал о нас, людях цементного века, и умер от удара.

Охотничий нож, он — мой, мне его прислал давным-давно Эрик Фрюденлунн, управляющий почтовым отделением в Эурдале. Жаль, при мне не было этого доброго ножа, когда темными осенними вечерами я ходил обрывать листья и ветки.

Но каким образом нож тайно попал ко мне в Гримстадскую больницу? Все очень просто: маленькому Эсбену, которого взяли с собой, очень уж захотелось завладеть этим большим, необыкновенным ножом, тогда мать взяла и спрятала его на дне дровяного ящика. Ладно. Но, собираясь домой, она, конечно же, забыла меня предупредить.

Раз уж я пишу об охотничьем ноже, надо бы упомянуть и вот о чем: у меня теперь есть новые галоши. Это меня домашние обули. Наскребли, наверное, по крохам и купили в складчину.

Только новые галоши мне ни к чему, я подвязываю старые, с толстыми подошвами, и таскаю их уже который ме-

сяц. Для чего же еще мне эти длиннющие шнурки, как не для того, чтобы подвязывать ими галоши? И как удачно они подошли, даже и незаметно, что подвязаны.

Не буду я носить новые галоши.

Только бы прошла зима. О, только бы она прошла, во имя всего святого!

Зрение мое несколько ослабло. Я никак не привыкну к тому, что стал хуже видеть, вначале я даже не хотел верить, решил, что-то попало в глаза. У меня были превосходные очки, еще несколько месяцев назад я в них все видел, они что, уже не годятся?

На машине, а это обошлось втридорога, я поехал к главному врачу. Послушайте-ка, у меня перед глазами все расплывается, я не могу читать как прежде, не могу вдеть нитку, что за чудеса, неужто меня подвели сразу оба глаза? Вразумительного ответа я не получаю; он знай себе крутит ручки и показывает на белые черточки и красные черточки, на буквы и цифры. Похоже, плоховат левый глаз, подсказываю я. Он не отвечает. Мне досадно, и я говорю: ну как же, когда я прикрываю левый глаз, то все еще различаю крупный и четкий шрифт. Ну а если, для перепроверки, я закрываю правый, то вижу лишь большое черное пятно. Гм, отвечает он. Мне становится еще досаднее, и я настаиваю на том, что не в порядке именно левый глаз! Я могу выписать вам призматические очки, произносит он наконец. Ну да, говорю я, а еще есть призматические бинокли, а в них чего только не увидишь. Боюсь, что больше мы с вами ничего не поделаем, говорит он, раскланиваясь.

Невероятно! Я возвращаюсь на машине домой в полном отчаянии от этого глазного врача, я не верю ему, нисколько не верю.

Выход один — попасть в Осло. На носу Рождество, мне надо поторопиться. Поскольку я не в состоянии высидеть двенадцать часов в поезде, я аккуратно записываю день, когда можно уехать паромом, и трогаюсь в путь. Все идет гладко, все помогают мне, кстати, на борту я в своей стихии и чувствую себя в полном расцвете сил. Все устроено заранее, я в Осло, я иду в гостиницу, завтракаю, бреюсь и отправляюсь к главному врачу.

Тут меня ждет небольшое испытание. День выдался унылый, дождливый, на улицах ужасно, я ничего не вижу. Я поднимаюсь на четвертый этаж какого-то дома и опять спускаюсь. Я подозреваю, что не туда попал, и стою теперь, раз-

глядываю номера. Неожиданно со мной здороваются некий господин, его сопровождает молодая дама. Я могу вам чем-то помочь? — спрашивает он. Нет, спасибо, отвечаю я, просто я смотрю, где тут глазной врач. Вон там! — объясняет он. Дама улыбается. И вы не сочли за труд показать дорогу незнакомому человеку, да еще в такую скверную погоду! — говорю я. С лица дамы не сходит улыбка. Я узнал вас, — говорит господин. Я горячо благодарю и захожу в подъезд. По-моему, я здесь уже был и поднимался на самый верх. Я прочесываю этаж за этажом, читаю все таблички — и нахожу врача. В приемной передо мной — трое.

По старой привычке я хотел было полистать газеты с журналами, но я почти ничего не вижу. Я жду своей очереди. Пациенты то выходят, то заходят опять, перемещаются; медсестра утешает меня — мне придется чуточку обождать, но это недолго.

Теперь я успокоился совершенно, ведь скоро ко мне снова вернется зрение. До чего же любезно было со стороны этого господина и дамы остановиться и помочь мне невзирая на дождь. Со мной заговаривает какая-то пациентка, но я глух и поэтому лишь киваю, наугад. Она продолжает говорить, и я показываю на свои уши — я в последнее время неважно слышу, но со зрением у меня почти все в порядке, просто что-то попало в левый глаз. Будучи в духе, я разболтался. Под конец дама, должно быть, засомневалась, а так ли уж у меня все в порядке, и оставила меня в покое. Дождаться вызова пришлось долго. Тем временем дама написала что-то на листке бумаги и показывает мне — кажется, благодарит за какие-то книги...

У врача мы пробуем всего понемножку, но он обходителен и не заставляет меня разбирать красные черточки и буквы. Мы пробуем стекла и лупы, я должен опять выйти посидеть в приемной; тут подошла очередь незнакомой дамы, и больше я ее не видел.

Вторая часть приема закончилась быстро. Врач было посоветовал мне диктовать. Диктовать? Этого я не умею, никогда не умел. Да и зачем мне диктовать? Я ведь больше не пишу, бросил много лет назад уже. Наоборот, было бы занятно, если бы ко мне возвратилось зрение, чтобы я мог читать, ну и так далее. Ну да, ну да. Он позвонил оптику и договорился о чем-то на январь месяц — придется мне подождать. А нельзя, чтобы доктор подобрал мне очки прямо сейчас? — спросил я. Дайте я взгляну на ваши очки. Это как будто хорошие очки, сказал он. Замечательные, подхватил я, еще несколько месяцев назад я видел в них прямо как в

молодости, но теперь мне, наверное, нужны другие, посильнее, или как вы думаете? Он выписал рецепт, я взглянул мельком, ведь его нужно будет предъявить в январе. Вот странно, я получил не очки, а то, о чем вовсе и не просил: рецепт на ручную лупу и пузырек йода! Вы можете зайти в аптеку и забрать йод сразу же, сказал врач. Когда я хотел рассчитаться с ним, он отмахнулся и отошел к своему столу.

Итак, я вернулся в гостиницу с пузырьком йода и рецептом на ручную лупу, которую получу у оптика в январе. А для глаз он мне так ничего и не дал.

Странные люди эти глазные врачи. У меня о них сложилось не лучшее впечатление.

В остальном же пребывание в Осло было сплошным удовольствием, в радость мне, такого великолепного Рождества я не проводил еще ни в одной гостинице. Я прогуливался, навещал детей и внуков, ходил на выставки, бродил в приятном расположении духа и осматривал город Осло после стольких лет. Многие были мне внове, автобусы, все эти рестораны, совершенно иная, день и ночь напролет в движении молодежь. Все были со мною услужливы и предупредительны, порывались уступить свое место, газету; видя, что я собираюсь сходить, хотели открыть двери, но недаром же я был кондуктором трамвая в Чикаго, я прекрасно справлялся сам. В общем, я не заметил, чтобы ко мне стали относиться с прохладцей, хотя я по-прежнему был заключенным. На Карла-Юхана, прямо посреди улицы, меня остановила молодая дама, проговорила что-то и, засмеявшись, бросилась мне на шею. У нее были карие глаза, я помню. Какой-то господин с рюкзаком поглядел на меня и сказал: «Как же это вы ходите по такой грязи без галош! Пойдемте, я куплю вам галоши!» Вцепился в меня и не хотел отпускать. В конце концов я был вынужден поблагодарить его и вернуться в гостиницу.

С паромами на праздники вышла большая неразбериха, одни не прибыли, другие отменили. Так что в дом для престарелых я вернулся лишь через десять дней.

Я бессовестно забросил свои дела, не ответил на письма, не поблагодарил открыткой за цветы и маленькие подарки. Вот уже второй год, как я не удосуживаюсь поблагодарить моего доброго издателя в Барселоне, что неизменно присылает мне к Новому году поздравительную телеграмму. На дне чемодана лежит кипа писем из-за границы, больше даже, чем в прошлом году. Там не знают, что я сижу взаперти,

они и представить себе не могут, что после «смены власти» я остался не у дел. Но так оно и есть.

Дни идут.

Я по-прежнему слабо разбираюсь в том, что делается в мире, я читаю газеты и изучаю телеграммы, но мне это дается с трудом, я еще недостаточно окреп. Поездка в Осло пошла мне на пользу, пусть даже я и не получил дельного совета относительно глаз. Мы держим домашнее животное на привязи добросердечия, мы даем ему свободно передвигаться и оставляем его. Разумеется, это привязь. Но как бы там ни было, я благодарен добросердечию властей, которые решили мне эту поездку, куда хуже было бы, если бы она не состоялась. Ведь сколько событий! Я отнюдь не являл собою величественного старца, когда на Карла-Юхана меня обняла дама. Нет. И я был не в лохмотьях, а в приличном пальто, когда господин с рюкзаком вздумал купить мне галоши. А помимо этих двоих сколько же людей меня приветили. Я не презираем, не ненавидим. И это хорошо. А будь это и не так, мне было бы безразлично. Я слишком стар.

Есть вещи, не поддающиеся моему разумению, и в том числе — почему газетчики продолжают интересоваться моим «делом» и поддерживать к нему интерес у широкой публики и почему рассмотрение этого дела все откладывается.

Прошлым летом его откладывали не менее трех раз на различные сроки. И то, что 1 мая 46-го я получил торжественную повестку в окружной суд, о чем меня торжественно известила гримстадская полиция, ничего не изменило. Решительно ничего: дело было всего-навсего... отложено до сентября, на осень! Правда, то был изрядный скачок. Но простите, потом дело было отложено с сентября 46-го на март 47-го. Это уже комедия и цирк, вместе взятые. Я бросаю вести счет.

Разве я не прилагал невероятные усилия, чтобы быть в курсе происходящего? Но куда бы я ни обращался, я заставлял лишь смятение и перемещения. Сначала подал в отставку генеральный прокурор. Потом нас покинул лагман, вновь взявший на себя обязанности окружного судьи. Потом в один прекрасный день нас оставил государственный прокурор, сделавшись судьей в соседнем фюльке. Меня неоднократно уведомляли, что дело мое *рассмотрено*. Но перед судом я так и не предстал.

Я все думаю и пытаюсь понять, какая судебным органам выгода от подобных отсрочек. Неужели же кто-то делает ставку на мою старость и надеется, что я и так умру, умру сам собой? Но в таком случае дело останется навеки незавершенным, и где же тут выгода? Не умнее ли было бы сделать со мною что-нибудь, пока я еще жив? И потом, до чего же это, должно быть, утомительное и нескончаемое занятие — дожидаться чьей-то смерти. Иные наследники меня здесь поддержат.

Боганис рассказывает про пса, который потерял след — и напал на него, перескакивая канаву, и двинулся дальше, но уже по противоположной стороне. Да, так он и сделал, двинулся дальше.

Куда уж дальше: последний раз мое дело перенесли на март 47-го, так ведь? Сейчас март 47-го и есть, на пороге апрель, и вот сегодня я читаю, что мое дело откладывается «до лета»! Я не собираюсь поднимать шум, я лишь киваю в знак того, что это явление мне знакомо. За 47-м последует 48-й. Домашнее животное — на привязи.

Может быть, отныне практичнее всего было бы откладывать мое дело сразу на полгода, а еще лучше — на целый год? Потому что иначе как одолеть мою живучесть? Впереди у меня могут быть годы и годы. Пустячная, но досадная помеха.

Теперь все сваливают на Верховный суд, мол, это Верховный суд до сих пор не рассмотрел мое дело. Хорошо, когда можно сослаться на что-то незыблемое.

Правда ли, что встарь нам, людям, жилось куда веселее? Я знаю, вопрос, быть может, поставлен неверно и плохо сформулирован, но я делаю это намеренно, это пробуждает во мне что-то такое... быть может, снисхождение к собственному несовершенству. Умышленная беспомощность, — Библия заражает.

На ум мне приходят слова Беньяна: «И вот я здесь, а я исходил многие края!» Этим исчерпываются все мои воспоминания о Беньяне. Но я откидываюсь назад с чувством сладостного снисхождения к этой фразе. Счастливый случай несовершенства.

Лопарь спустился с горного плато и увидел зеленое поле и лес, и вот он запел: «До того красиво, что я не могу не смеяться!» Так поется в песне, но это больше чем песня. Sela! — говорит Давид. Я не знаю, как понимать sela, но так говорит Давид. И это красиво.

Господи, благослови все, что не есть привычная речь человеческая, которая нам внятна. Молчание тоже благословенно у Господа.

В войну я замечал иногда, глядя на других: сейчас стреляют. А пушек не слышал — может быть, потому, что они были слишком далеко. Я извлек пользу из своей глухоты, но, когда дело доходило до выстрелов из пистолетов и охотничьих ружей, тут, по правде говоря, глухота служила мне плохую службу. Стуки, пусть и слабые, я все еще слышу, даже тихий стук в дверь костяшками пальцев, но я совсем не разбираю связную речь. Для меня она — как непрерывное жужжанье. Со мной так давно не вступали в разговоры, что я и сам разучился говорить; я жил одиноко, видеть — видел хорошо, но не слышал. Я приблизился к состоянию некоторых жителей Востока: вынужденному молчанию. Я даже сам с собой перестал разговаривать, с отвычки.

Но теперь я и вижу не так хорошо, а это похуже глухоты. Еще в январе я должен был получить ручную лупу, сейчас уже весна, но я ее так и не получил.

Слава Богу, хоть пришла весна!

Я прохожу мимо елочки, что стоит в снегу. Я прохожу мимо, ни на мгновение не задерживаясь перед теми самыми окнами, и говорю себе, что нет, рано еще смотреть на елку, иди, не останавливайся! Хотя, конечно, уже и в марте любому было видно; что верхушка — живая.

Через тридцать лет вырастет высокая ель. Древесина.

Здесь так мало птиц. Зима была суровая, и многие, скорее всего, погибли, лишь изредка во дворе захлопает крыльями тощая ворона или сорока. Однажды мне показалось, что я заметил запоздалого посланца весны, но, поскольку вижу я плоховато, так я и не определил, скворец это был или же перезимовавший черный дрозд. Скворец или дрозд, но он вполне мог расстаться с жизнью, — у нас тут четыре толстые кошки.

Во время моих каждодневных прогулок по раскисшему снегу, случается, я встречаю маленькую желтую собачку, которая дает себя погладить и с которой можно поговорить, а больше мне не попадается ни души. Меня это как нельзя устраивает, я могу побыть наедине с собою, и я избавлен от того, чтобы переспрашивать нерасслышанное. Мало-помалу с дорожных тумб стаивает снег, я помню их, эти тумбы, пригревает подобревшее солнце, уже проглянуло множество лесных тропок. Я думаю о Мартине из

Клёттрана в Хамарёе, минул год уже или полтора с тех пор, как он подошел ко мне в этом лесу, он тоже был вынужден ходить один, но он ходил не просто так, он странничал и молился Богу.

Качнулась ветка, под птичкой. Я тут же останавливаюсь. На другой ветке, на другом дереве, сидит еще одна птичка, судя по всему, это пара, пара воробышков, — они слетаются и, соединившись, разлучаются, пять раз подряд, прямо у меня на глазах. Все происходит на лету: мгновенье потрепав вместе, они разлучаются и воссоединяются вновь, и так пять раз. А после пренахально делают вид, будто они тут и ни при чем. В особенности он, явно желая свалить вину на нее. Я не вскричал, нет, но, охваченный праведным негодованием, я упрекнул его в том, что ведет он себя низко, не по-рыцарски, если уж на то пошло, оба хороши! Вскоре самочка упорхнула, так ему и надо!

Не знаю, что на сей счет думает Франциск.

О, бесконечно малое среди бесконечно большого в этом невероятном мире! Я радуюсь тому, что еще живу. Поездка в Осло пошла мне на пользу.

Узнавание весны, ощущение, будто все тронулось в рост, которое что ни год, то берedit нашу душу, — что это? Бог его ведает. Женщина-миссионер на чужбине, вероятно, назвала бы это зовом отечества, дабы придать чувству религиозный, отвлеченный оттенок, я же, напротив, пришел к этому сам и считаю, что оно в прямом смысле связано с отчим домом и отечеством. Нас тянет назад, нас тянет домой. На чужбине нам не прочувствовать весну, у нас лишь сожмется сердце на новом месте. Сожмется, но не затрепещет.

Вспоминается Гельсингфорс 1898-го или 99-го. Но это было тому уж пятьдесят лет назад, и я не полагаюсь на свою память, я позабыл имена и, может быть, буду излагать все не в той последовательности.

В книжном магазине, куда я зашел, было двое: один — мужчина средних лет, простоволосый, в белой рубахе на выпуск и сапогах с высокими голенищами, второй — помоложе, с мастерком в руках. За прилавком никого не было.

— Сейчас придет, — сказал мне первый. — Фрекен пошла вверх за моей книгой.

Я увидел стул и присел.

— Я русский, — сообщил он.

— Нашел чем хвастаться! — презрительно заметил тот, что с мастерком.

— А я из Норвегии, — сказал я.

Русский, с интересом:

— Из Норвегии, значит. И надолго вы сюда?

— Да, на год.

— Какая разница, откуда мы, — сказал каменщик. — Я родом из Финляндии, я родом из мира. — Слова его остались незамеченными.

Русский подошел ко мне поближе:

— Я вас в городе не видел, где вы живете?

— Я живу не в городе, я далеко живу, на Фёллисеёген.

— А я должен жить в городе и ждать, только я не могу здесь привыкнуть.

Русский рассказывал охотно, он тут был со своими господами, которые уехали неизвестно куда, за границу куда-то, далеко. А он устал ждать, не может привыкнуть, хочет домой. Как это вышло, что он говорит по-шведски, если он — русский? Так это он сыздетства учил, сколько себя помнит, его родители — шведские финны, они уже умерли, а сам он родился в России и считает себя русским.

— Постыдился бы, — сказал каменщик. Но тот не обратил на него внимания.

Я подумал про себя: значит, этот русский родился в неволе, в далекой северной губернии, но я не понимал, как это он вдруг оказался здесь, а расспрашивать не хотел.

Он продолжал рассказывать, про свой дом, у него замечательный дом, красный, а вокруг лес, и рядом бежит ручей. Боже мой! Его ждут не дождутся жена и дети, а сам он работал в имении у графа, большое имение, тянется на мили и мили, несколько сот одних только слуг.

Со второго этажа спустилась фрекен, принесла ему книгу. Он схватил ее и, перекрестившись, сунул в карман. Мне должны выслать деньги, сказал он даме, много денег, я скоро вам обязательно заплачу. А этот вот господин — из Норвегии, сказал он про меня.

Дама улыбнулась.

— Он пробудет здесь год, а я тут никак не привыкну, хочу домой.

Дама перевела взгляд на меня:

— Что вам угодно?

— Русско-шведский словарь.

Русский вынул книгу из кармана, перекрестился и начал ее перелистывать. На обложке была изображена икона.

— Что это за книга? — спросил каменщик. И, не дождав-шись ответа, продолжал: — Божественная. Я б ее на мастерок и зашвырнул куда подальше.

— Она ему дорога, — сказала дама за прилавком.

Каменщик повернулся ко мне:

— Ну что ты поделаешь с этими полоумными? Они ж как животные, ничего не знают, читают божественные книжки, крестятся. Я, говорит, родился в России, я русский. Ну не все ли равно?

— Нет-нет, — возразила дама.

— Что вы этим, фрекен, хотите сказать? — резким тоном спросил каменщик.

— Нет, не все равно. У каждого есть своя страна, родина.

— Вот, вот! Такими речами нас пичкают с самых пеленок, пишут об этом в газетах, кричат на всех перекрестках. Хотите знать мое мнение?

Русский неожиданно впадает в экстаз:

— О, великая, святая Русь!

— Он сделался истеричным от тоски по родине, — сказала мне дама.

Каменщик не намерен с нами оставаться, нет, дольше он оставаться тут не намерен, он побелел и запальчиво говорит:

— Родина — да подите вы! Знаете что? Хотите знать мое мнение? Родина с любовью и коленопреклонением и прочими сантиментами! Хотите знать мое мнение? Родина — там, где нам хорошо. Да! Вот мое мнение. И никакой другой родины нет.

Фрекен ему на это с улыбкой:

— Так вот вы каменщиков и наставляете.

Он оторопел:

— Вы-то что об этом знаете?

— Да уж знаю. Вы же выступаете у себя в союзе.

Не успел каменщик уйти, как зашли два господина, путешественники, они говорили по-английски и спросили карту Финляндии.

Русский представился:

— Я русский.

— Тс-с-с, — тихо произнесла дама.

Переговорив между собой у прилавка, два господина попросили еще и большую карту России — посмотреть, где они побывали. Мы приехали из Китая, объяснили они, бесконечное путешествие, месяц за месяцем, через всю Россию. Мы американцы.

Дама знала английский и могла им отвечать.

— О чем эти господа говорят?

— Тс-с-с, — произнесла дама.

— Я только хотел узнать, они не из России приехали?

— Да, из России.

— Слава те Господи, значит, они приехали по большой железной дороге, которой нет конца. — Он стал перечислять губернии и города, рассказал, что при графском имении есть желтое станционное здание и в двадцати верстах оттуда — его дом. Он перекрестился. Он просит прощения, но они должны были проезжать мимо большого желтого станционного здания, его не перепутаешь, и всего в каких-нибудь двадцати верстах оттуда стоит его дом. Он стоит у ручья, вокруг тополя, можжевельник, а птиц — видимо-невидимо.

— Чего этот человек хочет? — спросили американцы.

Дама улыбнулась:

— Он хочет знать, не проезжали ли вы мимо его дома в России.

Американцы, недоуменно:

— Что? Откуда же мы знаем. Его дом — в России?

— Его замучила тоска по родине. Его господа уехали, а он остался...

— Они что, его бросили?

— Они наказали ему тотчас же возвращаться домой и дали на проезд деньги. Только он сбился с пути и все пропил.

— Бедняга! — рассмеялись американцы. — И теперь он тоскует по дому? Мы — тоже. Эта болезнь нам хорошо знакома. Но мы сейчас прямо на пароход — и домой.

— Счастливо вам добраться.

— Спасибо, фрекен. Где вы научились говорить по-английски?

— В Америке. Вот приехала ненадолго домой.

— Понятно! — закивали американцы. — А потом обратно к нам?

— Думаю, что да.

Русский опять к ней:

— Спросите их, может, они хоть птиц видели.

— Ну как я об этом спрошу, — мягко сказала фрекен.

Американцы попрощались и пошли к выходу. В дверях они обернулись и спросили фрекен: что, если дать русскому денег на обратную дорогу?

— По-моему, не стоит, — ответила она. — Он ведь должен дожидаться от своих господ новых распоряжений.

— Ну вот, они ушли, а я так и не разузнал! — всхлипывая, проговорил русский. — Простите, а они там будут, когда я вернусь домой, как по-вашему?

— Кто? Воробьи? Ну конечно, будут.

— Вы бы, фрекен, видели, как они слетались к ручью и опускали клювики в воду, точно их замучила жажда, — эта-

кая мелюзга! — Русский плакал. — Не бог весть какие птицы, — продолжал он, взяв себя в руки, — серые, желтые, только отгонишь, а они опять тут как тут, небо от них аж темное, мильон...

По его седой бороде катились слезы.

Мне стала надоедать его истерия, и я не сдержал своего удивления по поводу того, как терпелива с ним дама.

Она ответила:

— Я финка и сама тоскую по дому! — Потом перегнулась через прилавок и прошептала: — Мы с ним двоюродные, я так понимаю. Только я не хочу, чтобы он об этом знал.

Однажды туманным промозглым днем я брел по центру. Дело было между двумя войнами, я находился тогда на свободе, я шел и нес книги, которые купил, несколько связок, нести их было не очень сподручно — они ерзали и так и норовили выскользнуть. Я, собственно, направлялся на почту, чтобы послать один экземпляр в Красный Крест.

И тут произошло следующее.

Откуда ни возьмись, передо мной появился молодой человек, назвал меня по имени и сказал:

— А ну как я вас ошарашу!

Он был хорошо одет и не походил на грабителя.

— Я, наверное, вас ошарашу, — повторил он и вдруг сам оробел, у него даже перехватило дыхание. Я стою и не двигаюсь, он — тоже. — Нет, это я сказал глупость, не с того начал, просто я подумал, что ошарашу вас своей просьбой...

— А я уж решил, вы хотели на меня броситься.

— Нет, нет, что вы. У меня неприятности, мне страшно совестно обращаться к вам, ну а вдруг вы сможете мне помочь.

— Помочь?

— Ну да. Вообще-то это не в моих правилах, но мне сейчас действительно туго.

Я дал ему подержать книги и полез в карман, на ту пору я располагал кое-какими деньгами. Шаря в кармане, я неожиданно подумал, что он просит не о жалкой ассигнации, а о помощи. Ко всему прочему у него было открытое, приятное лицо.

Пока я копался, он тихонечко отошел. Я заметил это, когда он очутился от меня уже в нескольких шагах. Я сказал: «Вот, пожалуйста!» — и двинулся следом. Но он успел уйти далеко вперед. Я окликнул его и помахал купюрой — не обращившись. Я окликнул его еще раз и еще — он прибавил шагу, он был уже на другом конце Пилестрэдета. Свернул на боковую улочку — и исчез.

Я стоял разинув рот. Вот меня и обокрали! От растерянности я рассмеялся глупым смешком.

Итак, молодой человек сбежал с моими книгами, попросту говоря, удрал. Но если он решил, что книги — куда более ценная добыча, чем моя денежная помощь, то он просчитался. Так что внакладе остался не я, а он.

Но меня, помню, занимало не это. Мне было интересно немножечко домыслить происшедшее.

Почему он начал с того, что хочет меня «ошарашить»? Чтобы приободриться, набраться смелости на случай, если встретит отказ. Кстати, он тут же отбросил эту тактику — дрогнул. Потом, он смутился, когда я дал подержать ему книги, — это он-то, который подошел и попросил о помощи! Взгляни я на него, я заметил бы на его лице смущение и тем самым смутил его еще больше, но я был занят другим. Он оказался в неловком положении. Переминаясь на месте, он выставил вперед ногу. Поначалу у него и в мыслях не было уйти, нет, нет, просто он решился на маленькую дерзость, думая, что это как-то поднимет его в моих глазах, ну а первый шаг повлек за собою второй и третий, и вот так вот он пошел, пошел — и скрылся.

Ему сейчас не позавидуешь, в такой он попал переплет, а все по своей вине. Он слышал, как я кричу, он мог тотчас же обернуться, но обернуться и встретиться со мною лицом к лицу после *этого* — ничего хуже быть не могло, так что же ему оставалось делать?

Молодой человек, тебе явно не доводилось терпеть нужду, ты не наторел еще просить о помощи. Судя по виду, ты из добропорядочной семьи и честный малый. «Временные затруднения» разрослись в твоём представлении до невероятных размеров, и ты вообразил, будто нуждаешься в «помощи». Наверное, это был счет от молочника или еще какая-нибудь безделица. Бог ты мой, в жизни тебе придется столкнуться с вещами не в пример хуже.

Ну а книги, они лежат сейчас перед тобой; ты не можешь отослать их обратно владельцу и оставить на столе, у всех на виду, тоже не можешь. А не попробовать ли тебе отделаться от них, сбить с рук? Я спрашиваю, потому что это — выход. Тебя коробит от мысли, что они будут обращены в деньги, ибо книги эти не твои, что ж, это делает тебе честь. Ну а что ты предлагаешь? Прости, что я вмешиваюсь, но снеси-ка ты эти книги Омтведту. Новехонькие экземпляры, в твердой обложке, — тебе хватит, чтобы оплатить счет от молочника.

И все-таки как же это тебя угораздило, как ты мог так обжечься на этих книгах? Объясняется просто. Ты, по-ви-

димому, хотел избавить старого человека от необходимости стоять посреди улицы и рыться в карманах, привлекая к себе всеобщее внимание. Похвальная мысль. Разумеется, в глубине души ты знал, что, если я за тобою и брошусь, — не догоню. А кричать: «Держи вора!» — ты бы и сам не закричал, верно ведь? И последнее: ты загнал себя в такой угол, что, может быть, подумывал уже о самоубийстве. Так что все объясняется очень просто.

Что до меня, я здесь дольше стоять не рискую, на меня уже поглядывают, я вынужден тебя оставить, кроме того, мне нужно на почту...

Я готов был провалиться сквозь землю!

Почта — книга для Красного Креста — фру Вогт...

Ну как же, фру Ида Вогт, которая имела какое-то касательство к благотворительному базару в пользу Красного Креста, попросила у меня для лотереи одну из моих книг. Я купил книгу и сочинил умную надпись. Но все равно это был довольно убогий дар, почему я вложил туда еще и сотенную купюру, чтоб книга была более завидным выигрышем. Мне ее красиво завернули, осталось лишь отнести на почту.

Но тогда, выходит, все было не так. Молодой человек с открытым, приятным лицом, как видно, стоял в магазине и наблюдал за происходящим; он пошел за мною и подстерег меня и обвел вокруг пальца.

Он унес эту книгу с собой. Унес-таки.

Пришлось мне отправить фру Вогт новый экземпляр с новой умной надписью. И фру выразила мне искреннюю благодарность за то, что я придумал вложить туда сотенную купюру.

Я пообещал выше, что, возможно, еще коснусь моей жизни в психиатрической клинике. Стало быть, я не обещал многого, но раз уж я что-то пообещал, то не выполнить этого не могу. Я и по сей день еще не оправился, настолько пребывание там было для меня пагубно. Этого нельзя ни измерить, ни взвесить, это не поддается никаким меркам. Меня медленно, медленно вырывали вместе с корнем.

Кто в этом виноват? Никто и ничто в отдельности, — система. Голое администрирование живой жизнью, регламент без интуиции и без сердца, психология по графикам и рубрикам, целая «наука вопреки».

Иные эту пытку выдерживают, но какое мне до этого дело, я — не выдержал. Что врач-психиатр, видимо, дол-

жен был бы понять. Из здорового человека я превратился в желе.

Не в моей привычке жаловаться и пенять на жизнь и окружающих, и уж тем более я не собираюсь делать этого здесь. Я не брюзга и не нытик, люблю пошутить, посмеяться, у меня легкий нрав. Это я унаследовал от отца, он был точно таким же. Всем же прочим, что во мне есть — если есть — положительного, я обязан моей матери. Я — продукт.

Однако ж я взялся не за жизнеописание.

Я хочу занести сюда кое-какие мелкие происшествия, незначительные эпизоды из жизни мужского отделения психиатрической клиники. Я затрону и более серьезные вещи, которые так и просятся на бумагу, хотя и возвращаюсь к этому с величайшей неохотой.

Это несколько на иезуитский манер устроенное и действующее заведение, где имеется с полдюжины зрелых мужчин в качестве подмоги и бесчисленное множество медсестер, которые вносят оживление, разлетаясь по палатам стаей белокипенных голубей. Милые сестры и умелые братья милосердия. В подвале находилась мастерская для пациентов, которым был показан физический труд, а на самом верху — лаборатория, где соответствующие лица должны были проводить свои эксперименты и делать открытия в области внутреннего мира человека. Посредине же были палаты, где размещалось полсотни «нервно- и душевнобольных». Время исчислялось часами, в часе было ровно шестьдесят минут, и ни минутой меньше. Во всем порядок и пунктуальность, повсюду холодность, обезличенность и регламент, строгая дисциплина и благочестие.

Я узнал на опыте, что больница и сумасшедший дом — далеко не одно и то же, хотя оба заведения предназначены для ухода за больными. Я познакомился с сумасшедшим домом лишь поверхностно, но по ночам я лежал и мечтал, чтобы это была обычная больница, обычная тюрьма, обычная охрана, принудительные работы, что угодно, — только не психушка на Виннерне. Я провел там четыре месяца, тогда как не должен был пробыть и одного дня. Ведь я был не пациентом, а постояльцем, нахлебником.

Сначала меня поместили в первое отделение, в одиночную камеру с дверным глазком; для еды мне выдали ложку; мне не разрешалось громко кашлять, не разрешалось самому разворачивать свертки с нижним бельем, присланным из дому, не разрешалось оставлять у себя бечевку. Я там пробыл около двух месяцев, после чего меня перевели этажом выше. Здесь была уже не камера, а боковая комна-

та с обыкновенной дверью, которая закрывалась, за что я был благодарен. Тут было светлее и уютнее и не так напоминало сумасшедший дом; мне выдали нож с вилкой, а спустя какое-то время вернули часы. Но и тут царил все та же атмосфера тайного сыска и продолжалось разнохиwanie, в моих бумагах и книгах рылись под предлогом того, что их надо аккуратно сложить, и я долгое время вынужден был мириться с тем, что на ночь у меня забирали верхнюю одежду.

Я не видел сколько-нибудь существенной разницы между пациентами на этом и на первом этаже, разве что здесь было побольше тех, кого лечили электрошоком и кому потом надо было отлеживаться. Когда нас выпускали на свежий воздух, все между собою общались, правда, из-за своей глухоты я вынужден был держаться особняком, дабы не понуждать других разговаривать со мною, а самого себя — без конца переспрашивать.

Однажды возле моей скамейки остановилась с улыбкой высокая темноволосая красавица. Под темным пальто у нее белел сестринский халат; я ее раньше не видел, однако же я поднялся со скамейки, поздоровался с ней и сказал, что ничего не слышу. «Да, я знаю!» — ответила она, — это я прочел по губам, — и пошла дальше.

Я не видел ее несколько недель. Но как-то в воскресенье — по-моему, это было воскресенье — она вышла из дверей женского отделения, одетая по-дорожному, с маленьким чемоданчиком в руках, ее сопровождал какой-то господин. Я поздоровался и приостановился. Она направилась прямо ко мне и сказала, что хочет меня поприветствовать и поблагодарить за некоторые мои книги. Я спросил, не уезжает ли она, на что она ответила, что вышла пройтись с мужем, только и всего. Она была очень приветлива и старалась говорить мне в ухо. Я и после встречал ее иногда на прогулках, нет, вряд ли она была медсестрой, я ошибся, она была пациенткой, нервическая, беспокойная дама.

В другое воскресенье — если я только не перепутал — со мной поздоровался молодой человек, с ним шла пожилая дама, наверное его мать. Сказать он ничего не сказал, просто поздоровался. Дама же, наоборот, отвернулась. Неделю спустя, попавшись мне навстречу, он опять поздоровался, спустя еще неделю — то же самое; дама же всякий раз отворачивалась. Очевидно, он это делал ей назло, поэтому, чтобы не усугублять ее неудовольствие, я ответил на его приветствие и сказал: он, наверное, не знает, что я арестант, что меня сюда поместила полиция. Его ответа я не расслы-

шал, но уловил слова: «...все равно мне дóроги!» С тех пор я ни его, ни этой дамы не видел.

Для меня было в некотором роде загадкой, как здесь выдерживает обслуживающий персонал. Мужчинам доставалось меньше, но сестры, они, должно быть, поступили сюда совсем молодыми, они тут уже лет двадцать. Можно узнать, какое у них жалованье? Молчат. А пенсия? Молчат. Ну а выходные у них есть? — А как же, по графику! Расспрашивать дальше я посчитал неудобным.

Но вот тут-то и крылась для меня загадка. В большинстве своем сестры были милые, с хорошими манерами и правильной речью, воспитанные дамы, они получили образование, читали книги — до того как попали сюда, теперь уже не читают. Как же они обходятся без книг? Прекрасно обходятся. Куда ни глянь, здесь повсюду лежат воскресные газеты и библейские тексты и книги религиозного содержания, но я что-то не заметил, чтобы кто-нибудь из сестер интересовался ими. Официально это заведение считалось религиозным, что не препятствовало и чисто человеческим проявлениям — насколько это удавалось. А удавалось многое. Если сестра допускала какую-нибудь оплошность, это не получало огласки. При любых иных жизненных обстоятельствах она, потребуйся это, призвала бы свидетелей, здесь же это не требовалось: ее ограждает собственное молчание и молчание других, и это — система. Случись что, и она должна отвечать, — она ни за что не отвечает. Обойдутся с ней незаслуженно, — она беспрекословно *терпит*. Это сумеет не каждый, но она — умеет. Она может позвать брата милосердия, чтобы он посмотрел, как она — терпит. Проработав некоторое время, сестра настолько овладевает прикладным иезуитством, что ей хватает на всю оставшуюся жизнь. А на пороге смерти ей ничего не нужно, кроме священника и отпущения грехов.

Я часто вспоминаю этих добрых сестер. Жаль их, воздух в заведении нездоровый, а они там обретаются и стареют. Ни тепла, ни веселья, никогда не услышишь смеха, Боже избави их засмеяться! Многие мне были до того симпатичны, я бы назвал их по именам, но, боюсь, как бы им это не повредило. Над колыбелью их пелось о любви, детях и семейном очаге. После пелось о трех дверях, затворенных перед жизнью. А время идет. И вот они уже больше ни о чем не помышляют, они — здесь, и все.

Пока я там влачил свои дни, голова у меня была занята только одним: когда же моему пребыванию в клинике наступит конец. Я чувствовал себя все более и более измучен-

ным, все более опустошенным, ничто не могло примирить меня с тем, что я сделался подопытным кроликом для психиатрической науки, и ничто не могло сблизить меня с администрацией. Встречаясь на лестницах и в коридорах, мы не раскрывали рта.

Верховным лицом являлся господин Лангфельдт, главный врач клиники и профессор университета. Я никогда не был на его лекциях, да и, как человек рядовой, все равно не смог бы составить о них какое бы то ни было мнение. Из его учеников не все, вероятно, в восторге от того, как он ведет свой предмет, это участь преподавателей многих дисциплин. Я основываюсь на своих личных впечатлениях и интуиции, вместе взятых, я основываюсь на эпизодах, фактах и той толике психологического чутья, какая мне отпущена. В своем письме к генеральному прокурору я упомянул о своем отношении к профессору Лангфельдту, не изменилось оно и позднее. На мой взгляд, это типичный семинарист, вышедший из училища с запасом книжных знаний, кои он почерпнул из учебников и научных трудов; само собой, в ходе дальнейшей учебы он совершенствовал их и привел в соответствие с сегодняшним днем. (О последнем я, конечно же, судить не могу, это простое предположение, да мне это даже и не нужно.)

Он так полагается на свои познания. Но это не то же самое, что полагаться на старую мудрость: все знать Бог человеку не дал! По своей сути господин Лангфельдт продолжает пребывать на высоте собственного величия: его подготовку нельзя оспорить, все возражения он встречает молчанием, да и вообще выступает с видом превосходства, которое мне кажется просто-напросто деланным.

Во время обхода я наблюдал, как заместительница главного врача несколько минут что-то ему объясняла, остановив всю процессию. Он спокойно ее выслушал, после чего, не сказав даме ни слова, даже не удостоив ее кивком, прошествовал далее в сопровождении своей свиты. Эта же самая заместительница главного врача рассмеялась однажды вслух по поводу какого-то забавного происшествия, — он всего лишь посмотрел на нее, но как посмотрел!

Я бы пожелал этому психиатру, чтобы он обладал способностью раздвигать свои губы в улыбке. Улыбке, которая порой могла бы относиться и к нему самому.

Его холодная, высокомерная манера держать себя вряд ли уж так ему свойственна, скорее, он напускает на себя этот вид в стенах своего заведения. Его не назовешь человеком косным или же твердолобым, иначе он не был бы таким

предприимчивым и деятельным. Помимо того, что он совмещает преподавательскую работу и научное призвание, он находит время составить домашний лечебник для сельских жителей, а при случае даже написать статью по биологии для подписчиков популярного ежемесячного журнала «Самтиден». Он молод, пользуется известностью, несомненно, является членом всевозможных научных обществ. Нет, он не закостенел. Другие — может быть, но не он. Его сухость и чопорность — отчасти лицедейство. У него достаёт живости как играть в молчанку, так и дать нагоняй.

Я представлю несколько образчиков последнего, не выбирая.

Служители испортили мой бритвенный прибор, изрезав ремень, на котором я правил бритву, вдобавок выбросили еще и важную деталь. Найти ее не удалось. Они ушли и оставили меня одного. Сестра, проработавшая здесь лет двадцать, увела меня к себе за перегородку, где с ее разрешения я и начал бриться, ее или чьим-то еще скальпелем, без зеркала, и не на шутку порезался. Вдруг послышался рык, это рычал профессор. Досталось нам изрядно: мы выбрали неподходящее место для моего бритья; он бранился, с пеной у рта, назвал ее «девушкой» (ей за сорок), а спохватившись, молча сверлил нас глазами, он не ушел, нет, — он стоял и приходил в себя! Это надо было видеть. Сестра была буквально парализована, я вытирал мыльную пену и кровь. Она и пикнуть не посмела; в оправдание ей достаточно было сказать всего несколько слов, сослаться на служителей, но в присутствии самого профессора об этом не могло быть и речи. Исключено.

Я отчасти знаю, что это такое — иметь у себя работников; интересно, чем бы это для меня кончилось, рывкни я на кого-нибудь со злости в аналогичной ситуации. Уж наверное, вместо того чтобы шуметь, я бы прошел мимо, сделав вид, будто ничего не заметил.

Как-то утром профессор подошел ко мне и с места в карьер сказал: «По-моему, вас подвела память, вы же носили очки еще в Хардангере!» Тем самым он хотел показать своей свите, как бесконечно глубоко исследует он мой случай, добрался чуть ли уже не до той поры, когда я лежал в материнской утробе. Я же бесконечно устал от его болтовни о моих очках, с точки зрения психиатрии это не имело ровно никакого значения. В Хардангере я жил в 1879 году, тому уж как лет семьдесят, совсем, стало быть, мальчишкой. Я, конечно, мог бы дать ему исчерпывающее объяснение, но не пожелал. Однажды в усадьбу, где я жил, приехал доктор,

шел дождь, на докторе был черный дождевик и непромокаемая черная шляпа, у него еще была двойная фамилия, Мортман-Хансен, кажется. Поскольку ближайшая аптека и оптика находились в Бергене — а это целый день пути, — доктор привез в своем чемоданчике лекарства и очки, пользовавшиеся наибольшим спросом, — вот так я и получил очки в Хардангере!

Но как же, нам ведь надо продемонстрировать своей свите гигиену умственного труда.

Меня вызвали к профессору. Посланное за мною лицо стояло и переминалось с ноги на ногу, желая поскорее меня увести. Я обнаружил профессора и его свиту в кабинете. Мне протянули три письма, о которых я упомянул в своем послании к генеральному прокурору от 23 июля 46-го и относительно которых я, стало быть, уже высказал все, что хотел. Видимо, я нетерпеливо передернулся, потому что профессор тут же раздраженно заметил: «Да не злитесь вы, никто не желает вам ничего плохого!» Это было сказано... не с кафедры какому-нибудь из его выучеников, но старику. И слова какие опрометчивые: никто, сказал он, не желает мне ничего плохого — тогда как на самом деле он мог отвечать только за самого себя. Я и на это возразил. Профессор раздраженно поднялся. Безо всякого вступления, без пояснений свите он громко спросил меня: «Вы одалживали деньги у дам?» (Именно об этом говорилось в анонимных письмах.) Я опешил, запнулся. В предыдущий раз я вынужден был напомнить профессору, что мы не одни, но сейчас я этого не сделал, я не нашелся что сказать, лишь что-то пробормотал. Не припомню, чтобы я когда-нибудь одалживал деньги у дам, но если такое и было, то, разумеется, я заплатил долг. Только при чем здесь этот вопрос? В большом досье, предназначенном для суда, профессор попытался письменно сгладить этот эпизод. И сгладил — до неузнаваемости.

Однако же тон был именно таков. Он должен был покрасоваться перед своею свитой. Вот так профессор Лангфельдт позволял себе разговаривать с невиновным старым человеком. Он знал, что свита смолчит. Свита состояла из четырех врачей и множества медсестер, они смолчат. Считалось, что свита присутствует с целью «поучиться», профессор был тут царь и бог, он мог взять такой тон, какой вздумается, — и поучить этому других.

Ладно, пусть себе учит!

В каждом упомянутом мною случае, очевидно, сыграли свою роль определенные обстоятельства внутри самой системы, которые могут профессора извинить. Мне нет резона

кривить душой, я говорю то, что думаю. Так, можно было бы отметить, что этот человек занимает весьма ответственный пост: он директор и хозяин своей клиники, хозяин гостиницы, где обычно проживает около ста более или менее больных постояльцев и где ему подчиняется огромный обслуживающий персонал как мужского, так и женского пола. Это, пожалуй, действовало бы на нервы любому преподавателю университета. И я отдаю себе отчет в том, что без известной доли дисциплины, а подчас и «рыка», держать дом на Виннерне в повиновении не получится.

С другой стороны, профессору трудно будет отвести от себя упреки в действиях и решениях, за которые ответствен лично он. К каковым я причисляю его рьяные усилия привлечь к обследованию мою жену, использовать против меня ее объяснения, зафиксировать ее показания, а после широко ознакомить с ними юристов и судейских во всех инстанциях. Тут профессора Лангфельдта вряд ли что сможет извинить. Тогда как жену мою, напротив, извиняет очень многое. Несколько месяцев она провела в тюремной тиши и вот очутилась здесь, она нервничала, что легко понять, и наговорила лишнего. Ее слушателем было важное должностное лицо. При нем была стенографистка, которая ее слова записывала.

Я не стал бы жаловаться из-за пустяков. Профессор неоднократно выпытывал у меня сведения относительно моих «двух браков». Кончилось тем, что я перестал ему отвечать. Последний раз он задал мне этот вопрос письменно. В своем кратком ответе — тоже письменном — я сказал по поводу моего брака: я бы вскричал от ужаса, если бы сюда что-то припутали, действуя за спиной у моей жены, тем более что она под арестом, так же как и я!

Казалось бы, куда яснее? Я хотел оградить не только себя самого, но и вообще приостановить все это бесчинство.

Однако профессор не растерялся: он обращается за помощью к генеральному прокурору, и мою жену переправляют из Арендалской тюрьмы в клинику на Виннерне для освидетельствования. О результатах может прочесть кто угодно, вся общественность — в большом досье.

Я и помыслить не мог, что меня могут поместить для наблюдения в психиатрическую клинику, тем не менее это произошло. Профессор Лангфельдт был волен проделывать со мною все, что хотел, — а хотел он многого.

Я уверен, если бы он заранее взвесил и обдумал то, что вознамерился предпринять, возможно, он и отказался бы от своего плана. Ведь все эти месяцы я обходил молчанием

любые упоминания о моей жене и о моем браке и считаю, что был совершенно прав. Иначе к чему бы мы в итоге пришли? Кто бы поручился, что чье-то имя или же частная жизнь — включая и самого профессора — останутся неприкосновенными? Как правило, обесчещенными оказываются самые близкие, как правило, расплачиваться за все приходится детям, наконец, есть известные границы, которые культурные люди обычно стараются не переступать.

К тому моменту, когда профессор добился-таки присутствия моей жены, ему давно уже было ясно, что я не душевнобольной. Какую же он тогда преследовал цель, настаивая на ее присутствии, — если отбросить любопытство и жажду скандальных разоблачений? Неужели профессор станет утверждать, что без вмешательства моей жены наблюдение надо мной протекало бы по-другому? Неужели он станет утверждать, что без ее вмешательства я, по всей вероятности, был бы признан душевнобольным?

Материалы налицо. Возможно, их когда-нибудь изучат.

Но я уже и сейчас считаю, что профессор действовал безответственно. Уже в самом начале беседы с моей женой он мог найти более удачную форму. Услышав и увидев, какой оборот принимает дело, он мог бы встать и передоверить дальнейшие раскопки в другие руки, опытной женщине-врачу. Очевидно, это не пришло ему в голову, тогда как более тонкого психолога явно бы насторожила несколько, быть может, повышенная готовность выложить всяческие недостатки другого лица. Профессор Лангфельдт и сам знает, что он не очень-то подходит для того, чтобы вторгаться в чужую семейную жизнь и копаться в интимных подробностях. Он для этого слишком прямолинеен, негибок, голова его забита учеными премудростями, и премудрости эти разнесены по рубрикам: вот это — практика, а это — теория.

Мне вспоминается... нет, не в точности такой же, но похожий случай, это было в одной из соседних стран: там профессор не только отказался от занимаемой должности, но вообще оставил психиатрическую больницу, где работал, и переехал в другую.

Возвращаясь к дому для престарелых.

Это я все мелочи записываю, о всяких пишу мелочах. О чем же еще? Я — в предварительном заключении и нахожусь в доме для престарелых, а если бы я даже сидел и в тюрьме, то и тогда писать было бы особенно не о чем, может быть, совсем нечего. Все узники обречены описывать

бесконечные будни и ожидать своего приговора, ничего другого им не остается. Сильвио Пеллико сидел в австрийской тюрьме и писал о мышке, которую удочерил, о своей приемной мышке. Я пишу о чем-то наподобие этого — из страха перед тем, что может меня постичь, если я напишу о чем-то другом.

Здесь у нас, помимо всего прочего, есть один петушок, настало ему время впервые прокукарекать. А это дело нешуточное. Он даже не отрекомендовался, какого он полу, убоявшись, как бы кто не подошел посмотреть. Сперва он стал проделывать некие замысловатые манипуляции со своим горлом, опробуя его. И еще более замысловатые манипуляции, да только все застопорилось. Бедняга был один-одинешенек на всем белом свете и боялся искушать судьбу. Тут в глотке у него что-то слышалось, это было ужасно, и вдруг — свершилось! Сбежались курочки, уставились. Чего это они? Это вовсе не он. Застыдившись, он умолк, и никто не смог бы заставить его признаться, что это был он. Под вечер на него опять нашел стих, он уже не отпирался, не к чему, все должно идти своим чередом. О, мир исполнен бездонности. С тех пор петушок наладился кукарекать.

Он возмужал, но все равно ничего еще не понимал, и вот как-то раз случилось ему наступить себе на крыло. А курица заметила. Он опять наступил на крыло — курица за ним примечает. Она что, вздумала над ним насмеяться? А она еще вдобавок поклонилась и грубо передразнила его, и он не стерпел. Наскочил на нее и как тюкнет по темечку. Завязалась нешуточная потасовка, полетели пух и перья. И какой же мир бездонности открылся.

На другой вечер он уснул на своем шестке. Турарин Лучник сбирался в поход, и так далее. Тут его схватила рука и повергла во мрак, бездонный мрак.

Идет дождь, но мелкий, и он мне не страшен, у меня есть зонт. Я добираюсь до своего укрытия в лесу, где сиживал и раньше. Место занято. Что такое? Да, оно занято.

— Мартин!

— Вы меня признали, — говорит он.

Мартин из Клёттрана в Хамарее.

Он все такой же. Неприметный, немолодой, разве что борода немного отросла и волосы. Не в лохмотьях, но в латаном-перелатаном и босой, а ботинки перекинута через плечо. Ноги у него блестят чистотой, оттого что он сегодня шел под дождем.

Мы держимся просто и непринужденно, мы старые знакомцы, он со мной то на «вы», то на «ты», у него хорошее настроение. «Удивительно, что мы снова свиделись!» — говорим мы разом, но: «Благодарение Богу, что я застал тебя в живых!» — это уже говорит он один.

— Я догадался, что это твое укрытие, потому и присел здесь. Уж ты не взыщи.

— А как ты догадался?

— Нашел вот эти листочки. Они тебе нужны?

— Нет. Это я так, записал кое-что.

— Похоже на песню или стихи, да?

— Может быть, да брось их. Ты идешь с севера?

— В этот раз с севера. И опять на север.

— По-прежнему странствуешь?

— Да, по-другому и не назовешь.

— И молишься Богу?

— О да, Бог милостив. Весной я пособлял пахать в одной усадьбе, — благословенное место, у них был орган.

— Тебе что-нибудь заплатили?

— Нет. Но мне дали мешок картошки.

— Картошки?

— Большого и желать нельзя. Это мне повезло, картошки скоро не будет ни в одной стране.

— Значит, ты читаешь газеты? Ты без очков читаешь?

— Без очков? Ну да, я же не такой еще старый. Как же, я заглядываю в газеты. А в той самой усадьбе, где я был весной, мы несколько раз устраивали собрания. До чего ж они красиво пели под орган.

— Ты читал о Трумэне, раз ты заглядываешь в газеты?

— Нет, не читал. О Трумэне?

— Да, это президент в Америке.

— Я очень несведущ, — говорит он.

— А о Кирстен Флагстад ты читал?

— Флагстад на Лофотенах? Да, про нее я знаю.

— Это же великая певица. Она разъезжает по разным странам и поет.

— А-а. Нет, я в этом, к сожалению, мало что смыслю. Говоришь, разъезжает повсюду и поет, и все? Наверное, красиво поет.

— Да, в больших залах и церквах. А тысячи, тысячи людей сидят и слушают.

— Боже правый! А я вот петь не умею. Если б выучился, то ходил бы повсюду и пел. Дар от Бога есть и у меня, что правда, то правда, но петь я пою неважно, хоть и разбираю ноты. Я смотрю, ты, никак, подвязал галошу?

— Да, но у меня есть новые.

— Вон как.

— Новехонькие, ни разу не надеванные. Это мои домашние позаботились.

— Я проходил мимо твоей усадьбы, как же она называется? Ну да, Нёрхолм. Я проходил мимо не так давно. Большая усадьба. Только надо бы навести там порядок.

— Да.

— Вот теперь ты видишь, все в этой жизни пойдет прахом, если не наводить порядок.

— Верно, Мартин. А на что тебе картошка?

— Картошка? Как на что? Я пеку ее в золе, когда вот так вот странствую. По мне, это хорошая, сытная еда. Ты разве не пробовал? — спрашивает он меня.

— Сколько раз, в детстве.

— Просто объедение.

— Да.

— Ничего нет вкуснее, если ты долго шел и проголодался.

— Ты с тех пор навевдывался в Хельгеланн? — спрашиваю я.

— В Хельгеланн? Да.

— Я к тому, что, может, ты слышал что-нибудь об учителе, который уехал в Америку и пропал.

— Да нет, он так и не отыскался.

— Жаль его семью, — говорю я.

Молчание.

— Ее, кажется, звали Алвильда? И у них двое детей.

Молчание.

— А она не пробовала разузнать через Красный Крест или Армию Спасения?

— Пробовала, — отвечает он. — Они его не нашли.

— Мартин, скажи, почему бы ей не вернуться назад в Хамаррёй? Все-таки была бы среди своих.

Он долго выжидает, прежде чем ответить:

— Она не может вернуться.

— Вон что.

— Она за это время успела попасть в беду. Я не должен был говорить об этом.

— В беду?

Он молчит, и, подумав, я больше его не расспрашиваю. Мне знаком этот осторожный оборот, так говорят в Хамаррёе, когда девушке случается «попасть в беду». Я сижу и прикидываю и размышляю про себя.

— Так это все странно, — произносит он тихо. — Малютка, ну прямо Божий ангелочек, она сидела на траве, но

я не решился подойти поближе, боялся ее напугать. День стоял теплый, погожий, и на ней была одна рубашечка, да еще голубая шелковая ленточка на шее. В жизни не видал ничего красивее.

— У тебя нет ее карточки?

— У меня? Что ты. Я даже в дом не зашел, не объявился.

— А почему не зашел?

— Нет. Я ее только расстраиваю, когда прихожу. Горько это, она считает, это я виноват, что учитель уехал, ведь это я одолжил ему на билет.

— Что ж, — говорю я жестко, — во всяком случае, это не твоя вина, что она родила еще одного.

— Она говорит — моя, — отвечает он. — Она говорит, что я загубил ей и исковеркал всю жизнь.

Мы молчим, оба.

— Почти перестал! — говорит он про дождь и выглядывает наружу. — Вот и солнце показалось. Почти перестал. Проясняется.

Мне жаль Мартина, только я не смею это выказать, до чего же мне его жаль, такого латаного-перелатаного, я мог бы назвать его братом, родней, но это бы ему не понравилось. Сколько их, судеб человеческих.

— Мне бы так хотелось узнать, как ее зовут, — сказал он. — Она сидела на траве и что-то перебирала пальцами. Я бы дорого дал за то, чтоб узнать это к Рождеству, когда буду посылать им гостинец. Тогда бы я мог упомянуть ее по имени — если б знал имя.

— А ты не можешь написать и спросить?

— Нет. Но ты не поверишь, какая она красивая. Я перевидал много детей, и все они красивые и созданы по образу Божию, что да, то да. Но она! Сидела тихонько и играла себе на траве, не ведая, что такое грех.

Голубые его, чуть усталые глаза повлажнели.

— Кто ее отец? — спрашиваю я.

— Не знаю, — коротко отвечает он. — Видно, кто-то из местных.

— Я просто подумал, а она не может за него выйти?

— Нет, нет, что ты. Она ведь замужем.

— Ты ее спрашивал?

— Я? То есть как это? Разве я мог... Это она сама однажды обмолвилась, что никогда больше не сможет выйти замуж.

— Ей, должно быть, уже порядком?

— Ей? Ничего подобного. Она все такая же молодая, ничуть не изменилась.

— Ну что же, Мартин, приятно было тебя повидать, — говорю я, складывая зонт. — Я часто о тебе думал, ты — истинный странник, ты обходишься малым, странствуешь себе, и все. Таким уж ты создан.

— Как по-твоему, мы еще свидимся?

Мне хочется избежать торжественного прощания, и я не отвечаю. Зато спрашиваю его самого:

— Ты не устал ходить?

— Нет. А устану, прилягу с Божьей помощью.

— Скажи мне, Мартин, пока я не забыл: когда мы встречались в прошлом году, ты уже знал о том, что произошло в Хельгеланне?

Он отвернулся:

— Не надо было мне ничего рассказывать. Надо было держать язык за зубами.

— Но ты об этом знал уже в прошлом году?

— Да, — говорит он.

Знал — и молчал, знал — и терпеливо сносил. Угнетен ли он? По виду не скажешь: смирный, спокойный человек.

— Мартин, я тебя не понимаю. Ведь она не имеет права обвинять тебя в том, что с ней недавно случилось. Никакого права.

— Ей сейчас несладко, — отвечает он. — Ни вдова, незнамо кто. А жить приходится среди людей.

— Я вижу, ты готов все перетерпеть, но я этого не понимаю.

— Перетерпеть? У меня есть на кого опереться, — говорит он. — Со всеми моими скорбями я обращаюсь к Господу. А иначе я бы, наверное, плохо кончил. Я молю Господа не оставить меня. И тебе бы следовало. Не забывай про свой возраст.

— Ты сейчас куда направляешься?

— Мне нужно забрать в одном доме свой вещевой мешок. Я ведь должен переодеться перед собранием, которое будет вечером. А помещение огромное, со множеством окон. Народу наберется.

— Если я и приду, то ничего не услышу.

— Да. Но я буду о тебе помнить. Я был бы так рад, если б сегодня вечером мне удалось приблизиться к Господу. Вместе со старым другом. Раз мы оба из Хамарёя и знакомые.

...Было солнечно, лето. Мы разошлись в разные стороны, но я уже решил, что приду. Сяду возле двери и посмотрю.

Добрая ты душа, Мартин из Клёттрана. Вот ты идешь, а в сердце твоём цветок, махонький цветочек греха — твоя безнадежная влюбленность в девушку Алвильду, которая

знать тебя не желает. В один прекрасный день ты услышишь, что Алвильда вышла замуж за того самого человека «из местных», ничего не поделаешь, ты должен будешь принять и этот удар. И снова ты обратишься к Господу и скажешь, что сейчас ей несладко.

По дороге домой я все хорошенько продумал. Другой одежды, кроме той, что на мне, у меня нету, но я отстегну воротничок, не то кто-нибудь узнает меня и подивится, с чего это я, глухой, и явился в собрание. На шею я повяжу темный шарф, а палку оставлю дома, она слишком желтая, светлая.

В этот раз, подумалось мне, он не упомянул про свой календарь. Тоже знакомая черта, теперь уже не важно, прочтут календарь или нет, между автором и его работой пролегло время, все заслонили новые события.

Мне было очевидно, звезд с неба он не хватает, все так, но я бы скорее назвал это бесхитростностью, наивностью. Когда он говорил о малютке, которая играла на траве, не ведая, что такое грех, он был святым, он был орудием Господним, он сам был безгрешен.

Мне не составило труда найти молитвенный дом, на заборах и телеграфных столбах были прикреплены объявления, где значилось два имени: секретарь молодежной организации, магистр богословия Симон Тростдал и Мартин Эневолдсен, — оба, по-видимому, были известны в кругу заинтересованных лиц. Собрание сегодня вечером. Приглашаются все. На улице и внутри толпился народ, все окна были распахнуты настежь, некоторые слушали, стоя под окнами.

Маленький местный квартет спел псалом, и слово взял секретарь молодежной организации. С виду он был человек толковый, поднаторевший в умении поучать на основе избранного отрывка из Библии; когда ему требовалось, он проворно отыскивал новый отрывок. Я не могу написать, что он говорил, может быть, и ничего такого особенного, я же не слышал, просто сидел и смотрел. Он говорил полчаса.

Я наблюдал за Мартином. Он был полностью поглощен происходящим, и лицо у него было счастливое. Когда секретарь умолк, он одобрительно закивал головой, словно вечер складывался наилучшим образом, и псалом удался, и речь, лучше и быть не может. Он встал, сложил руки и зашевелил губами, я понял, он молится Богу, я понял это по тому, что многие из присутствующих также сложили руки и присоединились к молитве. Так, незаметно, он перешел к наставлению.

Он говорил, не опираясь ни на какой библейский текст, а если иной раз и клал руку на Библию, лежавшую на столе, то

ненароком. Однако же губы у него шевелились непрерывно, значит, ему было что сказать. Добрый Мартин не отличался широкими познаниями и не умел широко мыслить, он мог с грехом пополам выбрать тему и дать ей свое толкование, как это делают другие проповедники, он был так же невежествен, как и апостолы Иисуса Христа. Его религиозный опыт сводился к сильному потрясению в юности: когда он однажды сидел на заснеженном горном пике, его осиял и пронизал ослепительный свет. Но это был не свет, это нельзя объяснить, это само небо сошло на землю, это был Бог.

Он уверял, что не умеет держать речей, у него к этому нет способностей, он всего лишь молится Богу. Похоже, он был прав, говоря, что делает это на свой лад. Я видел, кое у кого из сидящих заблестели глаза, в руках появились носовые платки, не исключено, что некоторым стало жаль этого добродушного немолодого человека, который ходит босиком по стране и не заботится о пропитании. Поистине, он был из тех, кто способен увлечь на молитву, он притягивал к себе, люди не сводили с него глаз, выпитывали каждое его слово. Один раз, я видел, он показал на доску, висевшую возле зеркала, но за расстоянием я не смог прочесть, что там написано. Потом, гляжу, он вдруг остановился, — это вперед вышли двое детишек; он бросился к ним, удивленный, сияющий. Мать, должно быть, спустила их с колен, чтобы чуточку передохнуть, и Мартин, конечно же, ничего не имел против, он подхватил их обоих на руки и помолился о них Богу, да так истово, что у него покраснели щеки.

И все это время я вынужден был сидеть, не слыша ни звука из того, что он говорил.

А в целом — да, что же это было в целом? Назидание — так это зовется, люди провели назидательный вечер. Для них все это было живой действительностью, это будет их поддерживать в будущем.

Прощаясь друг с другом на улице, они уже немножко спустились на землю, по-житейски передавали приветы домашним и все такое прочее. Тут опять слово взял секретарь молодежной организации, он хотел что-то добавить; помоему, он обнаружил мое присутствие, я прямо весь съежился. Он был неплохим проповедником, этот магистр богословия, насколько я мог уловить своими глухими ушами, а кроме того, он был по-своему симпатичен.

Неверующие говорят о невозможности уверовать в то, во что верим мы. Они говорят, что мы становимся верующими в силу нашего суеверия или, если уж совсем начистоту, — в силу нашей глупости. И перечисляют многие места из Биб-

лии, которые они не в состоянии постичь разумом. Но, дорогие мои, живут же среди нас люди, которые веруют так же, как и мы, и которых никак нельзя обвинить в глупости, верно ведь? О, сколько великих наставников и мудрецов мы знаем, мы могли бы называть имя за именем, они не уступят самому Паскалю. Как же мы тогда объясним себе тот факт, что эти женщины и мужчины выходят вперед и свидетельствуют, устно и письменно, именно ту веру к избавлению и спасению вечному, что есть и у нас? Я далек от того, чтобы выдавать себя за человека многознающего. Но я могу очень просто все объяснить. Это — чудо. Ведомые и направляемые Святым Духом, мы обретаем в своем сердце эту крепкую веру и убеждение. Это — чудо, кое совершается в нас по милости Божией. Не знаю, достаточно ли я это хорошо объяснил, во всяком случае, странно, что неверующие столь упорно продолжают пренебрегать своим же собственным благом. Где же их пресловутый здравый смысл?

Это уже походило на новое назидание.

Мартин давным-давно ушел.

Это в прошлом году было или еще раньше, когда я чувствовал себя полноценным человеком? Я вспоминаю это как видение. По утрам я прямо порхал, испытывая, пусть и в малых дозах, но поразительные приливы энергии, а если ночью я немножко писал, то порхал чуточку попроворнее и благодарил небо за то, что я жив. Теперь с этим покончено. Я в доме престарелых не для того, чтобы обращать на себя внимание.

А впрочем, я не знаю, для чего я здесь.

В двадцатый раз новости о моем «деле»: 3 июня я прочел в газетах, что дело мое окончательно рассмотрено и документы уже переданы в Гримстадский окружной суд для вынесения приговора. Спустя какое-то время газеты сообщили, что в Гримстадский окружной суд не поступало никаких документов и что мое дело откладывается до осени.

За 1947-м идет 48-й, 49-й, 50-й... 60-й...

Я вижу приспущенный флаг. Кто-то умер, но это не я. Да и вообще, это не у нас, такие мы живучие. Шуршим себе потихоньку в нашей обыденности и не позволяем себе никаких безрассудств, ни-ни. С другой стороны, от нас не ускользает ни одна мелочь, и мы то и дело перешамкиваемся. Мы примечаем, кто вошел и вышел, кто вырезал себе новую палку, кто купил новый мундштук для трубки. Ну а стоит нам прослышать, что соседская собачонка ночью лаяла, тут уж мы перешамкиваемся всюю.

Я, кажется, упоминал уже, что одна из наших двух юных красавиц, которые сидели и вели отчетность этажом ниже, в прошлом году нас покинула. Удержать ее было не в наших силах. Но вот и вторая красавица в буквальном смысле собралась в путь-дорогу и оставила нас. Как плетью огрела. С этим ничего не поделаешь, но все равно возмутительно. Обе были такие услужливые, приносили мне наверх мои газеты; уйдут, а на лестнице еще витает, алеет улыбка. Однако нам упрекнуть себя не в чем, мы ухаживали за дамами как только могли. Безусловно, те из нас, кто помоложе и не прикован к постели, могли еще попытаться счастья, не объявись этот девятишестилетний, он снова начал передвигаться и все нам испортил. Надо же было такому случиться! Вдобавок он еще обмотал несколько раз вокруг шеи толстый шерстяной шарф — с красной искрой.

Мы сидим на большой открытой веранде на втором этаже, она полностью в нашем распоряжении, там мы восседаем, курим и точим лясы. Мы в приятнейшем расположении духа, и рот у нас не закрывается, ведь таких великолепных погод мы сроду не видели, недели, месяцы — и ни единого дождя, трава выгорает, зимою будет бескормица, сады задыхаются от зноя, картофель не набрал цвет.

Но все это нас уже не занимает, — с тех пор как мы были молоды, минул не один век человеческий. Понаблюдав за испытаниями, мы обсуждаем длину лестницы, ведущей во двор, сколько в ней ступенек, кто может сойти без палки, а кто — одолеть две ступеньки зараз. Среди нас есть довольно brave ребята, им по семьдесят — восемьдесят, так эти юнцы утверждают, что на носу у них опять начали выступать веснушки, прямо как в отрочестве. У одного недавно был день рождения, и он упросил заведующую отутюжить ему брюки, чтоб была острая складка. Ладно. Только это вызвало всеобщее недовольство. Он имел обыкновение таскать с собой донельзя потертую папку на молнии, словно он здесь по делу. Эдакий хлыщ. С чего это он форсит своей папкой и, запустив руку в карман, позвякивает ключами, целою связкой? Куда это годится? А в довершение всего — начищенные ботинки посреди недели и кепка набекрень, а ведь это вам не воскресенье и никакой не праздник.

Похоже, сейчас он не в меру расхвастался, потому что остальные ему не поверили, какое там, они закачали головами и засмеялись ему в лицо. Кончилось тем, что он облил их презрением и удалился.

Впрочем, разрыв этот не окончательный, вовсе нет, ни одна из сторон не имела в виду ничего плохого. В сущно-

сти, этот человек пользуется популярностью, он незаменим, он как никто умеет объяснять самые невероятные вещи, будь то землетрясения, небесные тела или атомные бомбы. Завидя самолет, он подробно описал его внутреннее устройство.

— Да, но людей-то там нету, — возразили ему.

— Как это нету? — сказал он. — Там полно народа.

Новый повод для недоверия:

— Мы ж никого не видим.

Он бросил взгляд на самолет:

— Судя по его массе, я могу предположить, что на борту пятнадцать — двадцать пассажиров.

— Ха-ха-ха! Ты уж извини, где они, твои пассажиры? Лежат, накрывшись чехлами?

Меньше всего я хотел бы докучать кому-либо своими раздумьями, воспоминаниями и переживаниями, я вообще этого не переносу. Но в голове у меня шумит, а может быть, в теле, или в душе, да еще как шумит. Это не похоже на начинающуюся простуду или что-то такое, с чем я могу справиться, утеплившись или же раздевшись; тише, это нечто ангельское, под пение скрипок. Так оно, несомненно, и есть!

А немного погода уже несомненно другое. То ли стихи, то ли хаос, но — шумит. Докука и мне и другим.

Когда я недоволен собою, и опустошен, и ни на что не гожусь, я иду в лес. Это не помогает, но и хуже от этого не становится. Я больше не слышу лесного шума, но я вижу, как колышутся ветви, и мне уже есть чему радоваться. Я облюбывал себе место, то самое, о котором проведал мой друг Мартин из Хамарёя. Это не то нора, не то пещера под скалой, поросшая редкой травой и вереском. Здесь никто не сможет подойти ко мне сзади и увидеть, чем я занимаюсь. Это благо для того, кто ничего не слышит.

Заглубели ладони твои, ну так что ж,
на своем ты веку потрудилась немало.
Сколько весен подряд высевала ты рожь,
сколько сжала, связала снопов — не сочтешь,
а картошки одной сколько ты накопила!

Не охоча до книг, презирая пустую мечту,
ты способна дарить, как никто, золотые мгновенья.
Будней пленница, радость умеешь ловить на лету,
раскрывая души своей всю красоту,
погружаешься в таинство жизни до самозабвенья.

Ты не просто кормилица, век ты украсила свой,
ставши матерью, мирно склонившись над зыбкой.
Ты усердно трудилась всю жизнь над своею судьбой,
благословенна среди женщин, Господь да пребудет с тобой!
Я люблю твою загрубелой ладонью, твоей сединой
и улыбкой люблю, твоей негасимой улыбкой.

Мне казалось, что вышло не так уж и плохо, а что? Многие сочиняют ничем не лучше. Но под конец я, разумеется, все забраковываю, я размахнулся, перебрал со строками, у меня даже оказались лишние. Никакой я не Роберт Бернс. О, я знаю это, я или перебираю, или недобираю; мной овладевает тревога и отчаяние, я с корнем вырываю пучок травы. Аридд перепечатает на машинке и это, и сохранит, или выбросит — как посчитает нужным. Я привык выбрасывать клочки бумаги с моими заметками, выбрасывал на протяжении многих лет, выбрасывал — и миловал, и снова выбрасывал. Что до этого, последнего, стихотворения, то я три дня просидел в своей пещере, раздумывая, выкинуть или помиловать. И я должен был смотреть в оба, как бы красивые, но ненужные строки не загубили всего остального.

Мы сидим, несколько товарищей. Я только что выпустил сборник виршей и счастливо избежал каких-либо комментариев на сей счет. Но вот появляется Даниель и говорит: «В твоих стихах нет очарования!» Он, видно, думал, для меня это новость. Никакая не новость. Он бесконечно прав. И не только очарования им не хватало, но еще много чего, короче говоря, всего. Я нахожу это у других, чужие стихи могут растрогать меня до глубины души, но сам я их слагать не умею. Я получил не один благословенный дар свыше, но я напрочь убиваю стихи своей рассудочностью. Довольно и того, что я к ним притрагиваюсь, осязаю пальцами цветочную пыльцу.

Не помню, это Кёниг или кто-то другой уговорил меня издать сборник, как бы то ни было, я совершил глупость. Даниель не так уж и ошибался, просто он хотел выглядеть таким аристократом. Всю жизнь он принадлежал к высшему классу, говорил он. У каждого своя ноша, у него была — эта. Наверное, его уже нет в живых.

А я хожу в лес и сочиняю стихи, хотя они мне и не удаются. У меня к этому тяга. Я зол на самого себя за тот сборник, однако сделанного не поправишь. Если кто-нибудь станет его листать, может, он и обнаружит там проблески поэзии, но только проблески. И еще я помню, до чего этот

сборник был мне безразличен, я ничего не отбирал, взял стопку листков, положил в большой конверт и отослал Кёнигу.

Несколько лет спустя я стоял в подвале гостиницы в Будё и жег все, что у меня имелось из стихов. С этим было покончено. Хотя прошу прощения, много лет спустя я стоял в подвале гостиницы в Хёнефоссе и в последний раз жег свои стихи. Не помню уж, как звали моих хозяев, но оба помогали мне разгрести угли. Sela, говорит Давид.

Мне бы не хотелось создавать впечатление, будто стихов у меня в избытке. Нет-нет. Но то, что я сжег, было не лучше и не хуже вещей, вошедших в сборник. И кстати — кропанье виршей занимало меня и доставляло мне радость. Бывали чудесные мгновенья, бывали проблески.

Летом «Верденс ганг» напечатала, что мое дело будет рассматриваться в сентябре. Через три дня другая газета напечатала, что мое дело рассматриваться в сентябре не будет. Никто ничего не знает, однако все того мнения, что писать об этом куда как занятно. Почему бы не помолчать обо мне и о моем деле?

По-прежнему палит солнце, по-прежнему сушь. Я каждый день выхожу на прогулку и вижу: вся округа выжжена. Это какое-то злое чудо. Лесу досталось, похоже, его придется частично насаживать заново, вереск не дал цвета для пчел. Когда еще такое случалось? Пчелы садятся на свои старые места, осматриваются и, пожужжав немного, улетают восвояси.

Я приближаюсь к обрыву. Я побаиваюсь этого недоброго места и стараюсь держаться подальше от обочины. Сюда давно уже сбрасывают камни, всякий мусор, ветошь, отбросы, хуже того, однажды опрокинулась дорожная тумба. Ладно. Но обратно я вынужден идти с краю, рискуя жизнью. Мне досадно, что у меня кружится голова, что я боюсь, что родился трусом, и вот сегодня я решил, что единственный раз возьму и посмотрю вниз. Я дрожу и умираю, но заставляю себя придвинуться к самому краю и смотрю вниз.

Ну вот, я даже перестарался...

Ничего страшного, я не перекувырнулся, а малодушно съехал на спине по склону. И остановился.

О, это было совсем не страшно. Я огляделся. Отсюда, где я сидел, пропасть не казалась уже такой бесконечно глубокой, такой бездонно глубокой, я восторжествовал над озером, что лежало далеко внизу, презирал его, оно не заслу-

живало внимания. То, что я приземлился здесь, — простая случайность, однако я не желал, чтобы случайность одержала надо мной верх, я прикинулся, будто меня чрезвычайно интересуют отбросы, и принялся рыться в них, тут были любопытные вещи: куски стальной проволоки, кости,дохлая кошка, жестянки. Если наверху затормозит какой-нибудь автомобилист, пусть не думает, что я сверзился, пусть видит, что я занят поисками, что я ищу очень важные листочки, которые унесло ветром.

Из кучи торчит бумага, кончик газеты. Я пробую выудить всю газету целиком, но безуспешно, у меня в руках остается лишь обрывок. Поскольку я без очков, я не могу прочесть, что там, но, по-моему, шрифт готический, стало быть, газета местная. Я беру этот обрывок с собой.

Теперь дело за тем, чтобы выбраться на дорогу. Если там стоит автомобилист, то я не доставлю ему такого удовольствия — наблюдать, как я карабкаюсь по склону; я иду в бейдевинд, крейсирую. О, я вовсе не зря совершил эту прогулку, я возвращаюсь домой с трофеем в кармане, случайность не одержала надо мной верх.

Назад я прихожу несколько выдохшийся, но это никого не касается. Да и трофей, несомненно, мог бы быть побогаче, только что об этом говорить. Кстати, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что трофей не такой уж и жалкий. Это был газетный лоскут без начала и без конца, с довольно длинным текстом, но так неудачно оторванный, не разберешь, что к чему. Насколько я понял, речь шла о муже и жене, которые не ладили друг с другом, достаточно банальная история из жизни художника. Я мог бы этот обрывок выкинуть, но, раз уж я принес его домой, мне захотелось получить что-то взамен. Так или иначе, драматизировать эту историю я не намеревался. А я был властен сделать что угодно. Я мог бы взять да и помирить их, этих двоих упрямцев. Это было в моей власти. Ступайте домой и не ссорьтесь!

— Можешь ты, наконец, утихомирить ребенка?

— Не могу, ты же видишь.

— Ясно. Вот она, твоя помощь!

— Попробуй успокой ее сам.

— Да, но мне непременно надо закончить этот злосчастный рисунок. Это двадцать пять крон, знаешь ли.

— Не хватит даже заплатить за жилье.

— Ох!.. С тобой невозможно разговаривать. Обязательно тебе нужно меня уязвить.

- Ты когда начал этот рисунок?
— В прошлом году. Ну ладно, я пойду.
— Никуда ты не пойдешь. Мне же нужно отнести выстиранное белье.
— Так иди.
— Как же я оставлю ребенка? А скоро у меня будет второй!
— Что ж теперь делать.
— До чего мне это все надоело!
— Не тебе одной.
— Да, но подумай только — второй ребенок! А я еще такая молодая.
— Послушай, Олеа, что, если я пойду с рисунком в другую газету, может быть, там мне больше заплатят.
— Может быть.
— Только я его еще не закончил.
— Ну так сядь и закончи. А я попробую ее успокоить.
— Хорошо. Я сотру голову Иоанна на блюде. Она мне не удалась.
— Да.
— Что ты в этом понимаешь? Но я ее все равно сотру.
— Тогда, может, у тебя освободится место для маленького стойла и ясель?
— Что?!!
— Тшш-ш! Ты ее напугал.
— Олеа, ты в своем уме?!— Я думала, в самом уголку. С краю.
— Ха-ха-ха! Да ведь это же происходит в царском дворце. В Иерусалиме.
— Ну, не знаю, по-моему, было и так красиво. Очень красочно. В самый раз для рождественского номера.
— Олеа, ты сведешь меня в могилу. Говоришь, для рождественского номера?
— Да.
— Я об этом и не подумал.
— А ты ни о чем не думаешь. Только и знаешь, что стирать да перерисовывать.
— Но раз у меня не выходит, как я замыслил. Я же художник.
— Ну да. А я — прачка.
— Ты сейчас просто не в настроении. А вот насчет рождественского номера...
— Они больше всех платят.
— Ты совершенно права. Куда подевалась резинка?
— Откуда я знаю.

- Действительно. Одна комната на все про все. И в таких условиях я должен трудиться.
- Фруде, я же в этом не виновата.
- Помолчи. До тебя так и не дошло, что мне придется стереть весь дворец?
- Да что ты! Не надо, ты вечно преувеличиваешь. Здесь такие красивые цвета.
- Говоришь, у меня тут поместится стойло? Только не мешай, дай мне сосредоточиться. Сделай такое одолжение, выйди с ней на минутку в прихожую. А я тебя позову... Входи! Гляди-ка, вот тебе и стойло, и ясли.
- Прямо как настоящие.
- Верно? А все вместе никуда не годится. Ты только посмотри. Ведь все это происходит во дворце, где полно народу. Дочь Иродиады пляшет.
- Да знаю я.
- Ничего ты не знаешь. А все эти люди, эта толпа! Там цари и четвертовластники и тысяченачальники.
- Оставь их, не трогай. Там же сказано, что яблоку негде упасть. Ой, погоди! Ты же стер дочь Иродиады.
- Ну и пускай. К чертям ее.
- Раньше ты меня к чертям не посылал.
- В чем дело, что ты плачешь?
- Мог бы меня и оставить. Я тебе не навязывалась.
- Но, Олеа, милая, ты же не стала бы плясать возле стойла.
- А вот и стала бы.
- Н-да. Мы с тобой никогда не сойдемся взглядами на мое искусство. Но я нарисую другую картину, где на тебе почти ничего не будет, лишь чуточку кисеи, зато много драгоценностей.
- Она получится не такая красивая, как эта.
- Гораздо красивее. Ты меня еще не знаешь, камни у меня засверкают, засверкают как жар. На шее у тебя будет ожерелье в целых три ряда. Но только дай мне сосредоточиться и закончить сперва рождественский рисунок. Собственно говоря, следовало бы сделать новый, но уже нет времени, а кроме того, здесь такие красивые цвета, как ты выразилась. Хорошо, что ты ее успокоила.
- Она уснула. Ожерелье в три ряда — нет, это слишком. Лучше бы большие висючие серьги.
- А вот здесь я нарисую осла.
- Только бы мне не очень растолстеть. Ведь у меня скоро будет второй.

- Ничего. Положись на меня. Я же художник.
- Положиться на тебя? Нет уж, извини.
- Ну тогда живи как знаешь.
- Опять мы собачимся.
- Не знаю, как ты, а я тружусь не покладая рук. Тружусь от темна дотемна.
- Да, а я стираю не покладая рук, и мы на это живем.
- Ну и языкастая же ты, Олеа, даром что от земли не видать. А сейчас я нарисую простую семью, это они привели осла.
- Не хочу я больше смотреть.
- Я не понимаю, чего ты злишься. Я же не всех стер зрителей, которые должны были смотреть, как ты пляшешь, наоборот, тут и там толпится народ. А этих троих вельмож я оставлю стоять, где стояли, во всем их великолепии, пусть изображают волхвов с востока. Ты будешь довольна, вот увидишь. Дело у меня и вправду пошло, я прямо одушевился.
- Ладно, пойду-ка я отнесу белье.
- Подожди минутку, не уходи. Я только добавлю два три куста да парочку кедров ливанских. О них ты и не подумала. За эту большую картину ты сможешь получить сорок крон.
- Я?
- Ну да. Безусловно, ты получишь больше, чем я. Ведь так оно всякий раз и выходит. А мне гордость не позволяет стоять перед этими газетчиками и выслушивать их. Попробуй в «Вифлеемской звезде», Олеа. Тогда я отнесу твой тяжелый узел с бельем, бедняжечка.
- Ну, если ты хочешь.
- Конечно, хочу. Я же твой Фруде, и ты это знаешь.

О многом я хотел написать на этих страницах, но не стал. У меня была веская причина опасаться наихудшего, и я счел за лучшее хранить молчание. По мне, пусть себе жизнь и время идут своим чередом, пусть все идет своим чередом. Я — сижу здесь.

Вчера мы салютовали приспущенным флагом. Умер не я, а пожилой мужчина пятидесяти шести лет, и не в результате, как принято говорить, несчастного случая, а от самого что ни на есть обыкновенного рака.

Какая разница. У этого человека наверняка были свои планы, но его остановили.

А мы, старичье, разжигаем свои носогрейки и продолжаем копошиться над чем-то своим.

...В конечном счете, по-видимому, совершенно не важно, как мы пользуемся языком. Главное, он служит нам подспорьем.

Идея эта принадлежала Уль-Хансе, и он же взялся ее разъяснить. Те же гласные и согласные, сказал он, к чему нам эдакое, когда мы можем обойтись и так. Это всего лишь кружащийся ветер, как говорит в Библии Проповедник. Уль-Ханса прочел много книг и сведущ по части разных наук и ремесел, тут надо отдать ему должное. У него был маленький домик, маленький участок земли и кое-какой скот, ему с семьей хватало: достатка не было, но не было и повседневной нужды и долгов в мелочной лавке. Словом, он не бедствовал. При случае он мог заделаться журналистом, он таки частенько брался за перо, а кроме того, он был замечательный рассказчик и большой говорун, — слушая его, мы скоротали не один вечер. Его житейская мудрость сводилась к тому, что мы, люди, затрачиваем слишком много усилий на приобретение всяких бесполезных знаний, которые нам потом приходится удерживать в голове. Предоставьте всему идти своим чередом, и все само собой образуется. Он, пожалуй, не всегда был силен в логике, но логика, заявил Уль-Ханса, она не всегда так уж строго обязательна.

— Я могу это доказать, — сказал он.

— Хорошо, — говорим мы ему. — Начинай.

— Пришел ко мне сосед и попросил взаймы коровий колокольчик. Он его получил. Но вернуть не вернул, а через год или два колокольчик понадобился мне самому, — я завел новую корову. В конце концов я пошел и потребовал колокольчик назад.

«Я бедный человек», — говорит мой сосед, чуть не плача.

«Отдай, — говорю, — колокольчик».

«Господи помилуй, ты что, не слышал, что я тебе сказал?» — отвечает он.

Где тут, спрашивается, логика?

Пошел я искать колокольчик к нему в хлев. Нашел: он висел на гвозде, мертвый, безъязыкий.

Я постоял подумал. Мой сосед объяснился, не прибегая к логике, он решил, что из-за коровьего колокольчика я подам в суд. Тут уж мне самому впору было заплакать. Я, можно сказать, держал его в кулаке, но я этим не воспользовался и не стал писать про него в газеты. У меня и мысли такой не возникло, наоборот, я был глубоко растроган.

— Ты исключительно добрый человек, Уль-Ханса, это общеизвестно. Ну а что там с гласными и согласными, ты же начал с них.

— Ну хорошо. Только приключилось это со мной в молодости, мне и двадцати еще не было, совсем зеленый. Когда в таком возрасте тебя спрашивают о гласных и согласных, ты бледнеешь — и ничего не знаешь. Это едва ли не самое тяжкое испытание, какое тебе может выпасть. Ты об этом слышал, ты это учил, и вот ты наконец отвечаешь, но стоит мне легонько покачать головой, и все, ты сбился и называешь прямо противоположное.

— Расскажи-ка нам.

— Во время моих странствий я попал в Гилдескол в Салтене и хотел наняться к ленсману. Меня не взяли. Побродил я, побродил по округе и завернул в усадьбу, которая называлась Индюр. Сидим мы в горнице, разговариваем, и тут входит пасторша. Молодая, красивая. Все кричат: «Милости просим!», усадили ее. Я поднялся и собрался уходить.

«Вас зовут Уле Хансен?» — спрашивает красивая госпожа.

«Да», — поклонился я.

«С вами хотел бы поговорить пастор», — сказала она. Посмотрела на меня и зарделась: она была молоденькая, а тут это поручение.

На другой день я отправился к пастору, я нашел его в саду на скамейке, на нем была большая соломенная шляпа, а борода седая. «Нам как раз не хватает учителя там-то и там-то, — сказал он. — Вы бы не согласились попреподавать?»

«Да», — ответил я.

Он задал мне отрывок из Нового Завета и следил искоса, быстро ли я найду искомое место.

Послушав меня немного, он сказал: «Навыки к чтению у вас есть. Когда вы конфирмовались?»

«Три года назад».

«Заповеди вы, конечно, помните. А сколько молитв в “Отче наш”?»

«В “Отче наш”?»

«Ах, ну да, вы полагаете, это одна молитва, что тоже правильно. Считать умеете? Девятью девять. Семью шесть. Прежде всего вы будете наставлять детей в вере. Писать умеете? Вот бумага и карандаш, напишите, ну скажем, “священнодействие”».

Я написал «священнодействие».

«Почерк неплохой, но вы пропустили одно “н”. Нет, дорогой мой Уле Хансен, ваших знаний недостаточно». — Пастор было уже встал.

Чтобы его задобрить, я написал и показал ему еще несколько слов, длинных-предлинных. А он даже смотреть не

захотел, махнул на меня рукой. «Вы, — говорит, — пишете с ошибками, с чудовищными ошибками».

«Простите», — сказал я.

Видно, его тронуло, что я попросил прощения, поэтому он решил отсрочить мой провал и стал спрашивать про единственное и множественное число, согласные, знаки препинания.

Я отвечал как бог на душу положит, ничего-то я не знал.

«Гласные и согласные», — спрашивает он.

Это было ужасно, у меня, надо быть, получилось шиворот-навыворот. Он мигом собрал свои манатки, взмахнул своею большою шляпой, сказал «спасибо» и удалился.

Я выждал чуть-чуть и потихоньку ретировался. Я оглянулся на окна — я был уничтожен, да что там, я был как побитая собака. Конечно же, он пойдет сейчас прямо к жене и все ей расскажет. Вот погляди, скажет он ей, погляди только, как он пишет. Ничего хуже я не видел. А что такое гласные и согласные, он и вовсе не знает.

Да, я не знал. Мне это было глубоко безразлично, и вообще, кому это нужно. Я попробовал перечислить гласные и согласные в обратном порядке, только радости мне от этого не прибавилось и воодушевления тоже, нет, оставалось одно — взять и наплевать. И зачем мне этакая ерундистика? Все это ветер. А голос у пастора резкий и неприветливый. Пастор меня подавлял. Кстати, его звали Доз, насколько мне помнится.

— Хорошо, Уль-Ханса, но я не понимаю...

— К чему я веду? А вот к чему. Все эти ненужные сведения, которые мы обязаны заучить и помнить до конца жизни! Посмотрите-ка, что делают газетчики. Они уже не пользуются затверженными правилами, они прекрасно обходятся и без них, и все равно их понимают. Я видел сегодня дряхлое кресло, оно принадлежало старому ректору, он просидел в нем до самой смерти. Семьдесят лет он отдал своей любимой зубрежке, и вот его кресло продано — дети продали.

.....

Я хитрая бестия. Так всех перетасовал, что теперь и не разберешь, где газетчики, где Уль-Ханса, а где я сам. И никому из нас не удалось ничего сказать.

Время идет, пришла зима со снегом. Тут я остановился. Никто не знает, сколько я сидел и раздумывал, только дальше этой фразы я не продвинулся. Я полагал, что смогу ска-

зять про зиму со снегом нечто поразительное и меткое, но не получилось. Не все ли равно. Я проснулся утром, а на дворе зима и снег, вот и все. Хотя нет, не все, зима и снег для меня — бедствие.

Чтобы время года и было таким убийственным! У молоденькой девушки, стоит ей помянуть о зиме, зуб на зуб не попадает, мудрый муравей спасается от стужи глубоко под землей. Мне не страшно, у меня теперь крепкие ботинки, но я прочел вчера телеграмму из голодных районов, там говорилось о детях, которым совсем нечего есть, о детях, которых матери вынуждены согревать своим телом, чтоб не окончили.

И ничего на это не скажешь, и любые вопросы тут неуместны. Поодаль стоят одиноко, громоздятся горы, в лесу мертвым-мертво, все безмолвствует, белый, кроткий, повсюду лежит снег, мороз отклоняет любые притязания на равенство и не позволяет человеку сказать свое слово.

Время идет.

Мое «дело» по-прежнему затягивается. Представитель Управления по компенсации предпринимает все возможное, с небольшими промежутками он уведомляет общественность, что рассмотрение дела — нет, еще даже не «запланировано». В октябре он выражает надежду, что это произойдет «осенью». Он и в ноябре обнадеживает несколько газет, что дело будет рассмотрено «осенью». Осенью! — говорит он. В том смысле, что оно должно перезимовать.

Между тем ему звонит некое лицо, к мнению которого он не может не прислушаться. Переговорив между собою, они сходятся на том, что дольше откладывать мое дело нельзя. Я «запланирован» на 16 декабря 1947 года. За неделю до Рождества.

Я обхожу дом для престарелых и оповещаю о случившемся, да нет, какое там обхожу, я бросаюсь ко всем и каждому, чтоб поделиться новостью.

День настал. Заседает суд.

Поскольку я не слышу и мое зрение за последний год сильно ослабло, я немного растерян; я захожу в темный зал, я нуждаюсь в указаниях, я кое-что различаю, но смутно. Слово берет прокурор, потом отвечает назначенный мне тут же, на месте, защитник. Потом объявляется перерыв.

Я не слышал и не видел происходящего, но я спокоен и начинаю понемногу ориентироваться. После перерыва мне предоставляют слово для изложения моих доводов. Меня

несколько затрудняет плохое освещение, мне ставят лампу, только и при ней я ничего не вижу; я держу в руках кое-какие записи, но уже и не пытаюсь разобрать, что там. Не все ли равно. То, что я сказал, приводится здесь согласно стенографической записи.

(NB! Нижеследующее воспроизводится по сделанной в суде записи и автором не правлено.)

«Я не стану отнимать у уважаемого суда слишком много времени. Ведь это не я объявил в печати давным-давно, бог знает когда еще, что пора рассмотреть список моих грехов. В этом принимали участие сотрудник Управления по компенсации, адвокат, а также журналист. Впрочем, меня это даже устраивает. Два года тому назад в длинном письме к генеральному прокурору я написал, что хотел бы объяснить-ся раз и навсегда. Сейчас мне такой случай представился, и я хочу внести свою лепту, дабы список моих грехов был тщательно и по совести рассмотрен.

За прошедшие годы я навидался, как люди в суде вставали и проявляли усердие и с жаром защищались при поддержке юристов, адвокатов и поверенных, и все равно это не помогало. На решение суда, как правило, эти их усердствования почти не влияли. Все строилось главным образом на заключении государственного прокурора или общественно-го обвинителя, так называемом обвинительном заключении. Это — загадочное понятие, коего я уразуметь не в силах. Посему я отказываюсь усердствовать.

Кстати, я должен просить прощения за мою афазию, из-за которой я вынужден употреблять первые попавшиеся слова и выражения, так что они легко могут перекрыть суть сказанного или же недотянуть по смыслу.

Впрочем, насколько я понимаю, я уже ответил ранее на все вопросы. Сначала ко мне нагрянула полиция из Гримстада с бумагами, которые я, кстати, не читал. Потом меня допрашивал следователь — два, три года или пять лет назад. Это было так давно, что я ничего не помню, но на все вопросы я ответил. Потом был долгий период, когда меня держали в некоем заведении в Осло, где надлежало выяснить, не сумасшедший ли я, а может быть, как раз и выяснить, что сумасшедший, и где я был вынужден отвечать на разные идиотские вопросы. Я только и делал, что вносил ясность, и большей ясности я внести сейчас не смогу.

Единственное, что может подрубить меня, под корень, это мои статьи в газетах. А кроме этого предьявить мне нечего.

Тут все просто и очевидно. Я ни на кого не доносил, не участвовал в собраниях, даже не был замешан в махинациях на черной бирже. Я никоим образом не содействовал ни Бойцам Фронта, ни другим представителям НС, членом которого, как теперь утверждают, я якобы являлся. Следовательно, я чист... Я не являлся членом НС. Я пытался понять, что такое НС, я пытался войти в курс дела, но из этого ничего не вышло. Однако вполне возможно, что иной раз я и писал в духе НС. Не знаю. Потому что не знаю, каков он, этот дух. Однако вполне может быть, что я писал в духе НС, что в меня, следовательно, могло кое-что просочиться из газет, которые я читал. Как бы то ни было, мои статьи у всех перед глазами. Я не пытаюсь умалить их значение, принизить их, это и раньше было достаточно серьезно. Напротив, я от них не отрекаюсь, и никогда не отрекался.

Я просил бы подчеркнуть, что я сидел и писал в оккупированной стране, завоеванной стране, и в этой связи мне хотелось бы очень коротко пояснить кое-что относительно самого себя:

Нам предсказывали, будто Норвегии надлежит занять высокое, выдающееся место в великогерманском мировом сообществе, которое только-только начинало складываться и в которое все мы верили, кто — больше, кто — меньше, но верили все. Я — верил, поэтому и писал так. Я писал о Норвегии, которой предстояло занять столь высокое место среди прочих германских государств в Европе. То, что я в какой-то степени был вынужден соответственно писать и об оккупационных властях, честно говоря, понять нетрудно. Я не должен был дать себя заподозрить — что, как это ни парадоксально, все же произошло. У себя в доме я был постоянно окружен немецкими офицерами и солдатами, даже по ночам, да, нередко и по ночам, до самого утра, и подчас у меня создавалось впечатление, что я окружен соглядатаями, людьми, которые следят за мной и моими домочадцами. Из достаточно высоких немецких кругов мне два раза (как я сейчас вспоминаю), два раза напомнили, что я сделал не так много, как некоторые названные шведы, а ведь Швеция, было мне указано, нейтральная страна, каковой не является Норвегия. Нет, мною были не очень довольны. От меня ожидали большего. И когда в таких условиях, при таких обстоятельствах я сидел и писал, понятно, что в известной степени я вынужден был балансировать; будучи тем, кто я есть, будучи человеком с именем, я вынужден был балансировать между моею страной и другой. Я говорю об этом не для того, чтобы оправдать, защитить себя. Я себя отнюдь

не защищаю. Я даю разъяснения, с тем чтобы довести их до сведения уважаемого суда.

И никто не сказал мне: то, что я пишу, — ошибочно, ни один человек в стране. Я сидел в одиночестве в своей комнате, предоставленный исключительно самому себе. Я ничего не слышал, я до того оглох, что со мною трудно было общаться. Мне стучали снизу по дымовой трубе, чтобы я спустился поесть, этот стук я слышал. Я сходил вниз, а поев, снова подымался к себе и усаживался за стол. Так продолжалось месяцами, годами, все эти годы. И хоть бы раз мне был подан малейший знак. А ведь я был вовсе не дезертир. Я имел какое-никакое, но имя. Я считал, что у меня есть друзья и в том, и в другом норвежском лагере, как среди квислинговцев, так и патриотов. Но хоть бы раз мне был подан извне малейший знак, мало-мальски добрый совет. Нет, этого окружающий мир старался всячески избежать. А от моих домочадцев и родных я никогда или редко когда мог получить какие-то разъяснения или помощь. Ведь со всем они должны были обращаться ко мне письменно, а это весьма утомительно. Так вот я и сидел. В этих условиях мне только и оставалось, что держаться двух моих газет, «Афтенпостен» и «Фритт фолк», но ни в одной из них не говорилось, что то, что я пишу, — ошибочно. Наоборот.

И это не было ошибочным. И писать это не было ошибкой. Это было правильно, и то, что я писал, было правильным.

Я сейчас объясню. Ведь о чем я писал? Я хотел предостеречь норвежскую молодежь и людей зрелых, чтобы они не вели себя неразумно и вызывающе по отношению к оккупационным властям, ибо это бесполезно и приведет лишь к их собственной гибели и смерти. Вот что я писал, варьируя на разные лады.

Те, кто сейчас надо мною торжествуют, потому что одержали победу, победу внешнюю, кажущуюся, — их не посещали, как меня, целые семьи, начиная от простых и кончая высокопоставленными, что приходили и оплакивали своих отцов, своих сыновей, своих братьев, которые сидели за ключей проволокой в том или ином лагере, приговоренные... к смерти. Да, к смерти. Я же не обладал никакой властью, но они приходили ко мне. Я не обладал и долей власти, но я посылал телеграммы. Я обращался к Гитлеру и к Тербовету. Я даже находил окольные пути к другим, например к человеку, которого звали Мюллер, который слыл лицом влиятельным и могущественным, хоть был и не на виду. Наверняка где-то должен быть архив, где находятся все мои телеграммы. Их было много. Я телеграфировал день и ночь,

когда время было дорого, а речь шла о жизни и смерти моих соотечественников. Я посадил жену моего управляющего передавать телеграммы по телефону, поскольку не мог делать этого сам. Именно из-за этих телеграмм немцы под конец стали относиться ко мне с некоторым подозрением. Они считали меня своего рода посредником, несколько ненадежным посредником, за которым не мешает приглядывать. Что до Гитлера, под конец он попросил избавить его от моих обращений. Они ему надоели. Он направил меня к Тербовену, но Тербовен мне не ответил. Помогли ли хоть сколько-нибудь мои телеграммы, этого я не знаю, как не знаю и того, послужили ли мои заметки в газетах устрашением для моих соотечественников, как это было мною задумано. Вместо того чтобы, может быть, понапрасну рассылать телеграммы, мне, может быть, было бы лучше спрятаться самому. Я мог бы попробовать укрыться в Швеции, как поступили многие. Я бы там не пропал. У меня там много друзей, у меня там крупный и могущественный издатель. Я мог бы также попробовать перебраться в Англию, как опять же поступили многие и многие, и вернулись назад героями, потому что бросили свою страну, дезертировали. Я ничего такого не предпринял, не тронулся с места, мне это и в голову не приходило. Я считал, что принесу своей стране больше пользы, если останусь там, где я есть, и буду по мере сил обрабатывать землю, ибо время трудное и народ нуждается буквально во всем, а кроме того, поставлю свое перо на службу Норвегии, которой предстоит занять столь высокое место среди прочих германских государств в Европе. Эта мысль привлекала меня с самого начала. Более того, я был воодушевлен, одержим ею. Не помню, чтобы она хоть раз оставила меня за все то время, что я просидел наедине с самим собою. Мне казалось, что это — великий помысел о Норвегии, я и сейчас считаю, что это была великая и прекрасная идея, достойная того, чтобы бороться за нее и претворять ее в жизнь: Норвегия, свободная и светозарная страна на далекой окраине Европы! Я был в чести у немецкого народа, равно как и у русского, эти две могущественные нации оказывали мне покровительство, не всегда же они будут отклонять мои обращения.

Но все пошло насмарку, все, над чем я трудился, пошло насмарку. Я очень быстро почувствовал внутреннее замешательство, но в глубочайшее замешательство я был повержен, когда король и его правительство добровольно покинули страну, сложив с себя все полномочия. Это выбило почву у меня из-под ног. Я повис между небом и землей. Я

потерял все точки опоры. И вот я сидел и писал, сидел и телеграфировал и раздумывал. Мое состояние в тот период было — раздумья. Я раздумывал обо всем. Так, я напомнил себе, что все без исключения великие имена, составляющие гордость норвежской культуры, получили сперва признание в тевтонской Германии, прежде чем обрести мировую известность. У меня были все основания так думать. Мне и это вменили в вину, хотя, что касается нашей истории, новейшей истории, это бесспорнейшая истина.

Однако это меня никуда не вывело, нет, не вывело. Наоборот, привело к тому, что для всех и вся я сидел и предавал Норвегию, которую хотел возвеличить. Предавал ее. Что ж, пусть будет так. Пусть все и вся взваливают теперь на меня вину. Это *мое* поражение, и я должен его перенести. Пройдет сто лет, и все позабудется. Даже этот уважаемый суд забудется, забудется напрочь. Наши имена, имена всех сегодня присутствующих через сто лет будут стерты с лица земли, и никто их не вспомнит, не назовет. Наша судьба позабудется.

Когда я сидел и писал по мере возможности и отправлял день и ночь телеграммы, я, оказывается, изменял своей родине. Я, оказывается, был изменником родины. Пусть будет так. Только я себя таковым не чувствовал, я себя таковым не считал и посейчас не считаю. Я в совершеннейшем мире с самим собой, и совесть моя совершенно чиста.

Я достаточно высоко ставлю общественное мнение. И еще выше ставлю наше норвежское судопроизводство, однако же не выше своих собственных представлений о том, что хорошо, а что плохо, что верно, а что ошибочно. Мой преклонный возраст дает мне право подходить к себе со своею меркой, и вот она, моя мерка.

Всю свою жизнь, а она достаточно долгая, в какой бы стране я ни очутился, среди какого бы народа ни жил, я неизменно хранил в душе и чтил *отчий край*. Я намерен и впредь хранить в душе свое отечество, в ожидании окончательного приговора.

А сейчас я благодарю уважаемый суд.

Вот то небольшое, что я хотел высказать, пользуясь предоставленным случаем, дабы не оставлять впечатления, что раз я глух, то, значит, и нем. Это не было с моей стороны попыткой защититься. Если же кое-что и прозвучало именно так, это вытекает из содержания моей речи, вытекает из того, что я был вынужден перечислить ряд фактов. Но это не было попыткой защититься, почему я даже и не сказал о свидетелях, на которых мог бы сослаться, а таковые есть. Точно так же я не стал упоминать об остальных материалах, которые у

меня имеются. Это не к спеху. Подождет до следующего раза, может статься, до лучших времен и до иного суда, нежели этот. Когда-нибудь да наступит завтра, так что я подожду. Мне спешить некуда. Живой ли, мертвый, кому какое дело, а главное, какое миру дело до того, что будет с отдельно взятым человеком, в данном случае со мной. Так что я подожду. Видно, это мне и придется сделать».

После моей речи выступил прокурор, после него — мой защитник. И опять я сидел час за часом, не зная, что происходит. Наконец мне поступило от судей несколько письменных вопросов, на которые я ответил.

Так прошел день. Был уже темный вечер.
Все закончилось.

Приходит кое-какая почта, письма и телеграммы, я складываю их в кипу, прочту потом. Несколько дней, и настает Рождество, я переезжаю домой в Нёрхолм, осматриваюсь. Странно увидеть все заново, — холмы покрыты снегом, родник замерз, и надо всем, как и прежде, старый небесный свод. Все как было, однако ж мне странно.

После суда наступает затишье, время занято выписками из судебных протоколов и подачей апелляции в Верховный суд. Конечно же, придется ждать, как и прежде, дело снова затянется, но все-таки мы продвинулись, продвинулись на один шаг.

Помня дом для престарелых, я возобновил свои ежедневные прогулки, я прохожу такое же расстояние точно за такое же время: от Нёрхолма до моста через канал — и обратно, — полтора-два часа. Ходьба ради ходьбы — удовольствие небольшое, только и ничто другое не доставляет мне удовольствия. Я ничего уже не могу делать руками, мне давно бы следовало умереть. Чего я дожидаюсь?

Я засадил Арилда разбирать почту, давнишнюю и свежую, он благодарит кое-кого за границей, остальное выбрасывает. Я не рассчитываю, что за моим гробом пойдет много народу.

Сразу же: меня, кстати, положат не в землю, а сожгут за милую душу, со всеми потрохами, — и спасибо Богу Отцу за жизнь, которую мне дано было прожить в этом мире!

Тут я мог бы воспользоваться случаем и высказаться о кремации в целом. У меня есть книги, о, если бы я постарался, то нашел бы там много чего о кремации. Почему я этого

не делаю? По той причине, что не могу добраться до моих книг. Они в пределах досягаемости, но мне к ним не подступиться, они в своем собственном доме за холмами, но туда нет ходу, столько нынешней зимой выпало снегу. Вот ведь оказия!

А не сочиняю ли я? Разве я не могу отправить туда снеговой плуг? Обстоятельности и точности ради объясняю: люди и без того заняты — возят на лошадях навоз на большие расчистки, путь не ближний, неделями, месяцами нужно преодолевать метровые сугробы. Я, конечно, мог бы отправить туда снеговой плуг, только этого будет недостаточно, — ближе к дому дорога ведет в гору, и отрывать ее надо лопатой, вручную. Но и это еще не все: там ведь лестница, большая каменная лестница, которую замело снегом чуть ли не вровень с крышей, и лестница та без перил, опасная со всех сторон, а у меня головокружение и артериосклероз.

Ну как, отчитался я?

Другое дело — летом, тогда я с легкостью всхожу по ступеням, из-за снега же перед глазами у меня все расплывается.

Мое головокружение — никакая не отговорка. Оно у меня с самого детства; не то чтобы я от этого особенно страдал, но некоторое неудобство испытывал. Читая о смельчаках, что взбираются на шпиль колокольни, я прилагаю героические усилия, чтоб не свалиться со стула. Я так и застыл под Эйфелевой башней, увидя, как пошел наверх подъемник. Когда я поднимаюсь или спускаюсь по лестнице, меня попеременно заносит то вправо, то влево. Это не имеет ничего общего с дряхлостью, я был таким все восемьдесят лет, прежде чем стал дряхлым. Бог мой, до чего же у этих эскулапов все просто! У меня был старший брат, заядлый танцор и вообще парень как парень, единственно, он не переносил высоты, пусть даже небольшой. Когда он вечером шел на взгорье за овцами, то чувствовал головокружение. Для него это было слишком высоко. А так-то он был молодцом. Он умер на девяносто первом году, вполне еще крепким и в здравом уме.

Попеременно оттепель и стужа, а по ночам морозит. На что тут сетовать. Нёрхолмский родник то вскрыется, то затянется льдом, наконец он замерзает всерьез. Январь, праздник Св. Кнута, середина зимы. Дни темные, короткие, газеты месяцами пустые; стоит людям или скотине дохнуть, и в воздухе клубится пар.

Об эту пору на нёрхолмский лед выходят трое взрослых парней, у них с собой санки. Они останавливаются, не ре-

шаясь заходить дальше, вырубают лунки и принимаются удить. Они сидят, пока можется, сидят до вечера, пока не начинает смеркаться, курят, мерзнут, но — терпят. Время от времени суют онемевшие пальцы в карман, чтоб достать горбушку. Если в их вялом мозгу и зашевелится какая мыслишка, они ее отбрасывают, она им ни к чему, они терпеливы и безучастны, наполнены пустотой.

Но вот они поднимаются и идут домой.

Им совсем не хочется показывать свой улов. Даром речи наделен только один, я спрашиваю, он неохотно отвечает, я заглядываю в санки, а он говорит: да нет, не на что тут смотреть. Они вроде бы смущены, и, наверное, в этом ничего странного: три взрослых парня, три рабочих дня — и несколько жалких рыбешек.

— Ну, не так уж и плохо, — говорю я про улов, основательно покривив душой. — Могло быть и хуже.

— Хуже, лучше, — мы ко всему привычные, — отвечает тот, что наделен даром речи.

Товарищи его уходят, досадуя, что он вступил со мной в разговор.

— А не холодно удить?

— Да. Только ничего не поделаешь.

— Нет.

— Потому как свежая рыба, — говорит он, — нам всегда кстати.

Бог ты мой, я об этом и не подумал. Мне совестно, я уже и сам не рад, что спросил. Семья. Дети.

— Ты идешь? — окликают его другие двое и поворачивают назад.

Я смотрю на них. Я еще могу разглядеть их в сумерках: это молодые ребята, у них ни семьи, ни детей.

Чем же людям потешить себя в мире, едва ли не навеки почившем в снегу? Чем взрослым людям развлечь себя обочь дороги, когда у них зуб на зуб не попадает?..

Во время прогулки к мосту я обнаруживаю впереди себя даму. Я не заметил, откуда она появилась, подошла ли по боковой дорожке или вышла из какого-то дома, зато она была в темном пальто и резиновых сапогах, и глаза мои на ней отдыхали, — она служила мне вехой посреди этой безумной белизны.

Шла, шла — и остановилась. Точно ей надоело, что я иду следом. Когда я поравнялся с ней, она наставила на меня камеру (или как это называется) и хотела сфотографировать.

Я покачал головой.

Она улыбнулась и спросила вежливо, с заискивающим выражением на лице:

— Разве нельзя?

— Нет... меня достаточно уже запечатлевали.

— Я жду автобуса, — говорит она, — но здесь даже негде присесть.

Я выворачиваю наизнанку пиджак и расстилаю для нее на придорожном сугробе.

— Что вы... да вы с ума сошли! — восклицает она. — Будьте добры сейчас же надеть пиджак.

— Ладно. Хотя вообще-то жарко, — говорю я. — Жаль, я не смог отыскать соломенную шляпу, когда выходил из дому.

— Сейчас определенно ниже нуля, — сказала она. — Нет, ну надо же! — сказала она и, прикусив губу, глянула на меня.

— Вы едете в город? — спросил я.

— Почему мне нельзя вас сфотографировать? Мне бы очень хотелось.

— Вы из газеты?

— Я? Нет-нет, ничего подобного. Просто вы так долго шли за мной следом...

— Я очень плохо вижу, а вы были хорошим ориентиром.

— Ах, поэтому.

— Вы что, бродите тут и снимаете снег?

— Ну да. Снег на деревьях. Это же так красиво.

— Вот, кажется, и ваш автобус, фрекен.

Она посмотрела — и пропустила его. И, улучив момент, щелкнула меня таки.

Я не ожидал от нее эдакой прыти и сказал:

— И охота же вам!

— А что? — спросила она с невинным видом.

Опасаясь, как бы она не выказала еще большую прыть, я попрощался и пошел дальше.

Когда я возвращался назад, она все еще была там. Она подошла поближе, чтобы я мог слышать:

— Вы сейчас у моста были? Вы ходите туда каждый день. Потому что вам — охота. Вам охота одно, мне — другое.

Она явно хотела со мной поквитаться, и я, к сожалению, клянул:

— Вы тут забавляетесь, а рядом, в Европе, люди умирают от голода. Вам это известно?

— Я об этом читала.

— Вы об этом читали!

— Ну а что мы можем сделать? Вы лично что-нибудь делаете? Ответьте-ка.

Я был вынужден промолчать и опустил глаза, я смотрел себе под ноги. У меня язык не повернулся сказать что-то в свое оправдание, в оправдание всех тех, кто виновен. Все мы глубоко виновны. Нас миллионы.

Просигналил автобус, она машет ему, садится. Оказывается, она едет не в город, нет-нет, она укатила в том же направлении, откуда пришла!

Что же тогда шевельнулось в ее душе? Да ничего. Ну а наши собственные жалкие потуги разыгрывать из себя невесть кого обочь дороги?

Конечно же, она журналистка или что-то в этом роде. Я ее больше не видел.

Полая вода.

На дворе март. Погоды в феврале и марте были замечательные, и Нёрхолмский родник начал уже оттаивать. Да что там, не только родник оттаивает, а и люди. Грундтвиг прав: «По нам, детям света, видно, что ночь, она позади!» Разве мы не чувствуем, как что-то зашевелилось среди руин и тлена? За зиму мы наслышались о грифах, что слетелись и кружат над нашим старым домом в Европе. Что ж. Но ведь слышал же кто-то сегодня на рассвете дикого гуся? Пришла весна.

В газетной пачке мне попался старый календарь. Я ни сном ни духом не вызывал этот календарь из мрака забвения; я начал его листать, причем довольно рассеянно. Дохожу до Вернера фон Хейденстама. Ладно, листаю дальше. Постой-ка, что там было про Хейденстама? Возвращаюсь назад, читаю. Мы с ним ровесники, одного года рождения, и оба умерли. И хотя лишь один из нас сделался привидением на виселичном холме, оба мы служили в счастливые времена одной и той же богине. Но мы уже умерли.

Я переворачиваю по несколько страниц зараз и живо расправляюсь с календарем. Ближе к концу — Шиллер. Он родился в том же году, что и мы, только на сто лет раньше. Он умер.

Наполеон предстал перед Гете. И что же, мир был потрясен? Нет. Они побеседовали с глазу на глаз, правда, у Наполеона было мало времени. Говорят, выйдя от Гете, он сказал, отдавая ему должное: «Какой человек!» И это все. Словно бы они и не встречались друг с другом. Но и они умерли.

Почему бы нам и не умирать!

Тацит считает, что мы, германцы, умеем умирать. И викинги нас в этом отношении не посрамили. Наше юное еще вероучение объясняет нам, зачем смерть вообще: мы не для того умираем, чтобы стать мертвыми, чтобы превратиться в нечто безжизненное, мы умираем, чтобы стать жизнью, мы умираем к жизни, мы — часть Замысла. Тот же Тацит хвалит нас за то, что мы не украшаем могилы. Мы просто-напросто наваливаем на себя дерн, чтоб не пахло. Далее, он хвалит нас за то, что мы не воздвигаем над могилами памятников. Мы выше этого, утверждает он. Он не учел, как мы измельчаем и стыдливо падем в позднейший период.

Полая вода и приметы весны. Ограничение на пользование электричеством ночью сняли, я просыпаюсь, когда захочу, и читаю, это великий дар и благословение Божие. Поскольку я глух и ничего не слышу, звуки и музыка во мне замерли, но я полон жизни и радости, у меня сплошь и рядом бывают озарения, вот так! Потому-то и нельзя стрелять глухаря на токовище. Этого нам, людям, делать нельзя, это скверное и бессмысленное занятие. Такое, надо признаться, случается, как бы то ни было, это никак не связано со следующим обрывком мысли: однажды я набрел на часовню, или как же это называется, на мусульманский храм, только очень уж крохотный и обветшалый. Там расхаживал высокий рыжебородый мужчина, он постелил на землю какие-то тряпки, а сверху положил горстку маленьких камешков. И упал на колени. Мне стало ясно, он молится Богу. Но для чего он передвигает туда-сюда эти камешки? Я ничего не понимал, однако сдержал себя и не улыбнулся.

Я вспоминаю, как я однажды принимал в церкви причастие. Это было, когда я конфирмовался. Пастор сунул мне что-то в рот, а потом дал пригубить из рюмки. Вокруг стояло много людей, они наблюдали за мной, однако сдерживали себя и не улыбались.

С какой стати я это сейчас вспоминаю? Да ни с какой, и ничего глубокомысленного тут нет. Просто меня увлекает в сторону, оттого что я рад и перебудоражен. Что называется, нахлынуло прошлое.

Во мне оживает воспоминание из времен моих первых странствий. Нет, ничего выдающегося или особенного, просто вереница будничных событий в чужом краю, в маленьком пыльном городке среди прерии. Там даже речки не было, и леса не было, так, один кустарник. Все вроде бы складывалось неплохо, я работал на ферме у честных, пусть

и небогатых людей, но меня забирала тоска по дому, и я часто плакал. Моя хозяйка снисходительно улыбалась, она научила меня слову «homesick»¹.

Я проработал у них несколько месяцев, а дольше Лавлендам держать меня было не по карману. Мы расстались неохотно; когда я двинулся в путь, дело уже близилось к вечеру. Спешить мне было некуда, в город вела не дорога, а тропинка, я то и дело присаживался помечтать. Вода подо льдом здесь бежала не так, как дома, слабое биение подо льдом было у нас тоньше и куда синее. Тут я снова всплакнул.

На тропинке слышались шаги. Молоденькая девушка. Я знал ее, она была дочерью вдовы, жившей по соседству. Вдова не раз говорила, что возьмет меня в работники, когда я освобожусь у Лавлендов.

— Привет, Нут. Я тебя напугала?

— Нет.

— Я иду в город, — сказала она.

Она тащила маслобойку, у которой отлетела рукоятка. Я вызвался донести аппарат, он был мне хорошо знаком с детства, я бы запросто насадил рукоятку с помощью складного ножа, будь у меня кусочек сухого дерева.

Она шла и щебетала и стрекотала без умолку, а я пытался отвечать, пользуясь теми немногими словами, которые знал по-английски. Это было очень утомительно, и я думал про себя: чтоб ты провалилась!

— Уф! Далеко еще до города?

— Надеюсь, что да! — чертовка ответила и засмеялась. Ей-то что: идет да щебечет.

Мы пришли в город, в мастерскую Ларсена. Уже начало смеркаться.

— Дорогой Нут, теперь ты должен проводить меня обратно, — сказала Бриджет.

— Что?! — Я прямо рот разинул.

— Слишком темно возвращаться одной, — сказала она.

Ларсен был датчанин, он тоже сказал, что я должен ее проводить.

И мы пустились в обратный путь. Становилось все темнее и темнее, под конец нам пришлось взяться за руки и отводить в сторону ветки, которые так и норовили хлестнуть по лицу. Правда, держать ее за руку было приятно.

Я вдруг спохватился:

— Мы забыли маслобойку!

— Ну и что? — ответила Бриджет.

¹ Тоскующий по дому, по родине (англ.).

— Как «ну и что»?

— А так. Главное, что со мной ты!

К чему бы ей это говорить? Я понял так, что она влюблена в меня, влюблена по уши.

Когда мы добрались до места, я хотел тут же идти назад, но меня не отпустили, я должен был подкрепиться, должен был поужинать и переночевать. Бриджет отвела меня в сарайчик, где стояла кровать. Наутро мать с дочерью уговорили меня остаться и поработать у них короткое время. Я прошелся по ферме. У них было два мула и три коровы. Вдова пожаловалась, что неоткуда взять людей. Я же, со своей стороны, не привык работать самостоятельно, у Лавлендов, там был в живых хозяин, он мной и руководил, а тут одни женщины, от которых не дождешься никаких указаний, кроме первоочередных. Само собой, я не собирался слоняться без дела, я нарубил огромную кучу дров, потом начал вывозить на мулах навоз. Так оно изо дня в день и шло.

Вдова, видно, и сама уразумела, что придется поискать ей помощника посправнее, и вот она сама пошла в город и привела с собой финна, толкового, между прочим, парня, он был родом из Эстерботтена и знал, что да как. Юная Бриджет, похоже, уже не радовалась, что заполучила меня, нет, она перестала меня замечать и не брала за руку.

Простак я, нурланнский деревенщина! Никогда в жизни не поверю больше женщине на слово.

Рабочей силы по-прежнему не хватало. Когда я опять оказался в городе, меня остановил на улице фермер и предложил ехать с ним. Определил, наверное, по моей одежде, да и не только по ней, что я из вновь прибывших; я не ошибся, спрос на меня был. Я отправился с ним, в повозке, запряженной двумя рослыми лошадьми; как только мы приехали, он сразу же приставил меня к делу. Я должен был вырыть могилку на опушке леса, размеры он указал в футах. Я управился быстро; когда я закончил, фермер вынес на плече маленький гробик и опустил в могилу. Он управился еще быстрее. Я стоял, ожидая новых распоряжений, тогда он подозвал меня, чтобы я забросал могилу землей и прикрыл дерном. А сам ушел.

Но вернулся ли он? Нет. Он что-то там починял в сарае, и вид у него был занятый.

Боже правый! Я удивился и ужаснулся, мне стало не по себе. Тело ребенка было предано земле, и все. Никаких обрядов, ни одного псалма. Хозяева мне попались молодые, но поскольку я не мог объясняться, так я и не узнал, к какой они прилежали церкви.

А в целом жаловаться мне было не на что. В доме и на усадьбе полный порядок, лошади и коровы холеные, земля хорошая, детей нету. Обязанности мои были несложные, хозяин сам доил коров и обихаживал животных, я работал в поле, ну а что до хозяйки, то она была толстушка и хохотушка. Она научила меня множеству английских слов, а для житья отвела мне маленькую комнатку с окном и кроватью. Странные люди, им вздумалось взвесить меня на безмене, только крюк сломался и я получил безменом по голове. Я не совсем понял, зачем это все, а они обрадовались и стали хвастать, какой я упитанный. Когда моя хозяйка собиралась в город — отвозить масло и пшеницу и за покупками, я иной раз был за кучера.

После того как мы отпахались и отсеялись, хозяин подрядил меня на более долгий срок, и я оставался у них, пока не убрали урожай. Это было, кажется, в году 1880-м или 81-м. Я уже немного пообвык и успел привязаться к хозяевам. Оба они были из немцев и звались Спир. На прощанье мы обменялись крепким рукопожатием.

Меня заприметил еще один человек и предложил работу на всю зиму — вытесывать шпалы. Я на это не решился. Тогда он предложил мне взять в аренду его маленькую ферму. Выяснив, что и это не для меня, он захотел продать мне в кредит пароконную подводку. У него была уйма планов, один хитрее другого, я насилу от него отделался.

Но вот мне предложили место посыльного — *deliveryboy* в магазине. Это предложение я принял. Я разносил по адресам свертки и ящики, после чего возвращался назад в магазин. Это было самое большое заведение в городе, и за прилавком стояло несколько продавцов. Владельцем магазина был англичанин по фамилии Харт. Мы торговали всем на свете, начиная от зеленого мыла и кончая шелковыми тканями, консервами, наперстками и почтовой бумагой. Я поневоле был вынужден выучить названия всех товаров, и мой словарный запас изрядно пополнился. Спустя какое-то время мой начальник решил взять на мое место другого, а меня определил за прилавок. Теперь я ходил при воротничке и в начищенных ботинках, снял в городе комнату и столовался в одной из гостиниц. Фермеры, с которыми я был знаком еще раньше, не могли надивиться, до чего быстро я пошел в гору. Юная Бриджет с фермы тоже пришла в магазин и увидела меня в моем новом качестве, теперь она, наверное, по гроб жизни будет раскаиваться, что порвала со мной. Как знать?

Я прекрасно понимал, она хочет, чтобы я вышел на улицу и поговорил с ней, она сказала:

— Дорогой Нут, не будешь ли ты так любезен помочь мне, у меня столько свертков.

— С величайшим удовольствием, — ответил я. Я вполне мог позвать кивком нового deliveryboy и перепоручить все ему, однако я ответил: «С величайшим удовольствием!», и вышло это у меня замечательно. Я самолично снес ее свертки в повозку, затем смахнул с одежды пыль и вежливо осведомился, как обстоят дела на ферме, как поживают ее мать и финн. Финн, тот уехал, а урожай весь собран. Но ее мать не хочет больше надрываться на ферме, она собирается продать ее и перебраться в город и открыть кондитерскую, где они будут торговать шоколадом, пирожными и прохладительными напитками. Юная Бриджет была в восторге, они уже и помещение себе присмотрели, ветхий сараюшко, который можно переоборудовать в ресторан.

Тут на сцену выступает мой друг Патрик, Пат, ирландец, чуть постарше меня, выдумщик, отличный товарищ и сумасброд. Как и я, Пат снимал в городе чердачную комнатушку, мы часто разговаривали по душам, одинаково тосковали по дому и были твердо намерены вернуться назад, как только разживемся деньгами.

Вероятно, у себя на родине Пату приходилось строить дома, и он был не прочь называться архитектором. Он сидел и рассчитывал ресторан в футах и дюймах, и ему было очень важно, чтобы все получилось как надо. Он раздобыл рейки и стол, купил в моем магазине картон и гвозди и засучив рукава принялся за работу.

У нас было друг к дружке множество дел, мы виделись ежедневно, порою один мог выручить другого, одолжив доллар, а еще мы менялись книгами. Правда, толку в этом книгообмене не было, я недостаточно владел английским, чтобы прочесть «Век разума» Пейна, а Пат не понял «Марию Груббе» Й. П. Якобсена, роман, который я выписал из Чикаго. То были молодые, исполненные неуверенности и рвения дни, но мы ни на мгновение не забывали о своем намерении покинуть эту страну и вернуться домой, случилось, мы и слезы лили вдвоем, себя жалеючи.

Подумать только, юная Бриджет не бросилась ниц на землю и не заголосила, когда продали дом, где прошло ее детство! А ведь была узкая тропка, ведущая в лес, а в лесу птицы, теперь они осиротели. А весна, а цветы, а дождь небесный, шелест колосьев летним днем, — неужели Бриджет все это забыла? А ручей, что так доверчиво пробегал по их

земле, — он продан теперь. Господи владыко, ручей продан! А дом, он призадумался, он понимает, чтостряслось, некрашенная дощатая стена смотрит ей вслед. Ей бы прижаться щекою к этой стене и не отходить вовеки.

— Нам этих людей не понять, — говорит Пат. — Потому мы здесь никак и не приживемся. В прошлом году я работал на ферме в Вайоминге. Мой хозяин внимательно изучал печатные брошюры и объявления, которые получал по почте, однажды он приходит и говорит: «Я уезжаю!» Забрал семью и махнул во Флориду. Бросил свою ферму в Вайоминге и махнул во Флориду.

— Нет, Пат, нам этих людей не понять. Мы уедем отсюда.

— А вот Бриджет очень милая девушка, — говорит Пат.

— Что ты хочешь этим сказать? — спрашиваю.

— Она милая девушка. Я сейчас работаю на нее и на ее мать. Ты же знаешь Бриджет. Они собираются открыть ресторан.

— Вон оно что!

Только с этого дня меня начали одолевать сомнения, а так ли уж Пат тоскует по родине. Мы поговорили с ним, обсудили это. Пат по-прежнему уверял, что рвется домой, в Эйре, он стал перечислять все тамошние красоты и достопримечательности. Там на мили расстилаются зеленые луга, где пасется рогатый скот и овцы, и не счесть, сколько церквей и замков.

Я сидел и слушал и кивал — это, мол, есть и у нас.

Пат был задет за живое, он сказал, что ни одна страна не может сравниться с Эйре по протяженности горных цепей, они пересекают десять или двадцать графств и тянутся до самой Атлантики. А крупные реки и города, а судоходные озера, а процессии с кардиналом во главе!

Я то и дело кивал и говорил, что это есть и у нас. Кончилось тем, что мы сидели и похвалялись каждый своей страной. Гальхёпигген, сказал я, Ломсегген. У подножья Ломсеггена стоит церковь, в этой церкви я конфирмовался в 1873 году, сказал я.

Это могло бы растрогать и камень, но не Пата. Он еще пуще разгорячился и понес невесть что. Про ирландского изобретателя, который изобрел машину, чтобы летать по воздуху. Да-да. А еще стал рассказывать небылицы про базальтовые пещеры в Антриме — он сам из Антрима, сказал он, и пещеры эти ведут прямо к центру земли. Невесть что, короче. Приступ патриотизма. Он начал расписывать, какие у них оливковые рощи и сады роз, а по берегам всех рек чуть ли не впритирку сидят рыбаки и ловят на блесну...

— На блесну? — рассмеялся я. Он что, не слышал о наших ловлях, о Лофотенах и Финнмарке?

— Нет.

— Не говоря уж обо всем остальном. Наши огромные леса, наши водопады, они что, не в счет? Ты бы помолчал, Пат. Разве это не мы открыли Америку за пятьсот лет до Колумба? А чьи сухопутные границы и посейчас еще доходят аж до России?

— До России? — переспросил Пат. Он не поверил мне.

Ладно. Но все дело в том, что оба мы опять затосковали по дому. Однако я усомнился в Пате.

Усомнился в Пате? Разве он не терпел нужду и не ютился на чердаке при свете маленькой керосиновой лампы? Знала бы об этом его родня, знали бы его отец с матерью! Но он ни о чем не хотел рассказывать в письмах. Дома у него в конюшне стояли две верховые лошади, а тут над головой односкатная крыша с крошечным оконцем в железной раме.

— У тебя на самом деле есть дома верховые лошади?

— А почему это тебя так удивляет? Знаешь, сколько окон было у нас в главном здании? Гораздо больше, чем во всем этом городе. Когда я здесь просовываю наружу голову, мне только и виден что пустырь с бельевыми веревками. Ты не представляешь, до чего меня бесят эти бельевые веревки, мало того, что они натянуты крест-накрест, на них еще мотается-болтается одежда, а я в это время должен сидеть и вычерчивать прямые линии, это же архитектурская работа. Я терплю исключительно ради Бриджет, потому что Бриджет милая девушка.

— Как же ты поедешь домой, если уже привязался к здешней девушке?

— Возьму ее с собой, — сказал Пат.

— С собой?

— Да. Уж не подумал ли ты, что я ее брошу? Плохо же ты меня знаешь. Возьму ее с собой, и все тут.

— Хотел бы я на это посмотреть, — сказал я.

Только все пошло вкривь и вкось. Хуже не придумаешь.

Бельевые веревки были собственностью пекаря Кляйста, так же как и пекарня на пустыре. Однажды ночью Пат вышел из дому и отвязал все веревки и аккуратно сложил около пекарни, а наутро разразился скандал. Кляйст, пожилой австриец, уроженец Вены, был человек покладистый, однако он не намеревался терпеть подобные шалости. У них состоялся крупный разговор, и Пат объяснил: никакие это не шалости, просто ему уже не вмоготу. Ты что, не можешь видеть бельевые веревки? — спросил Кляйст. Не могу, ска-



Портреты К. Гамсуна в разные годы его жизни



Дом в Хамарёе, где прошло детство Гамсуна.
В настоящее время — музей писателя



Отец писателя Педер
Скультбаккен (1825 — 1907)



Мать писателя Тора
Гармутредет (1830 — 1919)



Гамсун. Рисунок Эрика Вереншёльда. 1889 г.



Гамсун в форме кондуктора трамвая. Чикаго, 1886 г.

Knut Hamsun
holder sit
første Foredrag
i Brødrene Hals's Koncertsal
Onsdag 7 Octbr. Kl. 8.
Emne:
Norsk Literatur.

1ste Foredrag. Onsdag 7 Octbr.
2det do. Fredag 9 »
3die do. Mandag 12 »

Billetter a 2 Kroner Serien,
1 Krones enkelt Foredrag, faaes
i Brødrene Hals's Musikhandel
samt Foredragsstuen ved Ind-
gangen fra Kl 7.

Афиша «скандальных лекций» Гамсуна в Христиании. 1891 г.



Кнут Гамсун. Рисунок Альберта Энгстрёма. 1898 г.



К. Гамсун. Рисунок Улафа Гулбранссона. 1923 г.



Гамсун. Портрет Хенрика Лунда. 1922 г.



Здесь Гамсун начал писать свой роман «Плоды земли». 1915 — 1916 гг.



Гамсун с друзьями из мира богемы. 1895 г.



К. Гамсун. 1914 г.



Кнут Гамсун с женой Марией.
1909 г.



Мария Гамсун со своим
первенцем Туре



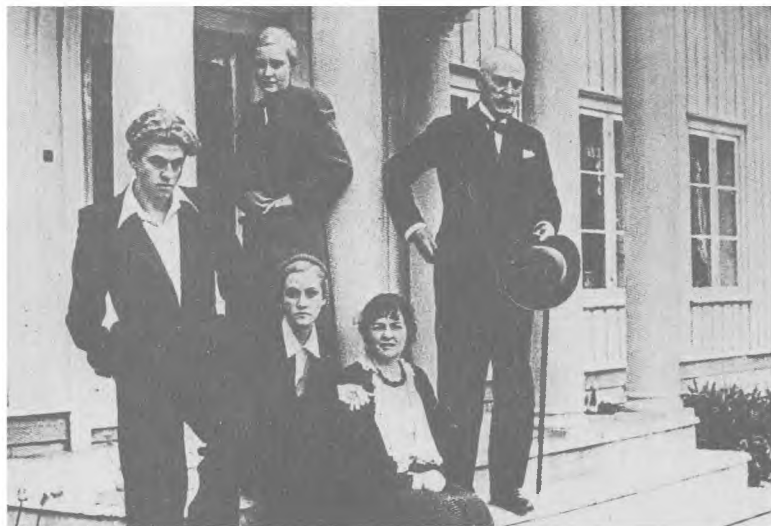
Мария Андерсен, актриса
Национального театра в Осло



К. Гамсун — земледелец. 1929 г.



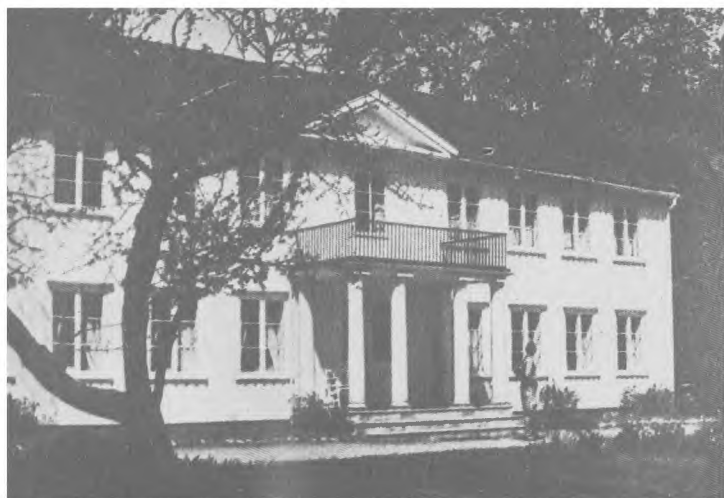
Гамсун с семьей в 1918 г.



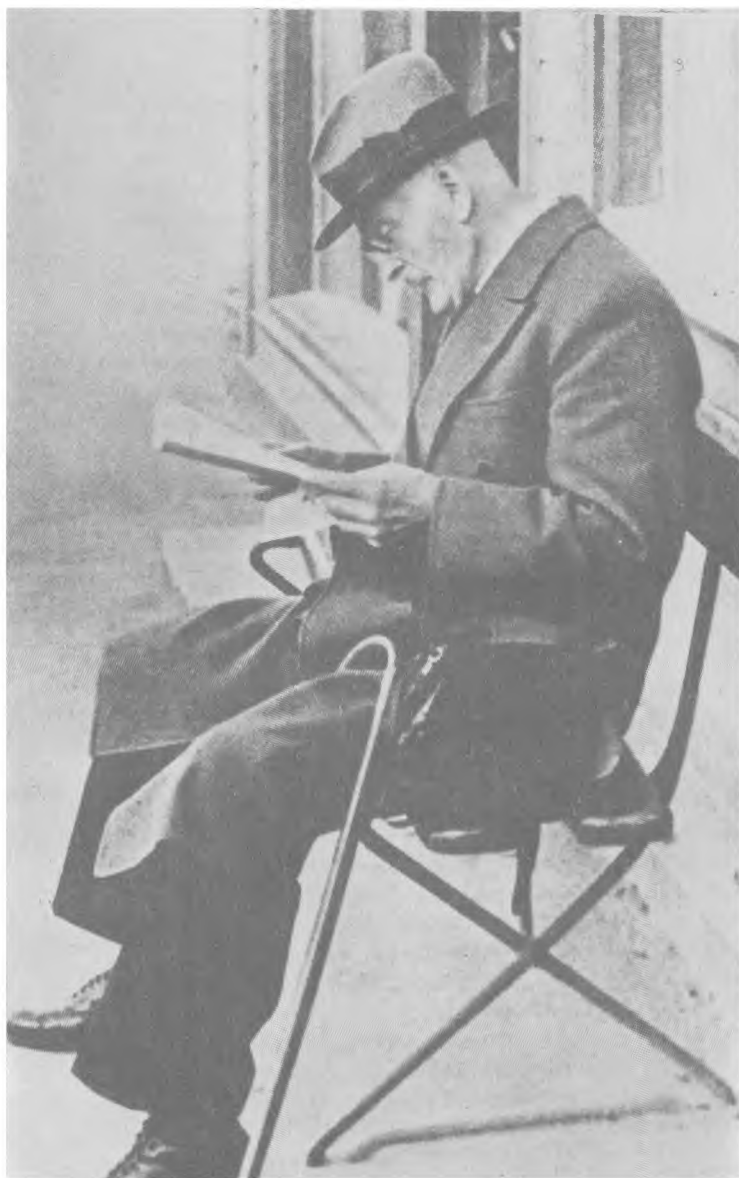
Семья Гамсуна: Арилд, Элино́р, Сесилия, Мария и Кнут в Нёрхолме в середине 30-х годов



Кабинет в «хижине поэта». Здесь Гамсун написал бóльшую часть своих произведений в 1919 — 1948 гг.



Нёрхолм



Гамсун ждет автобуса в Гримстаде. 1941 г.



Арилд Гамсун на Восточном фронте. 1943 г.



Гостиная в Бергхофе, где Гамсун встречался с Гитлером



Мария Гамсун выступает в Германии



Харалд Григ и Кнут Гамсун



Пресс-секретарь Гитлера Дитрих встречает Гамсуна
в зале конгресса в Вене



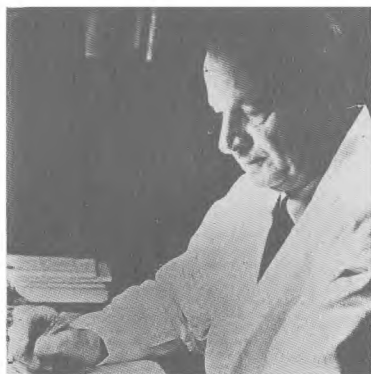
Тербовен встречает Гамсуна на аэродроме в Форнебю



Дом для престарелых в Ланнвике



Психиатрическая клиника в Осло



Профессор-психоаналитик
Габриель Лангфельдт



Гамсун во время процесса



Гамсун. Литография Туре Гамсуна. 1948 г.



Гамсун входит в зал суда в Гримстаде. 1947 г.



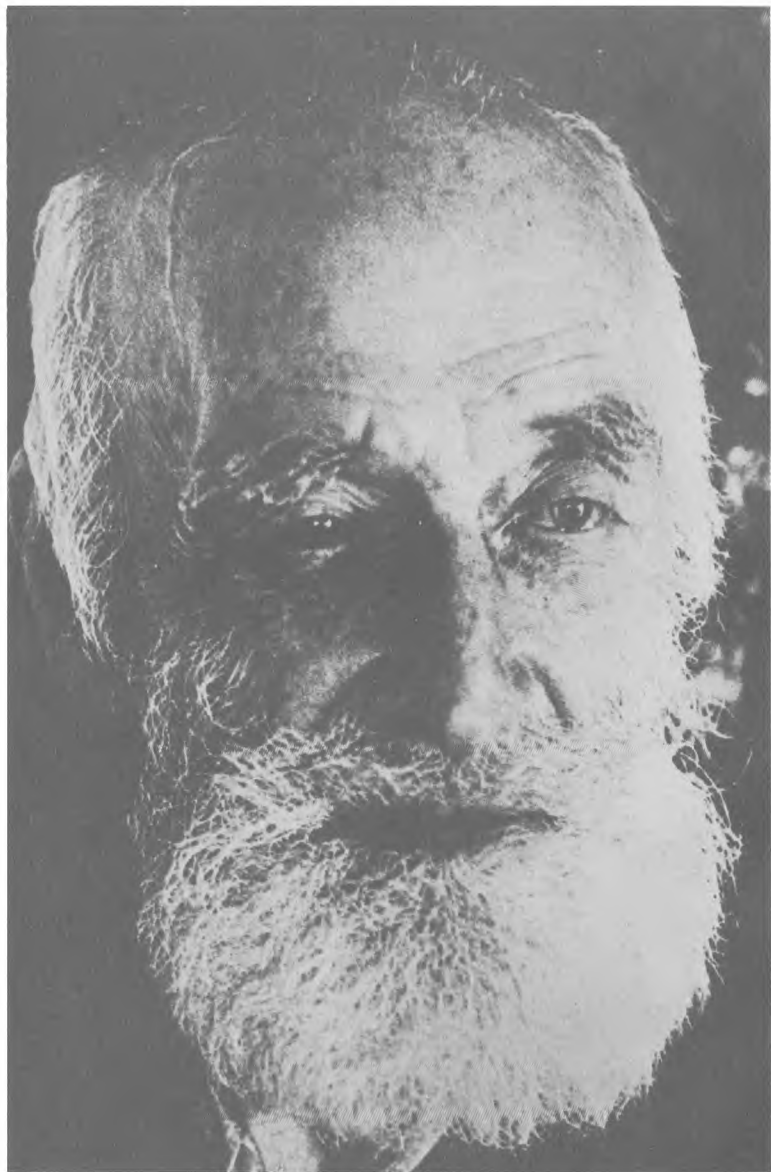
По окончании судебного заседания Гамсун
и адвокат Сигрид Стрей



Кнут Гамсун в день своего
90-летия. 1949 г.



Кнут Гамсун и Мария. Июль,
1950 г.



Кнут Гамсун. 1950 г.



Последняя фотография К. Гамсуна, снятая сыном Туре
2 октября 1951 г.



Гамсун в гробу. 19 февраля 1952 г.



Спальня Гамсуна в Нёрхолме, где он умер.
На стене — портреты Гете и Достоевского

зал Пат. Австриец расхохотался и начал отпускать шуточки. И опять привязал веревки.

Если бы все свелось к одним шуточкам!

Надо же было случиться тому, что юная Бриджет, Бриджет с фермы, поступила к пекарю на обучение. Ей нужно было выучиться печь пирожные и печенья и венские булочки и прочие лакомства для своего ресторана. Это они с матерью умно придумали, дело было стоящее, и на первых порах все шло гладко, даже Пату нечего было возразить.

Но мало-помалу все пошло вкривь и вкось.

Ресторан уже открылся и пользовался большим успехом. Архитектор Пат сделал из сарая настоящий дом, у него вышло не только помещение, где сидели и угощались прохладительными напитками и шоколадом, но еще и пристройка под кухню и пекарню, правда-правда, а наверху — несколько жилых комнаток.

Пекарь подал им немало добрых советов, и в этом его заслуга. Только он перестарался. Ему бы вовремя остановиться, ан нет. Он слишком помолодел. У него были взрослые уже, самостоятельные дети, а он начал вдруг проявлять интерес к хорошенькой молоденькой девушке, которая желала обучаться его ремеслу и оказалась такой способной; во всяком случае, он помог установить в пристройке огромную плиту с разными конфорками и духовками и оборудовать ее под кондитерскую-пекарню.

Ладно. Но старый греховодник начал стирать вещи Бриджет. В большом подвале у него всегда была горячая и холодная вода, и когда он отмывал от теста свои куртки и фартуки, он мог заодно постирать и для Бриджет. Он понял, что с деньгами у нее не густо, и захотел помочь, у него были, наверное, самые благие намерения, но он перестарался, и это вывело Пата из себя. Пекарь Кляйст стирал маленькие фартучки и нагруднички и носовые платочки, которые никак не могли быть его собственными...

И развешивал их на бельевых веревках на пустыре!

Пат явился ко мне в магазин, он хотел, чтобы я пошел с ним. Он был бледен, как смерть.

— Тебе надо переехать в другое место, — сказал я ему.

— Ты это серьезно? — ответил он. — Мне как раз нужен наблюдательный пункт.

Мы пошли к пекарю, Пат хотел купить пустырь, но у него не было денег, а Кляйст не собирался ничего продавать.

— Да что это с тобой? — спросил Кляйст. — Я стираю и развешиваю. На мне весь день все должно быть чистое, белоснежное, неужто не понятно?

— Да, но ты еще развешиваешь и женские тряпки, — сказал Пат. — Свинья!

— Ты что, не можешь видеть женские тряпки? — спросил Кляйст.

— Не могу, — сказал Пат.

Австриец разразился оглушительным смехом.

Пат не нашелся что ответить, он стоял, и губы у него дергались. Наконец он торжественно пригрозил своему врагу, что он этого так не оставит, он даст знать обо всем своей семье в Эйре, а семья у него дворянская.

На Кляйста это не произвело особого впечатления, он глянул недоуменно, кивнул и ушел.

— Тебе надо переехать, — сказал я Пату. — Ты же видишь, так продолжаться не может.

— Никуда я не перееду, — ответил Пат.

Нет, конечно, он ополоумел, но еще не совсем! Я крепко на него рассердился и не стал этого скрывать. Как понимать это его новое качество? Я видел, он до смешного, отчаянно влюблен, но дворяне — это еще что такое? Может быть, в Ирландии это что-то из ряда вон, не знаю. Я поднял Пата на смех, он до того втрескался в эту свою фермерскую дочку, что потерял голову.

— Я готов умереть за нее, — объявил он.

Тяжелый случай.

— А еще дворянин! — сказал я наобум.

— Это не я дворянин, это мать у меня дворянка, — ответил он.

Вынул из кармана письмо и показал мне: на обратной стороне конверта была крошечная фигурка на зеленом поле, которую он называл дворянским гербом; так или иначе, выглядело это изысканно. Я ничего не понял и вынужден был промолчать, но герб меня смутил. Я все же не удержался и принялся насмехаться над тем, что у него две верховые лошади.

Он ответил:

— Дорогой Нут, ты в этих вещах ничего не смыслишь. У нас поместье, потому я и мог держать двух верховых лошадей.

Я окончательно перестал понимать, что к чему.

Пат же с того времени проводил целые дни, высунув голову из слухового окошка, и не спускал глаз с бельевых веревок на пустыре. Он обезумел, им завладела невероятная ревность, которую он был не в силах перебороть. Я смеялся над ним, только это не действовало. Взгляд у него сделался

хитрым-прехитрым: его не проведешь, если женских одежек прибавится, от его глаз не откроется ни один платок.

Совсем спятил.

Это продолжалось, пока пекарь Кляйст посвящал юную Бриджет в тонкости своего ремесла, но вот в один прекрасный день он объявил, что обучение ее завершилось и отныне она может собственноручно выпекать пирожные у себя в ресторане. И тут наступила развязка.

Пекарь Кляйст, пожилой добродушный венец, был никакой не тайный греховодник, просто, как мастер своего дела, он гордился прилежною ученицей. К тому же выяснилось, что его ничуть не интересуют десять долларов, причитающиеся за учебу, он наотрез отказался принять их. У него был в городе свой собственный магазин, приносивший ему неплохой доход. И вот по прошествии недель и месяцев он вновь погрузился в будничные хлопоты, и ничего не последовало.

Зато с Патом произошла большая перемена: он разлюбил Бриджет. Это было чудо. И какое чудо: он разлюбил Бриджет!

Он, который был так подавлен, так уязвлен, он, который недавно еще говорил, что готов умереть за нее, — как это надо было понимать? А очень просто: ему было больше не к кому и не к чему ревновать, им ничто уже не двигало, оттого пыл его и угас и ярость утихла.

Бедный Пат, он похудел и осунулся, ведь ему и поесть было некогда, он не мог отлучиться со своего наблюдательного пункта в слуховом окошке, но прошло немного времени, и он вошел в тело, поднял голову и воспрял. Молодцом!

Мы направились с ним в ресторан. Пат молчал, мы взяли шоколад и пирожные и расплатились. Пату не нужно уже было лелеять никакую любовь, наоборот, он намекнул, что хотел бы получить свои деньги. Мать с дочерью удивленно на него посмотрели. До того он изменился, показал себя с неожиданной стороны.

Деньги?.. Ах ну да, за работу. А что, если он поселится наверху, в одной из комнаток, которые он оборудовал?

Пат покачал головой.

Ну а для чего он тогда понаделал эти комнатки?

— Мне нужна монета, — сказал Пат. — Я уезжаю в Вайоминг.

Как же им не хотелось платить, как они тянули! Хуже всего, пожалуй, вела себя Бриджет; ее приятель, пекарь Кляйст, избаловал ее отеческим вниманием, и она о себе возомнила.

Я был сердит на нее, уж слишком она стала шустрой. Оделась по-городски и ходит виляет бедрами, ей и горя мало, что дом, где прошло ее детство, продан. Нет, не нравилась она мне.

— Я тут заходил в мастерскую к Ларсену, — сказал я. — Твоя маслобойка все еще там.

— Что-что?

— Твоя маслобойка. Ты ее не забрала.

— Нет, это же надо! Моя маслобойка! Да на что она мне? Можешь взять ее себе, Нут. — И хохочет.

— Вот мне кое-что и перепало за труды, я ж ее нес, — сказал я.

— Бриджет! — шикнула на нее мать.

— Мне полагается двести сорок долларов, — сказал Пат.

Мать и дочь всплеснули руками. И сказали, что им надо произвести оценку работ. Они вели себя с ним бессовестно. О, они знали, что делали, оттягивая время. А Пату нужны были деньги. Кончилось тем, что он вынужден был удовольствоваться половиной, лишь бы получить наличными. Жуть! — сказал Пат.

Я, во всяком случае, был очень доволен, что он разделался с Бриджет, и вот мы снова уселись и принялись обсуждать наше будущее. Поворачивало на весну, и нас тянуло домой. Я лично хотел взять расчет, я служил в магазине уже третий год, но платили мне мало, и я ничего не скопил. Я думал податься на Запад, в прерии: там тебя кормят, ты работаешь и ни на что не тратишься.

— Этак тоже ничего не накопишь, — сказал Пат. — Я уезжаю в Вайоминг.

— Что ты там будешь делать?

— Осмотрюсь немножко. Может, продам ферму.

— Какую еще ферму?

— На которой я работал.

— А как же ты ее... Значит, эта ферма твоя?

— Ну да, ведь хозяин бросил ее и махнул во Флориду.

У меня язык отнялся. Я глядел на него и думал: и поэтому ты решил, что ферма твоя? Пат, Пат, чудак ты и выдумщик, каких свет не видел, опять ты заморочил мне голову!

— Продам ее, и вся недолга, — сказал он.

— Пожалуй, ты имеешь на это право, — сказал я. — Тебе же причитается жалованье.

— Да, — сказал Пат. И ухватился за эту мысль.

— Понимаю. Ты работал там от темна дотемна — задаром.

— Да, — сказал Пат.

Я кивнул, все было яснее ясного:

— Притом ты там долго был, с год, наверное...

— Полтора года, — уточнил Пат.

— Тем более. Так что тебе ничего не мешает, я рад, что ты мне все рассказал. Не забудь оставить перед отъездом свой адрес.

Когда Пат уехал, мне стало совсем беспринотно в этом городе. Он был неоценимым товарищем, и я по нему скучал. Я раза два написал ему, но он не ответил. Может, некогда было, а может, он как раз снаряжался в дорогу домой. Моя городская жизнь подходила уже к концу, когда мистер Харт предложил мне приличную надбавку, если я останусь. Слишком поздно.

Я попал на ферму к Дэлрамплам в долине Ред-Ривер и пробыл там, пока не убрали урожай.

Сегодня, выходит, уже три года, как я арестован. И вот сижу здесь.

Но что мне до этого, меня это не волнует. Это настигло меня как случайность, и больше об этом я говорить не намерен. Выучился молчать.

Все мы держим путь в страну, куда попадем в назначенный срок. Нам нет нужды торопиться, в пути мы вверяем себя случайностям. Это лишь глупцы ропщут на небеса и подбирают для этих случайностей высокопарные фразы, а те куда устойчивее, чем мы, и избежать их невозможно. Бог мой, до чего же они устойчивы и неизбежны.

Летний зной держался долго, до двадцати трех градусов в тени. И вдруг все меняется, и прозрачно стекленеет небо. На дворе ночь, но я выхожу посмотреть, что делается. Полнолуние, а луны нет. Что такое? Все стихло, ни единого комара. Спустя два часа выхожу снова и вижу, как из-за деревьев показывается луна.

Может быть, в этом нет ничего необычного и все в полном порядке, но это немного сбивает с толку. Если бы два часа назад я стоял достаточно высоко, то увидел бы, как из моря выплывает медузой и влажно золотится луна.

О, мое основательно пошатнувшееся психическое здоровье, я становлюсь таким бестолковым!

Конечно же у меня артериосклероз, но только что мне до этого, меня и это не волнует. Когда я к себе расположен, я величаю его подагрой. Вот уже больше года, как я перестал пользоваться палкой. На что мне она? Это было своего рода щегольством, все равно что заломить шляпу

набекрень. Служила ли мне эта палка опорой? Нет. Мы стали приятелями, но не более. Упавши в снег, мы всегда лежали порознь.

Приятельские отношения, они приятельские и есть.

Но конечно же, подагра донимает меня бессовестно. Я ничего не слышу. Да это все равно. И не вижу, что гораздо хуже. Я уже не в состоянии прочесть газету, несчастную газету. Не важно. Впрочем, мне есть чем и похвалиться, я могу читать, когда на газету падает яркий солнечный луч.

У нас в Нурланне бытовало выражение «пешее зрение», то есть ты еще видишь, куда ставить ноги. Марен Мария Къелдсен, та вот обладала «пешим зрением», но она ходила с палкой, да и вообще у нее была куча хвороб. Марен Мария была фигурой загадочной, никто о ней ничего не знал; поговаривали, будто она не из простых, а дочь шкипера, не меньше, но все это догадки, а сама она про себя не рассказывала. То, что ее отец — человек родовитый, признавали все, потому что звалась она Къелдсен, и, кроме нее, в наших краях никого с такой фамилией не было. Она обходила нашу округу с одной-единственной целью — выклянчить жевательного табаку от зубной боли. К табаку она приохотилась в дни своей юности и с тех пор не могла без него обходиться, жевала его что твой матрос. И вообще она была грязная и бесстыжая. Но у этого создания были красивейшие девичьи руки. Я дивился этим рукам — желтые, но такие мягкие и нежные; они никогда не знали никакой работы, никогда не отличались чистотой, но до чего же приятно было на них смотреть.

Под конец Марен Мария перешла на содержание, сделалась нахлебницей прихода, ей уж тогда было семьдесят, если не восемьдесят. Свои переходы от хутора к хутору она совершала одна, без провожатых, она сохранила «пешее зрение» до последнего дня.

Это благо — сохранить «пешее зрение» на годы и годы.

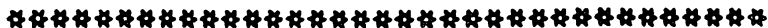
Иванов день 1948-го.

Сегодня Верховный суд вынес приговор, и я заканчиваю свое писание.

Приложение

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

К последнему тому Собрания сочинений К. Гамсуна мы даем в виде приложения сценарную повесть современного шведского писателя П. У. Энkvиста «Гамсун», представляющую несомненный интерес для российского читателя как попытка разобраться в причинах, определивших трагическую вину Гамсуна, великого писателя, оказавшегося в роковой для его родины час в стане ее врагов.



Пер Улов Энквист

ГАМСУН

Сценарная повесть

ВВЕДЕНИЕ

1

Это сценарий, и это — картина жизни одной семьи в двадцатом столетии.

Правда, семья не рядовая, и трагедия, пережитая ею, несколько необычна. Необычная семейная трагедия разыгрывается в политической рамке, что случается не часто: речь идет о Кнуте Гамсуне, о его жене Марии, об их четырех детях и о том, как во время оккупации Норвегии Гамсун стал на сторону немцев, а после войны был предан суду и осужден за измену родине.

Лауреат Нобелевской премии по литературе становится изменником родины. Окруженный всеобщим почтением, он навлекает на себя всеобщее презрение, а тем временем его семья распадается, а родина сначала переживает величайшие бедствия, потом — эйфорию освобождения. И под нарастающее ликование освобожденной страны кого-то с величайшей высоты низвергают в адскую бездну.

Страна, Норвегия, — тоже не совсем обычная. Мы по праву будем здесь часто прибегать к словам «необычный», «особенный»; перед нами молодая страна со свойственным молодым странам особенно пылким чувством национального самосознания и особым отношением к предателям — ненавистью к ним. Тем более, если до того, как совершить предательство, человек был предметом исключительного восхищения и обожания, был неотъемлемой частью национальной самоидентификации. Норвегия не знала родового дворянства, но в ней существовали люди, как бы приравненные к дворянам в силу своих заслуг. Так возникали семьи, благородные не формально, по происхождению, но облагороженные и возвысившиеся благодаря своим славным деяниям и ставшие своего рода национальным достоянием.

Такова, например, семья Нансена. Или Гамсуна.

В 1978 году Торкильд Хансен написал блестящую документальную книгу «Процесс против Гамсуна», которая и послужила отправной точкой для моего сценария. Впоследствии к ней добавились и другие материалы, но именно Торкильд Хансен в своей фактографической и в то же время страстной работе поставил вопрос о том, виновен Гамсун или не виновен, — вопрос, оказавшийся весьма спорным и, однако, весьма плодотворным. После этого документального романа, вызвавшего жаркие дискуссии, о деле Гамсуна написано очень много. Я прочел и эти работы. Но они не прибавили ничего нового к сути дела. Теперь нам в основном известны все факты, относящиеся к трагедии Гамсуна. Остаются толкования и оценки уже известного.

Мой сценарий — одно из таких толкований, так же как и мое введение, в котором я пытаюсь объяснить, из каких возможных толкований я исходил в своей работе.

Как станет очевидно из моего сценария, а затем из фильма, мои оценки в некоторых существенных пунктах расходятся с оценками Торкильда Хансена. Так, например, я считаю, что, несмотря ни на что, Гамсуна судили справедливо. Мы должны различать существенное и менее существенное. Скажем, вопрос о том, был Гамсун или не был формально, в юридическом смысле членом партии Национальное собрание, существенного значения не имеет. Как норвежец он поставил на службу оккупационным властям свой огромный авторитет. А это весило больше, чем множество ружей. Почему он это сделал, как это случилось, виноват он или нет — вопрос другой. Вопрос о вине можно было поднимать в 1945 и в 1978 годах — теперь, по-моему, это не так интересно. Теперь уже нет необходимости измерять вину Гамсуна и выносить приговор. Зато необходимо как можно глубже вникнуть в человеческую и интеллектуальную дилемму.

Итак, фильм и сценарий опираются на книгу Торкильда Хансена «Процесс против Гамсуна», но также на книги, которые написали сами Кнут и Мария, на попытки истолковать эти книги, а также на жаркие дискуссии, которые после Второй мировой войны велись прежде всего в Норвегии. В фильме, поставленном Яном Труэллем, который осуществил таким образом свою давнюю мечту, речь идет о финальной схватке двух старых людей.

«Пляска смерти», как правило, разыгрывается между супругами гораздо раньше — семейная драма четы Гамсун разыгрывается в ту пору, когда для большинства людей любовные отношения уже давно кончены. В данном случае

пляска смерти начинается тогда, когда кажется, что смерть уже стоит у порога, когда чаще всего супружеская любовь, страсть, ненависть угасают, сменяясь смирением, и в плясках смерти уже нет нужды.

Но в семье Гамсуна в предсмертном зале ожидания с потрясающей силой вспыхивают ненависть и борьба за власть. Вспыхивают с запозданием, потому что оба супруга слишком долго молчали. Иногда борьба принимает гротескные формы, ведь мужчина в этом конфликте очень стар, почти совсем глух и больше всего хочет умереть. Однако он не маразматик: когда все события уже почти канут в прошлое, он, ко всеобщему изумлению, напишет блестящую книгу «На заросших тропинках». И под самый конец, в обстоятельствах весьма необычных, свое слово скажет вдруг и любовь.

В фильме описан период между 1936 и 1953 годами.

В памяти большинства сегодняшних норвежцев Гамсун выступает в роли предателя. Но в сыгранной им роли было множество граней — он был патриот, национальный певец, предатель родины, агитатор, посредник, общавшийся со многими ведущими политиками мира; сам же он приписывал себе иную роль — он считал, что спасает свою страну.

Страну, землю которой он любил. Но был ли он при этом националистом? Что он, собственно говоря, думал о Норвегии?

Все эти вопросы усложняют пляску смерти. И все же это любовная драма.

Впоследствии Гамсун, без сомнения, полагал, что если он и избрал ложный путь, то из добрых побуждений. И толкнули его на этот ложный путь некоторые из тех его свойств и убеждений, которые когда-то одобрялись, высоко ценились и способствовали созданию произведений, одно из которых принесло ему Нобелевскую премию. Все, что он всегда считал правильным и справедливым, в новой политической ситуации привело его к катастрофическим ошибкам.

Когда же именно правильное превратилось в катастрофически ошибочное?

Идеологические катастрофы, переплетенные с супружеской пляской смерти, очень мучительны. А тут еще пляска смерти в предсмертном зале ожидания приобретает далеко идущие политические последствия. Мы вправе задаться вопросом: какое влияние оказывает драма, разыгрывающаяся на малой сцене (драма семейная и любовная), на большую сцену — сцену, где разыгрывается мировая политика? И наоборот. И потом: если ты начинаешь заблуждаться, как вырваться из плена этих заблуждений? Может быть, маленькое изначальное отклонение непоправимо, как ошибка на

один градус при запуске спутника, — вначале отклонение едва заметно, но затем оно становится все более очевидным и кончается катастрофой.

В фильме показана гибель одной норвежской семьи. Сегодня нам известны все факты, которые, вероятно, вообще можно установить. Вопрос в том, как мы их толкуем.

2

Его жену звали Мария.

Когда-то она была молода, намного моложе его, красива и одаренна. Каждая строчка, написанная ею после войны, будто говорит: «Вся моя жизнь рухнула, я защищалась».

Мы не знаем, почему она когда-то полюбила Кнута. Конфликт между ними начался очень рано: уже через год после первой встречи письма полны горечи, как бывает, когда всему настал конец и люди в последний раз выясняют отношения. Однако до конца пройдет еще не один десяток лет. Да и вообще неясно, настал ли когда-нибудь конец.

Чем привлек ее Кнут, мы не знаем. Он был всемирно известен и необычайно обаятелен. Наверно, это сыграло свою роль.

Фильм начинается в 1936 году, начинается с ужасной супружеской ссоры, которая и в самом деле произошла в июле того года. Причиной конфликта стала неверность, в которой жена обвинила мужа, неверность, быть может имевшая место и вполне тривиальная, а быть может скорее психологическая, чем физическая. Но по сути дела причина была в том, что Гамсун лишил жизнь Марии смысла.

Такого рода конфликты, как правило, приводят к окончательному разрыву, к разводу, к ненависти и молчанию. Однако Кнут и Мария продолжают жить вместе, с одним только всем известным и очень важным перерывом — пока идет процесс и пока Марию держат в тюрьме. Это сожительство в ненависти приведет обоих к политической и человеческой катастрофе.

Внешние обстоятельства этой пляски смерти необычны. В то время как Кнут Гамсун изолирован своей глухотой, Мария, запертая мужем в клетку семейной ячейки, но продолжающая жить театральными мечтами своей юности, вдруг получает возможность сыграть большую роль на сцене мировой политики. Она становится ушами мужа и таким образом влияет на его голос. Никто из посторонних понятия не имеет о том, что в доме исполняют пляску смерти.

Каким образом национальный герой становится национальным предателем?

На глазах глубоко потрясенного мира человек, которого все считают приверженцем идеи великой Норвегии, начинает сотрудничать с оккупантами. Как это объяснить? Глухотой? Возможно. Но лишь отчасти. Это правда, он глухой. И все же иногда до него доходят сведения о том, что происходит в действительности. Норвежских борцов за свободу бросают в тюрьмы, подвергают пыткам, матери молодых антифашистов в отчаянии ищут помощи Гамсуна, пытаются пробиться сквозь стеклянный колпак его глухоты. Гамсуна это, однако, не сокрушает — действительность расходится с его теориями, что ж, он тем более будет искать опоры в своих теориях.

Он — интеллеktуал, привыкший смотреть вдаль, он презирает тех, кто видит лишь то, что рядом, — это близорукость. Но будь сам он близорук, он разглядел бы, что на самом деле творится у него под боком: оккупацию, сопротивление. Но он прячется за мысли, которые кажутся ему более масштабными, неопровержимыми и интеллектуально выверенными; они составляют теоретическую основу, на которой зиждется его восприятие действительности, а в них — странная инстинктивная ненависть к Англии, теория об объединенной под германским началом Европе, в которой Норвегии уготовано почетное и самостоятельное место за общим столом. Да, Гамсун считает свою теорию неопровержимой, а в это самое время обезумевшие матери кричат ему в ухо, что он, предатель родины, должен спасти их детей.

До чего же неприятна действительность, когда она не согласуется с теорией! И Гамсун просто отмечает неприятную и близорукую действительность, потому что вопреки всему продолжает считать себя интеллеktуалом, который способен видеть далеко вперед.

Ведь он хотел как лучше. И все-таки он встревожен, возможно, даже на грани внутреннего краха, хотя это состояние скрыто благополучным фасадом. Впрочем, способность пересматривать свои взгляды не принадлежала к числу главных добродетелей Кнута Гамсуна.

Когда он посетил Гитлера, — а их беседа удивительным образом была застенографирована, — он отчаянно отстаивал свою идею великой Европы, полагая, что Гитлер также ее разделяет, и не замечая, что его понимание этой идеи не имеет ничего общего с гитлеровским. Если бы Гамсун видел то, что находится вблизи, что происходит у него под

боком, он бы прозрел. Но он хотел смотреть вдаль. И, не доверяя демократии, не замечал, что в гитлеровской Европе полностью отсутствуют демократические инструменты корректировки власти. Поэтому его и смогла использовать нацистская пропаганда.

И вот тут-то Мария получила наконец великую роль своей жизни, роль, которую прежде, когда она встретила со всемирно известным писателем, она надеялась получить из его рук, — впрочем, на свой лад она именно от него ее и получила. Во время войны Мария постоянно разъезжает по Германии с агитационными целями, используя имя мужа, его славу. А он теряет контроль над собственной личностью. Его использует Квислинг, его использует Тербовен.

Между тем семья распадается. А ведь в теорию Гамсуна входило представление о здоровой семье, о жене-служанке и любящих детях. А теперь, в разгар пляски смерти, несчастья сражают и его любимых детей. Эллинор на грани психического заболевания. Сесилия сломлена. Арильд, который всегда хотел быть таким, каким его желал видеть отец, делает выводы из отцовских речей и записывается добровольцем в СС.

Впрочем, может, это мать сказала сыну, что следует сделать именно такие выводы?

Неужели она решилась загубить детей ради того, чтобы продемонстрировать двойную мораль мужа и свою собственную неподкупную последовательность? Сегодня этого не знает никто. Но история Марии Гамсун, быть может, еще страшнее и с еще большим трудом поддается истолкованию, чем история ее мужа.

Внешне Мария распоряжалась Кнудом по своему усмотрению... Но все, что он делал, он делал добровольно и по убеждению. Он был упрям и горд и никогда не стал бы прислушиваться к ее мнению в политике. Но все, что он делал, в то же время зависело от нее.

Кто же от кого зависел?

Спустя месяц после мучительной последней ссоры, с которой начинается фильм, в Норвегии прошли выборы в стортинг. Рабочая партия получила 618 000 голосов, а квислинговское Национальное собрание всего 26 000. В коммуне Эйде, где жили супруги Гамсун, за партию Квислинга был подан один-единственный голос. Несколько лет спустя Мария Гамсун «с гордостью» заявила, что это был ее голос.

Сам Гамсун, который тоже «с гордостью» заявлял, что никогда в жизни не участвовал в голосовании, потому что

он не демократ, хотя бы не отдал голоса за партию Квислинга. Мария, проголосовав за нее, вступила в политику. Но в каком-то смысле в политику ее втянул не кто иной, как Кнут.

3

Она и в самом деле была хороша, когда он встретил ее в Театральном кафе.

Эта красавица привлекала к себе всех. Впрочем, нет, не всех, не женщин, а только мужчин. Молодая и очень красивая норвежская актриса. Те, кто ее вождедел, всерьез говорили с ней именно о том, чего вождедела она. На смену маленьким ролям, которые она сейчас играет, говорили они, придут большие роли. Наверное, они понимали, что ее круглощечкая миловидность никак не подходит для трагических ролей, для Федры, для Марии Стюарт, и тем не менее они не уставали повторять, что явственно распознают в ней талант и он, несомненно, будет развиваться, надо его только подшлифовать. К тому же они сами готовы были заняться шлифовкой мелких недостатков, и в их глазах вспыхивал похотливый огонек, дававший понять, что результата можно добиться, если она позволит себя уничтожить, пересоздать, приобщить к жизненному опыту, позволит навести лоск, который красивые актрисы приобретают чаще всего в постели, да что там говорить — только в постели. Опыт страсти придаст более четкий контур слишком уж детской округлости щек. Короче говоря, она должна сказать «да», а уж потом ждать обещанных ролей. Но только после того, как округлость щек сотрется трудами ночных наставников.

Кнут Гамсун презирал актеров. Он ревновал Марию к ее прошлому. Но сам он тоже был ваятелем. В этом смысле Кнут и Мария напоминают о другой знаменитой паре в скандинавской истории — о чете Хейберг, современниках золотого века датской культуры. Ханну Луизу Хейберг тоже хотели вылепить заново, пересоздать в произведение искусства.

По сути, они похожи друг на друга, Ханна и Мария. Мы видим обеих в семейной рамке — одну на картине девятнадцатого века, другую на картине двадцатого. И позади обеих двое очень сильных мужчин, которые хотят вылепить из них произведение искусства, но не на тех условиях, которые устраивали бы самих этих женщин, а на тех, что устраивают этих мужчин.

И обе женщины заледенели, они стали снежными королевами.

Впрочем, элегантный мужчина, знаменитый писатель, который в тот вечер в Театральном кафе взял маленькую руку Марии в свои и сказал, что эта ручка очаровательна, о сценической карьере не говорил. Ни о Федре, ни о Елизавете, ни о Норе, ни вообще о сценической карьере речи не было. Гамсун ведь презирал актеров. Презирал издавна. У актеров нет собственной личности, они копируют чужую, в них нет ничего подлинного. В них нет цельности. Они имитируют людей, а сами вообще не люди.

Гамсун говорил Марии о своих планах на ее счет. Это было не похоже на то, что говорили другие; только много лет спустя она пришла к мысли, что, в сущности, он говорил то же, что и все прочие.

Он сотворит из нее шедевр. Он вылепит из нее идеально-го человека, и прежде всего он создаст идеальную семью, в которой главную роль будет играть она. Ядро семьи — сильная женщина, твердо стоящая на земле. Кровь и земля. Сильная женщина, окруженная детьми.

А сохранит ли она самостоятельность? Возможно. Но только работать она не будет, не будет актрисой. Однако потом Марии стало казаться, что, по сути дела, он обещал ей роль в большой театральной пьесе, роль, которую он для нее напишет. Она только не поняла, какая это будет роль. А когда наконец поняла, роль ядра здоровой семьи ей не понравилась и она избрала себе другую, по собственному вкусу.

Почему она бежала по поляне и так безобразно кричала в ту прекрасную летнюю ночь 1936 года, когда стлавшийся по земле туман по временам, казалось, поглощал ее, а посреди поляны как сожженное почерневшее дерево стоял Кнут? Она кричала потому, что совершенно утратила уважение к нему. Не к его романам, а к нему самому. А ей было очень важно уважать его. Когда уважение пропало, все рухнуло.

Когда-то Мария уважала своего отца, а потом отец потерпел банкротство, и она потеряла к нему уважение. Кнут тоже придавал большое значение уважению. И всегда с презрением отзывался об ее отце и о банкротстве. «Проститутки банкроты, — говорил он, — вроде этого несчастного Ибсена». Правда, Кнут хотя бы не написал об этом банкротстве. Не то что Ибсен. Но это всегдашнее презрение! Слово банкротство отца унизило ее и запятнало, ведь он и на Ибсена смотрел как на какую-то жалкую козявку. И пожилого актера, того, с которым Мария прожила шесть лет, потому что он был так похож на ее отца, Кнут тоже нис-

колько не уважал. К тому же тот умер так неэстетично — от заворота кишок!

А когда-то Мария уважала Кнута. Бесконечно уважала. Но потом он предал свои идеалы, и все рухнуло.

Когда после этого крушения Мария из духа противоречия проголосовала за НС, ей показалось, что она освободилась. Квислинг был похож на всех тех, кого она уважала: на отца, на того актера, на Кнута. Но Квислинг стойко держался своих идеалов. Он писал об универсализме, о роли женщины в доме, о том, что женщина должна вести мужчину по пути идеализма. Национал-социализм высоко ставил женщину. Пусть только на кухне и в кругу семьи, но высоко. Именно женщины привели Гитлера к власти. По сути, Квислинг говорил именно то, во что, по собственным лицемерным уверениям Кнута, верил и он сам: общество зиждется на семье, а опора семьи — женщина, и воспитание детей — ее роль. Но, сказав это, Квислинг стойко придерживался сказанного. Поэтому Мария стала уважать Квислинга.

Предателей она не уважала. Она всю свою жизнь поставила на карту семейной идеологии, которую проповедовал Кнут, всем для нее пожертвовала. Но Кнут предал свои идеи, а Квислинг остался им верен.

Квислинг стал доказательством того, что ее жертва была не напрасной.

Однажды в начале тридцатых годов Мария услышала его выступление и вдруг все поняла. Ее жертвы были оправданы. Она пожертвовала всем ради роли истинно арийской норвежской женщины. И поступила правильно. Правильно. Подтверждение тому — Квислинг и его партия.

Квислинг снабдил Марию идеологией, которая подтверждала, что жертва, принесенная ею в тот вечер в Театральном кафе, когда она отказалась от сценической карьеры и от беспринципных людей, была оправданна. Квислинг создал идеологию, которая задним числом подтверждала, что ее жертва была не напрасной. «Фру Мария, — сказал ей Квислинг, — на вас возложена историческая задача». — «Но я всего только жена Кнута», — ответила она. «Нет, — возразил он. — Вы должны стать образцом. Для всех. И это важнейшая из всех ролей».

Когда Кнут предал ее ради беспринципных людей, ей все стало ясно. Она пожертвовала жизнью во имя принципа. И теперь она докажет, что пожертвовала не зря. В этом смысле Кнут Гамсун и в самом деле вел ее за руку, когда она, единственная в коммуне Эйде, отдала свой голос партии Национальное собрание.

Нет, сознательно она никогда не хотела погубить Кнута.

Все, что она делала во время войны, ее молчание, и то, что она скрывала от мужа происходящее, и турне, которые она совершала, обслуживая нацизм, — все это она делала ради самой себя. Она хотела защитить прожитую жизнь, придать ей смысл. Если то, во имя чего она жила, было ложью, теперь, по крайней мере, под нее будет подведен идеологический фундамент.

И в отличие от Кнута умирать она не хотела. Она была еще молода. Она хотела начать все сначала и наконец-то, под занавес, получить ту великую театральную роль, которую когда-то — так ей, во всяком случае, почудилось — ей обещали.

И она получила эту роль. В пьесе, которая станет называться «Трагедия Гамсуна». И Мария сыграла в ней свою последнюю, свою главную роль. Роль, которая должна была ее обессмертить. И обессмертила. Но не так, как она предполагала.

Она это заслужила. Он это заслужил. О вине мы говорить не будем. Но в каком-то смысле оба они не виновны.

Когда Кнуту было девять лет, отец с матерью вынуждены были отослать его из дома, и он провел пять лет у изювера дядьки, мечтая вернуться домой.

Его любимая мать отдала сына чужим людям. Но, по глубокому убеждению Кнута, мать была не виновата. Потому что в противном случае родителям пришлось бы продать дом. А дом — ведь это очень важно. Вернее сказать, дом важнее всего.

Кнут понял, что жизненная задача состоит в том, чтобы создать дом. И в этом доме должна быть женщина. Женщина-мать. И никто, никто и никогда не сможет сокрушить эту скалу в центре мироздания.

По сути дела, между постройкой дома и творчеством не такая уж большая разница. Творчество — тоже дом. Дом со многими комнатами, а между ними двери, и каждый роман — это комната. И должна быть взаимосвязь. Одно должно быть связано с другим.

Но представьте себе, что придет поджигательница. Какой тогда толк от того, что ты построил дом на века?

Кнут думал о матери каждый день все то время, что он гнул спину на ненавистного дядьку.

Он написал о ней стихи:

Загубели ладони твои, ну так что ж,
на своем ты веку потрудились немало.
Сколько весен подряд высевала ты рожь,
сколько сжала, связала снопов — не сочтешь,
а картошки одной сколько ты накопила!

.....
Ты не просто кормилица, век ты украсила свой,
ставши матерью, мирно склонившись над зыбкой.
Ты усердно трудилась всю жизнь над своею судьбой,
благословенна среди женщин, Господь да пребудет с тобой!
Я люблюсь твоей загрубелой ладонью, твоей сединой
и улыбкой люблюсь, твоей негасимой улыбкой¹.

Вот какой, вот какой следовало быть ей, Марии, но, увы, она была актрисой, и руки у нее были, увы, не большие, загрубелые, а маленькие и очень красивые, и при первой встрече, сравнив их со своими, Кнут пришел в восторг.

Возможно, он полагал, что руки могут вырасти.

6

Не так легко иметь дело с человеком, который в последние двадцать лет своей жизни хотел одного — умереть, но потом передумал, потому что захотел, чтобы сначала его судили.

Он считал, что его творческий путь окончен. Он написал много тысяч страниц, книги, которые читались во всем мире. Когда в 1920 году он получил Нобелевскую премию, он считал, что еще кое-что напишет. Так и вышло. Но писалось ему все труднее.

К 1920 году он почти уже подвел итог. А когда во время немецкой оккупации началась последняя великая схватка, он уже, по крайней мере, лет семь считал, что итог подведен.

Он не был готов к последней схватке, которая началась тогда, когда жизнь была окончена, лавры получены, творчество завершено и багаж уложен.

Он не понимал, почему Мария так упорно хочет жить. Почему так упорно хранит обиду, чувство, что что-то безвозвратно потеряно. Почему она считает, что жизнь продолжается. Сам он мечтал о тихом, безмятежном угасании.

¹ Перевод Норы Киямовой.

Она была еще молода. Он не мог с этим смириться. Молода? Да ведь ей уже за пятьдесят, разве в эту пору труд жизни не приходит к концу?

Для него все уже давно отошло в прошлое, итог подведен. Насытившись долгой жизнью и славой, он был готов умереть. А эта пятидесятипятилетняя актриса, из которой он вылепил жену и мать, требовала, чтобы жизнь продолжалась.

Не иметь возможности спокойно умереть, когда ты почти уже мертв... Собственно, тогда это и началось.

В трагедии, свидетелями которой мы станем, речь идет о пресыщенном жизнью старике, которого заставляют вернуться к жизни, и о почти мертвой женщине средних лет, которая отказывается признать, что ее жизнь кончена, и поэтому меняет и саму жизнь, и оружие, и чувства и затевает борьбу, которая не что иное, как пляска смерти, но в каком-то смысле — борьба за жизнь. А потомки будут вспоминать об этой борьбе как о предательстве двумя нацистами своей родины.

Но в конце концов эта борьба открыла им глаза на то, что в глубинах беспощадной ненависти может родиться иное чувство, которое напоминает примирение и едва ли не любовь.

7

В трагедии принимали участие многочисленные второстепенные лица.

Квислинг был героем Кнута, а стал героем Марии. «Это мой человек», — повторял Гамсун множество раз. Герой Кнута был фантазером. И в то же время напоминал крестьянина, стоящего обеими ногами на земле. Как было не поддаться его обаянию? Тем более что он лелеял обширные философские мечты о великой Европе под эгидой Германии, куда важной составной частью войдет независимая Норвегия, призванная сыграть ведущую роль благодаря таланту и силе своих сыновей и решимости своих дочерей защищать устои здоровой семьи. Квислинг создал собственную доморощенную теорию — универсализм. Знакомы с ней были немногие, Гамсун, во всяком случае, знаком не был.

Стоя двумя ногами на земле, Квислинг загадочно толковал о великой взаимосвязи, туманно указывал на взаимообусловленность. И впрямь, трудно было не поддаться его обаянию. Король считал его своим другом, многие годы с ним работал великий Фрицьоф Нансен. У Квислинга было

много общего с норвежскими путешественниками, мечты его были масштабны, а взгляд на призвание женщины именно такой, какой когда-то был у Кнута.

До тех пор, пока Кнут не предал свои взгляды.

В конце концов Мария поняла: Квислинг именно таков, каким должен был быть Кнут. Вот почему герой Кнута стал героем Марии. Если отвлечься от универсализма, мечты Квислинга в точности совпадали с мечтами Кнута. Видкун Квислинг был хранителем мечты, идеологической гарантией того, что Мария прожила жизнь не напрасно.

Он стал наперсником Марии, хотя встречались они не так уж часто. Но с хранителем мечты вовсе не обязательно встречаться ежедневно.

Второстепенных действующих лиц было много. Доктор Лангфельдт, психиатр, который перед судебным процессом проводил сеансы психоанализа с обоими супругами, почти все время играл роль Злодея, воплощенного Зла. История преобразила этого аккуратного ученого в своеобразного норвежского доктора Мабузе.

Кем он был на самом деле и чего добивался своими действиями, играет не такую уж важную роль. Но его роль свою роль сыграла.

Мы можем только догадываться, почему Лангфельдт действовал именно так. До нас дошли его записи, хотя и подвергшиеся цензурному редактированию. Но то, что поток признаний Марии был предан гласности и, во всяком случае, стал сразу же известен мужу, привело к катастрофе.

Вероятно, доктора Лангфельдта всегда интересовали люди пишущие.

И тут настал его звездный час — перед ним оказался величайший писатель. Доктор знал, чего хотят от него политики: он должен дать заключение, что Гамсун невменяем. Его нельзя предавать суду. Неловко перед мировым общественным мнением. Надо объявить писателя выжившим из ума.

Лангфельдт считал, что ведет себя по отношению к Гамсуну как друг, и в качестве дружеской услуги предлагал диагноз: «невменяемый». И когда Гамсун отверг этот дар, доктор был глубоко оскорблен. Он с удивлением обнаружил, что сам Гамсун хочет подвергнуться испытанию и предстать перед судом.

Мы знаем еще по Данте, что предатели осуждены находиться в последнем круге ада. Великий писатель в последнем круге преисподней — как было Лангфельдту устоять перед

такой картиной? Падение с величайшей высоты в самую глубокую бездну — как было доктору не потерять голову?

Особенный интерес Лангфельдта вызывала супружеская жизнь Гамсуна — собственно говоря, к вопросу о вменяемости это никакого отношения не имело, но зато интересовало Лангфельдта как психолога. По правде сказать, ему было глубоко безразлично, виноват Гамсун или нет, но он читал произведения Гамсуна и был уверен, что сможет найти к нему ключ, который не сумели отыскать литературоведы.

Ох уж эти самовлюбленные шарлатаны. Ключ найдет он, Лангфельдт!

Возможно, Лангфельдту нравилось проявлять свою власть — ведь он был психолог. Не будучи злым человеком, в этой драме он оказался злым гением. Он был вуайером. А разве сами писатели не вуайеры? Один вуайер наблюдал за другим — Кнуту это было омерзительно. Ведь тут была разница: аналитик не только наблюдает, он вторгается в жизнь.

Впоследствии Лангфельдт яростно протестовал против всего того, что говорилось о его знаменитых беседах с Гамсуном. Обязанность хранить профессиональную тайну стала для него настоящей мукой. Он мог бы написать книгу, но ему не дали. Однако он написал протокол, который вторгся в жизнь четы Гамсун.

И наконец, в драме участвовали дети.

Туре, перенесший все легче других и единственный, с кем я встречался. Сесилия и Эллинор, душевно рухнувшие. И Арилд. Самым непонятным для потомков остался Арилд, тот, кто записался добровольцем в СС и отправился на Восточный фронт. Больше всего на свете Арилд любил лес. Он считал, что всегда разочаровывал отца. Что, говоря о нем, отец всегда употребляет слово «разочарование». В лесу никто никого не разочаровывал, деревья ничего не требовали, птицы доверчиво пели, рядом с Арилдом сидела собака, клавшая голову ему на плечо. Звери требований не предъявляют.

Арилд пошел на Восточный фронт и оттуда прислал сборник стихов о лесе.

8

Остается самый важный вопрос: почему?

Не для того, чтобы осудить, теперь в этом нет необходимости, и не для того, чтобы оправдать, — в этом тем более нет нужды. Но ради нас самих, для размышления.

Гамсун был интеллектуалом, великим писателем, одним из величайших лауреатов Нобелевской премии, которого мы читаем и сегодня. Потому что мы все еще его читаем. Романы Гамсуна переживут произведения многих нобелевских лауреатов. Но Гамсун захотел сыграть еще и политическую роль.

Потомки назвали эту роль «предатель родины». И тут напрашивается вопрос: как, собственно говоря, Гамсун относился к своей стране? Он, очевидно, любил ее землю. Однако применительно к Гамсуну понятие «норвежское» очень сложно. Гамсуна называли великим националистом и патриотом, но был ли он и в самом деле националистом — не наоборот ли? Действительно ли он любил национальное государство Норвегию?

Он любил землю — это бесспорно. Но страну? То, что его пленила гитлеровская идея великой Европы, произошло не случайно.

Нет, Гамсуна нельзя назвать националистом без оговорок. Он любил землю, но не страну. Допустимо ли проводить здесь различие? С моей точки зрения, по отношению к Гамсуну допустимо. «Плоды земли» — это мечта о естественной жизни, но гимном во славу норвежского национально-государства роман назвать нельзя. Многие из поступков, создавших Гамсуну славу националиста (например, то, что он выкупил для Норвегии издательство «Гюлдендал»), на самом деле определялись иными побуждениями. Сербские писатели и интеллектуалы, которые создали великосербский национализм и заложили основы трагедии, при которой мы сегодня присутствуем, были скорее антиподами Гамсуна.

В загадке Гамсуна слово «национализм» звучит невнятно, да к ней и неприложимо. Но именно в двойственности этой ситуации — один из ключей к ответу на вопрос, почему Гамсун повел себя именно так, а не иначе.

Самая главная проблема лежит, однако, не в личной сфере, и касается она не только Гамсуна. И проблема эта не в том, что Гамсун решил сыграть политическую роль, а в том, что он перенес свое влияние из той области, где своей убежденностью, усердием, упорством, талантом и блеском интеллекта он достиг максимума того, чего вообще можно достичь, то есть из области литературного творчества, в область политики, где он был не в состоянии вникнуть в проблему. Достоинства, которые создали ему авторитет в литературе, обернулись недостатками на политическом поприще — в каком-то смысле его личность была слишком

тонким инструментом для политики. А может, политическое поприще было ему не по плечу. А может, он был слишком стар. А может, слишком глух, слишком устал или был слишком самонадеян, слишком высокомерен.

Высокомерие! Гамсун предпочитал смотреть вдаль, а не на реальную жизнь с собой рядом.

Идея Гитлера о великой Европе показалась ему блестящей мыслью, на худой конец — отвлеченным построением, но, так или иначе, пленительной утопией. К чему уже привела и еще могла привести реализация этой идеи, он не видел, как не видел полного отсутствия демократических инструментов управления при национал-социализме, как не видел и всего остального — от террора до насилия, расизма, газовых камер, потому что устремлял свой взгляд слишком высоко.

Этот гамсуновский синдром — вневременной. Другое проявление этого синдрома — поэтическая башня из слоновой кости: отказ от действительности, высокомерие и ленность, которая в поступке оборачивается самоизоляцией. Другим обликом высокомерия.

Оно тоже входит в синдром Гамсуна и принадлежит к числу более распространенных в наше время болезней. Но по сути, это другая сторона все той же проблемы.

Альтернатива тому — смотреть вдаль, но в то же время видеть, что делается вблизи. Это нелегко. Но кто сказал, что должно быть легко? И эта трудность, в конечном итоге, — единственное, что нам остается.

ПРОЛОГ (В ПЯТИ КАРТИНАХ)

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Кнут Гамсун сегодня красив.

Он побрился, он сидит в детской, перед ним разложенный пасьянс, он к нему не прикасается. Потом поднимает руку, снимает карту, перекладывает ее.

Лежащая карта.

Гамсун снимает ту же карту, опять кладет ее. Его голова скульптурна. Он так стар и так красив. Глаза у него мертвые, но сам он еще жив.

Опять тянется рукой к карте.

Как тяжела, однако, эта карта. Она опять ложится на стол.

Перед Гамсуном стоит Мария, она, как всегда, истерически кричит ему в самое ухо. В руке у нее газета. Это его некролог Гитлеру.

— Зачем ты это сделал?! Ты спятил! Ты... идиот!!! Зачем ты это сделал в тот самый день, когда они капитулировали?

Гамсун сегодня красив. На старческом лице подобие улыбки. Но глаза совершенно безжизненны. Мария в ярости и с презрением цитирует:

— «Гитлер — борец за человечество, провозвестник Евангелия о правах всех народов, реформатор высшего класса!» Все правда, но к чему, к чему! Тем более сегодня! «Мы, его ближайшие единомышленники, склоняем голову над его прахом».

Рука, протянувшаяся к карте, падает.

— Зачем? Уже слишком поздно!

Она рычит все это прямо ему в ухо. Он поднимает обе руки, потом роняет их. Он очень красив. Какой красивой бывает старость! Но глаза?

Мария уходит. В дверях стоит Эллинор. Она подходит к отцу, наклоняется к нему, говорит ему в ухо:

— Все кончено, папа. Германия капитулировала.

С ничего не выражающим лицом он говорит не обычным своим громовым голосом, а почти по-детски:

— Неужели?

КАРТИНА ВТОРАЯ

Это бесконечный день, последний день, а может, первый.

Последние часы разгрома. Осло.

Где-то далеко смятение, в центре спокойствие, последний акт развала дисциплины.

Немецкий офицер умоляет его. Искренен ли он?

— Умоляю вас, рейхскомиссар Тербовен...

Но нет. Вдрызг пьяный рейхскомиссар говорит начальнику караула:

— Полный разгром! Но меня им не взять! Заканчиваю операцию. Хайль Гитлер.

Рейхскомиссар Тербовен входит в бомбоубежище, бетонированный бункер площадью два метра на два, всегда казавшийся слишком тесным. В руке у него последняя бутылка хереса; почти уставным приветствием салютует он стоящему у дверей охраннику, по дороге зажигает сигарету, садится на ящик, который внес в бункер караульный, поставивший его посреди помещения; сидя на ящике, еще раз выбрасывает руку в гитлеровском приветствии, закуривает сигарету, подносит

зажженный кончик к бикфордову шнуру и задумчиво следит, как змеевидное пламя приближается к центру.

Взрыв.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Фейерверк скромнен, но встречают его шумным ликованием.

На улицах хаос.

На телеге Арилд Гамсун. Ему что-то кричат.

Каменное лицо, чуть заметная улыбка, какая-то неестественная.

— Это сын! Сын Гамсуна!

Его крепко держат. Шумное ликование. К Арилду пробивается стриженная женщина, она деловита, спрашивает:

— Ты в самом деле сын Гамсуна? Как он?

Ответа нет.

— Я так рада, — говорит она едва ли не с улыбкой, — что он был нацистом, как и я.

Рядом с Арилдом его собака. У нее добродушный вид.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

В тот же день в Нёрхолме.

Мария напряжена, она в отчаянии, она рвется в ящиках, бумаги из них вывалены. Кнут смотрит на нее из дверей.

— Письмо от Геббельса! — кричит она. — Ты должен его сжечь! Они не должны знать, что ты послал ему Нобелевскую медаль! Где у тебя благодарственное письмо?

Кнут все еще красив, теперь у него в глазах появилась жизнь. Он, пошатываясь, в смятении проходит по комнате, останавливается, смотрит на нее, спрашивает:

— Что ты ищешь?

— Письмо от Геббельса! — кричит она ему в ухо. — Когда ты послал ему Нобелевскую медаль! Где оно?

Он отвечает громовым голосом:

— Я никогда не был трусом. Что я сказал, то сказал. Вызови такси. Я еду в Осло. Хочу быть вместе с моими сыновьями.

Мария не верит своим ушам, она кричит:

— Тебя все знают в лицо! Тебя могут расстрелять!

Он выпрямляется, смотрит мимо нее.

— Меня пусть расстреляют. Но не мальчиков. Не мальчиков.

Белое, совершенно опустошенное лицо; пошатывается, садится.

— Я хочу, чтобы меня расстреляли.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Тот же самый бесконечный день. Кончится ли он когда-нибудь?

Сумерки, но за воротами движутся какие-то фигуры.

В руках у них книги, они бросают их через ограду.

«Плоды земли». «Голод». «Пан». «Местечко Сегельфосс».

Это обыкновенные норвежцы. И они любили эти книги. С внутренней стороны ограды — Мария.

Она в отчаянии подбирает книги. Кнут не должен их видеть. Никто не должен их видеть. Чтобы история не сказала, что ему бросали обратно его книги.

Она собирает книги в передник.

Поздний час, очень жарко, чудесный вечер. За оградой движутся тени.

На пороге дома показывается Кнут, он медленно спускается по ступенькам.

Мария идет ему навстречу с полной охапкой книг. Она останавливается, глядит на него, они молча смотрят друг на друга. Потом он спрашивает:

— Они возвращают мои книги?

Она не отвечает, проходит мимо него в дом. Гамсун за-тих.

Потом идет к воротам. Девочка с «Паном» в руках. Смотрит на надпись.

— Это ты Кнут Гамсун?

Он ее не слышит, он глухой.

— Это ты предал родину?

Он осторожно подносит руку к лицу девочки, треплет ее по щеке.

— Мама сказала, чтобы я бросила тебе обратно твою книгу.

Она дает ему книгу и неловко спрашивает:

— Зачем ты это сделал?

Он продолжает улыбаться, да и почему бы ему не улыбаться: у нее красивое личико, светлые глаза, голос мягкий — губы шевелятся так дружелюбно, хоть он и не слышит ее слов.

А она повторяет:

— Зачем?

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТИТРЫ

КОРОЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ

Пока бегут вступительные титры, женский голос читает последние страницы «Плодов земли»:

«Человека зовут Исаак. Он идет по полю и сеет, он как скала... Он одно целое с землей и небом, одно целое с шириью и незыблемостью бытия... Человек и природа не палят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное, не соперничают, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом. И посреди всего этого — вы, обитатели Селланро. Горы, лес, болота, луга, небо и звезды — и все это не в малости и обмеренности, все это в беспредельности. Послушай меня, Сиверт: будь доволен! У вас есть все, ради чего стоит жить, все, во что верить; вы рождаетесь и производите себе подобных, вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы возделываете землю, а когда умираете, ваше место заступают другие. Вот это и есть то самое, что называется вечной жизнью. Что вам дано взамен? Жизнь по справедливости и возможностям, жизнь в доверчивом и правильном ко всему отношении».

Читает женщина. Ее зовут Мария.

Она стоит на эстраде в битком набитом клубе в Сегельфоссе. В этот вечер у нее выступление. Она выступает с художественным чтением.

Слушатели — все норвежцы.

Буря аплодисментов. Мария натянуто улыбается.

Последние строки «Плодов земли» и в самом деле великолепны.

Маленький председатель взволнован происходящим. Он благодарит Марию, преподносит ей цветы и говорит почти со слезами:

— Когда в тысяча девятьсот двадцатом году Гамсун получил Нобелевскую премию, это подтвердило — да, подтвердило! — то, что мы все и так знали. Что он величайший из ныне живущих норвежцев, что он воплощение всего норвежского. Что он... он и е с т ь сама Норвегия. Сегодня вечером мы снова пережили магию слов этого великого норвежца. И мы благодарны фру Марии Гамсун. Мы благодарим ее. Спасибо!

Она деревянно кивает.

— Можем ли мы осмелиться... просить... передать привет вашему мужу — нёрхолмскому королю писателей? Можем ли мы попросить об этом?

Мария смотрит на него, говорит натянуто:
— Я передам привет.
— От всех нас! От всего мира!
И она говорит со странной безрадостной улыбкой:
— Хорошо. Я передам что-нибудь королю писателей.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

1. ПОСЛЕДНЕЕ ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

24 июля 1936 года. Нёрхолм. Норвегия.

Да, это в самом деле Норвегия. Ошеломляющий пейзаж, совершенно ошеломляющий пейзаж.

Но именно в этом прекрасном ночном свете так чудовищно смотрится ненависть. Двое, которых зовут Кнут и Мария, прошли лесом, теперь перед ними открылась долина, склон живописен. Норвегия и в самом деле прекрасна.

Ночная дымка. Желтоватый свет.

Нет, они не шли сюда, они почти бежали. Мария в отчаянии бежала, а он следовал за ней.

Они выглядят очень странно: вначале они кричат друг другу, словно перекликаясь издали. Потом все ближе друг к другу. Наконец совсем близко.

Слышит ли он? Возможно. Она страшно возбуждена.

— Ты меня обезличил! Обезличивал тридцать лет! Принижал, принижал и... Не прикидывайся, будто не слышишь! Ты все слышишь, когда хочешь!

— Завтра я уеду в пансион. Избавлю тебя от своего присутствия.

— Господи, какая гора с плеч... Господи! у меня гора с плеч свалилась... Но зачем тебе понадобилось отнять у меня... тридцать лет жизни... Лучше бы ты утопился тридцать лет назад, чем лишать меня жизни... театра... и...

— И твоего любовника? И впрямь, жаль этого актеришку, с которым ты путалась шесть лет, до того как я... Который умер от заворота кишок! Заворот кишок! Заворот кишок! Курам на смех!

— О, милый Кнут. Миленький Кнут. Тогда ты ревновал! И ты лгал мне, лгал, никогда я тебе не нравилась, ты разочаровался, разочаровался!

— Неправда.

—...должна была хранить тебе верность, рожать детей и создавать идеальную семью, быть этакой работницей с се-

тера, а ты... Ты пытался меня переделать. Отнять у меня театр! Ты украл у меня театр! И презирал меня! О, это презрение. А сам блудишь с актрисами, пока я сижу здесь и кормлю твоих детей! Детей, которых ты отсылаешь из дома! Ты не видел ничего дурного в том, чтобы сплавить их! В интернет!

— Я не блудил!

— Принижал меня. Принижал. Вот какой ничтожной я стала! О-о-о! Как меня обманули! Детей приходилось отсылать из дома, чтобы они не мешали великому духу творить. Детей ты тоже искалечил. Эллинор пьет и морит себя голодом. А мальчики... Что ты с нами сотворил!

Она перешла почти на шепот.

— Господи, Кнут. Как одинока я была.

— Что ты там бормочешь, ты ведь знаешь, я ничего не слышу.

— Ты все слышишь, когда хочешь. И твои высокие идеалы! Я их больше не уважаю.

— Остановись, Мария.

— Не уважаю! Не уважаю! И твои «высокие принципы». Высокие принципы! Мне не пришлось стать даже последней в твоей жизни актрисой!

— Не кричи!

— И это еще не самое худшее. Ты принизил меня! Заворот кишок! Как же, когда ты в пансионе сидел, ты писал мне оттуда любовные письма. Издали. Тогда все тебе было по вкусу. Насмехаться только оттого, что умер от заворота кишок! Он, по крайней мере, меня не принижал, не превращал в ничтожество!

— Тридцать лет прошло, а ты все вспоминаешь.

— Мне плохо. Господи, как меня надули! А теперь я узнаю об актрисах, которых ты завел... ты, который так презирал театр. А все потому, что ты не способен писать для театра! Не способен! Не способен! Тридцать лет меня обманывали! Обманывали! И пьесу, которую ты мне обещал, ты не написал...

— Обещал? Уж не потому ли...

— Обещал! Обещал мне главную роль! А потом сделал мне ребенка, и кончились разговоры о ролях... зато пошла болтовня о высоких принципах. Ты втоптал в грязь свои идеалы. Ты все втоптываешь в грязь, и прежде всего свою семью! Ты проститутка!

— Боже мой, мне семьдесят шесть лет.

— Ничего, Кнут, ты можешь! Они там, в Осло, гроздьями висели на нобелевском лауреате, а я сидела здесь и должна была изображать Богоматерь. Земля и семья! Нельзя

жить в развращенном городе! А ты сидел там — в гостинице! И писал о... земле. Святые руки, перепачканные в земле.

И вдруг с ледяной простотой:

— Ты предатель!

— Как твой отец? Или как тот театральный жучок, с которым ты путалась шесть лет и...

— Да, Кнут. Как ты.

Молчание.

Она поворачивается и идет к усадьбе.

2. СТАРЫЙ. МОЛОДАЯ

Верхние ступеньки лестницы в Нёрхолме. Часом позже. Мария достала старые письма.

Она читает, сначала про себя, потом шепотом.

Письма удивительные. Она видит, что к дому идет Гамсун; продолжает читать тем же страдальческим шепотом. «Нынче ночью я проснулся и подошел к окну, зацвела черемуха, и ты была в каждой частице каждого цветка, и я открыл окно, и...»

Он видит, что она читает, но слов не слышит.

Она садится на ступеньки. Волосы у нее растрепаны. Она затихла. Он подсаживается к ней.

Станный у них вид.

— Не надо читать, Мария.

Она перестала читать. Губы больше не шевелятся.

— Я старик, Мария. Я чувствую себя стариком с тех пор, как встретился с тобой. Теперь я скоро умру. И ты снова будешь свободна.

— Мне пятьдесят три года, Кнут. Это ты меня состарил. Ты раздавил меня, а я все время старалась тебе угодить. Но я тебя не устраивала. Я устраивала тебя только тогда, когда ты уезжал из дома и писал мне любовные письма. Тогда я тебя устраивала. А когда ты возвращался и видел меня, я тебя уже не устраивала.

— Хочешь, разведемся?

— Развестись с Кнутом Гамсуном? Короли не разводятся. Королевам приходится с ними жить. Такая уж у них роль.

— Стало быть, ты все-таки получила роль, дружок.

Пауза, она смотрит на него, говорит почти беззвучно:

— Скажи, тебе когда-нибудь нравились мои детские книги? Нравились тебе книги, которые я писала?

Слышал ли он вопрос?

— Главное, Мария, я скоро умру.

— Стоят они чего-нибудь, по-твоему? — кричит она. — Мои детские книги...
— Все это было... так давно.
Она смотрит на него с ненавистью.
— Ты думаешь только о смерти. А я хочу жить.
— Ну и хорошо.
— Теперь.
— Хорошо.
— Я сохранила идеалы, которые ты мне внушил, милый Кнут.
— Хорошо.
— Я сохранила их. Хотя ты предатель. Хотя ты изувечил меня.
— Боже мой, Мария, — говорит он. — Мы оба изувечили друг друга.
И после паузы:
— Иногда я тебя боюсь.
Она смотрит на него.
— Боишься?
— Боюсь, — говорит он. — Странно. Жизнь кончена, а я боюсь того, что будет.
— Вот как, — говорит она. — Вот как. Ты боишься. Наконец-то ты боишься.
— И все же я теперь умру.
— Что ж, умирай. Но я умирать не собираюсь. Во всяком случае, пока. Пока еще не собираюсь.

3. БЕГСТВО

Кнут оглядывает комнату. Это пансион «Бундехейм» в Осло.

Двадцать два квадратных метра, в углу ведро, чтобы справлять нужду. Гамсун ставит на пол чемодан.

Хозяйка пансиона суетится.

— Для нас такая честь... Ваша супруга вчера позвонила и сказала, что господин Гамсун поживет здесь... некоторое время...

— ...этого хочу я!

— ...ваша супруга так беспокоилась, что позвонила в час ночи... поэтому...

Он явно слышит, что она говорит.

— Вы опять о моей жене!

— Ваша супруга не знала, как долго господин Гамсун захочет здесь пожить, но она...

— Хватит уже о моей жене!

Хозяйка испуганно умолкает.

— Теперь уходите, — говорит он.

Безобразная комната. Гамсун выглядит совсем стариком. Медленно идет к ведру в углу, начинает расстегивать ширинку. Перепуганная хозяйка исчезает.

4. ДЕТИ

В кои-то веки вся семья в сборе.

Конечно, Мария. И Туре, и Арилд, и Сесилия, и Эллинор.

Нет только Кнута.

— Так что же, все кончено? — беззвучно спрашивает Эллинор. — Странно. Под самый конец жизни. Вы подумали об этом?

Ответа нет.

— Я понимаю, мама, ты его ненавидишь. Но проблема в том, что... да...

— В чем же? — спрашивает Мария.

— Папа такой сильный, — говорит Эллинор. — Чудовищно, невыносимо сильный. И поскольку он скоро умрет...

— А если он не умрет? — быстро возражает Арилд. — Ведь если он не захочет, он никогда не умрет. Но для мамы проблема в том...

— В чем же моя проблема? — спрашивает Мария.

— В том, что, пережив то, что пережили вы, люди не могут развестись.

В глазах Марии отчаяние.

5. СПАСИТЕЛЬ

Зал собраний в Эйде почти пуст. У Квислинга усталый вид, он оглядывает одиннадцать своих приверженцев; он заканчивает свое выступление:

— Адольф Гитлер указывает дорогу к великой Европе, в которой Норвегия займет почетное место за общим столом. И норвежские женщины тоже по праву займут в ней свое выдающееся место. Они — носительницы идеала, они воспитывают детей, они служат образцом для мужчин, они охраняют мораль и нравы, они ядро семьи; в борьбе против упадка и разложения они избрали участь — стоять в центре семьи и, здоровые, сильные, устремив к солнцу свои чистые лица, взяли на себя главную роль в построении будущего,

над которым в настоящее время совместно с Гитлером трудится Национальное собрание.

Вялые аплодисменты. Квислинг пьет воду, тяжело спускается с эстрады, садится. На некотором расстоянии двое членов хирта; один из них закуривает сигарету и в утешение отхлебывает из бутылки.

Зал опустел, в нем осталась только одна женщина — Мария.

Она подходит к Квислингу.

— Я счастлива, — говорит она, — что услышала одного из немногих людей, кто еще отстаивает идеалы.

— Спасибо, — благодарит он.

— Я не знала, что национал-социализм отводит женщине такую большую роль, — продолжает она после минутного колебания.

— Большую роль, — механически повторяет он. — Большую. Шестьдесят процентов немецких женщин поддерживают фюрера. Шестьдесят... а может, и больше.

— Так много.

— Может, и больше.

— Так много, — повторяет она.

Квислинг устало смотрит на дверь. У него нет сил поддерживать разговор.

— А как ваше имя?

— Гамсун, — говорит она. — Мария Гамсун.

Он останавливается, озадаченно смотрит на нее.

— Вы в родстве... с нобелевским лауреатом?

— Я его жена, — говорит она.

Он ошеломленно смотрит на нее, слабая улыбка.

— Очень приятно, — произносит он после паузы. — Быть может... мы могли бы с вами поговорить?..

— Поговорить со мной? — говорит она. — Почему?

— М-да-а... очень приятно с вами познакомиться.

— Правда?

— Да. Очень интересно.

6. СЕСИЛИЯ

Сесилия в дорожном костюме.

Мария вручает ей семейную фотографию. Прощальный подарок.

— Чтобы ты нас не забывала.

— Маленький Туре, — говорит Сесилия, — маленький Арилд, маленькая Эллинор, маленькая Сесилия, маленькая

Мария и великий Кнут. Воистину великолепное семейство. Как хорошо оказаться подальше от вас.

Вешает фотографию на стену.

— Пожалуй, я не возьму ее с собой, мама. Она должна оставаться в Нёрхолме.

Мария молча стоит у кухонного стола. Плачет, прикрыв лицо рукой.

— То, что папа сидит в пансионе, — абсурдно. Сделай так, чтобы он вернулся домой. Стыдно ведь.

И наконец:

— До свидания, мама.

7. ОТСТУПЛЕНИЕ

Мария со знанием дела оглядывает комнату в пансионе. Замечает стоящее в углу ведро. Дорожного костюма она не сняла.

— Значит... договорились? Ты утром возвращаешься домой. И мы никому ни слова. Тогда такси приедет за тобой завтра утром.

— Ладно.

— Ты что-нибудь написал за этот год?

— Я больше ничего писать не буду.

— Вот и хорошо. Тебе надо было бросить раньше. Грустно, когда человек не сознает, что уже все кончено.

— Эллинор вернулась из Берлина?

— Нет. И раз ты теперь будешь жить дома, ей незачем знать, что произошло. И другим детям тоже незачем знать. Мы скажем, что ты работал. Над романом. Они привыкли ничего не знать. Я буду стараться соблюдать видимость.

— Хорошо.

Она открывает дверь. Собирается уйти. В дверях говорит:

— Хуже всего то, что я тебя больше не уважаю.

Он не отвечает. На столе разложен пасьянс. Он до него не дотрагивается.

8. УВАЖЕНИЕ

Квислинг сидит против Марии за столиком в ресторане «Гранд», задумчиво изучает фотографию.

На снимке Гамсун с семьей. На заднем плане Мария. Дети в нарядных платьях. Кнут — единственный, кто привык фотографироваться, вид у него непринужденный и даже не-

терпеливый: скорей бы окончилась процедура. У остальных вид торжественный.

У Марии строгий.

— Спасибо. Еще раз спасибо. Я сохраню ее как дорогой... подарок.

— Семейная фотография, — говорит она.

— Похоже на живопись. Семейный портрет начала двадцатого века. Семья с женщиной в центре. Общество зиждется на семье, а семья зиждется на женщине. От этого теплеет на сердце... это радует.

— Кнут хотел, чтобы было именно так.

— Вот как?

— Я принесла в жертву семье свою жизнь. Неужели это зря, господин Квислинг? Тогда вся моя жизнь теряет смысл.

— Если это жертва, фру Гамсун, она полна глубокого смысла. Пожертвовать жизнью во имя...

— Во имя?

— ...какого-то дела.

— Какого-то?

— Конкретного Дела.

Она выжидает, а потом говорит так, словно хочет вызвать его на откровенность, от которой он уклоняется:

— ...когда я вас услышала... я поняла, что есть еще люди с идеалами. Люди, которые их не предали.

— Спасибо. Спасибо, фру Гамсун.

— И что все жертвы принесены не зря.

Он задумчиво смотрит на нее. Как странно она говорит.

— Спасибо. Я надеюсь, что вы сможете питать ко мне... хотя бы частицу того уважения, какое все мы питаем к вашему великому мужу.

Странная улыбка.

— Гораздо больше, господин Квислинг.

— Фру Мария, — говорит он после паузы. — Вы станете образцом для всех норвежских жен.

— Я всего лишь жена Кнута, — быстро говорит она.

— Образцом. Для всех. Это величайшая из всех ролей.

9. ГОРЖУСЬ

Кнут читает газету. Произносит почти про себя:

— Плохи дела у Квислинга. Жаль. Это мой человек. По всей Норвегии он собрал всего двадцать шесть тысяч голосов.

— Твоего среди них нет, — замечает Мария. — Ты не снисходишь до голосования.

— В жизни не стал бы голосовать. Я никогда не верил... в эти штуки. В эту демократию.

И почти с улыбкой:

— Здесь, в Эйде, он вообще получил один-единственный голос.

— Да, — говорит Мария. — Мой голос. И я этим горжусь. Он озадаченно смотрит на нее. Она повторяет:

— Я этим горжусь.

10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Нёрхолм.

Делегация немецкого министра культуры завершает свой визит. Прилетела едва ли не половина министерства. Гости привезли с собой фотографа. Прежде чем вручить подарок, немецкий министр заканчивает речь.

— ...величайший из ныне живущих писателей. И большой друг Германии.

Гамсун, усталый и раздраженный, принимает подарок. Однако он вежлив. На заднем плане издатель Харалд Григ. Когда смолкают аплодисменты, Гамсун оборачивается, ища взглядом Марию. Где Мария, где, черт возьми, Мария?

— Мария. Где, черт возьми... Вот она! Поблагодари! Скажи им, что я благодарен.

Мария улыбается тихой, немного загадочной улыбкой. Проскальзывает вперед. Словно к рампе. Делает паузу. Потом говорит по-немецки:

— Кнут Гамсун благодарит немецких издателей за их Большую премию. Его любовь к немецкому народу, к немецкой культуре, к достижениям национал-социализма всегда была столь же велика, сколь велика его ненависть к английским империалистам. Он шлет привет и благодарность немецкому народу.

Аплодисменты. Кнут. Обращается к ней громовым голосом:

— Что ты сказала? Ты должна была сказать «спасибо»! Почему так длинно?!

Мария ему на ухо:

— Я сказала, что ты любишь Германию и ненавидишь Англию. Разве это не так?

Гамсун в ярости, он в ловушке.

— Разве это не правда?

— Правда, черт возьми. Но не так длинно!

Он поворачивается и уходит.

По пути в столовую Харалд Григ догоняет Марию.

— Фру Гамсун! — говорит он. — Вам следовало бы быть... осторожнее.

Она окидывает его ледяным взглядом.

— Осторожнее?

— Возможно... будет война. Его могут... использовать.

Он нуждается в лучших... советчиках.

— Господин Григ, — отвечает она. — Вы его издатель.

И должны знать, что он не слушает ничьих советов.

— А ваших?

— Моих тем более.

— Но вы — его... уши. И, судя по тому, что я сегодня услышал, — его голос.

Теперь ее враждебность совершенно осознанна.

— Разве вам мало того, что вы наживаетесь на нас?

Он смотрит на нее.

— «На нас»?

Она идет в комнаты, где ждут почитатели.

11. ЭЛЛИНОР

Нёрхолм. Поздний вечер.

Эллинор хороша собой, но ей плохо.

Она страшно исхудала, щеки впали, кисти рук — кожа да кости. Но она не больна, она просто отказывается есть.

Перед ней Гамсун с целой горой бутербродов, он сам их приготовил.

— Ты должна поесть, Эллинор! Хлеб с салом! Почему ты моришь себя голодом, поешь, возьми, вот бутерброд... я приказываю...

Она отталкивает его. Бутерброды падают на пол.

— Приказываешь! Ничего ты приказать не можешь. Вот созвать всех своих поддипал, дорогой папочка, ты можешь, они пусть и едят из рук великого нобелевского лауреата, а я, папочка, из твоих рук есть не буду.

— Но я всегда любил тебя, моя...

— Тебе не надо было иметь детей. От нашего писка из твоей великой головы испаряются все великие мысли. И ты спроваживаешь нас. Какой ты, к черту, отец! Спровоживаешь нас. С глаз долой. Долой! Долой! Ты не переносил нашего присутствия... Мы путались под ногами! И конечно, мы должны были получить чертовски изысканное воспитание... в интернате во Франции! Долой! Я буду есть что хочу!

Он пытается собрать разбросанные бутерброды.

— Эллинор... моя любимая девочка... я ведь просто хотел...

— Мы всегда только мешали! Кроме тех случаев, когда надо было сфотографироваться с великим!

Бутерброды все в пыли.

— Я всегда тебя любил... всегда... по-моему... нет...

Что ему делать? Он смотрит на испачканные бутерброды.

— Ты умрешь, если будешь продолжать голодовку.

Эллинор подходит совсем близко к отцу, опускает голову ему на плечо. Она притихла.

— Папа. Бутерброды испачкались. Я тебя люблю. Но есть их не буду.

Он видит это. Пыль на бутербродах.

12. ВЫСТАВКА

Перед Нёрхолмом такси.

Мария раздраженно упаковывает чемодан, на мгновение останавливается перед Эллинор, которая пытается ее обнять.

— Ты пьяна, Эллинор, — беззвучно говорит Мария.

— Будь осторожна, — внушительно говорит Кнут. — Англичане минировали Вест-фьорд. Со дня на день они могут нас оккупировать.

Эллинор смотрит на него:

— Маленькая мировая война, пожалуй, приятнее того, что творится тут у вас в Нёрхолме. Между тобой и мамой.

Такси, чисто вымытое, словно перед торжественным выездом. Кнут мгновение стоит в задумчивости. Потом поворачивается и идет к усадьбе.

На лице Эллинор что-то вроде улыбки. Медленно, пошатываясь, она идет за отцом.

Мария провожает их гневным взглядом, но молчит.

— У нас четверо детей, — говорит она потом вслед Кнуту. — У Туре в Осло вернисаж, и, даже если вам на это наплевать...

Никакого ответа.

— Ты слышишь только то, что тебе хочется слышать!

Обращается то ли к себе самой, то ли к шоферу, то ли к всепрощающему Богу:

— Тогда я поеду одна. Потом пароходом до Осло. У Туре выставка. Есть и другие дети, о которых мы должны заботиться.

Ответа нет.

— И не откладывая.

Шофер стоит с фуражкой в руке. Что тут происходит у этих Гамсунов? Он ждет.

8 апреля, середина дня.

13. «БЛЮХЕР»

У входа в Осло-фьорд густая ночная мгла, огромный корабль плывет навстречу восходу.

Это эскадра. Тяжелые черные звери готовятся к нападению. Боевой корабль «Блюхер», водоизмещением в двенадцать тысяч тонн, на борту которого две тысячи четыреста солдат, маленький «Лютцов», а за ними целый косяк эскадренных миноносцев и фрегатов.

Какие они громадные! А кругом такая тишина!

14. СТИХИ. 1

Эллинор лежит на диване, уткнувшись головой в колени отца.

Она плакала. Он читает ей стихотворение.

Он сделал для нее бутерброд. В его руке ломтик хлеба с салом.

Стихотворение он читает наизусть. Не удивительно — он сам его сочинил.

Загубели ладони твои, ну так что ж,
на своем ты веку потрудились немало.
Сколько весен подряд высевала ты рожь,
сколько сжала, связала снопов — не сочтешь,
а картошки одной сколько ты накопила.

Осторожное движение.

На Эллинор по-прежнему дорожный костюм, но шляпу она сняла, лицо у нее худое, бледное; читая стихи, отец пытается ее покормить.

Он осторожно касается бутербродом ее губ.

Она прикасается к бутерброду кончиком языка.

Она уже не плачет.

15. АТАКА. 1

Предрассветный сумрак, великаны корабли в Осло-фьорде скользят смутными черными чудовищами.

Но дежурный офицер Август Бонсак видит их в свой бинокль 9 апреля в 04.05 утра; да, он видит их — он долго вгля-

дывался в устье фьорда и теперь наконец вынужден поверить своим глазам.

Он один с двумя солдатами, они бегут к пушке под названием «Моисей» и вкладывают в нее заряд весом в триста сорок пять килограммов.

Пушечный ствол поворачивается.

Громадные атакующие звери все явственнее просматриваются в рассветном сумраке.

И наперерез этой армаде движется славный каботажный пассажирский пароходик. Он беззаботно пересекает путь армады.

Он такой маленький. А громадные черные хищники такие мощные. Что тут делает этот кораблик?

16. СТИХИ. 2

Кажется, она немного поела?

Нет, Эллинор не ела. Но кончиком языка она облизывает бутерброд, который отец осторожно держит у ее губ.

Ты не просто кормилица, век ты украсила свой,
ставши матерью, мирно склонившись над зыбкой.
Ты усердно трудилась всю жизнь над своею судьбой,
благословенна среди женщин...

Теперь Эллинор ест. Осторожно, очень-очень осторожно прикасается язык к поверхности бутерброда.

Рука Гамсуна на затылке дочери.

17. ОТДЫХ

Мария сидит в первом классе парохода «Кристиансанн» — она плывет в Осло.

Она спит. Ей снятся лошади.

Она не видит гигантских черных кораблей, которые прорывают горизонт в двух шагах от нее.

18. АТАКА. 2

Их масса растет.

Крейсер идет первым. Он в овале прицела.

Какая огромная черная масса, как быстро она растет!

19. СТИХИ. 3

Последние строки.

...Господь да пребудет с тобой!
Я люблюсь твоей закрубелой ладонью, твоей сединой
и улыбкой люблюсь, твоей негасимой улыбкой!

Эллинор. Она улыбается отцу.

— Это о бабушке? Ну конечно, о бабушке. У тебя такие же руки, как у нее. Ты очень любил ее, правда?

— Да.

— Да?

Он улыбается, говорит:

— Ты должна поест. Ты должна жить. А я скоро умру.

— Ты хочешь умереть?

— Да. Все уже сделано, черта подведена. Больше ничего не осталось.

— Ты доволен?

— Да. Почти доволен.

20. ВЗРЫВ

И вот — взрыв.

Снаряд попадает в среднюю часть боевого корабля, вспыхивают бензобаки, за ними склад боеприпасов, и вот уже корабль пылает как факел, эскадра столкнулась с Норвегией, которая таким образом вступила в войну.

Так это началось: жуткая оргия крови, нефти, огня. И неслыханно прекрасный Осло-фьорд в утреннем свете.

9 апреля.

21. ВСТРЕЧА

Посреди этого ада — парходик «Кристиансанн» из Арендала.

На Марии шубка из ондатры. Пассажиров высаживают на полуострове Несодден, здесь же раненые и другие спасшиеся вплавь с «Блюхера».

Фьорд — грохочущий ад. Мария пробирается по апрельскому снегу. Вдруг ей навстречу два немецких солдата, один весь в крови, другой, похоже, лишился от шока дара речи.

Мария собранна, но она в ярости и ничего не может понять.

— Что случилось?

— Оккупация...

— О-о! — произносит она.

Она призывает на помощь все свое знание немецкого языка:

— Я боялась... нас оккупируют англичане!

— Оккупация, — повторяет солдат с гортанным выговором. — А вы...

— Вы хотите нас спасти...

— Оккупация, — почти по-детски объясняет раненый. — Мы... А вы — немка?

Она молча смотрит на него.

— Нет. Но я думала... что нас оккупируют... не вы...

22. СОН

Эллинор наконец уснула.

Она почти доела бутерброд и уснула на коленях у отца.

Кнут сидит совсем тихо, чтобы не разбудить ее. Он смотрит в пространство, ни о чем не думая.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

1. ОСЛО

Осло — город, на который совершено нападение.

Грузят норвежский золотой запас, двадцать шесть набитых доверху грузовиков. Тем временем в море нефти идет ко дну горящий «Блюхер», над Осло режут самолеты, а на аэродроме Форнебю в строгом порядке приземляются один за другим немецкие самолеты и систематически высаживают на землю немецких солдат, которые вскоре займут город.

Документальные кадры — вступление немцев в город. Они маршируют по улице Карла-Юхана. Молчащие зрители.

Специальный поезд — в нем король и правительство. Король спрыгивает на снег в Эльверуме.

Что это — решение сопротивляться?

2. ВЕРНИСАЖ

Мария по-прежнему вся в грязи, шубка в глине, но она не обращает на это внимания. Она села на пол в помещении, где должна была состояться выставка полотен Туре. Обхватила руками колени.

Туре снимает со стен картины. Составляет их в угол. Он работает медленно, но очень четко. Вернисаж кончился, не успев начаться.

В помещении их только двое.

— Все равно рецензии были бы плохие, — сухо замечает Туре.

Ответа нет.

— Как по-твоему, что он намерен делать? — спрашивает Туре после паузы.

Ответа нет.

— Пожалуй, мне следовало спросить, что намерена делать ты.

3. СОВЕТ. 1

Король в совете, в помещении народной школы Эльверума. Восемь человек, один из них плачет. Король читает вслух заявление о том, что страна вступает в борьбу.

Разрывы бомб на снегу.

4. СОВЕТ. 2

Номер в гостинице «Континенталь». Квислинг простужен, у него температура, но он готов.

9 апреля, 19 часов 32 минуты.

Квислинг зачитывает сообщение о том, что он возглавил правительство из восьми министров.

5. ДРУГ

Радиоприемник, — король, наклонившись к нему, слушает выступление Квислинга.

— Скотина! — говорит король. — Он был одним из лучших моих друзей. И к тому же человек одаренный. Когда они с Нансеном вернулись из России, я подумал: вот они, новые великие норвежцы. Скотина!

— Теперь, пожалуй, остался только один великий норвежец, — говорит министр.

— То есть?

— Гамсун. Будь он на сорок лет моложе, на таких, как он, можно было бы строить сопротивление.

— Он уже дряхл. И к тому же ненавидит Англию.

— Сопротивление... Есть ли у нас хоть какой-нибудь шанс? — спрашивает один из бывших, теперь, вероятно, отставленных министров.

— Нет, — говорит король. — Но мы спасем душу Норвегии.

6. ПОГРУЗКА

Рыночная площадь в маленьком поселке Гримстад.

На площади большой грузовик, кузов медленно заполняют норвежские добровольцы. Это молодые ребята. У каждого ружье, они очень бледны.

Кнут и Мария стоят в маленькой группе зрителей. Никаких криков «ура!».

— Куда они? — кричит Кнут, как всегда слишком громко, и в смятении, в ярости стучит палкой о землю.

— В Сетесдален. Немцы высадились в Кристиансанне.

Кузов заполнен.

— Куда ты собрался со своим ружьем? — кричит Кнут последнему из тех, кто взбирается в кузов.

Юноша оборачивается, с удивлением смотрит на старика, потом улыбается, говорит:

— Так ты же Гамсун! Я читал тебя! Мы защитим от проклятых немцев твои книги! И тебя!

— Меня?

— Душу Норвегии! Так сказал король! Так, значит, это ты!..

Грузовик отъезжает. Кнут поворачивается и идет, один, по-прежнему стуча палкой. Мария спешит за ним, но не решается его нагнать.

Он похож на персонаж Чаплина. Идет вдоль пыльного большака и стучит и стучит палкой.

Он что-то бормочет. Бормочет все громче.

Под конец слышны слова.

«Норвежцы». «Норвежцы!» «Норвежцы!»

7. БРОСЬТЕ ОРУЖИЕ

Все время слышен голос Кнута.

Сначала он слышен, когда Кнут пишет от руки крупными буквами. Пасьянсные карты он смел в сторону.

Мария молча сидит на стуле в другом конце комнаты.

Потом статья в газете. Заголовок.

Потом последние бои, кадры Нарвика, захваченные норвежские бойцы Соппротивления, они складывают в кучу оружие.

Положение стабилизируется.

«НОРВЕЖЦЫ!

Когда англичане грубо вторглись в Йёссинг-фьорд и посягнули на нашу независимость, вы ничего не сделали. Когда потом англичане заложили мины вдоль нашего берега,

чтобы перенести войну на норвежскую землю, вы тоже ничего не сделали.

Но когда немцы заняли Норвегию, помешав войне прийти на нашу землю, тогда вы кое-что сделали: вы присоединились к нашему беглому королю и его приватному правительству и объявили мобилизацию.

Вы совершаете бессмысленный поступок, стоя каждый со своим ружьем и исходя бессильной злобой против немцев. Не сегодня, так завтра вас все равно убьют.

Англия не может вам помочь, разве только какими-нибудь маленькими отрядами, что бродят по окрестностям и выпрашивают еду.

НОРВЕЖЦЫ! Бросьте оружие и идите по домам. Немцы борются за нас всех и намерены уничтожить тиранию, которую Англия навязывает нам и всем нейтральным странам».

8. ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Осло. Издательство «Гюлдендал». Немцы его еще не захватили.

Стол. На столе на видном месте скандальная статья Гамсуна. Харалд Григ; он небрит; видно, что давно не спал.

Григ слышал, как читали статью Гамсуна. Теперь он молча слушает издательского редактора, который читал статью вслух.

— При нормальных обстоятельствах меня бы стошнило. Но... Так или иначе, все ясно как день. Гамсун призывает норвежских солдат сложить оружие и стать дезертирами борьбы за законное правительство страны против незаконно вторгнувшихся в нее сил.

— Ответа нет.

— Тут не может быть никаких оправданий. Такой поступок всюду и во все времена влек за собой по закону самую суровую кару.

— Ответа нет.

— Кнут Гамсун — предатель родины.

Харалд Григ опускает голову на руки; по правде говоря, он плачет.

— Подумать только, в распоряжении нацистов оказалась эта волшебная флейта. С таким чарующим голосом. Настолько чарующим, что...

— ...что?

— ...что выбросить ее мы не можем.

Друг Грига смотрит на него без улыбки.

— Почему же. Придется.

9. СОБАКА

Гамсун идет по поселку, с ним рядом сын, Арилд. Рядом с Арилдом собака. Охрану несут немецкие солдаты. Гражданское население ведет себя спокойно.

Но все видят Гамсуна. И все его сторонятся. Вдруг кто-то кричит:

— Немецкий прихвостень! Предатель!

— Идем домой, папа, — говорит Арилд.

— Нет!

10. ПРИЕМ

Сияет солнце, нёрхолмский сад прекрасен как никогда, на лестнице сидят высшие офицерские чины, солдаты прогуливаются по саду и беседуют.

Очень приятная атмосфера для беседы.

Мария красива как никогда, ей пятьдесят восемь, но больше тридцати ей не дашь. Она в норвежском национальном костюме. В руке у нее стакан вина.

Она тоже участвует в беседе.

— Мои выступления организует Нордише гезельшафт в Любеке и... Лозе...

— Хинрих Лозе? Значит, это Хинрих... латыш?

— ...Вот именно, я должна объехать... сорок два города... по большей части в театральных залах... главным образом, наверно, для женщин, но перед войсками я тоже буду говорить...

— ...Читать?

— Читать, — быстро подтверждает она. — Или, вернее сказать, выступать... Фюрер считает, что важно оказать моральную поддержку... «тем немецким женщинам, чье высокое самопожертвование превратило каждую немецкую мать и жену в героиню»... Ах, Боже мой, я, наверно, кажусь эгоцентричной, цитируя саму себя... Ну да... да, я писала в... И я буду читать отрывки из «Плодов земли» и...

— ...и приветствие? Приветствие от Кнута Гамсуна!

— ...Само собой, я собираюсь заканчивать каждый вечер...

— ...пожеланием победы Германии над...

— Именно. Именно.

— А сам он читать не хочет?

Громкий, звонкий смех.

— Кнут не знает немецкого! Представляете? Самый горячий поклонник немцев из всех нобелевских лауреатов и гениев по-немецки не говорит!

— Но если бы он захотел хотя бы... показаться...

Мария очень четко:

— Он слишком устал. Он предоставляет мне быть его голосом.

Фыркает.

— А скоро он оглохнет настолько, что и слышать будет только через меня!

Как ни странно, они не смеются. Может, она слишком непочтительна?

— Это тяжелое бремя, — торопливо добавляет она. — Но я его несу.

Победное настроение, вино, Норвегия прекрасна как никогда. Это удивительная весна 1940 года, Мария начала играть свою роль.

11. ПТИЦА

Если посмотреть из окна вниз, можно увидеть, как проходит прием, но он не хочет смотреть из окна на то, как проходит прием.

В комнате Эллинор. У нее в руке стакан виски.

— Почему ты так страшно ненавидишь Англию, папа?

— Когда я встречаю на улице англичанина, мне хочется перейти на другую сторону. И Америка не лучше. Они крикливы, норовят всех подмять под себя. И книг не читают. Все вульгарное... все, что... Я верил, что Норвегия займет свое место в новой Европе и великие норвежцы будут... руководить...

— Верил?

— Я по-прежнему делаю ставку на Квислинга, он может многое, это умелый администратор, человек с характером...

— И мама тоже так говорит.

Он слышит, сдерживает себя. Продолжает с подавленной яростью:

— ...Можно было мечтать о Европе, которая под руководством Германии спасет нашу культуру и... Я верил, что...

Он замолкает.

— Верил? А теперь больше не веришь?

Но он ведь ее не слышит.

— Почему ты не спустишься к ним?

Он не отвечает, она кричит:

— Почему ты не спустишься к ним?

— Я завещаю усадьбу Марии, — говорит он. — Она ведь и так всем управляет.

Снизу из сада доносится громкий смех.

— Я завтра уезжаю, папа.

Он смотрит на нее, говорит:

— Ночью мне снился сон. Я летел высоко... как раньше... летел высоко... как альбатрос. И увидел тебя внизу, на земле. Ты была маленьким чижиком. Ты повредила крыло. Я хотел опуститься на землю, но крылья продолжали нести меня ввысь, и я не смог спуститься. Но чувствовал, как тебе страшно.

12. ВОСХИЩАЛСЯ

Кнут уложил Эллинор в кровать.

Поздняя ночь. Ей не следовало так много пить.

Она говорит:

— Папа! Ты такой... сильный. Вот именно, сильный. Скажи, ты когда-нибудь кем-нибудь восхищался?

— Да. Стриндбергом.

— Я думала, ты никем не способен восхищаться.

— В девяностых мы три года прожили вместе в Париже.

— Ну и чем же ты тогда восхищался?

— Он был на редкость неразумным.

Она поворачивается к отцу, берет его за руки.

— Вроде... меня?

— Нет... но... он мог бы воспользоваться поддержкой либералов или Нобеля. Проявить некоторую умеренность. Держаться разумных взглядов. Но он ни в чем не знал меры. Не укладывался ни в какие рамки!

— Талант!

— Крошка Нолле, талантливы все, а у него, слава Богу, таланта и в помине не было. Но он был борец. За тысячу разных вещей. Дуэлянт, сражавшийся всеми видами оружия. Никто не мог загнать его в ловушку, Эллинор, никто. Но он часто сам загонял в ловушку и себя, и собственное дело. Но снова вставал в позицию. И начинал борьбу за новое дело.

— И он был счастлив?

— Такие люди счастливыми не бывают!

Она смотрит на него с легкой иронией, говорит:

— Какие «такие»?.. Великие?

Его рука осторожно прикрывает ей глаза.

— Он был всего на десять лет старше меня.

Она уже почти уснула. Он ждет.

— В ту пору Стриндберг все время твердил, что начинает чувствовать себя стариком. Но это как раз был признак молодости. А вот старик, который считает себя молодым, — человек конченный.

13. ПЫТКА

Подвал в ратуше Кристиансанна.

Сюда бросают пленных, их все больше и больше, теснота, полумрак.

Двое юношей шепчутся. Один держит кисть руки поднятой вверх, кончики пальцев в крови.

— Я ничего не сказал... нет...

— А тебе было что сказать?

— Нет... я не знал ничего... больше. Они ведь схватили весь Милорг.

— Что они с нами сделают?

— Расстреляют, наверно.

Становится тихо. Охранник приносит воду. Это норвежец.

Он наклоняется к ним:

— Ну, говори. Только побыстрее.

— Скажи матери, чтобы сходила к Гамсуну.

— К нацисту?

— Он жил в пансионе у бабушки, когда писал. Только побыстрее.

— К Гамсуну?

— Вдруг он может что-нибудь сделать.

14. DIE FRAU¹

Палец пробегает по книжным корешкам: Гамсун, Гамсун, Гамсун...

Гестаповец говорит:

— Гамсун. Гамсун. Гамсун. Золотая жила, *nicht wahr?*²

Харалд Григ, за которым пришли, вместе со своими ближайшими сотрудниками стоит у одной из стен под охраной двух солдат в черной форме. Григ спокойно отвечает:

— *Das war einmal*³.

— *Ja, das war einmal... Und die Frau?..*⁴

Ответа нет.

15. БЕЗУМНЫЕ МАТЕРИ

Женщин две, обеим около пятидесяти, и хотя Мария вежливо объясняет, что у писателя Кнута Гамсуна нет времени их принять, они, не обращая на нее внимания, прорываются

¹ Жена (*нем.*).

² Не так ли? (*нем.*)

³ Так было когда-то (*нем.*).

⁴ Да, так было когда-то... Ну а его жена?.. (*нем.*)

ся в дом, взбегают по лестнице, распахивают дверь в комнату Гамсуна и обрушивают на него поток слов.

— Господин Гамсун, помните, это у нас в Кристиансанне вы жили, когда писали, в пансионе «Эрнст», вы были такой добрый, такой приветливый, вы...

— Что вам надо? Что вы тут делаете?

— Вы должны заступиться, должны попросить Тербовена, нацисты вас слушают, они вам верят, мальчики участвовали в Соппротивлении, а теперь их хотят казнить, и вы...

— Я ничего не могу сделать! Ничего! Они не слушают... Идите отсюда... Вы... Но я пошлю. Телеграмму. Но... я не знаю.

— Разве вы не можете...

— Я посылаю телеграммы. Все время! Вы больше не должны... просить!

— Вы же за немцев, это и в газетах писали, вы должны заступиться, попросить, чтобы сына, помните маленького мальчика, когда вы жили у нас в пансионе, это он, вы тогда ему дали...

— Это не поможет!

— Его звали Эсбен! Маленький Эсбен! Тогда ему было четыре, теперь восемнадцать, помните...

— Я не нацист, но я за немцев. Германия спасла нас от англичан и...

Мария в дверях, с отчаянием:

— Уходите! Ну пожалуйста! Вы не должны беспокоить Гамсуна!

Он нетвердой походкой проходит мимо истерически кричащих женщин, спотыкаясь, спускается по лестнице, выходит из двери в сад.

Женщины за ним.

— Они пытали Эсбена! Жгли ему ступни, вырвали ногти, они...

— Молчите! Я не хочу слушать!

— Они схватили сто двадцать два человека и всех расстреляют, половину уже расстреляли, но Эсбен еще жив и...

Гамсун бежит через парк. Вернее, пытается бежать.

Одну из женщин крепко держат Мария и конюх, другая нагоняет Гамсуна, в отчаянии хватает его за куртку, дышит ему в самое ухо:

— Господин Гамсун, вы должны помочь, я пойду на все, можете прийти ко мне и...

Она себя не помнит от горя. Что она несет? Он смотрит на нее с отчаянием и отвращением.

— Господин Гамсун! Все что хотите...

— ...Успокойтесь...

— Неужели вы не можете, милый, добрый господин Гамсун, вам стоит шепнуть словечко Тербовену, милый, дорогой, свинья проклятая! Проклятая немецкая свинья! Мальчику всего восемнадцать, и он умрет, понимаешь ты это, поганая немецкая свинья, понимаешь...

Она рухнула у его ног. Гамсун не может сдвинуться с места, почти механически произносит:

— Гитлер спасет нас от большевиков и...

Опомнившись:

— Как его зовут?

Женщина поднимает голову и со спокойствием отчаяния говорит:

— Эсбен Брудерсен из Кристиансанна, улица Сёльв, двенадцать, ему двенадцатого ноября исполнилось восемнадцать.

— Встаньте. Встаньте же. Встаньте, дорогая, милая... встаньте.

16. ПЕЩЕРА

Утром он надел пальто и вышел, хотя было почти совсем темно.

Надел тяжелые сапоги, словно собрался в далекий путь.

Днем его стали искать. Нашел отца Арилд с помощью собаки, нашел в пещере, откуда открывается великолепный вид и куда Кнут обычно брал с собой мальчиков, когда они были маленькими.

Гамсун развел огонь, сидел и смотрел на пламя.

Дело было в феврале. Арилд нашел его около пяти — он издали заметил пламя.

Кнут лежит на боку, но не спит.

— Папа, сядь. Сядь.

— Я хотел просто спокойно умереть, — с упреком говорит Кнут. — А они врываются в дом и кричат.

— Папа, они обезумели. Идем домой.

— Ты знаешь Эсбена? — спрашивает Кнут, не двигаясь.

— Какого Эсбена?

— Эсбена Брудерсена из Кристиансанна, улица Сёльв, двенадцать.

Арилд берет его под руку, осторожно поднимает.

— Тебе трудно, папа? — спрашивает он.

— Я должен был умереть в тишине и покое. Так я предполагал. А тут началось все это.

Арилд молча глядит ему в глаза.

— Умереть ты не можешь. Придется тебе со всем этим жить.

— Что мне делать?

Арилд, почти с ненавистью:

— Ты никогда прежде не спрашивал моего совета. А теперь уже поздно.

Гамсун непонимающе смотрит на сына.

— В каком смысле?

— Я записываюсь добровольцем в СС. В легион, отправляющийся на Восточный фронт.

Кнут застыл, уставившись на сына.

— Идеалы надо претворять в жизнь. А не только рассуждать о них за письменным столом. Мама всегда это говорит.

Пауза.

— Мама — человек последовательный.

17. ТЕРБОВЕН

Гамсун припаражен, элегантен, он в жилете, ему предложили сигару, справа от него сидит Туре, он переводит; слева от Гамсуна Тербовен, который курит сигарету, не улыбается и говорит:

— Так вот о Григе. Речь, господа, об этих «интеллектуальных» бойцах Сопротивления, которые посажены в Грини. Это откровенные враги новой Германии. Знаете, что они о нас пишут? Я уже не говорю о том, что пишут обо мне лично. «Кровавая собака» и тому подобное.

Фотограф делает снимок, Гамсун отшатывается, рычит:

— Я не хочу, чтобы меня фотографировали, я хочу с вами поговорить!

Тербовен делает быстрый знак рукой, фотограф исчезает.

— И Роналда Фангена надо выпустить из Грини. Я не разделяю его убеждений, но он...

— В отличие от вас он не считает фюрера великим человеком, — с язвительной иронией замечает Тербовен.

Пауза. Гамсун собирается с силами.

— Великие люди! Я измеряю величие человека не размахом движения, которое он создал.

— А чем же?

— Я определяю его по вкусу у себя во рту. Такова субъективная логика моей крови. Великими людьми принято считать тех, кто учит власти, кто облечен властью, всех этих

идиотов, сверхчеловеков — Каиафу, Пилата и Цезаря... Великие люди умеют предводительствовать сбродом, но я не демократ, герр рейхскомиссар, сброд можно собрать в таком количестве, что он приведет вас к власти, можно дать ему в руки нож мясника, и он будет резать, убивать и побеждать, или, наоборот, можно бить его кнутом, и он обеспечит вам победу на выборах, но завоевать духовную победу, продвинуть мир на вершок вперед — на это сброд не способен! Великие люди умеют управлять сбродом, но те, в ком живет Великий Дух, не скачут верхом, они...

Во время этой вспышки Тербовен сделал знак рукой, и Туре перестал переводить. Гамсун вдруг заметил это.

— Переводи! Почему ты не переводишь?

Тербовен подался вперед и, с неким подобием улыбки, говорит ласково и дружелюбно:

— Я не нуждаюсь в переводе, герр Гамсун. Я наслаждаюсь вашим языком, вашей интонацией, вашей силой, вашей гениальностью. Великий художник в переводе не нуждается. Он есть, и этого достаточно. Вы — великий художник, герр Гамсун. За это мы вас и любим. Фюрер просил меня передать вам привет.

18. ПЛОХО ОБОШЕЛСЯ

Мария у себя в спальне, она укладывает чемодан.

Гамсун шумно возится в своем кабинете, разводит огонь в камине.

Мария в дверях:

— Стало быть, Тербовен плохо с тобой обошелся? Не понял, как это ты решаешься просить помилования для тех, кого сам называешь идиотами. И считаешь, что их не мешало бы отшлепать. Хотя, может, и не казнить.

Гамсун поднимает голову, смотрит на нее:

— Куда это ты собралась?

— Ты что, забыл?

Гамсун — олицетворенный знак вопроса.

— В Любек. Во Франкфурт. В Дюссельдорф. В Иену... Колесить по градам и весям и читать отрывки из твоих книг немецкому народу, жаждущему припасть к источнику. И что, по-твоему, я за это получаю? Икру и шампанское?

Гамсун идет к столу, к своему пасьянсу, поворачивается к ней спиной.

— Быть может, было бы больше толку, если бы к Тербовену обратилась я, Кнут. Возможно, я ему нравлюсь больше.

Пасьянс; Гамсун поднимает карту, словно замахиваясь ею.

Они встречаются впервые, чувствуется некоторое напряжение. Квислинг улыбается Гамсуну.

— Господин Гамсун. Я счастлив наконец познакомиться с вами. В нынешнем феврале я смогу наконец сформировать норвежское правительство, за это мы должны сказать спасибо фюреру. Фюрер просил меня передать вам привет. И благодарность.

— За что?

— За то, что вы наконец высказались о евреях.

Квислинг берет журнал «Берлин-Рим-Токио» и с удовольствием цитирует:

— «Рузвельт — еврей, оплачиваемый евреями, вдохновитель американской войны за золото и еврейское господство». Мы долго ждали, чтобы вы недвусмысленно высказались о евреях.

— Но они сами это приписали! — сердито говорит Гамсун. — Я вовсе не антисемит. Я вообще не понимаю гитлеровского антисемитизма. Никогда не мог уразуметь, что он имеет в виду.

— Но... разве вы не читали «Майн кампф»? Там он все объясняет! Так ясно! Разве вы не читали...

— Нет, — виновато признается Гамсун. — Я не смог прочитать.

— Не смогли?

— Но я читал рецензии, — смущенно оправдывается Гамсун. — Я читал рецензии!

— Но все, что вы тут написали, совершенно правильно. И вы ведь сами считаете, что норвежская раса родственна немецкой.

— Да, да.

— Именно раса.

— Народ, — тихо и неловко уточняет Гамсун.

Квислинг долго смотрит на него, улыбается:

— Раса.

Молчание; напряжение растет.

— Так или иначе, фюрер благодарит вас. А мы, норвежцы, вернемся к старой конституции тысяча восемьсот семнадцатого года, которая запрещает евреям проживать в Норвегии.

— И что же вы с ними будете делать? — спрашивает пораженный Гамсун.

— Их пошлют... на исправительные работы.

Гамсун в смятении, подозрительно:

— Что это значит? Что еще за исправительные работы?

— Ну... в общем, это просто такое слово. Вы же писатель, вам легче, чем мне, найти слова. Вы владеете словом. А стало быть, и власть в ваших руках.

— Что вы хотите этим сказать? — спрашивает Гамсун в крайнем раздражении.

— Хочу сказать, что фюрер шлет вам привет и благодарность за ваши слова.

20. ФОТОГРАФИЯ

Камера в Грини. Сюда тайком передали газету. Заключенные собрались в перерыве между маршировками по двору, и Григ читает статью. Газета «Афтенпостен». На фотографии Гамсун у Тербовена. Григ судорожно стискивает газету. Он ведь издатель Гамсуна.

На лицах остальных молчаливая мука.

— Тошно глядеть: великий старец-художник склонился в подобострастном поклоне перед профессиональным немецким палачом.

Молчание.

— Они умеют его использовать. Интересно, знает он, как его используют?

Молчание.

— Когда я читал «Пана», я плакал. И «Пан»... Боже мой. И «Плоды земли»... Я начал понимать... связь... между человеком и природой. А теперь вот это.

— Почему, черт возьми? Почему? Почему?!

Газету свернули в трубку.

21. КАЗНЬ

Их ставят к стенке. У двух шептавшихся юношей, которые надеялись на Гамсуна, надежды больше нет.

Моросящий дождь. Залп.

22. АВТОБУС

Гамсун в автобусе.

Он бормочет; все громче:

— Тербовена надо убрать. Тербовена надо убрать.

Пассажиры, пятеро пожилых мужчин и две женщины помоложе, украдкой с ужасом на него косятся.

— Он топит Норвегию в крови.

И потом:

— Я должен поговорить с Гитлером.

Открытый холл на нижнем этаже, Арилд входит вместе с матерью, при нем собака; Арилд необычайно взволнован, но в высшей степени сосредоточен.

— Папа, мы хотим, чтобы ты знал, через неделю я уезжаю. Я завербовался. Еду в учебно-тренировочный лагерь в Лихтерфельде-Вест, а потом на Восточный фронт: Ваффен-СС.

Мария садится, молчит.

— Это она! — говорит Гамсун, ткнув в ее сторону. — Этого хочет она, не так ли?

— Я решаю сам. Моя совесть.

— Его совесть говорит ему, — вмешивается Мария, — что надо быть последовательным в своих убеждениях. А не предавать Дело.

— Но ты хотел быть писателем, зачем тебе, черт побери, ружье! Будешь торчать там и исходить бессильной злобой!

— Он не кабинетный философ, Кнут. У него есть совесть, Кнут. Он следует своим убеждениям, Кнут. И тебе придется их уважать.

Она произносит это преувеличенно спокойным голосом.

— Т в о и м убеждениям! Т в о и м!

— Папа, это мое решение, — говорит Арилд, которому почти удалось справиться со своей яростью. — Я рад, что тебя это волнует, раньше ты мало о нас беспокоился, но лучше поздно, чем никогда. А меня волнует то, что ты пишешь, папа. Я прочел все, что ты написал, и это в меня запало. Речь идет о Деле, папа, о борьбе против большевизма, речь о моей совести, я еду.

— Но какой от этого толк?

— Это ему решать, — говорит Мария. — Это их дело.

— Это ты! Т ы его убедила... ты.

— Я часто выступала перед слушателями и говорила о жертве, — заявляет Мария, — о том, что женщины должны набраться мужества и сами посылать своих сыновей на фронт сражаться с большевиками. В минуту жертвоприношения, говорю я обычно, мы должны желать не того, чтобы наши сыновья прожили долгую жизнь, а того, чтобы они в этой жизни что-то совершили. Меня спрашивали, хотела ли бы я послать на войну моих сыновей. «Нет, — отвечала я, — мое сердце разбилось бы. Но мальчики сами делают выбор. Им решать. Это их дело».

— «Их дело!» «Их дело!»

Гамсун закрывает лицо руками, говорит почти про себя:
— ...Мне приходят письма... Меня просят похлопотать о помиловании тех, кто приговорен к смерти... а это те, кто сочувствует англичанам! Знаю! «Это их дело!» Они хотят победы англичан. «Это их дело!» Но норвежских мальчишек горстка... И они погибают... Каждый из них мог бы быть счастлив после победы над Англией, надо только подождать, жить себе спокойно, заниматься повседневными делами у себя дома, под своей смоковницей... а теперь их арестовывают и казнят и... К чему все это?!

— Напиши это, дорогой Кнут. В Сопrotивлении слишком много бесполезных жертв. Напиши, Кнут. Ты ведь владеешь словом...

— Но Арилд...

Но Арилд уже ушел, даже не стал слушать их последней ссоры. Дверь захлопнулась.

Правда, собака осталась.

— «Это их дело», — тихо говорит Гамсун.

— Напиши, — говорит Мария, лицо у нее мокрое, словно от слез. — Сядь и напиши. О том, как жертвовать жизнью во имя чего-то. Жертвовать собой для других, Кнут. Ты наверняка сможешь. О самопожертвовании.

24. «ЭТО ИХ ДЕЛО»

Обед у Квислинга. В его резиденции в Гимле, на Бюгдэй. Их трое. Квислинг, его жена и Мария.

Квислинг читает вслух газету «Афтенпостен» от 13 февраля.

«Это обращение к тем, кто сочувствует англичанам. У них должно хватить обыкновенного здравого смысла, чтобы одуматься. Они хотят помочь Англии — это их дело! Но они не помогут Англии, истребляя самих себя. Они считают, что Англия победит, — это их дело! Но тогда зачем же заранее подвергать себя такому риску?»

Квислинг откладывает газету.

— Да, да. Да. Он хорошо пишет. Весь вопрос в том, уменьшит ли это приток в... как они себя называют? — в движение Сопrotивления. Но будем надеяться. Будем надеяться.

Мария Квислинг очень хороша собой, она неприкаянно бродит по комнате.

— Вы думаете, Англия победит?

Они ошеломленно смотрят на нее.

— В таком случае Видкун Квислинг и Кнут Гамсун оба твердыми шагами идут прямо на плаху, — тихо говорит она.

Квислинг молча смотрит на жену, потом поясняет Марии Гамсун:

— Она русская, она боится. Такая уж у нее натура. Надеюсь, у вас не такая, фру Гамсун?

— И все же бояться можно, — замечает Мария.

Пауза.

— Григ сидит в Грини, он болен, меня просят походить за него перед Тербовеном, — беспечным тоном говорит Мария.

— А почему это не может сделать сам Гамсун?

— Тербовен его недолюбливает. Возможно, они единодушны в том, что касается конечной цели, но по части методов у них большие разногласия.

И после паузы:

— Я сама буду просить за Грига. Я его вытащу. А потом устрою так, чтобы он узнал.

— Ах так.

— Он меня презирает. Поэтому он должен узнать, что это я. Он никогда не простит, что это я его спасла.

— Презирает?

— Он сказал, что мои детские книги так хорошо написаны, что можно подумать, их писал сам Кнут. Это и н с и н у а ц и я!

В глазах Квислинга выражение, похожее на страх. Может, он не привык к такому проявлению страсти.

— Кнут хочет говорить с Гитлером, — продолжает Мария беспечным тоном. — Не знаю, что он хочет ему сказать. Мне он этого не сообщает. Меня это немного беспокоит.

— Но вы же, конечно, доверяете мужу? И, конечно, он захочет взять вас с собой в качестве переводчицы?

— Нет, — отвечает она.

— Нет?

— Я ему не доверяю. И он не захочет взять меня с собой в качестве переводчицы.

25. РЕПЕТИЦИЯ

Мария слышит оглушительный голос в кабинете Кнута. Она знает, что он один.

— Герр Гитлер, вам известно, что я вами восхищаюсь. Я вами восхищаюсь и верю в вашу мечту о великой новой Европе, где свободная Норвегия, далекая северная страна,

займет почетное и ведущее место за столом совета. Но ма-
ловеры твердят теперь, что Норвегия станет подчиненным
Германии протекторатом. Что мне им отвечать?

— Герр Гамсун, уверяю вас, мои намерения и мечты со-
впадают с...

— Герр Гитлер, я доверяю вашей мечте о новой Европе.
Но вы тоже смертны. Когда вас не станет, будут ли Норве-
гии гарантированы конституционные права, которые обес-
печат ей независимость и свободу?

— Почему вы уделяете столько внимания этой юриди-
ческой софистике, герр Гамсун?

— Герр Гитлер, я активно участвовал в борьбе за сво-
бодную Норвегию! В тысяча девятьсот пятом году! Вы тог-
да только-только успели родиться, герр Гитлер!.. Нет, черт
возьми, этого я сказать не могу... я...

Мария стоит в дверях и смотрит на него, на то, как он
бродит по комнате и ораторствует.

— Чем ты занимаешься, черт возьми?

Он резко оборачивается:

— Убирайся! Я готовлюсь! Вон!!!

— Это и мой дом тоже. Ну так как, ты возьмешь меня с
собой к фюреру?

— Ни в коем случае!

Она долго глядит на него.

— И эту мечту ты тоже у меня отнимаешь.

26. СОБАКА

Собака Арилда.

Вечер. Она воеет в одиночестве.

27. ПОЕЗДКА

Аэродром Форнебю.

Журналист:

— Если верить слухам, вы собираетесь также увидеться с
Адольфом Гитлером и... Говорят о встрече, которая напо-
нит нашим современникам былую встречу Гете с Наполео-
ном...

Гамсун в ярости.

— Я собираюсь прочитать лекцию в Вене!

— А после нее?

Ответа нет. Он поднимается в самолет.

Шляпа. Спасательный пояс.

Вылет.

28. НА КОЛЕНИ

Вена. В зале конгресса напряженное ожидание. Гамсун поднимается на трибуну, с ним рядом переводчик Рисховд.

Сначала говорит Гамсун. Несколько коротких слов.

По-норвежски.

— Прошу прощения, что осмелился выступить здесь перед вами. Писать я устал, а говорить не умею. Здесь сегодня присутствуют представители всех европейских народов. Я хочу просто попросить вас принять приветствие от писателя из далекой северной страны. Он писал книги, пока не почувствовал, что слишком устал. Теперь он может рассчитывать только на доброжелательное отношение. Он слишком стар. Но вот текст выступления, которое я подготовил. Господин Рисховд.

Зачитывается речь.

«Как норвежец я хочу здесь заявить: я глубоко убежденный противник Британии. Хотя большинство моих соотечественников были и остаются на стороне англичан. Неужели мы, скандинавы, не умеем читать? Умеем, и нам известен кровавый путь Англии в истории. Тем не менее мы всегда лелеяли Англию в своих сердцах. Как это можно объяснить? Как понять? Ведь Германия — единственная страна, способная противостоять яду английской политики. Во время Первой мировой войны Германия сражалась, как всегда, храбро, но против нее выступили четыре страны света, и она проиграла. Англия не проиграла. Англия всегда извлекает выгоду из чужих поражений. То были мрачные годы для Германии...»

Они сидят замороженные и делают записи.

И наконец:

«Я заявляю: Англию надо поставить на колени! Победить янки и большевиков еще недостаточно, главное — раздавить Англию. За время моей долгой жизни я убедился, что почти всегда смута, нужда, насилие и угнетение, почти все нарушения соглашений, почти все международные распри исходят от Англии. Пора положить этому конец! Англию надо поставить на колени!»

Речь завершена. Восторженные крики.

29. ОЖИДАНИЕ

Его окружили. Интервьюер очень настойчив.

— Мне не нравится, когда ждут. Когда ждут слишком многого!

— Но сотни газет уже опубликовали ваше заявление о том, что Англию надо поставить на колени, и вы...

— Мне это не нравится! Ведь я просто... частное лицо!

— О нет... вы писатель!

— Не надо чрезмерных ожиданий!

Пресс-секретарь помогает ему избавиться от репортеров.

Шепчет:

— Мы приготовили для вас сюрприз... просмотр фильма... в приватном порядке... с великой Лени Рифеншталь.

Гамсун смотрит в упор на пресс-секретаря, говорит сухо:

— Надеюсь, фильм будет немой.

30. ЛЕНИ

Она и в самом деле очень красива.

Гамсун удивлен — он не ожидал, что зрителей будет так мало. Лени организовала встречу таким образом — если только это она ее организовала, — что присутствуют всего четверо: они двое, переводчик и пресс-секретарь Гитлера, Дитрих.

Дитрих представляет ее, вернее, представляет их друг другу, упоминая о встрече «двух величайших из ныне живущих художников», с которыми не может сравниться никто в мире.

На улице было жарко и слепило солнце; теперь их провели в просмотровый зал, и глаза Гамсуна с трудом привыкают к темноте.

Она и в самом деле очень красива, она сидит с ним рядом и показывает Кнуту Гамсуну «Triumph des Willens»¹ — фильм о партийном съезде в Нюрнберге. Позади них сидит переводчик.

В кадрах фильма есть что-то, что привлекает Гамсуна, и в то же время ему отчего-то не по себе. Раньше он фильма не видел. Он и сам не в состоянии разобраться в своих чувствах.

А Лени, полная энтузиазма, не может удержаться от пояснений:

— Я не комментирую, я монтирую! Видите? В этом уже заложен идейный посыл, но я монтирую, чтобы его выявить! Я всего только инструмент! Как художник, я аполитична! Но я инструмент! Видите? Обратите внимание, как наезжает камера!

¹ «Триумф воли» (нем.).

— Гениально! — говорит переводчик в самое ухо Гамсуну.

— Что вы сказали? — спрашивает она переводчика.

— Я говорю, что вы оба — величайшие современные художники, поставившие свое искусство на службу Гитлеру.

Пепельно-серое лицо Гамсуна.

Лени упоена наездами своей камеры.

— Скажите лучше, эпохе! Скажите Гамсуну, что мы — два художника гитлеровской эпохи!

Переводчик переводит слово в слово.

Фильм продолжается. Гамсун смотрит на экран. Такая неслыханная мощь, такая сила внушения. Но ему не по себе. Он продолжает сидеть, она поглощена своим фильмом.

Фильм кончился. Гамсун встает.

Его выводят из темноты зрительного зала. На улице пылающее солнце. Оно ослепляет, ослепляет еще сильнее, чем красота Лени.

Гамсун пошатнулся. Поток солнечного света как удар.

— Боже мой, — произносит он.

— Что случилось, герр Гамсун? — спрашивает Лени. — Как вы себя чувствуете?

— Это свет, — говорит он. — Я ослеп.

31. РАГНАРЁК. 1

Музыка. Вагнеровская «Гибель богов».

Перелет к Оберзальцбергу. Гамсун сидит в личном самолете Гитлера, на месте фюрера.

Зенгзенгебирге. Мертвые горы. Хёлленгебирге.

Его лицо. Солдаты при посадке на аэродроме. Не произносится ни слова, но движения стремительны.

Музыка.

32. РАГНАРЁК. 2

Автомашина — семилитровый «мерседес».

Гамсун на переднем сиденье. Машина едет в гору, все время в гору.

Одна проверка за другой. Солдаты в черном.

Невероятная скорость, точность, стремительная смена кадров и бесконечное движение в гору.

И тишина.

Лицо Гамсуна — совершенно каменное. Музыка.

Гитлер. Встречает Гамсуна в дверях, говорит тихо и мягко, трясет ему руку и смотрит на своего гостя, такого же знаменитого, как он сам, с любопытством и симпатией.

Их четверо: Дитрих, советник канцелярии Хольмбое, Гитлер и Гамсун. Рядом в той же комнате личный переводчик Гитлера, Эрнст Цюхнер, делает записи.

— Герр Гамсун, я ваш большой поклонник, я чувствую себя если и не вполне, то в очень значительной мере связанным с вами, потому что в некоторых отношениях моя жизнь очень похожа на вашу. Меня всегда интересовала жизнь художника, жизнь писателя, каким образом вы выражаете в творчестве свой опыт. Почему, собственно говоря, почему вы именно таким образом написали «Плоды земли»? И вообще, когда вы встаете? Рано утром? Или пишете по ночам? Суточный ритм писателя напоминает ритм политика и...

Гамсун нетерпеливо покачивается взад и вперед и вдруг совершенно неожиданно перебивает:

— Председатель норвежского союза судовладельцев Стенесен ходатайствовал перед Тербовеном о большей свободе для норвежского судоходства и судостроения. Но Тербовен ничего в этом не смыслит, он издевается над нами, заявляя, что мы можем водить наши суда по Балтийскому морю или по нашим внутренним водам! По внутренним водам! А мы третья в мире мореходная страна!

— К сожалению, во время войны водить суда по морю невозможно, — мягко говорит Гитлер.

— Но господин рейхскомиссар считает, что так будет продолжаться и после войны!

— О том, что будет после войны, сейчас нельзя сказать ничего определенного.

— Но речь идет о будущем Норвегии. О третьей морской державе мира! Вы говорили, что в новой Европе Норвегия займет почетное и независимое положение, но Тербовен неоднократно заявлял, что в будущем не останется ничего, что зовется Норвегией! Не останется того, что зовется Норвегией! Мы станем просто провинцией Германии! И будто существуют планы превратить Тронхейм в немецкий город с двумястами пятьюдесятью тысячами жителей и сделать его военным портом. Не может быть, чтобы таково было ваше намерение..

— Но ведь в отличие от других оккупированных стран Норвегия получила собственное правительство, — говорит Гитлер, уже насторожившись, тихо, но ледяным тоном.

— Правительство не имеет права голоса! Все, что происходит в Норвегии, решает рейхскомиссар Тербовен! А что будет после войны?

Гитлер молча уставился на Гамсуна. Это нечто неслыханное. Беседа вышла из-под контроля.

— Методы рейхскомиссара не годятся для Норвегии, эти прусские приемы у нас невозможны, и вдобавок казни — мы больше не в силах это выдерживать! Не в силах! Недавно в Рауфоссе арестовали двух ни в чем не повинных людей, которых расстреляют, если они не назовут имени подозреваемого. Неужели вы считаете, господин Гитлер, что германец способен, пусть даже под угрозой смерти, предать одного из своих соплеменников! Это террор, это кровавая баня!

Теперь Гитлер совершенно овладел собой, он говорит очень тихо. В упор смотрит на Гамсуна и почти шепотом:

— Военные оккупационные власти часто обходятся с населением дружелюбнее, чем власти политические. У рейхскомиссара Тербовена сложная задача. Тербовену приходится решать военно-политические задачи, зачастую весьма трудные. И это порой бывает тяжело.

Гамсун в отчаянии снова возвращается к главному вопросу:

— Тербовен хочет, чтобы в новой Европе не было никакой Норвегии, а только протекторат! Вот что он сулит нам, вот что он имеет в виду! Отзовут ли его когда-нибудь? Неужели Норвегия станет протекторатом? Когда же она будет свободной?

— Рейхскомиссар Тербовен — человек военный, — говорит Гитлер, неожиданно обороняясь. — Перед ним стоят исключительно военно-политические задачи. После окончания войны он вернется в Эссен, в свое гауляйтерство.

Гамсун борется с волнением, уж не плачет ли он?

— Этот человек разрушит в нашей стране больше, чем вы можете создать. Мы не против теперешней оккупации, наверно, мы еще долгое время будем в ней нуждаться, но потом? После войны?

Переводчик, который начал страшно нервничать, больше не переводит, шепчет:

— Не надо об этом говорить, фюрер ведь вамуже обещал...

— Почему мы, норвежцы, должны жить в такой неуверенности? Что с нами будет потом? А Швеция? Мы хотим по-прежнему дружить со Швецией, но Швеция все больше отдаляется от нас!

И почти умоляюще:

— Евреи уводят Швецию все дальше и дальше от нас...

Гитлер — каменное лицо; его не может отвлечь даже то, что Гамсун так внезапно и неожиданно заговорил о евреях.

— Германия не нуждалась в норвежском правительстве. Не нуждалась!! То, что мы его создали, доказывает нашу добрую волю.

Гамсун беспомощно качает головой.

— Говорить — как об стенку горохом.

Переводчик не переводит.

— Вам мы верим, но вашу волю извращают! В Норвегии действуют неправильно, это приведет... к новой войне! К новой войне!

Это уже слишком. Гитлер резко вскакивает, говорит:

— Господа!

И выходит на террасу.

Гамсун в смятении встает, растерянно смотрит ему вслед. Начинает плакать.

Все это невероятно мучительно. Гамсун похож на ребенка.

Он с мольбой говорит переводчику:

— Скажите Адольфу Гитлеру: «Вам мы верим». Скажите ему.

Переводчик выходит на террасу, передает слова Гамсуна. Гитлер пожимает плечами; ледяным тоном, в ярости, нервно заторопившемуся Дитриху:

— Уведите его. Я больше не желаю видеть здесь подобных людей.

Гамсуна берут под руки. Он совершенно обмяк от горя и смятения.

— Что... что? Я должен... должен уйти?

Его ведут к двери.

— Он что, больше не хочет говорить... я должен уйти... он меня выгоняет... выгоняет?

Гитлер не провожает его к выходу. Гамсун продолжает рыдать. Садится в машину.

34. ОТСТУПЛЕНИЕ

Та же машина.

Гамсун сидит на переднем сиденье.

И вдруг та же музыка — Вагнер; Гамсун выглядит совсем старым, он потерян: во что ему теперь верить? Он говорит:

— Мы что, возвращаемся?.. Куда мы?.. Что, уже все кончено?

Ответа нет.

Он дышит открытым ртом, машина мчится вниз.

— Ты все переводил? — спрашивает он переводчика.

— Да.

— Все?

— Большую часть... Насчет Тербовена не было необходимости... Гитлер ведь заверил, что после войны его отзовут... Я считал, что нет необходимости переводить все...

— Идиот! Война продлится еще долго, очень долго! Надо было это сказать... без пощады! Методы Тербовена больше терпеть нельзя... этот человек... это надо было... надо было перевести... без всякой оглядки!

Никто не решается ответить.

— Собственное правительство! — в ярости бормочет он. — Все решает Тербовен. Квислинг! Он всегда был немногоречив. А теперь вообще слова сказать не может. Чем все это кончится?

Машина все быстрее уносится в сумерки. Старое-старое лицо Гамсуна.

Он бормочет:

— Писатель в эпоху Гитлера. Чем это кончится?! Чем это кончится?! Чем это кончится?!

Ночную тьму прорезают прожектора.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

1. ПЕРЕМЕНА

Прожектора противовоздушной обороны бессильны против ковровых бомбардировок.

Документальные кадры.

Немецкий фронт начинает рушиться.

2. ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Зал, как всегда, полон, за спиной Марии висит знамя со свастикой. Она одна, она, как обычно, выступала с чтением.

И, как обычно, она заканчивает словами:

— В заключение я хочу передать вам привет от моего супруга, писателя Кнута Гамсуна, и сказать, что он от всего сердца желает победы Германии.

Аплодисменты.

— Но он желает также свободы Норвегии.

Аплодисменты идут на убыль. А фоном — отдаленные разрывы бомб.

Председательствующий так же, как обычно, произносит несколько благодарственных слов:

— Фрау Гамсун, сегодня вы заканчиваете ваше третье зимнее турне с выступлениями по Германии. Нынешней зимой вы посвятили нам три месяца. Каждый вечер в очередном немецком городе вы ободряли нас, дарили нам слово писателя. А тем временем бомбы падали все гуще. Трудно переоценить ваш вклад в боеготовность Германии, в укрепление ее воли к сопротивлению. Затаив дыхание, мы слушали «Плоды земли» — книгу, которая издана вермахтом более чем в двухстах тысячах экземпляров и стала драгоценнейшим сокровищем для немецких солдат. Вот как искусство, великое художественное произведение, поддерживает нас в нашей борьбе.

Снова аплодисменты.

Но эти усталые лица?

Немного погодя председательствующий спрашивает:

— А что будет будущей зимой?

— Я приеду снова.

— Сохранится ли к тому времени Германия?

— Я неколебимо верю в победу Германии и фюрера.

Он долго смотрит на нее, потом говорит:

— Фрау Гамсун, если бы вы могли влить эту веру во всех нас, в тех, кто уже почти отчаялся.

Она глядит на него возмущенным взглядом и заявляет:

— Для вашего блага я забуду, что слышала эти слова.

3. ПАСЬЯНС

Гамсун раскладывает пасьянс «Дипломат». Это все, чем он теперь занимается.

Мария приносит ему простоквашу.

— Я слышала, что твое ходатайство перед Тербовеном о помиловании тех двоих, которые сидели в Грини, принесло свои плоды, — говорит она ему в самое ухо. — Он помиловал несколько человек, но именно тех, за кого ты просил, расстрелял.

Лицо Гамсуна передергивается.

— Жаль этих мальчиков, — продолжает она. — Похоже, Тербовен не питает к тебе дружеских чувств. Наверно, до него кое-что дошло.

Ответа нет.

— Можно сказать, смертоносный поцелуй Гамсуна. Жаль мальчиков.

Ответа нет.

— Тебе следовало взять меня с собой в качестве переводчицы.

4. УДАР

Гамсун колет дрова.

Январь 1945 года.

Вдруг он падает навзничь между топорами и поленьями.

Некоторое время лежит. И вдруг по его лицу пробегает едва заметная улыбка.

— Ну, Кнут, наконец-то.

Однако час спустя он с натугой поднимается и тащится к дому.

5. ПОБЕДЫ

Нет, он не хочет умирать, Бог не хочет, чтобы он умер, а может, это не Бог, а дьявол; так или иначе, Гамсун жив.

Он лежит в кровати. Молится громовым голосом:

— Боже, молю Тебя, чтобы Ты позаботился об Эллинор лучше, чем делал это до сей поры. Боже, Ты не уберег бедную девочку, у нее болит душа, и я теперь уже самым серьезным образом еще раз молю Тебя...

Дверь. Увидев Марию, Гамсун обрывает молитву. Мария принесла простоквашу, он ей говорит:

— Ты что-то давно не рассказывала мне о новых немецких победах, Мария. Как там дела?

Ответа нет.

Она помогает ему встать с кровати, он садится за письменный стол, она непривычно молчалива.

Наконец она говорит ему в ухо:

— Гитлер умер.

Лицо Гамсуна — очень спокойное. Потом, стиснув зубы, он произносит:

— Значит, мне надо написать некролог.

— Не делай этого. Через несколько дней Германия капитулирует. Скоро конец.

— Что ж, значит, только я один и захочу написать о нем некролог, — повторяет он.

6. НЕКРОЛОГ

Он пишет своей громадной ручкой.

«Я не достоин во всеуслышание говорить об Адольфе Гитлере, к тому же его жизнь и деяния не располагают к сентиментальности. Он был воином, борцом за человечество, провозвестником Евангелия о правах всех народов. Он был реформатором высшего класса, его историческая судьба судила ему действовать в эпоху беспрецедентной жестокости, жестокости, которая в конце концов захватила и его самого. В таком свете, вероятно, видит Адольфа Гитлера рядовой представитель Западной Европы, а мы, его ближайшие единомышленники, склоняем голову над его прахом».

Гамсун читает вслух и пишет.

В кадре редактор.

В кадре газета «Афтенпостен».

Ликование по случаю наступления мира.

7. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

Полицейские приходят сначала за Марией.

Она не плачет, она все время улыбается.

Такси.

8. СОБАКА АРИЛДА

Кнут сидит на колоде для рубки дров, прижимая к себе собаку; он, щурясь, смотрит на прекрасный норвежский пейзаж, на Норвегию и успокаивает собаку, которая тревожно скулит.

— Не волнуйся, Арилд вернется. Если его не убили на Восточном фронте, норвежцы вряд ли его убьют. Не волнуйся. Не надо волноваться. Завтра за мной придут. И ты останешься одна, но все равно не волнуйся. Все обойдется.

Собака благодарно смотрит на него. Рука Гамсуна на шее собаки.

9. ОТЪЕЗД

Эллинор ничего не говорит, не плачет, только быстро поправляет отцовскую шляпу, перекидывает ему через руку пальто.

На нем тот же костюм, в котором он был у Гитлера, но костюм потерял былую элегантность.

Один из двух молодых полицейских вежливо здоровается с Гамсуном за руку, смотрит на него с любопытством и радостно улыбается.

— Я же вижу, вы — Кнут Гамсун, — говорит он.

Гамсун очень дружелюбен.

— И ты здороваешься за руку с предателем родины? — спрашивает он, блеснув глазами.

— Так ведь очень важно, чтобы теперь, когда настал мир, мы вели себя не по-варварски, как они, — говорит полицейский едва ли не восторженным тоном. — Вот я и решил подарить вам руку.

Гамсун — едва заметная улыбка.

— Что ж, посмотрим, — говорит он.

Эллинор не может заставить себя сдвинуться с места.

— Папа, — произносит она.

— Да, да, — говорит Гамсун. — Посмотрим.

И он идет к такси между двумя полицейскими; Эллинор возвращается в дом, а дом пуст — начинается расплата.

10. РАГНАРЁК. 3

Это городское такси Муэна.

Полицейские сажают Гамсуна на переднее сиденье.

Какая дивная весна! Машина тронулась с места, на сей раз это не «мерседес», это обыкновенное такси.

Но музыка та же — вагнеровская «Гибель богов».

11. ДОПРОС

Его подвергают первому предварительному допросу.

Полицейский приехал на велосипеде, который он прислонил к березе. Он немного торжествен в сознании важности поручения и заканчивает разговор такими словами:

— ...Так вот... я уполномочен засвидетельствовать... в соответствии с данными вами под присягой показаниями... в части, касаемой имущественного состояния господина Гамсуна... мы описали акции издательства «Гюлдендал», двадцать пять тысяч крон на банковском счете, усадьбу Нёрхолм... так что все это, по чести и совести, соответствует истине, господин Гамсун.

Гамсун у окна, он видит велосипед, замечает дружелюбно и любезно:

— Какой замечательный у вас велосипед, господин Фредриксен. Это...

— «Кресцент».

— Право, жаль, что у меня не было такого велосипеда, господин Фредриксен.

12. ЭЛЛИНОР

В этот сентябрьский день 1945 года Сесилия в первый раз после войны приезжает домой, приезжает домой в Нёрхолм.

На улице дождь, она поднимается по лестнице. Двери настежь.

Все как всегда, но в полном запустении. На полу порванные газеты. Крысиный помет. Возле раковины грязное белье. Великолепный зал, который так много раз фотографировали с королем писателей в центре; кто-то начал накрывать мебель простынями, но накрыл только два кресла и бросил начатое.

Пыль. Паутина. Хотя все-таки чувствуется, что здесь кто-то живет.

И еще бутылки. Много бутылок. Сесилия проходит через комнату.

— Эллинор! — зовет она. — Эллинор! Ты здесь?

Ответа нет.

— Эллинор. Это же Сесилия, твоя сестра.

И вдруг — Эллинор в дверях, ведущих во внутренние комнаты. На ней халат, она давно уже не мылась, волосы висят космами, она похожа на ведьму.

А когда-то она была знаменитой красавицей.

Сестры уставились друг на друга. Обнимутся? Нет, Эллинор идет к дивану, на который тоже накинута простыня, и садится.

— Давненько это было, — начинает Эллинор. — Ничего не говори. Я сама знаю. Водка кончилась, а Брит больше достать не может, так что у меня похмельный синдром. Может, у тебя найдется?

Сесилия молча глядит на сестру.

— Дорогая сестренка, если у тебя что-нибудь есть, давай сюда.

Без единого слова — карманная фляжка.

— Спасибо.

— Я не была здесь десять лет, — без всякого выражения говорит Сесилия.

— Да-а, — деловито откликается Эллинор. — Что-нибудь изменилось?

Ответа нет. Ирония слишком груба.

— А что слышно о наших дорогих родственниках? — спрашивает Эллинор. — Я знаю, что Арилд в тюрьме, а Туре заплатил штраф, а может, он тоже сидит, во всяком случае, он был в Грини... Пожалуй, допью остальное... Он написал письмо, что выкапывает казненных русских пленных и они воняют. А как остальные?

— Маме ведь дали три года, — сухо говорит Сесилия. — Я была у нее, веселого мало. Папу тоже пока не выпускают, но о нем я ничего не знаю. Он говорит, что хочет, чтобы его судили и вынесли приговор.

— Никогда его не станут судить. Они хотят, чтобы он умер своей смертью.

— Они, наверно, считают, что судить его неудобно.

— Но он не хочет умирать своей смертью. Не хочет.

Эллинор поднимает глаза: к стене прикреплена старая семейная фотография. Она срывает ее со стены. Туре. Арилд. Маленькие хорошенькие девочки. В центре изящная Мария. Непринужденный король писателей.

— Проклятая семейка, — беззвучно говорит Эллинор.

Сесилия не отвечает.

— Проклятая благородная семейка, — повторяет Эллинор.

— Завтра я навещу папу в доме для престарелых. Они его держат там, решают, ждать ли, пока он сам умрет, или судить.

— Так он им и умер. Он никогда не сдастся.

И вдруг Эллинор начинает безудержно плакать.

— Передай от меня папе, что не надо ему было быть альбатросом, лучше бы спустился к нам на землю! Передай ему, черту... у-у-у... нет... у-у-у...

Она в отчаянии рыдает.

— Нет, не надо. Нет, Ла, милая, не говори ему этого, милая Ла, скажи просто... скажи просто, что Эллинор шлет ему... скажи...

Сесилия ждет. В комнате уже почти стемнело.

— Скажи просто, что Эллинор... шлет... папе... привет.

13. СЧАСТЬЕ

Дом для престарелых в Ланнвике.

Сесилия останавливается в дверях, она не хочет, чтобы свет падал на ее лицо.

Гамсун поднимает глаза. Он сразу же узнает дочь.

Маленькая комната, ночной горшок, на потолке лампа, кровать, пятна сырости.

Перед Гамсуном книга, но похоже, что он не читает, а пишет на полях книги, они все исчерканы.

— Что они с тобой сделали, папа! Ты весь как-то усох!

Он молча смотрит на нее.

— Как твои дела?

— Надеюсь, твои дела так же хороши, как мои, — говорит он, усмехнувшись.

— Чем ты занимаешься?

— Поджидаю. Я должен пройти психиатрическое обследование, они хотят проверить, в здравом ли я уме. Так что на будущей неделе меня перевезут в психушку. Придется прокатиться, поглядеть, что делается вокруг, даром что я старик.

— Ох, папа.

Он овладевает собой.

— Эллинор передает тебе горячий привет, папа.

Он быстро поднимает глаза.

— Как она?

Ответа нет.

— Понятно, — произносит он. — Понятно.

— Чем ты занимаешься? — повторяет Сесилия.

— Пишу понемножку. Что-то вроде книги. Да нет... просто так... слова.

— Слова?

— Я пятнадцать лет... а может, шестнадцать?.. нет... не писал никаких слов... Так что надо начинать сначала.

— Папа.

— Надо писать. Снова. Собираюсь пройти по старым заросшим тропинкам.

— Ну и что ты при этом чувствуешь?

— Как бы это сказать... Тогда я счастлив.

14. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Такси, снова в сопровождении полиции.

Гамсун выбирается из машины, с любопытством озирается. Это психиатрическая клиника в районе Виндерен, в Осло.

— Ага, — дружелюбно говорит он полицейскому. — Стало быть, это дурдом.

— Психиатрическая клиника, — натянуто поправляет полицейский.

— По-моему, напоминает Нёрхолм, только каменный, — говорит он так же дружелюбно.

Его вводят в дом.

15. ЛАНГФЕЛЬДТ

Он высокого роста, хорошо выглядит, слегка лысоват, авторитетен; Гамсун с первой минуты испытывает к нему неприязнь, но выбора у него нет.

— Мне даже не разрешили надеть брюки! — говорит он громовым голосом.

— Напишите, пожалуйста, вот здесь ваше имя, — говорит Лангфельдт.

Гамсун берет перо в левую руку и, поддерживая ее правой, пишет.

Лангфельдт с интересом подается вперед. Гамсун смотрит на него.

— Рука у меня дрожит уже тридцать лет! И этой рукой я написал много толстых книг.

— Начнем нашу беседу, — говорит Лангфельдт. — Все будет в порядке, мы проведем тщательное обследование, вы ведь интересная личность. Писатели — люди особые. Мне будет интересно изучить, так сказать, духовную анатомию писателя.

Гамсун смотрит на него.

— И долго это протянется?

Лангфельдт успокаивающе улыбается.

— Долго, очень долго. Мы можем приступить?

— Да.

— Так приступим, господин Гамсун. Сколько будет семью девять? Семью девять?

16. МОЛИТВА

Гамсун лежит в темной комнате и разговаривает сам с собой.

Ночь. В дверном проеме ночная сиделка.

— Если бы я только мог получить ответ на мой вопрос. Я ведь знаю, что Он слышит молитвы. Если бы я только мог получить ответ. Я ведь знаю, что Он слышит молитвы. Если бы я только мог...

Сиделка осторожно прикрывает дверь.

17. ЛАНГФЕЛЬДТ

На психиатре всегда белый халат.

Гамсун, громовым голосом:

— Квислинг! Я встречался с ним всего один раз, но я доверял ему. Возможно, меня обвели вокруг пальца, но теперь

с этим уже ничего не поделаешь. Он не должен был так поступать с евреями. Евреи приносят нам пользу, и нам, и всем другим народам. Он не должен был этого делать. Что с ним теперь?.. Наверно, его тоже расстреляют. Да. Я считаю, что меня тоже должны расстрелять. Я не боюсь умереть. Мне все равно. Но сначала, наверно, покончат с Квислингом. А со мной, очевидно, дело затянется.

— Ничего не поделаешь.

— Мы и так уже возимся целый месяц.

Лангфельдт меняет тему разговора.

— Можете вы рассказать мне о ваших взаимоотношениях с женой?

В глазах у Гамсуна страх.

— Нет!

18. КВИСЛИНГ

Ему холодно, он выходит вперед и обменивается рукопожатием с солдатами взвода, который должен произвести казнь.

Построение.

Выстрел. Он не упал, стоит с расширенными глазами.

Наблюдатели расходятся.

Развязывают веревку.

— Боюсь, Квислинг — единственное норвежское имя, которое сохранится в памяти от этой распроклятой войны. Квислинговец.

— Отчего же — у нас еще есть Гамсун.

19. СТРАХ

Лангфельдт спокойно изучает его. Молчит.

— Как долго еще это будет продолжаться? Я уже все рассказал, и опять одно и то же.

— А преследования евреев?

— Я читал только «Афтенпостен», а там об этом ничего не писали. Радио я двадцать лет не слышал, а Марии надоело кричать мне в самое ухо. Да я и не знаю, хотела ли она об этом кричать. Все получилось так скверно.

— Вы раскаиваетесь? Вы говорите, что теперь вы не одобряете нацизма и...

— Я ни в чем не прошу прощения. Что я сделал, то сделал.

Снова пауза.

— Что я сделал, то сделал.

— Да, вы все время это повторяете. Вы считаете, что вас обманули?

— Мужчина не снимает с себя ответственности.

Пауза.

— Вы не хотите коснуться ваших отношений с женой?

Гамсун вдруг, в ярости:

— Мы много лет, можно сказать, не разговаривали друг с другом, мне и в голову не придет говорить что-нибудь о ней, я бы завопил от страха при мысли, что за спиной жены вешиваю ее в какие-то дела!

Лангфельдт вскидывает глаза. Становится вдруг очень внимательным.

— От страха?

Молчание.

— От страха?

И он записывает это слово, как если бы вдруг что-то понял.

20. ЗНАТЬ ВСЕ

Лангфельдт говорит со своим помощником:

— Случай уникален. Великий писатель, который выбрал ложный путь, который сам навлек на себя катастрофу, его духовная жизнь, его нутро, почему он пишет, каков внутренний двигатель писателя? В чем состоит внутренний механизм творчества, даже в падении? Как психиатр, я не должен проявлять мягкотелость, не должен сдаваться. Я обязан знать все. Случай уникален. Его супружество, его сексуальная жизнь — может, тайна кроется именно в этом. Через сто лет литературоведы скажут мне спасибо. Я потребовал, чтобы обыскали его дом. И рассчитываю вызвать главного свидетеля. Расспросить ее. Обо всем.

— Кого «ее»?

— Марию.

— А он это переживет?

— Именно я его и спасу. Он ведь... невменяем. Его нельзя судить. Стойкое снижение умственных способностей. Думаю, история скажет мне спасибо. Но сначала я должен узнать... все.

21. ОБЫСК

Полиция взламывает железную ограду и въезжает на территорию Нёрхолма.

В окне перепуганная Эллинор. Навстречу посетителям выходит возмущенная Сесилия.

Они перетряхивают все. Они ищут бумаги.
Портрет Йоханнеса В. Йенсена с внуком на руках и с надписью Кнуту Гамсуну.
Хаос.

22. ФИЛЬМ

Они оборудовали для Кнута Гамсуна маленький просмотровый зал; Гамсун в хорошем настроении, его сопровождают полицейский и врач. В зале стоят четыре добротных стула, его сажают посередине, натягивают простыню.

— Это что будет, кино? Я не видел фильмов с тех пор, как эта немецкая дама показывала мне картину в Вене. Но сейчас, я полагаю, будет другая картина.

— Другая, — говорит врач.

23. ПЕРЕВОЗКА

Мария между двумя полицейскими, она входит в клинику. Ей навстречу звучит музыка.

Странная стремительность движений.

Музыка — месса Лигети, «Dies irae», отрывок из «Lacrimae».

Так прекрасно, так грозно!

24. LACRIMAE

Они гасят свет.

Начинается фильм.

Это документальный фильм о концлагере.

25. ИСПОВЕДЬ

Лангфельдт спокоен, очарователен.

Мария, как околдованная, сидит на стуле.

— Вы не обязаны рассказывать, но я был бы рад. Вы это знаете. Вы можете помочь ему, рассказав все.

— А кто узнает о том, что я расскажу?

— Никто. Кроме государственного обвинителя.

— Если мой муж узнает, что я вам это рассказала, я никогда больше не смогу жить с ним под одной крышей.

— Само собой, — говорит Лангфельдт. — Можете быть совершенно спокойны. Хотите, мы начнем? С чего мы начнем?

— Не знаю.

— Помните ли вы, когда у него был первый инсульт?

— Не то в тысяча девятьсот сорок первом, не то в тысяча девятьсот сорок втором. Я тогда выступала с лекциями в Германии.

— После этого он сильно изменился?

Она набирает дыхание, и тут ее прорывает.

— После этого? Нет, это случилось раньше. В тысяча девятьсот тридцать седьмом, а может, в тысяча девятьсот тридцать шестом, у нас было ужасное объяснение... я поняла, что он предал свои идеалы. И он больше не захотел жить дома, снял комнату в пансионе «Бундехейм» в Осло, он прожил там целый год. Перед этим он часто уезжал, но это бывало, когда он писал... свои книги! Шедевры! — как их называют. Он не мог их писать... в обстановке, которая...

Она начала и будет продолжать. Теперь ее ничто не остановит.

— Шедевры не терпели, так сказать, моего присутствия. Поэтому он был вынужден переселяться в пансион. Но в тот год в нем начались перемены.

26. ИСТРЕБЛЕНИЕ

В фильме американский диктор, но это не имеет значения, потому что субтитры норвежские.

Открывают концлагерь.

Горы трупов.

Гамсун сидит неподвижно. Каменное лицо.

27. ПОМЕШАННЫЙ

Теперь из нее льются признания, Лангфельдт ее не перебивает. Это долгий монолог на одном дыхании, и, может быть, заметно, что она была актрисой, впрочем, не в этом дело, главное другое: все тормоза рухнули, и она обнажена и беззащитна.

Впрочем, временами самоконтроль возвращается, потом снова исчезает, возвращается и снова исчезает.

— Мы с детьми решили, что он помешался. Он совершенно переменялся, стал трудным, невыносимым во многих отношениях, стал интересоваться молодыми женщинами, изменять мне. Да, да, он мне изменял. Много раз! Много раз, господин Лангфельдт! И в то же время он стал страшно агрессивен по отношению ко мне, утверждал, что я хочу

забрать над ним власть. Забрала над ним власть, говорил он. Смешно. Власть!

— А сам он был ревнивым?

— Когда мы поженились и я была молода, он был страшно ревнивым, стоило мне встретить кого-нибудь на улице, остановиться, просто чтобы поговорить, совершенно невинно, совершенно невинный разговор, и он мог... взорваться! Но так было только вначале. Потом это кончилось. Потом он не ревновал. Это прошло... да, прошло. Кончилось. Кончилось. Не знаю, что случилось. Но это кончилось. Он вообще совершенно неправильно судил о людях. Совершенно неправильно! Даже самым лучшим из тех, что жили в усадьбе, он приписывал совершенно ложные побуждения. И худшим тоже. Ложные. Но я перестала его вразумлять. Он ничего не слышал или не хотел слышать. А когда кричали, чтобы он услышал, приходил в ярость. Мы ведь жиди очень изолированно, и причиной его изоляции была не только глухота. Он находился словно под стеклянным колпаком. И там...

— Была у него мания преследования?

— Н-нет. Вообще говоря, нет. Этого сказать нельзя. Но он очень высоко ставил людей, которые этого не заслуживали, если они... если они подлизывались к нему. Но я перестала его вразумлять.

— Перестали... вразумлять?..

— Перестала! Совсем!

— А во время войны... он жил в большой изоляции?

— Можно сказать, да. Он отказывался слушать радио, он ведь был... ну да, он был глухой. А семья слушала только то, что разрешалось. Это было делом принципа. Так что он прав, когда говорит, что не понимал, что поступает неправильно. Впрочем, он вообще никогда не понимал, если поступал неправильно! Вразумить его было невозможно. Все решал только собственным умом. Говорят, будто это из-за меня... да, будто из-за меня он был расположен к немцам! Ха! Можно подумать, что я когда-нибудь могла на него повлиять. В чем-нибудь. Никогда. Он вообще никогда ни с кем не считался. В особенности со мной. Только если кто-нибудь другой скажет то же, что я, тогда он мне поверит. Он всегда поступал по-своему, тем более когда писал в газетах. А ведь это мне приходилось все переписывать набело. Хотя я сама автор многих детских книг, которые имели большой успех! И переведены на многие языки... и написала их я сама. Но мне приходилось переписывать набело его рукописи. Такую милость он мне оказывал. Переписывать черновики.

28. АПОКАЛИПСИС

Все более страшные кадры.

Лицо Гамсуна становится все более потерянным. Но глаз он не закрывает.

Окружающие смотрят на него с беспокойством.

И все это на фоне неумолкающей исповеди Марии.

29. СЛАВА

Мария все глубже погружается в свою исповедь. Вдруг начинает казаться, что она счастлива, как актриса, которая слишком долго была отстранена от своей роли, а теперь снова получила ее и в нее вошла.

— Когда у нас было радио, он его слушать не мог. Поэтому, когда немцы вторглись в Норвегию, он не имел никакой радиоинформации, мы оба были потрясены случившимся. Потрясены! А потом газеты объяснили нам, что в связи с позицией Англии немецкое вторжение было необходимым звеном в развитии событий. Необходимым! И мы... мы оба! так это и восприняли!

— А ваши отношения друг с другом, фру Гамсун? Вы не должны обходить молчанием то, что... то, что...

— После тридцать седьмого года они... изменились... вообще не было уже никаких отношений. Не было... между нами... доверия. Однажды он нашел и прочитал мой дневник. А я писала о нем. И он сказал, что это ужасно, что он... такой. Сказал, что думал застрелиться, но что я этого не стою. Он ведь любил детей, но считал, что из них ничего не вышло, и потом, все эти несчастья с ними, в них он тоже винил меня. Винил меня. Девочек, когда им исполнилось четырнадцать, мы отослали из дома, а когда потом... тогда он стал винить меня. Во всем, во всем, во всем.

Выпрямляется. Она владеет и презрительной интонацией.

— Он может казаться твердым, как сталь, но, если найти уязвимое место, он становится сентиментальным, плаксивым. Он в высшей степени чувствителен. Начинает мучиться чувством неполноценности. В Англии и в Америке на него смотрели свысока, я думаю, в этом все дело, он был уязвлен, но это... абсурдно. Хотя... конечно... хорошие стороны тоже есть... он очень щедр... раздает направо и налево... держит дом открытым... рассыпает анонимно тысячи крон и радуется, как ребенок, воображая, как будет реагировать получатель. Щедр... только, конечно, не ко мне. Но это дру-

гой вопрос. Просто как ребенок! Он вообще всегда легко раздражался, вспыхивал. Но в последние годы, то есть после тридцать седьмого, когда это произошло, когда...

Лангфельдт выжидает.

— ...когда произошло? Что?

— ...он совершенно перестал владеть собой, потерял самоконтроль, бросался вещами, он плюнул! да, да, плюнул в лицо человеку, который проводил домой Эллинор, и он... конечно, у Эллинор свои особенности. Со мной он вообще вел себя необъяснимо. Обвинял меня, будто я не даю ему есть, грозил мне кулаком, детям приходилось вмешиваться, иногда месяцами отказывался есть мясо, потому, будто бы, что я жалею для него мяса. И потом долгие месяцы вообще не открывал рта. Со мной не разговаривал. Молча ненавидел. А я... я, конечно, тоже ненавидела, какая уж тут справедливость!

— Почему вы не развелись?

— В самом деле, почему? Мы много раз говорили об этом. Я уезжала от него, а он приезжал за мной, и я возвращалась, а он писал мне стихи, чудные стихи... чудные... а потом я не видела ничего, кроме ненависти. Он говорил, что я лишаю его места в доме, чушь, но, правда, когда он уезжал, было так хорошо, я сама вела все хозяйство, а управляющий перед ним заискивал, подхалимничал и уверял, что слушает только его приказаний.

— И что?..

— Когда он уезжал из дома, он писал стихи, а вернется домой, и его словно подменили. Когда он... вначале... когда он был влюблен, он строил грандиозные воздушные замки, мы, мол, будем жить в Рондане, вдвоем, всегда только вдвоем. Это была его мечта — держать меня в карантине. Как под колпаком.

— Он ревновал?

— Нет, только в самом начале. Он никогда не признавался, что ревнует. Но заботился о том, чтобы я не запятнала его имя. Меня словно бы не существовало. Только его имя. Я не имела права навлекать на себя подозрения, чтобы не запятнать его имя. Его славу. По-моему, ему... ему... вообще было на меня наплевать... главное — его слава.

— Но все же он ревновал...

— Вот это-то как раз самое худшее, до меня ему, собственно говоря, дела не было... только... его слава... только...

— Не плачьте. Сделаем паузу. Хотите?

- Нет, нет. Простите.
- Все в порядке?
- Да.
- Продолжим?
- Да.

30. ДЕТИ

Все новые и новые кадры.

Они развертываются на фоне потока ее слов, но, главное, перед глазами Гамсуна. Детские трупы.

И вдруг — дети из лагеря уничтожения.

Гамсун привстает со стула, словно хочет уйти, но не может.

Они крепко держат его.

— Но дети... но...

Они крепко держат его своими мягкими руками.

31. МАТЬ

Что это, ярость?

Отчаяние?

Смятение души?

— А его мать, он был чертовски привязан к ней. Особенно в последние годы все ходил и что-то рассказывал о ней сам себе. На весь дом разносилось. Хочешь не хочешь, а слушаешь. Он все бубнил о ней, о ее самопожертвовании. Самопожертвовании. Что она, мол, о себе не думала, а все для детей! хотя его самого ребенком сбывли с рук и с ним плохо обращались, и мы должны были отослать из дому собственных детей! Не мог оторваться от своей матери, все бормотал и гудел: «Бедная, бедная мама!» Она была слепой на один глаз. Разумная, тихая женщина. Наверно, он за такой женщиной и охотился всю жизнь и думал, что нашел ее во мне. А я уже через несколько лет его страшно разочаровала. Никогда ни в одной женщине он так не разочаровывался. Да, он разочаровался. Разочаровался. Я была не та... не та... Во мне не было... не было...

— Каков же был его идеал? Чего именно в вас не было?

— Не знаю, не знаю... может, это из-за того, что я когда-то была учительницей... но в особенности актрисой... Ох, как он презирал актрис... кроме тех, с которыми он мне изменял... Но я не соответствовала... тому, чего он ждал...

— Успокойтесь, фру Гамсун. Успокойтесь.

32. ОБРЫВ

У него больше нет сил. Фильм продолжает крутиться, но Гамсуна приходится вывести в больничную кухню рядом.

Сиделка подает ему стакан воды. Он сидит на стуле, совершенно уничтоженный, по-детски благодарный за воду, готовый рухнуть.

В дверях организатор просмотра.

— Можем продолжить?

Сиделка в слезах, вне себя, кричит:

— Убирайтесь! Убирайтесь, пока я вас не убила! Вы что, уморить его хотите!

Организатор исчезает. Гамсун молчит, ни слова.

33. СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Лангфельдт подается вперед, улыбается ей почти гипнотически.

— Фру Гамсун, — говорит он.

— Да-а?

— Теперь я должен задать вам некоторые вопросы, касающиеся вашей супружеской жизни.

— Да-а?

— Его половой жизни.

— И я должна отвечать?

— Мне надо составить исчерпывающую карту сексуальной жизни Кнута Гамсуна. Это совершенно необходимо.

— Но... о чем вы будете спрашивать... могу ли я...

— Я не буду спрашивать. Сколько раз, когда, каким образом. Но вы мне расскажете.

— Неужели это в самом деле нужно?

— Фру Гамсун, вы ведь сами этого хотите.

34. ПОСТЕЛЬ

Киносеанс пришлось прервать.

Они ведут Гамсуна к его постели.

Одежду с него не снимают. Он уставился в потолок.

Сиделка перестала плакать. Спрашивает:

— О чем вы думаете?

— Ни о чем, — шепчет он.

35. ОБРЫВ

Лангфельдт подает Марии пальто, любезно ей улыбаясь. А может быть, в его улыбке торжество.

— Мы так устроили, что, прежде чем вас увезут обратно в тюрьму, вы сможете встретиться с мужем, — говорит он. — В знак благодарности. Он, по-моему, ждет вас в гостиной.

Она уставилась на него.

— В знак благодарности?

36. ПРОЩАЙ, МАРИЯ

Нет, он не ждет, но сиделка вводит его, осторожно, словно ребенка, поддерживая под руку.

А в другую дверь Лангфельдт вводит Марию.

И вот они одни. Хотя двери остаются открытыми.

Он произносит совершенно беззвучно:

— Почему ты молчала, Мария?

И вдруг, взревев:

— Ты должна была рассказать! Все!

Растерянная Мария, не поняв вопроса, отвечает невпопад.

И тоже с внезапной яростью:

— Но я рассказала! Правду! Правду, Кнут!

Секунду он озадачен, но вдруг видит подслушивающего Лангфельдта, наполовину скрытого дверью, указывает на него, говорит:

— Что еще ты выдумала? Ты что, говорила с ним?!

Она прикусила язык. Она себя выдала.

Но уже поздно. Гамсун понял. Он так давно ее знает, что вдруг все понял.

— Ты что, сидела здесь и балаболила с этим распроклятым сыщиком от психологии, с этим чертовым пронырой, ты... ты предала меня... я знаю... ты самая...

У него выпадение памяти, она ехидно пытается ему подсказать:

— ...злая?

С ненавистью, но внешне спокойно она предлагает ему на выбор слова:

— Заурядная, лживая? Как же это ты не находишь слов, Кнут, ты же мастер слова. Так, значит, самая злая?

— Ты могла... рассказать... Ты-то знала, что происходит в Норвегии...

— Ты и сам мог об этом узнать. Что ты за баба! Все сваливаешь на меня.

— Но ты молчала! А теперь... выложила...

— Правду, дорогой мой Кнут. А правда штука не сладкая, ее трудно вынести!

— У! ты, ты... ты злой гений моей жизни, ты...

Они, не помня себя, кричат друг на друга.

— Ты погубила мою жизнь!

— О нет, Кнут, это ты погубил мою. Ты. Ты очертил вокруг меня магический круг и... ты сам говорил... о нет... ты говорил, но...

Что это — ненависть, слезы?

— ...твой проклятые слова... магический круг, и я должна была оставаться в нем пленницей, ты от меня отрекся, ты... о, почему... почему... почему я не... почему...

— Злой гений, говорю я. Ты не сказала ничего о том, о чем должна была рассказать. А теперь выкладываешь все о том, о чем никогда не должна была рассказывать.

Они в упор смотрят друг на друга с противоположных сторон комнаты. Вся психиатрическая клиника затаила дыхание. И тогда он говорит совершенно спокойно:

— Ну так вот, Мария, я говорю тебе — прощай. Мы с тобой больше не увидимся.

Он поворачивается и уходит.

Они не увидятся много, много лет. Но они расстанутся не навеки. Еще предстоит заключительный акт.

37. ПРОДОЛЖИМ

Лангфельдт и Кнут Гамсун.

— Это что, необходимо? — спрашивает Кнут.

Он постарел. Сидит поникший, небритый.

— Необходимо.

— Но я уже все рассказал. Больше рассказывать нечего.

— О нет.

— Вы мучаете меня уже два месяца... Неужели это никогда не кончится?

— Я вас не мучаю. Я ваш друг. Может быть, единственный друг.

Гамсун как ребенок.

— Правда?

— Да, я ваш друг. Я могу проанализировать вашу личность. И тогда вы избежите судебного процесса. Глубокое и стойкое психическое расстройство. Вам не придется предстать перед судом.

Гамсун вдруг, взревев:

— Но я хочу, чтобы был процесс! Хочу, чтобы меня судили!

Лангфельдт улыбается, качает головой — какой все-таки ребенок этот старик, как он безрассуден.

— Я ваш друг. И знаю, что для вас лучше. Если вы устали, на сегодня закончим. Но в понедельник в девять! А потом во вторник. А потом...

— В среду? — говорит Гамсун с налетом иронии, которой Лангфельдт не замечает.

— Совершенно верно. В среду.

Гамсун поник.

— Вы отняли у меня все. Мою честь, мою славу, мои книги, мои деньги, мой дом. Мою честь. Мое... творчество. Моих детей. Мою жену. А теперь вы хотите отнять у меня мой процесс.

Молчание.

— Итак, в понедельник в девять часов?

Но Гамсун говорит только:

— Я хочу, чтобы меня судили.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

1. ПОКАЗ

Группа посетителей невелика — всего пять человек. Они говорят по-датски.

— Только одним глазком, — говорит врач. — Никаких фотографий, мне вообще не положено его показывать, но... никаких вспышек.

Он быстро открывает дверь, в комнате на кровати сидит Гамсун.

Они смотрят секунд десять, он неуверенно поворачивается к двери, видит высунувшиеся головы.

Дверь тут же закрывается.

— Невероятно, — говорит один из них. — Подумать только, что этот человек написал «Голод», и «Пана», и...

— Он в относительно хорошем состоянии, и это, — как мы обычно шутим, — несмотря на то, что он прошел длительное лечение в нашей клинике.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

Они позвонили его сыну — ведь, кажется, один из его сыновей все же на свободе.

Дело в том, что с пациентом возникли кое-какие неполадки.

Сиделка вводит Туре Гамсуна в комнату; там возле пациента уже стоят две другие сиделки и двое мужчин, все они задумчиво смотрят на Гамсуна, который лежит на кровати одетый, изможденный, с мокрым от слез лицом, свесив вниз руки, и смотрит в потолок.

— Хорошо, что вы пришли, — едва слышно шепчет сиделка. — Он все время плачет.

— Почему? — спрашивает Туре.

Ответа нет.

— Профессор Лангфельдт говорит, что он с ним покончил, — говорит одна из сиделок.

— Как это покончил? — спрашивает Туре.

— Покончил. Покончил с Гамсуном.

Все уставились на Кнута.

— Теперь его должны отправить в дом для престарелых, — говорит сиделка. — На той неделе напишут заключение. На это ушло четыре месяца, — поясняет она, в упор глядя на Туре.

— И каков же результат?

Гамсун вдруг поворачивается к сыну и говорит:

— Он хочет украсть у меня судебный процесс. Хочет объявить меня слабоумным. Чтобы меня не судили.

Никто не произносит ни слова.

— Но я не был таким до того, как попал сюда. Не был... пока...

Вокруг него молчание.

Он механически повторяет:

— ...пока... до того...

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мария в тюрьме.

Соседки по камере полны сочувствия и проявляют большой интерес к делу. Они читают ей вслух:

— «... генеральный прокурор считает, что по общественным соображениям нет необходимости предъявлять обвинение Кнуту Гамсуну, — Гамсуну исполнилось восемьдесят семь лет, и, по мнению специалистов, он страдает старческим слабоумием. К тому же он практически глух». А еще, — об этом в передовице пишут, совсем озверели, — «он один из злейших изменников родины», пишут они, «его так почитали, им так восхищались, а он предался врагу, в ту пору, когда...».

— Да, да, — холодно говорит Мария. — А что там насчет штрафа?

— Тут говорится... в общем, что он должен отдать все свое состояние государству... и...

— ...и что?

— И Нёрхолм. «Дворец».

4. ДВОРЕЦ

Во дворце Эллинор.

Она поставила на пол зажженную свечу и танцует вокруг нее.

Танцует очень медленно, словно совершает заупокойный обряд.

Темно, грязно, полная заброшенность. Комнаты пусты. И собака Арилда, которая скорбно смотрит на Эллинор.

5. ШТОПКА

Гамсун штопает, бесконечно медленно штопает свои носки.

Туре Гамсун.

— Но ты не сдаешься, папа?

— Я написал генеральному прокурору. Я хочу, чтобы дело передали в суд. Хотя бы насчет штрафа. Но они все тянут и тянут.

— Наверно, надеются, что ты умрешь.

— Я не умру. Но у меня нет адвоката. Никто не хочет.

Придется читать все дело самому.

На столе бумаги.

— Что это?

Гамсун вздрагивает, стараясь прикрыть бумаги, бросает на них носок.

— Это мамины... показания.

— И что в них?

Ответа нет. Потом Гамсун произносит:

— Сила духа важнее счастья.

6. СЛОВА

Начальница выливает содержимое горшка в общее ведро и говорит:

— Вашу жену из тюрьмы выпустили, на время, потому что вашей дочери помощь нужна, так в газете написано.

Ответа нет.

— Дочь, как видно, больна, там написано.

Ответа нет.

— А вы что пишете? Опять роман? Вы, поди, слишком стары для этого?

Он смотрит на нее, с искоркой бывшего очарования:

— Ваша правда. Эта книга будет плодом старческого слабоумия. Но сначала я хочу, чтобы меня судили.

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Мария открывает дверь Нёрхолма.

На ней старая ондатровая шубка.

Поднимается по лестнице в кабинет Кнута.

За отцовским столом Эллинор. Она раскладывает пасьянс. Враждебно оглядывается.

Теперь это взгляд больного человека.

8. ПЕРЕВОЗКА

Эллинор ведут к такси, санитары с трудом с ней справляются.

Рядом с дочерью Мария. Она тоже садится в такси.

Как она постарела!

— Мама, — внезапно обращается к ней Эллинор, сознание которой неожиданно прояснилось, — как все это могло случиться?

И Мария отвечает:

— Не знаю. Вначале все было так хорошо.

9. ЖЕНЩИНЫ

Он сидит на скамейке в парке, к нему подходят женщины, в руках у них домашнее печенье.

— Почему вы сидите здесь, господин Гамсун? Чего вы ждете?

— Жду, чтобы меня судили, — говорит он. — Жду уже два с половиной года.

— Нашли чего ждать, господин Гамсун!

— До этого я не могу умереть, — объясняет он.

— Ну и что, будут вас судить?

— Нет, — говорит он, словно недослышав. Он и в самом деле недослышал. — Адвоката у меня нет, потому что никто не хочет, но я подал апелляцию!

— А для чего вам самому о суде печься?

Он просиял, он не расслышал:

— Печенье? Конечно, с удовольствием попробую! С удовольствием! Спасибо!

10. СИГРИД СТРЕЙ

Адвокат Сигрид Стрей садится рядом с Гамсуном на скамью в парке, она в строгом костюме, она качает головой, говорит:

— Поскольку вы не хотите умереть и хотя все это нелепо, я беру на себя вашу защиту. Мы добьемся судебного разбирательства.

— Лучше, чтобы это случилось, пока я жив, фру Стрей, — зло говорит он.

— Вы никогда не умрете, господин Гамсун. В этом вся проблема.

11. ПРОЦЕСС

Музыка. Как странно — неужели опять Вагнер?

Но только так тихо. Так смиренно.

Гамсун сидит, держа в руках брюки от черного костюма, в котором он являлся к Гитлеру, и черными чернилами закрашивает пятно на них.

Он стоит перед зеркалом.

Приближает лицо вплотную к стеклу.

Проходит через открытое пространство.

Стоит у дверей.

Ему открывают дверь.

Он входит навстречу залпу фотовспышек.

12. ОБВИНЕНИЕ

Прокурор Одд Винье спокоен, невозмутим, он читает текст обвинения.

Членство в Национальном собрании. И то, что Гамсун поддерживал НС статьями в газетах. Заканчивает прокурор решительным требованием: Кнут Гамсун должен заплатить в государственную казну сумму в размере 500 тысяч норвежских крон плюс судебные издержки.

Начинаются прения сторон.

Статьи. Цитаты из них. И еще конгресс журналистов в Вене.

Гамсун прикрыл глаза. Неужели он спит? Он ничего не слышит. Фру Стрей горестно смотрит на него.

Сегодня днем он должен выступить. Что будет?

13. МЯСО ВО ФРИТЮРЕ

Арилд подвигает к отцу тарелку.

— Поешь. Тебе нужно набраться сил, папа. Через полчаса тебе выступать.

Гамсун ест. Он просиял. Говорит:
— По-моему, я еще никогда не ел ничего вкуснее!
И с ясной улыбкой заканчивает трапезу перед своей большой речью.

14. ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Председательствующий объявляет:

— Слово предоставляется Кнуту Гамсуну.

Речь набегаёт волнами. Сначала Гамсун что-то забывает, потом не может разглядеть, что он сам написал своей громадной ручкой, — в зале слишком темно.

Мучительный зачин. Гамсун говорит, глядя в пространство, — он смутно видит тех, кто находится перед ним.

— Ну так вот. Сейчас перечень моих грехов будет рассмотрен по порядку и по совести. Прошу прощения за мою афазию, по причине которой мои слова... выражения, к которым я вынужден прибегнуть... могут оказаться резче смысла, который я в них вкладываю.

Пауза. Он молчит.

— Вообще-то, я уже раньше ответил на все вопросы. Двум полицейским из Гримстада. Это было два... три года... пять лет назад. Потом долгое время меня держали в клинике, чтобы выяснить, не сумасшедший ли я. А может, для того, чтобы *установить*, что я сумасшедший.

В зале неуверенные смешки.

Он плохо видит. Он роется в своих бумагах. Все это чрезвычайно мучительно. Вдруг он яростно отбрасывает бумаги. И теперь говорит с неожиданной силой:

— Я не давал никаких денег Бойцам Фронта и сам не был членом НС, я пытался понять, что такое НС, может быть, я писал в духе НС. Не знаю, потому что не знаю, каков он, этот дух. Может статься, он просочился в мои статьи. Так или иначе, мои статьи у всех перед глазами. Я не собираюсь умалить их значение, принизить их.

Пауза.

— Наоборот. Я и сейчас не отрекаюсь от них. И никогда не отрекался.

Пауза. В зале мертвая тишина.

— Нам сулили, что Норвегия займет высокое, выдающееся место в великом германском сообществе, которое уже начинало складываться и в которое мы все верили, кто — больше, кто — меньше, но верили все. Я, во всяком случае, верил. Потому и писал то, что писал. Я писал о Норвегии, которой предстоит занять высокое положение среди прочих германс-

ких государств Европы. В какой-то степени мне приходилось соответственно писать и об оккупационных властях, это понять нетрудно. У себя в доме я был постоянно окружен немецкими офицерами и солдатами, даже по ночам... От меня ждали большего, чем получили. А я сидел и писал, и в том, что писал, должен был балансировать... я писал...

И снова с большой силой:

— Я говорю это не для того, чтобы оправдаться, чтобы защитить себя. Я вообще себя не защищаю. Я хочу дать разъяснения, довести до сведения уважаемого суда. Никто не сказал мне: то, что я пишу, — ошибочно, никто во всей стране. Я сидел один в своей комнате, предоставленный исключительно самому себе. Я ничего не слушал, я так глух, что со мной невозможно общаться. Мне стучали снизу по дымовой трубе, чтобы я спустился поесть, этот стук я слышал.

Он в смятении делает шаг в сторону судьи, глаза его полны слез.

— Я спускался вниз, а поев, снова поднимался к себе и садился за стол. Так продолжалось месяцами, годами, все эти годы. И никто не подал мне ни малейшего знака. А ведь я не стал дезертиром, мое имя пользовалось в Норвегии кое-какой известностью. Я думал, у меня есть друзья в обоих лагерях, и среди квислинговцев, и среди йёссингов. Но окружающие ни разу не подали мне знака, не дали доброго совета. Нет, окружающие этого старательно избегали. А мои домочадцы и родные редко или, вернее, никогда ничего мне не объясняли, не помогали. Ведь обращаться ко мне они могли только письменно. А это слишком утомительно. Так вот я и сидел у себя наверху. В этих условиях мне только и оставалось, что держаться своих двух газет: «Афтенпостен» и «Фритт фолк». А в них — в них не было сказано, что то, что я пишу, ошибочно. Нет, это было правильно! То, что я писал.

Он топчется на месте, снова берет разбег.

— Почему я писал? Я хотел предостеречь норвежскую молодежь и людей зрелых, чтобы они не вели себя неразумно и вызывающе по отношению к оккупационным властям, ибо это бесполезно и приведет только к их собственной гибели, к смерти. Вот что я писал. Вы теперь торжествуете надо мной, потому что вы победили, но к вам не приходили, как ко мне, целые семьи, начиная от простых и кончая высокопоставленными, а ко мне приходили и оплакивали своих сыновей и братьев, которые сидели в лагерях за колючей проволокой и были приговорены к смерти. Они приходили ко мне, а я ничем не мог помочь, но я посылал телеграммы. Гитлеру. Тербовену. Наверно, в каком-нибудь архиве со-

хранились все мои телеграммы. Их было много, я телеграфировал днем и ночью... время было дорого... речь шла о жизни и смерти моих соотечественников...

Он умолкает, смотрит в пространство пустым взглядом. Может, это все? Нет, не все.

— Но под конец немцы перестали мне доверять. Они считали меня чем-то вроде ненадежного посредника... Гитлер уклонялся... Тербовен не отвечал.

Он механически жуёт губами, потом говорит коротко:

— Я надоел Тербовену. Тербовен мне не отвечал.

И вдруг совершенно беззвучно:

— Я считал, что лучше всего могу послужить моей родине, если буду писать то, что я писал. Если поставлю свое перо на службу той Норвегии, которой предстоит занять столь высокое положение среди прочих германских государств Европы. Эта мысль привлекала меня с самого начала. Более того, я был воодушевлен, одержим ею. Не помню, чтобы она хоть раз оставила меня за все то время, что я просидел наедине с самим собой. Великая мысль о Норвегии: Норвегия, независимая, светозарная страна на окраине Европы!

Он умолкает, потом говорит спокойно:

— Но все, что я делал, оборачивалось не так. Все вышло не так.

15. БЛАГОДАРНОСТЬ

Он ждет, свет в зале меняется, он этого не замечает. Может быть, он кончил?

Нет, он не кончил.

— Все оборачивалось не так. Я потерял уверенность в себе. В особенности я растерялся, когда король и правительство покинули страну. У меня почва ушла из-под ног. Я повис между небом и землей. Я потерял все точки опоры. Я мог только размышлять. Размышлять обо всем. Я напоминал себе, что все великие имена, составляющие гордость норвежской культуры, сначала получали признание в Германии, а потом уже приобретали всемирную славу. Я имел основания так думать. Но мне это вменили в вину. И ни к чему хорошему это не привело. Наоборот, это привело к тому, что в глазах всех, в представлении каждого я стал тем, кто предал Норвегию, Норвегию, которую я хотел возвеличить. Что ж, пусть будет так. Это мое поражение, я должен с этим смириться. Через сто лет все забудется. Забудется даже этот высокочтимый суд. Наши имена, имена всех сегодня присутствующих,

через сто лет будут стерты с лица земли, никто их не вспомнит, никто не помянет. Забудется наша судьба.

Ему трудно держаться прямо. Старика окружает ледяной холод, его руки дрожат.

— Выходит, когда я сидел у себя и писал и посылал телеграммы, стараясь сделать что мог, я предавал мою страну. Я, оказывается, был изменником родины. Пусть будет так. Только я себя изменником не считал и сейчас не считаю. Я живу в ладу с самим собой.

Последнее усилие.

— Я достаточно высоко ставлю общественное мнение. И еще выше ставлю наше норвежское правосудие, однако же не выше моих собственных представлений о том, что хорошо, что плохо, что верно, а что ошибочно. Мой преклонный возраст дает мне право подходить к себе с собственной меркой, и вот она, моя мерка. В какой бы стране я ни жил, я всегда хранил в душе и чтил родину. Я намерен и впредь хранить в себе свое отечество в ожидании окончательного приговора.

Он скоро закончит. Он кланяется суду.

— Теперь я хочу поблагодарить суд. Вот то небольшое, что я хотел высказать, дабы не оставлять впечатления, что раз я глух, то, значит, и нем. Я не пытался себя защищать. Я просто вынужден был перечислить некоторые факты. Остальное подождет. До другого раза. До лучших времен и до другого суда — иного. Когда-нибудь да наступит завтра, так что я подожду. Мне спешить некуда. Живой ли, мертвый, кому какое дело, а главное, какое миру дело до того, что будет с отдельным человеком, в данном случае со мной. Так что я подожду. Придется подождать.

Теперь он кончил. Он спускается в зал и садится.

16. ВИНОВЕН

Сверре Эйде встает, держа в руке отпечатанный на машинке приговор, и читает.

— Суд считает писателя Кнута Гамсуна... виновным. В силу этого он должен заплатить штраф в размере четырехсот двадцати пяти тысяч крон плюс четыре процента ежегодно и должен...

Кнут Гамсун спит. Он сидит на своем стуле, слегка склонив голову в сторону адвоката Сигрид Стрей, он устал, он спит, на его губах улыбка облегчения.

Он наконец добился приговора.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

1. ДВЕРИ ТЮРЬМЫ

Август 1948 года.

Мария выходит из дверей тюрьмы с сумками в руках, на улице ее ждет Туре.

— Наверно, надо сказать: «Добро пожаловать на свободу, мама».

— Два года и сорок шесть дней я вязала носки, — сухо говорит она. — Очевидно, они решили, что носков с них хватит.

— Да, да, — говорит Туре. — Мы едем ко мне.

Она останавливается и смотрит на него.

— А не в Нёрхолм?

Ответа нет.

— Значит, папа не хочет, чтобы я вернулась домой, — беззвучно говорит она. — Я так и знала.

— У нас в задней комнате есть диван, — уклончиво замечает Туре.

— Я так и знала, — повторяет она.

2. ТЕЛЕФОН

Мария старается овладеть собой, но рука ее дрожит и с трудом удерживает телефонную трубку.

Открытая телефонная кабина; вокруг люди, они узнают Марию.

— С тех пор, как я вышла из тюрьмы, я хотела спросить вас... вы обещали, что мои показания будут совершенно конфиденциальными, а на деле... Кнут их прочел! И вы разослали их всем, юристам, редакторам газет... всем!

— Фру Гамсун, — говорит Лангфельдт, — я не мог помешать...

— Вы говорили, что это конфиденциально! Что их увидит только генеральный прокурор! А теперь они повсюду, и Кнут... и Кнут прочитал... Вы загубили мою жизнь. И его жизнь!

— Сожалею, но не в моей компетенции было помешать, чтобы...

— Мой муж отнял у меня все, он выгнал меня из Нёрхолма, мне шестьдесят шесть лет, у меня большое сердце, а все ваша вина! Как вы могли...

— Судя по тому, что я узнал о ваших отношениях с мужем, вряд ли что-нибудь так уж сильно изменилось.

— Ничего вы не знаете... ничего не понимаете... в человеческих отношениях!

— Вообще-то, это как раз моя профессия, фру Гамсун.

— Быть женой Кнута Гамсуна не означало вести райскую жизнь, но он не выгонял меня из дому! Это вы сделали из меня предательницу, ищейка проклятая, сыщик от психологии!

Он вешает трубку. Взволнованно дышит. Но вполне владеет собой.

А Мария безудержно плачет, сжимая трубку в руке.

3. ЗИМА

Гамсун, спотыкаясь, бредет по дороге, по которой он обычно совершает свою прогулку.

Зима. Снежная слякоть.

Мальчишки бросают ему вслед снежки. Он этого не замечает.

4. ИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательство «Гюлдендал». Странная встреча. Они ненавидят друг друга, они кое-чем друг другу обязаны, но платить долги не хотят. Харалд Григ и Мария.

— Мой муж заметил, что вы не желаете иметь с ним дело. Ну а я... я особа бесчувственная. Вот я и пришла сюда.

— Мы оказались по разные стороны в этой войне. Я скорблю об этом больше, чем о... о чем-либо...

— Надеюсь, вы не расплатесь, господин Григ. Но Гамсун выкупил когда-то у Дании издательство «Гюлдендал» для Норвегии. Так что издательство ему кое-чем обязано.

Молчание.

— Надеюсь, пребывание в Грини не отразилось на вашем физическом состоянии, — говорит она ласковым голосом.

— Я знаю, — холодно отзывается он. — Вам незачем намекать. Благодарю вас.

— Благодарить не надо. Скажите лучше, что издадите книгу, которую сами считаете шедевром.

Григ в ответ только вздыхает.

— Дело не в том. Есть общественное мнение Норвегии.

— Вы ведь прочли рукопись.

— Непостижимо. Что за человек! Утверждали, что у него снижение умственных способностей. А он, судя по всему, сидел себе, строчил без отдыха своей громадной ручкой и создал шедевр. Но мы не можем его издать.

— Для него это будет тяжелый удар.

Григ задумчиво взвешивает на руке рукопись.

— «На заросших тропинках». Слишком болезненная проблема. Вся Норвегия взорвется, если предатель родины... словом... вы сами знаете. После его смерти!

— Он хочет, чтобы книга вышла сейчас.

— После его смерти.

— В таком случае он не желает умирать. Он уже обсудил это с Богом. И говорит, что они пришли к соглашению.

Григ — молчание и безнадежность.

— Попробуйте за границей.

А она произносит самым ледяным тоном, на какой способна:

— Поскольку этот предатель родины — убежденный норвежский патриот, он предпочитает, чтобы книга увидела свет в Норвегии.

5. ЛЕТО

Крыша сарая в Нёрхолме просела, конек крыши сломан, но никто не сделал попытки что-нибудь починить.

Гамсун неподвижно стоит против сарая.

Из-за его спины появляется Арилд.

— Что ты делаешь, папа?

— Просто стою и смотрю на самого себя.

6. ДОМ

Сад в Нёрхолме.

Гамсун в ярости, он все время хлещет палкой траву. Сесилия смотрит на него почти со страхом.

13 июня 1949 года.

— Неужели ты для того приехала сюда, чтобы мне это сказать! «Возьми домой маму». Милый друг. Ты этого не понимаешь. Я никого не могу взять в дом.

— Папа, может, ты все-таки...

— Я сказал твоей матери, что никогда в жизни не буду жить с ней под одной крышей! По-моему, все ясно и понятно? Я предлагал, чтобы меня поместили в дом для престарелых. Но...

Он вдруг безнадежно уставился в пространство.

— Жаль маму, и тебя, и Эллинор, и мальчиков, для вас было бы лучше, если бы я отправился на тот свет. Мне и самому невесело. Но я хотел дожидаться выхода книги, а потом уже умереть. Да только вот никто не решается ее издать.

— Я больше ничего не стану говорить, папа. Я ведь только спросила.

И он отвечает так, словно услышал ее слова и отзывается на них:

— Я так поглупел и почти ничего не вижу.

7. НА ЗАРОСШИХ ТРОПИНКАХ

Теперь он говорит сам с собой очень громко. Точнее сказать, оглушительным голосом. Где бы он ни находился.

Собака — удивительный слушатель: все чувствует, все понимает, всегда соглашается.

— Они хотят, чтобы я в ней кое-что вычеркивал! Если я вычеркну имя ищейки-психолога, они издадут ее хоть завтра. Но я не стану вычеркивать. Ни единой строчки!

Собака горестно качает головой.

— Что ты сказала?

Замечает свой промах. Он еще отнюдь не выжил из ума. Всплескивает руками.

— Маленькая тонкая книжица! Неужели она так опасна?

8. ТРОПИНКА

Книга вышла 28 сентября 1949 года.

Кнут и дети. Лежат развернутые газеты.

Он сидит и ощупывает книгу, нюхает сс.

— Неужели это правда? — произносит он.

— Правда.

— Что о ней говорят? — спрашивает он.

— Все, что только возможно, начиная с того, что это шедевр, и кончая тем, что это непростительное отступление от твоего старческого слабоумия.

Кнут нетерпеливо бурчит:

— Да нет же, что говорит Мария?!

Они безмолвно глядят на него. Он откладывает книгу и идет к своему пасьянсу.

9. ОСЕНЬ

Здесь, в этой пещере, он сживал много раз; собственно говоря, это не пещера, а углубление в отвесном склоне горы.

Он глядит на долину.

Бормочет громко и укоризненно:

— Я задал Тебе вопрос, Господи! Теперь Тебе пора мне ответить! Я ведь спрашивал Тебя столько раз!

Умолкает. Какой он глубокий старик!

— Я снова спрашиваю, Господи! В последний раз! Должен ли я???

10. ВЫЗОВ ДОМОЙ

Арилд и Брит уже заснули, когда дверь распахивается. В освещенном проеме стоит Кнут в длинных кальсонах, нащупывает рукой выключатель, зажигает свет в спальне.

— Что случилось? — спрашивает проснувшийся Арилд.

— Займись тем, чтобы мама вернулась домой, — говорит Гамсун.

— Что?

— Займись тем, чтобы мама вернулась домой, — повторяет Гамсун, уже с раздражением.

— Вот как. Ладно.

— Сейчас же!

— Но уже час ночи, папа!

— Займись этим немедленно. Можешь позвонить на телеграф.

Арилд молча глядит на отца, белобородого, в белых кальсонах.

— Хорошо, я позвоню, папа. Позвоню немедленно.

11. ТЕЛЕГРАММА

Мария получает телеграмму.

Читает.

Ее лицо.

12. ТЕБЯ ДОЛГО НЕ БЫЛО

Арилд и Брит ждут на пристани, с ними малыш Эсбен.

Потом они выходят из автобуса у ограды.

Совершенно заросший сад. Мария поднимается по лестнице. Входит в дом.

Снимает пальто. Поправляет волосы перед зеркалом.

Она готова.

Она подходит к нему. Здесь все трое — Гамсун перед своим пасьянсом, на стене Достоевский и Гете. Она видит, что его лицо почти совсем заросло бородой.

Она садится с ним рядом. Он берет ее за руку.

Так они сидят некоторое время. Потом он говорит:

— Тебя долго не было, Мария. Все это время мне не с кем было говорить, кроме Бога.

Она не отвечает — она не может говорить. Она сидит молча, держа его руку в своей.

Его звали Кнут. Ее звали Мария.

13. ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

Они сидят под золотым дождем, сарай еще не починили, вокруг них полное запустение.

Но это весна, скоро наступит лето, золотой дождь в цвету.

Мария плачет у него на плече.

— Не плачь, Мария, — говорит он, — это не стоит твоих слез. Скоро мы умрем, жизнь так коротка, и все же иногда она кажется слишком долгой.

— Я не хочу умирать. Если бы ты не оглох и не ослеп, она не казалась бы тебе слишком долгой.

Он не слышит, она кричит ему в ухо:

— Если бы ты не оглох и не ослеп, ты не говорил бы, что она слишком долгая!

— О-о! — говорит он. — Мы все глухи и слепы в этой короткой жизни. Только не плачь, от этого так больно. Все случается в этой жизни — большое и малое. зуб выпадает изо рта. Человек из цепочки. Птица малая падает на землю.

14. ПИСЬМО

Мария пишет письмо Сесилии.

Тем временем сменяются кадры. Гамсун лежит. Гамсун пытается умыться. Гамсун идет. Гамсун смущенно смотрит на испачканные кальсоны.

Старение.

«Дорогая Сесилия. Папа так счастлив, что я дома. Он твердит мне об этом каждый день. Но с ним трудно, он отнимает много часов в сутки. Дорогая моя Ла, не можешь ли ты прислать мне какое-нибудь снотворное? Я больше не решаюсь принимать морфий. Здесь все по-прежнему, электричества у нас нет, папа по ночам стонет, шумит, громовым голосом разговаривает с Богом. Заснуть не удастся. Он лежит и ревет, как старый морской лев. Я кормлю его простоквашей, в которую вбиваю желток, и еще он любит кофе с печеньем».

15. КОРАБЛЬ, УСЫПАННЫЙ ЦВЕТАМИ

Еще одно письмо, по нему кадры:

«Я хочу рассказать тебе, что нашла затерявшиеся письма 1908—1909 годов, как раз когда мы познакомились. Они были обернуты в бумагу, и на ней написано «Письма Марии». Но это были его письма ко мне. Сегодня я сидела и читала их. Было так грустно, я думала о большом, усыпанном цветами корабле, который затонул навеки.

Я читаю, а папа в это время зовет меня. Говорит, что не может без меня жить. Так вот встречаются слова, то же самое написано в письмах, которые я сегодня прочла. Слова встречаются, а между ними пролегло сорок лет».

16. КАТАЛОГ

Его усадили за красивый стол там, где когда-то была такая красивая гостиная; фру Стрей с некоторой торжественностью усаживается с ним рядом, держа в руке издательский каталог.

— Я просто хотела показать вам осенний каталог «Гюлдендала», — говорит она. — Они будут издавать Собрание сочинений и...

Он встрепенулся.

— Значит, они снова будут издавать мои книги, хотя я... предатель родины???

— Здесь сфотографированы обложки Собрания сочинений, — продолжает она. — И еще взгляните, какой красивый портрет, ваш, господин Гамсун, и...

Кнут держит каталог в руке, каталог дрожит, Кнут подносит его вплотную к глазам. И вдруг начинает плакать, он весь трясется, он не может справиться с собой.

— Значит, они снова будут печатать... какую весть вы принесли! Какую весть вы принесли, фру Стрей... Какую весть...

Все смотрят на него.

— ...что мне придется дожить до этого... — рыдает он, — что мне придется дожить...

Он откладывает каталог, снова берет его в руки.

— Я слишком стар... нервы не выдерживают... простите... не могу совладать с собой... я не мог себе этого представить... не мог представить...

Откладывает каталог. Опять берет его в руки.

— Теперь я могу только плакать... но что я доживу до того, что они снова станут печатать...

Мария тоже не может справиться с собой.

— Ему было очень тяжело, — беззвучно говорит она. — Но теперь он так счастлив.

17. ЭЛЛИНОР

Эллинор раздобрела, на вид ей можно дать все шестьдесят. Она сидит на кровати в пижаме и молится, сложив руки:

— О Господи, если бы я только могла справиться с чувством голода, избавь меня от снов о еде, Господи, почему Ты не можешь избавить нас от еды и от жизни, и почему...

Мария выходит из комнаты дочери. Спускается вниз, в сад, где Кнут сидит на скамье под золотым дождем. Он улыбается ей.

Она садится. Обращаясь к нему, она говорит шепотом, он видит, как шевелятся ее губы, но он ведь ничего не слышит.

— Ох, Кнут, ее опять надо отправить в больницу, что мы наделали, Кнут! Я рухнула, Кнут, что мы наделали с нашими крошками, меня давит бремя вины, не должна была я так судорожно цепляться за этот брак. Как мы воспитывали наших детей, зачем мы отсылали их из дома? Эллинор, бедная прелестная кругленькая малышка Нолле, и Арилд, которого послали на войну, и я не могу помочь своим детям, а когда-то все было так хорошо, Кнут, так хорошо, и я так безумно тебя любила, Кнут, это был точно корабль, усыпанный цветами, и ты пришел ко мне... пришел ко мне и сказал, что у меня такие красивые руки... и я так безумно тебя любила...

18. РУКИ

Воспоминания, в черно-белом.

Он садится против нее в Театральном кафе. Она совсем молодая, красивая, да и он еще очень молод, он берет ее руки в свои и говорит:

— Какие ангельские ручки!

И это все как в раю.

19. ПОЦЕЛУЙ

Он видит ее слова, но не слышит.

И он улыбается счастливой улыбкой.

— Ты не поцелуешь меня, Мария? — спрашивает он.

Золотой дождь, тишина. И она целует его, очень ласково, очень тихо. И он закрывает глаза.

— Говори со мной еще, — просит он. — Мне в жизни не с кем было поговорить, кроме тебя, Мария.

Она кладет голову ему на плечо, и это и впрямь как в раю.

20. СМЕРТЬ

Он лежит в своей постели.

Ночь, Мария сидит с ним рядом.

Она пытается приподнять его голову, чтобы положить ее как следует, но он открывает глаза и произносит:

— Не надо, Мария, я умираю.

И умирает.

21. ГРОБ

Немногие проводили его к месту последнего упокоения, только члены семьи, семьи, которую он создал и которая рухнула на его глазах.

Другие, очевидно, не захотели прийти. А может, их не пустили.

Часовня, горящие свечи.

Гроб покрыт норвежским флагом — этому никто помешать не мог.

За гробом идут пятеро. Мария и четверо детей. Больше никого.

Семья снова в сборе.

Музыка.

Под конец Мария, прихрамывая, подходит к гробу, останавливается, кладет на гроб руку. И произносит последнюю речь:

— Вот странник и завершил свой путь.

Долгая пауза. Она почти шепчет, впечатление такое, будто она наедине с умершим:

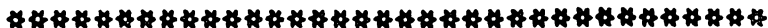
— Не всегда было легко идти с тобой в ногу, любимый. Иногда тебе приходилось ждать меня, иногда ждала тебя я, а случалось, что наши пути разводили нас в разные стороны. Но так или иначе, мы всегда вновь находили друг друга.

Пауза.

— Прощай, мой Кнут. И спасибо за компанию.

Музыка — «Весна» Грига. Гроб опускают в землю.

КОММЕНТАРИИ



В шестой том Собрания сочинений Кнута Гамсуна включены его рассказы, пьесы, книга воспоминаний «На заросших тропинках», а также сценарная повесть шведского писателя Пера Улова Энквиста «Гамсун». В составлении комментария к книге «На заросших тропинках» принимала участие переводчица Нора Киямова.

РАССКАЗЫ

На рубеже XX века Гамсун обращается к малому жанру. «Я устал от романа, а к драме всегда испытывал презрение», — пишет он в 1898 году, вскоре после выхода в свет романа «Виктория». В этих словах слышны отголоски душевного кризиса, который писатель переживает в середине 90-х годов. Перенапряжение творческих сил вызывает у Гамсуна «проблемы с нервами», о которых он постоянно сообщает в письмах друзьям. В докладе «О переоценке своего отношения к писательству и писателям» (1896) он пишет о своем разочаровании в писательском ремесле. Однако постепенно ему удается выйти из кризиса. Одним из свидетельств возрождения у Гамсуна интереса к художественному творчеству становится поиск новых литературных форм.

В период с 1897 по 1905 год Гамсун издает три сборника рассказов: «Сиеста», «Лесная поросль» и «Бурная жизнь». Многие из рассказов, включенных в эти сборники, публиковались ранее в периодической печати, но теперь подверглись значительной переработке. Однако бóльшая часть рассказов была написана специально для этих изданий. К числу самых ранних принадлежит рассказ «На гастролях», написанный еще в 1886 году, когда начинающему писателю приходилось браться за любую работу, чтобы обеспечить себе пропитание. Как и «На гастролях», почти заново был переписан рассказ «Плут из плутов», увидевший свет почти одновременно с рассказом «На гастролях» (в первоначальной редакции «Грех»). Рассказ «Отец и сын» явился переработкой созданного Гамсуном в 1889 году рассказа «Азарт». Рассказ

«Голос жизни» был написан по просьбе немецкого издателя журнала «Симплициссимус» и опубликован в нем в 1896 году. Датское издание этого рассказа в журнале «Баста», задуманного как почти полный аналог «Симплициссимуса», вызвало скандал и подверглось цензуре (на русский язык перевод полного текста рассказа был осуществлен А. Блоком, переведшим его с немецкого языка, и включен в состав пятитомного собрания сочинений Гамсуна, изданного в 1910 году в качестве приложения к журналу «Нива»). Юмористический рассказ «Совершенно обыкновенная муха средней величины» впервые был напечатан в рождественском альманахе в 1895 году.

Относительно незначительные по количеству, рассказы Гамсуна свидетельствуют о виртуозном владении писателем законами этого специфического литературного жанра. Острый динамизм и концентрированность действия в рассказах Гамсуна достигается четко прочерченной психологической интригой. В центре внимания автора — душевные драмы, человеческие чувства, непредсказуемость и противоречивость внутреннего мира человека, всепоглощающая сила страсти, спонтанные, трудно объяснимые реакции выбитого из колеи привычного существования индивида. Наиболее характерны в этом отношении психологические рассказы, посвященные теме любви и смерти («Рабы любви», «Дама из “Тиволи”», «Кольцо», «Голос жизни», «Александр и Леонарда»). Как и в романах, яркой особенностью повествовательной манеры Гамсуна в жанре короткого рассказа является мастерское использование иронического подтекста. Показательно, что даже в тех случаях, когда Гамсун ведет повествование от первого лица («Царица Савская», «На улице», «Плут из плутов», «Совершенно обыкновенная муха средней величины», «На гастролях», «Тяжелые дни», «В клинике»), объектом авторской иронии часто становятся психологические особенности личности рассказчика.

Рассказы Гамсуна, связанные единством идей и стиля, по своим художественным достоинствам, психологической глубине и музыкальности звучания, а также по тому широкому резонансу, который они вызвали в европейской читательской среде, прежде всего в Германии и России, где у писателя было множество горячих поклонников, занимают выдающееся место в истории норвежской литературы.

Стр. 7. *Царица Савская* — легендарная царица Сабейского царства в Южной Аравии. Согласно ветхозаветному преданию, савская царица, услышав о славе израильского царя Соломона, пришла в Иерусалим испытать его загадками (Третья книга Царств, 10, 1—13).

Стр. 8. ...*норвежец, политический противник*. — После отделения от Дании и принятия Эйдсвольской конституции в 1814 г. Норвегия, обладая значительной долей экономической самостоятельности, до 1905 г. оставалась в политической зависимости от шведской монархии, что создавало напряженные отношения между норвежцами и шведами.

Стр. 9. ...*шведская миля практически бесконечна...* — Шведская миля равна 10,6 км.

Стр. 1—12. ...*перевод «Царя из рода Давидова» Инграма*. — Имеется в виду книга ирландского писателя и ученого Д. К. Инграма (1823—1907).

Кронберг Юлиус (1850—1921) — шведский живописец.

Стр. 19. ...*Кальмар... название казалось мне знакомым...* — Кальмар — город и порт в Швеции. В ходе Кальмарской войны (1611—1613) (названной по имени города-крепости) между Швецией и Данией за господство на Балтийском море Кальмар был взят датчанами.

Битва при Кальвиинне — битва периода гражданских войн в Норвегии (конец 70-х — начало 80-х гг. XII в.), состоявшаяся в 1179 г. между претендовавшим на норвежский престол самозванцем Сверриром и ярлом Эрлингом Кривым. В ходе битвы войскам Сверрира удалось одержать победу, а несколькими годами позже он стал королем Норвегии.

Битва при Вёрте — сражение во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.

Стр. 20. *Нильс Юль* (1629—1697) — датский адмирал, одержавший ряд побед над шведским флотом во время т. н. датско-шведской «войны за Сконе» (1676—1679).

Густав-Адольф — Густав II Адольф (1594—1632), король Швеции с 1611 г. Вел войны с Данией, Россией, Польшей, захватив обширные территории; участвовал с 1630 г. в Тридцатилетней войне на стороне антигабсбургской коалиции, погиб в сражении при Люцерне.

Кольбейн Сильный — дружинник норвежского короля Олава Харальдссона (Святого; 1015—1028), участвовавший, согласно «Саге об Олаве Святом», в процессе христианизации Норвегии.

Эйнар — Эйнар Брюхотряс, согласно «Саге об Олаве, сыне Трюггви», лучший стрелок из лука в дружине норвежского короля Олава Трюггвасона (995—999). Герой рассказа путает имена участников различных событий в двух разных сагах. Так, не Кольбейн Сильный, герой «Саги об Олаве Святом», а король Олав Трюггвасон, герой «Саги об Олаве, сыне Трюггви», обращается к Эйнару с вопросом во время боя с дружинниками датского конунга Свейна, когда вражеская стрела разламывает надвое лук Эйнара.

...битва... на копенгагенском рейде! — Имеется в виду знаменитое сражение датского флота с эскадрой адмирала Нельсона, произошло 2 апреля 1801 г.

Стр. 21. *Кальмарский замок* — замок-крепость в Кальмаре, построен в конце XIII в., перестроен около 1750 г., отличается массивной компактной конструкцией и сдержанным декором.

Стр. 23. *Ябек Серен* (1814—1894) — школьный учитель, с 1845 г. депутат стортинга (норвежского парламента), в 60-е гг. возглавил в нем крестьянскую оппозицию, один из основателей буржуазно-демократической партии «Венстре» («Левой»).

Стр. 25. *«Тиволи»* — здесь: увеселительный городской парк.

Стр. 26. *Гаустад* — известная в Норвегии психиатрическая больница.

Стр. 27. *Улица Карла-Юхана* — главная улица в Осло, названная в честь норвежского короля Карла III Юхана (1763—1844).

Христианиа. — Так назывался с 1624 по 1924 г. Осло.

Стр. 31. *«Союз молодежи»* (1869) — комедия Генрика Ибсена (1828—1906), одно из самых популярных произведений норвежского драматурга.

Стр. 34. *Вика* — район в Христиании, пользовавшийся дурной репутацией.

Стр. 35. *Магазин Блумквиста* — название художественного салона на главной улице в Христиании.

Стр. 62. *Хьелланн* Александр (1849—1906) — классик норвежской литературы, к которому на раннем этапе творческой деятельности Гамсун относился довольно критически, считая, что его произведениям недостает психологической глубины.

Стр. 64. *Рабочий союз*. — В 1848 г. в Драммене был создан первый в Норвегии Рабочий союз под руководством М. Тране (1817—1890), защищавшего интересы социальных низов.

Стр. 79. *Крез* (595—546 до н. э.) — царь Лидии с 560 г., богатство которого вошло в поговорку.

Стр. 86. *Баккара* — здесь: название карточной игры.

Стр. 101. *Кафе «Бернина»* — кафе в центре Копенгагена, в котором в 1880 — 1890-е гг. собирались молодые писатели и художники.

Стр. 110. *Конфирмация* — у католиков и протестантов обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста.

Стр. 123. *...работал в Чикаго кондуктором*. — Во время первого пребывания в Америке (1886—1888) Гамсун служил кондуктором трамвая, работал на ферме, сотрудничал в эмигрантских норвежских изданиях.

Стр. 131. *С именем... пастора Лунде...* — Лунде Херман (1841—1932), священник, имевший тесные связи с писательской средой; либеральные взгляды Лунде вызывали недовольство церковных властей.

Стр. 132. *...подавить восстание на Кубе.* — Имеется в виду национально-освободительное восстание на Кубе против испанского колониального гнета в 1895—1898 гг.

...о вторжении в Трансвааль. — Имеется в виду англо-бурская война 1899—1902 гг., в результате которой республика Трансвааль, созданная на территории Южно-Африканской республики в 1856 г., была во второй раз (первый раз в 1877 г.) аннексирована Великобританией.

Лариса, Домокос, Андиниза, Фессалия — названия городов и исторических областей в Греции.

Стр. 133. *Уорд Мэри Хамфри* (1851—1920) — английская писательница.

Стр. 135. *«Берлингске тиденде»* — название консервативной датской газеты.

Босх Иероним (ок. 1460—1516) — нидерландский живописец, в работах которого причудливо соединяются черты средневековой фантастики с фольклорными и сатирическими тенденциями.

Виктория (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 г.

Стр. 136. *Улица Кристиана-Августа* — улица в Христиании, названная в честь принца Кристиана-Августа Аугустенбургского (1798—1869).

ПЬЕСЫ

Творчество Гамсуна-драматурга пришлось на 1895—1910 годы. За это время им было написано шесть пьес: драматическая трилогия об Иваре Карено, названная по имени главного героя («У врат царства», 1895; «Игра жизни», 1896; «Вечерняя заря», 1898), лирико-эпическая драма в стихах «Мункен Венд» (1898), психологические любовные драмы «Царица Тамара» (1903), «Голос жизни» (1910). Как и в художественной прозе, Гамсун в драматических произведениях стремится к исследованию психологии личности. На его взгляд, даже Ибсен, опыт которого имеет для него немаловажное значение, не сумел в этой сфере «подняться намного выше других». Гамсун полагает, что со времен Мольера и Шекспира «драматическое искусство не претерпело радикальных изменений», хотя «в эпоху Шекспира люди были менее сложны и противоречивы, чем сейчас». Современный же человек вовлечен в «нервный» темп жизни, думает, чувствует и представляет себе все иначе, чем прежде.

Он «почти в буквальном смысле непоследователен» в своих действиях и поступках и должен изображаться по-новому. Поэтому главная задача писателя, не только прозаика, но и драматурга, — и в этом Гамсун глубоко убежден — исследовать сложный мир современного человека, проникнуть в самые потаенные уголки его души.

Наиболее выдающимся психологом среди драматургов Гамсун считает Стриндберга. По его словам, Стриндберг глубоко осознал «всю ущербность понимания психологии личности в современном искусстве» и в своих пьесах предпринял дерзкую попытку изобразить «душевно раздвоенного, дисгармоничного индивида». «Подлинным психологизмом», по мнению Гамсуна, отличается и поздняя драматургия Ибсена. Пробуждение в героях «Женщины с моря» и «Строителя Сольнеса» «каких-то странных, непонятных мыслей и ощущений» Гамсун воспринимает как безусловное проявление «необъяснимых тайн душевной природы человека».

Впрочем, неоромантическую по сути концепцию искусства, сосредоточенную на исследовании «загадок и тайн» душевной жизни человека, наиболее последовательно Гамсун воплотил в своей лирической прозе. В драматургии же главным творческим достижением писателя стала реалистическая психологическая драма, прежде всего трилогия об Иваре Карено, хотя черты неоромантической драмы отчетливо видны во второй части трилогии, в пьесе «Игра жизни», а также в «Мункене Венде» и в «Царице Тамаре».

У ВРАТ ЦАРСТВА

Над первой частью драматической трилогии об Иваре Карено, пьесе «У врат царства», Гамсун работал с января по апрель 1895 года в Париже. К этому времени Гамсун уже был прославленным автором. Его «послужной список» составляли пять романов, рассказы, книга путевых впечатлений, множество литературно-критических статей и рецензий. Изнуряющий творческий труд, неустроенность и одиночество привели к тому, что к весне 1895 года он стал испытывать невероятную усталость. 4 апреля 1895 года, за две недели до завершения работы над пьесой, в письме к немецкому издателю А. Лангену Гамсун жалуется на полный упадок сил, буквально через каждые полчаса работы он вынужден подолгу отдыхать. «Похоже, со мною все кончено. Я работал на износ и надорвался. Настроение отвратительное, оно

такое же пасмурное, как эти пасмурные дни в Париже. Я ни с кем не разговариваю».

В начале 1895 года Гамсун покидает Париж и возвращается в Норвегию в надежде поправить свое пошатнувшееся здоровье.

Драматическую трилогию об Иваре Карено Гамсун посвящает широко распространенной в скандинавской литературе теме отступничества, прослеживая духовную эволюцию героя от радикализма молодости до обывательского конформизма на пороге старости. В первой части трилогии, в пьесе «У врат царства», Гамсун создает яркий образ молодого ученого, которого никакие жизненные невзгоды не могут заставить изменить своим идеалам. В то же время в его духовном облике Гамсун воплощает многие из своих собственных антидемократических убеждений. В духе ортодоксального нищестанства Карено обрушивается на учение о «господстве большинства», он преклоняется перед сверхчеловеком, «тираном и властелином», провозглашающим себя «предводителем земных орд».

Противоречие между объективным содержанием образа героя, интеллигента и труженика, и его откровенно реакционными взглядами отметил Г. В. Плеханов. Он писал: «Карено обнаруживает замечательно хорошее качество, стремясь к замечательно дурной и вдобавок еще к совершенно нелепой цели. И это противоречие больше всего вредит художественному достоинству пьесы». Однако это противоречие в существенной степени снимается тем, что Гамсун акцентирует не столько взгляды своего героя (в этом плане пьеса как раз наименее интересна), сколько его отношение к окружающему миру. Трагедия героя заключается, по сути, в том, что радость наслаждения жизнью Карено приносит в жертву мертворожденным абстракциям. Поэтому не случайно, что в «философе» Карено так много сходного не с живым соколом, а с «чучелом птицы», также символична царящая в его доме «мертвая тишина» и т. п. В первой части трилогии Карено еще не подвергается (как это случится в третьей части, в «Вечерней заре») безоговорочному осуждению, однако его одиночество — это справедливое возмездие за измену живой жизни.

«У врат царства» — одно из лучших произведений в европейской драматургии. Яркой особенностью пьесы являются необычайно точные и острые психологические характеристики действующих лиц. Каждый из персонажей обладает ярко выраженной индивидуальностью. По словам А. М. Горького, «никто до Гамсуна не умел так поражающе рассказывать о людях, якобы безличных и ничтожных, и никто не умел так убедительно показать, что безличных людей не существует».

Пьесе «У врат царства» с успехом ставил на сцене Национального театра Норвегии сын выдающегося норвежского писателя Б. Бьёрнсона, актер, режиссер и театровед Бьёрн Бьёрнсон (1859—1942). В России успешную постановку пьесы осуществил на сцене Московского Художественного театра К. С. Станиславский (1863—1938). Лучшим исполнителем роли Карено по праву считается В. И. Качалов (1875—1948).

Стр. 151. *Милль* Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, экономист и общественный деятель. В этике объединял принцип утилитаризма с альтруизмом.

Стр. 152. *Спенсер* Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, идеолог буржуазного либерализма.

Стр. 163. *А про тысяча восемьсот сорок пять год не поминал?* — 10 апреля 1814 г. была провозглашена независимость Норвегии.

Стр. 165. *...проклятущей земле Иафета...* — Иафет — по ветхозаветному преданию, один из трех сыновей Ноя, от которых после всемирного потопа «населилась вся земля» (Первая книга Моисеева. Бытие, 8—10).

Стр. 176. *Фогт* — в Норвегии до конца XIX в. полицейский и податной чиновник.

Стр. 201. *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — римский диктатор.

ЦАРИЦА ТАМАРА

Пьеса «Царица Тамара» была написана в 1903 году под впечатлением путешествия по Кавказу, предпринятого Гамсуном в 1899—1900 годах. В драме о загадочном, экзотическом Востоке, вызывавшем его восхищение «мудрой философией фатализма», Гамсун вновь обращается к любовной теме, открывающей для него возможность глубоко проникнуть в душевный мир героев. Исторический фон в «Царице Тамаре» довольно условен, сюжетная основа фантастична и мало правдоподобна, основная задача автора — выразить силу любовной страсти, соединившей главных действующих лиц, царицу Тамару и князя Георгия. Как и в лирической прозе 1890-х годов, Гамсун утверждает здесь абсолютную ценность природного начала в человеке, способном до конца отдаться нахлынувшему на него чувству.

Впервые пьеса была поставлена на норвежской сцене в январе 1904 года. Постановку осуществил Б. Бьёрнсон, убедивший Гам-

суна, что «Царица Тамара» будет пользоваться огромным успехом у зрителя. Однако его надежды не оправдались. Пьеса выдержала всего двенадцать представлений.

Стр. 210. *Мандрагора* — растение с красными, зелеными или белыми цветами и ядовитым стеблем. Корни мандрагоры по форме часто напоминают человеческую фигуру, в связи с чем, по-видимому, растению приписывали в древности магическую силу. Согласно древнегреческому мифу, сок мандрагоры спас от сумасшествия Геракла.

Стр. 211. *Тамара* (ок. сер. 60-х гг. XII в.—1207) — царица Грузии с 1184 г. Во время ее правления Грузия добилась больших военно-политических успехов.

Приор — настоятель небольшого католического монастыря.

Аббат — настоятель аббатства, подчиняющийся епископу, иногда непосредственно римскому папе. Не стремясь к исторической достоверности, Гамсун использует здесь систему обозначений, принятых в католической церкви.

Гетман — начиная с XV в. командующий наемными войсками в Польше. На Украине в XVI—XVII вв. глава реестровых казаков. Как и в первом случае, Гамсун употребляет здесь термин, не имеющий отношения к грузинской действительности XII в., однако воссоздающий, в его глазах, своеобразную «восточную экзотику».

Стр. 212. *Ани* — город на реке Арпачай (ныне в Турции).

Стр. 215. *Трапезунд*, *Эрзерум* — названия городов, ныне находящихся в Турции.

Моя супруга — из Багратидов... — Багратиды — потомки грузинского царя Баграта Третьего (975—1014), объединившего Западную и большую часть Восточной Грузии.

Георгий Третий — царь Грузии (1156—1184).

Стр. 216. *Ее исповедует приор, меня — аббат.* — Желая этими словами подчеркнуть превосходство царицы Тамары над своим мужем, писатель вновь допускает неточность: в церковной иерархии аббат занимает более высокое место, чем приор.

Стр. 217. *Карс* — город, в X—XI вв. центр Карского государства. С 1921 г. — в составе Турции.

Стр. 221. *Калиф* (халиф) — титул верховного правителя в ряде стран мусульманского Востока.

Стр. 225. *Доломан* — расшитый шнурами мундир.

Стр. 228. *Ви́ра* — штраф.

Стр. 238. *Алагёз* (Арагац) — самая высокая гора Закавказского нагорья. Высота 4090 м.

Стр. 263. *Цвета хенны* — то есть красно-желтого цвета, цвета краски, получаемой из листьев кустарника хенны (лавсонии).

НА ЗАРОСШИХ ТРОПИНКАХ

Книгу «На заросших тропинках» составляют дневниковые записи, которые Гамсун вел с мая 1945 по июнь 1948 года. К моменту окончания Второй мировой войны всемирно прославленному писателю исполнилось восемьдесят шесть лет. Однако не возраст, как полагали многие норвежцы, а воспринятые с юности убеждения стали источником жизненной катастрофы Гамсуна, запятнавшего себя сотрудничеством с коллаборационистами. Исповедуемый им культ сильной личности, недоверие к демократии, наконец, ярко выраженные консервативные почвеннические настроения многое объясняют в пристрастии Гамсуна к личности Гитлера, которого он представлял себе «борцом за счастье человечества, провозвестником Евангелия о правах всех народов», а преступное нацистское государство — воплощением мечты об идеальном общественном устройстве. В первые дни оккупации Норвегии Гамсун обратился к населению страны с призывом: «Норвежцы! Бросайте оружие и расходитесь по домам, Германия сражается и за наши интересы...»

После окончания войны и разгрома фашизма норвежские власти арестовали Гамсуна и заключили его под домашний арест. В суде ему намеревались предъявить обвинение по двум пунктам: во-первых, в противозаконном после 9 апреля 1940 года, то есть после оккупации Норвегии, членстве в Национальном собрании — норвежской нацистской партии, а во-вторых, в призыве к совершению противоправных действий, имея в виду его обращение к населению Норвегии прекратить сопротивление.

Для освидетельствования здоровья 14 июня 1945 года Гамсуна направили в больницу в Гримстаде, а 2 сентября перевели в дом для престарелых в Ланнвике. Здесь Гамсун придерживался такого же распорядка дня, как и все остальные пациенты: подъем в шесть часов утра, в семь — кофе, в двенадцать — ленч, в три — снова кофе и в семь — ужин. Все остальное время Гамсун посвящал прогулкам, чтению книг и ведению дневника. На допросах у следователя он отрицал свою вину и объяснял свои действия тем, что «хотел служить Германии, чтобы защищать интересы Норвегии».

Вопрос о судьбе Гамсуна выходил за рамки обычного юридического процесса: речь шла о выдающемся писателе, лауреате Нобелевской премии и гордости национальной культуры. Поэтому власти сознательно тянули время. После очередного допроса 22 сентября «дело Гамсуна» было отложено, а 15 октября он был помещен на обследование в университетскую психиатрическую клинику в Осло, где предстояло выяснить, может ли он нести судебную ответственность за свои действия. 11 февраля 1946 года психическое здоровье Гамсуна было признано удовлетворительным,

и он получил разрешение вернуться домой, в Нёрхолм, однако вместо этого он предпочел вновь отправиться в дом для престарелых, чтобы приступить к работе над книгой. 18 февраля генеральный прокурор выступил с заявлением, что, принимая во внимание преклонный возраст писателя и его почти полную глухоту, он снимает с него обвинение по второму пункту (по этому же пункту обвинения судили лидера фашистской партии в Норвегии Видкуна Квислинга (1887—1945) и приговорили его к смертной казни). Однако первый пункт обвинения остался в силе. По решению окружного суда Гамсун в возмещение убытков, нанесенных стране нацистской партией, должен был уплатить громадный денежный штраф, около полумиллиона норвежских крон. 23 июня 1948 года состоялось заседание Верховного суда Норвегии, утвердившего решение окружного суда, однако размер денежного штрафа Верховный суд снизил до трехсот двадцати пяти тысяч.

Все обстоятельства этого судебного разбирательства нашли отражение в книге Гамсуна «На заросших тропинках», которую с точки зрения жанра весьма условно можно определить как книгу воспоминаний или дневник писателя. Воспоминания о прошлом перемежаются в ней с рассуждениями о настоящем, лирические зарисовки природы — с горестными размышлениями об одиночестве, отверженности, старческой немощности. По замыслу автора, это одновременно и объективная летопись событий, и субъективная исповедь души. Все происходящее в ней описывается исключительно сквозь призму душевных и физических страданий автора, и все же она полна словами любви и радости жизни, этого «благословенного дара Божьего».

Еще до выхода в свет книга Гамсуна возбудила сильный интерес у читателей. Она была издана в сентябре 1949 года, менее чем через два месяца после того, как писатель встретил свое девяностолетие. В этом же году она была издана в Швеции. На следующий год последовали сразу три издания на немецком. На русском языке впервые отрывки из книги были опубликованы в 1993 году в сборнике путевых впечатлений, литературно-критических статей и писем Гамсуна «В сказочном царстве», выпущенном издательством «Радуга».

Стр. 285. *Ленман* — пристав, начальник полиции в сельской местности.

Стр. 286. ...«*Сантал*», «*Евангелист*»... — Санталы — народ в Индии, религия — индуизм. С 1860-х гг. среди санталов стали проповедовать христианство норвежские миссионеры, представители т. н. «Сантальской миссии». Евангелисты — последователи родственной баптизму христианско-протестантской секты.

...книга *Топсё*. — Топсё Вильгельм (1840—1881) — датский писатель-реалист, автор известных романов «Ясон с золотым руном» (1875) и «Картины современной жизни» (1879).

Стр. 287. ...о котором не пожелал писать *Брандес*. — Брандес Георг (1842—1927) — всемирно известный датский литературовед и критик, возглавлявший в 1870 — 1880-е гг. радикально-демократическое «Движение прорыва» и требовавший от писателей создания боевой, социально-критической, тенденциозной художественной литературы. В книге «Люди современного прорыва» (1883), составленной из очерков творчества выдающихся скандинавских писателей реалистического направления, Брандес обошел молчанием творчество Топсё, считая его недостаточно тенденциозным. Топсё не принадлежал к числу сторонников Брандеса и не разделял взглядов критика на литературу как средство формирования революционного сознания в обществе.

«Гюлдендал» — книжное издательство. До 1925 г. — норвежское отделение датского «Гюлдендала». В 1925 г. выкуплено Гамсуном, после чего стало самостоятельным норвежским издательством.

Стр. 288. ...вера его с горчичное зерно... — иронически заостренное использование библейского образа: «...истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Евангелие от Матфея, 17, 20).

Тербовен Йозеф (1898—1945) — немецкий офицер, глава оккупационного режима в Норвегии.

Стр. 289. *Скагеррак* — самый западный из проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря.

Стр. 290. *Тране, Кристиан Лофтхюс, Ханс Нильсен Хауге...* — *Тране* Маркус (1817—1890) — организатор первых Рабочих союзов в Норвегии. В 1851 г. был арестован, провел четыре года в тюрьме, после чего эмигрировал в США. *Лофтхюс Кристиан Енсен* (1750—1797) — вожак крестьянского движения в Южной Норвегии в конце XVIII в. Умер в тюрьме. *Хауге Ханс Нильсен* (1771—1824) — глава религиозного движения в Норвегии в конце XVIII — начале XIX в., т. н. «хаугеанства». После ареста в 1804 г. десять лет провел в тюрьме.

Стр. 293. ...целый дом с книгами... — Имеется в виду т. н. «хижина поэта» — дом, в котором размещалась большая библиотека и где Гамсун имел обыкновение работать.

Стр. 295. «*Речи Высокогого*» — одна из песен «Старшей Эдды», памятника древнейсландской литературы, представляющего собой сборник мифологических и героических песен, бытовавших в устной традиции у германских народов. Сохранился в рукописи XIII в.

Тесака — божество у малагасийцев на Мадагаскаре.

Стр. 296. *...рисунок Энгстрёма...* — Энгстрём Альберт (1868—1940) — шведский писатель, художник и график. Автор многочисленных зарисовок на темы народной жизни.

Бьёрнсон Бьёрнстjerne (1832—1910) — выдающийся норвежский писатель, поэт, прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии 1903 г., внесший значительный вклад в национальную культуру Норвегии. Начиная с первых произведений, т. н. крестьянских повестей, связывал надежды на будущее страны с развитием крестьянского движения. Считая себя во многом единомышленником Бьёрнсона, Гамсун после его смерти провозгласил себя выразителем интересов норвежского крестьянства.

Стр. 300. *...в Гетевом учении о цветах...* — Согласно этому учению, краски всегда — сочетание света и мрака. Зримый мир, по мнению Гете, существует для нас постольку, поскольку он в большей или меньшей степени озарен светом.

Стр. 302. *...прочел историю про Сократа.* — Сократ (470 или 469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, ставший воплощением идеала мудреца. Цель философии видел в самопознании — пути к постижению истинного блага. Был обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи» и казнен (принял яд цикуты).

Стр. 304. *Афазия* — расстройство речи.

Стр. 311. *...пришло время, когда ты должен устроить дом твой* — скрытая цитата из Библии: «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоём, и потом устрой и дом твой» (Книга Притчей Соломоновых, 24, 27).

Стр. 316. *...стоит ли мне писать это письмо.* — Письмо Гамсуна генеральному прокурору, приведенное в книге, показывает, насколько неверно он воспринимал свои действия как в дооккупационный период, так и в период оккупации Норвегии. По мнению Гамсуна, генеральный прокурор действовал неправомерно: сняв с него обвинение в призыве к совершению противоправных действий, он лишил его возможности доказать на суде свою невиновность.

Стр. 318. *...по поводу моих «двух браков»...* — Гамсун был женат дважды, первый брак, с Берглиот Бек, продолжался с 1898 по 1906 г. Во второй раз Гамсун женился в 1909 г., на Марии Андерсен, актрисе и впоследствии писательнице. Существует издание писем Гамсуна к его второй жене «Письма к Марии» (1970).

Стр. 320. *...о моем визите к Гитлеру...* — В июне 1943 г. Гамсун присутствовал в качестве почетного гостя на международном пронацистском Конгрессе литераторов и журналистов в Вене, организованном Геббельсом и проходившем под девизом «В защиту европейской культуры от англосаксонского варварства и боль-

шевилов». После окончания конгресса Гамсун был приглашен на аудиенцию к Гитлеру на его виллу Бергхоф. Во время беседы, как это впоследствии стало известно, Гамсун жаловался Гитлеру на произвол Тербовена в отношении норвежцев.

Стр. 322. ...как сказал *Августин*. — Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории.

Стр. 323. ...дом со стабуром... — Стабур — поднятая на сваях деревянная клеть, обычно украшаемая резьбой.

Стр. 324. *Боттен-Хансен* Пауль (1824—1869) — норвежский писатель и литературный критик, участвовавший вместе с Ибсеном в создании сатирического журнала «Андхримнер». По сатирической остроте и многообразию объектов критики «Андхримнер» представлял собой исключительное явление в норвежской прессе XIX в.

Стр. 326. *Стивенсон* Роберт Льюис (1850—1894) — английский писатель, мастер приключенческого жанра в европейской литературе XIX в.

...маленькому Эсбену... — Эсбен — двухлетний внук Гамсуна.

Стр. 330. *Лагман* — председатель окружного суда первой инстанции.

Фюльке — административная единица в Норвегии.

Стр. 331. *Боганис рассказывает...* — Боганис — псевдоним, под которым датский офицер и писатель Вильгельм Динесен (1845—1895), отец известной писательницы Карен Бликсен, издал свои «Письма охотника», получившие широкое признание среди датских читателей.

Беньян Джон (1628—1688) — английский писатель-пуританин, двенадцать лет проведенный в тюрьме за свои религиозные убеждения. Автор аллегорического романа «Путешествие пилигрима» (1678—1684).

Sela! — *говорит Давид*. — *Sela* (др.-евр.) — возглас, которым при богослужении заканчивается чтение отдельных строф некоторых псалмов Давида; означает то же, что и «аминь» («истинно», «верно»).

Стр. 333. ...думает *Франциск*. — Имеется в виду св. Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226), основатель ордена францисканцев, католический святой и проповедник «евангельской жизни», отличавшийся аскетическим поведением.

Гельсингфорс — старое название Хельсинки.

Стр. 348. *Пеллико* Сильвио (1789—1854) — итальянский писатель. В 1820 г., как участник заговора карбонариев, был приговорен к смертной казни, замененной пятнадцатью годами заключе-

ния в крепости Шпильберг. Впоследствии выпустил мемуары под названием «Мои темницы» (1832), доставившие ему бессмертную славу и переведенные на все европейские языки.

Турарин Лучник сбирался в поход... — начало романтической баллады «Тетива» норвежского поэта Йохана Себастьяна Вельхавена (1807—1873).

Стр. 349. *Флагстад* Кирстен Мальфрид (1895 — 1962) — норвежская певица, с успехом выступавшая на сценах оперных театров Европы и США.

Стр. 355. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик. Свой взгляд на человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством (человек — «мыслящий тростник»), изложил в литературном труде «Мысли» (1669).

Стр. 357. *Заглубели ладони твои...* — стихотворение, которое Гамсун посвятил своей матери.

Стр. 358. *Бернс* Роберт (1759—1796) — выдающийся шотландский поэт.

Арилд перепечатает... — Арилд — младший сын Гамсуна.

Кёниг Кристиан — директор норвежского издательства «Гюлдендал».

Стр. 360. *...иду в бейдевинд, крейсирую.* — Бейдевинд — курс парусного судна при встречно-боковом ветре; крейсировать — плавать по определенному маршруту.

Стр. 361. *...голову Иоанна...* — Здесь и далее имеется в виду обезглавление Иоанна Крестителя (см. Евангелие от Матфея, гл. 14).

Стр. 362. *Там цари и четвертовластники...* — Четвертовластники — лица, управлявшие областями Палестины и соседними странами под верховным владычеством римлян. См.: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее» (Евангелие от Луки, 3, 1).

Стр. 363. *...путь изображают волхвов с востока.* — Волхвы — мудрецы. См.: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока...» (Евангелие от Матфея, 2, 1).

Стр. 364. *...всего лишь кружащийся ветер, как говорит в Библии Проповедник.* — Имеется в виду Книга Екклесиаста, или Проповедника: «Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои» (1, 6).

Стр. 369. ...не содействовал ни Бойцам Фронта, ни другим представителям НС... — Бойцы Фронта — норвежские нацисты, сражавшиеся вместе с немецкими войсками; НС — Национальное собрание — норвежская фашистская партия, созданная в 1933 г., распущенная в 1945 г.

Стр. 370. ...среди квислинговцев... — Квислинговцы — изменники, предатели (по имени Квислинга), сотрудничавшие с гитлеровцами.

«Фритт фолк» — главный печатный орган фашистской партии в Норвегии.

Стр. 374. Праздник Св. Кнута — 13 января, 20-й и последний день Рождества.

Стр. 377. Грундтвиг прав: «По нам, детям света...» — строки из известного псалма «Благословенный день» Николая Фредерика Северина Грундтвига (1783—1872), датского писателя и мыслителя, реформатора церкви и школы.

Дохожу до Вернера фон Хейденстама. — Карл Густав Вернер фон Хейденстам (1859—1940) — выдающийся шведский поэт и прозаик, возглавивший в 1890-е гг. литературное движение т. н. «шведского Ренессанса». Выступая, как и Гамсун, против ограниченности натуралистического искусства, явился ярким выразителем неоромантических тенденций в шведской литературе конца XIX — начала XX в. В 1916 г. удостоен Нобелевской премии.

Стр. 378. Тацит считает... — Имеется в виду трактат «Германия» великого римского историка Тацита (ок. 55 — ок. 120), где рассказывается о происхождении, общественном устройстве и быте древних германцев.

Стр. 382. «Век разума» Пейна. — Пейн Томас (1737—1809) — американский просветитель-радикал. Родился в Великобритании, в 1774 г. переехал в Северную Америку. Участник Войны за независимость в Северной Америке и Великой французской революции. Автор книги «Век разума» (1794), выдающегося произведения американской просветительской мысли XVIII в.

...не понял «Марию Груббе» Й. П. Якобсена... — «Мария Груббе» (1874) — исторический роман выдающегося датского писателя Йенса Петера Якобсена (1847—1885). С публикацией этого романа связывают возникновение реалистического направления в датской литературе XIX в.

Стр. 383. Эйре — национальное название Ирландии.

Гальхёпигген — самая высокая вершина Скандинавских гор в Норвегии (2469 м).

Ломсегген — горный массив к северу от Гальхёпиггена.

ГАМСУН

Сценарная повесть известного шведского писателя, критика и эссеиста Пера Улова Энквиста (р. 1934) написана в 1996 году и принадлежит к произведениям документального жанра, получившего широкое распространение в шведской литературе с конца 60-х годов. Документальную основу «Гамсуна» составляют книга датского писателя Торкильда Хансена «Процесс против Гамсуна» (1978), а также воспоминания жены Гамсуна, Марии Гамсун, «Радуга» (1953). Основываясь на этих и других материалах, Энквист предлагает читателю свою версию причин, которые привели Гамсуна к тому, чтобы стать предателем родины. Однако задача, поставленная художником, не сводится лишь к ответу на вопрос, виновен ли Гамсун или нет, а если все-таки виновен, то какова мера его вины и ответственности. Органическое соединение документа и вымысла позволяет Энквисту с большой художественной силой раскрыть глубоко человеческую драму последних лет жизни великого писателя.

Стр. 394. *Нансен Фритъоф* (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики, почетный член Петербургской академии наук. В 1920—1921 гг. — верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов помощи голодающим Поволжья (1921). Лауреат Нобелевской премии Мира (1922).

...был Гамсун или не был формально, в юридическом смысле членом партии Национальное собрание... — Этот вопрос так и не был в суде решен однозначно; сам же Гамсун категорически отрицал свое членство в фашистской партии.

«Пляска смерти» (1900) — название знаменитой драматической дилогии А. Стриндберга, в которой семейная жизнь супругов уподоблена аду.

Стр. 397. *...а их беседа удивительным образом была стенографирована...* — Готовясь к встрече с Гамсуном, Гитлер вызвал из Гейдельбергского университета знатока норвежского языка, доктора Эриха Бургера. Во время беседы Бургер находился в соседней комнате и, заметив, что перевод очень неточен, стал для самого себя стенографировать то, что говорили собеседники. Так появилась стенограмма этой беседы, которая спустя долгие годы стала достоянием общественности.

Стр. 399. *...для Федры, для Марии Стюарт...* — Федра — героиня трагедий Еврипида «Ипполит» (428) и Расина «Федра» (1677). Мария Стюарт — героиня одноименной пьесы Шиллера (1800).

...напоминают... о чете Хейберг... — Имеются в виду датский драматург и критик Йохан Людвиг Хейберг (1791—1860) и его

жена, актриса и писательница Йоханна Луиса (1812—1890), для которой он сочинял главные роли в своих знаменитых водевилях. В 1831 г. Йоханна Луиса стала его женой.

Стр. 400. *Ни о Федре, ни о Елизавете, ни о Норе...* — Елизавета, королева Английская — героиня пьесы Шиллера «Мария Стюарт». Нора — героиня пьесы Ибсена «Кукольный дом» (1879).

...этого несчастного Ибсена. — Отец Генрика Ибсена, богатый коммерсант Кнут Ибсен, обанкротился в 1836 г., когда сыну было восемь лет. С этого времени начался длительный период лишений в жизни великого норвежского драматурга.

Стр. 405. *Доктор Мабузе* — герой фильма немецкого режиссера Фрица Ланга (1890—1976) «Доктор Мабузе» (1922).

Стр. 406. *Вуайер* — человек, получающий удовлетворение от наблюдения за людьми, занимающимися сексом или раздевающимися.

Стр. 413—414. *Сетер* — высокогорное пастбище в Норвегии.

Стр. 418. *Хирт* — военизированный отряд в фашистской партии Норвегии.

Стр. 421. *Харалд Григ* — брат выдающегося норвежского писателя-антифашиста Нурдаля Грига (1902—1943), который погиб, участвуя в воздушном налете на Берлин; с 1922 по 1970 г. — директор издательства «Гюлдендал».

Стр. 429. ...*кадры Нарвика...* — В первые дни войны в порту Нарвика, где норвежцы оказали сопротивление пытавшемуся высадиться немецкому десанту, немцы потопили два норвежских броненосца, погибло более 200 человек.

«*Норвежцы!*» — обращение Гамсуна к населению Норвегии, которое было опубликовано в норвежской прессе.

...*англичане грубо вторглись в Йёссинг-фьорд...* — В Йёссинг-фьорде еще до оккупации Норвегии английскому миноносцу удалось освободить 300 британских пленных, которых немцы везли в Германию через норвежские воды на пароходе «Альтмарк». По названию этого фьорда «йёссингами» шведские и норвежские нацисты стали называть норвежских патриотов. Позднее норвежские антифашисты сами охотно называли себя этим именем.

Стр. 433. *Нобель* Альфред Бернхард (1833—1896) — шведский инженер-химик, учредитель Нобелевских премий.

Стр. 434. ...*схватили весь Милорг.* — Имеется в виду боевая организация норвежского Сопротивления.

Стр. 437. *Грини* — женская тюрьма, превращенная немцами в концлагерь.

Фанген Роналд (1895—1946) — известный норвежский писатель, обращавшийся в своем творчестве к религиозно-нравственным

проблемам современности, в 1940 г. был арестован немцами за патриотическую статью «О верности».

Стр. 438. ...*Каиафу, Пилата и Цезаря...* — Каиафа — первосвященник Иудеи (18—36 гг. н. э.), Понтий Пилат — римский наместник Иудеи (26—36 гг. н. э.), согласно новозаветной традиции, виновные в гибели Иисуса Христа.

Стр. 444. ...*в борьбе за свободную Норвегию! В тысяча девятьсот пятом году!* — Имеется в виду участие Гамсуна в национальном движении за разрыв неравноправной унии со Швецией.

...*былую встречу Гете с Наполеоном...* — Во время аудиенции, данной Наполеоном Гете 3 октября 1808 г., французский император предложил, в частности, Гете переехать в Париж, чтобы поэт обогатился там новыми творческими замыслами, прославляющими величие созданной им мировой державы.

Стр. 445. «*Как норвежцы...*» — отрывок из речи Гамсуна на международном пронацистском конгрессе в Вене в июне 1943 г.

Стр. 446. *Рифенштал* Лени (р. 1902) — немецкий кинорежиссер, автор ряда пропагандистских фильмов, прославлявших третий рейх.

Стр. 447. *Рагнарёк* — в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира.

Вагнеровская «Гибель богов» — заключительная часть оперной тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» (1854—1874).

Стр. 454. «*Я не достоин...*» — некролог, написанный Гамсуном после смерти Гитлера.

Стр. 462. *Йенсен* Йоханнес Вильгельм (1873—1950) — выдающийся датский писатель, современник Гамсуна, восхищавшийся его творчеством и посвятивший «великому норвежцу» несколько стихотворений. Порвал с Гамсуном, узнав о его профашистских симпатиях. Лауреат Нобелевской премии 1944 г.

Лигети Дьёрдь (р. 1923) — венгерский композитор, в 1956 г. покинувший родину и обосновавшийся в Австрии.

Стр. 466. *Рондан* — горный район в Норвегии.

Стр. 488. «*Весна*» *Грига* — лирическая пьеса Э. Грига для фортепиано (1886).

А. Сергеев



СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Царица Савская. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	7
Дама из «Тиволи». <i>Перевод Е. Алексеевой</i>	25
На улице. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	33
Кольцо. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	38
Совершенно обыкновенная муха средней величины. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	40
Рабы любви. <i>Перевод Н. Крымовой</i>	44
Сын солнца. <i>Перевод С. Тархановой</i>	51
Сердцеед. <i>Перевод К. Мурадян</i>	56
На гастролях. <i>Перевод С. Тархановой</i>	62
Отец и сын. <i>Перевод А. Блока</i>	79
Голос жизни. <i>Перевод А. Блока</i>	98
Плут из плутов. <i>Перевод С. Тархановой</i>	102
Александр и Леонарда. <i>Перевод Э. Панкратовой</i>	117
Победительница. <i>Перевод Е. Алексеевой</i>	123
Тяжелые дни. <i>Перевод Е. Алексеевой</i>	129
В клинике. <i>Перевод Е. Алексеевой</i>	137

ПЬЕСЫ

У врат царства. <i>Перевод Е. Суриц</i>	143
Царица Тамара. <i>Перевод Норы Киямовой</i>	210
НА ЗАРОСШИХ ТРОПИНКАХ. <i>Перевод Норы Киямовой</i> ..	285

ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Пер Улов Энквист. Гамсун. Перевод со шведского</i> <i>Ю. Яхниной</i>	393
Комментарии <i>А. Сергеева</i>	491

Гамсун К.

Г 18 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 6. Рассказы; Пьесы; На заросших тропинках: Пер. с норв. / Редкол.: А. Сергеев, Ю. Яхнина; Сост. Ю. Яхниной; Комментар. А. Сергеева. — М.: Худож. лит., 2000. — 510 с.

ISBN 5-280-03091-0 (Т. 6)

ISBN 5-280-01700-0

В шестой том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна (1859—1952) входят рассказы разных лет, пьесы («У врат царства» и «Царица Тамара»), книга воспоминаний писателя «На заросших тропинках» (1949). В качестве приложения включена документальная сценарная повесть шведского писателя П. У. Энквиста «Гамсун», в которой сделана попытка раскрыть глубокую человеческую драму последних лет жизни писателя.

УДК 82/89

ББК 84(4Нор)-4

КНУТ ГАМСУН
Собрание сочинений
в 6-ти томах
Том 6

Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Г. Клодт
Технический редактор Л. Синицына
Корректор Т. Меньшикова

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97. Сдано в набор 24.06.99. Подписано к печати 13.01.2000. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88+альбом=27,72. Усл. кр.-отг. 28.14. Уч.-изд. 29,2+альбом=29,96. Тираж 10 000 экз. Заказ № 531.

Ордена Трудового Красного Знамени государственное издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, ул. Ново-Басманная, 19

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, Архангельск, Новгородский пр., 32

ISBN 5-280-03091-0



9 785280 030916

